This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Acquired through the
HOOVER INSTITUTION
The Nicolas A. de Basily
Memorial Collection

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ IX

Герцен. Соч.

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ IX

БЫЛОЕ И ДУМЫ

1850—1864

Томъ второй

Часть пятая

GENÈVE — BALE — LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1879

Tous droits réservés.

AC1-5
H42
v.9-10

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА XL.

Европейскій комитетъ.— Русскій генеральный консулъ въ Ниццѣ.— Письмо къ А. Ѳ. Орлову. — Преслѣдованіе ребенка. — Фогты — Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне —Пріѣмъ въ Шателя.

(1850—1851)

Съ годъ послѣ нашего пріѣзда въ Ниццу изъ Парижа, я писалъ: „Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ у дверей моихъ пентаграммъ, я не нашелъ ни желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ — отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ, развѣ только квадратъ селюлярной тюрьмы.

„Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852 — новаго ничего развѣ какое личное несчастіе доломаетъ грудь, какое-нибудь колесо жизни разсыплется."

Письма изъ Франціи и Италіи (11 іюня 1851).

Дѣйствительно, перебирая то время, становится больно, какъ бываетъ при воспоминаніи похоронъ, мучительныхъ болѣзней, операцій. Не касаясь еще здѣсь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темныя тучи, довольно было общихъ происшествій и га-

зетныхъ новостей, чтобъ бѣжать куда нибудь въ степь. Франція неслась съ быстротой падающей звѣзды къ 2 Декабря. Германія лежала у ногъ Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрія. Полицейскіе кондотьеры съѣзжались на свои вселенскіе соборы и тайно совѣщались объ общихъ мѣрахъ международнаго шпіонства. Революціонеры продолжали пустую агитацію. Люди, стоявшіе во главѣ движенія, обманутые въ своихъ надеждахъ, теряли голову. Кошутъ возвращался изъ Америки, утративъ долю своей народности, Маццини заводилъ въ Лондонѣ съ Ледрю-Ролленомъ и Руге *центральный европейскій комитетъ*... а реакція свирѣпѣла больше и больше.

Послѣ нашей встрѣчи въ Женевѣ, потомъ въ Лозаннѣ, я видѣлся съ Маццини въ 1850 году. Онъ былъ во Франціи тайно, остановился въ какомъ-то аристократическомъ домѣ и присылалъ за мной одного изъ своихъ приближенныхъ. Тутъ онъ говорилъ мнѣ о проектѣ международной юнты въ Лондонѣ и спрашивалъ, желалъ ли бы я участвовать въ ней, *какъ русскій*; я отклонилъ разговоръ. Годъ спустя, въ Ниццѣ, явился ко мнѣ Орсини, отдалъ программу, разныя прокламація европейскаго центральнаго комитета и письмо отъ Маццини, съ новымъ предложеніемъ. Участвовать въ комитетѣ я и не думалъ; какой же элементъ русской жизни я могъ представить тогда, совершенно отрѣзанный отъ всего русскаго? Но эта не была единственная причина, по которой европейскій комитетъ мнѣ былъ не по душѣ. Мнѣ казалось, что въ основѣ его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движенія*, которую комитетъ представлялъ, т. е. возстановленіе угнетенныхъ національностей,

не была такъ сильна въ 1851 году, чтобъ имѣть *явно* свою юнту. Существованіе такого комитета доказывало только терпимость англійскаго законодательства и отчасти то, что министерство не вѣрило въ его силу, иначе оно прихлопнуло бы его, или alien билемъ, или предложеніемъ пріостановить habeas corpus.

Европейскій комитетъ, напугавшій всѣ правительства, ничего не дѣлалъ, не догадываясь объ этомъ. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмомъ и увѣряютъ себя, что они дѣлаютъ *что нибудь*, имѣя періодическія собранія, кипы бумагъ, протоколы, совѣщанія, подавая голоса, принимая рѣшенія, печатая прокламаціи, professions de foi и проч. Революціонная бюрократія точно такъ же распускаетъ дѣла въ слова и формы, какъ наша канцелярская. Въ Англіи пропасть разныхъ ассоціацій, имѣющихъ торжественныя собранія, на которыя являются герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначеи собираютъ деньги, литераторы пишутъ статьи, и всѣ вмѣстѣ рѣшительно ничего не дѣлаютъ. Собранія эти, большей частью филантропическія и религіозныя, съ одной стороны служатъ развлеченіемъ, а съ другой примиряютъ христіанскую совѣсть людей, преданныхъ свѣтскимъ интересамъ. Но такого кроткаго и мирнаго характера не могъ представлять въ Лондонѣ революціонный сенатъ en permanence. Это былъ гласный заговоръ, заговоръ съ открытыми дверями, то есть невозможный.

Заговоръ долженъ быть тайной. Время *тайныхъ обществъ* миновало только въ Англіи и Америкѣ. Вездѣ, гдѣ есть меньшинство, предварившее пониманіе массъ и желающее осуществить ими понятую идею,—если нѣтъ ни свободы рѣчи, ни права собранія, — будутъ составляться тайныя общества. Я говорю объ этомъ совер-

шенно объективно; послѣ юношескихъ попытокъ, окончившихся моей ссылкой въ 1835 году, я не участвовалъ *никогда ни въ какомъ тайномъ обществѣ*, но совсѣмъ не потому, что я считаю расточеніе силъ на индивидуальныя попытки за лучшее. Я не участвовалъ потому, что мнѣ не случилось встрѣтить общества, которое соотвѣтствовало бы моимъ стремленіямъ, въ которомъ я могъ бы что нибудь дѣлать. Еслибъ я встрѣтилъ союзъ Пестеля и Рылѣева, разумѣется, я бросился бы въ него головою.

Другая ошибка или другое несчастіе комитета, состояло въ отсутствіи единства. Это собраніе въ одинъ фокусъ разнородныхъ стремленій могло только въ дѣйствительномъ единствѣ развить составную силу. Еслибъ каждый, входя въ комитетъ, вносилъ только свою исключительную національность, это не мѣшало бы еще; у нихъ было бы единство ненависти къ одному главному врагу, къ священному союзу. Но возрѣнія ихъ, согласныя въ двухъ отрицательныхъ принципахъ, въ отрицаніи царской власти и соціализма, въ остальномъ были различны; для ихъ единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляютъ одностороннюю силу каждаго, подвязывая именно тѣ струны для общаго акорда, которыя звучатъ всего рѣзче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонію.

Прочитавъ бумаги, которыя привезъ Орсини, я написалъ къ Маццини слѣдующее письмо:

Ницца, 13 Сентября 1850.

„Любезный Маццини! Я васъ уважаю искренно, и потому не боюсь откровенно высказать вамъ мое мнѣніе. Во всякомъ случаѣ, вы меня выслушаете терпѣливо и снисходительно.

Вы чутъ ли не одинъ изъ главныхъ *политическихъ* дѣятелей послѣдняго времени, имя котораго осталось окружено сочувствіемъ и уваженіемъ. Можно не соглашаться съ вами въ мнѣніяхъ, въ образѣ дѣйствія, но не уважать васъ нельзя. Ваше прошедшее, Римъ 1848 и 1849 годовъ обязываютъ васъ гордо нести великое вдовство, до тѣхъ поръ, пока событія снова позовутъ предупредившаго ихъ бойца. Потому-то мнѣ и больно видѣть имя ваше вмѣстѣ съ именами людей неспособныхъ, испортившихъ всѐ дѣло, съ именами, которыя намъ только напоминаютъ бѣдствія, обрушенныя ими на насъ.

Какая тутъ можетъ быть организація? — это одно смѣшеніе.

Ни вамъ, ни исторіи эти люди не нужны, все, что для нихъ можно сдѣлать—это отпустить имъ ихъ прегрѣшенія. Вы ихъ хотите покрыть вашимъ именемъ, вы хотите раздѣлить съ ними ваше вліяніе, ваше прошедшее; они раздѣлятъ съ вами свою непопулярность, свое прошедшее.

Что *новаго* въ прокламаціяхъ, что въ Proscrit? гдѣ слѣды грозныхъ уроковъ послѣ 24 Февраля? Это продолженіе прежняго либерализма, а не начало новой свободы — это эпилогъ, а не прологъ. Почему нѣтъ въ Лондонѣ той организаціи, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основаніи неопредѣленныхъ стремленій, а только на глубокой и общей мысли;— но гдѣ же она?

Первая публикація, дѣлаемая при такихъ условіяхъ, какъ присланная вами прокламація, должна была быть исполнена искренности, ну а кто же можетъ прочесть безъ улыбки имя Арнольда Руге подъ прокламаціей, говорящей во имя божественнаго провидѣнія. Руге проповѣдывалъ съ 1838 года философскій атеизмъ, для

него (если голова его устроена логически) идея провидѣнія должна представлять въ зародышѣ всѣ реакціи. Это уступка, дипломація, политика, оружія нашихъ враговъ. Къ тому же все это ненужно. Богословская часть прокламаціи — чистая роскошь, она ничего не прибавляетъ ни къ разумѣнію, ни къ популярности. Народъ имѣетъ положительную религію и церковь. Деизмъ, религія раціоналистовъ, представительная система, приложенная къ вѣрѣ, религія, окруженная атеистическими учрежденіями.

Я съ своей стороны проповѣдую полный разрывъ съ неполными революціонерами, отъ нихъ на двѣсти шаговъ вѣетъ реакціей. Нагрузивъ себѣ на плечи тысячи ошибокъ, они ихъ до сихъ поръ оправдываютъ; лучшее доказательство, что они ихъ повторятъ.

Въ Nouveau Monde тотъ же vacuum horrendum, печальное пережевываніе пищи, вмѣстѣ зеленой и сухой, которая все таки не переваривается.

Пожалуста не думайте, что я это говорю для того, чтобъ отклонять отъ дѣла. Нѣтъ, я не сижу сложа руки. У меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергіи въ характерѣ, чтобъ удовлетвориться ролью страдательнаго зрителя. Съ тринадцати лѣтъ я служилъ одной идеѣ и былъ подъ однимъ знаменемъ — войны противъ всякой втѣсняемой власти, противъ всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Мнѣ хотѣлось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну — настоящимъ казакомъ..... auf eigene Faust, какъ говорятъ нѣмцы, при большой революціонной арміи — не вступая въ правильные кадры ея, пока они совсѣмъ не преобразуются.

Въ ожиданіи этого я пишу. Можетъ, это ожиданіе продолжится долго, но отъ меня зависитъ измѣненіе

капризнаго, людскаго развитія; но говорить, обращать, убѣждать зависитъ отъ меня—и я это дѣлаю отъ всей души, и отъ всего помышленія.

Простите мнѣ, любезный Маццини, и откровенность и длину моего письма, и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человѣкомъ, преданнымъ вашему дѣлу, — но тоже преданнымъ и своимъ убѣжденіямъ".

На это письмо Маццини отвѣчалъ нѣсколькими дружескими строками, въ которыхъ, не касаясь сущности, говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ силъ въ одно единое дѣйствіе, грустилъ о разномысліи ихъ и пр.

Въ ту-же осень, въ которую меня вспомнилъ Маццини и европейскій комитетъ, вспомнилъ меня, наконецъ, и противоевропейскій комитетъ Николая Павловича.

Однимъ утромъ горничная наша, съ нѣсколько озабоченнымъ видомъ, сказала мнѣ, что русскій консулъ внизу и спрашиваетъ, могу ли я его принять. Я до того уже считалъ покончеными мои отношенія съ русскимъ правительствомъ, что самъ удивился такой чести и не могъ догадаться, что ему отъ меня надобно.

Вошла какая-то офиціальная, германски-канцелярская фигура *втораго* порядка.

— Я имѣю вамъ сдѣлать сообщеніе.

— Не смотря на то, отвѣчалъ я, что я не знаю вовсе какого рода, я почти увѣренъ, что оно будетъ непріятное. Прошу садиться.

Консулъ покраснѣлъ, нѣсколько смѣшался, потомъ сѣлъ на диванъ, вынулъ изъ кармана бумагу, развернулъ и, прочитавши: „Генералъ-адъютантъ, графъ Орловъ сообщилъ графу Несельроде, что Его Им..." — снова всталъ.

Тутъ по счастью я вспомнилъ, что въ Парижѣ, въ нашемъ посольствѣ, объявляя Сазонову приказъ государя возвратиться въ Россію, секретарь всталъ, и Сазоновъ, ничего не подозрѣвая, тоже всталъ, а секретарь это дѣлалъ изъ глубокаго чувства долга, требующаго, чтобъ вѣрноподданный держалъ спину на ногахъ и нѣсколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мѣрѣ того какъ консулъ вставалъ, я глубже и покойнѣе усаживался въ креслахъ, и желая, чтобъ онъ это замѣтилъ, сказалъ ему, кивая головой: „Сдѣлайте одолженіе, я слушаю.“

— „нераторское Величество, продолжалъ онъ, снова садясь, изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чемъ ему объявить, не принимая отъ него никакихъ причинъ, которыя могли бы замедлить его отъѣздъ, и не давая ему ни въ какомъ случаѣ отсрочки.“

Онъ замолчалъ. Я продолжалъ не говорить ни слова.

— Что-же мнѣ отвѣчать? спросилъ, онъ складывая бумагу.

— Что я не поѣду.

— Какъ не поѣдете?

— Такъ-таки, просто не поѣду.

— Вы обдумали-ли, что такой шагъ...

— Обдумалъ.

— Да какъ-же это... Позвольте, что-же я напишу?— по какой причинѣ?..

— Вамъ не велѣно принимать никакихъ причинъ.

— Какъ-же я скажу, вѣдь это ослушаніе воли его Императорскаго Величества?

— Такъ и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмѣлюсь написать это — и онъ еще больше покраснѣлъ. Право, лучше

было бы вамъ измѣнить ваше рѣшеніе, пока все это еще *келейно*. (Консулъ вѣрно думалъ, что III отдѣленіе — монастырь).

Какъ я ни человѣколюбивъ, но, для облегченія переписки генеральнаго консула въ Ниццѣ, не хотѣлъ ѣхать въ Петропавловскія кельи отца Леонтія или въ Нерчинскъ, не имѣя даже въ виду Евпаторіи въ легкихъ Николая Павловича.

— Неужели, сказалъ я ему, когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поѣду? Забудьте, что вы консулъ, и разсудите сами. Имѣнье мое секвестровано, капиталъ моей матери былъ задержанъ, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я послѣ этого ѣхать, не сойдя съ ума?

Онъ мялся, постоянно краснѣлъ и, наконецъ, попалъ на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, сказалъ онъ, вступать... я понимаю затруднительное положеніе, съ другой стороны милосердіе! — Я посмотрѣлъ на него, онъ опять покраснѣлъ,—сверхъ того, зачѣмъ же вамъ отрѣзывать себѣ всѣ пути, вы напишите мнѣ, что вы очень больны, я отошлю къ графу.

— Это ужь слишкомъ старо, да и на что же безъ нужды говорить неправду.

— Ну, такъ ужь потрудитесь написать мнѣ письменный отвѣтъ.

— Пожалуй. Вы мнѣ не оставите ли копіи съ бумаги, которую читали?

— У насъ этого не дѣлается.

— Жаль. Я собираю колекцію.

Какъ ни былъ простъ мой посьменный отвѣтъ, консулъ все же перепугался: ему казалось, что его пере-

ведутъ за него, не знаю, куда нибудь въ Бейрутъ или въ Триполи; онъ рѣшительно объявилъ мнѣ, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмѣлится. Какъ я его ни убѣждалъ, что на него не можетъ пасть никакой отвѣтственности, онъ не соглашался и просилъ меня написать другое письмо.

— Это невозможно, возразилъ я ему, я не шучу этимъ шагомъ и вздорныхъ причинъ писать не стану: вотъ вамъ письмо и дѣлайте съ нимъ что хотите.

— Позвольте, говорилъ самый кроткій консулъ изъ всѣхъ бывшихъ послѣ Юнія Брута и Калпурнія Бестіи, вы письмо это напишите не ко мнѣ, а къ графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дѣло не трудное, стоитъ поставить M. le comte, вмѣсто M. le consul; на это я согласенъ.

Переписывая мое письмо, мнѣ пришло въ голову, для чего же это я пишу Орлову по французски. По русски кантонистъ какой нибудь въ его канцеляріи или въ канцеляріи III отдѣленія можетъ его прочесть, его могутъ послать въ сенатъ и молодой оберъ-секретарь покажетъ его писцамъ; зачѣмъ же ихъ лишать этого удовольствія. А потому я перевелъ письмо; вотъ оно:

М. Г.

Графъ Алексѣй Ѳедоровичъ!

Императорскій консулъ въ Ниццѣ сообщилъ мнѣ высочайшую волю о моемъ возвращеніи въ Россію. При всемъ желаніи, я нахожусь въ невозможности исполнить ее, не приведя въ ясность моего положенія.

Прежде всякаго вызова, болѣе года тому назадъ положено было запрещеніе на мое имѣнье, отобраны дѣловыя бумаги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, наконецъ, захвачены деньги, 10,000 фр., высланные мнѣ изъ

Москвы. Такія строгія и чрезвычайныя мѣры противъ меня показываютъ, что я не только въ чемъ-то обвиняемъ, но что, прежде всякаго вопроса, всякаго суда признанъ виновнымъ и наказанъ — лишеніемъ части моихъ средствъ.

Я не могу надѣяться, чтобъ одно возвращеніе мое могло меня спасти отъ печальныхъ послѣдствій политическаго процеса. Мнѣ легко объяснить каждое изъ моихъ дѣйствій, но въ процесахъ этого рода судятъ мнѣнія, теоріи; на нихъ основываютъ приговоры. Могу ли я, долженъ ли я подвергать себя и все мое семейство такому процесу...

В. С. оцѣните простоту и откровенность моего отвѣта и повергнете на высочайшее разсмотрѣніе причины, заставляющія меня остаться въ чужихъ краяхъ, не смотря на мое искреннее и глубокое желаніе возвратиться на родину.

Ницца, 23 Сентября 1850.

Я дѣйствительно не знаю, возможно ли было скромнѣе и проще отвѣчать; но у насъ такъ велика привычка къ рабскому молчанію, что и это письмо консулъ въ Ниццѣ счелъ чудовищно-дерзкимъ, да вѣроятно и самъ Орловъ также.

Молчать, не смѣяться, да и не плакать, а отвѣчать по данной формѣ, безъ похвалы и осужденія, безъ веселья, да и безъ печали, это идеалъ, до котораго деспотизмъ хочетъ довести подданныхъ и довелъ солдатъ; но какими средствами? А вотъ я вамъ разскажу.

Николай разъ на смотру, увидавъ молодца флангового солдата съ крестомъ, спросилъ его: „Гдѣ получилъ крестъ?“ По несчастью, солдатъ этотъ былъ изъ какихъ-то изшалившихся семинаристовъ и, желая восполь-

зоваться такимъ случаемъ, чтобъ блеснуть краснорѣчіемъ, отвѣчалъ: „Подъ побѣдоносными орлами Вашего Величества.“ Николай сурово взглянулъ на него, на генерала, надулся и прошелъ. А генералъ, шедшій за нимъ, когда поровнялся съ солдатомъ, блѣдный отъ бѣшенства, поднялъ кулакъ къ его лицу и сказалъ: „Въ гробъ заколочу Демосѳена!

Мудрено ли, что краснорѣчіе не цвѣтетъ при такихъ поощреніяхъ!

Отдѣлавшись отъ императора и консула, мнѣ захотѣлось выйти изъ категоріи безпаспортныхъ.

Будущее было темно, печально... я могъ умереть, и мысль, что тотъ же краснѣющій консулъ явится распоряжаться въ домѣ, захватитъ бумаги, заставляла меня думать о полученіи гдѣ нибудь правъ гражданства. Само собою разумѣется, что я выбралъ Швейцарію, не смотря на то, что именно около этого времени въ Швейцаріи сдѣлали мнѣ полицейскую шалость.

Съ годъ послѣ рожденія моего втораго сына, мы съ ужасомъ замѣтили, что онъ совершенно глухъ. Разные консультаціи и опыты скоро доказали, что возбудить слухъ было невозможно. Но тутъ явился вопросъ, слѣдовало ли его оставить, какъ это всегда дѣлаютъ, нѣмымъ. Школы, которыя я видѣлъ въ Москвѣ, далеко не удовлетворяли меня. Разговоръ пальцами и знаками не есть разговоръ, говорить надобно ртомъ и губами. По книгамъ я зналъ, что въ Германіи и въ Швейцаріи дѣлали опыты учить глухо-нѣмыхъ говорить, какъ мы говоримъ, и слушать, смотря на губы. Въ Берлинѣ я видѣлъ въ первый разъ оральное преподаваніе глухонѣмымъ и слышалъ, какъ они декламировали стихи. Это огромный шагъ впередъ отъ методы Аббата Лепе. Въ Цюрихѣ это ученіе доведено до большаго совер-

шенства. Моя мать, страстно любившая Колю, рѣшилась поселиться съ нимъ на нѣсколько лѣтъ въ Цюрихѣ, чтобы посылать его въ школу.

Ребенокъ этотъ былъ одаренъ необыкновенными способностями: вѣчная тишина вокругъ него, сосредоточивая его живой, порывистый характеръ, славно помогала его развитію и вмѣстѣ съ тѣмъ изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горѣли умомъ и вниманіемъ; пяти лѣтъ онъ умѣлъ дразнить намѣренно-каррикатурно всѣхъ приходившихъ къ намъ, съ такимъ комическимъ тактомъ, что нельзя было не смѣяться.

Въ полгода онъ сдѣлалъ въ школѣ большіе успѣхи. Его голосъ былъ voilé; онъ мало обозначалъ ударенія, но уже говорилъ очень порядочно по нѣмецки, и понималъ все, что ему говорили съ разстановкой; все шло какъ нельзя лучше; проѣзжая черезъ Цюрихъ, я благодарилъ директора и совѣтъ, дѣлалъ имъ разныя любезности, они мнѣ.

Но послѣ моего отъѣзда, старѣйшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русскій графъ, а русскій эмигрантъ и, къ тому же, пріятель съ радикальной партіей, которую они терпѣть не могли, да еще и съ соціалистами, которыхъ они ненавидѣли, и, что хуже всего этого вмѣстѣ, что я человѣкъ не религіозный и открыто признаюсь въ этомъ. Послѣднее они вычитали въ ужасной книжкѣ: Vom andern Ufer, вышедшей, какъ на смѣхъ, у нихъ подъ носомъ, изъ лучшей цюрихской типографіи. Узнавъ это, имъ стало совѣстно, что они даютъ воспитаніе сыну человѣка, не вѣрящаго ни по Лютеру, ни по Лойолѣ, и они принялись искать средствъ, чтобъ сбыть его съ рукъ. Такъ какъ провидѣніе въ этомъ вопросѣ было заинтересовано, то оно имъ тот-

часъ и указало путь. Городская полиція вдругъ потребовала *паспортъ ребенка*; я отвѣчалъ изъ Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля дѣйствительно мой сынъ, что онъ означенъ на моемъ паспортѣ, но что особаго вида я не могу взять изъ русскаго посольства, находясь съ нимъ не въ самыхъ лучшихъ сношеніяхъ. Полиція не удовлетворилась и грозила выслать ребенка изъ школы и изъ города. Я разсказалъ это въ Парижѣ, кто-то изъ моихъ знакомыхъ напечаталъ объ этомъ въ National'ѣ. Устыдившись гласности, полиція сказала, что она не требуетъ высылки, а только какую-то ничтожную сумму денегъ въ обезпеченіе (caution), что ребенокъ не кто нибудь другой, а онъ самъ. Какое же обезпеченіе нѣсколько сотъ франковъ? А съ другой стороны, еслибъ у моей матери и у меня не было ихъ, такъ ребенка выслали бы (я спрашивалъ ихъ объ этомъ черезъ „National“)? И это могло быть въ XIX столѣтіи, въ свободной Швейцаріи! Послѣ случившагося мнѣ было противно оставлять ребенка въ этой ослиной пещерѣ.

Но что же было дѣлать? Лучшій учитель въ заведеніи, молодой человѣкъ, отдавшійся съ увлеченіемъ педагогіи глухонѣмыхъ, человѣкъ съ основательнымъ университетскимъ образованіемъ, по счастію не дѣлилъ мнѣній полицейскаго синхедріона и былъ большой почитатель именно той книги, за которую разсвирѣпѣли благочестивые квартальные Цюрихскаго кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти въ домъ моей матери, съ тѣмъ, чтобы ѣхать съ ней въ Италію. Онъ, разумѣется, согласился. Институтъ взбѣсился, но дѣлать было нечего. Мать моя съ Колей и Шпильманомъ отправились въ Ниццу. Передъ отъѣздомъ она послала за своимъ залогомъ, ей его не выдали, подъ предло-

гомъ, что Коля еще въ Швейцаріи. Я написалъ изъ Ниццы. Цюрихская полиція потребовала свѣдѣній: имѣетъ ли Коля законное право жить въ Піэмонтѣ.

Это было уже слишкомъ, и я написалъ слѣдующее письмо къ президенту Цюрихскаго кантона:

„Г. Президентъ!

„Въ 1849 я помѣстилъ моего сына, пяти лѣтъ отъ роду, въ цюрихскій институтъ глухо-нѣмыхъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ цюрихская полиція потребовала у моей матери его паспортъ. Такъ какъ у насъ не спрашиваютъ ни у новорожденныхъ, ни у дѣтей, ходящихъ въ школу, паспортовъ, то сынъ мой и не имѣлъ отдѣльнаго вида, а былъ помѣщенъ на моемъ. Это объясненіе не удовлетворило цюрихскую полицію. Она потребовала залогъ. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшаго на себя столько опасливаго подозрѣнія со стороны цюрихской полиціи, вышлютъ—внесла его.

„Въ Августѣ 1850 г., желая оставить Швейцарію, моя мать потребовала залогъ, но цюрихская полиція его не отдала; она хотѣла прежде узнать о дѣйствительномъ отъѣздѣ ребенка изъ кантона. Пріѣхавъ въ Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, при чемъ она приложила свидѣтельство о томъ, что мы и, главное, шести-лѣтній и подозрительный сынъ мой находимся въ Ниццѣ, а не въ Цюрихѣ. Цюрихская полиція, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другаго свидѣтельства, въ которомъ здѣшняя полиція должна была засвидѣтельствовать: „что сыну моему официально позволяется жить въ Піэмонтѣ“ (que l'enfant est officielement toleré). Г. Шултесъ сообщилъ это г. Авигдору.

„Видя такое эксцентрическое любопытство цюрих-

ской полиціи, я отказался отъ предложенія г. Авигдора послать новое свидѣтельство, которое онъ очень любезно предложилъ мнѣ самъ взять. Я не хотѣлъ доставить этого удовольствія цюрихской полиціи, потому что она, при всей важности своего положенія, все же не имѣетъ права ставить себя полиціей международной, и потому еще, что требованіе ея не только обидно для меня, но и для Піэмонта.

„Сардинское правительство, господинъ Президентъ, правительство образованное и свободное. Какъ же возможно, чтобъ оно не дозволило жить (ne tolerât pas) въ Піэмонтѣ больному ребенку шести лѣтъ? Я дѣйствительно не знаю, какъ мнѣ считать этотъ запросъ цюрихской полиціи: за странную шутку или за слѣдствіе пристрастія къ залогамъ вообще.

„Представляя на ваше разсмотрѣніе, г. Президентъ, это дѣло, я буду васъ просить, какъ особеннаго одолженія, въ случаѣ новаго отказа, объяснить мнѣ это происшествіе, которое слишкомъ любопытно и интересно, чтобъ я считалъ себя въ правѣ скрыть его отъ общаго свѣдѣнія.

„Я снова писалъ къ г. Шултесу о полученіи денегъ и могу васъ смѣло увѣрить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенокъ, не имѣемъ ни малѣшаго желанія, послѣ всѣхъ полицейскихъ непріятностей, возвращаться въ Цюрихъ. Съ этой стороны нѣтъ ни тѣни опасности.“

Ницца, 9 Сентября 1850.

Само собою разумѣется, что послѣ этого полиція города Цюриха, не смотря на вселенскія притязанія, выплатила залогъ.

... Кромѣ Швейцарской натурализаціи, я не принялъ

бы въ Европѣ никакой, ни даже англійской; поступить добровольно въ подданство чье бы то ни было, было мнѣ противно. Не сквернаго барина на хорошаго хотѣлъ перемѣнить я, а выйти изъ крѣпостнаго состоянія въ свободные хлѣбопашцы. Для этого предстояли двѣ страны: Америка и Швейцарія.

Америка — я ее очень уважаю; вѣрю, что она призвана къ великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе къ Европѣ, чѣмъ была, но американская жизнь мнѣ антипатична. Весьма вѣроятно, что изъ угловатыхъ, грубыхъ, сухихъ элементовъ ея сложится иной бытъ. Америка не приняла осѣдлости, она не достроена, въ ней работники и мастеровые въ будничномъ платьѣ таскаютъ бревна, таскаютъ каменья, пилятъ, рубятъ, приколачиваютъ... Зачѣмъ же постороннему обживать ея сырое зданіе?

Сверхъ того, Америка, какъ сказалъ Гарибальди, „страна забвенія родины;“ пусть же въ нее ѣдутъ тѣ, которые не имѣютъ вѣры въ свое отечество, они должны ѣхать съ своихъ кладбищъ; совсѣмъ напротивъ, по мѣрѣ того, какъ я утрачивалъ всѣ надежды на романо-германскую Европу, вѣра въ Россію снова возрождалась, но думать о возвращеніи при Николаѣ было бы безуміемъ.

И такъ, оставалось вступить въ союзъ съ свободными людьми Гельветической конфедераціи.

Фази, еще въ 1849 году, обѣщалъ меня натурализировать въ Женевѣ, но все оттягивалъ дѣло; можетъ, ему просто не хотѣлось прибавить мною число соціалистовъ въ своемъ кантонѣ. Мнѣ это надоѣло, приходилось переживать черное время, послѣднія стѣны покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до бѣды... Карлъ Фогтъ предложилъ мнѣ списаться о моей

[illegible] который былъ тогда [illegible] и [illegible] таковшей [illegible]

[illegible] любо поговорить [illegible]

[illegible] жизни германъ [illegible] на выкупъ ей. [illegible] силы, упор[illegible] людей [illegible] сохраняя изъ [illegible] на какой ни[illegible] архитектуры домъ въ узкомъ [illegible] представить себѣ, сколько въ [illegible] по стоптаннымъ каменнымъ ступенькамъ его лѣстницы молодыхъ парней съ котомкой за плечами, съ всевозможными сувенирами изъ волосъ и сорванныхъ цвѣтовъ въ котомкѣ, благословляемые на путь слезами матери и сестеръ... и пошли въ міръ, оставленные на однѣ свои силы, и сдѣлались извѣстными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домикъ, крытый черепицей, въ ихъ отсутствіе опять наполнялся новымъ поколѣніемъ студентовъ, рвущихся грудью впередъ въ неизвѣстную будущность.

За неимѣніемъ другаго, тутъ есть наслѣдство примѣра, наслѣдство фибрина. Каждый начинаетъ самъ и знаетъ, что придетъ время, и его выпроводитъ старушка бабушка по стоптанной каменной лѣстницѣ, бабушка, принявшая своими руками въ жизнь три поколѣнія, мывшая ихъ въ маленькой ваннѣ и отпускавшая ихъ съ полною надеждой; онъ знаетъ, что гордая старушка увѣрена и въ немъ, увѣрена, что и изъ него выйдетъ что нибудь... и выйдетъ непремѣнно!

Dann und wann, черезъ много лѣтъ, все это разсѣянное населеніе побываетъ въ старомъ домикѣ, всѣ эти состарившіеся оригиналы портретовъ, высящихъ въ маленькой гостинной, гдѣ они представлены въ студенческихъ беретахъ, завернутые въ плащи, съ рембрантовскимъ притязаніемъ со стороны живописца—въ домѣ тогда становится суетливѣе, два поколѣнія знакомятся, сближаются..... и потомъ опять все идетъ на трудъ. Разумѣется, что при этомъ кто нибудь непремѣнно въ кого нибудь хронически влюбленъ, разумѣется, что дѣло не обходится безъ сентиментальности, слезъ, сюрпризовъ и сладкихъ пирожковъ съ вареньемъ, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзіей съ мышцами и силой, которую я рѣдко встрѣчалъ въ выродившихся, рахитическихъ дѣтяхъ аристократіи, и еще менѣе у мѣщанства, строго соразмѣряющаго число дѣтей съ приходо - расходной книгой.

Вотъ къ этимъ-то благословеннымъ семьямъ древнегерманскимъ принадлежитъ родительскій домъ Фогта.

Отецъ Фогта чрезвычайно даровитый професоръ медицины въ Бернѣ; мать—изъ рода Фолленовъ, изъ этой эксцентрической, нѣкогда надѣлавшей большаго шума, швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами *юной* Германіи въ эпоху тугендбундовъ и буршеншафтовъ, Карла Занда и политическаго S:hwärmerei 17 и 18 годовъ. Одинъ Фолленъ былъ брошенъ въ тюрьму за Вахтбургскій праздникъ въ память Лютера: онъ произнесъ дѣйствительно зажигательную рѣчь, вслѣдъ за которою сжегъ на кострѣ іезуитскія и реакціонныя книги, всякіе символы самодержавія и папской власти. Студенты мечтали сдѣлать его императоромъ единой и нераздѣльной Германіи. Его внукъ,

Карлъ Фогтъ, въ самомъ дѣлѣ былъ однимъ *изъ викаріевъ имперіи* въ 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь въ жилахъ сына бернскаго професора, внука Фолленовъ. А вѣдь, au bout du compte, все зависитъ отъ химическаго соединенія, да отъ качества элементовъ. Не Карлъ Фогтъ станетъ со мной спорить объ этомъ.

Въ 1851 г. я былъ проѣздомъ въ Бернѣ. Прямо изъ почтовой кареты я отправился къ Фогтову отцу съ письмомъ сына. Онъ былъ въ университетѣ. Меня встрѣтила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла какъ друга своего сына и тотчасъ повела показывать его портретъ. Мужа она не ждала ранѣе 6 часовъ; мнѣ его очень хотѣлось видѣть, я возвратился, но онъ уже уѣхалъ на какую-то консультацію къ больному. Второй разъ старушка встрѣтила меня уже какъ стараго знакомаго и повела въ столовую, желая, чтобъ я выпилъ рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большимъ круглымъ столомъ, неподвижно прикрѣпленнымъ къ полу; объ этомъ столѣ я уже давно слышалъ отъ Фогта, и потому очень радъ былъ лично познакомиться съ нимъ. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофей, вино и все нужное для ѣды, тарелки, горчицу, соль, такъ что, не безпокоя никого и безъ прислуги, каждый привертывалъ къ себѣ что хотѣлъ, ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вмѣсто горчицы можно было попасть ложкой въ сахаръ... если кто нибудь повертывалъ дискъ. Въ этомъ населеніи братьевъ и сестеръ, короткихъ знакомыхъ и родныхъ, гдѣ всѣ были заняты розно, срочно, общій обѣдъ вечеромъ было трудно устроить. Кто приходилъ и кому хотѣлось ѣсть,

тотъ садился за столъ, вертѣлъ его на право, вертѣлъ его на лѣво, и управлялся какъ нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другаго.

Остаться у нихъ я не могъ; ко мнѣ вечеромъ хотѣли пріѣхать Фази и Шаллеръ, бывшіе тогда въ Бернѣ; я обѣщалъ, если пробуду еще полъ дня, зайти къ Фогтамъ и, пригласивши меньшаго брата, юриста, къ себѣ ужинать, пошелъ домой. Звать старика такъ поздно и послѣ такого дня, я не счелъ возможнымъ. Но около двѣнадцати часовъ гарсонъ, почтительно отворая двери передъ кѣмъ-то, возвѣстилъ намъ: Der Herr Professor Vogt, — я всталъ изъ за стола и пошелъ къ нему на встрѣчу.

Вошелъ старикъ довольно высокаго роста, съ умнымъ, выразительнымъ лицемъ, превосходно сохранившійся.

— Ваше посѣщеніе, сказалъ я ему, мнѣ вдвойнѣ дорого, я не смѣлъ васъ звать такъ поздно, послѣ вашихъ трудовъ.

— А я не хотѣлъ васъ пропустить черезъ Бернъ, не увидавшись съ вами. Услышавъ, что вы были у насъ два раза и что вы пригласили Густава, я пригласилъ самъ себя. Очень, очень радъ, что вижу васъ, то, что Карлъ о васъ пишетъ, да и безъ комплиментовъ, я хотѣлъ познакомиться съ авторомъ „Съ того берега.“

— Душевно благодарю васъ; вотъ мѣсто, садитесь съ нами, у насъ ужинъ во всемъ разгарѣ, что вамъ угодно?

— Я не буду ѣсть, но рюмку вина выпью съ удовольствіемъ.

Въ его видѣ, словахъ, движеніяхъ было столько непринужденности, вмѣстѣ — не съ тѣмъ добродушіемъ, которое имѣютъ люди вялые, прѣсные и чувствитель-

ные — а именно, съ добродушіемъ людей сильныхъ и увѣренныхъ въ себѣ. Его появленіе нисколько не стѣснило насъ, напротивъ, все пошло живѣе.

Разговоръ переходилъ отъ предмета къ предмету, вездѣ, во всемъ онъ былъ дома, уменъ, evcillé, оригиналенъ. Рѣчь зашла какъ-то о федеральномъ концертѣ, который давался утромъ въ бернскомъ соборѣ, и на которомъ были всѣ, кромѣ Фогта. Концертъ былъ гигантскій, со всей Швейцаріи съѣхались музыканты, пѣвцы и пѣвицы для участія въ немъ. Музыка, разумѣется, была духовная. Съ талантомъ и пониманіемъ исполнили они знаменитое твореніе Гайдена. Публика была внимательна, но холодна, она шла изъ собора, какъ идутъ отъ обѣдни; не знаю, насколько было благочестія, но увлеченія не было. Я тоже испыталъ на самомъ себѣ. Въ припадкѣ откровенности, я сказалъ это знакомымъ, съ которыми выходилъ; по несчастію, это были правовѣрные, ученые, горячіе музыканты, они напали на меня, объявили меня профаномъ, неумѣющимъ слушать музыку глубокую, серьезную. „Вамъ только нравятся мазурки Шопена," говорили они. Въ этомъ еще нѣтъ бѣды, думалъ я, но, считая себя все же несостоятельнымъ судьей, замолчалъ.

Надобно имѣть много храбрости, чтобъ признаваться въ такихъ впечатлѣніяхъ, которыя противорѣчатъ общепринятому предразсудку или мнѣнію. Я долго не рѣшался при постороннихъ сказать, что „Освобожденный Іерусалимъ"—скученъ, что „Новую Элоизу"—я не могъ дочитать до конца, что „Германъ и Доротея"— произведеніе мастерское, но утомляющее до противности. Я сказалъ что-то въ этомъ родѣ Фогту, разсказывая ему мое замѣчаніе о концертѣ.

— А что, спросилъ онъ, Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, безъ всякихъ границъ.

— Я зналъ это, потому что я вполнѣ вамъ сочувствую. Какъ же это возможно, чтобъ живой, современный человѣкъ могъ себя такъ искуственно натянуть на религіозное настроеніе, чтобъ наслажденіе его было естественно и полно. Для насъ также нѣтъ піэтистической музыки, какъ нѣтъ духовной литературы, она для насъ имѣетъ смыслъ историческій. У Моцарта, напротивъ, звучитъ намъ знакомая жизнь, онъ поетъ отъ избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда Don-Giovani, когда Nozze di Figaro были новостію, что это былъ за восторгъ, что за откровеніе новаго источника наслажденій! Моцартова музыка сдѣлала эпоху, переворотъ въ умахъ, какъ Гётевъ Фаустъ, какъ 1789 годъ. Мы видѣли въ его произведеніяхъ, какъ свѣтская мысль XVIII-го столѣтія съ своей секулярпзаціей жизни вторгалась въ музыку; съ Моцартомъ революція и новый вѣкъ вошли въ искуство. Ну какъ же намъ послѣ Фауста читать Клопштока и безъ вѣры слушать эти литургіи въ музыкѣ?...

Долго и необыкновенно занимательно говорилъ старикъ, онъ одушевился, я налилъ еще раза два вина въ его бокалъ, онъ не отказывался и не торопился пить. Наконецъ, онъ посмотрѣлъ на часы: — „Ба, ужъ два часа, прощайте, мнѣ въ девять надобно быть у больнаго.“

Я съ истинной дружбой проводилъ его.

Два года спустя, онъ доказалъ, какъ много энергіи въ его сѣдой головѣ, и какъ его теоріи—*правда*, т. е. какъ онѣ близки къ практикѣ. Вѣнскій рефюжье, докторъ Кудлихъ посватался за одну изъ дочерей Фогта; отецъ былъ согласенъ, но вдругъ протестантская консисторія потребовала метрическія свидѣтельства жени-

ха. Разумѣется, ему, какъ изганнику, ничего нельзя было достать изъ Австріи, и онъ, представилъ приговоръ, по которому былъ осужденъ заочно; одного свидѣтельства Фогта и его дозволенія было бы достаточно для консисторіи, но бернскіе піэтисты, по инстинкту ненавидѣвшіе Фогта и всѣхъ изгнанниковъ, уперлись. Тогда Фогтъ собралъ всѣхъ своихъ друзей, профессоровъ и разныя бернскія знаменитости, разсказалъ имъ дѣло, потомъ позвалъ свою дочь и Кудлиха, взялъ ихъ руки, соединилъ и сказалъ присутствовавшимъ: „Васъ, друзья, беру въ свидѣтели, что я, какъ отецъ, благословляю этотъ бракъ и отдаю мою дочь, по ея желанію за такого-то.“

Поступокъ этотъ ошеломилъ піэтистическое общество въ Швейцаріи; оно съ негодованіемъ и ужасомъ взглянуло на этотъ антецедентъ, сдѣланный не горячимъ юношей, не бездомнымъ изгнанникомъ, а старцемъ безукоризненнымъ и уважаемымъ всѣми.

Теперь отъ отца перейдемте къ его старшему сыну.

Я съ нимъ познакомился въ 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы въ два года нашей жизни въ Ниццѣ. Это не только свѣтлый умъ, но и самый свѣтлый нравъ изъ всѣхъ видѣнныхъ мною. Я счелъ бы его за очень счастливаго человѣка, еслибъ зналъ, что онъ не долго проживетъ; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сихъ поръ, донимая только одними мигренями. Его натура реальная, живая, всему раскрытая — имѣетъ многое, чтобъ наслаждаться, все, чтобъ никогда не скучать, и почти ничего, чтобъ мучиться внутренно, разъѣдать себя недовольной мыслію, страдать теоретически — сомнѣніемъ и практически — тоской по несбывшимся мечтамъ. Страстный поклонникъ красотъ природы, неутомимый работникъ въ нау-

кѣ, онъ все дѣлалъ необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художникъ въ своемъ дѣлѣ, онъ имъ наслаждался; радикалъ — по темпераменту, реалистъ — по организаціи, и гуманный человѣкъ — по ясному и добродушно ироническому взгляду, онъ жилъ именно въ той жизненной средѣ, къ которой единственно идутъ Дантовскія слова; Qui e l'uomo felice.

Онъ прожилъ жизнь дѣятельно и беззаботно, нигдѣ не отставая, вездѣ въ первомъ ряду; не боясь горькихъ истинъ, онъ также пристально всматривался въ людей, какъ въ полипы и медузы, ничего не требуя ни отъ тѣхъ, ни отъ другихъ, кромѣ того, что они могутъ дать. Онъ не поверхностно изучалъ, но не чувствовалъ потребности переходить извѣстную глубину, за которой и оканчивается все свѣтлое, и которая, въ сущности, представляетъ своего рода выходъ изъ дѣйствительности. Его не манило въ тѣ нервные омуты, въ которыхъ люди упиваются страданіями. Простое и ясное отношеніе къ жизни исключало изъ его здороваго взгляда ту поэзію печальныхъ восторговъ и болѣзненнаго юмора, которую мы любимъ, какъ все потрясающее и ѣдкое. Его иронія, какъ я замѣтилъ, была добродушна, его насмѣшка весела; онъ смѣялся первый и отъ души своимъ шуткамъ, которыми отравлялъ чернило и пиво педантовъ-професоровъ и своихъ товарищей по парламенту in der Paul's Kirche.

Въ этомъ жизненномъ реализмѣ было то общее, симпатическое, что насъ связывало; хотя жизнь и развитіе наше были такъ розны, что мы во многомъ расходились.

Во мнѣ не было и не могло быть той спѣтости и того единства, какъ у Фогта. Воспитаніе его шло такъ же правильно, какъ мое безсистемно; ни семейная связь,

ни теоретическій ростъ никогда не обрывались у него, онъ продолжалъ традицію семьи. Отецъ стоялъ возлѣ примѣромъ и помощникомъ; глядя на него, онъ сталъ заниматься естественными науками. У насъ обыкновенно поколѣніе съ поколѣніемъ расчленено; общей, нравственной связи у насъ нѣтъ. Я съ раннихъ лѣтъ долженъ былъ бороться съ воззрѣніемъ всего окружавшаго меня, я дѣлалъ опозицію въ дѣтской, потому что старшіе наши, наши дѣды были не Фоллены, а помѣщики и сенаторы. Выходя изъ нея, я съ той же запальчивостію бросился въ другой бой и только что кончилъ университетскій курсъ, былъ уже въ тюрьмѣ, потомъ въ ссылкѣ. Наука на этомъ переломилась, тутъ представилось иное изученіе, изученіе міра несчастнаго съ одной стороны, грязнаго съ другой.

Наскучивъ этой патологіей, я бросился съ жадностью на философію, отъ которой Фогтъ чувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Окончивъ курсъ медицины и получивъ дипломъ доктора, онъ не рѣшился лечить, говоря, что не достаточно вѣритъ въ врачебную кабалистику, и снова весь отдался физіологіи. Трудъ его очень скоро обратилъ на себя вниманіе не только нѣмецкихъ ученыхъ, но и парижской академіи наукъ. Онъ уже былъ професоромъ сравнительной анатоміи въ Гисенѣ, товарищемъ Либиха, (съ которымъ велъ потомъ озлобленную химико-теологическую полемику), когда революціонный шквалъ 1848 года оторвалъ его отъ микроскопа и бросилъ въ франкфуртскій парламентъ.

Разумѣется, что онъ сталъ въ самый радикальный рядъ, говорилъ исполненныя остроты и отваги рѣчи, выводилъ изъ терпѣнія умѣренныхъ прогресистовъ, а иногда и неумѣреннаго короля прусскаго. Вовсе не будучи политическимъ человѣкомъ, онъ по удѣльному

вѣсу сдѣлался однимъ изъ „лидеровъ“ опозиціи, и когда эрцъ-герцогъ Іоаннъ, бывшій какимъ-то викаріемъ имперіи, окончательно сбросилъ съ себя маску добродушія и популярности, заслуженной тѣмъ, что онъ женился когда-то на дочери станціоннаго смотрителя и иногда ходилъ во фракѣ, Фогтъ съ четырьмя товарищами были выбраны на его мѣсто. Тутъ дѣла нѣмецкой революціи пошли быстро подъ гору: правительства достигли цѣли, выиграли нужное время (по совѣту Метерниха) — щадить парламентъ имъ было безполезно. Изгнанный изъ Франкфурта, парламентъ мелькнулъ какой-то тѣнью въ Стутгардтѣ, подъ печальнымъ названіемъ Nach-Parlament, тамъ его реакція и придушила. Оставалось викаріямъ по добру, да по здорову уѣхать отъ вѣрной тюрьмы и каторжной работы... Переѣхавъ швейцарскія горы, Фогтъ стряхнулъ съ себя пыль франкфуртскаго собора и, росписавшись въ книгѣ путешественниковъ „К. Фогтъ — викарій Германской имперіи въ бѣгахъ,“ снова принялся съ той же невозмутимой ясностью, веселымъ расположеніемъ духа и неутомимымъ трудолюбіемъ за естественныя науки. Съ цѣлью изученія морскихъ зоофитовъ онъ поѣхалъ въ Ниццу въ 1850.

Не смотря на то, что мы шли съ разныхъ сторонъ и разными путями, мы встрѣтились на *трезвомъ совершеннолѣтіи въ наукѣ.*

Былъ ли я такъ послѣдователенъ какъ Фогтъ — и *въ жизни*, трезво ли я на нее смотрѣлъ? Теперь мнѣ кажется, что нѣтъ. Да я не знаю, впрочемъ, хорошо ли начинать съ трезвости; она не только *предупреждаетъ* много бѣдствій, но и лучшія минуты жизни. Вопросъ трудный, который, по счастію, для каждаго разрѣшается не разсужденіями и волей, а организаціей и собы-

тіями. Теоретически освобожденный, я не то, что хранилъ разныя непослѣдовательныя вѣрованія, *а они сами остались*; романтизмъ революціи я пережилъ, мистическое вѣрованіе въ прогресъ, въ человѣчество, оставалось дольше другихъ теологическихъ догматовъ; а когда я ихъ пережилъ, у меня еще оставалась религія личностей, вѣра въ двухъ, трехъ, увѣренность въ себя, въ волю человѣческую. Тутъ были, разумѣется, противорѣчія; внутреннія противорѣчія ведутъ къ несчастіямъ, тѣмъ болѣе прискорбнымъ, обиднымъ, что у нихъ впередъ отнято послѣднее человѣческое утѣшеніе, оправданіе себя въ своихъ собственныхъ глазахъ...

Въ Ниццѣ Фогтъ принялся съ необыкновенной ревностью за дѣло... Покойные, теплые заливы Средиземнаго моря представляютъ богатую колыбель всѣмъ frutti di mare, вода просто полна ими. Ночью бразды ихъ фосфорнаго огня тянутся, мерцая за лодкой, тянутся за весломъ, салпы можно брать рукой, всякимъ сосудомъ. Стало быть, въ матеріалѣ не было недостатка Съ ранняго утра сидѣлъ Фогтъ за микроскопомъ, наблюдалъ, рисовалъ, писалъ, читалъ, и часовъ въ пять бросался, иногда со мной, въ море (плавалъ онъ какъ рыба); потомъ онъ приходилъ къ намъ обѣдать и, вѣчно веселый, былъ готовъ на ученый споръ и на всякіе пустяки, пѣлъ за фортепьяно уморительныя пѣсни или разсказывалъ дѣтямъ сказки съ такимъ мастерствомъ, что они, не вставая, слушали его цѣлые часы.

Фогтъ обладаетъ огромнымъ талантомъ преподаванія. Онъ, полушутя, читалъ у насъ нѣсколько лекцій физіологіи для дамъ. Все у него выходило такъ живо, такъ просто и такъ пластически выразительно, что дальній путь, которымъ онъ достигъ этой ясности, не былъ замѣтенъ. Въ этомъ-то и состоитъ вся задача педагогіи

— сдѣлать науку до того понятной и усвоенной, чтобъ заставить ее говорить простымъ, *обыкновеннымъ* языкомъ.

Трудныхъ наукъ нѣтъ, есть только трудныя изложенія, т. е. непереваримыя. Ученый языкъ, языкъ условный, подъ титлами, языкъ стенографированный, временной, пригодный ученикамъ; содержаніе спрятано въ его алгебраическихъ формулахъ для того, чтобъ, раскрывая законъ, не повторять сто разъ одного и того же. Переходя рядомъ схоластическихъ пріемовъ, содержаніе науки обрастаетъ всей этой школьной дрянью,—а доктринеры до того привыкаютъ къ уродливому языку, что другаго не употребляютъ, имъ онъ кажется понятенъ— въ стары годы имъ этотъ языкъ былъ даже дорогъ, какъ трудовая копѣйка, какъ отличіе отъ языка вульгарнаго. По мѣрѣ того, какъ мы изъ учениковъ переходимъ къ дѣйствительному знанію — стропилы и подмостки становятся противны—мы ищемъ простоты. Кто не замѣтилъ, что учащіеся вообще употребляютъ гораздо больше трудныхъ терминовъ, чѣмъ выучившіеся.

Вторая причина темноты въ наукѣ происходитъ отъ недобросовѣстности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отдѣлаться отъ опасныхъ вопросовъ. Наука, имѣющая какую нибудь цѣль, вмѣсто истиннаго знанія—не наука. Она должна имѣть смѣлость прямой, открытой рѣчи. Въ недостаткѣ откровенности, въ робкихъ уступкахъ никто не обвинитъ Фогта. Скорѣе „нѣжныя души“ упрекнутъ его въ томъ, что онъ слишкомъ прямо и слишкомъ просто высказываетъ свою правду, находящуюся въ прямомъ противорѣчіи съ общепринятой ложью. Христіанское воззрѣніе пріучило къ дуализму и идеальнымъ образамъ такъ сильно, что насъ непріятно поражаетъ все естественно здоровое;

нашъ умъ, свихнутый вѣками, гнушается голой красотой, дневнымъ свѣтомъ и требуетъ сумерокъ и покрывала.

Читая Фогта, многимъ обидно, что ему ничего не стоитъ принимать самыя рѣзкія послѣдствія, что ему жертвовать такъ легко, что онъ не дѣлаетъ усилій, не мучится, желая примирить теодицею съ біологіей—ему до первой какъ будто дѣла нѣтъ.

Дѣйствительно, натура Фогта такова, что онъ никогда иначе не думалъ и *не могъ* иначе думать, въ этомъ то и состоитъ его непосредственный реализмъ. Теологическія возраженія могли ему представлять только историческій интересъ; нелѣпость дуализма до того ясна его простому взгляду, что онъ не можетъ вступать въ серьозный споръ съ нимъ, такъ какъ его противники — химическіе богословы и святые отцы физіологіи—въ свою очередь не могутъ серьезно опровергать магію или астрологію. Фогтъ отшучивается отъ ихъ нападокъ—а этого по несчастію мало.

Вздоръ, которымъ ему возражаютъ, вздоръ всемірный и по этому очень важный. Дѣтство человѣческаго мозга таково, что онъ не беретъ простой истины; для сбитыхъ съ толку, разсѣянныхъ, смутныхъ умовъ только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелѣпо.

Тутъ нечего ссылаться на толпу; литература, образованные круги, судебныя мѣста, учебныя заведенія, правительства и революціонеры поддерживаютъ напереперывъ родовое безуміе человѣчества. И какъ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ сухой деистъ Робеспьеръ казнилъ Анахарсиса Клоца, такъ какіе нибудь Вагнеры отдали бы сегодня Фогта въ руки палача.

Бой невозможенъ, сила съ ихъ стороны. Противъ

горсти ученыхъ, натуралистовъ, медиковъ, двухъ-трехъ мыслителей, поэтовъ, — весь міръ, отъ Пія IX „съ незапятнаннымъ зачатіемъ“ до Маццини съ „республиканскимъ Iddio;“ отъ московскихъ православныхъ кликушъ славянизма до генералъ-лейтенанта Радовица, который, умирая, завѣщалъ профессору физіологіи Вагнеру то, чего еще никому не приходило въ голову завѣщать — *безсмертіе души* и ея защиту; отъ американскихъ заклинателей, вызывающихъ покойниковъ, — до англійскихъ полковниковъ-мисіонеровъ, проповѣдующихъ верхомъ передъ фронтомъ слово божіе индійцамъ. Людямъ свободнымъ остается одно сознаніе своей правоты и надежда на будущія поколѣнія.

... А если докажутъ, что это безуміе, эта религіозная манія — единственное условіе гражданскаго общества, что для того, чтобъ человѣкъ спокойно жилъ возлѣ человѣка, надобно обоихъ свести съ ума и запугать, что эта манія—единственная уловка, въ силу которой творится исторія?

Я помню французскую каррикатуру, сдѣланную когда-то противъ фурьеристовъ, съ ихъ attraction passionnée: на ней представленъ оселъ, у котораго на спинѣ прикрѣпленъ шестъ, а на шестѣ повѣшено сѣно, такъ чтобъ онъ могъ его видѣть. Оселъ, думая достать сѣно, долженъ идти впередъ — двигалось, разумѣется, и сѣно—онъ шелъ за нимъ. Можетъ, доброе животное и прошло бы далѣе такъ, но вѣдь все таки *оно осталось бы въ дуракахъ!*

Перехожу теперь къ тому, какъ одна страна радушно приняла меня въ то самое время, какъ другая безъ всякаго повода вытолкнула.

Шаллеръ обѣщалъ Фогту похлопотать о моей нату-

рализаціи, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня и потомъ поддержать дѣло въ Большомъ совѣтѣ. Въ Швейцаріи для натурализаціи необходимо, чтобъ предварительно какое нибудь сельское или городское общество было согласно на принятіе новаго согражданина, что совевшенно согласно съ самозаконностью каждаго кантона и каждаго мѣстечка въ свою очередь. Деревенька Шатель, близъ Мора (Муртенъ), соглашалась за небольшой взносъ денегъ въ пользу сельскаго общества принять мою семью въ число своихъ крестьянскихъ семей. Деревенька эта недалеко отъ Муртенскаго озера, возлѣ котораго былъ разбитъ и убитъ Карлъ Смѣлый, несчастная смерть и имя котораго такъ ловко послужили австрійской ценсурѣ (а потомъ и петербургской), для замѣны имени Вильгельма Теля въ Россиніевской оперѣ.

Когда дѣло поступило въ Большой совѣтъ, два іезуитствующіе депутата подняли голосъ противъ меня, но ничего не сдѣлали. Одинъ изъ нихъ говорилъ, что надобно было бы знать, почему я былъ въ ссылкѣ, и чѣмъ навлекъ гнѣвъ Николая. „Да, это само по себѣ рекомендація!“ — отвѣчалъ ему кто-то, и всѣ засмѣялись. Другой, изъ видовъ предупредительной осторожности, требовалъ новыхъ обеспеченій, чтобъ, въ случаѣ моей смерти, воспитаніе и содержаніе моихъ дѣтей не пало на бѣдную комуну. Удовлетворился и этотъ сынъ во Іисусѣ отвѣтомъ Шаллера. Мои права гражданства были признаны огромнымъ большинствомъ, и я сдѣлался изъ русскихъ надворныхъ совѣтниковъ тягловымъ крестьяниномъ сельца Шателя, что подъ Муртеномъ, originaire de Châtel près Morat, какъ росписался фрибургскій писарь на моемъ паспортѣ.

Натурализація нисколько не мѣшаетъ, впрочемъ,

карьерѣ въ Россіи, я имѣю два блестящихъ примѣра передъ глазами: Людовикъ Бонапартъ — гражданинъ Турговіи и Александръ Николаевичъ — бюргеръ Дармштадскій сдѣлались послѣ ихъ натурализаціи императорами. Такъ далеко я и не иду.

Получивъ вѣсть объ утвержденіи моихъ правъ, мнѣ было почти необходимо съѣздить поблагодарить новыхъ согражданъ и познакомиться съ ними. Къ тому же у меня именно въ это время была сильная потребность побыть одному, всмотрѣться въ себя, свѣрить прошлое, разглядѣть что нибудь въ туманѣ будущаго, и я былъ радъ внѣшнему толчку.

Наканунѣ моего отъѣзда изъ Ниццы я получилъ приглашеніе отъ начальника полиціи, de la sicurezza publica. Онъ мнѣ объявилъ приказъ министра внутреннихъ дѣлъ, выѣхать немедленно изъ сардинскихъ владѣній. Эта странная мѣра со стороны ручнаго и уклончиваго сардинскаго правительства удивила меня гораздо больше, чѣмъ высылка изъ Парижа въ 1850. Къ тому же и не было никакого повода.

Говорятъ, будто я обязанъ этимъ усердію двухъ-трехъ вѣрноподданныхъ русскихъ, жившихъ въ Ниццѣ, и въ числѣ ихъ мнѣ пріятно назвать министра юстиціи Панина; онъ не могъ вынести, что человѣкъ, навлекшій на себя высочайшій гнѣвъ Николая Павловича, не только покойно живетъ и даже въ одномъ городѣ съ нимъ, но еще пишетъ статейки, зная, что государь императоръ этого не жалуетъ. Пріѣхавъ въ Туринъ, юстиція, говорятъ, попросилъ, такъ, по доброму знакомству, министра Азеліо выслать меня. Сердце Азеліо чуяло вѣрно, что я въ крутицкихъ казармахъ, учась по итальянски, читалъ его La Disfida di Barletta—романъ „и не классическій и не старинный,“ хотя тоже скучный,

и ничего не сдѣлалъ; а можетъ и потому онъ не рѣшился меня *выслать*, что, прежде такихъ дружескихъ вниманій, надобно было *прислать* посланника, а Николай все еще дулся за мятежныя мысли Карла Альберта.

За то ницкій интендантъ и министры въ Туринѣ воспользовались рекомендаціей при первомъ же случаѣ. Нѣсколько дней до моей высылки, въ Ниццѣ было „народное волненіе," въ которомъ лодочники и лавочники, увлекаемые краснорѣчіемъ банкира Авигдора, протестовали, и притомъ довольно дерзко, говоря о независимости ницкаго графства, о его неотъемлемыхъ правахъ, — противъ уничтоженія свободнаго порта. Общее, легкое таможенное положеніе для всего королевства уменьшало ихъ привилегіи, безъ уваженія „къ независимости ницкаго графства" и къ его правамъ, „начертаннымъ на скрижаляхъ исторіи."

Авигдора, этого Оконеля Пальоне (такъ называется *сухая* рѣка, текущая въ Ниццѣ), посадили въ тюрьму, ночью ходили патрули, и народъ ходилъ, тѣ и другіе пѣли пѣсни и притомъ однѣ и тѣже — вотъ и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой изъ иностранцевъ не участвовалъ въ этомъ семейномъ дѣлѣ тарифовъ и таможенъ. Тѣмъ не менѣе интендантъ указалъ на нѣсколько человѣкъ изъ рефюжье, какъ на зачинщиковъ, и въ томъ числѣ на меня. Министерство, желая показать примѣръ цѣлебной строгости, велѣло меня прогнать вмѣстѣ съ другими.

Я пошелъ къ интенданту (изъ іезуитовъ) и, замѣтивъ ему, что это совершеннѣйшая роскошь высылать человѣка, который самъ ѣдетъ и у котораго визированный пасъ въ карманѣ, спросилъ его въ чемъ дѣло? Онъ увѣрялъ, что самъ такъ же удивленъ, какъ я, что мѣ-

ра взята министромъ внутреннихъ дѣлъ, даже безъ предварительнаго сношенія съ нимъ. При этомъ онъ былъ до того учтивъ, что у меня не осталось никакого сомнѣнія, что все это напакостилъ онъ. Я написалъ разговоръ мой съ нимъ извѣстному депутату опозиціи, Лоренцо Валеріо, и уѣхалъ въ Парижъ.

Валеріо свирѣпо напалъ на министра въ своей интерпеляціи и требовалъ отчета, почему меня выслали. Министръ мялся, отклонялъ всякое вліяніе русской дипломаціи, свалилъ все на доносы интенданта и смиренно заключилъ, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно съ удовольствіемъ измѣнитъ свое рѣшеніе.

Опозиція аплодировала. Слѣдственно, de facto запрещеніе было снято, но, не смотря на мое письмо къ министру, онъ мнѣ не отвѣчалъ. Рѣчь Валеріо и отвѣтъ на нее я прочиталъ въ газетахъ, и рѣшился ѣхать просто на просто въ Туринъ, на возвратномъ пути изъ Фрибурга. Чтобъ не имѣть отказа въ визѣ, я поѣхалъ безъ визы; на піэмонтской границѣ со стороны Швейцаріи пассы осматриваютъ безъ свирѣпаго ожесточенія французскихъ жандармовъ. Въ Туринѣ я пошелъ къ министру внутреннихъ дѣлъ: вмѣсто его меня принялъ его товарищъ, завѣдывавшій верховной полиціей, графъ Понсъ де-ла-Мартино, человѣкъ извѣстный въ тѣхъ краяхъ, умный, хитрый и преданный католической партіи.

Пріемъ его меня удивилъ. Онъ мнѣ сказалъ все то, что я ему хотѣлъ сказать; что-то подобное было со мной въ одно изъ свиданій съ Дуббельтомъ, но графъ Понсъ перещеголялъ.

Онъ былъ очень пожилыхъ лѣтъ, болѣзненный, худой, съ отталкивающей наружчостію, съ злыми и лука-

выми чертами, съ нѣсколько клерикальнымъ видомъ и жесткими, сѣдыми волосами на головѣ. Прежде чѣмъ я успѣлъ сказать десять словъ о причинѣ, почему я просилъ ауденціи у министра, онъ перебилъ меня словами:

— Да помилуйте, гдѣ же тутъ можетъ быть сомнѣніе... отправляйтесь въ Ниццу, отправляйтесь въ Геную, оставайтесь здѣсь—только безъ малѣйшей rancune, мы очень рады... это все надѣлалъ интендантъ... видите, мы еще ученики, не привыкли къ законности, къ конституціонному порядку. Если бы вы сдѣлали что нибудь противное законамъ, на то есть судъ, вамъ нечего тогда было бы пенять на несправедливость, неправда-ли?

— Совершенно согласенъ съ вами.

— А то *берутъ* мѣры, которыя раздражаютъ... заставляютъ кричать—и безъ всякой нужды!

Послѣ этой рѣчи противъ *самого себя*, онъ проворно схватилъ листъ бумаги съ министерскимъ заголовкомъ и написалъ: Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il ministro S. Martino—12 Luglio 1851. „Вотъ вамъ на всякій случай, впрочемъ, будьте увѣрены, до этой бумаги дѣло не дойдетъ. Я очень, очень радъ, что мы покончили съ вами это дѣло.“

Такъ какъ это значило vulgariter, „ступайте съ богомъ,“ то я и оставилъ моего Понса, улыбаясь впередъ лицу, которое сдѣлаетъ интендантъ въ Ниццѣ; но этого лица богъ мнѣ не привелъ видѣть, его смѣнили.

Но возвращаюсь къ Фрубургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проѣхавши по знаменитому мосту, какъ всѣ смертные, бывшіе въ Фрибургѣ, мы отправились съ добрымъ старичкомъ, канцлеромъ Фрибургскаго кантона, въ Шатель. Въ Муртенѣ префектъ

полиціи, человѣкъ энергическій и радикальный, просилъ насъ подождать у него, говоря, что староста поручилъ ему предупредить его о нашемъ пріѣздѣ, потому что ему и прочимъ домохозяевамъ было бы очень непріятно, еслибъ я пріѣхалъ невзначай, когда всѣ въ полѣ на работѣ. Погулявши часа два по Мора или Муртену, мы отправились и префектъ съ нами.

Возлѣ дома старосты ждали насъ нѣсколько пожилыхъ крестьянъ и впереди ихъ самъ староста, почтенный, высокаго роста, сѣдой и хотя нѣсколько сгорбившійся, но мускулистый старикъ. Онъ выступилъ впередъ, снялъ шляпу, протянулъ мнѣ широкую, сильную руку и, сказавъ Lieber Mitbürger... произнесъ привѣтственную рѣчь, на такомъ германо-швейцарскомъ нарѣчіи, что я ничего не понялъ. Приблизительно можно было догадаться, что онъ могъ мнѣ сказать, а потому, да еще взявъ въ соображеніе, что если я скрылъ, что не понимаю его, то и онъ скроетъ, что не понимаетъ меня, я смѣло отвѣчалъ на его рѣчь:

„Любезный гражданинъ староста, и любезные шателькіе сограждане! Я прихожу благодарить васъ за то, что вы въ вашей общинѣ дали пріютъ мнѣ и моимъ дѣтямъ и положили предѣлъ моему бездомному скитанію. Я, любезные граждане, не за тѣмъ оставилъ родину, чтобъ искать себѣ другой: я всѣмъ сердцемъ люблю народъ русскій, а Россію оставилъ потому, что не могъ быть нѣмымъ и праздднымъ свидѣтелемъ ея угнетенія; я оставилъ ее послѣ ссылки, преслѣдуемый свирѣпымъ самовластіемъ Николая. Рука его, достававшая меня вездѣ, гдѣ есть король или господинъ, не такъ длинна, чтобъ достать меня въ общинѣ вашей! Я спокойно прихожу подъ защиту и кровъ вашъ, какъ въ гавань, въ которой я всегда могу найти покой. Вы,

граждане Шателя, вы, эти нѣсколько человѣкъ, вы могли, принимая меня въ вашу среду, остановить занесенную руку русскаго императора, вооруженную милліономъ штыковъ. *Вы сильнѣе его!* Но сильны вы только вашими свободными, вѣковыми, республиканскими учрежденіями! Съ гордостью вступаю я въ вашъ союзъ! И да здравствуетъ Гельветическая республика!"

— Den neuen Bürger hoch! Es lebe der neue Bürger? отвѣчали старики и крѣпко жали мою руку; я самъ былъ нѣсколько взволнованъ!

Староста пригласилъ насъ къ себѣ.

Мы вошли и сѣли за длинный столъ на скамьяхъ, на столѣ былъ хлѣбъ и сыръ. Двое крестьянъ втащили страшной величины бутыль, больше тѣхъ классическихъ бутылей, которыя прѣютъ цѣлыя зимы въ старинныхъ нашихъ домахъ, въ углу на лежанкѣ, наполненныя наливками и настойками. Бутыль эта была въ плетеной корзинѣ и наполнена бѣлымъ виномъ. Староста сказалъ намъ, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль онъ помнитъ лѣтъ за тридцать, и что вино это употребляется только при чрезвычайныхъ случаяхъ. Всѣ крестьяне сѣли съ нами за столъ, кромѣ двухъ, хлопотавшихъ около каѳедральной бутылки. Они изъ нея наливали вино въ большую кружку, а староста наливалъ изъ кружки въ стаканы; передъ каждымъ крестьяниномъ былъ стаканъ, но мнѣ онъ принесъ нарядный хрустальный кубокъ, причемъ онъ замѣтилъ канцлеру и префекту: „Вы на этотъ разъ извините, почетный-то кубокъ ужъ нынче мы подадимъ нашему новому согражданину; съ вами мы свои люди."

Пока староста наливалъ вино въ стаканы, я замѣтилъ, что одинъ изъ присутствующихъ, одѣтый не со-

всѣмъ по крестьянски, былъ очень безпокоенъ, обтиралъ потъ, краснѣлъ, ему нездоровилось; когда же староста провозгласилъ мой тостъ, онъ съ какой-то отчаянной отвагой вскочилъ и, обращаясь ко мнѣ, началъ рѣчь. „Это, шепнулъ мнѣ на ухо староста съ значительнымъ видомъ, гражданинъ учитель въ нашей школѣ.“ Я всталъ.

Учитель говорилъ не по швейцарски, а по нѣмецки, да и не просто, а по образцамъ изъ нарочито-извѣстныхъ ораторовъ и писателей: онъ помянулъ и о Вильгельмѣ Телѣ и о Карлѣ Смѣломъ (какъ тутъ поступила бы австрійско-александринская театральная ценсура —развѣ назвала бы Вильгельма—Смѣлымъ, а Карла—Телемъ?), и при этомъ не забылъ не столько новое, сколько выразительное сравненіе неволи съ позлащенной клѣткой, изъ которой птица все же рвется; Николаю Павловичу досталось отъ него порядкомъ, онъ его ставилъ рядомъ съ очень облихованными людьми изъ римской исторіи. Я чуть не перервалъ его на этомъ, чтобъ сказать: „Не обижайте покойниковъ!“ но, какъ будто предвидя, что и Николай скоро будетъ въ ихъ числѣ, промолчалъ.

Крестьяне слушали его, вытянувъ загорѣлую, сморщившуюся шею, и прикладывая, въ видѣ глазнаго зонтика, руку къ ушамъ; канцлеръ немного вздремнулъ, и чтобъ скрыть это, первый похвалилъ оратора.

Между тѣмъ староста сидѣлъ не сложа руки, а усердно наливалъ вино, провозглашая, какъ самый привычный къ дѣлу церемоніймейстеръ, тосты. — За конфедерацію! За Фрибургъ и его радикальное правительство! За Президента Шаллера!

„За моихъ любезныхъ согражданъ въ Шателѣ!“ предложилъ я, наконецъ, чувствуя, что вино, не смотря на

слабый вкусъ, далеко не слабо. Всѣ встали... Староста говорилъ; „нѣтъ, нѣтъ, liber Mitbürger, полный кубокъ, какъ мы пили за васъ полный!“ Старички мои расходились, вино подогрѣло ихъ... „Привезите вашихъ дѣтей, говорилъ одинъ, — да, да, подхватили другіе, пусть они посмотрятъ, какъ мы живемъ, мы люди простые, дурному не научимъ, да и мы ихъ посмотримъ.“ — Непремѣнно, отвѣчалъ я, непремѣнно.

Тутъ староста ужъ пошелъ извиняться въ дурномъ пріемѣ, говоря, что во всемъ виноватъ канцлеръ, что ему слѣдовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное, что тогда встрѣтили бы меня и проводили ружейнымъ залпомъ. Я чуть не сказалъ ему à la Louis Philippe. — „Помилуйте... да что же случилось? — Однимъ крестьяниномъ только больше въ Шателѣ?“

Мы разстались большими друзьями. Меня нѣсколько удивило, что я не видѣлъ ни одной женщины, ни старухи, ни дѣвочки, да и ни одного молодаго человѣка. Впрочемъ, это было въ рабочую пору. Замѣчательно и то, что на такомъ рѣдкомъ для нихъ праздникѣ не былъ приглашенъ пасторъ.

Я имъ это поставилъ въ большую заслугу. Пасторъ непремѣнно испортилъ бы все, сказалъ бы глупую проповѣдь, и съ своимъ чиннымъ благочестіемъ похожъ былъ бы на муху въ стаканѣ съ виномъ, которую непремѣнно надобно вынуть, чтобъ пить съ удовольствіемъ.

Наконецъ, мы снова усѣлись въ небольшую коляску, или вѣрнѣе линейку канцлера, завезли префекта въ Мора, и покатились въ Фрибургъ. Небо было покрыто тучами, меня клонилъ сонъ и кружилось въ головѣ. Я усиливался не спать; неужели это ихъ вино? думалъ я

съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ самому себѣ... Канцлеръ лукаво улыбался, а потомъ самъ задремалъ; дождь сталъ накрапывать, я покрылся пальто, сталъ было засыпать... потомъ проснулся отъ прикосновенія холодной воды... дождь лилъ какъ изъ ведра, черныя тучи словно высѣкали огонь изъ скалистыхъ вершинъ, дальніе раскаты грома пересыпались по горамъ. Канцлеръ стоялъ въ сѣняхъ и громко смѣялся, говоря съ хозяиномъ Zöringer Hoff'a.

— Что, спрашивалъ меня хозяинъ, видно наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

— Да неужели мы пріѣхали? спрашивалъ я, выходя весь мокрый изъ линейки.

— Это не такъ мудрено, замѣтилъ канцлеръ, а вотъ что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слыхали?

— Ничего.

Потомъ я узналъ, что простыя швейцарскія вина, вовсе не крѣпкія на вкусъ, получаютъ съ лѣтами большую силу и особенно дѣйствуютъ на непривычныхъ. Канцлеръ нарочно мнѣ не сказалъ этого. Къ тому же, еслибъ онъ и сказалъ, я не сталъ бы отказываться отъ добродушнаго угощенія крестьянъ, отъ ихъ тостовъ, и еще менѣе не сталъ бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступилъ, доказывается тѣмъ, что черезъ годъ, проѣздомъ изъ Берна въ Женеву, я встрѣтилъ на одной станціи моратскаго префекта: „Знаете ли вы, сказалъ онъ мнѣ, чѣмъ вы заслужили особенную популярность нашихъ шательцевъ?“—Нѣтъ? — „Они до сихъ поръ разсказываютъ съ гордымъ самодовольствіемъ, какъ новый согражданинъ, выпивши ихъ вина, проспалъ грозу и доѣхалъ, не зная какъ, отъ Мора до Фрибурга, подъ проливнымъ дождемъ.“

И такъ, вотъ какимъ образомъ я сдѣлался свободнымъ гражданиномъ Швейцарской конфедераціи и напился пьянъ шательскимъ виномъ!*)

*) Не могу не прибавить, что именно этотъ листъ мнѣ пришлось поправлять въ Фрибургѣ, и въ томъ же Zœringerhofѣ. И хозяинъ все тотъ же, съ видомъ дѣйствительнаго хозяина, и столовая, гдѣ я сидѣлъ съ Сазоновымъ въ 1851 году, та же — и комната, въ которой черезъ годъ я писалъ свое завѣщаніе, дѣлая исполнителемъ его Карла Фогта, и этотъ листъ, напомнившій столько подробностей.

Пятьнадцать лѣтъ!

Невольно, безотчетно беретъ страхъ...

14 Октября, 1866.

ГЛАВА XLI.

П. Ж. Прудонъ. — Изданія la Voix du Peuple. — Переписка.— Значеніе Прудона. — Привлеченіе.

Вслѣдъ за Іюньскими баррикадами, пали и типографскіе станки. Испуганные публицисты пріумолкли. Одинъ старецъ Ламене приподнялся мрачной тѣнью судьи, проклялъ—герцога Альбу Іюньскихъ дней—Кавеньяка и его товарищей, и мрачно сказалъ народу! „А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобы имѣть право на слово!“

Когда первый страхъ осаднаго положенія миновалъ и журналы снова стали оживать, они въ замѣнъ насилія встрѣтили готовый арсеналъ юридическихъ кляузъ и судейскихъ уловокъ. Началась старая травля, раг force, радакторовъ, травля, въ которой отличались министры Людвига Филиппа. Уловка ея состоитъ въ уничтоженіи залога рядомъ процесовъ, оканчивающихся всякій разъ тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется изъ залога; пока залогъ не дополненъ — нельзя изда-

вать журналъ, какъ онъ пополнится — новый процесъ. Игра эта всегда успѣшна, потому что судебная власть во всѣхъ политическихъ преслѣдованіяхъ дѣйствуетъ за одно съ правительствомъ.

Ледрю-Ролленъ сначала, потомъ полковникъ Франполи, какъ представитель Мацциніевской партіи, заплатили большія деньги, но не спасли „Реформу.“ Всѣ рѣзкіе органы соціализма и республики были убиты этимъ средствомъ. Въ томъ числѣ, и въ самомъ началѣ, Прудоновъ Le Représentant du Peuple, потомъ его же Le Peuple. Прежде чѣмъ оканчивался одинъ процесъ, начинался другой.

Одного изъ редакторовъ, помнится Дюшена, приводили раза три изъ тюрьмы въ асизы по новымъ обвиненіямъ, и всякій разъ снова осуждали на тюрьму и штрафъ. Когда ему въ послѣдній разъ, передъ гибелью журнала, было объявлево рѣшеніе, онъ, обращаясь къ прокурору, сказалъ: L'addition, s'il vous plait! ему въ самомъ дѣлѣ накопилось лѣтъ десять тюрьмы и тысячъ пятьдесятъ штрафу.

Прудонъ былъ подъ судомъ, когда журналъ его остановился послѣ 13 Іюня. Національная гвардія ворвалась въ этотъ день въ его типографію, сломала станки, разбросала буквы, какъ бы подтверждая именемъ вооруженныхъ мѣщанъ, что во Франціи настаетъ періодъ высшаго насилія и полицейскаго самовластія.

Неукротимый гладіаторъ, упрямый безансонскій мужикъ не хотѣлъ положить оружія, и, тотчасъ затѣялъ издавать новый журналъ: La Voix du Peuple. Надобно было достать 24,000 фр. для залога. Е. Жирарденъ былъ не прочь ихъ дать, но Прудону не хотѣлось быть въ зависимости отъ него, и Сазоновъ предложилъ мнѣ внести залогъ.

Я былъ многимъ обязанъ Прудону въ моемъ развитіи и, подумавши нѣсколько, согласился, хотя и зналъ, что залога не на долго станетъ.

Чтеніе Прудона, какъ чтеніе Гегеля, даетъ особый пріемъ, оттачиваетъ оружіе, даетъ не результаты, а средства. Прудонъ по преимуществу діалектикъ, контроверзистъ соціальныхъ вопросовъ. Французы въ немъ ищутъ экспериментализта, и, не находя ни смѣты фаланстера, ни икарійской управы благочинія, пожимаютъ плечами и кладутъ книгу въ сторону.

Прудонъ, конечно, виноватъ, поставивъ въ своихъ „Противорѣчіяхъ“ эпиграфомъ: destruo et edificabo; сила его не въ созданіи, а въ критикѣ существующаго. Но эту ошибку дѣлали съ поконъ вѣка всѣ ломавшіе старое; человѣку одно разрушеніе противно; когда онъ принимается ломать, какой нибудъ идеалъ будущей постройки невольно бродитъ въ его головѣ, хотя иной разъ это пѣсня каменщика, разбирающаго стѣну.

Въ большей части соціальныхъ сочиненій важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы въ настоящемъ, или сводятся на какое нибудь одностороннее рѣшеніе, а то, что, достигая до нихъ, становится *вопросомъ*. Соціализмъ касается не только того, что было рѣшено прежнимъ эмпирически-религіознымъ бытомъ, но и того, что прошло черезъ сознаніе односторонней науки; не только до юридическихъ выводовъ, основанныхъ на традиціонномъ законодательствѣ, но и до выводовъ политической экономіи. Онъ встрѣчается съ раціональнымъ бытомъ эпохи гарантій и мѣщанскаго экономическаго устройства, какъ съ своей непосредственностью, точно такъ, какъ политическая экономія относилась къ теоретически-феодальному государству.

Въ этомъ отрицаніи, въ этомъ улетучиваніи стараго

общественнаго быта страшная сила Прудона; онъ такой же поэтъ діалектики, какъ Гегель—съ той разницей, что одинъ держится на покойной выси научнаго движенія, а другой втолкнутъ въ сумятицу народныхъ волненій, въ рукопашный бой партій.

Прудономъ начинается новый рядъ французскихъ мыслителей. Его сочиненія составляютъ переворотъ не только въ исторіи соціализма, но и въ исторіи французской логики. Въ діалектической дюжести своей онъ сильнѣе и свободнѣе самыхъ талантливыхъ французовъ. Люди чистые и умные, какъ Пьеръ Леру и Консидеранъ, не понимаютъ ни его точки отправленія, ни его метода. Они привыкли играть впередъ подтасованными идеями, ходить въ извѣстномъ нарядѣ, по торной дорогѣ къ знакомымъ мѣстамъ. Прудонъ часто ломится цѣликомъ, не боясь помять чего нибудь по пути, не жалѣя ни раздавить что попадется, ни зайти слишкомъ далеко. У него нѣтъ ни той чувствительности, ни того риторическаго, революціоннаго цѣломудрія, которое у французовъ замѣняетъ протестанскій піэтизмъ... Отъ того онъ и остается одинокимъ между своими, болѣе пугая, чѣмъ убѣждая своей силой.

Говорятъ, что у Прудона германскій умъ. Это не правда, напротивъ, его умъ совершенно французскій; въ немъ тотъ родоначальный галло-франкскій геній, который является въ Рабле, въ Монтенѣ, въ Вольтерѣ и Дидро... даже въ Паскалѣ. Онъ только усвоилъ себѣ діалектическій методъ Гегеля, какъ усвоилъ себѣ и всѣ пріемы католической контроверзы; но ни Гегелева философія, ни католическое богословіе не дали ему ни содержанія, ни характера—для него это орудія, которыми онъ пытаетъ свой предметъ, и орудія эти онъ такъ приладилъ и обтесалъ по своему, какъ приладилъ

томъ. Реальная истина должна находиться подъ вліяніемъ событій, отражать ихъ, оставаясь вѣрною себѣ, иначе она не была бы *живой истиной*, а истиной вѣчной, успокоившейся отъ треволненія міра сего — въ мертвой тишинѣ святого застоя.*)

Гдѣ и въ какомъ случаѣ, случалось мнѣ спрашивать, Прудонъ измѣнилъ органическимъ основамъ своего воззрѣнія? Мнѣ всякій разъ отвѣчали его политическими ошибками, его промахами въ революціонной дипломаціи. За политическія ошибки, онъ, какъ журналистъ, конечно, повиненъ отвѣтомъ, но и тутъ онъ виноватъ не передъ собой; напротивъ, часть его ошибокъ происходила отъ того, что онъ вѣрилъ своимъ началамъ больше, чѣмъ партіи, къ которой онъ, по неволѣ, принадлежалъ, и съ которой онъ не имѣлъ ничего общаго, а былъ собственно соединенъ только ненавистью къ общему врагу.

Политическая дѣятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую онъ облекалъ во всѣ доспѣхи своей діалектики. Совсѣмъ напротивъ, вездѣ ясно видно, что политика, въ смыслѣ стараго либерализма и конституціонной республики, стоитъ у него на второмъ планѣ, какъ что-то полупрошедшее, уходящее. Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ дѣлать уступки, потому что не приписываетъ особой важности формамъ, которыя, по его мнѣнію, не существенны. Въ подобномъ отношеніи къ религіозному вопросу стоятъ всѣ, оставившіе христіанскую точку зрѣнія. Я могу признавать, что конституціонная религія протестантизма нѣсколько посвободнѣе католиче-

*) Въ новомъ сочиненіи Стюарта Миля on Liberty, онъ приводитъ превосходное выраженіе объ этихъ разъ навсегда рѣшенныхъ истинахъ: „the deap slumber of a decided opinion.“

скаго самодержавія, но принимать къ сердцу вопросъ объ исповѣданіи и церкви не могу; я вслѣдствіе этого надѣлаю, вѣроятно, ошибокъ и уступокъ, которыхъ избѣжитъ всякій, самый пошлый бакалавръ богословія или приходскій попъ.

Безъ сомнѣнія, не мѣсто было Прудона въ Народномъ собраніи, такъ какъ оно было составлено, и личность его терялась въ этомъ мѣщанскомъ вертепѣ. Прудонъ въ своей „Исповѣди революціонера“ говоритъ, что онъ не умѣлъ найтиться въ Собраніи. Да что же могъ тамъ дѣлать человѣкъ, который Марастовой конституціи, этому кислому плоду семимѣсячной работы семисотъ головъ, сказалъ: „Я подаю голосъ противъ вашей конституціи, не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституція.“

Парламентская чернь отвѣчала на одну изъ его рѣчей: „Рѣчь въ Монитеръ, оратора въ сумасшедшій домъ!“ Я не думаю, чтобъ въ людской памяти было много подобныхъ парламенскихъ анекдотовъ, съ тѣхъ поръ, какъ александрійскій архіерей возилъ съ собой на вселенскіе соборы какихъ-то послушниковъ, вооруженныхъ во имя Богородицы дубинами, и до вашингтонскихъ сенаторовъ, доказывающихъ другъ другу палкой пользу рабства.

Но даже и тутъ Прудону удавалось становиться во весь ростъ и оставлять середь перебранокъ яркій слѣдъ.

Тьеръ, отвергая финансовый проэктъ Прудона, сдѣлалъ какой-то намекъ о нравственномъ растлѣніи людей, распространяющихъ такія ученія. Прудонъ взошелъ на трибуну и, съ своимъ грознымъ и сутуловатымъ видомъ коренастаго жителя полей, сказалъ улыбающемуся старичишкѣ: „Говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности, я могу принять это за ли-

чность, я вамъ уже сказалъ это въ комитетѣ. Если же вы будете продолжать, я — я не вызову васъ на дуель (Тьеръ улыбнулся). Нѣтъ, мнѣ мало вашей смерти, этимъ ничего не докажешь. Я предложу вамъ другой бой. Здѣсь, съ этой трибуны, я разскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что нибудь забуду или пропущу. И потомъ пусть разскажетъ свою жизнь мой противникъ!" Глаза всѣхъ обратились на Тьера: онъ сидѣлъ нахмуренный и улыбки совсѣмъ не было, да и отвѣта тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудонъ, глядя съ презрѣніемъ на защитниковъ религіи и семьи, сошелъ съ трибуны. Вотъ гдѣ его сила, — въ этихъ словахъ рѣзко слышится языкъ новаго міра, идущаго съ своимъ судомъ и со своими казнями.

Съ Февральской революціи Прудонъ предсказывалъ то, къ чему Франція пришла; на тысячу ладовъ повторялъ онъ: берегитесь, не шутите, „это не Катилина у воротъ вашихъ, а смерть." Французы пожимали плечами. Обнаженныхъ челюстей, косы, клепсидры—всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это „минутное затмѣніе, послѣобѣденный сонъ великаго народа!" Наконецъ разглядѣли многіе, что дѣло плохо. Прудонъ унывалъ менѣе другихъ, пугался менѣе, потому что предвидѣлъ; тогда его обвинили не только въ безчувственности, но и въ томъ, что онъ накликалъ бѣду. Говорятъ, что китайскій императоръ таскаетъ ежегодно за хохолъ придворнаго звѣздочета, когда тотъ ему докладываетъ, что дни начинаютъ убывать.

Геній Прудона дѣйствительно антипатиченъ французскимъ риторамъ, его языкъ оскорбляетъ ихъ. Революція развила свой пуританизмъ, узкій, лишенный вся-

кой терпимости, свои обязательные обороты, и патріоты отвергаютъ написанное не по формѣ, точно такъ. какъ русскіе судьи. Ихъ критика останавливается передъ ихъ символическими книгами, въ родѣ „Contrat Social," „Объявленія правъ человѣка." Люди вѣры — они ненавидятъ анализъ и сомнѣнія; люди заговоровъ —они все дѣлаютъ сообща и изъ всего дѣлаютъ интересъ партіи. Независимый умъ имъ ненавистенъ, какъ мятежникъ, они даже въ прошедшемъ не любятъ самобытныхъ мыслей. Луи-Бланъ почти досадуетъ на эксцентрическій геній Монтеня.*) На этомъ гальскомъ чувствѣ, стремящемся снять личность стадомъ, основано ихъ пристрастіе къ *приравниванію*, къ единству военнаго строя, къ централизаціи, т. е. къ деспотизму.

Кощунство француза и рѣзкость сужденій больше шалость, баловство, удовольствіе подразнить, чѣмъ потребность разбора, чѣмъ сосущій душу скептицизмъ. У него бездна маленькихъ предразсудковъ, крошечныхъ религій—за нихъ онъ стоитъ съ запальчивостію Донъ-Кихота, съ упрямствомъ раскольника. Оттого-то они и не могутъ простить ни Монтеню, ни Прудону ихъ *вольнодумство и непочтительность* къ общепринятымъ кумирамъ. Они, какъ петербургская цензура, позволяютъ шутить надъ титулярнымъ совѣтникомъ, но тайнаго не тронь. Въ 1850 г. Е. Жирарденъ напечаталъ въ „Presse'ѣ" смѣлую и новую мысль, что основы права не вѣчны, а идутъ, измѣняясь съ историческимъ развитіемъ. Что за шумъ возбудила эта статья—брань, крикъ, обвиненія въ безнравственности продолжались, съ легкой руки „Gazette de France," мѣсяцы.

Участвовать въ возстановленіи такого органа, какъ

*) «Historie de la Révolution Francaise.»

„Peuple," стоило пожертвованій, я написалъ Сазонову и Хоецкому, что готовъ внести залогъ.

До того времени мои сношенія съ Прудономъ были ничтожны; я встрѣчалъ его раза два у Бакунина, съ которымъ онъ былъ очень близокъ. Бакунинъ жилъ тогда съ А. Рейхелемъ въ чрезвычайно скромной квартирѣ за Сеной, въ rue de Bourgogne. Прудонъ часто приходилъ туда слушать Рейхелева Бетховена и Бакунинскаго Гегеля,—философскіе споры длились дольше симфоній. Они напоминали знаменитыя всенощныя бдѣнія Бакунина съ Хомяковымъ у Чаадаева, у Елагиной, о томъ же Гегелѣ. Въ 1847 году Карлъ Фогтъ, жившій тоже въ rue de Bourgogne и тоже часто посѣщавшій Рейхеля и Бакунина, наскучивъ какъ-то вечеромъ слушать безконечные толки о феноменологіи, отправился спать. На другой день утромъ онъ зашелъ за Рейхелемъ, имъ обоимъ надобно было идти къ Jardin des Plantes; его удивилъ, не смотря на ранній часъ, разговоръ въ кабинетѣ Бакунина; онъ пріотворилъ дверь—Прудонъ и Бакунинъ сидѣли на тѣхъ же мѣстахъ, передъ потухшимъ каминомъ, и оканчивали въ краткихъ словахъ начатый вчера споръ.

Боясь сначала смиренной роли нашихъ соотечественниковъ и патронажа великихъ людей, я не старался сближаться даже съ самимъ Прудономъ, и, кажется, былъ не совершенно неправъ. Письмо Прудона ко мнѣ, въ отвѣтъ на мое, было учтиво, но холодно и съ нѣкоторой сдержанностью.

Мнѣ хотѣлось съ самаго начала показать ему, что онъ не имѣетъ дѣла: ни съ сумасшедшимъ prince russe, который изъ революціоннаго дилетантизма, а вдвое того изъ хвастовства дастъ деньги, ни съ правовѣрнымъ поклонникомъ французскихъ публицистовъ, глубоко бла-

годарнымъ за то, что у него берутъ 24,000 франковъ. ни, наконецъ, съ какимъ нибудь туноумнымъ bailleur de fonds, который соображаетъ, что внести залогъ за такой журналъ, какъ „Voix du Peuple," *серьезное* помѣщеніе денегъ. Мнѣ хотѣлось показать ему, что я очень знаю, *что дѣлаю*, что имѣю свою положительную цѣль, а потому хочу имѣть положительное вліяніе на журналъ; принявши безусловно все то, что онъ писалъ о деньгахъ, я требовалъ, во первыхъ, права помѣщать статьи свои и не свои, во вторыхъ, права завѣдывать всею иностранною частью, рекомендовать редакторовъ для нея, кореспондентовъ и пр., требовать для послѣднихъ плату за помѣщенныя статьи; это можетъ показаться страннымъ, но я могу увѣритъ, что „National" и „Reforme" открыли бы огромные глаза, еслибъ кто нибудь изъ иностранцевъ смѣлъ спросить денегъ за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помѣшательство, какъ будто иностранцу видѣть себя въ печати въ *парижскомъ* журналѣ не есть:

Lohn der reichlich lohnet.

Прудонъ согласился на мои требованія, но все же они покоробили его. Вотъ что онъ писалъ мнѣ 29 Августа 1849 года, въ Женеву: „И такъ дѣло рѣшено: подъ моей общей дирекціей вы имѣете участіе въ изданіи журнала, ваши статьи должны быть принимаемы *безъ всякаго контроля*, кромѣ того, къ которому редакція обязываетъ уваженіе *къ своимъ мнѣніямъ* и страхъ судебной отвѣтственности. Согласные въ идеяхъ, мы можемъ только расходиться въ выводахъ, что же касается до обсуживанія заграничныхъ событій, мы ихъ совсѣмъ предоставляемъ вамъ. Вы и мы мисіонеры одной мысли. Вы увидите нашъ путь по общей полемикѣ,

и вамъ надобно будетъ держаться его; я увѣренъ, что мнѣ никогда не придется *поправлять ваши мнѣнія;* я это счелъ бы величайшимъ несчастіемъ, скажу откровенно, весь успѣхъ журнала зависитъ отъ нашего согласія. Надобно вопросъ демократическій и соціальный поднять на высоту предпріятія европейской лиги. *Предположить,* что мы не будемъ согласны другъ съ другомъ, значитъ предположить, что у насъ недостаетъ необходимыхъ условій для изданія журнала, и *что намъ было бы лучше молчать.*" На эту строгую депешу я отвѣчалъ высылкою 24,000 фр. и длиннымъ письмомъ совершенно дружескимъ, но твердымъ; я говорилъ на сколько я теоретически согласенъ съ нимъ, прибавивъ, что я, какъ настоящій скиѳъ, съ радостію вижу, какъ разваливается старый міръ и думаю, что наше призваніе возвѣщать ему его близкую кончину. „*Ваши соотечественники далеки отъ того, чтобы раздѣлять эти идеи.* Я знаю одного свободнаго француза, — это васъ. Ваши революціонеры—консерваторы. Они христіане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопросъ негаціи и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франціи, что нѣтъ спасенія внутри разваливающагося зданія, что и спасать изъ него нечего, что самыя его понятія о свободѣ и революціи проникнуты консерватизмомъ и реакціей. Дѣйствительно, политическіе республиканцы составляютъ не больше какъ одну изъ варіацій на туже конституціонную тему, на которую играютъ свои варіаціи Гизо, Одилонъ-Баро и др. Вотъ этотъ взглядъ слѣдовало бы проводить въ разборѣ послѣднихъ европейскихъ событій, преслѣдовать реакцію, католицизмъ, монархизмъ не въ ряду нашихъ враговъ—это чрезвычайно легко—но въ собственномъ нашемъ станѣ. Надобно обличить кру-

говую поруку демократовъ и власти. Если мы не боимся затрогивать побѣдителей, то не будемъ бояться изъ ложной сантиментальности затрогивать и побѣжденныхъ.

„Я глубоко убѣжденъ, что если инквизиція республики не убьетъ нашъ журналъ—это будетъ лучшій журналъ въ Европѣ.“ Я и теперь въ этомъ убѣжденъ. Но какъ же мы съ Прудономъ могли думать, что вовсе нецеремонное правительство Бонапарта допуститъ такой журналъ? Это трудно объяснить.

Прудонъ былъ доволенъ моимъ письмомъ и 15 Сентября писалъ мнѣ изъ консьержери. „Я очень радъ, что встрѣтился съ вами на одномъ или на одинаковомъ трудѣ, я тоже написалъ нѣчто въ родѣ философіи*) подъ заглавіемъ „Исповѣдь революціонера.“ Вы въ ней, можетъ, не найдете вашего варварскаго задора (verve barbare), къ которому васъ пріучила нѣмецкая философія. Не забывайте, что я пишу для французовъ, которые со всѣмъ своимъ революціоннымъ пыломъ, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Какъ бы ограниченъ ни былъ мой взглядъ, все же онъ на сто тысячъ туазовъ выше самыхъ высокихъ вершинъ нашего журальнаго, академическаго и литературнаго міра; меня еще станетъ на десять лѣтъ, чтобы быть великаномъ между ними.

„Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе на счетъ такъ называемыхъ республиканцевъ; разумѣется, это одинъ видъ общей породы доктринеровъ. Что касается этихъ вопросовъ, намъ не въ чемъ убѣждать другъ друга. Во мнѣ и въ моихъ сотрудникахъ вы найдете людей, которые пойдутъ съ вами рука въ руку...

*) Я тогда напечаталъ „Vom andern Ufer.“

„Я также думаю, что методическій, мирный шагъ, незамѣтными переходами, какъ того хотятъ экономическія науки и философія исторіи, не возможенъ больше для революціи; намъ надобно дѣлать страшные скачки. Но, въ качествѣ публицистовъ, возвѣщая грядущую катастрофу, намъ не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то насъ возненавидятъ и будутъ гнать, а намъ надобно *жить*“...

Журналъ пошелъ удивительно. Прудонъ изъ своей тюремной кельи мастерски дирижировалъ своимъ оркестромъ. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздраженія, которое тюрьма раздуваетъ.

„Кто вы такой г. президентъ? пишетъ онъ въ одной статьѣ, говоря о Наполеонѣ, скажите — мужчина, женщина, гермафродитъ, звѣрь или рыба?“ И мы все еще думали, что такой журналъ можетъ держаться!

Подписчиковъ было не много, но уличная продажа была велика, въ день продавалось отъ 35,000 до 40,000 экземпляровъ. Расходъ особенно замѣчательныхъ номеровъ, напр. тѣхъ, въ которыхъ помѣщались статьи Прудона, былъ еще больше; редакція печатала ихъ отъ 50,000 до 60,000 и часто на другой день экземпляры продавались *по франку*, вмѣсто одного су.*)

Но совсѣмъ этимъ къ 1 Марту, т. е. черезъ полгода, не только въ кассѣ не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафовъ. Гибель была неминуема. Прудонъ значительно ускорилъ ее. Это случилось такъ: разъ я засталъ у него въ С. Пелажи д'Алтонъ-Ше и двухъ изъ редакторовъ. Д'Алтонъ-Ше, тотъ перъ

*) Мой отвѣтъ на рѣчь Донозо Кортеса, отпечатанный тысячъ въ 50 экземпляровъ, вышелъ весь и, когда я попросилъ черезъ два, три дня себѣ нѣсколько экземпляровъ, редакція принуждена была скупить ихъ по книжнымъ лавкамъ.

Франціи, который скандализовалъ Пакье и испугалъ всѣхъ перовъ, отвѣчая съ трибуны на вопросъ „да развѣ вы не католикъ?“—„Нѣтъ, но еще больше, я вовсе не христіанинъ, да и не знаю деистъ ли.“ Онъ говорилъ Прудону, что послѣдніе нумера „Voix du Peuple“ слабы; Прудонъ разсматривалъ ихъ и становился все угрюмѣе, потомъ, совершенно разсерженный, обратился къ редакторомъ: „Что же это значитъ? Пользуясь тѣмъ, что я въ тюрьмѣ, вы спите тамъ въ редакціи. Нѣтъ, господа, эдакъ я откажусь отъ всякаго участія и напечатаю мой отказъ, я не хочу, чтобъ мое имя таскали въ грязи, у васъ надобно стоять за спиной, смотрѣть за каждой строкой. Публика принимаетъ это за мой журналъ, нѣтъ этому надобно положить конецъ. Завтра я пришлю статью, чтобъ загладить дурное дѣйствіе вашего маранья, и покажу, какъ я разумѣю духъ, въ которомъ долженъ быть нашъ органъ.“ Видя его раздраженіе, можно было ожидать, что статья будетъ не изъ самыхъ умѣренныхъ, но онъ превзошелъ наши ожиданія, его Vive l'Empereur былъ диѳирамбъ ироніи, ироніи ядовитой, страшной.

Сверхъ новаго процеса правительство отомстило по своему Прудону. Его перевели въ скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, въ ней забрали окно до половины досками, чтобъ нельзя было ничего видѣть кромѣ неба, не велѣли къ нему пускать никого, къ дверямъ поставили особаго часоваго. И эти средства, не приличныя для исправленія шестнадцатилѣтняго шалуна, употребляли семь лѣтъ тому назадъ съ однимъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка. Не поумнѣли люди со времени Сократа, не поумнѣли со времени Галилея, только стали мельче. Это неуваженіе къ генію, впрочемъ, явленіе новое, возобновленное въ по-

слѣднее десятилѣтіе. Со времени Возрожденія талантъ становится до нѣкоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали въ темную комнату, не ставили въ уголъ; такихъ людей иногда преслѣдуютъ и убиваютъ, но не унижаютъ мелочами, ихъ посылаютъ на эшафотъ, но не въ рабочій домъ.

Буржуазно-императорская Франція любитъ равенство.

Гонимый Прудонъ еще рванулся въ своихъ цѣпяхъ, еще сдѣлалъ усиліе издавать Voix du Peuple въ 1850; но этотъ опытъ былъ тотчасъ задушенъ. Мой залогъ былъ схваченъ до копѣйки. Пришлось замолчать единственному человѣку во Франціи, которому было еще что сказать.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Прудономъ въ С. Пелажи, меня высылали изъ Франціи—ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы съ нимъ, не было ни тѣни близкой надежды. Прудонъ сосредоточенно молчалъ, досада кипѣла во мнѣ; у обоихъ было много думъ въ головѣ, но говорить не хотѣлось.

Я много слышалъ о его жесткости, rudesse, нетерпимости, на себѣ я ничего подобнаго не испыталъ. То, что *мягкіе* люди называютъ его жесткостью — были упругія мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли, въ гнѣвѣ онъ напоминалъ сердящагося Лютера или Кромвеля, смѣющагося надъ Крупіономъ. Онъ зналъ. что я его понимаю, зналъ и то, какъ немногіе его понимаютъ, и цѣнилъ это. Онъ зналъ, что его считали за человѣка мало экспансивнаго, и, услышавъ отъ Мишле о несчастіи, постигшемъ мою мать и Колю, онъ написалъ мнѣ изъ С. Пелажи между прочимъ: „Неужели судьба еще и съ этой стороны должна добивать насъ. Я не могу придти въ себя отъ этого ужаснаго происшествія. Я васъ лю-

блю и *глубоко ношу васъ* здѣсь, въ этой груди, которую такъ *многіе считаютъ каменной.*"

Съ тѣхъ поръ я не видалъ его;*) въ 1851 г., когда я, по милости Леона Фоше, пріѣзжалъ въ Парижъ на нѣсколько дней, онъ былъ отосланъ въ какую-то центральную тюрьму. Черезъ годъ я былъ проѣздомъ и тайкомъ въ Парижѣ, Прудонъ тогда лечился въ Безансонѣ.

У Прудона есть отшибленный уголъ, и тутъ онъ неисправимъ, тутъ предѣлъ его личности, и, какъ всегда бываетъ, за нимъ онъ консерваторъ и человѣкъ преданія. Я говорю о его воззрѣніи на семейную жизнь и на значеніе женщины вообще. „Какъ счастливъ нашъ N.—говаривалъ Прудонъ, шутя, — у него жена не настолько глупа, чтобъ не умѣла приготовить хорошаго pot au feu, и не на столько умна, чтобъ толковать о его статьяхъ. Это все, что надобно для домашняго счастья."

Въ этой шуткѣ Прудонъ, смѣясь, выразилъ серьезную основу своего воззрѣнія на женщину. Понятія его о семейныхъ отношеніяхъ грубы и реакціонны, но и въ нихъ выражается не мѣщанскій элементъ горожанина а скорѣе упорное чувство сельскаго pater familias'а, гордо считающаго женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора послѣ того, какъ это было написано, Прудонъ издалъ свое большое сочиненіе *„О справедливости въ церкви и революціи.*

Книгу эту, за которую одичалая Франція снова осудила его на три года тюрьмы, прочиталъ я внимательно и закрылъ третій томъ, задавленный мрачными мыслями.

*) Послѣ писаннаго, я видѣлся съ нимъ въ Брюсселѣ.

Тяжкое..... тяжкое время!..... Разлагающій воздухъ его одуряетъ сильнѣйшихъ.....

И этотъ „яркій боецъ“ не выдержалъ, надломился; въ его послѣднемъ трудѣ, я вижу туже мощную діалектику, тотъ же розмахъ, но она приводитъ уже его къ прежде задуманнымъ результатамъ; она уже не свободна въ послѣднемъ словѣ. Я подъ конецъ книги слѣдилъ за Прудономъ, какъ Кентъ слѣдилъ за королемъ Лиромъ, ожидая, какъ онъ образумится, но онъ заговаривался больше и больше, — такіе же припадки нетерпимости, необузданной рѣчи, какъ у Лира, и такъ же „Every inch“ обличаетъ талантъ, но..... талантъ „тронутый.“ И онъ бѣжитъ съ трупомъ, только не дочери, а матери, которую считаетъ живой!*)

Романская мысль, религіозная въ самомъ отрицаніи, суевѣрная въ сомнѣніи, отвергающая одни авторитеты во имя другихъ, рѣдко погружалась далѣе, глубже in medias res дѣйствительности, рѣдко такъ діалектически смѣло и вѣрно снимала съ себя всѣ путы, какъ въ этой книгѣ. Она отрѣшилась въ ней не только отъ грубаго дуализма религіи, но и отъ ухищреннаго дуализма философіи; она освободилась не только отъ небесныхъ привидѣній, но и отъ земныхъ; она перешагнула черезъ сантиментальную апотеозу человѣчества, черезъ фатализмъ прогреса, у ней нѣтъ тѣхъ неизмѣняемыхъ литій о братствѣ, демократіи и прогресѣ, которыя такъ жалко утомляютъ среди раздора и насилія. Прудонъ пожертвовалъ пониманью революціи ея идолами, ея языкомъ и перенесъ нравственность на единственную реальную почву, — грудь человѣческую, признающую одинъ разумъ и никакихъ кумировъ, „развѣ его.“

*) Я долею измѣнилъ мое мнѣніе объ этомъ сочиненіи Прудона (1866 .

И послѣ всего этого, великій иконоборецъ испугался освобожденной личности человѣка, потому что, освободивъ ее отвлеченно, онъ впалъ снова въ метафизику, придалъ ей *небывалую волю*, не сладилъ съ нею, и повелъ на закланіе богу безчеловѣчному, холодному богу *справедливости*; богу равновѣсія, тишины, покоя, богу браминовъ, ищущихъ потерять все личное и распуститься, опочить въ безконечномъ мірѣ ничтожества.

На пустомъ алтарѣ поставлены *вѣсы*. Это будутъ новые каудинскіе фуркулы для человѣчества.

„Справедливость," къ которой онъ стремится, даже не художественная гармонія Платоновой республики, не *изящное* уравновѣшиваніе страстей и жертвъ. Гальскій трибунъ ничего не беретъ изъ „анархической и легкомысленной Греціи," онъ стоически попираетъ ногами личныя чувства, а не ищетъ согласовать ихъ съ требой семьи и общины. „Свободная" личность у него часовой и работникъ безъ выслуги, она несетъ службу и должна стоять на караулѣ до смѣны смертью, она должна морить въ себѣ все лично-страстное, все внѣшнее долгу, потому что *она не она*, ея смыслъ, ея сущность внѣ ея; она органъ справедливости, она *предназначена*, какъ дѣва Марія, носить въ мученіяхъ идею и водворить ее на свѣтъ для спасенія государства.

Семья, первая ячейка общества, первыя ясли справедливости, осуждена на вѣчную, безвыходную работу; она должна служить жертвенникомъ очищенія отъ личнаго, въ ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья, въ современной мастерской, идеалъ Прудона. Христіанство слишкомъ изнѣжило семейную жизнь, оно предпочло Маріи—Марѳѣ, мечтательницу—

хозяйкѣ, оно простило согрѣшившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а въ Прудоновой семьѣ именно надобно мало любить. И это не все: христіанство гораздо выше ставитъ личность, чѣмъ семейныя отношенія ея. Оно сказало сыну: „брось отца и мать и иди за мной," сыну, котораго слѣдуетъ, во имя *воплощенія справедливости*, снова заковать въ колодки безусловной отцовской власти, сыну, который не можетъ имѣть воли при отцѣ, пуще всего въ выборѣ жены. Онъ долженъ закалиться въ рабствѣ, чтобы въ свою очередь сдѣлаться тираномъ дѣтей, рожденныхъ безъ любви, по долгу, для продолженія семьи. Въ этой семьѣ бракъ будетъ нерасторгаемъ, но за то холодный какъ ледъ; бракъ собственно побѣда надъ любовью, чѣмъ меньше любви между женой-кухаркой и мужемъ-работникомъ, тѣмъ лучше. И эти старыя, изношенныя пугала изъ гегелизма правой стороны, пришлось-то мнѣ еще разъ увидѣть подъ перомъ Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвѣта исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный трудъ современнаго пролетарія, трудъ, отъ котораго по крайней мѣрѣ была свободна аристократическая семья древняго Рима, основанная на рабствѣ; нѣтъ больше ни поэзіи церкви, ни бреда вѣры, ни упованья рая, даже и стиховъ къ тѣмъ порамъ „не будутъ больше писать," по увѣренію Прудона, за то работа будетъ „увеличиваться." За свободу личности, за самобытность дѣйствія, за независимость, можно пожертвовать религіознымъ убаюкиваніемъ, но пожертвовать всѣмъ для воплощенія идеи справедливости, что это за вздоръ!

Человѣкъ осужденъ на работу, онъ долженъ работать до тѣхъ поръ, пока опустится рука, сынъ вынетъ изъ

холодныхъ пальцевъ отца стругъ или молотъ и будетъ продолжать вѣчную работу. Ну, а какъ въ ряду сыновей найдется одинъ поумнѣе„ который положитъ долото и спроситъ: — Да изъ чего же мы это выбиваемся изъ силъ? „Для торжества справедливости,“ скажетъ ему Прудонъ. А новый Каинъ отвѣтитъ ему: „Да кто же мнѣ поручилъ торжество справедливости?“—„Какъ кто? — развѣ все призваніе твое, вся твоя жизнь не есть воплощеніе справедливости?“—„Кто же поставилъ эту цѣль? скажетъ на это Каинъ. Это слишкомъ старо, бога нѣтъ, а заповѣди остались. Справедливость не есть мое призваніе, работать не долгъ, а необходимость, для меня семья совсѣмъ не пожизненныя колодки, а среда для моей жизни, для моего развитія. Вы хотите держать меня въ рабствѣ, а я бунтую противъ васъ, противъ вашего безмѣна, такъ какъ вы всю вашу жизнь бунтовали противъ капитала, штыковъ, церкви, такъ какъ всѣ французскіе революціонеры бунтовали противъ феодальной и католической традиціи; или вы думаете, что послѣ взятія Бастиліи, послѣ террора, послѣ войны и голода, послѣ короля мѣщанина и мѣщанской республики, я повѣрю вамъ, что Ромео не имѣлъ правъ любить Джуліету за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вѣковую ссору, и что я ни въ тридцать, ни въ сорокъ лѣтъ не могу выбрать себѣ подруги безъ позволенія отца, что измѣнившую женщину нужно казнить, позорить. Да за кого же вы меня считаете съ вашей юстиціей?“

А мы съ своей діалектической стороны на подмогу Каину прибавили бы, что все понятіе о *цѣли* у Прудона совершенно непослѣдовательно. Телеологія, это тоже теологія, это Февральская республика, т. е. та же Іюльская монархія, но безъ Людовика Филиппа. Какая

же разница между предопредѣленной цѣлесообразностью и промысломъ?*)

Прудонъ, черезъ край освободивши личность, испугался, взглянувъ на своихъ современниковъ, и чтобъ эти каторжные, ticket of leave, не надѣлали бѣдъ, онъ ловитъ ихъ въ капканъ римской семьи.

Въ растворенныя двери реставрированнаго атріума, безъ ларъ и пенатъ, видится уже не *А-нархія*, не уничтоженіе власти, государства, а строгій чинъ, съ централизаціей, съ вмѣшательствомъ въ семейныя дѣла, съ наслѣдствомъ и съ лишеніемъ его за наказаніе; всѣ старые римскіе грѣхи выглядываютъ съ ними изъ щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведетъ естественно за собой античное отечество съ своимъ ревнивымъ патріотизмомъ, этой свирѣпой добродѣтелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чѣмъ всѣ пороки вмѣстѣ.

Человѣкъ, прикрѣпленный къ семьѣ, дѣлается снова крѣпокъ землѣ. Его движенія очерчены, онъ пустилъ корни въ свое поле, онъ только на немъ то, что онъ есть; „французъ, живущій въ Россіи, говоритъ Прудонъ, русскій, а не французъ.“ Нѣтъ больше ни колоній, ни заграничныхъ факторій, живи каждый у себя...

„Голландія не погибнетъ, сказалъ Вильгельмъ Оранскій въ страшную годину, она сядетъ на корабли и уѣдетъ куда нибудь въ Азію, а здѣсь мы спустимъ плотины.“ Вотъ какіе народы бываютъ свободны.

Такъ и англичане; какъ только ихъ начинаютъ тѣснить, они плывутъ за океанъ, и тамъ заводятъ юную и болѣе свободную Англію. А уже конечно нельзя сказать объ англичанахъ, чтобъ они или не любили своего

*) Самъ Прудонъ сказалъ: «Rien ne ressemble plus a la préméditation, que la logique des faits.»

отечества, или чтобъ они были не національны. Расплывающаяся во всѣ стороны Англія заселила полміра, въ то время какъ скудная соками Франція—одни колоніи потеряла, а съ другими не знаетъ что дѣлать. Онѣ ей и не нужны; Франція довольна собой и лѣпится все больше и больше къ своему средоточію, а средоточіе къ своему господину. Какая же независимость можетъ быть въ такой странѣ?

А съ другой стороны, какъ же бросить Францію, la belle France? „Развѣ она и теперь не самая свободная страна въ мірѣ, развѣ ея языкъ—не лучшій языкъ, ея литература — не лучшая литература, развѣ ея силабическій стихъ —не звучнѣе греческаго гексаметра!“ Къ тому же ея всемірный геній усвоиваетъ себѣ и мысль и твореніе всѣхъ временъ и странъ: „Шекспиръ и Кантъ, Гёте и Гегель—развѣ не сдѣлались своими во Франціи?“ И еще больше: Прудонъ забылъ, что она ихъ исправила и одѣла, какъ помѣщики одѣваютъ мужиковъ, когда ихъ берутъ во дворъ.

Прудонъ заключаетъ свою книгу католической молитвой, положенной на соціализмъ; ему стоило только растрячь нѣсколько церковныхъ фразъ и прикрыть ихъ, вмѣсто клобука фригійской шапкой, чтобъ молитва „византинскихъ“ архіереевъ—какъ разъ пришлась архіерею соціализма!

Что за хаосъ! Прудонъ, освобождаясь отъ всего, кромѣ *разума*, хотѣлъ остаться не только мужемъ въ родѣ Синей Бороды, но и французскимъ націоналистомъ —съ литературнымъ шовинизмомъ и безграничной родительской властью, а потому вслѣдъ за крѣпкой, полной силъ мыслію свободнаго человѣка слышится голосъ свирѣпаго старика, диктующаго свое завѣщаніе и хо-

тящаго теперь сохранить своимъ дѣтямъ ветхую храмину, которую онъ подкапывалъ всю жизнь.

Не любитъ романскій міръ свободы, онъ любитъ только домогаться ея; силы на *освобожденіе* онъ иногда находитъ, на *свободу* никогда. Не печально ли видѣть такихъ людей, какъ Огюстъ Контъ, какъ Прудонъ, которые послѣднимъ словомъ ставятъ: одинъ — какую-то мандаринскую іерархію, другой—свою каторжную семью и апотеозу безчеловѣчкаго pereat mundus — fiat justicia!

РАЗДУМЬЕ

ПО ПОВОДУ ЗАТРОНУТЫХЪ ВОПРОСОВЪ

I

... Съ одной стороны безотвѣтно спаянная, заклепанная на глухо семья Прудона, неразрывный бракъ, нераздѣльность отцовской власти — семья, въ которой для *общественной* цѣли лица гибнутъ, *кромѣ одного*, свирѣпый бракъ, въ которомъ признана неизмѣняемость чувствъ, кабала обѣту; съ другой — возникающія ученья, въ которыхъ бракъ и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былаго и независимость лицъ.

Съ одной стороны женщина, чуть не побиваемая каменьями за измѣну, съ другой — самая ревность, поставленная hors la loi, какъ болѣзненное, искаженное чувство эгоизма, пропріетаризма и романтическаго ниспроверженія здоровыхъ и естественныхъ понятій.

Гдѣ истина... гдѣ діагональ? Двадцать три года тому назадъ, я уже искалъ выхода изъ этого лѣса противорѣчій.*)

Мы смѣлы въ отрицаніи и всегда готовы толкнуть всякаго перуна въ воду, — но перуны домашней и семейной жизни какъ-то water-proof, они все „выдыбаются." Можетъ въ нихъ и не осталось смысла, — но жизнь осталась; видно орудія, употребляемыя противъ нихъ, только скользнули по ихъ змѣиной чешуѣ, уронили ихъ, оглушили... но не убили.

Ревность... Вѣрность... Измѣна... Чистота... темныя силы, грозныя слова, по милости которыхъ текли рѣки слезъ, рѣки крови,—слова, заставляющія содрогаться насъ, какъ воспоминаніе объ инквизиціи, пыткѣ, чумѣ... и притомъ слова, подъ которыми, какъ подъ Дамокловымъ мечемъ — жила и живетъ семья.

Ихъ не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицаніемъ. Они остаются *за угломъ* и дремлютъ, готовыя при малѣйшемъ поводѣ все губить, близкое и дальное — губить насъ самихъ...

Видно надобно оставить благое намѣреніе тушить до тла такіе тлѣющіе пожары, и скромно ограничиться только тѣмъ, чтобъ разрушительный огонь — человѣчески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, такъ какъ судомъ нельзя ихъ оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность сверхъ того состояла на особыхъ правахъ. Сама по себѣ сильная и *совершенно естественная* страсть, — она до сихъ поръ, вмѣсто обузданія, укрощенія была только подстрекаема. Христіанское ученіе, ставящее, изъ ненависти къ тѣлу, все плотское на не-

*) „Былое и Думы," Т. III. „По поводу одной драмы."

обыкновенную высоту, аристократическое поклоненіе своей крови, чистотѣ породы — развило до нелѣпости понятіе несмываемаго пятна, смертельной обиды. Ревность получила jus gladii, право суда и мести. Она сдѣлалась *долгомъ чести*, чуть не добродѣтелью. Все это не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, — но за тѣмъ все же на днѣ души остается очень *реальное* и несокрушимое чувство *боли*, *несчастія*, называемое ревностью, чувство элементарное — какъ само чувство любви, противостоящее всякому отрицанію — чувство „иррредуктибельное."

... Тутъ опять тѣ вѣчныя грани, тѣ Кавдинскія фуркулы, подъ которыя насъ гонитъ исторія. Съ обѣихъ сторонъ *правда*, съ обѣихъ *ложь*. Бойкимъ entweder — oder и тутъ ничего не возьмешь. Въ минуту полнаго отрицанія *одного* изъ терминовъ, *онъ* возвращается — такъ какъ за послѣдней четвертью мѣсяца является съ другой стороны первая.

Гегель *снималъ* эти пограничные столбы человѣческаго разума, подымаясь въ *безусловный духъ*; въ немъ они не исчезали, а *преображались*, *исполнялись*, какъ выражалась нѣмецкая теологическая наука, — это мистицизмъ, философская теодицея, аллегорія и самое дѣло, намѣренно смѣшанные. Всѣ религіозныя примиренія непримиримаго дѣлаются *искупленіями*, т. е. священнымъ преобразованіемъ, священнымъ обманомъ, такимъ разрѣшеніемъ, которое не разрѣшаетъ, а дается на вѣру. Что можетъ быть противоположнѣе *личной воли и необходимости*, а вѣрой и онѣ легко примиряются. Человѣкъ безропотно въ одно и тоже время принимаетъ справедливость наказанія — за поступокъ, который былъ предопредѣленъ.

Самъ Прудонъ поступилъ, въ другомъ порядкѣ во-

просовъ, гораздо человѣчественнѣе нѣмецкой науки. Онъ выходитъ изъ экономическихъ противорѣчій тѣмъ, что признаетъ обѣ стороны подъ обузданіемъ высшаго начала. Собственность — *право* и собственность — *кража* становятся рядомъ, въ вѣчномъ колебаніи, въ вѣчномъ восполненіи, подъ постоянно растущимъ міродержавіемъ *справедливости.* Ясно, что противорѣчія и споръ переносятся въ другую сферу, и что къ отвѣту требовать приходится понятіе справедливости больше, чѣмъ право собственности.

Чѣмъ высшее начало проще, менѣе мистично и менѣе односторонно, чѣмъ оно реальнѣе и прилагаемѣе, тѣмъ полнѣе оно сводитъ термины противорѣчащіе на ихъ наименьшее выраженіе.

Безусловный, „перехватывающій“ духъ Гегеля замѣненъ у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею врядъ ли разрѣшатся вопросы страстей. Страсть сама по себѣ несправедлива. Справедливость отвлекается отъ личностей, она междулична — страсть только индивидуальна.

Тутъ выходъ не въ судѣ, а въ человѣческомъ развитіи личностей, въ выводѣ ихъ изъ лирической замкнутости на бѣлый свѣтъ, *въ развитіи общихъ интересовъ.*

Радикально уничтожить ревность, значитъ уничтожить *любовь къ лицу,* замѣняя ее любовью къ женщинѣ или къ мужчинѣ, вообще любовью къ полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и даетъ колоритъ, tonus, страстность всей нашей жизни. Нашъ лиризмъ — *личный,* наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризмъ со всей своей логикой такъ же мало утѣшаетъ въ личномъ горѣ, какъ и римскія консоляціи съ своей рито-

рикой. Ни слезъ о потери, ни слезъ ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтобъ *они лились человѣчески*... и чтобъ въ нихъ равно не было ни монашескаго яда, ни дикости звѣря, ни вопля уязвленнаго собственника.*)

II

Свести отношенія мужчины и женщины на случайную половую встрѣчу такъ же невозможно, какъ поднять и свинтить ихъ до гробовой доски въ неразрывномъ бракѣ. И то и другое можетъ встрѣтиться на закраинахъ половыхъ и брачныхъ отношеній, какъ частный случай, какъ исключеніе, но не какъ общее правило. Половое отношеніе перервется или будетъ постоянно стремиться къ болѣе тѣсному и прочному со-

*) Читая корректурный листъ, мнѣ попалась французская газета, въ которой разсказанъ чрезвычайно характеристическій случай. Возлѣ Парижа какой-то студентъ завелъ связь съ дѣвушкой, связь эта открылась. Отецъ ея отправился къ студенту и умолялъ его со слезами, *на колѣняхъ*, *возстановить* честь дочери и жениться на ней; студентъ съ дерзостью отказался. Колѣнопреклоненный отецъ далъ ему пощечину, студентъ его вызвалъ, они стрѣлялись; во время дуэли, старика хватилъ параличъ, изуродовавшій его. Студентъ сконфузился и „рѣшился жениться," а невѣста огорчилась и рѣшилась выйти за мужъ. Газета прибавляетъ, что такая *счастливая* развязка вѣрно будетъ много способствовать къ выздоровленію старика. Неужели все это не сумасшедшій домъ, неужели Китай, Индія, надъ юродствами и уродствами которыхъ мы столько издѣваемся, представляютъ что нибудь безобразнѣе, глупѣе этой исторіи; я уже не говорю безнравственнѣе. Парижскій романъ въ сто разъ преступнѣе всѣхъ поджариваемыхъ вдовъ и зарываемыхъ весталокъ. Тамъ *вѣра*, снимающая всякую отвѣтственность, а здѣсь однѣ условныя, призрачныя понятія о внѣшней чести, о внѣшней репутаціи... Не явно ли изъ дѣла, что за человѣкъ студентъ? За что же судьбу дѣвушки сковали съ нимъ **à perpetuité**? За что же ее сгубили для спасенія имени! О Бедламъ! (1866).

единенію, такъ какъ нерасторгаемый бракъ — къ освобожденію отъ внѣшней цѣпи.

Люди постоянно протестовали противъ обѣихъ крайностей. Нерасторгаемый бракъ былъ принимаемъ ими лицемѣрно или сгоряча. Случайная близость никогда не имѣла полной инвеституры, ее всегда скрывали, такъ какъ хвастались бракомъ. Всѣ попытки официальной регламентаціи публичныхъ домовъ, не смотря на то, что онѣ имѣютъ въ виду ихъ стѣсненіе, оскорбляютъ общественный, нравственный смыслъ. Онъ въ устройствѣ видитъ признаніе. Проэктъ, сдѣланный однимъ господиномъ въ Парижѣ, во время Директоріи, о заведеніи привилегированныхъ публичныхъ домовъ, съ своей іерархіей и проч., былъ даже въ тѣ времена принятъ свистомъ и палъ подъ громомъ смѣха и пренебреженія.

Здоровая жизнь человѣка равно бѣжитъ отъ монастыря и отъ скотнаго двора, отъ безполья инока, поставленнаго церковью выше брака, и отъ бездѣтнаго удовлетворенія страстей...

Бракъ для христіанства — уступка, непослѣдовательность, слабость. Христіанство смотритъ на бракъ такъ, какъ общество на конкубинатъ.

Монахъ и католическій попъ приговорены къ вѣчному безбрачью, въ награду за глупую побѣду свою надъ человѣческой природой.

Вообще христіанскій бракъ мраченъ и несправедливъ, онъ возстановляетъ неравенство, противъ котораго проповѣдуетъ евангеліе, и отдаетъ жену въ рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована, выходя изъ церкви, она становится излишней и замѣняется долгомъ и обязанностью. Изъ самаго свѣтлаго, радостнаго чувства хри-

стіанство сдѣлало боль, истому и грѣхъ. Роду человѣческому приходилось или вымереть, или быть непослѣдовательнымъ. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаяніемъ и угрызеніемъ совѣсти, а сочувствіемъ, реабилитаціей. Протестъ начался въ самый разгаръ католичества и рыцарства.

Грозный мужъ, Рауль Синяя борода, въ латахъ съ мечемъ, своевольный, ревнивый и безпощадный, босой монахъ, угрюмый, безумный, изувѣръ, готовый мстить за свои лишенія, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и гдѣ нибудь въ башнѣ или подвалѣ рыдающая женщина, юноша пажъ въ цѣпяхъ, за которыхъ никто не вступится. Все мрачно, дико, вездѣ кровь, ограниченность, насиліе и латинская молитва въ носъ.

Но за спиной монаха, исповѣдника и тюремщика, стоящихъ на стражѣ брака съ грознымъ мужемъ, отцомъ, братомъ — слагается въ тиши *народная легенда*, раздается пѣсня, ходитъ изъ мѣста въ мѣсто, изъ замка въ замокъ, съ трубадуромъ и минезенгеромъ — она поетъ *за* несчастную женщину. Судъ разитъ — пѣсня отпускаетъ. Церковь предаетъ анаѳемѣ любовь внѣ брака — пѣсня проклинаетъ бракъ безъ любви. Она защищаетъ влюбленнаго пажа, падшую жену, угнетенную дочь — не разсужденіемъ, а сочувствіемъ, жалостью, плачемъ. Пѣсня для народа — его свѣтская молитва, его *другой* выходъ изъ голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.

Въ праздничные дни, литаніи Богородицѣ смѣнялись печальными звуками des complaintes, которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и

ставили передъ всѣхъ скорбящей дѣвой, прося ея заступы и прощенья.

Изъ пѣсенъ и легендъ протестъ растетъ въ романъ и драму. Въ драмѣ онъ становится силой. Обиженная любовь, мрачныя тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный судъ. Процессъ ихъ потрясалъ тысячи сердецъ, вырывая слезы и крики негодованія противъ кабальнаго брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и ложъ произносили постоянно свое оправданіе лицамъ и осужденіе институтамъ.

Между тѣмъ, въ эпоху политическихъ перестроекъ и свѣтскаго направленія умовъ, одна изъ двухъ крѣпкихъ ножекъ брака стала подламываться. Переставая все болѣе и болѣе быть таинствомъ, т. е. теряя послѣднюю основу свою, онъ тѣмъ больше опирался на полицію. Только мистическимъ вмѣшательствомъ высшей силы и можетъ быть оправданъ христіанскій бракъ. Тутъ есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный, надѣвающій на себя трехцвѣтный шарфъ и вѣнчающій съ гражданскимъ кодексомъ въ рукѣ, гораздо нелѣпѣе священника въ ризѣ, окруженнаго дымомъ ладона, образами, чудесами. Самъ первый консулъ Наполеонъ, самый буржуазно-политическій человѣкъ въ дѣлѣ любви и семьи, догадался, что бракъ на съѣзжей больно плохъ, и уговаривалъ Камбасереса прибавить какую нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *вѣрной* мужу (о немъ ни слова) и слушаться его.

Какъ скоро бракъ выходитъ изъ сферъ мистицизма, онъ дѣлается expedient — внѣшней мѣрой. Ее ввели испуганные „Синія Бороды,“ обрившіеся и сдѣлав-

шіеся „синими подбородками," Раули, въ судейскихъ парикахъ, академическихъ фракахъ, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданскій бракъ —мѣра государственнаго хозяйства, освобожденіе государства отъ воспитанія дѣтей и вящее прикрѣпленіе людей къ собственности. Бракъ безъ вмѣшательства церкви сдѣлался кабальнымъ контрактомъ на пожизненное отданіе своего тѣла другъ другу. До вѣры, до мистическихъ бредней законодателю дѣла нѣтъ, лишь бы контрактъ былъ исполненъ, а не будетъ исполненъ, онъ найдетъ средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? Въ Англіи, въ классической странѣ юридическаго развитія, подвергаютъ же страшнѣйшимъ истязаніямъ шестнадцатилѣтняго мальчика, котораго старый казарменный сводникъ, съ лентами на шляпѣ, напоитъ элемъ и джиномъ и завербуетъ въ полкъ. Отчего же не наказывать позоромъ, раззореніемъ, выдачей головой дѣвочку, которая, не давая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra, забывая, что season ticket не передается.

Но и на „синій подбородокъ" нашлись свои труверы и романисты. Противъ контрактоваго брака водрузился догматъ психіатрическій, физіологическій, догматъ *абсолютной непреложности страстей и человѣческой несостоятельности бороться съ ними.*

Вчерашніе рабы брака идутъ въ рабство любви. На любовь суда нѣтъ, противъ нея силъ нѣтъ.

За тѣмъ стирается всякій разумный контроль, всякая отвѣтственность, всякое самообузданіе. Покореніе человѣка неотразимымъ и неподчиненнымъ ему силамъ дѣло совершенно противоложное тому освобожденію въ разумѣ и разумомъ, тому образованію характера сво-

боднаго человѣка, къ которому стремятся, разными путями, всѣ соціальныя ученія.

Мнимыя силы, если люди ихъ принимаютъ за дѣйствительныя, точно также мощны, какъ и дѣйствительныя, и это потому, что матеріалъ, даваемый человѣкомъ, *тотъ же*, какая бы сила ни была. Человѣкъ, который боится духовъ, и человѣкъ, который боится бѣшеныхъ собакъ, боится одинаковымъ образомъ и можетъ умереть отъ страха. Разница въ томъ, что въ одномъ случаѣ человѣку можно доказать, что онъ боится вздора, а въ другомъ нельзя.

Я отрицаю то царственное мѣсто, которое даютъ *любви* въ жизни, я отрицаю ея самодержавную власть, и протестую противъ слабодушнаго оправданія увлеченіемъ.

Неужели мы освободились отъ всего на свѣтѣ, отъ бога и діавола, отъ римскаго и уголовнаго права, и провозгласили разумъ единственнымъ путеводителемъ и регуляторомъ для того, чтобъ скромно, какъ Геркулесъ, лечь у ногъ Омфалы или уснуть на колѣнахъ Далилы? Неужели женщина искала своего освобожденія отъ ига семьи, вѣчной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своихъ правъ на самобытный трудъ, на науку и гражданское значеніе для того, чтобъ снова начать всю жизнь ворковать какъ горлица и изнывать отъ десятка Леоне-Леони вмѣсто одного.

Да, женщину въ этомъ вопросѣ мнѣ всего больше жаль, ее безвозвратнѣе точитъ и губитъ всепожирающій Молохъ любви. Она больше вѣруетъ въ него, больше страдаетъ. Она больше сосредоточена на одномъ половомъ отношеніи, больше *загнана въ любовь*... Она больше сведена съ ума, и меньше насъ доведена до него.

Мнѣ ее жаль.

III.

Развѣ кто нибудь серьезно, честно старался разбить предразсудки въ женскомъ воспитаніи? ихъ разбиваетъ опытъ, и оттого-то ломится не предразсудокъ, а жизнь.

Люди обходятъ вопросы, насъ занимающіе, какъ старухи и дѣти обходятъ кладбище или мѣста, на которыхъ совершилось злодѣйство. Однѣ боятся нечистыхъ духовъ, другіе чистой правды, и остаются при фантастическомъ неустройствѣ и неизслѣдованной тьмѣ. Серьезнаго единства во взглядѣ на половыя отношенія такъ же мало, какъ во всѣхъ практическихъ сферахъ. Все еще мерещится возможность соединить христіанскую нравственность, идущую отъ попранія плоти на *тотъ свѣтъ*, съ земной, реальной нравственностью *этого* свѣта. Съ досады, что не ладится и чтобъ не долго мучить себя надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, люди оставляютъ по выбору и по вкусу то, что имъ нравится изъ церковнаго ученія, и бросаютъ то, что не нравится, на томъ самомъ основаніи, на которомъ, не соблюдая постовъ, усердно ѣдятъ блины, и, не оставляя веселыхъ религіозныхъ обычаевъ, устраняются отъ скучныхъ. А, кажется, давно пора внести больше спѣтости и мужества въ поведеніе. Пусть уважающій законъ остается подзаконнымъ и не нарушаетъ его, а непримающій—свободнымъ отъ него открыто и сознательно.

Трезвый взглядъ на людскія отношенія гораздо труднѣе для женщины, чѣмъ для насъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; онѣ больше обмануты воспитаніемъ, меньше знаютъ жизнь, и оттого чаще оступаются и ломаютъ голову и сердце, чѣмъ освобождаются, всегда бунтуютъ

и остаются въ рабствѣ, стремятся къ перевороту и пуще всего поддерживаютъ существующее.

Съ дѣтскихъ лѣтъ дѣвушка испугана половымъ отношеніемъ, какой-то *страшной*, *нечистой тайной*, отъ которой ее предостерегаютъ, отстращиваютъ, какъ будто этотъ грѣхъ имѣетъ какую-то чарующую силу. И потомъ тоже чудовище, тоже magnum ignotum, пятнающее неизгладимымъ пятномъ дальнѣйшій намекъ на котораго заставляетъ краснѣть и позорить ставится цѣлью ея жизни. Мальчику, едва умѣющему ходить, даютъ жестяную саблю, пріучая его къ убійству, ему пророчатъ гусарскій мундиръ и эполеты, дѣвочку убаюкиваютъ надеждой богатаго, краснаго жениха, и она мечтаетъ объ эполетахъ, но не на своихъ плечахъ, а на плечахъ суженаго.

Dors, dors mon enfant,
Jusqu'a l'âge de quinze ans,
A quinze ans faut te réveiller,
A quinze ans faut te marier.

Надобно дивиться хорошей человѣческой натурѣ, не поддающейся такому воспитанію — слѣдовало бы ожидать, что всѣ дѣвочки, такъ убаюканныя съ пятнадцати лѣтъ, пустятся на ускоренную замѣну убитыхъ мальчиками, пріученными съ дѣтства къ смертоноснымъ оружіямъ.

Христіанское ученіе вселяетъ ужасъ передъ „плотью," прежде чѣмъ организмъ сознаетъ свой полъ; оно будитъ въ ребенкѣ опасный вопросъ, бросаетъ тревогу въ отроческую душу, и когда приходитъ время отвѣта — *другое* ученіе возводитъ, какъ мы сказали, для дѣвушки половое назначеніе въ искомый идеалъ; ученица становится *невѣстой*, и та же тайна, тотъ же грѣхъ, но *очищенный*, является вѣнцомъ воспитанья, желаніемъ

всѣхъ родныхъ, стремленіемъ всѣхъ усилій, чуть не общественнымъ долгомъ. Искуства и науки, образованіе, умъ, красота, богатство, грація, все устремлено тудаже, все это розы, которыми усыпается путь къ *официальному* паденью... къ тому же грѣху, мысль о которомъ считалась преступленіемъ, но которое измѣнило свою сущность тѣмъ чудомъ, которымъ папа, взалкавши на дорогѣ, благословилъ *скоромное блюдо въ постное*.

Словомъ, отрицательно и положительно все воспитаніе женщины остается воспитаніемъ половыхъ отношеній, около нихъ вертится вся ея послѣдующая жизнь... *отъ нихъ* она бѣжитъ, *къ нимъ* она бѣжитъ, *ими* опозорена, *ими* гордится. . . Сегодня хранитъ отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подругѣ, краснѣя, шопотомъ, говоритъ о любви, завтра при блескѣ и шумѣ, при толпѣ, зажженныхъ люстрахъ и громѣ музыки, бросается въ объятія мужчины.

Невѣста, *жена*, *мать*—женщина едва подъ старость *бабушкой* освобождается отъ половой жизни и становится самобытнымъ существомъ, особенно, если *дѣдушка* умеръ. Женщина, помѣченная любовью, не скоро ускользаетъ отъ нея... беременность, кормленіе, воспитаніе, развитіе той же тайны, того же акта любви, въ женщинѣ онъ продолжается, не въ одной памяти а въ крови и въ тѣлѣ, въ ней онъ бродитъ и зрѣетъ, и разрываясь—не разрывается.

На это физіологически-крѣпкое и глубокое отношеніе христіанство дунуло своимъ лихорадочнымъ, монашескимъ аскетизмомъ, своими романтическими бреднями, и раздуло его въ безумное и разрушительное пламя — ревности, мести, кары, обиды.

Выпутаться женщинѣ изъ этого хаоса — геройскій подвигъ, его совершаютъ однѣ рѣдкія, исключительныя

натуры; остальныя женщины мучатся, и если не сходятъ съ ума, то только благодаря легкомыслію, съ которымъ мы всѣ живемъ до грозныхъ столкновеній и ударовъ, не мудрствуя лукаво, и безсмысленно переходя съ дня на день отъ случайности къ случайности и отъ противорѣчія къ противорѣчію.

Какую ширину, какое человѣчески-сильное и человѣчески-прекрасное развитіе надобно имѣть женщинѣ, чтобъ перешагнуть всѣ палисады, всѣ частоколы, въ которыхъ она поймана!

Я видѣлъ одну борьбу и одну побѣду...

ГЛАВА XLII

Coup d'état. — Прокуроръ покойной республики. — Гласъ коровій въ пустынѣ. — Высылка прокурора. — Порядокъ и цивилизація торжествуютъ.

„Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! Теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и постоимъ за наши убѣжденія.

„Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаяваться. ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надо ее поднять— мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, накликивающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только вѣщуны въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, одобреніемъ устрашенныхъ событіями въ Парижѣ.“

(Письма изъ Франціи и Италіи, Письмо XIV, Ницца, 31 Дек. 1851.)

Утромъ, помнится 4 Декабря, вошелъ ко мнѣ нашъ поваръ Pasquale Rocca и съ довольнымъ видомъ объя-

вилъ, что въ городѣ продаютъ афиши съ извѣщеніемъ о томъ, что „Бонапартъ разогналъ Собраніе и назначилъ *красное* правительство.“ Кто такъ усердно служилъ Наполеону и распространялъ, даже внѣ Франціи (тогда Ницца была итальянской), такіе слухи въ народѣ—не знаю, но каково должно быть число всякаго рода агентовъ, политическихъ кочегаровъ, взбивателей, подогрѣвателей, когда и на Ниццу хватило?

Черезъ часъ явились — Фогтъ, Орсини, Хоецкій, Матьё и др., всѣ были удивлены... Матьё, типическое лице изъ французскихъ революціонеровъ, былъ внѣ себя.

Лысый, съ черепомъ въ видѣ грецкаго орѣха, т. е. съ черепомъ чисто гальскимъ, не помѣстительнымъ, но упрямымъ, съ большой, темной и нечесаной бородой, съ довольно добрымъ выраженіемъ и маленькими глазами — Матьё походилъ на пророка, на юридиваго, на авгура и на его птицу. Онъ былъ юристъ и въ счастливые дни Февральской республики былъ гдѣ-то прокуроромъ или за прокурора. Революціонеръ онъ былъ до конца ногтей: онъ отдался революціи, такъ какъ отдаются религіи, съ полной вѣрой, никогда не дерзалъ ни понимать, ни сомнѣваться, ни мудрствовать лукаво, а любилъ и вѣрилъ, называлъ Ледрю-Роллена— Ледрррю и Луи-Блана — Бланомъ просто, говорилъ когда могъ citoyen и постоянно конспирировалъ.

Получивши вѣсть о 2 Декабрѣ, онъ исчезъ и возвратился черезъ два дня, съ глубокимъ убѣжденіемъ, что Франція поднялась, que cela chauffe и особенно на югѣ, въ Варскомъ департаментѣ, около Драгиньяна. Главное дѣло состояло въ томъ, чтобъ войти въ сношенія съ представителями возстанія... кой кого онъ видѣлъ и съ ними рѣшилъ ночью, перейдя Варъ на извѣстномъ мѣ-

стѣ, собрать на совѣщаніе людей важныхъ и надежныхъ... Но, чтобъ жандармы не могли догадаться, было положено съ обѣихъ сторонъ подавать сигналы „коровьимъ мычаніемъ.“ Если дѣло пойдетъ на ладъ, Орсини хотѣлъ привести всѣхъ своихъ друзей и, не совсѣмъ довѣряя вѣрному взгляду Матьё, самъ отправился вмѣстѣ съ нимъ черезъ границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, вѣрный своей революціонной и немного кондотьерской натурѣ, сталъ приготовлять своихъ товарищей и оружіе. Матьё пропалъ.

Черезъ сутки, ночью меня будитъ Рокка, часа въ четыре: „Два господина, прямо съ дороги, имъ очень нужно, говорятъ они, васъ видѣть. Одинъ изъ нихъ далъ эту записку.“ — „Гражданинъ, бога ради, какъ можно скорѣе, вручите подателю 300 или 400 фран., крайне нужно. Матьё.“

Я захватилъ деньги и сошелъ внизъ: въ полумракѣ сидѣли у окна двѣ замѣчательныя личности; привычный ко всѣмъ мундирамъ революціи, я все таки былъ пораженъ посѣтителями. Оба были покрыты грязью и глиной, съ колѣнъ до пятокъ, на одномъ былъ красный шарфъ, шерстяной и толстый; на обоихъ затасканныя пальто, по жилету поясъ, за поясомъ большіе пистолеты, остальное, какъ слѣдуетъ—всклокоченные волосы, большія бороды и крошечныя трубки. Одинъ изъ нихъ, сказавъ citoyen, произнесъ рѣчь, въ которой коснулся до моихъ цивическихъ добродѣтелей и до денегъ, которыя ждетъ Матьё. Я отдалъ деньги. — „Онъ въ безопасности?“ спросилъ я. „Да, отвѣчалъ его посолъ, мы сейчасъ идемъ къ нему за Варъ. Онъ покупаетъ лодку.“

— Лодку? за чѣмъ?

— Гражданинъ Матьё имѣетъ цѣлый планъ высадки

— гнусный трусъ лодочникъ не хотѣлъ дать въ наемъ лодку...

— Какъ, высадку во Франціи... съ одной лодкой...

— Пока, гражданинъ, это тайна.

— Comme de raison.

Прикажете росписку?

— Помилуйте, зачѣмъ.

На другой день явился самъ Матьё, точно также по уши въ грязи... и усталый до изнеможенія; онъ всю ночь мычалъ коровой, нѣсколько разъ казалось слышалъ отвѣтъ, шелъ на сигналъ и находилъ дѣйствительнаго быка или корову. Орсини, прождавъ его гдѣ-то часовъ десять къ ряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и какъ всегда со вкусомъ и чисто одѣтый, походилъ на человѣка, вышедшаго изъ своей спальной, а Матьё носилъ на себѣ всѣ признаки, что онъ нарушалъ спокойствіе государства и покушался возстать.

Началась исторія лодки. Долго ли до грѣха, сгубилъ бы онъ полдюжины своихъ, да полдюжины итальянцевъ. Остановить, убѣдить его было невозможно. Съ нимъ показались и военачальники, приходившіе ко мнѣ ночью — можно было быть увѣреннымъ, что онъ компрометируетъ не только всѣхъ французовъ, но и насъ всѣхъ въ Ниццѣ. Хоецкій взялся его угомонить и сдѣлалъ это артистомъ.

Окно Хоецкаго, съ небольшимъ балкономъ, выходило прямо на взморье. Утромъ онъ увидѣлъ Матьё, бродящаго съ таинственнымъ видомъ по берегу моря... Хоецкій сталъ ему дѣлать знаки; Матьё увидѣлъ и показалъ, что сейчасъ придетъ къ нему, но Хоецкій выразилъ страшнѣйшій ужасъ—телеграфировалъ ему руками неминуемую опасность, и требовалъ, чтобъ онъ подо-

шелъ къ балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочкахъ, подкрался. „Вы не знаете?“ спросилъ его Хоецкій — Что? — Въ Ниццѣ взводъ французскихъ жандармовъ.

— Что вы?

— Ш-ш-ш-ш... Ищутъ васъ и вашихъ друзей, хотятъ дѣлать у насъ домовой обыскъ—васъ сейчасъ схватятъ, не выходите на улицу.

— Violation du territoire... я буду протестовать.

— Непремѣнно, только теперь спасайтесь.

— Я въ St-Helène къ Герцену.

— Съ ума вы сошли. Прямо себя отдать въ руки, дача его на границѣ, съ огромнымъ садомъ, и не провѣдаютъ, какъ возьмутъ—да и Рокка видѣлъ уже вчера двухъ жандармовъ у воротъ.

Матьё задумался.—Идите моремъ къ Фогту, спрячьтесь у него покамѣсть, онъ, кстати, всего лучше вамъ дастъ совѣтъ.

Матьё берегомъ моря, т. е. вдвое дальше пошелъ къ Фогту и началъ съ того, что разсказалъ ему отъ доски до доски разговоръ съ Хоецкимъ. Фогтъ въ ту же минуту понялъ въ чемъ дѣло и замѣтилъ ему: „Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вамъ черезъ два часа надобно ѣхать въ Туринъ — за горой проходитъ дилижансъ, я возьму мѣсто и проведу васъ тропинкой.

— Я сбѣгаю домой за пожитками... и прокуроръ республики нѣсколько замялся.

— Это еще хуже, чѣмъ идти къ Герцену. Что вы, въ своемъ ли умѣ, за вами слѣдятъ жандармы, агенты, шпіоны... а вы домой цаловаться съ вашей толстой провансалкой, экой Селадонъ. Дворникъ! закричалъ Фогтъ (дворникъ его дома былъ крошечный нѣмецъ, уморительный, похожій на давно не мытый кофейникъ

и очень преданный Фогту),—пишите скорѣе, что вамъ нужна рубашка, платокъ, платье, онъ принесетъ, и, если хотите, приведетъ сюда вашу Дульцинею, цалуйтесь и плачьте сколько хотите.

Матьё отъ избытка чувствъ обнялъ Фогта.

Пришелъ Хоецкій. „Торопитесь, торопитесь,“ говорилъ онъ, съ зловѣщимъ видомъ.

Между тѣмъ, воротился дворникъ, пришла и Дульцинея—осталось ждать, когда дилижансъ покажется за горой. Мѣсто было взято.

– Вы вѣрно опять рѣжете гнилыхъ собакъ или кроликовъ? спросилъ Хоецкій у Фогта — quel chien de mètier?..

— Нѣтъ.

— Помилуйте, у васъ такой запахъ въ комнатѣ, какъ въ катакомбахъ въ Неаполѣ.

— Я и самъ чувствую, но не могу понять, это изъ угла... вѣрно мертвая крыса подъ поломъ — страшная вонь, и онъ снялъ шинель Матьё, лежавшую на стулѣ. Оказалось, что запахъ идетъ изъ шинели.

— Что за чума у васъ въ шинели? спросилъ его Фогтъ.

— Ничего нѣтъ.

— Ахъ это вѣрно я—замѣтила, краснѣя, Дульцинея — я ему положила на дорогу фунтъ лимбургскаго сыра въ карманъ, un peu trop fait.

— Поздравляю вашихъ сосѣдей, въ дилижансѣ, кричалъ Фогтъ, хохоча, какъ онъ одинъ въ свѣтѣ умѣетъ хохотать. Ну однако пора.— Маршъ!

И Хоецкій съ Фогтомъ выпроводили агитатора въ Туринъ.

Въ Туринѣ Матьё явился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ протестомъ. Тотъ его принялъ съ досадой и

смѣхомъ. „Какъ же вы могли думать, чтобъ французскіе жандармы ловили людей въ Сардинскомъ королевствѣ—вы нездоровы.“

Матьё сослался на Фогта и Хоецкаго.

„Ваши друзья, сказалъ министръ, надъ вами пошутили.“ Матьё написалъ Фогту; тотъ нагородилъ ему не знаю какой вздоръ въ отвѣтъ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкаго, и черезъ нѣсколько недѣль написалъ мнѣ письмо, въ которомъ между прочимъ писалъ: „Вы одинъ, гражданинъ, изъ этихъ господъ не участвовали въ коварномъ поступкѣ противъ меня...“

Къ характеристическимъ странностямъ этого дѣла принадлежитъ безъ сомнѣнія то, что возстаніе въ Варѣ было очень сильное, что народныя массы дѣйствительно поднялись и были усмирены оружіемъ, съ обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и тѣлохранители его, при всемъ усердіи и мычаніи, не знали, гдѣ къ нимъ примкнуть? Никто не подозрѣваетъ ни его, ни его товарищей, что они намѣренно ходили пачкаться въ грязи и глинѣ и не хотѣли идти туда, гдѣ была опасность—совсѣмъ нѣтъ. Это вовсе не въ духѣ французовъ, о которыхъ Дельфина Ге говорила: „что они всего боятся, за исключеніемъ ружейныхъ выстрѣловъ,“ и еще больше не въ духѣ de la démocratie militante и красной республики... Отчего же Матьё шелъ на право, когда возставшіе крестьяне были на лѣво?

Нѣсколько дней спустя—какъ желтый листъ, гонимый вихремъ — стали падать на Ниццу несчастныя жертвы подавленнаго возстанія. Ихъ было такъ много, что піэмонтское правительство, до поры, до времени, дозволило имъ остановиться какими-то бивуаками или цыганскимъ таборомъ возлѣ города. Сколько бѣдствій и несчастій видѣли мы на этихъ кочевьяхъ— это та страшная, за-

кулисная часть внутреннихъ войнъ, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декораціей вторыхъ Декабрей.

Тутъ были простые земледѣльцы, мрачно тосковавшіе о домѣ, о своей землицѣ, и наивно говорившіе: „Мы вовсе не возмутители и не partageux; мы хотѣли защищать порядокъ, какъ добрые граждане, ce sont ces coquins, которые насъ вызвали (т. е. чиновники, меры, жандармы), они измѣнили присягѣ и долгу--а мы теперь должны умирать съ голоду въ чужомъ краѣ или идти подъ военный судъ?... Какая же тутъ справедливость?“ —И дѣйствительно, coup d'état, въ родѣ втораго Декабря, убиваетъ больше, чѣмъ людей,—онъ убиваетъ всякую нравственность, всякое понятіе о добрѣ и злѣ у цѣлаго населенія, это такой урокъ разврата, который не можетъ пройти даромъ. Въ числѣ ихъ были и солдаты, troupiers, которые не могли сами надивиться, какъ они, вопреки дисциплины и приказаній капитана, очутились не съ той стороны, съ которой полкъ и знамя. Ихъ число, впрочемъ, не было велико.

Тутъ были простые, небогатые буржуа, которые на меня не дѣлаютъ того омерзительнаго впечатлѣнія какъ не простые—жалкіе, ограниченные люди, они кой-какъ съ трудомъ, между обмѣриваніемъ и обвѣшиваніемъ, усвоивая себѣ двѣ, три мысли и полумысли объ обязанностяхъ—возстали за нихъ, когда увидѣли, что ихъ святыня попрана.— „Это побѣда эгоизма, говорили они, да, да эгоизма, а ужъ гдѣ эгоизмъ, тутъ порокъ, надобно, чтобы каждый исполнялъ долгъ свой безъ эгоизма.“

Тутъ были, разумѣется, и городскіе работники, этотъ искренній и настоящій элементъ революціи, стремящейся декретировать la sociale — и въ ту же мѣру воздать буржуа и aristo, въ какую они имъ воздаютъ.

Наконецъ, тутъ были раненые—и страшно раненые. Я помню двоихъ крестьянъ среднихъ лѣтъ, доползшихъ, оставляя кровавый слѣдъ, отъ границы до предмѣстья, въ которомъ жители подняли ихъ полумертвыми. За ними гнался жандармъ, видя, что граница не далеко, онъ выстрѣлилъ въ одного и раздробилъ ему плечо... раненый продолжалъ бѣжать... жандармъ выстрѣлилъ еще разъ, раненый упалъ; тогда онъ поскакалъ за другимъ и нагналъ его сначала пулей, а потомъ самъ. Второй раненый сдался, жандармъ въ торопяхъ привязалъ его къ лошади и вдругъ хватился перваго... тотъ доползъ до перелѣска и пустился бѣжать... догнать его верхомъ было трудно, особенно съ другимъ раненымъ, оставить лошадь невозможно... *Жандармъ выстрѣлилъ* „à bout portant“ *пьяному въ голову, сверху внизъ*, тотъ упалъ замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, всѣ кости. Когда онъ пришелъ въ себя—никого не было... онъ добрался по знакомымъ тропинкамъ, протоптаннымъ контрабандистами до Вара, и перешелъ его, исходя кровью; тутъ онъ нашелъ совершенно истощеннаго товарища и съ нимъ *дожилъ* до первыхъ домовъ St. Helène. Тамъ, какъ я сказалъ, ихъ спасли жители. Первый раненый говорилъ, что послѣ выстрѣла онъ зарылся въ какіе-то кусты, что онъ потомъ слышалъ голоса, что охотникъ-жандармъ вѣрно настигъ другихъ и поэтому удалился.

Каково усердіе французской полиціи!

За нимъ слѣдовало усердіе меровъ, ихъ помощниковъ, прокуроровъ *республики* и префектовъ, оно показалось при подачѣ и счетѣ голосовъ; все это исторіи чисто французскія, извѣстныя всему міру. Скажу только, что въ отдаленныхъ мѣстахъ мѣры для достиженія огромнаго большинства при вотированіи были взяты съ сель-

ской простотой. По ту сторону Вара, въ первомъ мѣстечкѣ меръ и жандармскій brigadier сидѣли возлѣ урны и смотрѣли какой бюльтень кто кладетъ, тутъ же говоря, что они свернутъ потомъ въ бараній рогъ всякого *бунтовщика*. Казенные бюльтени были печатаны на особой бумагѣ—ну такъ и вышло, что во всемъ мѣстечкѣ нашлось, не знаю, пять или десять смѣльчаковъ безпардонныхъ, вотировавшихъ противъ плебисцита; остальные, и съ ними вся Франція, вотировали имперію in spe.

OCEANO NOX

(1851)

I.*)

...Ночью, съ 7 на 8 Іюля, часу во второмъ, я сидѣлъ на ступенькѣ Кариньянскаго дворца въ Туринѣ; площадь была совершенно пуста, поодаль отъ меня дремалъ нищій, часовой тихо ходилъ взадъ и впередъ, насвистывая пѣсню изъ какой-то оперы и побрякивая ружьемъ... Ночь была горячая, теплая, пропитанная *хамсином*ъ широкко.

Мнѣ было необычайно хорошо, такъ какъ не бывало давно; я опять почувствовалъ, что я еще молодъ и силенъ силами въ груди, что у меня есть друзья и вѣрованія, что я полонъ любовью, какъ тринадцать лѣтъ передъ тѣмъ. Сердце билось такъ, какъ я отвыкъ чувствовать въ послѣднее время. Оно билось, какъ въ тотъ

*) Этотъ отрывокъ (никогда еще не печатавшійся) принадлежитъ къ той части „Былаго и Думы," которая будетъ издана гораздо позже, и для которой я писалъ всѣ остальныя. Нѣсколько строкъ о страшномъ происшествіи, бывшемъ 16 Ноября 1851—въ запискахъ Отсини, принимавшаго самое горячее участіе въ несчастіи, поразившемъ меня, были поводомъ, что я напечаталъ второй отрывокъ въ „Полярной Звѣздѣ" 1859.

мартовскій день 1838, когда я, завернувшись въ плащъ, ждалъ Кетчера у фонарнаго столба, на Поварской.

Я и теперь ждалъ свиданья, свиданья съ *той же* женщиной, и ждалъ, можетъ, еще съ большей любовью, хотя къ ней и примѣшивались грустныя, черныя ноты; но въ эту ночь ихъ было мало слышно. Послѣ безумнаго кризиса горести, отчаянія, набѣжавшаго на меня при моемъ проѣздѣ черезъ Женеву, мнѣ стало лучше. Кроткія письма Natalie, исполненныя грусти, слезъ, боли, любви, довершили мое выздровленіе. Она писала, что ѣдетъ изъ Ниццы въ Туринъ мнѣ на встрѣчу, что ей хотѣлось бы пробыть нѣсколько дней въ Туринѣ. Она была права: намъ надобно было еще разъ однимъ всмотрѣться другъ въ друга, выжать другъ другу кровь изъ ранъ, утереть слезы и, наконецъ, узнать окончательно, *есть ли* для насъ общее счастіе, — и все это наединѣ, даже безъ дѣтей, и, притомъ, *въ другомъ* мѣстѣ, не при той обстановкѣ, гдѣ мебель, стѣны, могли не во-время что нибудь напомнить, шепнуть какое нибудь полузабытое слово.

Почтовая карета должна была во второмъ часу придти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждалъ у сумрачнаго Кариньянскаго дворца, недалеко отъ него она должна была заворачивать.

Я пріѣхалъ въ этотъ же день утромъ изъ Парижа, черезъ Mont-Cenis; въ hôtel Feder мнѣ дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мнѣ нравился этотъ праздничный видъ, онъ былъ кстати. Я велѣлъ приготовить небольшой ужинъ и пошелъ бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъѣзжала къ почтовому дому, Natalie узнала меня. „Ты тутъ!“ сказала она, кланяясь въ окно. Я отворилъ дверцы и она бросилась ко мнѣ на

шею съ такой восторженной радостью, съ такимъ выраженіемъ любви и благодарности, что у меня въ памяти мелькнули, какъ молнія, слова изъ ея письма: „Я возвращаюсь, какъ корабль, въ свою родную гавань послѣ бурь, караблекрушеній и несчастій — сломанный, но спасенный.“

Одного взгляда, двухъ - трехъ словъ было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взялъ ея небольшой дорожный мѣшокъ, перебросилъ его на трости за спину, подалъ ей руку и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель. Тамъ всѣ спали, кромѣ швейцара. На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженныя свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина; я никого не хотѣлъ будить, мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили Владимірское житье.

На ней было бѣлое кисейное платье или блуза, надѣтая на дорогу отъ палящаго жара, и при первомъ свиданіи нашемъ, когда я пріѣзжалъ изъ ссылки, она была также вся въ бѣломъ и вѣнчальное платье было бѣлое. Даже лицо ея, носившее рѣзкіе слѣды глубокихъ потрясеній, заботъ, думъ и страданій, напоминало выраженіемъ черты того времени.

И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга, и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость..... едва уцѣлѣвшіе отъ тяжелыхъ ударовъ и неисправимыхъ ошибокъ. Вновь отправляясь въ путь, мы, не считаясь, раздѣлили печальную ношу былаго. Съ этой ношей приходилось идти болѣе скромнымъ шагомъ, но внутри на-

болѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастія. По ужасу и тупой боли, еще яснѣе разглядѣли мы, какъ мы не разнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дѣтьми.

Въ эту встрѣчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но крѣпче прежняго; такъ срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу. Я видѣлъ ея борьбу, ея мученье, я видѣлъ, какъ она изнемогала. Она видѣла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и на преступленіе.

Мы слишкомъ большой платой заплатили другъ за друга, чтобъ не понимать, чего мы стоимъ, и какъ дорого мы обошлись другъ другу. „Въ Туринѣ, писалъ я, въ началѣ 1852, было наше второе вѣнчаніе; его смыслъ можетъ быть глубже и знаменательнѣе перваго, онъ совершился съ полнымъ сознаніемъ всей отвѣтственности, которую мы вновь брали въ отношеніи другъ къ другу, онъ совершился въ виду страшныхъ событій..."

Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить.

Послѣднія, темныя облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно послѣ разлуки въ нѣсколько лѣтъ; день давно сквозилъ яркими полосами въ опущенныя жалузи, когда мы встали изъ за пустого стола...

Дня черезъ три, мы поѣхали вмѣстѣ домой въ Ниццу по Ривьерѣ, мелькнула Генуя, мелькнулъ Ментоне, гдѣ мы такъ часто бывали и въ такомъ розномъ настроеніи духа, мелькнуло Монако, врѣзывающееся въ море бархатной травой и бархатнымъ пескомъ; все

встрѣчало насъ весело, какъ старые друзья послѣ размолвки, а тутъ виноградники, рощи розъ, померанцовыхъ деревьевъ и море, стелящееся передъ домомъ, и дѣти, играющіе на берегу... вотъ они узнали, бросились не встрѣчу. *Мы дома.*

Спасибо судьбѣ за эти дни, за эту треть года, шедшаго за ними: ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вѣчная язычница, увѣнчала обреченныхъ на жертву пышнымъ вѣнкомъ осеннихъ цвѣтовъ... и усыпала хоть на время своимъ макомъ и благоуханіемъ!

Пропасти, дѣлившія насъ, исчезли, берега сдвинулись. Развѣ это не та же рука, которая черезъ всю жизнь была въ моей рукѣ, и развѣ это не тотъ же взглядъ, только иногда онъ мутится отъ слезъ? „Успокойся же сестра, другъ, товарищъ, вѣдь все прошло—и мы тѣ же, какъ въ юные, святые, свѣтлые годы!“

... „Послѣ страданій, которыхъ, можетъ, ты знаешь мѣру, иныя минуты полны блаженства; всѣ вѣрованія дѣтства, юности, не только совершились, но прошли сквозь страшныя испытанія, не утративъ ни свѣжести, ни аромата, и разцвѣли съ новымъ блескомъ и новой силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь,“ писала она своему другу въ Россію.

Разумѣется, отъ прошлаго остался осадокъ, до котораго нельзя было касаться безнаказанно: что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющій испугъ и боль.

Прошедшее не корректурный листъ, а ножъ гильотины, послѣ его паденія многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, какъ отлитое въ металѣ, подробное, неизмѣнное, темное, какъ бронза. Люди вообще забываютъ только то, чего не стоитъ по-

мнить, или чего они не понимаютъ. Дайте иному забыть два-три случая, такія-то черты, такой-то день, такое-то слово, и онъ будетъ юнъ, смѣлъ, силенъ, а съ ними онъ идетъ какъ ключъ ко дну. Не надобно быть Макбетомъ, чтобъ встрѣчаться съ тѣнью Банко; тѣни не уголовные судьи, не угрызенія совѣсти, *а несокрушимыя событія памяти.*

Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имѣетъ свои права, оно фактъ, съ нимъ надобно *сладить*, а не забыть его,—и мы шли къ этому дружными шагами.

... Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я въ то же мгновеніе встрѣчалъ испуганный взглядъ, смотрѣвшій на меня съ безконечной мукой и говорившій: „Да, ты правъ, иначе и быть не можетъ, но—“ и я старался разгонять набѣжавшія тучи.

Святое время примиренья, я вспоминаю о немъ сквозь слезы...

... Нѣтъ, не *примиренья*, это слово не идетъ. Слова, какъ гуртовыя платья, въ пору до „извѣстной степени“ всѣмъ людямъ одинакого роста и плохо одѣваютъ каждаго *отдѣльно*.

Намъ нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали другъ о другѣ, но не расходились. Въ самыя мрачныя минуты, какое-то неразрывное единство, безсомнѣнное для обоихъ, и глубокое уваженіе другъ къ другу были присущи. Мы походили скорѣе на людей, оправляющихся послѣ тяжкой горячки, чѣмъ на помирившихся: бредъ прошелъ, мы узнали другъ друга взглядомъ, нѣсколько слабымъ и мутнымъ. Боль

вынесенная была памятна, утомленіе ощутительно, но вѣдь мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

..... Мысль, нѣсколько разъ прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотѣла написать свою Исповѣдь. Она была недовольна ея началомъ, жгла листки, одно длинное письмо и одна страничка уцѣлѣли..... По нимъ можно судить о томъ, что пропало..... Читая ихъ, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающаго и теплаго сердца, чувствуешь шопотъ этихъ беззвучныхъ тайнъ, вѣчно скрытыхъ, едва просыпающихся въ сознаніи. Въ этихъ строкахъ можно было уловить, какъ мучительная борьба переходила въ новый закалъ и боль въ мысль. Еслибъ этотъ трудъ не былъ грубо прерванъ, онъ составилъ бы великій антецедентъ, въ замѣну уклончиваго молчанія женщины и надменнаго покровительства ея — мужчиной; но самый безсмысленный ударъ разразился надъ нашей головой и окончательно все разбилъ.

II

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...
V. Hugo.

Такъ оканчивалось лѣто 1851. Мы были почти совсѣмъ одни. Моя мать съ Колей и съ Шпильманомъ уѣхали погостить въ Парижѣ къ М. К. Тихо проводили мы время съ дѣтьми. Казалось, всѣ бури были назади.

Въ Ноябрѣ мы получили письмо отъ моей матери, что она скоро выѣзжаетъ, потомъ другое изъ Марселя,

въ которомъ она писала, что на другой день, 15 Ноября, они садятся на пароходъ и ѣдутъ къ намъ. Во время ея отсутствія, мы переѣхали въ другой домъ также на берегу моря, въ предмѣстьи С. Еленъ. Въ домѣ этомъ съ большимъ садомъ было помѣщеніе для моей матери; мы убрали ея комнату цвѣтами, нашъ поваръ досталъ съ Сашей китайскихъ фонарей и развѣсилъ ихъ по стѣнамъ и деревьямъ. Все было готово— дѣти часовъ съ трехъ не сходили съ террасы; наконецъ, въ шестомъ часу на горизонтѣ отдѣлилась отъ моря темная струйка дыма, а черезъ нѣсколько минутъ показался и пароходъ, стоявшій неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у насъ, Франсуа пустился на пристань, я сѣлъ въ коляску и поѣхалъ туда же.

Когда я пріѣхалъ на пристань, пароходъ уже вошелъ, лодки ждали кругомъ разрѣшенія sanità сходить пассажирамъ. Одна изъ нихъ подъѣзжала къ дебаркадеру, на ней стоялъ Франсуа. „Какъ, спросилъ я, вы уже назадъ ѣдете?“

Онъ мнѣ не отвѣчалъ; я взглянулъ на него и обмеръ; онъ былъ зеленаго цвѣта и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. — Что это? спросилъ я, вы больны? — Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, минуя мой взглядъ, только наши не пріѣхали. — Какъ не пріѣхали? — Тамъ что-то съ пароходомъ случилось, такъ не всѣ пассажиры пріѣхали. Я бросился въ лодку и велѣлъ скорѣе отчаливать.

На пароходѣ меня встрѣтили съ какимъ-то зловѣщимъ почетомъ и съ совершеннымъ молчаніемъ. Самъ капитанъ дожидался меня; все это совсѣмъ не въ обычаяхъ, и я ждалъ чего нибудь ужаснаго. Капитанъ сказалъ мнѣ, что между островомъ Іеромъ и материкомъ пароходъ, на которомъ была моя мать, стол-

кнулся съ другимъ и пошелъ ко дну, что большая часть пассажировъ взяты имъ и другимъ пароходомъ, шедшимъ мимо. У меня, сказалъ онъ, только двѣ молодыя дѣвушки изъ вашихъ, и повелъ меня на переднюю палубу — всѣ разступились съ тѣмъ же мрачнымъ молчаніемъ. Я шелъ безсмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нея, высокая, стройная дѣвушка, лежала на палубѣ съ растрепанными и мокрыми волосами; возлѣ нея горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая дѣвушка хотѣла приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась въ другую сторону.

— Что же это, наконецъ? Гдѣ они? спросилъ я, болѣзненно схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаемъ, отвѣчала она, пароходъ потонулъ — насъ замертво вытащили изъ воды. Какая то англичанка дала намъ свои платья, чтобъ переодѣться.

Капитанъ грустно посмотрѣлъ на меня, потресъ мою руку и сказалъ: „Отчаяваться не надо, съѣздите въ Іеръ, быть можетъ и найдете кого нибудь изъ нихъ.“

Поручивъ Энгельсону и Франсуа больныхъ, я поѣхалъ домой въ какомъ-то ошеломленіи; все въ головѣ было смутно и дрожало внутри, я желалъ, чтобъ домъ нашъ былъ за тысячу верстъ. Но вотъ блеснуло что-то между деревьевъ, еще и еще; это были фонарики, зажженные дѣтьми. У воротъ стояли наши люди, Тата и Natalie съ Олею на рукахъ.

— Какъ, ты одинъ? — спросила меня спокойно Natalie, да ты хоть бы Колю привезъ.

— Ихъ нѣтъ — сказалъ я — съ ихъ пароходомъ что-то случилось, надобно было перейти на другой, тотъ не всѣхъ взялъ. Луиза здѣсь.

— *Ихъ нѣтъ!* вскрикнула Natalie. — Я теперь только разглядѣла твое лице: у тебя глаза мутны, всѣ черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я ѣду ихъ искать въ Іеръ.

Она покачала головой и прибавила: — Ихъ нѣтъ! ихъ нѣтъ! потомъ молча приложила лобъ къ моему плечу. Мы прошли алеей, не говоря ни слова: я привелъ ее въ столовую; проходя, я шепнулъ Роккѣ: „Бога ради, фонари"; онъ понялъ меня и бросился ихъ тушить. Въ столовой все было готово — бутылка вина стояла во льду, передъ мѣстомъ моей матери букетъ цвѣтовъ, передъ мѣстомъ Коли—новыя игрушки.

Страшная вѣсть быстро разнеслась по городу, и домъ нашъ сталъ наполняться близкими знакомыми, какъ Фогтъ, Тесье, Хоецкій, Орсини, и даже совсѣмъ посторонними: одни хотѣли узнать, что случилось, другіе показать участіе, третьи совѣтовать всякую всячину, большей частью вздоръ. Но не буду неблагодаренъ, участіе, которое мнѣ тогда оказали въ Ниццѣ, меня глубоко тронуло. Передъ такими безсмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуютъ свою связь.

Я рѣшился въ ту же ночь ѣхать въ Іеръ. Natalie хотѣла ѣхать со мной; я уговорилъ ее остаться; къ тому же погода круто перемѣнилась, подулъ мистраль, холодный какъ ледъ и съ сильнымъ дождемъ. Надобно было достать пропускъ во Францію, черезъ Варскій мостъ; я поѣхалъ къ Леону Пилю, французскому консулу; онъ былъ въ оперѣ; я отправился къ нему въ ложу съ Хоецкимъ; Пиле, уже прежде что-то слышавшій о случившемся, сказалъ мнѣ: „Я не имѣю права дать вамъ позволеніе, но есть обстоятельства, въ которыхъ отказъ былъ бы преступленіемъ. Я вамъ дамъ на свою

ответственность билетъ для пропуска черезъ границу —приходите за нимъ черезъ полчаса въ консулатъ."

У входа въ театръ меня ждали человѣкъ десять изъ тѣхъ, которые были у насъ. Я имъ сказалъ, что Леонъ Пиле даетъ билетъ.

— „Поѣзжайте домой и не хлопочите ни о чемъ," говорили мнѣ со всѣхъ сторонъ; „остальное будетъ сдѣлано—мы возьмемъ билетъ, визируемъ его въ интендантствѣ, закажемъ почтовыхъ лошадей." Хозяинъ моего дома, бывшій тутъ, побѣжалъ доставать карету; содержатель гостинницы предложилъ безденежно свою.

Въ 11 часовъ вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы вѣтра были иной разъ до того сильны, что лошади останавливались; море, въ которомъ такъ недавно были похороны, едва видное въ темнотѣ, билось и ревѣло. Мы поднимались на Эстрель, дождь замѣнился снѣгомъ, лошади спотыкались и чуть не падали отъ гололедицы. Нѣсколько разъ почтальонъ, выбившись изъ силъ, принимался грѣться; я ему подавалъ мою фляжку съ коньякомъ и, обѣщая двойные прогоны, упрашивалъ торопиться.

Зачѣмъ? Вѣрилъ ли я въ возможность, что найду кого нибудь изъ нихъ, что кто нибудь спасся? Трудно было предполагать это, послѣ всего слышаннаго — но поискать, взглянуть на самое мѣсто, найти вещь, тряпку, увидѣть очевидца наконецъ... была потребность убѣдиться, что нѣтъ надежды, и потребность что нибудь дѣлать, не быть дома, придти въ себя.

Пока на Эстрелѣ мѣняли лошадей, я вышелъ изъ кареты, сердце мое сжалось и я чуть не зарыдалъ, осмотрѣвшись; это было возлѣ той самой таверны, въ которой мы провели ночь въ 1847 г. Я вспомнилъ огромныя деревья, осѣнявшія ее; тотъ же видъ стлался передъ

нею, только тогда онъ былъ освѣщенъ восходящимъ солнцемъ, а теперь скрывался за сѣрыми не итальянскими тучами и мѣстами бѣлѣлъ отъ снѣга.

Живо представилось мнѣ то время, со всѣми мельчайшими подробностями: я вспомнилъ, какъ хозяйка насъ подчивалъ зайцомъ, тухлость котораго была заморена страшнымъ количествомъ чеснока, какъ въ спальной летали летучія мыши, какъ я ихъ гонялъ съ нашей Луизой полотенцомъ, и какъ на насъ вѣяло въ первый разъ теплымъ южнымъ воздухомъ...

Тогда я писалъ: — „Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для человѣка, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости—юнѣешь, хочется пѣть, плясать, плакать; все такъ ярко, свѣтло, весело, роскошно. Послѣ Авиньона намъ надобно было переѣзжать приморскія Альпы. Въ лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ за утренняго тумана, лучъ солнца орумянилъ ослѣпительныя снѣжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья, и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной и жесткой растительностью; воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освѣжающъ и звонокъ, наши слова, пѣнье птицъ раздавались громче обыкновеннаго, и вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги блеснуло каймой около горъ и задрожало серебряннымъ огнемъ Средиземное море.“ *)

И вотъ черезъ четыре года я снова на томъ же мѣстѣ!...

Прежде ночи мы не могли пріѣхать въ Іеръ, я тотчасъ отправился къ комисару полиціи; съ нимъ и съ

*) „Письма изъ Франціи и Италіи.“

жандармскимъ бригадиромъ пошли мы сначала къ морскому комисару. У него были разныя спасенныя вещи; я ничего въ нихъ не нашелъ. Потомъ мы пошли въ больницу: одинъ изъ утопавшихъ отходилъ, другіе сообщили мнѣ, что они видѣли пожилую женщину, ребенка лѣтъ пяти и съ нимъ молодаго человѣка, съ бѣлокурой, окладистой бородой... что они видѣли ихъ въ самую послѣднюю минуту, и что, стало быть, они такъ же пошли ко дну, какъ и всѣ. Но тутъ-то снова и являлся вопросъ: вѣдь разсказывавшіе были же живы, хотя и они, какъ Луиза и горничная, порядкомъ не помнили, какъ спаслись.

Найденныя тѣла лежали въ криптѣ монастыря; мы пошли туда изъ больницы; сестры милосердія встрѣтили насъ и повели освѣщая намъ дорогу церковными свѣчами. Въ криптѣ стоялъ рядъ вновь сколоченныхъ ящиковъ, въ каждомъ ящикѣ было одно тѣло. Комисаръ велѣлъ ихъ раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадиръ послалъ жандарма за долотомъ и велѣлъ ему потомъ взламывать одну крышку за другой.

Этотъ осмотръ тѣлъ былъ не человѣчески тяжелъ. Комисаръ держалъ въ рукѣ книжку и какимъ-то офиціальнымъ тономъ спрашивалъ, при вскрытіи каждаго ящика: „Вы свидѣтельствуете, въ присутствіи нашемъ, что тѣло это вамъ незнакомо“; я кивалъ головой, комисаръ мѣтилъ карандашемъ и, обращаясь къ жандарму, приказывалъ снова закрыть. Мы переходили къ другому. Жандармъ приподнималъ крышу, я съ какимъ-то ужасомъ бросалъ взглядъ на покойника, и словно было легче, когда встрѣчалъ незнакомыя черты, а въ сущности еще страшнѣе было думать, что всѣ трое пропали такъ безслѣдно, такъ заброшенно лежатъ на днѣ моря, носятся волнами. Тѣло безъ гроба, безъ могилы стра-

шнѣе всякихъ похоронъ, а тутъ не было и самихъ покойниковъ.

Я никого не нашелъ. Одно тѣло поразило меня: женщина лѣтъ двадцати, красавица, въ нарядномъ провансальскомъ костюмѣ; ея грудь была обнажена, (съ нею былъ ребенокъ, разумѣется, унесенный волнами) и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лице ея нисколько не измѣнилось, смуглый загаръ придавалъ ей совершенно живой видъ.

Бригадиръ не вытерпѣлъ и замѣтилъ: „экая прелесть какая!“ Комисаръ ничего не прибавилъ, жандармъ, накрывши ее, замѣтилъ бригадиру: „я зналъ ее, она изъ здѣшнихъ подгородныхъ крестьянокъ, ѣхала къ мужу въ Грасъ. Пусть подождетъ!“

Моя мать, мой Коля и нашъ добрый Шпильманъ исчезли безслѣдно, ничего не осталось отъ нихъ; между спасенными вещами не было ни лоскутка имъ принадлежащаго, сомнѣніе въ ихъ гибели было невозможно. Всѣ спасшіеся были или въ Іерѣ, или на томъ же пароходѣ, который привезъ Лунзу. Капитанъ выдумалъ для моего успокоенія какую-то сказку.

Въ Іерѣ мнѣ разсказывали еще о пожиломъ человѣкѣ, потерявшемъ всю семью, который не хотѣлъ оставаться въ больницѣ и ушелъ куда-то пѣшкомъ безъ денегъ, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству, и о двухъ англичанкахъ, отправившихся къ англійскому консулу: онѣ лишились матери, отца и брата!

Дѣло шло къ разсвѣту, я велѣлъ привести лошадей. Передъ отъѣздомъ гарсонъ водилъ меня на часть берега, выдавшуюся въ морѣ, и оттуда показывалъ мѣсто кораблекрушенія. Море еще кипѣло и волновалось, сѣдое и мутное отъ вчерашней бури; вдали, на одномъ мѣстѣ, качалось какое-то особенное пятно, словно болѣе

густая, прозрачная влага. „Пароходъ везъ грузъ масла, видите оно остоялось, вотъ тутъ и было несчастіе.“ Это всплывшее пятно было *все*.

— А глубоко тутъ?

— Метровъ сто восемьдесятъ будетъ. Я постоялъ, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, какъ вчера, дулъ, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!... Сто восемьдесятъ метровъ глубины и носящееся пятно масла!

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues,
Vous roulerez a travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...

Съ страшной достовѣрностью пріѣхалъ я назадъ. Едва, едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли, она не выздоравливала больше. Испугъ, боль остались, — вошли въ кровь. Иногда вечеромъ, ночью она говорила мнѣ, какъ бы прося моей помощи: „Коля, Коля не оставляетъ меня, бѣдный Коля, какъ онъ чай испугался, какъ ему было холодно, а тутъ рыбы, омары!“ Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцѣлѣла въ карманѣ у горничной — и наставало молчаніе, то молчаніе, въ которое жизнь утекаетъ, какъ въ поднятую плотину. При видѣ этихъ страданій, переходившихъ въ нервную болѣзнь, при видѣ ея блестящихъ глазъ и увеличивающейся худобы, я въ первый разъ усомнился, спасу ли я ее... въ мучительной неувѣренности тянулись дни, что-то въ родѣ существованія людей, между приговоромъ и казнію, когда человѣкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ—что онъ отъ топора не уйдетъ!

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ

РУССКІЯ ТѢНИ

I

Н. И. САЗОНОВЪ

Сазоновъ, *Бакунинъ*, *Парижъ*. — Имена эти, люди эти, городъ этотъ такъ и тянутъ назадъ... назадъ — въ даль лѣтъ, въ даль пространствъ, во времена юношескихъ конспираціи — во времена философскаго культа и революціоннаго идолопоклонства *).

Мнѣ слишкомъ дороги наши *двѣ юности*, чтобъ опять не пріостановиться на нихъ... Съ Сазоновымъ я дѣлилъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ наши отроческія фантазіи о заговорѣ à la Ріензи — съ Бакунинымъ десять лѣтъ спустя, въ потѣ мозга завоевывалъ Гегеля.

О Бакунинѣ я говорилъ и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ — въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между комунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процесъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи — гдѣ онъ исчезъ за страшными стѣнами Алексѣевскаго равелина — дѣлаютъ изъ него

*) Этотъ очеркъ принадлежитъ къ XXXIV гл., Т. VIII, стр. 219.

одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Бакунинъ носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іереміархомъ, бойцемъ. Поставьте его куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клотца, другомъ Гракха Бабёфа — и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ; —

Но здѣсь, подъ гнетомъ власти царской,

Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелизмѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгуновъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, глохнетъ, не видавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Примѣръ Сазонова еще рѣзче. Сазоновъ прошелъ безслѣдно и смерть его такъ же никто не замѣтилъ, какъ всю его жизнь. Онъ умеръ, не исполнивъ ни одной надежды изъ тѣхъ, которыя клали на него его друзья. Легко сказать, что онъ виноватъ въ своей судьбѣ; но

какъ оцѣнить и взвѣсить долю, падающую на человѣка, и ту, которая падаетъ на среду.

Николаевское время была временемъ нравственнаго душегубства, оно убивало не одними рудниками и бѣлыми ремнями, а своей удушающей, понижающей атмосферой, своими, такъ сказать, отрицательными ударами.

Хоронить затянувшіяся существованія того времени, выбившіяся изъ силъ, усиливаясь стащить съ мѣли глубоко врѣзавшуюся въ песокъ барку нашу — моя спеціальность. Я ихъ Домажировъ, теперь всѣми забытый, а нѣкогда всѣмъ въ Москвѣ извѣстный старикъ, отставной ординарецъ Прозоровскаго. Пудреный, въ свѣтло-зеленомъ павловскомъ мундирѣ, являлся онъ на всѣ выносы, на которыхъ бывалъ архіерей, становился впередъ процессіи и велъ ее, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

... На второй годъ университетскаго курса, то есть осенью 1831, мы встрѣтили въ числѣ новыхъ товарищей, въ физико-математической аудиторіи двоихъ, съ которыми особенно сблизились.

Наши сближенія, симпатіи и антипатіи шли изъ одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религіи: наука, искусство, связи, родительскій домъ, общественное положеніе. Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращать, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ и [illegible], не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Мы [illegible] въ аудиторіи съ [illegible] цѣлью въ ней основать [illegible] Декабристовъ и [illegible] послѣдователей. Первый [illegible] мы на[illegible] подружились.

Онъ сознательно подалъ свою руку и на другой день привелъ намъ еще одного студента.

Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но, не смотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другъ его, красивый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы прiютиться; полный любви и преданности, едва вышедшій изъ подъ материнскаго крыла съ благородными стремленіями и полудѣтскими мечтами, ему хотѣлось теплоты, нѣжности, онъ жалля къ намъ и отдавался весь и намъ и нашей идеѣ — это была натура Владиміра Ленскаго, натура Веневитинова.

... День, въ который мы сѣли рядомъ на одной изъ лавокъ амфитеатра и взглянули другъ на друга, съ сознаніемъ нашего обрѣченія, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей вѣры въ святость дѣла—и взглянули съ гордой любовью на это множество молодыхъ, прекрасныхъ головъ, окружавшихъ насъ, какъ на братственную паству,—былъ великимъ днемъ въ нашей жизни. Мы подали другу руку и à la lettre, пошли пропокѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой „вселенной“ *) какъ четыре діакона, идушіе въ свѣтлый праздникъ съ четырьмя Евангеліями въ рукахъ.

Проповѣдывали мы вездѣ, всегда..... Что мы собственно проповѣдывали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповѣдывали Декабристовъ и французскую революцію, потомъ проповѣдывали Сенъ-Симонизмъ и туже революцію, мы проповѣдывали конституцію и республи-

*) Universitas.

ку, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуще всего проповѣдывали ненависть къ всякому насилью, къ всякому правительственному произволу.

Общества въ сущности никогда не составлялось; но пропаганда наша пустила глубокіе корни во всѣ факультеты и далеко перешла университетскія стѣны.

Съ тѣхъ поръ, наша пропаганда не перемежалась черезъ всю жизнь нашу, отъ университетской аудиторіи до Лондонской типографіи. Вся наша жизнь была посильнымъ исполненіемъ отроческой программы. Прослѣдить нитку не трудно по затронутымъ вопросамъ, по возбужденнымъ интересамъ, въ журналахъ, на лекціяхъ, въ литературныхъ кругахъ... видоизмѣняясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась вѣрной себѣ и вносила свой *индивидуальный* характеръ во все окружающее. Казна подняла насъ и сдѣлала намъ на свой счетъ пьедесталъ *тюрьмой* и *ссылкой*. Мы возвратились въ Москву „авторитетами“ въ двадцать пять лѣтъ. Къ намъ примкнули Бѣлинскій, Грановскій и Бакунинъ, а статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ*, мы сами примкнули къ Петербургскому движенію лицеистовъ и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, какъ Декабристы старшими.

Умалчивать о значеніи нашего круга—оттого, что я принадлежалъ къ нему, было бы лицемѣрно или глупо. Совсѣмъ напротивъ, встрѣчаясь въ моихъ разсказахъ съ тѣми временами, съ старыми друзьями тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, я нарочно останавливаюсь, и говорю, не боясь повтореній, лишь бы ближе познакомить съ ними молодое поколѣніе. Оно ихъ не знаетъ, забыло, не любитъ, отрекается отъ нихъ, какъ отъ людей менѣе практическихъ, дѣльныхъ, менѣе знавшихъ куда

идутъ; оно на нихъ сердится, и огуломъ отбрасываетъ ихъ, какъ отсталыхъ, какъ лишнихъ и праздныхъ людей, фантастовъ и мечтателей, забывая, что оцѣнка прошлыхъ *лицъ*, ихъ значеніе и „проба“ меньше зависятъ отъ сравненія *суммы* знанія и образа постановленія задачъ прежняго времени и новаго, чѣмъ отъ энергіи и силы, которую вносили они въ свои рѣшенія. Мнѣ ужасно хотѣлось бы спасти молодое поколѣніе отъ исторической неблагодарности и даже отъ исторической ошибки. Пора отцамъ Сатурнамъ не закусывать своими дѣтьми, но пора и дѣтямъ не брать примѣра съ тѣхъ камчадаловъ, которые убивали стариковъ.

Смѣло и съ полнымъ сознаніемъ скажу еще разъ про наше товарищество того времени: „что это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливыхъ, чистыхъ, развитыхъ, умныхъ и преданныхъ, я не встрѣчалъ,“ а скитался довольно по бѣлому и по *красному* свѣту. Я не только говорю о нашемъ, близкомъ кругѣ, но тоже и въ той же силѣ долженъ сказать о кругѣ Станкевича и о славянофилахъ. Молодые люди, испуганные ужасной дѣйствительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всѣмъ, до чего добиваются другіе — общественнымъ положеніемъ, богатствомъ, всѣмъ, что имъ предлагала традиціонная жизнь, къ чему влекла среда, примѣръ, къ чему нудила семья—изъ за своихъ убѣжденій и остались вѣрными имъ. Такихъ людей нельзя просто сдать въ архивъ—и забыть.

Ихъ преслѣдуютъ, отдаютъ подъ судъ, отдаютъ подъ надзоръ, ссылаютъ, таскаютъ, обижаютъ, унижаютъ, они остаются тѣже—проходитъ десять лѣтъ—они тѣже, проходитъ двадцать, тридцать—они тѣже.

Я требую признанія имъ и справевливости.

Противъ этого простаго требованія я слышалъ странное возраженіе и притомъ не одинъ разъ. „Вы и еще больше декабристы были дилетанты революціонныхъ идей; для васъ ваше участіе въ дѣлѣ была роскошь, поэзія; сами же вы говорите, что вы всѣ *жертвовали* общественнымъ положеніемъ, имѣли средства, для васъ стало быть, переворотъ не былъ вопросомъ куска хлѣба и человѣческаго существованія, вопросомъ на жизнь и смерть..."

— Я полагаю, отвѣчалъ я разъ, что для казненныхъ *да*.....

— По крайней мѣрѣ не были роковыми, неизбѣжными вопросами. Вамъ нравилось быть революціонерами, и это разумѣется лучше, чѣмъ, еслибъ вамъ нравилось быть сенаторами и губернаторами; для насъ же борьба съ существующимъ порядкомъ не выборъ, это *наше* общественное положеніе. Между нами и вами та разница, которая между человѣкомъ упавшимъ въ воду и купающимся: обоимъ надобно плыть, но одному по необходимости, а другому изъ удовольствія.

Не признавать людей, потому что они дѣлали изъ внутренняго влеченія то, что другіе *будутъ* дѣлать изъ нужды, сильно сбивается на монашескій аскетизмъ, который высоко цѣнитъ только тѣ обязанности, исполненіе которыхъ очень противно.

Такого рода крайніе взгляды легко даютъ корень у насъ—не то, чтобы глубокій, но трудно искореняемый, какъ хрѣнъ.

Мы большіе доктринеры и резонеры. Къ этой нѣмецкой способности у насъ присоединяется свой національный, такъ сказать *аракчеевскій* элементъ, безпощадный, страстно сухой и охотно палачествующій. Аракчеевъ засѣкалъ для своего идеала лейбъ-гвардейскаго

гренадера — живыхъ крестьянъ; мы засѣкаемъ идеи, искуства, гуманнность, прошедшихъ дѣятелей, все что угодно. Неустрашимымъ фронтомъ идемъ мы, шагъ въ шагъ, *до чура* и переходимъ его, не сбиваясь съ діалектической ноги, а только *съ истины;* не замѣчая, идемъ далѣе и далѣе, забывая, что реальный смыслъ и реальное пониманіе жизни именно и обнаруживается въ остановкѣ передъ крайностями... это halte мѣры, истины. красоты, это вѣчно уравновѣшиваемое колебаніе организма.

Олигархическое притязаніе неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественнаго страданія — также несправедливо, какъ всѣ исключительности и монополи. Ни съ евангельскимъ милосердіемъ, ни съ демократической завистью, дальше милостыни и насильственной споліяціи, дальше раздачи имѣнья и общаго нищенства не уйдешь. Въ церкви оно осталось риторической темой и сентиментальнымъ упражненіемъ въ состраданіи; въ ультра-демократизмѣ, какъ замѣтилъ Прудонъ, чувствомъ зависти и ненависти — не переходя ни тамъ, ни тутъ, ни къ какой построяющей мысли, ни къ какой практикѣ.

Чѣмъ же виноваты люди, понявшіе боль страждущихъ прежде ихъ самихъ, и указавшіе имъ не только ее, но и путь къ выходу. Потомокъ Карла Великаго — Сенъ-Симонъ, также какъ фабрикантъ Робертъ Оуэнъ, не отъ голодной смерти сдѣлались апостолами соціализма.

Взглядъ этотъ не продержится, въ немъ недостаетъ теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянулъ объ немъ, еслибъ въ его проскрипціонные листы, вмѣстѣ съ нами, не вошли и тѣ ранніе сѣятели всего, что вошло и всходитъ — декабристы, которыхъ мы такъ глубоко уважаемъ.

Отступленіе это здѣсь почти не кстати.

Сазоновъ былъ дѣйствительно праздный человѣкъ и сгубилъ въ себѣ бездну силъ; затертый разными разностями на чужбинѣ, онъ пропалъ, какъ солдатъ взятый въ плѣнъ на первомъ сраженіи и никогда не возвращавшійся домой.

Когда насъ арестовали въ 1834 году и посадили въ тюрьму, Сазоновъ и Кетчеръ уцѣлѣли какимъ-то чудомъ. Оба они жили въ Москвѣ почти безвыѣздно, говорили много, но писали мало, ихъ писемъ ни у кого изъ насъ не было. Насъ повезли въ ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспортъ въ Италію. Участь его, разрозненная съ нами, положила можетъ начало послѣдующей жизни его—жизни катой-то блуждающей и безслѣдно падающей звѣзды.

Черезъ годъ онъ возвратился въ Москву, это былъ одинъ изъ самыхъ удушливыхъ и тяжелыхъ періодовъ прошлаго царствованія. Въ Москвѣ его встрѣтилъ мертвый calme plat, нигдѣ ни тѣни сочувствія, ни живаго слова. Мы въ *резервахъ* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились съ грубой реальностью провинціальнаго быта.

Въ Москвѣ все Сазонову напоминало наше отсутствіе. Изъ старыхъ друзей одинъ Кетчеръ былъ на лицо, человѣкъ, съ которымъ Сазоновъ, чопорный и аристократъ по манерамъ, всего меньше могъ идти рука въ руку. Кетчеръ, какъ мы говорили, былъ сознательный дикарь — *изъ образованныхъ*, куперовскій піонеръ, съ премедитаціей возвращавшійся въ первобытное состояніе людскаго рода, грубый по принципу, неряха по теоріи, студентъ лѣтъ тридцати пяти въ роли Шиллеровскаго юноши.

Сазоновъ побился, побился въ Москвѣ—скука одолѣла его, ничто не звало на трудъ, на дѣятельность. Онъ попробовалъ переѣхать въ Петербургъ—еще хуже; не выдержалъ онъ à la longue, и уѣхалъ въ Парижъ безъ опредѣленнаго плана. Это было еще то время, когда Парижъ и Франція имѣли на насъ всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ея шероховатой стороны, и были въ восторгѣ отъ всего—отъ либеральныхъ рѣчей, отъ пѣсней Беранже и каррикатуръ Филипона. Такъ было и съ Сазоновымъ. Но дѣла не нашелъ онъ и тутъ. Шумная, веселая праздность замѣняла нѣмую, подавленную жизнь. Въ Россіи онъ былъ связянъ по рукамъ и ногамъ, тутъ чужой всѣмъ и всему. Другой, длинный рядъ годовъ безцѣльно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него въ Парижѣ. Сосредоточиться въ себѣ, отдаться внутренней работѣ, не ожидая толчка извнѣ, онъ не могъ, это не лежало въ его натурѣ. Объективный интересъ науки не былъ въ немъ такъ силенъ. Онъ искалъ иной дѣятельности и былъ бы готовъ на всякій трудъ — но на виду, но въ быстромъ приложеніи его, въ практическомъ осуществленіи и притомъ при громкой обстановкѣ, при рукоплесканіяхъ и крикѣ враговъ; не находя такой работы, онъ бросился въ Парижскій разгулъ.

... А горѣли и его глаза и наполнялись слезой при памяти о нашихъ университетскихъ мечтахъ..... Внутри его глубоко-уязвленнаго самолюбія все еще хранилась вѣра въ *близкій* переворотъ Россіи и въ то, что онъ призванъ играть въ немъ большую роль. Казалось онъ и кутилъ только *покамѣсть*, въ скучномъ ожиданіи предстоящаго огромнаго дѣла, и былъ увѣренъ, что однимъ добрымъ вечеромъ его вызовутъ изъ за стола

café Anglais и повезутъ управлять Россіей... онъ пристально присматривался къ тому что дѣлается и съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда нужно будетъ принять серьезное участіе и сказать послѣднее, завершающее слово...

... Послѣ первыхъ, шумныхъ дней, въ Парижѣ, начались больше серьезные разговоры, при чемъ сейчасъ обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазоновъ и Бакунинъ были недовольны (такъ какъ впослѣдствіи Высоцкій и члены польской централизаціи), что новости мною привезенныя больше относились къ литературному и университетскому міру, чѣмъ къ политическимъ сферамъ. Они ждали разсказовъ о партіяхъ, обществахъ, о министерскихъ кризисахъ (при Николаѣ!), объ оппозиціи (въ 1847!), а я имъ говорилъ о каѳедрахъ, о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго, о статьяхъ Бѣлинскаго, о настроеніи студентовъ и даже семинаристовъ. Они слишкомъ разобщились съ русской жизнью и слишкомъ вошли въ интересы „всемірной“ революціи и французскихъ вопросовъ, чтобы помнить, что у насъ появленіе „Мертвыхъ Душъ“ было важнѣе назначенія двухъ Паскевичей фельдмаршалами и двухъ Филаретовъ митрополитами. Безъ правильныхъ сообщеній, безъ русскихъ книгъ и журналовъ, они относились къ Россіи какъ-то теоретически и по памяти, придающей искуственное освѣщеніе всякой дали.

Разница нашихъ взглядовъ чуть не довела насъ до размолвки. Это случилось такъ: наканунѣ отъѣзда Бѣлинскаго изъ Парижа, мы проводили его вечеромъ домой и пошли гулять на Елисейскія поля. Страшно ясно видѣлъ я, что для Бѣлинскаго все кончено, что я ему въ послѣдній разъ жалъ руку. Сильный, страстный боецъ сжегъ себя, смерть уже вывала крупными чер-

тами свою близость на изстрадавшемся лицѣ его. Онъ былъ въ злѣйшей чахоткѣ, а все еще полонъ святой энергіи и святого негодованія, все еще полонъ своей мучительной, „злой“ любви къ Россіи. Слезы стояли у меня въ горлѣ и я долго шелъ молча, когда возобновился несчастный споръ, разъ десять являвшійся sur le tapis.

— Жаль, замѣтилъ Сазоновъ, что Бѣлинскому не было другой дѣятельности, кромѣ журнальной работы, да еще работы подцензурной.

— Кажется трудно упрекать именно его, что онъ мало сдѣлалъ, отвѣчалъ я.

— Ну съ такими силами какъ у него, онъ при другихъ обстоятельствахъ и на другомъ поприщѣ побольше сдѣлалъ бы...

Мнѣ было досадно и больно. „Да скажите, пожалуйста, вы вы, живущіе безъ цензуры, вы полные вѣры въ себя, полные силъ и талантовъ, что же вы сдѣлали? Или что вы дѣлаете? Неужели вы воображаете, что ходить съ утра изъ одной части Парижа въ другую, чтобъ еще разъ переговорить съ Служальскимъ или Хоткевичемъ о границахъ Польши и Россіи — дѣло? Или что ваши бесѣды въ кафе и дома, гдѣ пять дураковъ слушаютъ васъ и ничего не понимаютъ, а другіе пять ничего не понимаютъ и говорятъ—дѣло?

— Постой, постой, говорилъ Сазоновъ, уже очень неравнодушно, ты забываешь наше положеніе.

— Какое положеніе? Вы живете здѣсь годы, на волѣ безъ гнетущей крайности, чего же вамъ еще? Положенія создаются, силы заставляютъ себя признать, втѣснятъ себя. Полноте, господа, одна критическая статья Бѣлинскаго полезнѣе для новаго поколѣнія, чѣмъ игра въ конспираціи и въ государственныхъ людей. Вы

живете въ какомъ-то бреду и лунатизмѣ, въ вѣчномъ оптическомъ обманѣ, которымъ сами себѣ отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда двѣ мѣры, которыя прилагали не только Сазоновъ, но и вообще русскіе къ оцѣнкѣ людей. Строгость обращенная на своихъ превращалась въ культъ и поклоненіе передъ французскими знаменитостями. Досадно было видѣть какъ наши *пасовали* передъ этими матадорами краснобайства, забрасывавшими ихъ словами, фразами и общими мѣстами, сказанными съ vitesse accelerée. И чѣмъ смиреннѣе держали себя русскіе, чѣмъ больше они краснѣли и старались скрывать *ихъ* невѣжество (какъ дѣлаютъ нѣжные родители и самолюбивые мужья), тѣмъ больше тѣ ломались и важничали передъ гиперборейскими Анахарсисами.

Сазоновъ, любившій еще въ Россіи студентомъ окружать себя *дворомъ* разныхъ посредственностей, слушавшихъ и слушавшихся его, былъ и здѣсь окруженъ всякими скудными умомъ и тѣломъ лаццарони литературной Кіаіи, поденщиками журнальной барщины, вѣтошниками фельетоновъ, въ родѣ тощаго Жюльвекура, полуповрежденнаго Тардифа де Мело, неизвѣстнаго, но великаго поэта Буэ, въ его хорѣ были и ограниченнѣйшіе поляки изъ товянщизны и тупоумнѣйшіе нѣмцы изъ атеизма. Какъ онъ не скучалъ съ ними — это его секретъ, онъ даже ко мнѣ ходилъ почти всегда съ однимъ или съ двумя понятыми изъ хора, не смотря на то, что я съ ними всегда скучалъ, и не скрывалъ этого. По этому-то особенно странно поражало, что онъ самъ становился въ положеніе Жюльвекура въ отношеніи къ Марастамъ, Риберолямъ и даже къ меньшимъ знаменитостямъ.

Все это не совсѣмъ понятно для современныхъ посѣтителей Парижа. Никакъ не надобно забывать, что настоящій Парижъ—*не настоящій, а новый.*

Сдѣлавшись какимъ-то *своднымъ* городомъ всего свѣта, Парижъ пересталъ быть городомъ по преимуществу французскимъ. Прежде въ немъ была вся Франція и „ничего развѣ ея"; теперь въ немъ вся Европа, да еще двѣ Америки, но *его самаго* меньше; онъ расплылся въ своемъ званіи міроваго отеля, караванъ-сарая и потерялъ свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уваженіе безъ границъ и отвращеніе безъ предѣловъ.

Само самою разумѣется, что отношеніе иностранцевъ къ новому Парижу измѣнилось. Союзныя войска, ставшія на бивакахъ, на Place de la Révolution, знали, что они взяли *чужой* городъ. Кочующій туристъ считаетъ Парижъ своимъ, онъ его покупаетъ, жуируетъ имъ и очень хорошо знаетъ, что онъ нуженъ Парижу и что старый Вавилонъ обстроился, окрасился, побѣлился не для себя, а для него.

Въ 1847 г. я еще засталъ *прежній* Парижъ, къ тому же Парижъ съ поднятымъ пульсомъ, допѣвавшій Беранжеровы пѣсни — съ припѣвомъ: vive la réforme — невзначай перемѣнившимся въ vive la République! Русскіе продолжали тогда жить въ Парижѣ съ вѣчно присущимъ чувствомъ сознанія и благодарности провидѣнію (и исправному взысканію оброковъ), *что они живутъ въ немъ*, что они гуляютъ въ Palais Royal'ѣ и ходятъ aux Français. Они откровенно поклонялись львамъ и львицамъ всѣхъ родовъ—знаменитымъ докторамъ и танцовщицамъ, зубному лекарю Дезираводу, сумасшедшему Ма'Па и всѣмъ литературнымъ шарлатанамъ и политическимъ фокусникамъ.

Я ненавижу систему дерзости préméditée, которая у насъ въ модѣ. Я въ ней узнаю всѣ родовыя черты прежняго, офицерскаго, помѣщичьяго дантизма, ухарства, переложенныя на нравы Васильевскаго острова и линій его. Но не надобно забывать, что и кліентизмъ нашъ передъ западными авторитетами шелъ изъ той же казармы, изъ той же канцеляріи, изъ той же передней,— только въ другія двери, а именно обращенныя къ барину, начальнику и командиру. Въ нашей бѣдности поклоненія чему-бъ то ни было, кромѣ грубой силы и ея знаменій — звѣздъ и чиновъ — потребность имѣть нравственную *табель о рангахъ* очень понятна, — но за то передъ кѣмъ и кѣмъ не стояли въ умиленіи лучшіе изъ нашихъ соотечественниковъ? Даже передъ Вердеромъ и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. Отъ *нѣмцевъ* можно сдѣлать заключеніе, что дѣлалось передъ французами, передъ людьми дѣйствительно замѣчательными, передъ Пьеромъ Леру, напр. или передъ *самой* Жоржъ-Сандъ...

Каюсь, что я сначала былъ увлеченъ и думалъ, что поговорить въ кафе съ историкомъ „десяти лѣтъ“ или у Бакунина съ Прудономъ, нѣкоторымъ образомъ чинъ, повышеніе; но у меня всѣ опыты идолопоклонства и кумировъ не держатся, и очень скоро уступаютъ мѣсто полнѣйшему отрицанію.

Мѣсяца черезъ три послѣ моего пріѣзда въ Парижъ, я началъ крѣпко нападать на это *чинопочитаніе* и именно въ пущій разгаръ моей оппозиціи случился споръ по поводу Бѣлинскаго. Бакунинъ, съ обыкновеннымъ добродушіемъ своимъ, самъ въ половину соглашался и хохоталъ; но Сазоновъ надулся и продолжалъ меня считать профаномъ въ практически-политическихъ вопросахъ. Вскорѣ я его убѣдилъ еще больше въ этомъ.

Февральская революція была для него полнѣйшимъ торжествомъ, знакомые фильетонисты заняли правительственныя мѣста, троны качались, ихъ поддерживали поэты и доктора. Нѣмецкіе князьки спрашивали совѣта и помощи у вчера гонимыхъ журналистовъ и профессоровъ. Либералы учили ихъ, какъ крѣпче нахлобучить узенькія коронки, чтобъ ихъ не снесло поднявшейся вьюгой. Сазоновъ писалъ ко мнѣ въ Римъ письмо за письмомъ и звалъ *домой*, въ Парижъ, въ единую и нераздѣльную республику.

Возвращаясь изъ Италіи я засталъ Сазонова озабоченнымъ. Бакунина не было, онъ уже уѣхалъ *поднимать* западныхъ славянъ. „Неужели, сказалъ мнѣ Сазоновъ при первомъ свиданіи, ты не видишь, что наше *время пришло?*“

— То есть какъ?

— Русское правительство въ impass'ѣ.

— Что же случилось, не провозглашена-ли республика въ Петропавловской крѣпости?

— Entendons nous, я не думаю, чтобъ у насъ завтра было 24 Февраля. Нѣтъ, но общественное мнѣніе, но напливъ либеральныхъ идей, разбитая на части Австрія, Пруссія съ конституціей, заставятъ подумать людей, окружающихъ Зимній дворецъ. Меньше нельзя сдѣлать, какъ *октроировать* какую-нибудь конституцію, un simulacre de charte, ну и при этомъ, прибавилъ онъ съ нѣкоторой торжественностью, при этомъ необходимо либеральное, образованное, умѣющее говорить современнымъ языкомъ министерство. — Думалъ ли ты объ этомъ?

— Нѣтъ.

— Чудакъ, гдѣ же они возьмутъ образованныхъ министровъ?

— Какъ не найти, еслибъ было нужно; но мнѣ кажется, они ихъ искать не будутъ.

— Теперь этотъ скептицизмъ неумѣстенъ, *исторія совершается* и притомъ очень быстро. Подумай—правительство по неволѣ обратится *къ намъ*.

Я посмотрѣлъ на него, желая знать, что онъ шутитъ или нѣтъ. У него лице было серьезно, нѣсколько поднято въ цвѣтѣ и нервно отъ волненія.

— Такъ таки просто *къ намъ*?

— Ну то есть *лично* ли къ намъ или къ нашему кругу все равно—да ты подумай еще разъ, къ кому же они сунутся?

— Ты какую берешь портфель?

— Напрасно смѣешься. Это наше несчастіе, что мы не умѣемъ ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir, ты все думаешь о статейкахъ, статейки хорошее дѣло, но теперь другое время, и одинъ день во власти важнѣе цѣлаго тома.

Сазоновъ съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на мою *непрактичность* и наконецъ нашелъ людей меньше скептическихъ, увѣровавшихъ въ близкое пришествіе его министерства. Въ концѣ 1848 г. два-три нѣмца-рефюжье очень постоянно посѣщали небольшіе вечера, устроенные Сазоновымъ у себя. Въ ихъ числѣ былъ австрійскій лейтенантъ, отличившійся какъ начальникъ штаба при Мессенгаузерѣ. Разъ, выходя часа въ два ночи по проливному дождю и вспомнивъ, что отъ rue Blanche до Qartier Latin не то, чтобъ было черезъ чуръ близко, офицеръ ропталъ на свою судьбу. Какая же вамъ неволя была въ такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно не неволя, да знаете Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мнѣ кажется, что съ нимъ надобно намъ поддерживать хорошія отношенія.

Вы лучше меня знаете, что онъ съ своимъ талантомъ и умомъ... съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занимаетъ въ своей партіи, что онъ далеко пойдетъ при предстоящемъ переворотѣ въ Россіи...

— Ну, Сазоновъ, сказалъ я ему на другой день: Архимедову точку ты нашелъ, есть человѣкъ, который вѣритъ въ твою будущую портфель и этотъ человѣкъ лейтенантъ такой-то.

Время шло, переворота въ Россіи не было и пословъ за нами никто не присылалъ. Прошли и грозные іюньскіе дни; Сазоновъ принялся за „передовую статью"— не журнала, а *Эпохи*. Долго работалъ онъ за ней, читалъ небольшіе отрывки, поправлялъ, мѣнялъ и едва окончилъ къ зимѣ. Ему казалось необходимымъ „объяснить послѣднюю революцію Россіи." „Не ждите, говорилъ онъ въ началѣ, чтобъ я вамъ сталъ описывать событія, другіе это сдѣлаютъ лучше меня. Я вамъ передамъ мысль, идею совершившагося переворота." Простаго труда ему было мало, сведенный на перо, онъ всякій разъ, когда бралъ его, хотѣлъ сдѣлать что нибудь необыкновенное, громовое—письмо Чаадаева постоянно носилося въ его умѣ. Статья поѣхала въ Петербургъ, была прочтена въ дружескихъ кругахъ и не сдѣлала никакого впечатлѣнія.

Еще лѣтомъ 1848 завелъ Сазоновъ международный клубъ. Туда онъ привелъ всѣхъ своихъ Тардифовъ, нѣмцевъ и мессіанистовъ. Съ сіяющимъ лицомъ ходилъ онъ въ синемъ фракѣ по пустой залѣ. Онъ открылъ международный клубъ рѣчью, обращенной къ пяти, шести слушателямъ, въ числѣ которыхъ былъ я*) въ роли публики, остальная кучка была на платформѣ въ каче-

*) Я былъ тогда, какъ выражаются поляки, „паспортовый" и не отрѣзалъ еще путей возвращенія въ Россію.

ствѣ бюро. Вслѣдъ за Сазоновымъ предсталъ растрепанный, съ видомъ заспаннаго человѣка, Тардифъ де Мело, и грянулъ стихотвореніе въ честь клуба.

Сазоновъ поморщился, но остановить поэта было поздно.

Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard

Et vous tous...

Кричалъ съ какимъ-то восторженнымъ остервенѣніемъ Тардифъ де Мело, не замѣчая смѣха.

На другой или третій день Сазоновъ мнѣ прислалъ экземпляровъ *тысячу* программы открытія клуба, тѣмъ клубъ и кончился. Только впослѣдствіи мы услышали, что одинъ изъ представителей человѣчества и именно представлявшій на этомъ конгрессѣ Испанію и говорившій рѣчь, въ которой называлъ исполнительную власть potence ehécoutive, воображая, что это по французски, чуть не попалъ въ Англіи на настоящую висѣлицу, и былъ приговоренъ къ каторжной работѣ за поддѣлку какого-то акта.

За неудавшимся министерствомъ и лопнувшимъ клубомъ слѣдовали больше скромныя, но и гораздо больше возможныя попытки сдѣлаться журналистомъ. Когда устроилась „La Tribune des peuples,“ подъ главнымъ завѣдываніемъ Мицкевича, Сазоновъ занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ редакціи, написалъ двѣ-три очень хорошія статьи... и замолкъ; а передъ паденіемъ „Трибуны,“ т. е. передъ 13 Іюнемъ 1849, былъ уже со всѣми въ ссорѣ. Все ему казалось мало, бѣдно, il se sentait derogé, досадывалъ за это, ничего не оканчивалъ, запускалъ начатое и бросалъ въ половину сдѣланное.

Въ 1849 году я предложилъ Прудону передать иностранную часть редакціи „Voix du peuple“ Сазонову. Съ его знаніемъ четырехъ языковъ, литературы, поли-

тики, исторіи всѣхъ европейскихъ народовъ, съ его знаніемъ партій, онъ могъ изъ этой части журнала сдѣлать чудо для французовъ. Во внутренній распорядокъ иностранныхъ новостей Прудонъ не входилъ, она была въ моихъ рукахъ, но я изъ Женевы ничего не могъ сдѣлать. Сазоновъ черезъ мѣсяцъ передалъ редакцію Хоецкому и разстался съ журналомъ. „Я Прудона глубоко уважаю — писалъ онъ мнѣ въ Женеву — но двумъ такимъ личностямъ, какъ его и моя, нѣтъ мѣста въ одномъ журналѣ.“

Черезъ годъ Сазоновъ пристроился къ воскрешенной тогда мацциністами „Реформѣ.“ Главной редакціей завѣдывалъ Ламене. И тутъ не было мѣста двумъ великимъ людямъ. Сазоновъ поработалъ мѣсяца три и бросилъ „Реформу.“ Съ Прудономъ онъ, по счастью, разстался мирно, съ Ламене—въ ссорѣ. Сазоновъ обвинялъ скупаго старика въ корыстномъ употребленіи редакціонныхъ денегъ. Ламене, вспомнивъ привычки клерикальной юности своей, прибѣгнулъ къ ultima ratio на Западѣ и пустилъ на счетъ Сазонова вопросъ: „Не агентъ ли онъ русскаго правительства?“

Въ послѣдній разъ я Сазонова видѣлъ въ Швейцаріи въ 1851. Онъ былъ высланъ изъ Франціи и жилъ въ Женевѣ. Это было самое сѣрое, подавляющее время, грубая реакція торжествовала вездѣ. Поколебалась вѣра Сазонова во Францію и въ близкую перемѣну министерства въ Петербургѣ. Праздная жизнь ему надоѣла, мучила его, работа не спорилась, онъ хватался за все, безъ выдержки, сердился и пилъ. Къ тому же жизнь мелкихъ тревогъ, вѣчной войны съ кредиторами, добываніе денегъ, талантъ ихъ бросать и неумѣнье распоряжаться вносили много раздраженія и печальной прозы въ ежедневное существованіе Сазонова, онъ и ку-

тилъ уже невесело, по привычкѣ, а кутить онъ нѣкогда былъ мастеръ.

Кстати нѣсколько словъ о его домашней жизни, и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутежъ и не была лишена колорита.

Въ первые годы своей парижской жизни Сазоновъ встрѣтился съ одной богатой вдовой, съ нею онъ еще больше втянулся въ пышную жизнь. Она уѣхала въ Россію, оставивъ ему на воспитаніе ихъ дочь и большія деньги. Вдова не успѣла доѣхать до Петрополя, какъ уже ее замѣнила дебѣлая итальянка, съ голосомъ, передъ которымъ еще разъ пали бы стѣны Іерихонскія.

Года черезъ два, три вдова вздумала совершенно неожиданно посѣтить друга и дочь. Итальянка поразила ее.—„Это что за особа?“—спросила она, оглядывая ее съ головы до ногъ.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну какъ она научитъ ее говорить по французски съ такимъ акцентомъ?.. Это бѣда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère...

— Mais, mon cher... и вдова взяла дочь.

Это былъ не только чувствительный, но и финансовый кризисъ. Сазоновъ былъ далеко не бѣденъ. Сестры посылали ему тысячъ двадцать франковъ въ годъ дохода съ его имѣнья. Но тратя безумно, онъ и теперь не думалъ уменьшать свой train, а бросился на займы. Занималъ онъ на право и на лѣво, бралъ у сестеръ изъ Россіи что могъ, бралъ у друзей и враговъ, бралъ у ростовщиковъ, у дураковъ, у русскихъ и не русскихъ... Долго держался онъ и лавировалъ такимъ образомъ, но наконецъ все таки оборвался и попалъ въ Клиши, какъ я уже упомянулъ.

Въ продолженіе этого временн, старшая сестра его овдовѣла. Услышавъ, что онъ въ тюрьмѣ, обѣ сестры поѣхали его выручать. Какъ всегда бываетъ, онѣ ничего не знали о житьѣ бытьѣ Николиньки. Обѣ сестры были безъ ума отъ него, считали его за генія и ждали съ нетерпѣніемъ, когда онъ явится во всей силѣ и славѣ.

Ихъ встрѣтили разныя разочарованія, онѣ ихъ тѣмъ больше удивили, чѣмъ меньше онѣ ожидали. На другой день утромъ, онѣ, взявши съ собой графа Хоткевича, пріятеля Сазонова, поѣхали его выкупать сюрпризомъ. Хоткевичъ оставилъ ихъ въ каретѣ, и ушелъ, обѣщавши черезъ минуту явиться съ братомъ. Часъ шелъ за часомъ, Николинька не являлся... вѣрно такія длинныя формальности, думали дамы, скучая въ фіакрѣ... прибѣжалъ наконецъ Хоткевичъ одинъ съ краснымъ лицомъ и сильнымъ виннымъ запахомъ. Онъ возвѣстилъ, что Сазоновъ сейчасъ будетъ, что онъ на прощанье съ товарищами угощаетъ ихъ виномъ и закусываетъ съ ними, что это ужъ такъ заведено. Кольнуло это немножко нѣжное сердце путешественницъ.,. но... но вотъ и толстый, потный, плотный Николинька бросился въ ихъ объятія — и онѣ отправились довольныя и счастливыя домой.

Онѣ слышали что-то... объ какой то-итальянкѣ... Пламенная дочь Италіи, не устоявшая передъ сѣвернымъ геніемъ и гиперборей плѣненный южнымъ голосомъ, огнемъ очей... Онѣ краснѣя и стыдясь, изъявили робкое желаніе съ ней познакомиться. Онъ согласился на все, и отправился домой. Дня черезъ два сестры вздумали сдѣлать второй сюрпризъ брату, который еще меньше удался перваго.

Часовъ въ 11 утра, въ жаркій день, отправились

сестры взглянуть на Франческу да Римини и ея житье бытье съ Николинькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась... въ небольшой гостинной покрытой коврами сидѣлъ на полу въ глубокомъ негліже Сазоновъ и съ нимъ тостая Signora P., едва прикрытая легкой блузой. Signora хохотала во всю мочь итальянскихъ легкихъ..... разсказу Николиньки. Возлѣ нихъ стояло ведро со льдомъ и въ немъ склоняясь на бокъ бутылка шампанскаго.

Что было дальше и какъ, я не знаю, но эфектъ былъ сильный и продолжительный. Меньшая сестра пріѣзжала ко мнѣ совѣщаться объ этомъ событіи, о которомъ она говорила съ спазмами и слезами. Я ее утѣшалъ тѣмъ, что первые дни послѣ Клиши не составляютъ норму.

За всѣмъ этимъ слѣдовала проза переѣзда на меньшую квартиру... Камердинеръ, который мастерски подавалъ галстухъ изъ непрободаемой шелковой матеріи, въ которую изловчился вонзать булавку съ жемчужиной былъ отпущенъ, да и сама булавка, вслѣдъ за нимъ, явилась въ окнѣ какого-то магазина.

Такъ прошло еще лѣтъ пять. Сазоновъ возвратился въ Парижъ изъ Швейцаріи, потомъ опять уѣхалъ изъ Парижа въ Швейцарію. Чтобъ отдѣлаться отъ дебѣлой итальянки, онъ изобрѣлъ самое оригинальное средство — онъ женился на ней, потомъ разстался.

Между нами пробѣжала кошка, онъ неоткровенно поступилъ со мной въ одномъ дѣлѣ, очень дорогомъ мнѣ. Я не могъ перешагнуть черезъ это.

Между тѣмъ началась новая эпоха для Россіи, Сазоновъ рвался принять участіе въ ней, писалъ статьи

неудававшіяся, хотѣлъ возвратиться, и не возвращался*) и оставилъ наконецъ Парижъ. Долго объ немъ не было ничего слышно.

... Вдругъ какой-то русскій, пріѣхавшій недавно изъ Швейцаріи въ Лондонъ, сказалъ мнѣ: „Наканунѣ моего отѣзда изъ Женевы хоронили стараго знакомаго вашего.“

— Кого это?

— Сазонова, и представьте, ни одного русскаго не было на похоронахъ.

И стукнуло сердце — будто раскаяньемъ, что я его такъ на долго оставилъ...

(Писано въ 1863).

II

ЭНГЕЛЬСОНЫ.

Они оба умерли. Онъ не старше тридцати пяти лѣтъ — она моложе его.

Онъ умеръ лѣтъ около десяти тому назадъ въ Жерсеѣ; за его гробомъ шла вдова, ребенокъ и коренастый, растрепаный старикъ съ крупными, рѣзкими, запущенными чертами — въ его лицѣ были зря перемѣшаны геній и безуміе, фанатизмъ и иронія, озлобленіе ветхозавѣтнаго пророка и якобинца 1793 г. Старикъ этотъ былъ *Пьеръ Леру*.

Она умерла въ началѣ 1865 года въ Испаніи. О ея смерти я узналъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя.

Гдѣ ребенокъ, я не слыхалъ.

*) Его статья „О мѣстѣ Россіи на всемірной-выставкѣ“ напечатана въ II кн. „Полярной Звѣзды.“

Человѣкъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ мнѣ близокъ, былъ мнѣ дорогъ, онъ первый обтеръ глубокія раны, когда онѣ были свѣжи, онъ былъ моимъ братомъ, моей сестрой. *Она*, врядъ зная ли что дѣлаетъ, отдалила его отъ меня. Онъ сталъ моимъ врагомъ...

Вѣсть о ея смерти опять вызвала ихъ въ памяти...

Я взялъ тетрадь писанную мною объ нихъ въ 1859 году и, вмѣсто псалтыря, прочелъ ее надъ покойниками.

Долго думалъ я печатать ее или нѣтъ и недавно рѣшилъ, что *да*. Намѣреніе мое чисто, разсказъ истиненъ. Не упрекъ хочу я бросить въ ихъ могилу, а вмѣстѣ съ читателемъ еще и еще разъ прослѣдить по новымъ субъектамъ всю сложную, болѣзненную сломанность людей послѣдняго николаевскаго поколѣнія.

Chateau Boissière, 31 Декабря, 1865.

I

Въ концѣ 1850 года, въ Ниццу пріѣхалъ одинъ русскій съ женой. Мнѣ ихъ указали на прогулкѣ. Оба они принадлежали къ чающимъ движенія воды, онъ худой, блѣдный, чахоточный, рыжевато-бѣлокурый; она быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, жившій у одной русской дамы, сказалъ мнѣ, что бѣлокурый господинъ лицеистъ, что онъ читаетъ Vom andern Ufer, что онъ былъ замѣшанъ въ дѣлѣ Петрашевскаго, и по всему тому желаетъ со мной познакомиться. Я отвѣчалъ, что всегда радъ хорошему русскому, тѣмъ больше лицеисту, да еще участвовавшему въ дѣлѣ, мало мнѣ извѣстномъ, но которое для

меня было маслиной, принесенной голубемъ въ Ноевъ ковчегъ.

Прошло нѣсколько дней, я не видалъ ни лекаря, ни новаго русскаго. Вдругъ какъ-то часу въ десятомъ вечера мнѣ подали карточку—это былъ онъ. Мы сидѣли съ Карломъ Фогтомъ въ столовой, я велѣлъ гостя просить на верхъ въ гостинную, и прежде другихъ пошелъ туда. Тамъ я засталъ его, блѣднаго, дрожащаго, въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Онъ едва могъ сказать свою фамилью; успокоившись немного, онъ вскочилъ со стула, бросился ко мнѣ, разцаловалъ меня и прежде чѣмъ я въ свою очередь успѣлъ придти въ себя, онъ со словами: „Такъ наконецъ-то я въ самомъ дѣлѣ вижу васъ," поцаловалъ мою руку — „Что съ вами? Помилуйте!" говорилъ я ему, но онъ уже плакалъ въ это время.

Я смотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ—что это нервная распущенность или просто помѣшательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, онъ съ необыкновенной быстротой и сильной мимикой разсказалъ мнѣ, что я ему спасъ жизнь и именно вотъ какимъ образомъ. Пропадая съ тоски въ Петербургѣ, выключенный изъ Лицея за какой-то вздоръ, гнушаясь службой, которую долженъ былъ принять и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, онъ рѣшился отравиться, и за нѣсколько часовъ до исполненія своего намѣренія, пошелъ бродить, безъ опредѣленной цѣли по улицамъ, зашелъ къ Излеру и взялъ книжку *Отечественныхъ Записокъ*. Въ ней была моя статья: „По поводу одной драмы." Чтеніе мало по малу захватило его вниманіе, ему стало легче, ему стало стыдно, что онъ такъ подчиняется горю и отчаянію, когда общіе интересы ростутъ со всѣхъ сторонъ и зо-

вутъ все молодое, все имѣющее силы, и Энгельсонъ вмѣсто яда спросилъ полбутылки мадеры, еще разъ перечиталъ статью и съ тѣхъ поръ сдѣлался горячимъ поклонникомъ моимъ.

Онъ просидѣлъ до поздней ночи, и ушелъ, прося позволенья скоро возвратиться. Сквозь его спутанную рѣчь, перерываемую отступленіями и эпизодами, можно было видѣть сильно устроенную голову, рѣзкую діалектическую способность и еще яснѣе сломанность бросавшую его изъ одной крайности въ другую, отъ негодованья, обиженнаго горемъ и удрученнаго печалью, до ироническаго гаерства, отъ слезъ до кривлянія.

Онъ оставилъ меня подъ страннымъ впечатлѣніемъ. Сначала я ему не довѣрялъ, потомъ уставалъ отъ него, онъ какъ-то слишкомъ дѣйствовалъ на нервы, но мало по малу я привыкъ къ его странностямъ и былъ радъ оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовымъ большинствомъ западныхъ людей.

Энгельсонъ бездну читалъ и бездну учился, былъ лингвистъ, филологъ и вносилъ во все знакомый намъ скептицизмъ, который такъ много беретъ за боль оставляемую имъ. Встарь объ немъ сказали бы, что онъ зачитался. Черезъ край возбужденная, умственная дѣятельность была не по силамъ хилаго организма. Вино, которымъ онъ побѣждалъ усталь и возбуждалъ себя, раздувало его фантазію и мысли въ длинныя и яркія пасмы огня, быстро сожигая его больное тѣло.

Безпорядокъ и вино, всегдашняя, раздражительная дѣятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная безплодность, полнѣйшая праздность, крайность страстей и крайность апатіи—не смотря на большую разницу съ нашимъ прежнимъ московскимъ

складомъ — живо напоминали мнѣ былое. Опять услышались звуки, не только роднаго языка, но родной мысли. Онъ былъ свидѣтелемъ петербурскаго террора послѣ 1848 и зналъ литературные круги. Совершенно отрѣзанный тогда отъ Россіи, я съ жадностью слушалъ его разсказы.

Мы стали видаться часто, потомъ всякій вечеръ.

Жена его тоже была странное существо. Ея лице отъ натуры прекрасное было искажено невралгіями и какимъ-то тревожнымъ безпокойствомъ. Она была обрусѣлая норвеженка и говорила по русски съ легкимъ акцентомъ, который ей шелъ. Вообще она была молчаливѣе и скрытнѣе его. Домашняя жизнь ихъ шла не свѣтло; у нихъ было какъ-то нервно unheimlich, натянуто, чего-то недоставало въ ихъ жизни, что-то было лишнее въ ней, и это постоянно чувствовалось, какъ невидимое, грозное, электрическое въ воздухѣ.

Часто заставалъ я ихъ въ большой комнатѣ, бывшей ихъ спальней и пріемной въ отелѣ, въ совершеннѣйшей прострацiи. Ее съ заплаканными глазами, обезсиленную въ одномъ углу; его блѣднаго, какъ мертвецъ, съ бѣлыми губами, растерянняго, молчащаго въ другомъ... Такъ сидѣли они иногда часы цѣлые, дни цѣлые, и это въ нѣсколькихъ шагахъ отъ синяго Средиземнаго моря, отъ померанцовыхъ рощей, куда звало все—и яхонтовое небо и яркое, шумное веселье южной жизни. Они собственно не ссорились, тутъ не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Онъ вдругъ вставалъ, подходилъ къ ней, становился на колѣни, и иногда съ рыданьемъ повторялъ: „Сгубилъ я тебя, мое дитя, сгубилъ!“ и она плакала и вѣрила, что онъ ее сгубилъ. „Когда же я наконецъ умру—и оставлю его на свободѣ“—говорила она мнѣ.

Все это было для меня ново, и мнѣ ихъ было до того жаль, что хотѣлось съ ними плакать и пуще всего сказать имъ: „да полноте, полноте,—вы вовсе не такъ несчастны и не такъ дурны, вы оба славные люди, возьмемъ-те лодку и размыкаемъ горе по синему морю“— я это и дѣлалъ иногда, и мнѣ удавалось ихъ увозить отъ самихъ себя. Но за ночь пароксизмъ возвращался... Они какъ-то надразнили другъ друга и стояли въ такомъ раздражительномъ импасѣ, что пустѣйшее слово нарушало согласіе и снова вызывало какихъ-то фурій со дна ихъ сердца.

Иной разъ мнѣ казалось, что безпрерывно растравляя свои раны, они въ этой боли находятъ какое-то жгучее наслажденіе, что это взаимное разъѣданье сдѣлалось имъ необходимо, какъ водка или пикули. Но по несчастью организмъ у обоихъ началъ явно уставать, они быстро неслись въ домъ умалишенныхъ или въ могилу.

Натура ея, вовсе не бездарная, но невыработанная и въ тоже время испорченная, была гораздо сложнѣе и въ нѣкоторомъ смыслѣ гораздо выносливѣе и сильнѣе его. Къ тому же въ ней не было ни тѣни единства, послѣдовательности, той несчастной послѣдовательности, которая у него оставалась въ самыхъ вопіющихъ крайностяхъ и въ самыхъ крутыхъ противорѣчіяхъ. Въ ней рядомъ съ отчаяніемъ, съ желаніемъ умереть, съ привычкой ныть и изнывать, была и жажда свѣтскихъ наслажденій и затаенное кокетство, любовь къ нарядамъ и роскоши, отвергаемая какъ-то преднамѣренно, на зло себѣ. Она всегда была одѣта къ лицу и со вкусомъ.

Ей хотѣлось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ и огромнымъ, оригинальнымъ психиче-

скимъ несчастіемъ, въ смыслѣ героинь Ж. Сандъ... но ее, какъ гиря стягивала прежняя, привычная, традиціональная жизнь совсѣмъ въ иную сферу.

То, что составляло поэзію Энгельсона и много выкупало его недостатковъ, то, что ему самому служило выходомъ, того она не понимала. Она не могла слѣдовать за его скачущей мыслію, за его быстрыми переходами отъ отчаянія къ остротамъ и хохоту, отъ откровеннаго смѣха къ откровеннымъ слезамъ. Она отставала, теряла связь, терялась... для нея были непонятны каррикатурные профили печальныхъ мыслей его.

Когда Энгельсонъ, послѣ цѣлаго запаса каламбуровъ и шалостей, передразниваній, больше и больше монтируясь, дѣлалъ цѣлыя драматическія представленія, отъ которыхъ нельзя было не хохотать до упаду, она уходила съ озлобленіемъ изъ комнаты, ее оскорбляло, „неприличное поведеніе его при постороннихъ.“ Онъ обыкновенно примѣчалъ это, и такъ какъ его нельзя было ничѣмъ остановить, когда онъ закусывалъ удила, то онъ вдвое дурачился и потомъ вальсировалъ съ ней и спрашивалъ ее съ горящими щеками и покрытый потомъ: „Ach mein lieber Gott, Alexandra Christianovna, war es denn nicht respectabel?“ Она плакала вдвое, онъ вдругъ мѣнялся, дѣлался мраченъ и morose, пилъ рюмку за рюмкой коньякъ и уходилъ домой или просто засыпалъ на диванѣ.

На другой день мнѣ приходилось мирить, улаживать и онъ такъ отъ души цаловалъ ея руки и такъ смѣшно просилъ отпущеніе грѣха, что она сама иногда не могла удержаться и смѣялась вмѣстѣ съ нами.

Надобно объяснить въ чемъ состояли эти представленія, наносившія столько печали бѣдной Александрѣ

Христіановнѣ. Комическій талантъ Энгельсона былъ несомнѣненъ, огроменъ, до такой *пдкости* никогда не доходилъ Левассоръ, развѣ Грассо въ лучшихъ своихъ созданіяхъ, да Горбуновъ въ нѣкоторыхъ разсказахъ. Къ тому же половина была импровизирована, онъ добавлялъ, измѣнялъ, придерживаясь одной рамы. Еслибъ онъ хотѣлъ развить въ себѣ эту способность и привести ее въ порядокъ, онъ навѣрное занялъ бы одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду *злыхъ* комиковъ, но Энгельсонъ ничего не развилъ въ себѣ и ничего не привелъ въ порядокъ. Дикіе и полные силъ побѣги талантовъ росли и глохли въ неустоявшейся душѣ его — и отъ домашнихъ тревогъ, отнимавшихъ половину времени, и отъ хватанья за все на свѣтѣ, отъ филологіи и химіи до политической экономіи и философіи. Въ этомъ смыслѣ Энгельсонъ былъ чисто русскій человѣкъ, не смотря на то, что отецъ его былъ финляндскаго происхожденія.

Представлялъ онъ все на свѣтѣ—чиновниковъ и барынь, поповъ и квартальныхъ, но лучшія его представленія относились къ Николаю, котораго онъ глубоко, задушевно, дѣятельно ненавидѣлъ. Онъ бралъ стулъ à la Napoleon, садился на него верхомъ и сурово подъѣзжалъ къ выстроенному корпусу... кругомъ трясутся эполеты, шляпы, каски... это Николай на смотру; онъ сердится и поворачивая лошадь, говоритъ корпусному командиру „Скверно,“ корпусный съ благоговѣніемъ выслушиваетъ, глядитъ вслѣдъ Николаю и потомъ понижая голось и задыхаясь отъ бѣшенства, шепчетъ дивизіонному генералу: „Вы, ваше превосходительство, кажется заняты чѣмъ-то другимъ, а не службой, что за подлая дивизія, что за полковые командиры, я имъ покажу.“

Дивизіонный генералъ краснѣетъ, краснѣетъ и бро-

сается на перваго попавшаго полковника, такъ отъ одного чина до другаго, съ неуловимо вѣрными нюансами императорское „скверно“ доходитъ до вахмистра, котораго эскадронный командиръ ругаетъ по площадному и который, ничего не говоря, ефесомъ сабли тычетъ изъ всей силы въ бокъ фланговаго солдата, ничего не сдѣлавшаго.

Энгельсонъ представлялъ съ поразительной вѣрностью не только характеристику каждаго чина, но всѣ движенія всадника, дергающаго изъ бѣшенства свою лошадь и сердящагося на нее за то, что она не смирно стоитъ.

Другое представленіе было болѣе мирнаго рода. Императоръ Николай танцуетъ французскую кадриль. Vis à vis съ нимъ иностранный дипломатъ, по одну сторону фрунтовикъ генералъ, по другую сановникъ изъ штатскихъ. Это было своего рода оконченный chef d'œuvre. Для представленія Энгельсонъ бралъ кого нибудь изъ насъ за даму. Цвѣтъ всего былъ Николай — *самодержавно царствующій* кадриль, сознательная твердость каждаго шага, доблесть каждаго движенія, притомъ прощающій и милосердный взглядъ на даму, который тотчасъ превращается въ приказъ генералу и въ совѣтъ не забываться сановнику. Передать это словами невозможно. Генералъ, который, вытянувшись и немножко скруглія локти, съ натянутымъ вниманіемъ идетъ по темпамъ на приступъ фигуры, подъ строгимъ наблюденіемъ государя императора, и растерянный сановникъ, съ подкашивающимися отъ страха ногами, съ улыбкой и почти со слезою на глазахъ,—все это было представлено такъ, что человѣкъ, никогда невидавшій Николая, могъ совершенно основательно узнать въ чемъ состояла пытка царской кадрили и опасность высочай-

шаго vis à vis. Я забылъ сказать, что дипломатъ одинъ танцовалъ съ изученной небрежностью и съ большимъ fini, скрывая то неловкое чувство безпокойства, которое ощущаетъ самый храбрый человѣкъ, съ зажженой сигарой, возлѣ бочки съ порохомъ.

Но изъ того, что это ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не слѣдуетъ, чтобъ въ ней самой было больше спѣтости и гармоніи; совсѣмъ напротивъ, у нея въ головѣ былъ дѣйствительной безпорядокъ, разрушавшій всякій строй, всякую послѣдовательность и дѣлавшій ее неуловимой. Я на ней на первой изучилъ, какъ мало можно взять логикой въ спорѣ съ женщиной, особенно когда споръ въ практическихъ сферахъ. Въ Энгельсонѣ неустройство напоминало безбезпорядокъ послѣ пожара, послѣ похоронъ, пожалуй послѣ преступленія, а въ ней неприбранную комнату, въ которой все разбросано зря — дѣтскія куклы, вѣнчальное платье, молитвенникъ, романъ Ж. Сандъ, туфли, цвѣты, тарелки. Въ ея полусознанныхъ мысляхъ и полуподорванныхъ вѣрованіяхъ, въ притязаніяхъ на невозможную свободу и въ зависимости отъ привычныхъ, внѣшнихъ цѣпей, было что-то восьмилѣтнее, восьмнадцатилѣтнее, восьмидесятилѣтнее. Много разъ говорилъ я это ей самой; и странное дѣло, даже лице ея преждевременно завяло, казалось старымъ отъ отсутствія части зубовъ и въ тоже время сохраняло какое-то ребяческое выраженіе.

Во внутренномъ хаосѣ ея былъ кругомъ виноватъ Энгельсонъ.

Его жена была избалованнымъ ребенкомъ своей матери, которая не чаяла въ ней души; за нее посватался, когда ей было лѣтъ восьмнадцать, пожилой, флегматическій чиновникъ изъ шведовъ. Въ минуту досады и

ребяческаго каприза на мать, она согласилась выйдти за него. Ей хотѣлось сѣсть хозяйкой и быть своей госпожей.

Когда медовый мѣсяцъ воли, визитовъ, нарядовъ, прошелъ, новобрачной стало невыносимо скучно, мужъ, не смотря на то, что тщательно сохранялъ респектабельность, возилъ ее въ театръ и дѣлалъ *чайные* вечера—ей опротивѣлъ; она побилась съ нимъ года три, четыре, устала и уѣхала къ матери. Они развелись. Мать умерла и она осталась одна, съ здоровьемъ преждевременно разрушеннымъ въ борьбѣ съ нелѣпымъ бракомъ, съ пустотой, съ голодомъ въ сердцѣ, съ праздным умомъ, страдающая, печальная.

Въ это время Энгельсонъ былъ исключенъ изъ Лицея. Нервный, раздражительный, съ страстной потребностью любви, съ болѣзненнымъ недовѣріемъ къ себѣ, снѣдаемый самолюбіемъ... Онъ познакомился съ ней, еще при жизни матери, и сблизился послѣ ея смерти. Мудрено было бы, еслибъ онъ не влюбился въ нее. На долго ли или нѣтъ, но онъ долженъ былъ полюбить ее сильно. Къ этому вело все... и то, что она была женщина безъ мужа, вдова и не вдова, невѣста и не иевѣста, и то, что она томилась чѣмъ-то, была влюблена въ другаго, и мучилась своей любовью. Этотъ другой былъ энергическій молодой человѣкъ, офицеръ и литераторъ, но отчаянный игрокъ. Они поссорились за эту неистовую страсть къ игрѣ—онъ въ послѣдствіи застрѣлился.

Энгельсонъ не отходилъ отъ нея, онъ утѣшалъ ее, смѣшилъ, занималъ. Это была первая и послѣдняя любовь его. Ей хотѣлось учиться или лучше знать не учась, онъ взялся быть ея ментором, — она просила книгъ.

Первую книгу, которую Энгельсонъ ей далъ была Das

Wesen des Christentum's, Фейербаха. Себя онъ сдѣлалъ комментаторомъ и ежедневно изъ подъ ногъ своей Елоизы, не умѣвшей ступить на землю отъ китайскихъ башмаковъ стараго христіанскаго воспитанія — выдергивалъ скамейку, на которой она кой-какъ могла не потерять равновѣсія...

Освобожденіе отъ традиціонной морали, сказалъ Гёте, никогда не ведетъ къ добру *безъ укрѣпившейся мысли*; дѣйствительно, *одинъ разумъ* достоенъ смѣнять *религію долга*.

Энгельсонъ попробовалъ женщину, спавшую непробуднымъ сномъ нравственной безпечности, убаюканную традиціями и грезившую все, что грезитъ слегка христіанская, слегка романтическая, слегка моральная, патріархальная душа, воспитать сразу, по методѣ англійскихъ нянекъ, которыя кричащему отъ боли въ животѣ ребенку наливаютъ въ ротъ рюмку водки. Въ ея незрѣлыя, дѣтскія понятія, онъ бросилъ разъѣдающій ферментъ, съ которымъ мужчины рѣдко умѣютъ справиться, съ которымъ онъ самъ *не справился*, а только понялъ его.

Ошеломленная ниспроверженіемъ всѣхъ нравственныхъ понятій, всѣхъ религіозныхъ вѣрованій и находя у самаго Энгельсона одно сомнѣніе, одно отрицанье прежняго и одну иронію, она потеряла послѣдній компасъ, послѣдній руль и пошла, какъ пущенная въ море лодка, безъ кормила, вертясь и блуждая. Балансъ выработанный самой жизнью, держащійся—какъ въ маятникѣ противуположными пластинками — нелѣпостями, исключающими другъ друга и держащими на этомъ — былъ нарушенъ.

Она бросилась на чтеніе съ яростью, понимала не понимая, и примѣшивая къ философіи нянюшекъ, фи-

лософію Гегеля, къ экономическимъ понятіямъ чопорнаго хозяйства — сентиментальный соціализмъ. При всемъ этомъ здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили, она чахла, томилась, смертельно хотѣла ѣхать за границу и боялась какихъ-то преслѣдованій и враговъ.

Послѣ долгой борьбы, собравши всѣ силы, Энгельсонъ сказалъ ей: „вы хотите путешествовать, какъ вы доѣдете однѣ?.. вамъ надѣлаютъ бездну непріятностей, вы потеряетесь, безъ друга, безъ защитника, который имѣлъ бы право васъ защищать. Вы знаете, что за васъ я отдамъ мою жизнь... отдайте мнѣ вашу руку— я васъ буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, вашъ отецъ, ваша нянька и мужъ, только передъ закономъ. Я буду съ вами — близко васъ...

Такъ говорилъ человѣкъ моложе тридцати лѣтъ, страстно любившій. Она была тронута и приняла его мужемъ безусловно. Черезъ нѣкоторое время они уѣхали въ чужіе края.

Таково было прошедшее моихъ новыхъ знакомыхъ. Когда Энгельсонъ все это разсказалъ мнѣ, когда онъ горько жаловался, что бракъ этотъ загубилъ ихъ обоихъ и я самъ видѣлъ, какъ они изнывали въ какомъ-то нравственномъ угарѣ, который они преднамѣренно вздували, я убѣдился, что несчастье ихъ состоитъ въ томъ, что они слишкомъ мало знали другъ друга прежде, слишкомъ тѣсно придвинулись теперь, слишкомъ свели всю жизнь на личный лиризмъ, слишкомъ вѣрятъ, что они мужъ и жена. Еслибъ они могли разъѣхаться... каждый вздохнулъ бы на свободѣ, успокоился бы, а можетъ и вновь разцвѣлъ бы. Время показало бы—въ самомъ ли дѣлѣ они такъ нужны другъ для друга, во всякомъ случаѣ горячка была бы прервана безъ ката-

строфы. Я не скрывалъ моего мнѣнія отъ Энгельсона; онъ соглашался со мной, но все это былъ миражъ, въ сущности у него не было силы ее оставить, у нея — броситься въ море... они тайно *хотѣли* остаться при канунѣ этихъ рѣшеній, не приводя ихъ въ исполненіе.

Мнѣніе мое было слишкомъ просто и здорово, чтобъ быть вѣрнымъ въ отношеніи къ такимъ сложно патологическимъ субъектамъ и къ такимъ больнымъ нервамъ.

II

Типъ, къ которому принадлежалъ Энгельсонъ, былъ тогда для меня довольно новъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ я видѣлъ только его зачатки. Онъ развился въ Петербургѣ подъ конецъ карьеры Бѣлинскаго и сложился послѣ меня до появленія Чернышевскаго. Это типъ Петрашевцевъ и ихъ друзей. Кругъ этотъ составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болѣзненные и поломанные. Въ ихъ числѣ не было ни кричащихъ бездарностей, ни пишущихъ безграмотностей—это явленія совсѣмъ другаго времени — но въ нихъ было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смѣло на дѣятельность и удивили всю Россію „Словаремъ иностранныхъ словъ“. Наслѣдники сильно возбужденной умственной дѣятельности сороковыхъ годовъ, они прямо изъ нѣмецкой философіи шли въ фалангу Фурье, въ послѣдователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманіемъ полиціи и сознаніемъ своего превосходства,

при самомъ выходѣ изъ школы, они слишкомъ дорого оцѣнили свой отрицательный подвигъ, или лучше свой подвигъ въ возможности. Отсюда безмѣрное самолюбіе. Не то здоровое, молодое самолюбіе, идущее юношѣ — мечтающему о великой будущности, идущее мужу въ полной силѣ и въ полной дѣятельности, не то, которое въ былыя времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цѣпи и смерть, изъ желанія славы, но напротивъ, самолюбіе болѣзненное, мѣшающее всякому дѣлу огромностью притязаній, раздражительное, обидчивое, самонадѣянное до дерзости и въ тоже время неувѣренное въ себѣ.

Между ихъ *запросомъ* и оцѣнкой ближнихъ, несоразмѣрность была велика. Общество не принимаетъ векселей на будущее, а требуетъ готовую работу за свое наличное признаніе. Труда и выдержки у нихъ было мало, того и другаго хватило только для пониманья, для усвоенья — разработаннаго другими. Они хотѣли жатвы за намѣреніе сѣять и вѣнковъ за то, что у нихъ закромы были полны. „Обидное непризнаніе общества“ ихъ мучило и доводило до несправедливости къ другимъ, до отчаянія и Fratzenhaftigkeit.

На Энгельсонѣ я изучилъ разницу этого поколѣнія съ нашимъ. Впослѣдствіи я встрѣчалъ много людей — не столько талантливыхъ, не столько развитыхъ — но съ тѣмъ-же *видовымъ*, *болѣзненнымъ надломомъ* по всѣмъ суставамъ.

Страшный грѣхъ лежитъ на николаевскомъ царствованіи—въ этомъ нравственномъ умерщвленіи плода, въ этомъ душевредительствѣ дѣтей. Дивиться надобно, какъ здоровыя силы, сломавшись, все же уцѣлѣли. Кто не знаетъ знаменитую инструкцію учителямъ кадетскихъ корпусовъ? Въ Лицеѣ было лучше, но ненависть

Николая въ послѣднее время налегла и на него. Вся система казеннаго воспитанія состояла въ внушеніи религіи слѣпаго повиновенія, ведущей къ власти, какъ къ своей наградѣ. Молодыя чувства, лучистыя по натурѣ, были грубо оттѣсняемы внутрь, замѣняемы честолюбіемъ и ревнивымъ, завистливымъ соревнованіемъ. Что не погибло, вышло больное, сумашедшее... Вмѣстѣ съ жгучимъ самолюбіемъ прививалась какая-то обезкураженность, сознаніе безсилія, усталь передъ работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имѣя двадцати лѣтъ отроду. Они всѣ были заражены страстью самонаблюденія, самоизслѣдованія, самообвиненія, они тщательно повѣряли свои психическія явленія и любили безконечныя исповѣди и разсказы о нервныхъ событіяхъ своей жизни. Мнѣ впослѣдствіи случалось часто имѣть на духу не только мужчинъ, но и женщинъ, принадлежавшихъ къ той же категоріи. Вглядываясь съ участіемъ въ ихъ покаянія, въ ихъ психическія себя-бичеванія, доходившія до клеветы на себя, я наконецъ убѣдился потомъ, что все это одна изъ формъ того же самолюбія. Стоило вмѣсто возраженья и состраданья согласиться съ кающимся, чтобъ увидѣть, какъ легко уязвляемы и какъ безпощадно мстительны эти магдалины — обоихъ половъ. Вы передъ ними, какъ христіанскій священникъ передъ сильными міра сего, имѣете только право торжественно отпускать грѣхи и молчать.

У этихъ нервныхъ людей, чрезвычайно обидчивыхъ, содрагавшихся, какъ мимоза, при всякомъ чуть неловкомъ прикосновеніи, была съ своей стороны непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дѣло шло объ отмѣсткѣ, выраженія не мѣрились, страшный эстетическій недостатокъ, выражающій глубокое презрѣніе къ

лицу и оскорбительную снисходительность къ себѣ. Необузданность эта идетъ у насъ изъ помѣщичьихъ домовъ, канцелярій и казармъ, но какъ же она уцѣлѣла, развилась у новаго поколѣнія, перескакивая черезъ наше? Это психологическая задача.

Въ прежнихъ студентскихъ кружкахъ бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но въ самой пущей брани, *кой-что* оставалось внѣ битвы... Для нашихъ нервныхъ людей — энгельсоновскаго поколѣнія, этого завѣтнаго мѣста не существовало, они не считали нужнымъ себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержанія верха въ спорѣ не щадили ничего и я часто съ ужасомъ и удивленіемъ видѣлъ, какъ они, начиная съ самаго Энгельсона, бросали безъ малѣйшей жалости драгоцѣннѣйшія жемчужины въ ѣдкій растворъ *и плакали потомъ*. Съ перемѣной нервнаго тока начинаются раскаянія, вымаливаніе прощенья у поруганнаго кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты въ тотъ же сосудъ, изъ котораго пили.

Раскаянія ихъ бывали искренни, но не предупреждали повтореній. Какая-то пружина, умѣряющая дѣйствіе колесъ и направляющая ихъ, у нихъ сломана; колеса вертятся съ удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетаніе нарушено, эстетическая мѣра потеряна, съ ними жить нельзя, имъ самимъ съ этимъ жить нельзя.

Счастья для нихъ не существовало, они не умѣли его беречь. При малѣйшемъ поводѣ, они давали безчеловѣчный отпоръ и обращались грубо со всѣмъ близкимъ. Ироніей они не меньше губили и портили въ жизни, чѣмъ нѣмцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотятъ быть любимыми, ищутъ наслажденья и когда подносятъ ко рту чашу, какой-то злой

духъ толкаетъ ихъ подъ руку, вино льется на земь и запальчивостью отброшенная чаша валяется въ грязи.

III

Энгельсоны вскорѣ уѣхали въ Римъ и Неаполь, они хотѣли остаться тамъ мѣсяцевъ шесть и возвратились черезъ шесть недѣль. Ничего не видавши, они таскали свою скуку по Италіи, мыкали свое горе въ Римѣ, грустили въ Неаполѣ и наконецъ рѣшились ѣхать обратно въ Ниццу, „къ вамъ на леченье“—писалъ онъ мнѣ изъ Генуи.

Мрачное расположеніе ихъ выросло во время ихъ отсутствія. Къ нервному растройству прибавились размолвки, принимавшія все больше и больше озлобленный, желчевой характеръ. Энгельсонъ былъ виноватъ въ необузданности словъ, въ жесткихъ выраженіяхъ—но вызывала ихъ всегда она, вызывала преднамѣренно, съ затаенной колкостью и съ особеннымъ успѣхомъ въ самыя добродушныя минуты его, забыться онъ не могъ ни на минуту.

Молчать Энгельсонъ вовсе не умѣлъ, говорить со мною облегчало его и потому онъ мнѣ разсказывалъ все, даже больше чѣмъ нужно, мнѣ было не ловко; я чувствовалъ, что не могу быть съ ними такъ откровененъ, какъ они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокоивала высказанная жалоба — меня нѣтъ.

Разъ, сидя со мной въ небольшой тавернѣ, Энгельсонъ сказалъ, что онъ обезсилился въ ежедневной борьбѣ, что выхода изъ нея нѣтъ, что снова мысль о прекращеніи своего существованія ему представляется

послѣднимъ спасеніемъ... При его нервной необузданности, можно было ждать, что если наконецъ ему попадется пистолетъ или склянка яда, то онъ когда нибудь и попробуетъ, то или другое...

Мнѣ было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она за мужемъ за человѣкомъ свѣтлаго нрава, который умѣлъ бы ее тихо развивать, *весело веселиться*, и въ случаѣ нужды дѣйствовать не только убѣжденіемъ, но и авторитетомъ—авторитетомъ серьезнымъ, безъ иронiи. Есть несовершеннолѣтнія натуры, которыя не могутъ себя вести сами, такъ какъ ссть лимфатическія сложенія, которымъ необходимъ корсетъ, чтобъ позвоночный столбъ не гнулся.

Пока я думалъ объ этомъ, Энгельсонъ, продолжая свой разсказъ, самъ пришелъ къ тому же заключенію. „Женщина эта меня не любитъ, говорилъ онъ, да и не можетъ любить; то что она понимаетъ во мнѣ и ищетъ — скверно, а что во мнѣ есть хорошаго—для нея китайская грамота; она испорчена буржуазностью, съ своимъ внѣшнимъ respectabilität'омъ, съ мелкимъ фамилизмомъ, мы замучимъ другъ друга, это для меня ясно.“

Мнѣ казалось, что если мужчина можетъ такимъ образомъ говорить о близкой женщинѣ, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что давно съ глубокимъ участіемъ слѣдя за ихъ жизнію, часто задавалъ себѣ вопросъ, за чѣмъ они живутъ вмѣстѣ? „У вашей жены тоска по Петербургу, по братьямъ, по старой нянюшкѣ, отчего вы не устроите, чтобъ она ѣхала домой, а вы бы остались здѣсь?“

— Тысячу разъ, думалъ я объ этомъ, я только этого и хочу, но во-первыхъ, ей не съ кѣмъ ѣхать, а во-вторыхъ, она въ Петербургѣ пропадаетъ съ тоски.

— Да вѣдь она и здѣсь пропадетъ съ тоски. Что не съ кѣмъ послать — это воспоминанія нашихъ барскихъ затѣй, вы можете проводить вашу жену до парохода въ Штетинъ, а пароходъ самъ дорогу найдетъ. Если у васъ нѣтъ денегъ, я вамъ дамъ въ займы.

— Вы правы, и я это сдѣлаю непремѣнно. Мнѣ больно, мнѣ жаль ее, все что было во мнѣ любви положилъ я на ее голову — я въ ней искалъ не только жены, но существо, которое я хотѣлъ развивать, воспитывать по своей фантазіи, я думалъ, что она будетъ моимъ ребенкомъ — задача была не по силамъ — да и кто же зналъ, сколько противодѣйствій я найду, сколько упрямства? — Онъ помолчалъ и потомъ добавилъ: „Сказать вамъ всю мою мысль — ей надобно другаго мужа... еслибъ нашелся человѣкъ достойный ее, котораго бы она полюбила, я сдалъ бы ее съ рукъ на руки и мы оба выздоровѣли бы—это важнѣе Петербурга“.

Я все это принималъ au pied de la lettre. Что онъ былъ искрененъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія — тутъ-то и лежитъ загвоздка этихъ подвижныхъ, не владѣющихъ собой организацій, онѣ могутъ какъ хорошіе актеры въиграться въ разныя роли и до того съ ними сродниться, что картонный кинжалъ имъ кажется настоящимъ, и они льютъ истинныя слезы о „Гекубѣ“.

Мы тогда жили вмѣстѣ въ С.-Еленъ. Дни два спустя послѣ моего разговора съ Энгельсономъ, поздно вечеромъ вошла Mme Энгельсонъ въ гостинную, со свѣчой въ рукѣ и съ заплаканнымъ лицомъ; поставила свѣчу на столъ и сказала, что желаетъ поговорить со мной. Мы сѣли... послѣ небольшой и неясной прелюдіи о судьбѣ, которая ея преслѣдуетъ, о несчастномъ характерѣ Энгельсона и ея самой она объявила, что рѣшилась возвратиться въ Петербургъ и не знаетъ какъ это

сдѣлать: „вы одни имѣете на него вліяніе, уговорите его меня *въ самомъ дѣлѣ* отпустить; я знаю, что онъ въ минуты досады на словахъ готовъ меня сейчасъ посадить въ почтовую карету, но все это *на словахъ*. Уговорите его, спасите насъ обоихъ и дайте слово, первое время походить за нимъ, похолить его... ему будетъ тяжело, онъ больной, нервный человѣкъ", и она снова рыдая покрыла лицо платкомъ.

Въ глубину горести ея я не вѣрилъ, но очень хорошо понялъ, какого я далъ маху, говоря откровенно съ Энгельсономъ; для меня было ясно, что онъ передалъ ей нашъ разговоръ.

Выбора мнѣ не оставалось, я повторилъ свои слова, смягчивши ихъ въ формѣ. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поѣдетъ, то бросится въ море, что она вечеромъ сожгла многія бумаги и желаетъ мнѣ поручить какія-то другія въ запечатанномъ пакетѣ. Мнѣ стало ясно, что и она вовсе не такъ страстно хочетъ ѣхать, а хочетъ, по какому-то капризному баловству, тянуться и псходить грустью. Сверхъ того я увидѣлъ, что если она колеблется безъ всякаго рѣшенія, то онъ и не колеблется, а вовсе не хочетъ, чтобъ она ѣхала. Она надъ нимъ имѣла большую власть, она знала это и, основываясь на ней, дозволяла ему бѣситься, покрывать пѣной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй онъ, какъ хочешь, дѣло пойдетъ *не по его волѣ, а по ея*.

Совѣта моего она мнѣ никогда не прощала, она боялась моего вліянія, хотя и имѣла явное доказательство моего безсилія.

Дней десять не было рѣчи объ отъѣздѣ. Потомъ пошли періодическія схватки. Въ недѣлю разъ или два она являлась съ заплаканными глазами, объявляла, что

теперь все кончено. что завтра она будетъ собираться въ Петербургъ или на дно морское. Энгельсонъ выходилъ изъ своей комнаты съ зеленымъ лицомъ, съ судорожнымъ подергиваніемъ и дрожащими руками, онъ исчезалъ часовъ на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпившій, носилъ визировать пасъ или брать пропускъ въ Геную, потомъ все утихало и приходило въ обыкновенное русло.

Наружно Mme Энгельсонъ со мною совершенно примирилась, но съ этого времени у ней началось слагаться что-то въ родѣ ненависти ко мнѣ. Прежде она спорила со мной, сердилась не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядѣлъ, что я не умилялся передъ ея трагической судьбой, не принималъ ее за несчастную жертву — а глядѣлъ на нее какъ на капризную больную, что я не только не сдѣлался платоническимъ соплакальщикомъ ея, а сомнѣвался, не наслажденіе ли вмѣсто горести доставляютъ ей слезы, душераздирательныя сцены, объясненія въ нѣсколько часовъ и пр., и пр.

Время шло и исподволь многое измѣнилось. Она съ быстротою, которая только встрѣчается у нервныхъ больныхъ, поздоровѣла, сдѣлалась веселѣе, стала еще внимательнѣе къ туалету и хотя самые вздорные поводы снова приводили къ прежнимъ сценамъ между нею и Энгельсономъ, къ прощанью Сократа передъ цикутой и къ готовности идти по слѣдамъ Сафо въ пучину морскую, но въ суммѣ дѣла шли лучше. Вѣчно полулежащая отъ слабости, вѣчно утомленная женщина, выпрямилась, какъ Сикстъ V, стала полнѣть и до того, что разъ бѣдный Коля, сидя за обѣдомъ и глядя на ея полную грудь, сказалъ, покачивая головой: „Sehr viel Milch!“

Видно было, что новый интересъ занялъ ея жизнь что что-то разбудило ее отъ болѣзненной летаргіи. Съ тѣхъ поръ, какъ мы объяснились съ ней, она начала упорную игру, обдумывая всякій ходъ, не хуже игроковъ du café Régent и терпѣливо поправляя ошибки. Иногда она измѣняла себѣ, дѣлала промахи, увлекалась въ ту или другую сторону, но съ постоянствомъ возвращалась къ прежнему плану. Планъ этотъ шелъ уже дальше закрѣпленія въ свою власть Энгельсона, дальше отмѣстки мнѣ; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ завладѣть всѣми нами, всѣмъ домомъ и, пользуясь усиливающейся болѣзнью Natalie, взять въ свои руки воспитанье, всю жизнь — si non — non, т. е, въ противномъ случаѣ разорвать во чтобъ ни стало мою связь съ Энгельсономъ.

Но прежде чѣмъ она достигла послѣдняго результата, игра представляла много ходовъ очень трудныхъ, тяжелыхъ уступокъ, кошачьей тактики и большаго выжиданія — многое она сдѣлала, но не все. Безконечная болтовня Энгельсона мѣшала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергію, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замыселъ... но личности и самолюбія пьянятъ, и вступая въ темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что нибудь разглядѣть. Обыкновенно свѣтъ вносится въ комнату на шумъ уже совершившагося преступленія, т. е. когда съ одной стороны неисправимая бѣда, съ другой угрызеніе совѣсти.

IV.

... О несчастіяхъ, обрушившихся на меня въ 1851 и 1852 годахъ, я говорю въ другомъ мѣстѣ. Энгельсонъ много облегченія внесъ въ мою печальную жизнь. Мы съ нимъ долго прожили бы возлѣ кладбищъ, но безпокойное самолюбіе его жены не пощадило и траура.

Нѣсколько недѣль послѣ похоронъ, Энгельсонъ печальный, встревоженный, видимо нехотя и видимо не отъ себя, спросилъ меня, не думаю ли я поручить его женѣ воспитаніе моихъ дѣтей?

Я отвѣчалъ, что дѣти, кромѣ моего сына, поѣдутъ въ Парижъ съ Марьей Каспаровной, и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенья принять не могу.

Отвѣтъ мой огорчилъ его, огорчать его мнѣ было больно. — „Скажите мнѣ, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать дѣтей?“

— Нѣтъ, отвѣчалъ въ свою очередь Энгельсонъ, но... но можетъ это planche de salut *для нея*; она все таки страдаетъ какъ прежде, а тутъ ваше довѣріе, новый долгъ.

— Ну, а какъ опытъ не удастся?

— Вы правы, не будемъ говорить объ этомъ, а тяжело.

Энгельсонъ былъ дѣйствительно согласенъ со мной и замолчалъ. Но она не ожидала такого простаго отвѣта; уступить на этомъ вопросѣ я не могъ, она не хотѣла, и внѣ себя отъ досады, тотчасъ рѣшилась увезти Энгельсона изъ Ниццы. Дня черезъ три онъ объявилъ мнѣ, что ѣдетъ въ Геную.

— Что съ вами, спросилъ я, и *за что же* такъ скоро?

— Да что, вы видите сами, жена не ладитъ ни съ вами, ни съ вашими друзьями, я ужь рѣшился... да оно можетъ и лучше.

И черезъ день они уѣхали.

А потомъ уѣхалъ я изъ Ниццы. Въ Генуѣ, проѣздомъ, мы встрѣтились мирно. Окруженная нашими друзьями, въ числѣ которыхъ былъ Медичи, Пизакане, Коленцъ, Мордини, она казалась спокойнѣе и здоровѣе. Но тѣмъ не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтобъ не кольнуть меня самымъ злымъ образомъ. Я отходилъ, молчалъ, это не помогало. Даже когда я уѣхалъ въ Лугано, она продолжала свои отравленныя petits points, и это въ рѣдкихъ припискахъ къ письмамъ мужа, какъ будто съ его „визой.“

Наконецъ булавочные уколы, въ такое время, когда я весь былъ задавленъ болью и горемъ, вывели меня изъ терпѣнія. Я ихъ ничѣмъ не заслужилъ, ничѣмъ не вызвалъ. На одну изъ злыхъ приписокъ, въ которой говорилось о томъ, какъ дорого еще Энгельсонъ поплатится за то, что беззавѣтно отдается друзьямъ, не зная, что они для него ничего не сдѣлаютъ — я написалъ Энгельсону, что пора положить этому предѣлъ.

„Я не понимаю, писалъ я, за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдалъ ей моихъ дѣтей, то врядъ ли она права?“ Я напомнилъ ему нашъ послѣдній разговоръ и прибавилъ: „Мы знаемъ, что Сатурнъ ѣлъ своихъ дѣтей, но чтобъ кто нибудь *благодарилъ своихъ друзей за ихъ участіе* дѣтскимъ воспитаніемъ, это неслыханно.“

Этой выходки она мнѣ не простила, но, что гораздо удивительнѣе, и онъ не простилъ, хотя сначала не по-

казалъ вовсе вида... а попрекнулъ меня этими словами черезъ годы...

Я уѣхалъ въ Лондонъ, Энгельсонъ поселился на зиму въ Женевѣ, потомъ перебрался въ Парижъ.*)

V.

Пословицу: „кто на морѣ не бывалъ, тотъ богу не молился,“ можно такъ передѣлать: женщина, у которой дѣтей не бывало, не знаетъ безкорыстной преданности и это особенно относится къ замужнимъ женщинамъ; бездѣтность у нихъ развиваетъ почти всегда грубый эгоизмъ, разумѣется, если по дорогѣ не спасетъ какой нибудь общій интересъ. Старая дѣва имѣетъ какія-то посѣдѣвшія стремленія, мягчащія ее, она все еще ищетъ и все надѣется; но женщина безъ дѣтей и съ мужемъ въ гавани, она благополучно пріѣхала, сначала инстинктивно погрустила о томъ, что дѣтей нѣтъ, потомъ успокоилась и живетъ въ свое удовольствіе, а если и оно не удается, въ *свое горе*, или въ чье нибудь неудовольствіе, въ чье нибудь горе—хоть горничной. Рожденіе ребенка можетъ ее спасти. Ребенокъ пріучаетъ мать къ жертвѣ, къ подчиненію воли, къ страстной тратѣ времени *не на себя*, и отучаетъ отъ всякой внѣшней награды, признанія, спасиба. Мать съ ребенкомъ не считается, она ничего не требуетъ отъ него — кромѣ здоровья, апетита, сна—и—его улыбки. Ребенокъ, не выводя женщины изъ дому, превращаетъ ее въ гражданское лицо.

*) Къ этому времени относится рядъ очень замѣчательныхъ его писемъ, изъ которыхъ значительную часть я думаю когда нибудь напечатать.

Совсѣмъ не то, когда бездѣтной женщинѣ въ домъ попадается почему бы то ни было чужой ребенокъ, да еще по какой нибудь необходимости. Она будетъ, пожалуй, наряжать его, играть съ нимъ, но когда ей *хочется;* она будетъ баловать его, но по своему, во всѣхъ другихъ случаяхъ ребенокъ будетъ напрасно стучаться въ окоченѣлое или ожирѣвшее сердце. Словомъ, ребенокъ можетъ навѣрное расчитывать на всѣ льготы и холенья, которыя дѣлаютъ шпицу, канарейкѣ — но не больше.

У одного изъ нашихъ близкихъ знакомыхъ была дочь, родившаяся отъ одной молодой вдовы. Въ видахъ *замужества* матери, ребенка хотѣли увести и украли во время отсутствія отца. Послѣ долгихъ розысковъ дѣвочку нашли; но отецъ, изгнанный изъ Франціи, не могъ за ней пріѣхать въ Парижъ, да и къ тому же не имѣлъ денегъ. Не зная, куда дѣть ее, онъ попросилъ Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсонъ согласился, но очень скоро раскаялся. Дѣвочка шалила и, вѣроятно, очень много, взявъ въ расчетъ ея неправильное воспитаніе; но все же она шалила, какъ пятилѣтній ребенокъ, и не съ гуманнымъ пониманьемъ Энгельхона можно было опрокинуться на дѣвочку за шалости. Да и бѣда была не въ томъ, что она шалила: *она мѣшала* и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не дѣлавшей. Энгельсонъ съ какимъ-то ожесточеніемъ жаловался мнѣ письменно на ребенка!

Между прочимъ, на счетъ ея отца, Энгельсонъ писалъ мнѣ: „Не странo ли, что Х., соглашавшійся когда то съ вами, что жена моя *не способна воспитывать вашихъ дѣтей, поручилъ ей свою собственную дочь?*“

Энгельсонъ зналъ очень хорошо, что отецъ дѣвочки *не выбралъ* его жену воспитательницей, а былъ приве-

денъ матеріальной нуждой въ необходимость прибѣгнуть къ ея помощи. Въ этомъ замѣчаніи было столько жесткаго, невеликодушнаго, что у меня перевернулось сердце. Я не могъ привыкнуть къ этому недостатку пощады, къ этой *смѣлости* языка, не останавливающагося ни передъ чѣмъ! Глубоко язвящіе намеки, которые могутъ въ минуту раздраженія придти каждому въ голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятся людьми, къ которымъ принадлежалъ Энгельсонъ, съ легкостью и наслажденіемъ при малѣйшей размолвкѣ.

Давъ волю своему раздраженію, Энгельсонъ въ письмѣ своемъ, по дорогѣ, оборвалъ и Тесье, и другихъ пріятелей, даже самаго Прудона, котораго очень уважалъ. Вмѣстѣ съ письмомъ Энгельсона пришло изъ Парижа письмо Тесье; онъ дружески шутилъ о „гнѣвахъ и шалостяхъ“ Энгельсона, не подозрѣвая, что̀ онъ писалъ объ немъ. Мнѣ была противна роль какого-то отрицательнаго предательства, и я написалъ Энгельсону, что стыдно такъ бранить людей, съ которыми жизнь насъ свела, что, не смотря на ихъ недостатки, все же они люди хорошіе, какъ онъ самъ знаетъ. Въ заключеніе я говорилъ, что стыдно такъ пріувеличивать всякое дѣло и ахать, и охать, и приходить въ отчаяніе отъ шалостей пятилѣтняго ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, другъ, цаловавшій въ порывѣ энтузіазма мою руку, приходившій ко мнѣ дѣлить всякую печаль и предлагавшій мнѣ кровь свою и свою жизнь, не на словахъ, *а въ самомъ дѣлѣ*... этотъ человѣкъ, связанный со мной своею исповѣдью и моими несчастіями, которыхъ былъ свидѣтелемъ, гробомъ, за которымъ мы шли вмѣстѣ—все забылъ. Его самолюбіе было затронуто..... ему надобно

было отомстить—онъ и отомстилъ. Черезъ *четыре дня* я получилъ отъ него слѣдующій отвѣтъ:

2 Февраля, 1853.

„Слухи носятся, что вы рѣшились ѣхать сюда; — здоровіе Маріи Каспаровны, кажется, возстанавливается (по крайней мѣрѣ, на прошедшей недѣлѣ она стала пободрѣе духомъ, встаетъ съ постели минутъ на пять, имѣетъ апетитъ);—о порученіи, даннomъ вами мнѣ къ Т., имѣю только то сказать, что вещи, которыя генералъ проситъ его приготовить, не у Т., а оставлены имъ у Фогта въ Женевѣ, что мадамъ Т. находитъ „peu gracieux., ваше молчаніе и прибавляетъ, что переписка съ вами не могла бы причинить имъ непріятностей.

„Словомъ, до вашего пріѣзда я могъ бы и не писать вамъ, еслибъ мнѣ не пришло на умъ, что молчаніе часто можетъ быть принято за знакъ согласія. Я не хочу вводить или продержать васъ въ заблужденіи на счетъ меня: я не согласенъ съ тѣмъ, что сказано въ послѣднемъ вашемъ письмѣ ко мнѣ (отъ 28 Января).

„Вотъ ваши слова: „ну скажите, стоило ли такъ расходится—и биби—и младенецъ — и ужъ ай, ай, ай, и ужъ Боже мой. Ну подумайте, достойно ли это васъ И что новаго! Вы людей знали и видѣли. Я становлюсь съ каждымъ днемъ снисходительнѣе и дальше отъ людей.“

„На это отвѣчаю, не вдаваясь нынѣшній разъ въ диссертацію о респектабельности вообще, и даже не поздравляя васъ съ вашимъ довольствомъ самимъ собою, —что, разумѣется, смѣшонъ человѣкъ, который, облепленный комарами или клопами, впадаетъ въ ярость и бѣшенство, но что еще смѣшнѣе тотъ, который, страдая отъ нападеній такихъ насѣкомыхъ, усиливается придать себѣ видъ равнодушія стоическаго.

„Вы, можетъ быть, съ этимъ не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего.* Не сердитесь! Погодите! дайте договорить. Въ первой главѣ вашего „Vom andern Ufer," въ русскомъ и нѣмецкомъ текстахъ, слѣдующія ваши слова: „Человѣкъ любитъ эффектъ, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагаетъ несчастіе; страданіе отвлекаетъ, утѣшаетъ... да, да, утѣшаетъ."—Какъ я уже въ Ниццѣ вамъ говорилъ, я сначала принялъ было это ваше изрѣченіе за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мнѣ возразили, что вы не помните этихъ словъ.

„Нисколько не относя исключительно къ вамъ эти слова, то есть, не полагая, чтобъ вы о людяхъ вообще судили въ этомъ случаѣ по самому себѣ, я до сихъ поръ думалъ, что это ваше изрѣченіе, какъ большая часть des Réflexions de la Rochefoucault, на которыя оно очень похоже, какъ мастерски однажды сдѣланная Бѣлинскимъ характеристика талантливыхъ людей нашего времени, — „ипербола, шутка." И потому, когда я узналъ, что Х. въ Швейцаріи вознегодавалъ на генерала за его образъ дѣйствія въ вашемъ дѣлѣ, я принялъ это его негодованіе не за роль, а за чувство, и написалъ вамъ: „Да, я вижу, Х. мнѣ братъ." — Когда Т. (при свидѣтелѣ) объявлялъ, что онъ осужденъ „на вѣчность + два года," я также вѣрилъ этому и даже пересказалъ это нѣкоторымъ людямъ. Вчера мнѣ Г-жа Т. сказала, что ея мужъ никогда не былъ осужденъ. Ergo, я въ глазахъ тѣхъ, кому я пересказалъ его ложь, такой же благёръ, какъ онъ. Это мнѣ непріятно. Кто виноватъ? Разумѣется, я, потому что я былъ „молодъ, легковѣренъ;" но и они виноваты, потому что они лгали. Нѣтъ, такихъ благёровъ, какъ я увидѣлъ въ Ниццѣ, я ни на Руси, ни индѣ, еще не видалъ. Въ

письмѣ моемъ къ вамъ отъ 19 Января, я сказалъ вамъ, что я хочу, безъ эскландра, удалиться отъ этихъ людей, они бо мнѣ антипатичны. Написалъ же я вамъ это, потому что съ вами я хотѣлъ играть въ открытую. *Но, погруженный въ себя*, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вѣроятно, не дали бы мнѣ и самаго пустаго порученія къ Т. — Вы тоже говорили, что вы удаляетесь отъ людей, но вмѣстѣ съ тѣмъ просите ихъ вамъ писать. Я не умѣю такимъ образомъ удаляться.

„Полагая, что въ серьезныхъ дѣлахъ откровенность есть необходимое условіе честности, я имѣю еще слѣдующее сказать вамъ, не теряя времени: Вы пишете мнѣ, что, отправивъ генерала въ Австралію и давъ безсрочный отпускъ всѣмъ, вы останетесь при мнѣ и при врагахъ,—и что еслибъ къ тому же я поустоялся и меньше зависѣлъ отъ своихъ и не своихъ нервныхъ тревогъ и капризцовъ, то вы со мною сдѣлали бы un bout de chemin. Я долженъ на это вамъ отвѣтить, что, не чувствуя въ себѣ ни охоты, ни таланта къ ролямъ, и особенно трагическимъ, я готовъ, если вамъ угодно, служить вамъ моимъ совѣтомъ, но не дѣломъ“...

Конечно, я не предполагалъ, чтобъ человѣкъ, который слезами, рыданіемъ вызвалъ меня на трудно-произносимыя довѣрія, человѣкъ такъ близко подошедшій ко мнѣ и на котораго я опирался, какъ на брата, въ минуты слабости и безсилья, когда боль переходила человѣческую емкость, — что очевидецъ, свидѣтель всего что было, приметъ мои несчастія за котурны и декораціи, которыми я воспользуюсь, чтобъ играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, онъ заискивалъ въ ней камни и откладывалъ ихъ за пазуху, чтобъ при случаѣ пустить въ меня. Ему мало было оборвать на-

стоящее, онъ грязнилъ, опошлялъ прошедшее: разрываясь со мной, онъ не почтилъ его унылымъ чувствомъ молчанія, а покрылъ его безжалостной бранью и проническимъ шпыняньемъ.

Больно мнѣ было это письмо, очень больно.

Я отвѣчалъ ему грустно, сквозь затаенныя слезы, я прощался съ нимъ и просилъ его прекратить переписку.

За тѣмъ наступило между нами совершеннѣйшее молчаніе...

Съ Энгельсономъ еще разъ что-то оторвалось внутри, я становился еще бѣднѣе, еще разобщеннѣе, холодъ кругомъ, ничего близкаго... иногда будто теплѣе протягивалась рука, какой нибудь фанатикъ безъ пониманья, не разобравшій сначала, что мы не одной религіи, быстро подходилъ и также быстро отворачивался. Впрочемъ, я и самъ не искалъ большой близости съ людьми; я привыкалъ къ встрѣчнымъ и проходящимъ, къ разнымъ анонимамъ, отъ которыхъ ничего не требовалъ и которымъ ничего не давалъ, кромѣ сигаръ, вина и иногда денегъ. Одно спасеніе было въ работѣ, я писалъ „Былое и Думы“ и устроивалъ русскую типографію въ Лондонѣ.

VI.

Прошелъ годъ. Типографія была въ полномъ ходу, ее замѣтили въ Лондонѣ и боялись въ Россіи. Весною 1854 г. я получилъ отъ Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писалъ Энгельсонъ. Я тотчасъ напечаталъ ее.

Потомъ пришло отъ него письмо, въ которомъ онъ просилъ окончить несчастную размолвку и соединиться

на общее дѣло. Разумѣется я ему протянулъ обѣ руки. Вмѣсто отвѣта онъ явился самъ въ Лондонъ на нѣсколько дней и остановился у меня. Рыдая и смѣясь, просилъ онъ забвенія прошлаго... осыпалъ меня словами дружбы и снова схватилъ мою руку и прижалъ ее къ своимъ губамъ. Я обнялъ его, глубоко тронутый и въ твердой увѣренности, что ссора не возобновится.

Но уже черезъ нѣсколько дней показались облака, мало предвѣщавшіе хорошаго. Оттѣнокъ фатализма, бонапартизма, который проглядывалъ въ его письмахъ изъ Женевы — выросъ. Изъ ненависти къ Николаю и христамъ французской революціи 1848 года, онъ переходилъ агше et bagage въ враждебный станъ. Мы поспорили, онъ былъ упоренъ. Зная, какъ онъ бросается въ крайности и какъ быстро возвращается, я ждалъ отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсонъ возился тогда съ удивительнымъ проэктомъ, въ который былъ страстно влюбленъ.

Онъ выдумалъ воздушную батарею, т. е. шаръ, начиненный горючими веществами и вмѣстѣ съ тѣмъ печатными воззваніями. Дѣло было при началѣ Крымской кампаніи. Энгельсонъ предлагалъ пускать такіе шары съ кораблей на балтійскіе берега. Проэктъ этотъ мнѣ очень не нравился; что за пропаганда съ прожектилями, что за смыслъ, намъ русскимъ, жечь финскія деревни, помогать Наполеону и Англіи? Къ тому же Энгельсонъ не открылъ никакого новаго средства направлять воздушные шары. Я мало возражалъ на его планъ, воображая, что онъ самъ броситъ эти бредни.

Не тутъ то было. Онъ отправился съ своимъ проэктомъ къ Маццини, къ Ворцелю. Маццини сказалъ, что онъ такого рода дѣлами не занимается, а готовъ пере-

покажу я и вамъ, неугодно ли попробовать. . . милости просимъ!"

Я обернулся къ его женѣ и сказавши: „Что это онъ у васъ совсѣмъ съума сошелъ? Вы бы убрали его куда нибудь..."— вышелъ вонъ.

И на этотъ разъ Mme Энгельсонъ явилась примирительницей. Она пришла ко мнѣ утромъ, прося забыть, что было вчера. Письмо онъ изодралъ — былъ боленъ, печаленъ. Она принимала все это за несчастіе, за физическое разстройство, боялась, что онъ сильно занеможетъ, плакала. Я уступилъ ей.

За тѣмъ мы переѣхали въ Ричмондъ и Энгельсонъ тоже. Рожденіе сына и первые мѣсяцы хлопотъ объ немъ оживили Энгельсона; онъ потерялъ голову отъ радости, въ минуту рожденія малютки онъ обнялъ и разцаловалъ сначала горничную, потомъ старуху хозяйку дома... Страхъ о здоровьѣ маленькаго, новость отцовскаго чувства, новость самаго младенца заняли Энгельсона на нѣсколько мѣсяцевъ и все шло опять ладно.

Вдругъ получаю отъ него большой пакетъ при записочкѣ, чтобъ я прочелъ вложенную бумагу и сказалъ откровенно мое мнѣніе. Это было письмо къ французскому министру военныхъ дѣлъ. Въ немъ онъ снова предлагалъ шары, бомбы и статьи. Я нашелъ все дурнымъ, отъ пути, къ которому онъ обращался, до слога, мало сохранившаго достоинство, и высказалъ это.

Энгельсонъ отвѣчалъ дерзкой запиской и началъ дуться.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ мнѣ далъ другую рукопись для напечатанія. Я не скрылъ отъ него, что дѣйствіе ея на русскихъ будетъ прескверное и что я не совѣтую печатать. Энгельсонъ упрекнулъ меня въ желаніи завести ценсуру и говорилъ, что я вѣроятно устроилъ

типографію исключительно для печати моихъ „безсмертныхъ твореній“. Я напечаталъ рукопись, но чутье мое оправдалось, она возбудила къ Россіи общее негодованіе.

Все это показывало, что новый разрывъ не далекъ. Признаюсь, на этотъ разъ я не много объ этомъ жалѣлъ. Перемежающаяся лихорадка съ пароксизмами дружбы и ненависти, цалованья рукъ и нравственныхъ заушеній мнѣ надоѣли. Энгельсонъ перешелъ за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминанія, ни благодарность. Я его меньше и меньше любилъ и хладнокровнѣе ждалъ что будетъ.

Тутъ случилось событіе, которое своей важностью покрыло на время всѣ споры и раздоры, однимъ чувствомъ радости и ожиданья.

Утромъ 4 Марта я вхожу по обыкновенію часовъ въ восемь въ свой кабинетъ, развертываю „Теймсъ“, читаю, десять разъ и не понимаю, не смѣю понять грамматическій смыслъ словъ, поставленныхъ въ заглавіе телеграфической новости: The death of the Emperor of Russia.

Не помня себя, бросился я съ „Теймсомъ“ въ рукѣ въ столовую, я искалъ дѣтей, домашнихъ, чтобъ сообщить имъ великую новость и со слезами искренной радости на глазахъ, подалъ имъ газету... Нѣсколько лѣтъ свалилось у меня съ плечъ долой, я это чувствовалъ. Остаться дома было невозможно. Тогда въ Ричмондѣ жилъ Энгельсонъ, я на скоро одѣлся и хотѣлъ идти къ нему, но онъ предупредилъ меня и былъ уже въ передней, мы бросились другъ другу на шею и не могли ничего сказать кромѣ словъ: „Ну наконецъ-то онъ умеръ!“ Энгельсонъ по своему обыкновенію прыгалъ, перецаловалъ всѣхъ въ домѣ, пѣлъ, плясалъ, и мы еще не успѣли придти въ себя, какъ вдругъ карета

остановилась у моего подъѣзда и кто-то неистово дернулъ колокольчикъ, трое поляковъ прискакали изъ Лондона въ Твикнемъ, не дожидаясь поѣзда желѣзной дороги, меня поздравить.

Я велѣлъ подать шампанскаго, никто не думалъ о томъ, что все это было часовъ въ одинадцать утра или ранѣе. Потомъ безъ всякой нужды мы поѣхали всѣ въ Лондонъ. На улицахъ, на биржѣ, въ трактирахъ только и рѣчи было о смерти Николая, я не видалъ ни одного человѣка, который бы не легче дышалъ, узнавши что это бѣльмо снято съ глазъ человѣчества и не радовался бы, что этотъ тяжелый тиранъ въ ботфортахъ наконецъ зачисленъ по химіи.

Въ воскресенье домъ мой былъ полонъ съ утра; французскіе, польскіе рефюжье, нѣмцы, итальянцы, даже англійскіе знакомые приходили, уходили съ сіяющимъ лицомъ; день былъ ясный, теплый, послѣ обѣда мы вышли въ садъ.

На берегу Темзы играли мальчишки, я подозвалъ ихъ къ рѣшеткѣ и сказалъ имъ, что мы празднуемъ смерть ихъ и нашего врага, бросилъ имъ на пиво и конфекты цѣлую горсть мелкаго серебра. Уре! Уре! кричали мальчишки, Impernikel is dead! Impernikel is dead! гости стали имъ тоже бросать сикспенсы и трипенсы, мальчишки принесли элю, пироговъ,ековъ, привели шарманку и принялись плясать. Послѣ этого пока я жилъ въ Твикнемѣ мальчишки всякій разъ, когда встрѣчали меня на улицѣ, снимали шапку и кричали: Impernikel is dead! — Уре!

Смерть Никокая удесятерила надежды и силы. Я тотчасъ написалъ напечатанное потомъ письмо къ императору Александру и рѣшился издавать „Полярную Звѣзду“.

„Да здравствуетъ разумъ!“ невольно сорвалось съ языка въ началѣ программы—*Полярная Звѣзда* скрылась за тучами николаевскаго царствованія; Николай прошелъ и „Полярная Звѣзда“ явится снова въ день нашей великой пятницы, въ тотъ день, въ который пять висѣлицъ сдѣлались для насъ пятью распятіями.

... Толчекъ былъ силенъ, живителенъ, работа закипѣла вдвое. Я объявилъ, что издаю „Полярную Звѣзду“. Энгельсонъ принялся наконецъ за свою статью о Соціализмѣ, о которой еще говорилъ въ Италіи. Можно было думать, что мы проработаемъ года два, или больше... но раздражительное самолюбіе его дѣлало всякую работу съ нимъ невыносимой. Жена его поддерживала въ немъ его опьянѣніе собой. „Статья моего мужа, говорила она, будетъ считаться *новой эпохой* въ исторіи русской мысли. Если онъ ничего больше не напишетъ, то мѣсто его въ исторіи упрочено“. Статья: „Что такое государство?“*) была хороша, но успѣхъ ея не оправдалъ семейныхъ ожиданій. Къ тому же она попалась не во время. Проснувшаяся Россія требовала, именно тогда, практическихъ совѣтовъ, а не философскихъ трактатовъ по Прудону и Шопенауеру.

Статья еще не была до конца напечатана, какъ новая ссора, иного характера, чѣмъ всѣ предидушія, почти окончательно прервала всѣ сношенія между нами.

Разъ сидя у него, я шутилъ надъ тѣмъ, что они послали въ третій разъ за докторомъ, для маленькаго, у котораго былъ насморкъ и легкая простуда. „Неужели оттого, что мы бѣдны, сказала Mme Энгельсонъ и вся прежняя ненависть, удесятеренная, злая вспыхнула на ея лицѣ — нашъ малютка долженъ умереть безъ меди-

*) „Полярная Звѣзда“ книжка 1.

цинской помощи? И это говорите вы, соціалистъ, другъ моего мужа, *отказавшій ему въ пятидесяти фунтахъ и эксплуатирующій его уроками.*"

Я слушалъ съ удивленіемъ и спросилъ Энгельсона: „Дѣлитъ онъ это мнѣніе или нѣтъ?" Онъ былъ сконфуженъ, пятны выступили у него на лицѣ, онъ умолялъ ее замолчать... Она продолжала. Я всталъ и перерывая ее, сказалъ: „Вы больны, и сами кормите, я отвѣчать вамъ не стану, но не стану и слушать... Вѣроятно вамъ не покажется страннымъ, что нога моя не будетъ больше въ вашемъ домѣ".

Энгельсонъ печальный и растерянный, схватилъ шляпу и вышелъ со мной на улицу: „Не принимайте необузданныя слова женщины съ разстроенными нервами au pied de la lettre"... Онъ путался въ объясненіяхъ. „Завтра я приду давать урокъ", сказалъ онъ, я пожалъ ему руку и молча пошелъ домой.

... Все это требуетъ объясненій, и притомъ самыхъ тяжелыхъ, касающихся не мнѣній и общихъ сферъ, а кухни и приходорасходныхъ книгъ. Тѣмъ не меньше я сдѣлаю опытъ раскрыть и эту сторону. Для патологическихъ изслѣдованій—брезгливость, этотъ *романтизмъ чистоплотности*, не идетъ.

Энгельсоны врядъ имѣли ли право себя включать въ категорію бѣдныхъ людей. Они получали изъ Россіи десять тысячъ франковъ въ годъ, и пять онъ легко могъ выработать—переводами, обозрѣніями, учебными книгами; Энгельсонъ занимался лингвистикой. Книгопродавецъ Трюбнеръ требовалъ отъ него лексиконъ русскаго корнесловія и грамматику; онъ могъ давать уроки, какъ Пьеръ Леру, какъ Кинкель, какъ Эскиросъ. Но въ качествѣ русскаго, онъ брался за все, и за корнесловіе, и за переводы, и за уроки—ничего не кончалъ,

ничѣмъ не стѣснялся и не выработывалъ ни одной копѣйки.

Ни мужъ, ни жена не были расчетливы и не умѣли устроить своихъ дѣлъ. Постоянная лихорадка, въ которой они жили, не позволяла имъ думать о хозяйствѣ. Онъ изъ Россіи уѣхалъ безъ опредѣленнаго плана и остался въ Европѣ безъ всякой цѣли. Онъ не взялъ никакихъ мѣръ, чтобъ спасти свое имѣнье, и un beau jour испугавшись, сдѣлалъ наскоро какое-то распоряженіе, въ силу котораго ограничилъ свой доходъ на 10,000 фр., которые получалъ не совсѣмъ акуратно, но получалъ.

Что Энгельсонъ не вывернется съ своими десятью тысячами, было очевидно, что онъ не съумѣетъ съ другой стороны ограничить себя и это было ясно, ему оставалось работать или занимать. Сначала, послѣ пріѣзда въ Лондонъ, онъ взялъ у меня около сорока фунтовъ... черезъ нѣкоторое время попроситъ опять... я имѣлъ съ нимъ серьезный, дружескій разговоръ объ этомъ и сказалъ ему, что готовъ ссужать его, но рѣшительно больше десяти фунтовъ въ мѣсяцъ ему взаймы не дамъ. Нахмурился Энгельсонъ, однако раза два взялъ по десятифунтовой бумажкѣ и вдругъ написалъ мнѣ, что ему нужны пятьдесятъ фунтовъ, и если я не хочу ему ихъ дать, или не вѣрю, то проситъ меня занять ихъ подъ закладъ какихъ-то брильянтовъ. Все это очень походило на шутку; если онъ въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ заложить брильянты, то ихъ слѣдовало бы снести къ какому нибудь pawnbroker'у, а не ко мнѣ... зная его и жалѣя, я написалъ ему, что брильянты заложу въ 50 фунтовъ, если дадутъ, и деньги пришлю. На другой день, я послалъ ему чекъ а брильянты, которые онъ непремѣнно бы продалъ или заложилъ, спря-

талъ, чтобъ ихъ сохранить ему. Онъ не обратилъ вниманія на то, что пятьдесятъ фунтовъ были безъ процентовъ и повѣрилъ, что я брильянты заложилъ.

Второй пунктъ, относящійся къ урокамъ, еще проще. Въ Лондонѣ С. давалъ у меня уроки русскаго языка и бралъ 4 шил. за часъ. Въ Ричмондѣ Энгельсонъ предложилъ замѣнить С. Я спросилъ его о цѣнѣ, онъ отвѣтилъ, что ему со мной считаться мудрено, но такъ, какъ у него нѣтъ денегъ, то онъ возьметъ тоже что бралъ С.

Пришедши домой, я написалъ Энгельсону письмо, напомнилъ ему, что цѣну за уроки онъ назначилъ самъ, но что я прошу его принять за всѣ прошлые уроки вдвое. За тѣмъ я написалъ ему, что заставило меня удержать его брильянты и отослалъ ему ихъ.

Онъ отвѣчалъ конфузно, благодарилъ, досадовалъ, а вечеромъ пришелъ самъ и сталъ ходить по прежнему. Съ ней я не видался больше.

VII.

Съ мѣсяцъ спустя, обѣдалъ у меня Зено Свентославскій и съ нимъ Линтонъ, англійскій республиканецъ. Къ концу обѣда пришелъ Энгельсонъ. Свентославскій, чистѣйшій и добрѣйшій человѣкъ, фанатикъ, сохранившій за 50 лѣтъ безразсудный, польскій пылъ и запальчивость мальчика пятнадцати лѣтъ, проповѣдывалъ о необходимости возвращаться въ Россію, и начать тамъ живую и печатную пропаганду. Онъ бралъ на себя перевести буквы и пр.

Слушая его, я полу-шутя сказалъ Энгельсону: „А что, вѣдь насъ примутъ за трусовъ, если онъ пойдетъ

одинъ (on nous accusera de lachetè)". Энгельсонъ сдѣлалъ гримасу и ушелъ.

На другой день я ѣздилъ въ Лондонъ и возвратился вечеромъ; мой сынъ, лежавшій въ лихорадкѣ, разсказалъ мнѣ, и притомъ въ большомъ волненіи, что безъ меня приходилъ Энгельсонъ, что онъ меня страшно бранилъ, говорилъ, что онъ мнѣ отомститъ, что онъ больше не хочетъ выносить моего авторитета и что я ему теперь ненуженъ, *послѣ напечатанія его статьи.* Я не зналъ, что думать, Саша ли бредилъ отъ лихорадки, или Энгельсонъ приходилъ мертвецки пьяный.

Отъ Мальвиды М. я узналъ еще больше. Она съ ужасомъ разсказывала о его неистовствахъ. „Герценъ, кричалъ онъ нервнымъ, задыхающимся голосомъ, меня назвалъ вчера lâche, въ присутствіи двухъ постороннихъ." М. его перебила, говоря, что рѣчь шла совсѣмъ не о немъ, что я сказалъ on nous taxera de lachetè, говоря объ насъ вообще. „Если Г. чувствуетъ, что онъ дѣлаетъ подлости, пусть говоритъ о самомъ себѣ, но я ему не позволю говорить такъ обо мнѣ, да еще при двухъ мерзавцахъ..."

На его крикъ прибѣжала моя старшая дочь, которой тогда было десять лѣтъ. Энгельсонъ продолжалъ: „Нѣтъ, кончено, довольно, я не привыкъ къ этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я—и онъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и продолжалъ кричать—заряженъ, заряженъ—я дождусь его..."

М. встала и сказала ему, что она требуетъ, чтобъ онъ ее оставилъ, что она не обязана слушать его дикой бредъ, что она только объясняетъ болѣзнію его поведеніе. „Я уйду, сказалъ онъ, не хлопочите, но прежде хочу попросить васъ отдать Герцену это письмо."

Онъ развернулъ его и началъ читать, письмо было ругательное.

М. отказалась отъ порученія, спрашивая его, почему онъ думаетъ, что она должна служить посредницей въ доставленіи такого письма?

— Найду путь и безъ васъ, замѣтилъ Энгельсонъ, и ушелъ; письма не присылалъ, а черезъ день написалъ мнѣ записку; *въ ней*, *не упоминая* ни однимъ словомъ о прошедшемъ, онъ писалъ, что у него открылся геморой, что онъ ходить ко мнѣ не можетъ, а проситъ посылать дѣтей къ нему.

Я сказалъ, что отвѣта не будетъ, и снова всѣ дипломатическія сношенія были прерваны... оставались военныя. Энгельсонъ и не преминулъ ихъ употребить въ дѣло.

Изъ Ричмонда я осенью 1855 переѣхалъ въ St. John's Wood. Энгельсонъ былъ забытъ на нѣсколько мѣсяцевъ.

Вдругъ получаю я весной 1856 отъ Орсини, котораго видѣлъ дня два тому назадъ, записку, пахнущую картелью...

Холодно и учтиво просилъ онъ меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяемъ слухъ, что онъ австрійскій шпіонъ? Онъ просилъ меня или дать полный dementi, или указать, отъ кого я слышалъ такую гнусную клевету.

Орсини былъ правъ, я поступилъ бы такъ же. Можетъ, онъ долженъ былъ бы имѣть побольше довѣрія къ Саффи и ко мнѣ—но обида была велика.

Тотъ, кто сколько нибудь зналъ характеръ Орсини, могъ понять, что такой человѣкъ, задѣтый въ самой святѣйшей святынѣ своей чести, не могъ остановиться на полдорогѣ. Дѣло могло только разрѣшиться *совершенной* чистотой нашей или чьей нибудь смертью.

Съ первой минуты мнѣ было ясно, что ударъ шелъ отъ Энгельсона. Онъ *вѣрно* считалъ на одну сторону Орсиніевскаго характера, но, по счастію, забылъ другую: Орсини соединялъ съ неукротимыми страстями страшное самообузданіе, онъ середь опасностей былъ расчетливъ, обдумывалъ каждый шагъ и не рѣшался съ брызгу, потому что, однажды рѣшившись, онъ не тратилъ время на критику, на перерѣшенія, на сомнѣнія, а исполнялъ. Мы видѣли это въ улицѣ Лепелетье. Такъ онъ поступилъ и теперь, онъ, не торопясь, хотѣлъ изслѣдовать дѣло, узнать виновнаго и потомъ, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла въ томъ, что онъ, безъ всякой нужды, замѣшалъ Саффи.

Дѣло было вотъ въ чемъ: *мѣсяцевъ шесть* до нашего разрыва съ Энгельсономъ, я былъ какъ-то утромъ у Mme Мильнеръ-Гибсонъ (жены министра), тамъ я засталъ Саффи и Пьянчани, они что-то говорили съ ней объ Орсини. Выходя, я спросилъ Саффи, о чемъ была рѣчь. „Представьте, отвѣчалъ онъ, что Г-жѣ Мильнеръ-Гибсонъ разсказывали въ Женевѣ, что Орсини подкупленъ Австріей.....

Возвратившись въ Ричмондъ, я передалъ это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини. „Чортъ съ нимъ со всѣмъ!“ замѣтилъ Энгельсонъ, и больше объ этомъ рѣчи не было. Когда Орсини удивительнымъ образомъ спасся изъ Мантуи, мы вспомнили въ своемъ тѣсномъ кругу объ обвиненіи, слышанномъ Мильнеръ-Гибсонъ. Появленіе самого Орсини, его разсказъ, его раненая нога, безслѣдно стерли нелѣпое подозрѣніе.

Я попросилъ у Орсини назначить свиданье. Онъ звалъ вечеромъ на другой день. Утромъ я пошелъ къ Саффи и показалъ ему записку Орсини. Онъ тотчасъ,

какъ я и ждалъ, предложилъ мнѣ идти вмѣстѣ со мною къ нему. Огаревъ, только что пріѣхавшій въ Лондонъ, былъ свидѣтелемъ этого свиданья.

Саффи разсказалъ разговоръ у Мильнеръ - Гибсонъ, съ той простотой и чистотой, которая составляетъ особенность его характера. Я дополнилъ остальное. Орсини подумалъ и потомъ сказалъ: „что, у Мильнеръ-Гибсонъ могу я спросить объ этомъ?

— Безъ сомнѣнія, отвѣчалъ Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но — спросилъ онъ меня, скажите, зачѣмъ же вы говорили съ постороннимми, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонній*, съ которымъ я говорилъ, былъ тогда не посторонній; вы лучше многихъ знаете, что онъ былъ для меня.

— Я никого не называлъ...

— Дайте кончить. Что же вы думаете, легко человѣку передавать такія вещи? Еслибъ эти слухи распространились, можетъ васъ и слѣдовало бы предупредить —но кто же теперь объ этомъ говоритъ? Что же касается до того, что вы никого не называли, вы очень дурно дѣлаете, сведите меня лицемъ къ лицу съ обвинителемъ, тогда еще яснѣе будетъ, кто какую роль игралъ въ этихъ сплетняхъ.

Орсини улыбнулся, всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, обнялъ Саффи, и сказалъ: „Amici, кончимъ это дѣло, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другомъ.“

— Все это хорошо, и требовать отъ меня объясненіе вы были въ правѣ, но зачѣмъ же вы не называете обвинителя? Во первыхъ скрыть его нельзя... Вамъ сказалъ Энгельсонъ.

— Даете вы слово, что оставите дѣло?

— Даю, при двухъ свидѣтеляхъ.

— Ну, отгадали.

— Это ожидаемое подтвержденіе все же сдѣлало какую-то боль, точно я еще сомнѣвался.

— Помните обѣщанное, прибавилъ, помолчавши, Орсини.

— Объ этомъ не безпокойтесь. А вы вотъ утѣшьте меня, да и Саффи, разскажите, какъ было дѣло, вѣдь главное мы знаемъ.

Орсини засмѣялся. — „Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на дняхъ пришелъ онъ ко мнѣ, я былъ въ столовой (Орсини жилъ въ boarding house), и обѣдалъ одинъ. Онъ ужъ обѣдалъ, я велѣлъ подать графинчикъ хересу, онъ выпилъ его и тутъ сталъ жаловаться на васъ, что вы его обидѣли, что вы перервали съ нимъ всѣ сношенія, и послѣ всякой болтовни спросилъ меня, какъ вы меня приняли послѣ возвращенья? Я отвѣчалъ, что вы меня приняли очень дружески, что я обѣдалъ у васъ и былъ вечеромъ..... Энгельсонъ вдругъ закричалъ: „Вотъ они... знаю я этихъ молодцевъ, давно ли онъ и его другъ и почитатель Саффи говорили, что бы австрійскій агентъ. А вотъ теперь, вы опять въ славѣ, въ модѣ, и онъ вашъ другъ!“ — Энгельсонъ, замѣтилъ я ему, вполнѣ ли вы понимаете важность того, что вы сказали? — „Вполнѣ, вполнѣ,“ повторялъ онъ. — Вы готовы будете во всѣхъ случаяхъ подтвердить ваши слова? — „Во всѣхъ!“

Когда онъ ушелъ, я взялъ бумагу и написалъ вамъ письмо. Вотъ и все.

Мы вышли всѣ на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мнѣ, сказалъ, какъ бы въ утѣшеніе: „Онъ поврежденный.“

Орсини вскорѣ уѣхалъ въ Парижъ и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помостѣ гильотины.

Первая вѣсть объ Энгельсонѣ была вѣсть о его смерти въ Жерсеѣ.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетѣло до меня..

(1858)

... P. S. Въ 1864 я получилъ изъ Неаполя странное письмо. Въ немъ говорилось о появленіи духа моей жены, о томъ, что она звала меня къ обращенію, къ очищенію себя религіей, къ тому, чтобы я оставилъ свѣтскія заботы...

Писавшая говорила, что все писано подъ диктантъ духа, тонъ письма былъ дружескій, теплый, восторженный.

Письмо было безъ подписи, я узналъ почеркъ, оно было отъ Mme Энгельсонъ.

Здѣсь кончается та часть „Былаго и Думъ," которая была обработана авторомъ въ окончательномъ видѣ и напечатана въ четырехъ томахъ. Слѣдующія главы были напечатаны частью въ „Полярной Звѣздѣ," частью въ „Колоколѣ;" онѣ отрывочны, не слѣдуютъ другъ за другомъ и не представляютъ цѣлости. Эти главы должны были, по мысли автора, войти въ V часть „Былаго и Думъ," для которой, какъ онъ не разъ говорилъ, „онъ писалъ все остальное."

Кромѣ печатаемыхъ здѣсь отрывковъ изъ V части имѣется еще нѣсколько главъ въ рукописи. Эти главы наслѣдники автора не считаютъ въ настоящее время удобнымъ печатать.

Изд.

АНГЛІЯ *)

(1852 — 1855)

ГЛАВА I.

ЛОНДОНСКІЕ ТУМАНЫ.

Когда на разсвѣтѣ 25 Августа 1852 я переходилъ по мокрой доскѣ на англійскій берегъ и смотрѣлъ на его замарано-бѣлые выступы, я былъ очень далекъ отъ мысли, что пройдутъ годы прежде чѣмъ я покину мѣловые утесы его.

Весь подъ вліяніемъ мыслей, съ которыми я оставилъ Италію, болѣзненно ошеломленный, сбитый съ толку рядомъ ударовъ, такъ скоро и такъ грубо слѣдовавшихъ другъ за другомъ, я не могъ ясно взглянуть на то, что дѣлалъ. Мнѣ будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомыхъ истинъ, для того, чтобъ снова повѣрить тому, что я давно зналъ или долженъ былъ знать.

Я измѣнилъ своей логикѣ и забылъ, какъ розенъ современный человѣкъ въ мнѣніяхъ и дѣлахъ, какъ громко начинаетъ онъ и какъ скромно выполняетъ свои программы, какъ добры его желанія и какъ слабы мышцы.

Мѣсяца два продолжались не нужныя встрѣчи, безплодное исканіе, разговоры тяжелые и совершенно без-

*) *Пол. Зв.* Т. V. (1859).

полезные, и я все чего-то ожидалъ... чего-то ожидалъ. Но моя реальная натура не могла остаться долго въ этомъ призрачномъ мірѣ, я сталъ мало по малу разглядывать, что зданіе, которое я выводилъ, не имѣетъ грунта, что оно непремѣнно рухнетъ.

Я былъ униженъ, мое самолюбіе было оскорблено, я сердился на самого себя. Совѣсть угрызала за святотатственную порчу горести, за годъ суеты и я чувствовалъ страшную, невыразимую усталь... Какъ мнѣ была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы безъ суда и осужденія мою исповѣдь, была бы несчастна — моимъ несчастіемъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкаго... ни одного человѣка... А можетъ это было и къ лучшему.

Я не думалъ прожить въ Лондонѣ дольше мѣсяца, но мало по малу я сталъ разглядывать, что мнѣ рѣшительно не куда ѣхать и не зачѣмъ. Такого отшельничества я нигдѣ не могъ найти какъ въ Лондонѣ.

Рѣшившись остаться, я началъ съ того, что нашелъ себѣ домъ въ одной изъ самыхъ дальнихъ частей города, за Режентъ паркомъ, близъ Примрозъ Гиля.

Дѣти оставались въ Парижѣ, одинъ Саша былъ со мною. Домъ на здѣшній манеръ былъ раздѣленъ на три этажа. Весь средній этажъ состоялъ изъ огромнаго, неудобнаго, холоднаго drawing room. Я его превратилъ въ кабинетъ. Хозяинъ дома былъ скульпторъ и загромоздилъ всю эту комнату разными статуетками и моделями... бюстъ Лола Монтесъ стоялъ у меня предъ глазами, вмѣстѣ съ Викторіей.

Когда на второй или третій день послѣ нашего переѣзда, разобравшись и устроившись, я взошелъ утромъ въ эту комнату, сѣлъ на большія кресла и просидѣлъ часа два въ совершеннѣйшей тишинѣ, никѣмъ не тор-

ношимый, я почувствовалъ себя какъ-то свободнымъ,— въ первый разъ послѣ долгаго, долгаго времени. Мнѣ было не легко отъ этой свободы, но все же я съ привѣтомъ смотрѣлъ изъ окна на мрачныя деревья парка, едва сквозившія изъ за дымчатаго тумана, благодаря ихъ за покой.

По цѣлымъ утрамъ сиживалъ я теперь одинъ одинехонекъ, часто ничего не дѣлая, даже не читая, иногда прибѣгалъ Саша, но не мѣшалъ одиночеству. Г., жившій со мной, безъ крайности никогда не входилъ до обѣда, обѣдали мы въ седьмомъ часу. Въ этомъ досугѣ разбиралъ я фактъ за фактомъ все бывшее, слова и письма людей, и себя. Ошибки на право, ошибки на лѣво, слабость, шаткость, раздумье мѣшающее дѣлу, увлеченье другими, И въ продолженіи этого разбора внутри исподволь совершался переворотъ... были тяжелыя минуты и не разъ слеза скатывалась по щекѣ; но были и другія не радостныя, но мужественныя: я чувствовалъ въ себѣ силу, я не надѣялся ни на кого больше, но надежда на себя крѣпчала, я становился независимѣе отъ всѣхъ.

Пустота кругомъ окрѣпила меня, дала время собраться, я отвыкалъ отъ людей, т. е. не искалъ съ ними истиннаго сближенія; я и не избѣгалъ никого, но лица мнѣ сдѣлались равнодушны. Я увидѣлъ, что серьезно глубокихъ связей у меня нѣтъ. Я былъ чужой между постороннимъ, сочувствовалъ больше однимъ чѣмъ другимъ, но не былъ ни съ кѣмъ тѣсно соединенъ. Оно и прежде такъ было, но я не замѣчалъ этого постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарадъ кончился, домино были сняты, вѣнки попадали съ головъ, маски съ лицъ и я увидѣлъ другія черты, не тѣ, которыя я предполагалъ. Что же мнѣ было дѣлать? Я

могъ не показывать, что я многихъ меньше люблю, т. е. больше знаю, но не чувствовать этого я не могъ и, какъ я сказалъ, эти открытія не отняли у меня мужества, но скорѣе укрѣпили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нѣтъ города въ мірѣ, который бы больше отучалъ отъ людей и больше пріучалъ бы къ одиночеству, какъ Лондонъ. Его образъ жизни, разстоянія, климатъ, самыя массы народонаселенія, въ которыхъ личность пропадаетъ, все это способствовало къ тому, вмѣстѣ съ отсутствіемъ континентальныхъ развлеченій. Кто умѣетъ *жить одинъ*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здѣшняя жизнь, точно также какъ здѣшній воздухъ, вредна слабому, хилому, ищущему опоры внѣ себя, ищущему привѣтъ, участіе, вниманіе; нравственныя легкія должны быть здѣсь также крѣпки, какъ и тѣ, которымъ назначено отдѣлять изъ продымленнаго тумана кислородъ. Масса спасается завоевываніемъ себѣ насущнаго хлѣба, купцы недосугомъ стяжанія, всѣ суетой дѣлъ; но нервныя романтическія натуры, любящія жить на людяхъ, умственно тянуться и праздно млѣть, пропадаютъ здѣсь со скуки, впадаютъ въ отчаяніе.

Одиноко бродя по Лондону, по его каменнымъ просѣкамъ, по его угарнымъ корридорамъ, не видя ниоткуда разъ ни на шагъ впередъ отъ сплошнаго опаловаго тумана и толкаясь съ какими-то бѣгущими тѣнями — я много прожилъ.

Обыкновенно вечеромъ, когда мой сынъ ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни къ кому не заходилъ; — читалъ газеты, всматривался въ тавернахъ въ незнакомое племя, останавливался на мостахъ черезъ Темзу.

Съ одной стороны прорѣзываются и готовы исчезнуть

сталактиты парламента, съ другой, опрокинутая миска С. Павла... и фонари... фонари безъ конца въ обѣ стороны. Одинъ городъ, сытый, заснулъ, — другой, голодный, еще не проснулся — пусто, только слышна мѣрная поступь полисмена съ своимъ фонарикомъ. Посидишь бывало, посмотришь, и на душѣ сдѣлается тише и мирнѣе. И вотъ за все за это я полюбилъ этотъ страшный муравейникъ, гдѣ сто тысячъ человѣкъ всякую ночь не знаютъ гдѣ прислонить голову, и полиція не рѣдко находитъ дѣтей и женщинъ умершихъ съ голода, возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя обѣдать, не истративши двухъ фунтовъ.

Но такого рода переломы, какъ бы быстро ни приходили, не дѣлаются разомъ, особенно въ сорокъ лѣтъ. Много времени прошло, пока я сладилъ съ новыми мыслями. Рѣшившись на трудъ, я долго ничего не дѣлалъ или дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Мысль, съ которой я пріѣхалъ въ Лондонъ, искать *суда своихъ*, была вѣрна и справедлива. Я это и теперь повторяю съ полнымъ и обдуманнымъ сознаніемъ. Къ кому же въ самомъ дѣлѣ намъ обращаться за судомъ, за возстановленіемъ истины? за обличеніемъ лжи?

Не идти же намъ тягаться передъ судомъ нашихъ враговъ, судящихъ по другимъ началамъ, по законамъ, которыхъ мы не признаемъ.

Можно развѣдаться самому, можно безъ сомнѣнія. Самоуправство вырываетъ силой взятое силой, и тѣмъ самымъ приводитъ къ равновѣсію; месть такое же простое и вѣрное человѣческое чувство какъ благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняютъ. Можетъ же случиться, что человѣку въ объясненіи главное дѣло, можетъ быть ему *возстановленіе правды* дороже мести.

Ошибка была не въ *главномъ положеніи* — она была въ прилагательномъ, для того, чтобъ былъ судъ своихъ, надобно было прежде всего имѣть *своихъ*. Гдѣ же они были у меня?...

Свои у меня были когда-то въ Россіи. Но я такъ вполнѣ былъ отрѣзанъ на чужбинѣ, надобно было, во чтобъ ни стало, снова завести рѣчь съ своими—хотѣлось имъ разсказать, что тяжело лежало на сердцѣ. Писемъ не пропускаютъ—книги сами пройдутъ; писать нельзя—буду печатать и я принялся мало по малу за *Былое* и *Думы* и за *устройство русской типографіи*.

ГЛАВА II.*)

Горныя вершины—Центральный Европейскій Комитетъ—Маццини—Ледрю-Ролленъ—Кошутъ.

Въ Лондонѣ я спѣшилъ увидѣть Маццини, не только потому, что онъ принялъ самое теплое и дѣятельное участіе въ несчастіяхъ, которыя пали на мою семью, но еще и потому, что я имѣлъ къ нему особое порученіе отъ его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапы, Козенцъ, Бертани и другіе были недовольны направленіемъ, которое давалось изъ Лондона; они говорили, что Маццини плохо знаетъ новое положеніе, жаловались на революціонныхъ царедворцевъ, которые, чтобъ подслужиться, поддерживали въ немъ мысль, что все готово для возстанія и ждетъ только сигнала. Они хотѣли внутреннихъ преобразованій, имъ казалось необходимымъ ввести гораздо больше военнаго элемента и

*) *Начало этой главы было напечатано въ IV Т. „Былаго и Думъ“ (Т. IX, стр. 1 настоящаго изданія). Остальное здѣсь печатаемое появилось въ Пол. Зв. Т. VI, стр. 241.* Изд.

имѣть во главѣ стратеговъ, вмѣсто адвокатовъ и журналистовъ. Для этого они желали, чтобъ Мацини сблизился съ талантливыми генералами въ родѣ Уллоа стоявшаго возлѣ старика Пепе, въ какомъ-то недовольномъ отдаленіи.

Они поручили мнѣ разсказать все это Мацини долею потому, что они знали, что онъ имѣлъ ко мнѣ довѣріе, а долею и потому, что мое положеніе независимое отъ итальянскихъ партій, развязывало мнѣ руки.

Мацини меня принялъ какъ стараго пріятеля. Наконецъ рѣчь дошла до порученнаго мнѣ отъ его друзей. Онъ меня сначала слушалъ очень внимательно, хотя и не скрывалъ, что ему не совсѣмъ нравится оппозиція; но когда изъ общихъ мѣстъ я дошелъ до частностей и личныхъ вопросовъ, тогда онъ вдругъ прервалъ мою рѣчь.

— Это совершенно не такъ, тутъ нѣтъ ни слова дѣльнаго!

— Однако, замѣтилъ я, нѣтъ полутора мѣсяца, какъ я оставилъ Геную, и въ Италіи былъ два года безъ выѣзда, и могу самъ подтвердить многое изъ того, что говорилъ ему отъ имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были въ Генуѣ. Что такое Генуя? что вы могли тамъ слышать? мнѣніе одной части эмиграціи. Я знаю, что она такъ думаетъ, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центръ, но это одна точка, а я знаю всю Италію; я знаю потребность каждаго мѣстечка отъ Абруццъ до Форалберга. Друзья наши въ Генуѣ разобщены со всѣмъ полуостровомъ, они не могутъ судить объ его потребностяхъ, объ общественномъ настроеніи.

Я сдѣлалъ еще два, три опыта, но онъ уже былъ en garde, начиналъ сердиться, нетерпѣливо отвѣчалъ..... Я

замолчалъ съ чувствомъ грусти; такой нетерпимости я прежде въ немъ не замѣчалъ.

— Я вамъ очень благодаренъ, сказалъ онъ, подумавъ. Я долженъ знать мнѣніе нашихъ друзей; я готовъ взвѣсить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нѣтъ, это другое дѣло; на мнѣ лежитъ большая отвѣтственность не только передъ совѣстью и богомъ, но передъ народомъ итальянскимъ.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывалъ свое 3 Февраля 1853 года; дѣло для него было рѣшеное, а друзья его не были съ нимъ согласны.

— Знакомы вы съ Ледрю-Ролленомъ и Кошутомъ?—

— Нѣтъ.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вамъ надобно съ ними повидаться, я вамъ напишу къ обоимъ нѣсколько словъ. Разскажите имъ, что вы видѣли, какъ оставили нашихъ. Ледрю-Ролленъ, продолжалъ онъ, взявъ перо и начавъ записку, самый милый человѣкъ въ свѣтѣ, но французъ jusqu'au bout des ongles; онъ твердо вѣруетъ, что безъ революціи во Франціи—Европа не двинется, le peuple initiateur!... А гдѣ французская инціатива теперь? Да и прежде пдеи, двигавшія Францію, шли изъ Италіи или изъ Англіи. Вы увидите, что новую эру революціи начнетъ Италія! Какъ вы думаете?

— Признаюсь вамъ, что я этого не думаю.

— Что же, сказалъ онъ, улыбаясь, славянскій міръ?

— Я этого не говорилъ; не знаю, на чемъ Ледрю-Ролленъ основываетъ свои вѣрованія, но весьма вѣроятно, что ни одна революція не удастся въ Европѣ, пока

Франція въ томъ состояніи пространи, въ которой мы ее видимъ.

— Такъ и вы еще находитесь подъ prestig'емъ Франціи?

— Подъ престижемъ ея географическаго положенія, ея страшнаго войска и ея естественной опоры на Россію, Австрію и Пруссію.*)

— Франція спитъ мы ее разбудимъ.

Мнѣ оставалось сказать: „Дай богъ, вашими устами медъ пить!"

Кто изъ насъ былъ правъ, на ту минуту — доказалъ Гарибальди. Въ другомъ мѣстѣ я говорилъ о моей встрѣчѣ съ нимъ, въ Вест-Индскихъ докахъ, на его Американскомъ кораблѣ Common-wealth.

Тамъ за завтракомъ у него, въ присутствіи Орсини, Гаука и меня, Гарибальди говоря съ большой дружбой о Маццини, высказывалъ открыто свое мнѣніе о 3 Февралѣ 1853 (это было весной 1854), и тутъ же говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ партій въ одну военную.

Въ тотъ же день вечеромъ, мы встрѣтились въ одномъ домѣ; Гарибальди былъ не веселъ, Маццини вынулъ изъ кармана листъ Italia del popolo, и показалъ ему какую-то статью. Гарибальди прочиталъ ее и сказалъ: „Да, написано бойко, а статья превредная, я скажу откровенно, за такую статью стоитъ журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всѣми силами раздоръ между нами и Піэмонтомъ, въ то время, когда мы только имѣемъ одно войско — войско Сардинскаго короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступленія".

*) Этотъ разговоръ былъ осенью 1852.

Маццини отстаивалъ журналъ: Гарибальди сдѣлался еще скучнѣе.

Когда онъ собирался ѣхать съ корабля, онъ говорилъ, что ночью будетъ поздно возвращаться въ доки и что онъ поѣдетъ спать въ отель, я предложилъ, вмѣсто отеля, ѣхать спать ко мнѣ. Гарибальди согласился.

Послѣ этого разговора, осажденный со всѣхъ сторонъ неустрашимымъ легіономъ дамъ, Гарибальди ловкими маршами и контрмаршами выпутался изъ хоровода и подойдя ко мнѣ шепнулъ мнѣ на ухо, „Вы до котораго часа останетесь?“

— Поѣдемте хоть сейчасъ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Мы поѣхали; на дорогѣ онъ сказалъ мнѣ. „Какъ мнѣ жаль, какъ мнѣ безконечно жаль, что Ерро*) такъ увлекается и съ благороднѣйшимъ, чистѣйшимъ намѣреніемъ дѣлаетъ ошибки. Я не могъ вытерпѣть давича: тѣшится тѣмъ, что выучилъ своихъ учениковъ дразнить Піэмонтъ. Ну что же если король бросится совсѣмъ въ реакцію, свободное слово итальянское смолкнетъ въ Италіи, и послѣдняя опора пропадетъ. Республика, республика! я всегда былъ республиканецъ, всю жизнь, да дѣло теперь не въ республикѣ. Массы италіянскія я знаю лучше Маццини, я жилъ съ ними, ихъ жизнію. Маццини знаетъ Италію образованную и владѣетъ ея умами; но войска, чтобъ выгнать австрійцевъ и папу изъ нихъ не составишь; для массы, для народа итальянскаго одно знамя и есть — *единство и изгнаніе иноземцевъ!* А какъ же достигнуть до этого, опрокидывая на себя, единственное сильное королевство въ Италіи, которое изъ какихъ бы причинъ ни было

*) Уменьшительное отъ Джузеппе.

хочетъ стать за Италію и боится; вмѣсто того чтобъ его звать къ себѣ, его толкаютъ прочь и обижаютъ. Въ тотъ день, въ который *молодой человѣкъ* повѣритъ, что онъ ближе къ эрцгерцогамъ, чѣмъ къ намъ, судьбы Италіи затормозятся на поколѣніе или на два".

На другой день было воскресенье, онъ ушелъ гулять съ моимъ сыномъ, сдѣлалъ у Калдези его дагеротипъ, и принесъ мнѣ его въ подарокъ, а потомъ остался обѣдать.

Середь обѣда меня вызываетъ одинъ итальянецъ посланный отъ Маццини, онъ съ утра отыскивалъ Гарибальди; я просилъ его сѣсть съ нами за столъ.

Итальянецъ кажется хотѣлъ говорить съ нимъ на единѣ, я предложилъ имъ идти ко мнѣ въ кабинетъ.

— У меня никакихъ секретовъ нѣтъ, да и чужихъ здѣсь нѣтъ, говорите, замѣтилъ Гарибальди.

Въ продолженіи разговора, Гарибальди еще разъ повторилъ, и притомъ раза два, тоже, что мнѣ говорилъ, когда мы ѣхали домой.

Онъ внутренно былъ совершенно согласенъ съ Маццини, но расходился съ нимъ въ исполненіи, въ средствахъ. Что Гарибальди лучше зналъ массы, въ этомъ я совершенно убѣжденъ. Маццини какъ средневѣковой монахъ глубоко зналъ одну сторону жизни, но другія, *создавалъ*; онъ много жилъ мыслью и страстью, но не на дневномъ свѣтѣ; онъ съ молодыхъ лѣтъ до сѣдыхъ волосъ жилъ въ карбонарскихъ юнтахъ, въ кругу гонимыхъ республиканцевъ, либеральныхъ писателей; онъ былъ въ сношеніяхъ съ греческими гетеріями и съ испанскими exaltados, онъ конспирировалъ съ настоящимъ Каваньякомъ и поддѣльнымъ Ромарино, съ швейцарцомъ Джемсомъ Фази, съ польской демократіей, съ молдованахами... изъ его кабинета вышелъ благословленный имъ

восторженный Конарскій, пошелъ въ Россію и погибнулъ. Все это такъ, но съ народомъ, но съ этимъ solo interprete della legge divina, но съ этой густой толщей идушей до грунта, т. е. до полей и плуга, до дикихъ калабрійскихъ пастуховъ, до факиновъ и лодочниковъ, онъ никогда не былъ въ сношеніяхъ; а Гарибальди не только въ Италіи, но вездѣ жилъ съ ними, зналъ ихъ силу и слабость, горе и радость: онъ ихъ зналъ на полѣ битвы и середь бурнаго океана и умѣлъ какъ Бемъ сдѣлаться легендой, въ него вѣрили больше чѣмъ въ его патрона Санъ-Джузеппе.

Одинъ Маццини не вѣрилъ ему.

И Гарибальди уѣзжая сказалъ: „Я ѣду съ тяжелымъ сердцемъ, я на него не имѣю вліянія, и онъ опять предприметъ что нибудь до срока!“

Гарибальди угадалъ, не прошло года и снова двѣ, три неудачныя вспышки; Орсини былъ схваченъ піэмонтскими жандармами, на піэмонтской землѣ, чуть не съ оружіемъ въ рукахъ, въ Римѣ открыли одинъ изъ центровъ движенія, и та удивительная организація, о которой я говорилъ, разрушилась. Испуганныя правительства усилили полицію; свирѣпый трусъ король неаполитанскій снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпѣлъ и напечаталъ свое извѣстное письмо, „въ этихъ несчастныхъ возстаніяхъ могутъ участвовать или сумашедшіе или враги итальянскаго дѣла“.

Можетъ письма этого и не слѣдовало печатать. Маццини былъ побитъ и несчастенъ, Гарибальди наносилъ ему ударъ... но что его письмо совершенно послѣдовательно съ тѣмъ, что онъ мнѣ говорилъ и при мнѣ—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Я засталъ Кошута работающаго за большимъ столомъ; онъ былъ въ черной бархатной венгеркѣ и въ черной шапочкѣ; Кошутъ гораздо лучше всѣхъ своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ вѣроятно красавцемъ и долженъ былъ имѣть страшное вліяніе на женщинъ, особеннымъ романически-задумчивымъ характеромъ лица. Черты его не имѣютъ античной строгости какъ у Маццини, Саффи, Орсини; но (и можетъ именно по этому онъ былъ роднѣе намъ жителямъ сѣвера) въ печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умъ, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нѣсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говоритъ онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ рѣзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкѣ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдѣлывается фразами, не опирается на битые мѣста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль, почти всегда оригинально, потому что онъ свободнѣе другихъ отъ доктрины и отъ духа партіи. Можетъ въ его манерѣ доводовъ и возраженій видѣнъ адвокатъ, но то что онъ говоритъ серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мірѣ событій и приложеній не всегда можно прямо летать какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ причина между прочимъ, почему Кошутъ уступаетъ Маццини въ огненной дѣятельности и почему съ другой стороны Маццини дѣлаетъ безпрерывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дѣлаетъ вовсе.

Маццини глядитъ на итальянскую революцію — какъ фанатикъ; онъ вѣруетъ въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ критикѣ и стремится ога e sempre, какъ стрѣла пущенная изъ лука. Чѣмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ расчетъ, тѣмъ прочнѣе и проще его дѣйствіе, тѣмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Ледрю-Роллена тоже не сложенъ, его можно весь прочесть въ рѣчахъ конвента и въ мѣрахъ комитета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ Венгріи не общее достояніе революціонной традиціи, не апокалиптическія формулы соціальнаго доктринаризма, а протестъ своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неизвѣстнаго, ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отношеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи къ его средневѣковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими товарищами, Кошутъ былъ спеціалистъ.

Французскіе рефюжье, съ своей несчастной привычкой рубить съ плеча и все мѣрить на свою мѣрку, сильно упрекали Кошута за то, что онъ въ Марселѣ выразилъ свое сочувствіе къ соціальнымъ идеямъ, а въ рѣчи, которую произнесъ въ Лондонѣ съ балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его путешествія изъ Константинополя, т. е. во время самаго торжественно эпическаго эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 годомъ. Сѣверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесенныхъ когтей Австріи и Россіи, съ гордостью плылъ съ изгнанникомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой республикѣ ждалъ уже приказъ полицейскаго диктатора

Франціи, чтобъ изгнанникъ не смѣлъ ступить на землю будущей имперіи. Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всѣ были окончательно надломлены, толпы работниковъ бросились на лодкахъ къ кораблю привѣтствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними очень натурально о соціализмѣ. Картина мѣняется. По дорогѣ одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себѣ въ гости. Кошутъ всенародно благодаря англичанъ за пріемъ, не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который его сдѣлалъ возможнымъ. Онъ былъ въ обоихъ случаяхъ совершенно искренень, онъ не представлялъ вовсе такой-то партіи; онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ, сочувствовать съ англійской конотитуціей, не сдѣлавшись Орлеанистомъ и не предавъ Республики. Кошутъ это зналъ и отрицательно превосходно понялъ свое положеніе въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдѣлался ни Глюкистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно вдалекѣ отъ Ледрю-Роллена и отъ Луи Блана. Съ Мацціни и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Мацціни и Ворцель давнымъ давно были по испанскому выражанію afrancisados. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Мацціни и Ледрю-Ролленомъ видно, что Мацціни ждалъ революціонный толчекъ изъ Италіи и вообще былъ недоволенъ Франціей, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его afrancisado. Тутъ съ одной стороны въ немъ го-

ворилъ патріотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но быть раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть *внѣ ея духа;* французскій революціонаризмъ имѣетъ свой общій мундиръ, свой ритуалъ, свой символъ вѣры, въ ихъ предѣлахъ можно быть спеціально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ, можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варьяціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется тоже.

Разговоръ Кошута тотчасъ со мной принялъ серьезный оборотъ, въ его взглядѣ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свѣтлаго; навѣрное онъ не ждалъ революціи завтра. Свѣдѣнія его объ юго-востокѣ Европы были огромны, онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екатерининскихъ трактатовъ съ Портой. „Какой страшный вредъ вы сдѣлали намъ во время нашего возстанія,“ сказалъ онъ „и какой страшный вредъ вы сдѣлали самимъ себѣ. Какая узкая и *противуславянская* политика поддерживать Австрію. Разумѣется Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе, развѣ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще деспотической власти“.

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше извѣстно, чѣмъ политическое и военное. Оно и не удивительно, многіе ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что нибудь о немъ, кромѣ общихъ мѣстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чѣмъ не связанныхъ замѣчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, распрашивалъ о сель-

ской общинѣ, о помѣщичьей власти; я разсказалъ ему, что зналъ.

Оставивъ Кошута я спрашивалъ себя, да что же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Маццини мечталъ Италіей освободить человѣчество. Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ заботился ли обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому скоро ли провозгласятъ республику въ Лисабонѣ или Дей Триполи будетъ называться простымъ гражданиномъ одного и нераздѣльнаго Триполійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мнѣ въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дѣйствій. Маццини и Ледрю-Ролленъ, какъ люди независимые отъ практическихъ условій, каждые два-три мѣсяца усиливались дѣлать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Мацциньевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессѣ или Каенѣ, но они съ фанатизмомъ слѣповѣрующихъ продолжали отправлять своихъ Исааковъ на закланіе. Кошутъ не дѣлалъ опытовъ; Лебени, ткнувшій ножемъ австрійскаго императора, не имѣлъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнѣнія, Кошутъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ болѣе сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отчего закружиться въ головѣ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двумилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета Лорд-

Мера стояла приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привѣтствовавшаго его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Меншенъ-Гоуза, его привѣтствовало то громогласное „ура!“ котораго Николай не могъ въ Лондонѣ добиться, ни протекціей Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанствомъ какимъ-то лошадямъ на скачкахъ.

Надменная англійская аристократія, уѣзжавшая въ свои помѣстья, когда Бонапартъ пировалъ съ королевой въ Виндзорѣ и бражничалъ съ мѣщанами въ Сити, толпилась, забывъ свое достоинство, въ колясках и каретахъ, чтобъ увидѣть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему — изгнаннику. Теймсъ нахмурилъ было брови, но до того испугался передъ крикомъ общественнаго мнѣнія, что сталъ ругать Наполеона, чтобъ загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонѣ годъ, другой, и видя, куда и какъ идетъ исторія на материкѣ и какъ въ самой Англіи, остывалъ энтузіазмъ. Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ, это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединеніе и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е. съ демократической Польшей, которая просила у союзниковъ одного *воззванія*, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнѣнія, это было для Польши великое мгновеніе — oggi or mai.

Еслибъ возстановленіе Польши было признано, чего же было бы ждать Венгріи? Вотъ почему Кошутъ является на польскомъ митингѣ 29-го Ноября 1854 года и требуетъ слова. Вотъ почему онъ вслѣдъ за тѣмъ отправляется съ Ворцелемъ въ главнѣйшіе города Англіи, проповѣдуя агитацію въ пользу Польши. Рѣчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замѣчательны, и по содержанію, и по формѣ. Но Англіи на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толпами собирался на митинги, рукоплескалъ великому дару слова, готовъ былъ дѣлать складчины; но вдаль движеніе не шло, но рѣчи не вызывали тотъ отзвукъ, въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имѣть вліяніе на парламентъ или заставить правительство измѣнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ, насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленіи польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горлѣ союзниковъ; всѣ хотѣли къ тому же мира, главное было достигнуто—*статскій* Наполеонъ покрылся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ „Атласѣ“ и лекціи о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Эдинбургѣ, Манчестрѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоянія, ни достоянія своей жены. Привыкнувшій къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось выработывать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьѣ его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тутъ прошли великія событія и что они подняли діапазонъ всѣхъ. Кошутъ еще до сихъ поръ окруженъ нѣсколькими вѣрными сподвижниками;

сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состарѣлся въ послѣднее время и тяжко становится на сердцѣ отъ его покоя.

Первые два года мы рѣдко видались; потомъ случай насъ свелъ, на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ, не только Англіи, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 году.

Передъ его отъѣздомъ мы были на дѣтскомъ праздникѣ, оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ моими дѣтьми... Кошутъ стоялъ у дверей и какъ-то печально смотрѣлъ на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ мнѣ: Вотъ уже и юное поколѣніе совсѣмъ готово намъ на смѣну.

— Увидятъ ли они?

— Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшутъ — прибавилъ онъ и еще грустнѣе сталъ смотрѣть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и тоже.

А увидятъ ли отцы? И что увидятъ? Та революціонная эра, къ которой стремились мы, освѣщенные догарающимъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Мацини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежитъ ли уже прошедшему, эти люди не дѣлаются ли печальными представителями былаго, около которыхъ закипаютъ иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, ихъ языкъ, ихъ движеніе, ихъ цѣль, все это и родственно намъ и съ тѣмъ вмѣстѣ чужое..... звуки церковнаго колокола тихимъ

утромъ праздничнаго дня, литургическое пѣніе и теперь потрясаютъ душу, но вѣры все же въ ней нѣтъ!

Есть печальныя истины, трудно, тяжко смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно ли? Вѣдь это тоже своего рода страсть или болѣзнь. „Истина, голая истина, одна истина!“ Все это такъ; да сообразно ли вѣденіе ее съ нашей жизнью? не разъѣдаетъ ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая кислота разъѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть ли страсть къ ней страшный недугъ, горько казнящій того, кто воспитываетъ ее въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня, мысль эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора, въ бѣдной комнаткѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый трупъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, вѣра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ же фанатикомъ какъ онъ—Маццини.

Я этого старика грустно любилъ, и ни разу не сказалъ ему *всей правды*, бывшей у меня на умѣ. Я не хотѣлъ тревожить потухающій духъ его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ былъ такъ радъ, когда Маццини его умирающему уху шепталъ обѣты и слова вѣры!

ИЗЪ IV и V ЧАСТИ*)

Издавая прошлую *Полярную Звѣзду*, я долго думалъ — что̀ слѣдуетъ печатать изъ лондонскихъ воспоминаній и что̀ лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложилъ, теперь я печатаю изъ нея нѣсколько отрывковъ.

Что же измѣнилось? — 59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партіи уяснились, однѣ окрѣпли, другія улетучились. Съ напряженнымъ вниманіемъ, останавливая не только всякое сужденіе, но самое біеніе сердца, слѣдили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками пороховаго дыма, то вырѣзывались изъ него съ такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымомъ. *На сію минуту* онъ разсѣялся и на сердцѣ легче, всѣ дорогія головы цѣлы!

А еще дальше за этимъ дымомъ, въ тѣни, безъ шума битвъ, безъ ликованій торжества, безъ лавровыхъ вѣнковъ, одна личность достигла колоссальныхъ размѣровъ.

Осыпаемый проклятіями всѣхъ партій: обманутымъ плебеемъ, дикимъ попомъ, трусомъ буржуа и піэмонтской дрянью; оклеветанный всѣми органами всѣхъ реакцій отъ папскаго и императорскаго *Монитера* до

*) *Пол. Зв.* Томъ VI (1861).

либеральныхъ кастратовъ Кавура и великаго Евнуха лондонскихъ мѣнялъ *Теймса* (который не можетъ назвать имени Маццини, не прибавивъ площадной брани). — Онъ остался не только... „неколебимъ предъ общимъ заблужденьемъ“... но благословляющимъ съ радостью и восторгомъ враговъ и друзей, исполнявшихъ *его* мысль, *его* планъ. Указывая на него, какъ на какого-то Аббадонну —

Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сѣдиною...

... Но возлѣ него стоялъ не Кутузовъ, а Гарибальди. Въ лицѣ своего героя, своего освободителя Италія не разрывалась съ Маццини. Какъ же Гарибальди не отдалъ ему полвѣнка своего? зачѣмъ не признался, что идетъ съ нимъ рука въ руку? зачѣмъ оставленный тріумвиръ римскій не предъявилъ своихъ правъ? зачѣмъ онъ самъ просилъ не поминать его, и зачѣмъ народный вождь, чистый, какъ отрокъ, молчалъ и лгалъ разрывъ?

Обоимъ было что-то дороже ихъ личностей, ихъ имени, ихъ славы—*Италія!*

И пошлая современность ихъ не поняла. У ней не хватало емкости, на столько величія; бухгалтерской книги ихъ не достало до того, чтобъ подвести итогъ такихъ credit и debit!

Гарибальди сдѣлался еще больше „лицомъ изъ Корнелія Непота“; онъ такъ антично великъ въ своемъ хуторѣ, такъ простодушно, такъ чисто великъ, какъ описаніе Гомера, какъ греческая статуя. Нигдѣ ни риторики, ни декорацій, ни дипломацій — въ эпопеѣ онѣ были ненужны; когда она кончилась и началось продолженіе календаря, тогда король отпустилъ его, какъ отпускаютъ довезшаго ямщика, и сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголялъ Ав-

стрію колосальной неблагодарностью; а Гарибальди и не разсердился, онъ, улыбаясь, съ пятидесятью скудами въ карманѣ, вышелъ изъ дворцовъ странъ покоренныхъ имъ, предоставляя дворовымъ усчитывать его расходы и разсуждать о томъ, что онъ испортилъ шкуру медвѣдя. Пускай себѣ тѣшатся, половина великаго дѣла сдѣлана—лишь бы Италію сколотить въ одно и прогнать бѣлыхъ кретиновъ.

Были минуты тяжелыя для Гарибальди. Онъ увлекается людьми; какъ онъ увлекся А. Дюма, такъ увлекается Викторомъ Еманоиломъ; неделикатность короля огорчаетъ его; король это знаетъ и, чтобъ задобрить его, посылаетъ фазановъ собственноручно убитыхъ. цвѣты изъ своего сада и любовныя записки, подписанныя: sempre il tuo amico Vittorio.

Для Мацціни люди не существуютъ, для него существуетъ *дѣло*, и притомъ *одно дѣло;* онъ самъ существуетъ, „живетъ и движется“ только въ немъ. Сколько ни посылай ему король фазановъ и цвѣтовъ, онъ его не тронетъ. Но онъ сейчасъ соединится не только съ нимъ, котораго онъ считаетъ за добраго, но пустаго человѣка, но съ его маленькимъ Талейраномъ, котораго онъ вовсе не считаетъ ни за добраго, ни за порядочнаго человѣка. Мацціни аскетъ, Кальвинъ. Прочнда итальянскаго освобожденія. Односторонній, вѣчно занятый одной идеей, вѣчно на стражѣ и готовый, Мацціни съ тѣмъ упорствомъ и терпѣніемъ, съ которымъ онъ создалъ, изъ разбросанныхъ людей и неясныхъ стремленій, плотную партію, и послѣ десяти неудачъ, вызвалъ Гарибальди и его войско полусвободной Италіи и живую, непреложную надежду на ея единство—Мацціни не спитъ. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видятъ худую, печаль-

ную руку Маццини, указывающую на Римъ, и они еще пойдутъ туда!

Я дурно сдѣлалъ, что выпустилъ, въ напечатанномъ отрывкѣ, нѣсколько страницъ объ Маццини; его усѣченная фигура вышла не такъ ясно, я остановился именно на его размолвкѣ съ Гарибальди въ 1854, и на моемъ разномыслiи съ нимъ. Сдѣлано было это мною изъ деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О такихъ людяхъ нечего умалчивать, *ихъ щадить нечего!*

Послѣ своего возвращенiя изъ Неаполя, онъ написалъ мнѣ записку; я поспѣшилъ къ нему, сердце щемило, когда я его увидѣлъ, я все же ждалъ найти его грустнымъ, оскорбленнымъ въ своей любви, положенiе его было въ высшей степени трагическое; я дѣйствительно его нашелъ тѣлесно состарившимся и помолодѣлымъ душей; онъ бросился ко мнѣ, по обыкновенiю протягивая обѣ руки, съ словами: „и такъ, наконецъ-то сбывается!“... въ его глазахъ былъ восторгъ и голосъ дрожалъ.

Онъ весь вечеръ разсказывалъ мнѣ о времени, предшествовавшемъ экспедицiи въ Сицилiю, о своихъ сношенiяхъ съ Викторомъ Еманyиломъ, потомъ о Неаполѣ. Въ увлеченiи, въ любви, со которыми онъ говорилъ о побѣдахъ, о подвигахъ Гарибальди, было столько же дружбы къ нему, какъ въ его брани за довѣрчивость и за неумѣнье распознавать людей.

Слушая его, я хотѣлъ поймать одну ноту, одинъ звукъ обиженнаго самолюбiя, и не поймалъ; ему грустно, но грустно, какъ матери, оставленной на время возлюбленнымъ сыномъ, она знаетъ, что сынъ воротится, и знаетъ больше этого, что сынъ счастливъ: это покрываетъ все для нея!

Маццини исполненъ надеждъ, съ Гарибальди онъ ближе, чѣмъ когда нибудь. Онъ съ улыбкой разсказывалъ, какъ толпы Неаполитанцевъ, подбитыя агентами Кавура, окружили его домъ съ криками: „Смерть Маццини!“ Ихъ, между прочимъ, увѣрили, что Маццини „бурбонскій республиканецъ.“ „У меня въ это время было нѣсколько человѣкъ нашихъ и одинъ молодой русскій, онъ удивлялся, что мы продолжали прежній разговоръ: Вы не опасайтесь, сказалъ я ему въ успокоеніе, *они меня не убьютъ, они только кричатъ!*“

Нѣтъ, такихъ людей нечего щадить!

31 Января 1861.

ГЛАВА III.

Эмиграціи въ Лондонѣ—Нѣмцы, Французы—Партіи—В. Гюго — Феликсъ Пья — Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.

Сидѣхомъ и плакахомъ на берегахъ вавилонскихъ...
Псалтырь.

Еслибъ кто нибудь вздумалъ написать, со стороны, внутреннюю исторію политическихъ выходцевъ и изгнанниковъ съ 1848 года въ Лондонѣ, какую печальную страницу прибавилъ бы онъ къ сказаніямъ о современномъ человѣкѣ. Сколько страданій, сколько лишеній, слезъ... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бѣдность умственныхъ силъ, запасовъ, пониманія, какое упорство въ раздорѣ и мелкость въ самолюбіи...

Съ одной стороны люди простые, инстинктомъ и сердцемъ понявшіе дѣло революціи и приносящіе ему нап-

большую жертву, которую человѣкъ можетъ принести —добровольную нищету, составляютъ небольшую кучку праведниковъ. Съ другой, эти худо прикрытыя, затаенныя самолюбія, для которыхъ революція была служба, posiiion sociale, и которые сорвались въ эмиграцію, не достигнувъ мѣста; потомъ всякіе фанатики, мономаны всѣхъ мономаній, сумашедшіе всѣхъ сумашествій; въ силу этого нервнаго, нанянутаго, раздраженнаго состоянія — верченіе столовъ надѣлало въ эмиграціи страшное количество жертвъ; кто не вертѣлъ столовъ —отъ Виктора Гюго и Ледрю Роллена до Квирика Филопанти, который пошелъ дальше... и узнавалъ все, что человѣкъ дѣлалъ лѣтъ тысячу тому назадъ?...

Притомъ ни шагу впередъ. Они, какъ придворные версальскіе часы, показываютъ одинъ часъ, часъ, въ который умеръ король... и ихъ, какъ версальскіе часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показываютъ одно событіе, одну кончину какого нибудь событія. Объ немъ говорятъ, объ немъ думаютъ, къ нему возвращаются. Встрѣчая тѣхъ же людей, тѣ же группы,—мѣсяцевъ черезъ пять-шесть, года черезъ два-три, становится страшно—тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщинъ, нарѣзанныхъ нищетою, лишеніями — больше; сертуки, пальто—вытерлись; больше сѣдыхъ волосъ, и все вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... а рѣчи все тѣ же и тѣ же!

Революція у нихъ остается, какъ въ девяностыхъ годахъ, метафизикой общественнаго быта, но тогдашней наивной страсти къ борьбѣ, которая давала рѣзкій колоритъ самымъ тощимъ всеобщностямъ и тѣло сухимъ линіямъ, ихъ политическаго сруба—у нихъ нѣтъ и не можетъ быть; всеобщности и отвлеченныя понятія то-

гда были радостной новостью, откровеніемъ. Въ концѣ XVIII столѣтія люди въ первый разъ, не въ книгѣ, а на самомъ дѣлѣ начали освобождаться отъ роковаго, таинственно-тяготѣвшаго міра теологической исторіи и пытались весь гражданскій бытъ, выросшій помимо сознанія и воли, основать на сознательномъ пониманіи. Въ попыткѣ *разумнаго* государства, какъ въ попыткѣ религіи *разума*, была въ 1793 могучая, титаническая поэзія, которая принесла свое, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, вывѣтрилась и оскудѣла въ послѣдніе шестдесятъ лѣтъ. Наши наслѣдники титановъ этого не замѣчаютъ. Они, какъ монахи аѳонской горы, которые занимаются своимъ, ведутъ тѣ же рѣчи, которыя вели во время Златоуста и продолжаютъ жизнь, давно задвинутую турецкимъ владычествомъ, которое само ужъ приходитъ къ концу... собираясь въ извѣстные дни поминать извѣстныя событія, въ томъ же порядкѣ, съ тѣми же молитвами.

Другой тормазъ, останавливающій эмиграціи, состоитъ въ отстаиваніи себя другъ противъ друга; это страшно убиваетъ внутреннюю работу и всякій добросовѣстный трудъ. Объективной цѣли у нихъ нѣтъ, всѣ партіи упрямо консервативны, движеніе впередъ имъ кажется слабостью, чуть не бѣгствомъ; сталъ подъ знамя, такъ стой подъ нимъ, хотя бы со временемъ и разглядѣлъ, что цвѣта не совсѣмъ такіе, какъ казались.

Такъ идутъ годы — исподволь все мѣняется около нихъ. Тамъ, гдѣ были сугробы снѣга — ростетъ трава, вмѣсто кустарника—лѣсъ, вмѣсто лѣса — одни пни..... они ничего не замѣчаютъ. Нѣкоторые выходы совсѣмъ обвалились и засыпались, они въ нихъ - то и стучатъ; новыя щели открылись; свѣтъ изъ нихъ такъ и врывается полосами, но они смотрятъ въ другую сторону.

Отношенія, сложившіяся между разными эмиграціями и англичанами, могли бы сами по себѣ дать удивительные факты о химическомъ сродствѣ разныхъ народностей.

Англійская жизнь сначала ослѣпляетъ нѣмцевъ, подавляетъ ихъ, потомъ поглощаетъ, или, лучше сказать, распускаетъ ихъ въ плохихъ англичанъ. Нѣмецъ, по большей части, если предпринимаетъ какое нибудь дѣло, тотчасъ брѣется, поднимаетъ воротнички рубашки до ушей, говоритъ yes, вмѣсто ja и well тамъ, гдѣ ничего не надобно говорить. Года черезъ два онъ пишетъ по англійски письма и записки и живетъ совершенно въ англійскомъ кругу. Съ англичанами нѣмцы никогда не обходятся, какъ съ равными, а какъ наши мѣщане съ чиновниками и наши чиновники съ столбовыми дворянами.

Входя въ англійскую жизнь, нѣмцы не въ самомъ дѣлѣ дѣлаются англичанами, но притворяются ими и долею перестаютъ быть нѣмцами. Англичане въ своихъ сношеніяхъ съ иностранцами такіе же капризники, какъ во всемъ другомъ; они бросаются на пріѣзжаго, какъ на комедіанта или акробата, не даютъ ему покоя, но едва скрываютъ чувство своего превосходства и даже нѣкотораго отвращенія къ нему. Если пріѣзжій удерживаетъ свой костюмъ, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанинъ шпыняетъ надъ нимъ, но мало по малу привыкаетъ въ немъ видѣть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранецъ начинаетъ подлаживаться подъ его манеры, онъ не уважаетъ его и снисходительно трактуетъ его съ высоты своей британской надменности. Тутъ и съ большимъ тактомъ трудно найтиться иной разъ, чтобъ не согрѣшить по минусу или по плюсу; можно же себѣ пред-

ставить, что дѣлаютъ нѣмцы, лишенные всякаго такта, фамильярные и подобострастные, слишкомъ вычурные и слишкомъ простые, сентиментальные безъ причины и грубые безъ вызова.

Но если нѣмцы смотрятъ на англичанъ, какъ на высшее племя того же рода и чувствуютъ себя ниже ихъ, то изъ этого не слѣдуетъ никакъ, чтобы отношеніе французовъ и преимущественно французскихъ рефюжье было умнѣе. Такъ какъ нѣмецъ все безъ разбору уважаетъ въ Англіи, французъ протестуетъ противъ всего и ненавидитъ все англійское. Это доходитъ, само собой разумѣется, до уродливости самой комической.

Французъ, во первыхъ, не можетъ простить англичанамъ, что они не говорятъ по французски; во вторыхъ, что они не понимаютъ, когда онъ Чарингъ-Кросъ называетъ *Шаранкро* или Лестеръ-скверъ—*Лесестеръ-скуаръ*. Далѣе его желудокъ не можетъ переварить, что въ Англіи обѣдъ состоитъ изъ двухъ огромныхъ кусковъ мяса и рыбы, а не изъ пяти маленькихъ порцій всякихъ рагу, фритюръ, салми и пр. Затѣмъ онъ не можетъ примириться съ „рабствомъ,“ по которому трактиры заперты въ воскресенье и весь народъ *скучаетъ богу*, хотя вся Франція семь дней въ недѣлю *скучаетъ Бонапарту*. Затѣмъ весь habitus, все хорошее и дурное въ англичанинѣ ненавистно французу. Англичанинъ платитъ ему той же монетой, но съ завистію смотритъ на покрой его одежды и каррикатурно старается подражать ему.

Все это очень замѣчательно для изученія сравнительной физіологіи, и я совсѣмъ не для смѣха разсказываю это. Нѣмецъ, какъ мы замѣтили, сознаетъ себя, по крайней мѣрѣ, въ гражданскомъ отношеніи нисшимъ видомъ той же породы, къ которой принадлежитъ англичанинъ,

и подчиняется ему. Французъ, принадлежащій къ другой породѣ не настолько различной, чтобы быть равнодушнымъ, какъ турокъ къ китайцу, ненавидитъ англичанина, особенно потому, что оба народа слѣпо убѣждены каждый о себѣ, что они представляютъ первый народъ въ мірѣ. И нѣмецъ внутри себя въ этомъ увѣренъ, особенно auf dem theoretischen Gebite, но стыдится признаться.

Французъ дѣйствительно во всемъ противуположенъ англичанину; англичанинъ существо берложное, любящее жить особнякомъ, упрямое и непокорное, французъ — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно паралельныя развитія, между которыми Ла-Маншъ. Французъ постоянно предупреждаетъ, во все мѣшается, всѣхъ воспитываетъ, всему поучаетъ; англичанинъ выжидаетъ, вовсе не мѣшается въ чужія дѣла и былъ бы готовъ скорѣе поучиться, нежели учить, но времени нѣтъ, въ лавку надо.

Два краеугольныхъ камня всего англійскаго быта: личная независимость и родовая традиція, для француза почти не существуютъ. Грубость англійскихъ нравовъ выводитъ француза изъ себя, и она дѣйствительно противна и отравляетъ лондонскую жизнь, но за ней онъ не видитъ той суровой мощи, которою народъ этотъ отстоялъ свои права; того упрямства, вслѣдствіе котораго изъ англичанина можно все сдѣлать, льстя его страстямъ — но не раба, веселящагося галунами своей ливреи, восхищающагося своими цѣпями, обвитыми лаврами.

Французу такъ дикъ, такъ непонятенъ міръ самоуправленія, децентрализаціи, своебычно, капризно разросшійся, что онъ, какъ долго ни живетъ въ Англіи, ея политической и гражданской жизни, ея правъ и судо-

производства не знаетъ. Онъ теряется въ неспѣтомъ разноначаліи англійскихъ законовъ, какъ въ темномъ бору, и совсѣмъ не замѣчаетъ, какіе огромные и величавые дубы составляютъ его и сколько прелести, поэзіи, смысла въ самомъ разнообразіи. То ли дѣло маленькой кодексъ съ посыпанными дорожками, съ подстриженными деревцами и съ полицейскими садовниками на каждой аллеѣ.

Опять Шекспиръ и Расинъ.

Видитъ ли французъ пьяныхъ, дерущихся у кабака и полисмена, смотрящаго съ спокойствіемъ посторонняго и любопытствомъ человѣка слѣдящаго за пѣтушинымъ боемъ, онъ приходитъ въ неистовство, за чѣмъ полисменъ не выходитъ изъ себя, за чѣмъ не ведетъ кого нибудь au violon. Онъ и не думаетъ о томъ, что личная свобода только и возможна, когда полицейскій не имѣетъ власти отца и матери и когда его вмѣшательство сводится на страдательную готовность — до тѣхъ поръ, пока его позовутъ. Увѣренность, которую чувствуетъ каждый бѣднякъ, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, измѣняетъ взглядъ человѣка. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами, иногда прячется преступникъ, — пускай себѣ. Гораздо лучше, чтобъ ловкій воръ остался безъ наказанія, нежели чтобъ каждый честный человѣкъ дрожалъ какъ воръ у себя въ комнатѣ. До моего пріѣзда въ Англію всякое появленіе полицейскаго въ домѣ, въ которомъ я жилъ, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde противъ врага. Въ Англіи полицейскій у дверей и въ дверяхъ только прибавляетъ какое-то чувство безопасности.

Въ 1855, когда Жерсейскій губернаторъ, пользуясь

особымъ *безправіемъ* своего острова, поднялъ гоненіе на журналъ — „L'homme“ за письмо Ф. Пья къ королевѣ, и не смѣя вести дѣло судебнымъ порядкомъ, велѣлъ В. Гюго и другимъ рефюжье протестовавшимъ въ пользу журнала, оставить Жерсей, — здравый смыслъ и всѣ оппозиціонные журналы говорили имъ, что губернаторъ перешелъ власти, что имъ слѣдуетъ остаться и сдѣлать процессъ ему. „Daily News“ обѣщалъ съ другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и какъ „будто возможно выиграть процессъ противъ правительства“. Они напечатали новый грозный протестъ, грозили губернатору судомъ исторіи — и гордо отступили въ Гернсей.

Разскажу одинъ примѣръ французскаго пониманія англійскихъ нравовъ. Однажды вечеромъ прибѣгаетъ ко мнѣ одинъ рефюжье и послѣ цѣлаго ряда ругательствъ противъ Англіи и англичанъ разсказываетъ мнѣ слѣдующую „чудовищную“ исторію.

Французская эмиграція въ то утро хоронила одного изъ своихъ собратьевъ. Надо сказать, что въ томной и скучной жизни изгнанія, похороны товарища почти принимаются за праздникъ,—случай сказать рѣчь, пронести свои знамена, собраться вмѣстѣ, пройтись по улицамъ, отмѣтить кто былъ и кто не былъ, а потому демократическая эмиграція отправилась au grand complet. На кладбищѣ явился англійскій пасторъ съ молитвенникомъ. Пріятель мой замѣтилъ ему, что покойникъ не былъ христіанинъ, и что въ силу этого ему не нужна его молитва. Пасторъ педантъ и лицемѣръ, какъ всѣ англійскіе пасторы, съ притворнымъ смиреніемъ и національной флегмой, отвѣчалъ: „Что можетъ покойнику и не нужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать каждаго умершаго молитвой на по-

слѣднее жилище его.“ Завязался споръ, и такъ какъ французы стали горячиться и кричать, упрямый пасторъ позвалъ полицейскихъ.

— Allonc donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée liberté! — прибавилъ главный актеръ этой сцены, послѣ покойника и пастора.

— Ну что же сдѣлала, спросилъ я, la force brutale au service du noir fanatisme?

— Пришли четыре полицейскихъ, et le chef de la bande спрашиваетъ: Кто говорилъ съ пасторомъ?

— Я прямо вышелъ впередъ —и, разсказывая, мой пріятель, обѣдавшій со мною, смотрѣлъ такъ, какъ нѣкогда смотрѣлъ Леонидъ отправляясь ужинать съ богами, — c'est moi «Monsieur», car je me garde bien de dire «citoyen»*) à ces gueux-là. — Тогда le chef des sbirres съ величайшей дерзостью сказалъ мнѣ: „Переведите другимъ, чтобъ они не шумѣли, хороните вашего товарища и ступайте по домамъ. А если вы будете

*) Въ поясненіе того, что мой красный пріятель употреблялъ въ разговорѣ съ полисменомъ слово „Monsieur“, чтобы не употреблять во зло слово „Citoyen“ — надо вотъ что разсказать. Въ одной изъ темныхъ, бѣдныхъ и нечистыхъ улицъ, лежащихъ между Сого и Лестеръ Скверомъ, гдѣ обыкновенно кочуетъ недостаточная часть эмиграціи, завелъ какой-то красный ликвористъ небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашелъ къ нему взять седативной воды. За прилавкомъ сидѣлъ онъ самъ; высокій, съ грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большимъ носомъ и ртомъ нѣсколько на сторону. Настоящій уѣздный террористъ 94 года, къ тому же и бритый. — „Распалевой воды на 6 пенсовъ. Monsieur“, сказалъ я. Онъ отвѣшивалъ какую-то траву, за которой пришла дѣвочка, не обращая никакого вниманія на мой вопросъ: я могъ досыта налюбоваться этимъ Collot d'Herbois, пока онъ наконецъ припечаталъ сургучемъ уголки бумажнаго пакета, надписалъ и потомъ довольно строго обратился ко мнѣ съ plait-il? — Распалевой воды на 6 пенсовъ, повторилъ я, Monsieur. Онъ посмотрѣлъ на меня съ какимъ-то свирѣпымъ выраженіемъ и, оглядѣвъ съ головы до ногъ, важнымъ и густымъ голосомъ сказалъ мнѣ: „Citoyen, s'il vous plait!“

шумѣть, я васъ всѣхъ велю отсюда вывести.“ — Я посмотрѣлъ на него, снявъ съ себя шляпу и громко что есть силы прокричалъ: Vive la République démocratique et sociale!

Едва удерживая смѣхъ, я спросилъ его: Что же сдѣлалъ „начальникъ сбировъ“?

— Ничего — съ самодовольной гордостью замѣтилъ французъ. — Онъ переглянулся съ товарищами, прибавилъ: „Ну дѣлайте, дѣлайте ваше дѣло!“ и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имѣютъ дѣло не съ англійской чернью... у нихъ тонкій носъ!

Что то происходило въ душѣ серьезнаго, плотнаго и вѣроятно выпившаго констабля во время этой выходки? Пріятель и не подумалъ о томъ, что онъ могъ себѣ доставить удовольствіе прокричать то же самое передъ окнами королевы у рѣшетки Букингамскаго дворца, безъ малѣйшаго неудобства. Но еще замѣчательнѣе, что ни мой пріятель, ни всѣ прочіе французы, при такомъ происшествіи и не думаютъ, что за подобную продѣлку во Франціи они бы пошли въ Каену или Ламбессу. Если же имъ это напомнишь, то отвѣтъ ихъ готовъ: A bas! C'est une halte dans la- boue... ce n'est pas normal!

А когда же у нихъ свобода была нормальна?

Антагонизмъ нѣкогда выражавшійся *возможнымъ* Мартиномъ Лютеромъ и *послѣдовательнымъ* Томасомъ Мюнцеромъ, лежитъ какъ семенныя доли при каждомъ зернѣ; логическое развитіе, расчлененіе всякой партіи непремѣнно дойдетъ до обнаруженія его. Мы его равно находимъ въ *трехъ* невозможныхъ Гракхахъ, т. е. счи-

тая тутъ же и Гракха Бабефа, и въ слишкомъ возможныхъ Суллахъ и Сулукахъ всѣхъ цвѣтовъ. Возможна одна діагональ, возможенъ компромисъ, стертое, среднее и потому соотвѣтствующее всему среднему: сословію, богатству, пониманью. Изъ Лиги и Гугенотовъ—дѣлается Генрихъ IV, изъ Стуартовъ и Кромвеля — Вильгельмъ Оранскій, изъ революціи и легитимизма — Людовикъ Филиппъ. Послѣ него антагонизмъ сталъ между возможной республикой и послѣдовательной; возможную назвали *демократической*, послѣдовательную *соціальной* — изъ ихъ столкновенія вышла имперія, но партіи остались.

Несговорчивыя крайности очутились въ Каенѣ, Ламбесѣ, Бель-Илѣ, и долею за французской границей, преимущественно въ Англіи.

Какъ только они въ Лондонѣ перевели духъ и глазъ ихъ привыкъ различать предметы въ туманѣ, старый споръ возобновился съ особенной нетерпимостью эмиграціи, съ мрачнымъ характеромъ Лондонскаго климата.

Предсѣдатель Люксамбургской коммиссіи былъ, de jure, главное лице между соціалистами въ Лондонской эмиграціи. Представитель организаціи работъ и эгалитарныхъ работничьихъ обществъ, онъ былъ любимъ работниками; строгій по жизни, неукоризненной чистоты въ мнѣніяхъ, вѣчно работающій самъ, sobre, мастеръ говорить, популярный безъ фамильярности, смѣлый и вмѣстѣ осторожный, онъ имѣлъ всѣ средства, чтобъ дѣйствовать на массу.

Съ другой стороны, Ледрю-Ролленъ представлялъ религіозную традицію 93 года, для него слова *республика* и *демократія* обнимали все: насыщеніе голодныхъ, право на работу, освобожденіе Польши, сокрушеніе Николая, братство народовъ, паденіе папы. Работниковъ бы-

ло меньше около него, его хоръ состоялъ изъ capacités — то есть изъ адвокатовъ, журналистовъ, учителей, клубистовъ и пр.

Двойство этихъ партій ясно, и именно по этому я никогда не умѣлъ понять, какъ Маццини и Луи Бланъ объясняли свое окончательное распаденіе, частными столкновеніями. Разрывъ лежалъ въ самой глубинѣ ихъ воззрѣнія, въ задачѣ ихъ. Имъ вмѣстѣ нельзя было идти, но можетъ ненужно было и ссориться публично.

Дѣло соціализма и итальянское дѣло различались такъ сказать чередомъ или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономическаго устройства въ Италіи. Тоже мы видѣли въ Польшѣ 1831, въ Венгріи 1848. Но тутъ нѣтъ мѣста полемики, это скорѣе вопросъ о хронологическомъ раздѣленіи труда, чѣмъ о взаимномъ уничтоженіи. Соціальныя теоріи мѣшали прямому, сосредоточенному дѣйствію Маццини, мѣшали военной организаціи, которая для Италіи была необходима; за это онъ сердился не соображая, что для французовъ такая организація только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью, и итальянской кровью, онъ напалъ на соціалистовъ и въ особенности на Луи Блана, въ небольшой брошюркѣ оскорбительной и ненужной. По дорогѣ зацѣпилъ онъ и другихъ, такъ напримѣръ называетъ Прудона „демономъ“... Прудонъ хотѣлъ ему отвѣчать, но ограничился только тѣмъ, что въ слѣдующей брошюркѣ назвалъ Маццини „архангеломъ“. Я раза два говорилъ шутя Маццини: Ne reveillez pas le chat qui dort, а то съ такими бойцами трудно выйти безъ сильныхъ рубцовъ. Лондонскіе соціалисты отвѣчали ему тоже желчно, съ ненужными личностями и дерзкими выраженіями.

Другаго рода вражда и вражда больше основатель-

ная была между французами двухъ революціонныхъ толковъ. Всѣ опыты соглашенія формальнаго республиканизма съ соціализмомъ были неудачны, и дѣлали только очевиднѣе неоткровенность уступокъ и непримиримый раздоръ; черезъ ровъ ихъ раздѣлявшій ловкій акробатъ бросилъ свою доску и провозгласилъ себя на ней императоромъ.

Провозглашеніе имперіи было гальваническимъ ударомъ, судорожно вздрогнули сердца эмигрантовъ и ослабли.

Это былъ печальный, тоскливый взглядъ больнаго, убѣдившагося, что ему не встать безъ костылей. Усталь, скрытная безнадежность стала овладѣвать тѣми и другими. Серьезная полемика начинала блѣднѣть, сводиться на личности, на упреки, обвиненія.

Еще года два оба французскіе стана продержались въ агресивной готовности, одинъ празднуя 24 Февраля, другой Іюльскіе дни. Но къ началу крымской войны, и къ торжественной прогулкѣ Наполеона съ королевой Викторіей по Лондону — безсиліе эмиграціи стало очевидно. Самъ начальникъ лондонской Metropolitan-Police Робертъ Менъ засвидѣтельствовалъ это. Когда консерваторы благодарили его послѣ посѣщенія Наполеона, за ловкія мѣры, которыми онъ предупредилъ всякую демонстрацію со стороны эмигрантовъ, онъ отвѣчалъ: „*Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана*“.

Признакъ еще больше намекавшій на близкую кончину обнаружился около того же времени въ подраздѣленіяхъ партій во ими лицъ или личностей, безъ серьезныхъ причинъ.

Партіи эти составлялись такъ, какъ у насъ выдумываютъ министерства или главныя управленія, для по-

мѣщенія какого нибудь лишняго сановника; такъ какъ иногда композиторы придумываютъ въ операхъ партіи для Гризи и Лаблаша не потому, чтобъ эти партіи были необходимы, а потому что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

... *Они* просидѣли до поздней ночи, вспоминая о 1848 годѣ; когда я проводилъ ихъ на улицу и возвратился одинъ въ мою комнату, мною овладѣла безконечная грусть, я сѣлъ за свой письменный столъ и готовъ былъ плакать...

Я чувствовалъ то, что долженъ ощущать сынъ, возвращаясь послѣ долгой разлуки въ родительскій домъ; онъ видитъ, какъ въ немъ все почернѣло, покривилось, отецъ его постарѣлъ, не замѣчая того, сынъ очень замѣчаетъ и ему тѣсно, онъ чувствуетъ близость гроба, скрываетъ это, но свиданье не оживляетъ его, не радуетъ, а утомляетъ.

Барбесъ, *Луи Блант!* вѣдь это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. Histoire de dix ans. процессъ Барбеса передъ камерой перовъ, все это такъ давно обжилось въ головѣ, въ сердцѣ, совсѣмъ съ этимъ мы такъ сроднились — и вотъ они на лицо.

Самые злые враги ихъ никогда не осмѣливались заподозрѣть неподкупную честность Луи Блана или набросить тѣнь на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоихъ всѣ видѣли, знали во всѣхъ положеніяхъ, у нихъ не было частной жизни, не было закрытыхъ дверей. Одного изъ нихъ мы видѣли членомъ правительства, другаго за полчаса до гильотины. Въ ночь передъ казнію Барбесъ не спалъ, а спросилъ бумаги и сталъ писать;

строки эти сохранились, я ихъ читалъ. Въ нихъ есть французскій идеализмъ, религіозныя мечты, но ни тѣни слабости; его духъ не смутился, не унылъ; съ яснымъ сознаніемъ приготовлялся онъ положить голову на плаху и покойно писалъ, когда рука тюремщика сильно стукнула въ дверь, „это было на разсвѣтѣ, я (и это онъ мнѣ разсказалъ самъ) ждалъ исполнителей," но вмѣсто палачей, взошла его сестра, и бросилась къ нему на шею. Она выпросила безъ его вѣдома у Людовика Филиппа перемѣну наказанія, и скакала на почтовыхъ всю ночь, чтобъ успѣть.

Колодникъ Людвика Филиппа, черезъ нѣсколько лѣтъ является на верху цивическаго торжества, цѣпи сняты ликующимъ народомъ, его везутъ въ тріумфѣ по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, онъ явился первымъ обвинителемъ временнаго правительства за руанскія убійства. Реакція росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой и Барбесъ 15 Мая сдѣлалъ то, чего не дѣлали, ни Ледрю Ролленъ, ни Луи Бланъ, чего испугался Косидьеръ! Coup d'état не удался, и Барбесъ, колодникъ республики, снова передъ судомъ. Онъ въ Буржѣ также какъ въ камерѣ перовъ говоритъ законникамъ мѣщанскаго міра, какъ говорилъ грѣшному старцу Пакье: „Я васъ не признаю за судей, вы враги мои, я вашъ военноплѣнный, дѣлайте со мною что хотите, но судьями я васъ не признаю". И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за нимъ.

Случайно, противъ своей воли, вышелъ онъ изъ тюрьмы; Наполеонъ его вытолкнулъ изъ нея почти въ насмѣшку, прочитавъ во время крымской войны письмо Барбеса, въ которомъ онъ, въ припадкѣ гальскаго шовинизма, говоритъ о военной славѣ Франціи. Барбесъ

удалился было въ Испанію, перепуганное и тупое правительство выслало его. Онъ уѣхалъ въ Голландію, и тамъ нашелъ покойное, глухое убѣжище.

И вотъ этотъ-то герой и мученикъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ главныхъ дѣятелей Февральской республики, съ первымъ государственнымъ человѣкомъ соціализма, вспоминали и обсуживали прошедшіе дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска, я съ несчастной ясностью видѣлъ, что они тоже принадлежатъ исторіи *другаю десятилѣтія*, которая окончена до послѣдняго листа, до переплета!

Окончена не для нихъ лично, а для всей эмиграціи, и для всѣхъ теперешнихъ политическихъ партій. Живыя и шумныя десять, даже пять лѣтъ тому назадъ, онѣ вышли и русла изъ теряются въ пескѣ, воображая, что все текутъ въ океанъ. У нихъ нѣтъ больше ни тѣхъ словъ, которыя какъ слово: республика, пробуждали цѣлые народы. ни тѣхъ пѣсенъ, какъ Марсельеза, которыя заставляли содрогаться каждое сердце. У нихъ и враги не той же величины, и не той же пробы: нѣтъ ни сѣдыхъ феодальныхъ привиллегій короны, съ которыми бы было трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы, скатываясь съ эшафота, уносила съ собой цѣлую государственную организацію. Казните Наполеона, изъ этого не будетъ 21 Января; разберите по камнямъ Мазасъ, изъ этого не выйдетъ взятія Бастиліи! *Тогда*, въ этихъ громахъ и молніяхъ, раскрывалось новое откровеніе, откровеніе государства, основаннаго на разумѣ, новое искупленіе изъ средневѣковаго мрачнаго рабства. Съ тѣхъ поръ искупленіе революціей обличилось несостоятельнымъ, на разумѣ государство не устроилось. Политическая реформація выродилась,

какъ и религіозная, въ риторическое пустословіе, охраняемое слабостью однихъ и лицемѣріемъ другихъ. Марсельеза остается святымъ гимномъ, но гимномъ прошедшаго, какъ Gottes feste Burg, звуки той и другой пѣсни вызываютъ и теперь рядъ величественныхъ образовъ, какъ въ Макбетовскомъ процессѣ тѣней — все цари, но все мертвые.

Послѣдній едва еще виденъ въ спину, а объ новомъ только слухи. Мы въ *междуцарствіи*; пока до наслѣдника, полиція все захватила, во имя наружнаго порядка. Тутъ не можетъ быть и рѣчи о правахъ, это временныя необходимости, это lynch law въ исторіи, экзекуція, оцѣпленіе, карантинная мѣра. Новый порядокъ, совмѣстившій все тяжкое монархіи, и все свирѣпое якобинизма, огражденъ не идеями, не предразсудками, а страхами и неизвѣстностями. Пока одни боялись, другіе ставили штыки и занимали мѣста. Первый кто прорветъ ихъ цѣпь, пожалуй и займетъ главное мѣсто, занятое полиціей, только онъ и самъ сдѣлается сейчасъ квартальнымъ.

Это напоминаетъ намъ, какъ Косидьеръ вечеромъ 24 Февраля пришелъ въ префектуру съ ружьемъ въ рукѣ, сѣлъ въ кресла, только что бѣжавшаго Делесера, позвалъ секретаря, сказалъ ему, что онъ назначенъ префектомъ и велѣлъ подать бумаги. Секретарь также почтительно улыбнулся какъ Делесеру, также почтительно поклонился и пошелъ за бумагами, и бумаги пошли своимъ чередомъ, ничего не перемѣнилось, только ужинъ Делесера съѣлъ Косидьеръ.

Многіе узнали пароль префектуры, но лозунга исторіи не знаютъ. Они, когда было время, поступили точно такъ какъ Александръ I. Они хотѣли чтобъ старому

порядку былъ нанесенъ ударъ, но не смертельный; а Беннигсгена или Зубова у нихъ не было.

И вотъ почему, если они снова сойдутъ на арену, они ужаснутся *людской неблагодарности*, и пусть остануться при этой мысли, пусть думаютъ, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многихъ другихъ.

А еще лучше имъ вовсе не ходить туда, пусть они намъ и нашимъ дѣтямъ повѣствуютъ о своихъ великихъ дѣлахъ. Сердиться за этотъ совѣтъ нечего, живое мѣняется, неизмѣнное становится памятникомъ. Они оставили свою бразду, такъ какъ свою оставятъ за ними идущіе, и ихъ обгонитъ въ свою очередь свѣжая волна, а потомъ все бразды... живое и памятники, все покроетъя всеобщей амнистіей вѣчнаго забвенія!

На меня сердятся многіе за то, что я высказываю эти вещи. „Въ вашихъ словахъ, говорилъ мнѣ очень почтенный человѣкъ, такъ и слышится *постороннiй зритель*“.

А вѣдь я не постороннимъ пришелъ въ Европу. Посторонним я сдѣлался. Я очень выносливъ, но выбился наконецъ изъ силъ.

Я пять лѣтъ не видалъ свѣтлаго лица, не слыхалъ простаго смѣха, понимающаго взгляда. Все фельдшеры были возлѣ, да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить, прозекторы все указывали имъ по трупу, что они ошиблись — ну и я наконецъ схватилъ скалпель; можетъ рѣзнулъ слишкомъ глубоко съ непривычки.

Говорилъ я не какъ посторонній, не для упрека, говорилъ оттого, что сердце было полно, оттого что общее непониманье выводило изъ терпѣнія. Что я раньше отрезвѣлъ, это мнѣ ничего не облегчило. Это и изъ фельдшеровъ только самые плохіе самодовольно улыба-

ются глядя на умирающаго. „Вотъ молъ я сказалъ, что онъ къ вечеру протянетъ ноги, онъ и протянулъ“.

Такъ зачѣмъ же я вынесъ?

Въ 1856 году, лучшій изъ всей нѣмецкой эмиграціи человѣкъ, *Карлъ Шурцъ*, пріѣзжалъ изъ Висконсина въ Европу. Возвращаясь изъ Германіи, онъ говорилъ мнѣ, что его поразило нравственное запустѣніе материка. Я перевелъ ему, читая, мои *Западные Арабески*, онъ оборонялся отъ моихъ заключеній какъ отъ привидѣнія, въ которое человѣкъ не хочетъ вѣрить, но котораго боится. „Человѣкъ, сказалъ онъ мнѣ, который такъ понимаетъ современную Европу какъ вы, долженъ бросить ее.“

— Вы такъ и поступили, замѣтилъ я.

— Отчего же вы этого не дѣлаете?

— Очень просто: я могу вамъ сказать, такъ какъ одинъ честный нѣмецъ прежде меня отвѣчалъ въ гордомъ припадкѣ самобытности, „у меня въ Швабіи есть свой король,“—*у меня въ Россіи есть свой народъ!*

. . . . . .

Сходя съ вершинъ въ средніе слои эмиграціи, мы увидимъ, что большая часть была увлечена въ изгнаніе благороднымъ порывомъ и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, т. е. за ихъ музыку, не давая себѣ никогда яснаго отчета въ смыслѣ ихъ. Они ихъ любили горячо и вѣрили въ нихъ, какъ католики любили и вѣрили въ латинскія молитвы, не зная по латыни. La fraternité universelle comme base de la république universelle — это кончено и принято! Point de salariés, et la solidarité des peuples!—и, покраснѣйте, этого иному достаточно чтобъ идти на баррикаду, а ужъ коли французъ пойдетъ, онъ съ нея не побѣжитъ.

Pour moi, voyez vous, la république n'est pas une forme

gouvernementale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera, говорилъ мнѣ одинъ участникъ всѣхъ возстаній со времени Ламарковскихъ похоронъ. Et lorsque la religion sera une république, — добавилъ я. Précisement! отвѣчалъ онъ, очень довольный тѣмъ, что я вывернулъ на изнанку его фразу.

Массы эмиграціи представляютъ своего рода вѣчно открытое угрызеніе совѣсти, передъ глазами вождей. Въ нихъ всѣ ихъ недостатки являются въ томъ преувеличенномъ и смѣшномъ видѣ, въ которомъ парижскіе моды являются гдѣ нибудь въ русскомъ уѣздномъ городѣ.

И во всемъ этомъ есть бездна наивнаго. За декламаціей на первомъ планѣ, la mise en scene.

Античные драпри и торжественная постановка Конвента такъ поразила французскій умъ своей грозной поэзіей, что напр. съ именемъ республики ея энтузіасты представляютъ не внутренную перемѣну, а праздникъ федерализаціи, барабанный бой и заунывные звуки tocsin. Отечество возвѣщается въ опасности, народъ встаетъ массой на его защиту, въ то время какъ около деревьевъ свободы празднуется торжество цивизма; дѣвушки въ бѣлыхъ платьяхъ пляшутъ подъ напѣвъ патріотическихъ гимновъ и Франція въ фригійской шапкѣ посылаетъ громадныя арміи для освобожденія народовъ и низверженія царей.

Главный баластъ всѣхъ эмиграцій, особенно французской, принадлежитъ буржуазіи; этимъ характеръ ихъ уже обозначенъ. Марка или штемпель мѣщанства также трудно стирается какъ печать дара духа святаго, которую прикладываютъ наши семинаріи своимъ ученикамъ. Собственно купцовъ, лавочниковъ, хозяевъ въ эмиграціи мало и тѣ попали въ нее какъ-то невзначай,

вытолкнутые большей частью изъ Франціи послѣ 2 Декабря, за то, что не догадались, что на нихъ лежитъ священная обязанность измѣнить конституцію. Ихъ тѣмъ больше жаль, что положеніе ихъ совершенно комическое, они потеряны въ красной обстановкѣ, которой дома не знали, а только боялись; въ силу національной слабости имъ хочется себя выдавать за гораздо большихъ радикаловъ чѣмъ они въ самомъ дѣлѣ; но не привыкнувъ къ революціонному jargon, они, къ ужасу новыхъ товарищей, безпрестанно впадаютъ въ Орлеанизмъ. Разумѣется они были бы всѣ рады возвратиться, еслибъ point d'honneur, единственная крѣпкая, нравственная сила современнаго француза, не воспрещалъ просить дозволенія.

Надъ ними стоящій слой составляетъ лейбъ-компанейскую роту эмиграціи: адвокаты, журналисты, литераторы и нѣсколько военныхъ.

Большая часть изъ нихъ искали въ революціи общественнаго положенія, но при быстромъ отливѣ, они очутились на англійской отмели. Другіе — безкорыстно увлеклись клубной жизнію и агитаціями, риторика довела ихъ до Лондона, сколько волею а вдвое того неволею. Въ ихъ числѣ много чистыхъ и благородныхъ людей, но мало способныхъ; они попали въ революцію по темпераменту, по отвагѣ человѣка, который бросается, слыша крикъ, въ рѣку, забывая объ ея глубинѣ и о своемъ неумѣніи плавать.

За этими дѣтьми, у которыхъ, по несчастію, посѣдѣли узкія бородки и нѣсколько очистился отъ волосъ остроконечный гальскій черепъ, стояли разныя кучки работниковъ, гораздо болѣе серьезныхъ, не столько связанные въ одно наружностію, сколько духомъ и общимъ интересомъ.

Ихъ революціонерами поставила сама судьба; нужда и развитіе сдѣлали ихъ практическими соціалистами; оттого-то ихъ дума реальнѣе, рѣшимость тверже. Эти люди вынесли много лишеній, много униженій, и притомъ молча, это даетъ большую крѣпость; они переплыли Ламаншъ не съ фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положеніе спасло ихъ отъ буржуазной suffisance, они знаютъ, что имъ нѣкогда было образоваться, они хотятъ учиться; въ то время, какъ буржуа не больше ихъ учился, но совершенно доволенъ знаніемъ.

Оскорбленные съ дѣтства, они ненавидятъ общественную неправду, которая ихъ столько давила. Тлѣтворное вліяніе городской жизни и всеобщей страсти стяжанія превратила у многихъ эту ненависть въ зависть; они, не давая себѣ отчета, тянутся въ буржуазію и терпѣть ее не могутъ, такъ какъ мы не можемъ терпѣть счастливаго соперника, страстно желая занять его мѣсто или отомстить ему его наслажденія.

Но ненависть ли или зависть, желаніе ли у однихъ блага, у другихъ мести, и тѣ и другіе будутъ страшны въ будущемъ западномъ движеніи. Они будутъ на первомъ планѣ. Передъ ихъ рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипѣвшимъ желаніемъ мести — что сдѣлаютъ консерваторы и риторы? Да что сдѣлаютъ и прочіе горожане, когда на зовъ работника поднимется саранча полей и деревень. Крестьянскія войны забыты; послѣдніе эмигранты изъ земледѣльцевъ относятся ко временамъ ревокаціи нантскаго эдикта; Вандея исчезла за пороховымъ дымомъ. Но мы обязаны 2 Декабрю тѣмъ, что своими глазами вновь увидѣли эмигрантовъ въ деревянныхъ башмакахъ.

Сельское населеніе на югѣ Франціи, отъ Пиреней до

Альпъ, приподняло голову послѣ coup d'état, какъ бы спрашивая: „не пришла ли наша пора?“ Возстаніе было задавлено въ самомъ началѣ массами солдатъ; за ними явились военно-судныя коммиссіи, стая гончихъ жандармовъ и полицейскихъ ищеекъ разсыпались по проселочнымъ дорогамъ и деревушкамъ. Очагъ крестьянина, его семья—эти святыни его, были обезчещены полиціею; она требовала показанія жены на мужа, сына на отца, и по двусмысленному слову родственника, по одному доносу garde champêtre вели въ тюрьму отцовъ семейства, сѣдыхъ какъ лунь стариковъ, юношей, женщинъ; судили ихъ кой-какъ, гуртомъ, и потомъ случайно кого выпустили, кого послали въ Ламбессу, въ Каену, другіе сами бѣжали въ Испанію, въ Савойю, за Варскій мостъ.*)

Крестьянъ я мало знаю. Видѣлъ я въ Лондонѣ нѣсколько человѣкъ, спасшихся *на лодкѣ* изъ Каены; одна дерзость, безуміе этого предпріятія лучше цѣлаго тома характеризуютъ ихъ. Они были почти всѣ съ Пиринеевъ. Совсѣмъ другая порода, широкоплечая, рослая съ крупными чертами, вовсе не шифонированными какъ у поджарыхъ французскихъ горожанъ, съ ихъ скудной кровью и бѣдной бородкой. Раззореніе ихъ домовъ и Каена воспитали ихъ. „Мы воротимся еще когда нибудь,“ говорилъ мнѣ сорокалѣтній геркулесъ, большей

*) Я былъ въ Ниццѣ во время варскаго и драгиньянскаго возстанія. Двое крестьянъ, замѣшанныхъ въ дѣло, пробрались до рѣки Вара, составляющую границу. Тутъ они были настигнуты жандармомъ. Жандармъ выстрѣлилъ въ одного изъ нихъ и ранилъ въ ногу — тотъ свалился, въ это время другой пустился бѣжать. Жандармъ хотѣлъ раненаго привязать къ лошади — но боясь упустить того, онъ выстрѣлилъ въ голову a bout portant раненому; увѣренный, что убилъ его, онъ поскакалъ за другимъ. Изуродованный крестьянинъ остался живъ.

частью молчавшій (всѣ они были не очень разговорчивы)—„и посчитаемся!“ На другихъ эмигрантовъ, на ихъ сходки и рѣчи, они что-то смотрѣли чужими..... и недѣли черезъ три они пришли ко мнѣ проститься. „Не хотимъ даромъ жить, да и здѣсь скучно — ѣдемъ въ Испанію, въ Сантандръ, тамъ обѣщаютъ помѣстить насъ дровосѣками“. Взглянулъ я еще разъ на суровомужественный видъ и на мускулярную руку будущихъ дровосѣковъ — и подумалъ, хорошо если топоръ ихъ только будетъ рубить каштановые деревья и дубы.

Дикую, разъѣдающую силу, накипѣвшую въ груди городскаго работника я видѣлъ ближе.

ГЛАВА IV*)

ПОЛЬСКІЕ ВЫХОДЦЫ

Алоизій Бернацкій.—Станиславъ Ворцель.—Агитація 1854-56 года. Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!
Inferno.

Другія несчастія, другіе страдальцы ждутъ насъ. Мы живемъ на полѣ вчерашней битвы: кругомъ лазареты, раненые, плѣнные, умирающіе. Польская эмиграція, старшая всѣмъ, истощилась больше другихъ, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки, вопреки Дантону, взяли съ собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свѣту. Европа разступилась съ уваженіемъ передъ торжественнымъ шествіемъ отважныхъ бойцовъ. Народы выходили къ нимъ на по-

*) *Напечатано было въ Колоколѣ 1 Октября и 7 Ноября 1865 г. стр. 1681 и 1693.*

клонъ; цари сторонились и отворачивались, чтобы дать имъ пройти, не замѣчая ихъ. Европа проснулась на минуту отъ ихъ шаговъ, нашла слезы и участіе, нашла деньги и силу ихъ дать*). Печальный образъ польскаго выходца, этого рыцаря народной независимости, остался въ памяти народной. Двадцать лѣтъ на чужбинѣ вѣра его не ослабла, и на всякой роковой перекличкѣ, въ дни опасности и борьбы за волю, поляки первые отвѣчали: *здѣсь!* какъ сказалъ Ворцель или старшій Дарашъ временному правительству въ 1848 году.

Но правительство, въ которомъ спдѣлъ Ламартинъ, въ нихъ не нуждалось и вовсе объ нихъ не думало. Самые пстые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтобы ее употребить неоткровеннымъ крикомъ возстанія и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазія (у которой Польша была капризомъ, какъ у англійской Италія) стала съ тѣхъ поръ дуться. Въ Парижѣ не говорили больше съ прежъ-

*) Д-ръ П. Дарашъ разсказывалъ мнѣ случай, бывшій съ нимъ самимъ. Онъ студентомъ медицины участвовалъ въ возстаніи 1831. Послѣ взятія Варшавы отрядъ, въ которомъ онъ былъ, перешелъ границу и небольшими кучками сталъ пробираться во Францію. Вездѣ по городамъ и деревнямъ мущины и женщины выходили на дорогу звать изгнанниковъ къ себѣ, предлагая свои комнаты, часто свои кровати. Въ одномъ небольшомъ городкѣ хозяйка замѣтила, что у него изорванъ, помнится, кисетъ, и взяла его починить. На другой день на пути Дарашъ, ощупавъ въ кисетѣ что-то постороннее, нашелъ въ немъ тщательно зашитыми два золотыхъ. Дарашъ, у котораго не было ни гроша, бросился назадъ, чтобъ отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знаетъ, потомъ принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тутъ надобно вспомнить, что въ маленькомъ нѣмецкомъ городкѣ для небогатой женщины значатъ *два золотыхъ*; они составляли, вѣроятно, плодъ откладыванія въ Sparbücksе разныхъ крейцеровъ, пфенниговъ, *хорошихъ* и *дурныхъ* грошей въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ..... Прощай всѣ мечты объ шелковомъ платьи, о цвѣтной мантиліи, о яркой шали. Передъ такими подвигами я на колѣняхъ!

ней риторикой о Varsovie echevelée, и только въ народѣ оставалась, рядомъ со всякими бонапартовскими воспоминаніями, легенда о *Понятуски*, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовскій тонетъ, верхомъ въ своей chapska.

Съ 1849 начинается для польской эмиграціи самое удручительное время. Томно длится оно до крымской войны и смерти Николая. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провидѣнное Красинскимъ, казалось, наступало. Отрѣзанная отъ страны, эмиграція осталась на другомъ берегу и, какъ дерево безъ новыхъ соковъ, вяла, сохла, дѣлалась чужой для родины, не переставая быть чужой для странъ, въ которыхъ жила. Онѣ до нѣкоторой степени ей сочувствовали, но ихъ несчастіе продолжалось слишкомъ долго, а въ душѣ человѣка нѣтъ добраго чувства, которое бы не изнашивалось. Къ тому же вопросъ польскій прежде всего былъ вопросъ національный и только формально революціонный, т. е. по отношенію къ чужеземному игу.

Эмиграція смотрѣла столько же назадъ, сколько впередъ, она стремилась возстановлять — какъ будто въ прошедшемъ что-нибудь достойно возстановленія, кромѣ независимости — а одна независимость ничего не говоритъ: это понятіе отрицательное. Развѣ можно быть независимѣе Россіи? Въ сложную, туго вырабатывающуюся формулу будущаго общественнаго устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другимъ, въ справедливой надеждѣ на взаимность. Борьба за независимость всегда вызываетъ горячее сочувствіе, но она не можетъ стать *своимъ* дѣломъ для чужихъ. Только тѣ интересы принадлежатъ всѣмъ, которые по сущности своей *ненаціо-*

нальны, какъ, напр., интересы католицизма и протестантизма, революціи и реакціи, экономизма и соціализма.

. . . . . .

... Въ 1847 году познакомился я съ польской демократической централизаціей. Тогда она жила въ Версалѣ и, сколько мнѣ казалось, самый дѣятельный членъ ея былъ Высоцкій. Особеннаго сближенія не могло быть. Эмигрантамъ хотѣлось слышать отъ меня подтвержденіе своимъ желаніямъ, своимъ предположеніямъ, а не то, что я зналъ. Они желали имѣть свѣдѣнія о какомъ-то заговорѣ, подкапывающемъ все государственное зданіе въ Россіи, и спрашивали, участвуетъ ли въ немъ Ермоловъ... а я имъ могъ разсказывать о радикальномъ направленіи тогдашней молодежи, о пропагандѣ Грановскаго, объ огромномъ вліяніи Бѣлинскаго, о соціальномъ оттѣнкѣ въ обѣихъ партіяхъ, бившихся тогда въ литературѣ и въ обществѣ, у западниковъ и славянофиловъ. Имъ казалось это не важнымъ.

У нихъ было богатое прошедшее, у насъ большая надежда; у нихъ грудь была покрыта рубцами, у насъ только крѣпли для нихъ мышцы. Мы казались ополченцами передъ ними, ветеранами. Поляки—мистики, мы—реалисты. Ихъ влечетъ въ таинственный полусвѣтъ, въ которомъ стираются очертанія, носятся образы, въ которомъ можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могутъ жить въ этомъ полуснѣ, безъ анализа, безъ *холоднаго* изслѣдованія, безъ сосущаго сомнѣнія. Въ глубинѣ ихъ души, какъ человѣкъ въ военномъ станѣ, есть чуждый намъ отблескъ среднихъ вѣковъ и распятіе, передъ которымъ въ минуты тяжести и устали они могутъ молиться. Въ поэзіи Красинскаго Stabat Mater заглушаетъ

народные гимны и влечетъ васъ не къ торжеству жизни, а къ торжеству смерти, ко дню великаго суда... Мы или *глупые* вѣримъ, или *умные* сомнѣваемся.

Мистическое направленіе развернулось во всей силѣ послѣ наполеоновской эпохи. Мицкевичъ, Товянскій, даже математикъ Вронскій —всѣ способствовали мессіанизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиковъ. Старики, получившіе образованіе еще въ XVIII вѣкѣ, были свободны отъ теософическихъ фантазій. Классическій закалъ, который давалъ людямъ великій вѣкъ, какъ дамаскъ, не стирался. Мнѣ еще удалось видѣть два-три типа старыхъ пановъ энциклопедистовъ.

Въ Парижѣ и притомъ въ Rue de la Chaussée d'Antin жилъ съ 1831 года графъ Алоизій Бернацкій, нунцій польской діэты, министръ финансовъ во время революціи, маршалъ дворянства какой-то губерніи, представлявшій свое сословіе императору Александру I, когда онъ либеральничалъ въ 1814 г.

Совершенно раззоренный конфискаціей, онъ поселился съ 1831 года въ Парижѣ и, притомъ, на той маленькой квартирѣ въ Chaussée d'Antin, которую я упомянулъ; оттуда-то онъ выходилъ всякое утро въ темно-коричневомъ сертукѣ на прогулку и чтеніе журналовъ и всякій вечеръ, въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами, къ кому нибудь провести вечеръ; тамъ, въ 1847 году, я познакомился съ нимъ. Домъ состарѣлся, хозяйка хотѣла его перестроить. Бернацкій написалъ къ ней письмо, которое до того тронуло француженку (что̀ очень не легкая вещь, когда замѣшаны финансы!), что она пустилась съ нимъ въ переговоры и просила его только на время переѣхать. Отдѣлавъ квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цѣну. Съ горестью уви-

дѣлъ онъ новую красивую лѣстницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбѣ.

Во всемъ умѣренный, безусловно чистый и благородный старикъ былъ поклонникъ Вашингтона и пріятель О'Конеля. Настоящій энциклопедистъ, онъ проповѣдывалъ эгоизмъ bien entendu и провелъ всю жизнь въ самоотверженіи и пожертвовалъ всѣмъ, отъ семьи и богатства до родины и общественнаго положенія, никогда не показывая особеннаго сожалѣнія и никогда не падая до ропота.

Французская полиція оставляла его въ покоѣ и даже уважала его, зная, что онъ былъ министръ и *нунцій*; префектура пресерьезно думала, что нунцій польской діэты былъ что-то въ родѣ папскаго нунція. Въ эмиграціи это знали и потому товарищи и соотечественники безпрестанно посылали его объ нихъ хлопотать. Бернацкій шелъ безпрекословно и до тѣхъ поръ говорилъ правильные комплименты и надоѣдалъ, что префектура часто дѣлала уступки, чтобъ отвязаться отъ него. Послѣ совершеннаго покоренія февральской революціи тонъ перемѣнился; ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни сѣдой головой ничего нельзя было взять, а тутъ, какъ на зло, пріѣхала въ Парижъ жена польскаго генерала, участвовавшаго въ венгерской войнѣ, въ большой крайности. Бернацкій просилъ помощи для нея у префектуры; префектура, не смотря на громкій адресъ à son Excellence monsieur le Nonce, отказала на отрѣзъ. Старикъ отправился самъ къ Карлье; Карлье, чтобъ отвязаться отъ него и съ тѣмъ вмѣстѣ унизить, замѣтилъ ему, что пособія только даютъ выходцамъ 1831 года. „Вотъ, прибавилъ онъ, если вы принимаете такое участіе въ этой дамѣ, подайте просьбу, чтобъ вамъ по бѣдности назначили пособіе; мы вамъ поло-

жимъ франковъ двадцать въ мѣсяцъ, а вы ихъ отдавайте кому хотите."

Карлье былъ пойманъ. Бернацкій самымъ простодушнымъ образомъ принялъ предложеніе префекта и тотчасъ согласился, разсыпаясь въ благодарности. Съ тѣхъ поръ всякій мѣсяцъ старикъ являлся въ префектуру, ждалъ въ передней часъ-другой, получалъ двадцать франковъ и относилъ ихъ къ вдовѣ.

Бернацкому было далеко за семдесятъ лѣтъ, но онъ удивительно сохранился, любилъ обѣдать съ друзьями, посидѣть вечеромъ часовъ до двухъ, иногда выпить бокалъ-другой вина. Разъ какъ-то поздно, часа въ три, возвращались мы съ нимъ домой; дорога наша шла по улицѣ Лепелетье. Опера горѣла въ огнѣ; пьеро и дебардеры, едва прикрытые шалями, драгуны и полицейскіе толпились въ сѣняхъ. Шутя и увѣренный, что онъ откажется, я сказалъ Бернацкому: Quelle chance, не зайти ли?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ онъ, я лѣтъ пятнадцать не видалъ маскарада.

— Бернацкій, сказалъ я ему, шутя и входя въ сѣни, когда же вы начнете старѣть?

— Un homme comme il faut, отвѣчалъ онъ, смѣясь, acquiert des années, mais ne vieillit jamais!

Онъ выдержалъ характеръ до конца и, какъ благовоспитанный человѣкъ, разстался съ жизнью тихо и въ хорошихъ отношеніяхъ; утромъ ему нездоровилось, къ вечеру онъ умеръ.

Во время смерти Бернацкаго я былъ уже въ Лондонѣ. Тамъ вскорѣ послѣ моего пріѣзда сблизился я съ человѣкомъ, котораго память мнѣ дорога и котораго гробъ я помогъ снести на Гайгетское кладбище—я говорю о Ворцелѣ. Изъ всѣхъ поляковъ, съ которыми я

сблизился тогда, онъ былъ наиболѣе симпатичный и можетъ наименѣе исключительный въ своей нелюбви къ намъ. Онъ не то чтобъ любилъ русскихъ, но онъ понималъ вещи гуманно, и потому далекъ былъ отъ гуловыхъ проклятій и ограниченной ненависти. Съ нимъ, съ первымъ говорилъ я объ устройствѣ русской типографіи. Выслушавъ меня, больной встрепенулся, схватилъ бумагу и карандашъ, началъ дѣлать расчеты, вычислять сколько нужно буквъ и пр. Онъ сдѣлалъ главные заказы, онъ познакомилъ меня съ Чернецкимъ, съ которымъ мы столько работали потомъ. — „Боже мой, боже мой, говорилъ онъ, держа въ рукѣ первый корректурный листъ, Вольная Русская Типографія въ Лондонѣ... сколько дурныхъ воспоминаній стираетъ съ моей души этотъ клочекъ бумаги замаранный голландской сажей!“

— Намъ надобно идти вмѣстѣ, повторялъ онъ часто потомъ, намъ одна дорога и одно дѣло... и онъ клалъ исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщинѣ 29 Ноября 1853 года я сказалъ рѣчь въ Гановеръ-Румѣ, Ворцель предсѣдательствовалъ. Когда я кончилъ, Ворцель, при громѣ рукоплесканій, обнялъ меня и со слезами на глазахъ поцаловалъ. „Ворцель и вы, замѣтилъ мнѣ выходя одинъ итальянецъ (графъ Нани), вы меня поразили давича на платформѣ, мнѣ казалось, что этотъ увядающій, благородный, покрытый сѣдинами старецъ, обнимающій вашу здоровую плотную фигуру — представляли типически Польшу и Россію“.

— Добавьте только, прибавилъ я ему, Ворцель, подавая мнѣ руку и заключая въ свои объятія, *именемъ Польши прощалъ Россію.*

Дѣйствительно мы могли идти вмѣстѣ—это не удалось.

Ворцель былъ *не одинъ*..... Но прежде объ немъ одномъ.

Когда родился Ворцель, его отецъ, одинъ изъ богатыхъ польскихъ аристократовъ въ Литвѣ, родственникъ Эстергази, Потоцкимъ и не знаю кому, выписалъ изъ пяти помѣстій старостъ и съ ними молодыхъ женщинъ чтобъ они присутствовали при крещеніи графа Станислава, и помнили бы до конца жизни объ панскомъ угощеньи по поводу такой радости. Это было въ 1800 году. Графъ далъ своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитаніе; Ворцель былъ математикъ, лингвистъ, знакомый съ пятью, шестью литературами, съ раннихъ лѣтъ пріобрѣлъ онъ огромную ерудицію и притомъ былъ свѣтскимъ человѣкомъ и принадлежалъ къ высшему польскому обществу, въ одну изъ самыхъ блестящихъ эпохъ его заката, между 1815 1830 годами; Ворцель рано женился и только что началъ „практическую“ жизнь, какъ вспыхнуло возстаніе 1831 года. Ворцель бросилъ все и присталъ — душей и тѣломъ къ движенію. Возстаніе было подавлено, Варшава взята. Графъ Станиславъ перешелъ какъ и другіе границу, оставляя за собой семью и состояніе.

Жена его не только не поѣхала за нимъ, но прервала съ нимъ всѣ сношенія и за то получила обратно какую-то часть имѣнія. У нихъ были двое дѣтей, сынъ и дочь, какъ она ихъ воспитала, мы увидимъ, на первый случай она ихъ выучила забыть отца.

Ворцель между тѣмъ пробрался черезъ Австрію въ Парижъ, и тутъ сразу очутился въ вѣчной ссылкѣ и безъ малѣйшихъ средствъ. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Онъ, какъ Бернацкій, свелъ свою жизнь на какой-то монашескій постъ и ревностно началъ свое апостольство, которое прекратилось черезъ

двадцать пять лѣтъ съ его послѣднимъ дыханіемъ, въ сыромъ углу нижняго этажа убогой квартиры, въ темной Hunter Street.

Реорганизовать польскую партію движенія, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграціонныя силы, приготовить новое возстаніе и для этого проповѣдывать съ утра до ночи, для этого жить—такова была тема всей жизни Ворцеля, отъ которой онъ не отступалъ ни на шагъ, и которой подчинилъ все. Съ этой цѣлью онъ сблизился со всѣми людьми движенія во Франціи, отъ Годефруа Кавеньяка до Ледрю Роллена, съ этой цѣлью былъ массономъ, былъ въ близкихъ сношеніяхъ съ сторонниками Маццини и съ самимъ Маццини впослѣдствіи. Ворцель твердо и открыто поставилъ революціонное знамя Польши противъ партіи Чарторижскихъ. Онъ былъ увѣренъ, что аристократія погубила возстаніе, онъ въ старыхъ панахъ видѣлъ враговъ своему дѣлу и собиралъ новую Польшу, чисто демократическую.

Ворцель былъ правъ.

Аристократическая Польша искренно преданная своему дѣлу шла во многомъ въ разрѣзъ съ стремленіями нашего времени; передъ ея глазами постоянно носился образъ прежней Польши, не новой, а возстановленной, ея идеалъ былъ столько же въ воспоминаніи, сколько въ упованіяхъ. Польшѣ достаточно было и одного католическаго ядра на ногахъ, чтобъ отставать — рыцарскіе доспѣхи совсѣмъ остановили бы ее. Соединяясь съ Маццини, Ворцель хотѣлъ привѣнчать польское дѣло къ обще-европейскому, республиканскому и демократическому движенію. Ясно, что онъ долженъ былъ искать почвы въ незнатной шляхтѣ, въ городскихъ жителяхъ и въ работникахъ. Начаться возстаніе могло только въ этой средѣ. Аристократія пристала бы къ движенію,

крестьянъ можно было бы увлечь, инициативы они никогда бы сами не взяли.

Можно обвинять Ворцеля за то, что онъ вступилъ въ ту же колею, въ которой уже вязла и грузла западная революція, что онъ въ этомъ пути видѣлъ единственный путь спасенія; но однажды принявъ его, онъ былъ послѣдователенъ. Обстоятельства его вполнѣ оправдали. Гдѣ же въ Польшѣ была дѣйствительно революціонная среда, какъ не въ томъ слоѣ, къ которому постоянно обращался Ворцель, и который сложился выросъ и окрѣпъ между 1831 годомъ и шестидесятыми годами?

Какъ бы мы розно ни смотрѣли на революцію и ея средства, но нельзя отвергнуть, что все пріобрѣтенное революціей—пріобрѣтено среднимъ слоемъ общества и городскими работниками. Что сдѣлалъ бы Маццини, что Гарибальди безъ *городскаго* патріотизма, а вѣдь польскій вопросъ былъ вопросъ чисто патріотическій, у самаго Ворцеля интересъ національной независимости все же былъ ближе къ сердцу, чѣмъ соціальный переворотъ.

Года за полтора до Февральской революціи по дремавшей Европѣ пробѣжала какая-то дрожь пробужденія. Краковское дѣло, процесъ Мирославскаго, потомъ война Зондербунда и Итальянское risorgimento. Австрія отвѣчала возстанію имперской пугачевщиной, Николай подарилъ ей непринадлежавшій ему Краковъ — но тишина не возвратилась. Людвигъ Филиппъ палъ въ Февралѣ 1848 года, полякъ возилъ его тронъ на сожженіе. Ворцель во главѣ польской демократіи явился напомнить временному правительству о Польшѣ. Ламартинъ принялъ его холодной риторикой. Республика была больше миръ чѣмъ имперія.

Былъ мигъ, въ который можно было надѣяться, этотъ мигъ пропустила Польша, пропустила вся западная Европа и Паскевичъ донесъ Николаю, *что Венгрія у его ногъ.*

Съ паденіемъ Венгріи ждать было нечего и Ворцель, вынужденный оставить Парижъ, переселился въ Лондонъ.

Въ Лондонѣ я его засталъ въ концѣ 1852 членомъ Европейскаго комитета.*) Онъ стучался во всѣ двери, писалъ письма, статьи въ журналахъ, онъ работалъ и надѣялся, убѣждалъ и просилъ—а такъ какъ при всемъ остальномъ надо было ѣсть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка; кашляя и задыхаясь отъ астма, ходилъ онъ съ конца Лондона на другой, чтобъ зароботать два шиллинга, много полкроны. И тутъ онъ еще долю выработаннаго отдавалъ своимъ товарищамъ.

Духъ его не унывалъ, но тѣло отстало. Лондонскій воздухъ сырой, копченый, не согрѣтый солнцемъ, былъ не по слабой груди. Ворцель таялъ, но держался. Такъ онъ дожилъ до крымской войны, ее онъ не могъ, я готовъ сказать не долженъ былъ пережить. „Если Польша *теперь* ничего не сдѣлаетъ, все пропало, на долго, очень на долго, если не на всегда и мнѣ лучше закрыть глаза,“ говорилъ Ворцель мнѣ, отправляясь по Англіи съ Кошутомъ. Во всѣхъ главныхъ городахъ собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встрѣчали громомъ рукоплесканій, дѣлали небольшіе денежные сборы *и только.* Парламентъ и правительство очень хорошо знаютъ, когда народная волна просто шумитъ и когда она въ самомъ дѣлѣ напираетъ. Твердо стоявъ-

*) Маццини, Кошутъ. Ледрю-Ролленъ, Арнольдъ Руге. Братіано и Ворцель.

шее министерство, предложившее conspiracy bill, пало *въ ожиданіи* народнаго схода въ Гайдъ-паркѣ. Въ митингахъ собираемыхъ Кошутомъ и Ворцелемъ для того, чтобъ вызвать со стороны парламента и правительства признаніе польскихъ правъ, заявленіе симпатіи къ польскому дѣлу, ничего не было опредѣленнаго, не было силы. Страшный отвѣтъ консерваторовъ былъ неотразимъ: „въ Польшѣ все покойно". Правительству приходилось не признать совершившійся фактъ, а вызвать его, взять революціонную инціативу, разбудить Польшу. Такъ далеко въ Англіи общественное мнѣніе не идетъ. Къ тому же in petto всѣ желали окончанія войны только что начавшейся, дорогой и въ сущности безполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался въ Лондонъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ не понять неудачу, онъ старился наглазно, былъ угрюмъ и раздражителенъ и съ той лихорадочной дѣятельностью, съ которой умирающіе принимаются тревожно за всякое леченіе, съ зловѣщей болзнію въ груди и съ упорной надеждой, ѣздилъ онъ опять, въ Бирмингамъ или Ливерпуль, съ трибуны поднимать свой плачъ о Польшѣ. Я смотрѣлъ на него съ глубокой горестью. Но какъ же онъ могъ думать, что Англія подниметь Польшу, что Франція Наполеона вызоветъ революцію? Какъ онъ могъ надѣяться на ту Европу, которая допустила Россію въ Венгрію, французовъ въ Римъ, развѣ самое присутствіе Мацціни и Кошута въ Лондонѣ не громко ему напоминало о ея паденіи?

... Около того-же времени давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части эмиграціи, подняло голосъ. Ворцель обомлѣлъ—этого уда-

ра онъ не ждалъ, а онъ пришелъ совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это, но привыкнувъ къ своему хору, былъ подъ его вліяніемъ. Онъ воображалъ, что онъ ведетъ, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его куда хотѣлъ. Только Ворцель подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно — хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрязгъ и мелочныхъ расчетовъ. Преждевременный старикъ задыхался въ этой средѣ отъ духовнаго астма, столько же какъ и отъ физическаго.

Люди эти не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. . . . . .

. . . . . .

— Вы вѣрно слышали, спросилъ меня Ворцель, что противъ насъ готовится обвинительный актъ?

— Слышалъ.

— Вотъ что я заслужилъ подъ старость... вотъ до чего дожилъ. . . и онъ грустно качалъ сѣдой головой своей.

— Врядъ правы-ли вы, Ворцель? Васъ такъ привыкли любить и уважать, что если этому дѣлу не давали хода, то это только изъ боязни васъ огорчить. Вы знаете, зубъ не на васъ, пусть ваши товарищи идутъ своей дорогой.

— Никогда, никогда, мы все дѣлали вмѣстѣ, на насъ лежитъ общая отвѣтственность.

— Вы ихъ не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назадъ по поводу того, что Россель предалъ своихъ товарищей?

Это было вечеромъ. Я стоялъ поодаль отъ камина, Ворцель сидѣлъ у самаго огня, обернувшись лицемъ къ камину; его болѣзненное лицо, на которомъ дрожалъ красный отсвѣтъ, показалось мнѣ еще больше истомленнымъ и страдальческимъ — слеза, старая слеза, скатывалась по исхудалой щекѣ его... Прошли нѣсколько минутъ невыносимо тяжелаго молчанія... Онъ всталъ, я проводилъ его въ его спальню, большія деревья шумѣли въ саду, Ворцель отворилъ окно и сказалъ: „Я здѣсь съ моей несчастной грудью прожилъ бы вдвое."

Я схватилъ его за обѣ руки.—„Ворцель, говорилъ я ему, останьтесь у меня, я вамъ дамъ еще комнату, вамъ никто мѣшать не будетъ, дѣлайте что хотите, завтракайте одни, обѣдайте одни, если хотите, вы отдохнете мѣсяца два... васъ не будутъ безпрерывно тормошить, вы освѣжитесь, я васъ прошу какъ друга, какъ вашъ меньшой братъ!"

— Благодарю, благодарю васъ отъ всего сердца, я сейчасъ бы принялъ ваше предложеніе, но при теперешнихъ обстоятельствахъ это просто невозможно... Съ одной стороны война, съ другой наши это примутъ за то, что я ихъ оставилъ. Нѣтъ, каждый долженъ нести крестъ свой до конца.

— Ну такъ усните по крайней мѣрѣ спокойно, сказалъ я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

... Война оканчивалась, умеръ Николай, началась новая Россія, дожили мы до Парижскаго мира и до того, что *Полярная Звѣзда* и все напечатанное нами въ Лондонѣ покупалось *на корню*. Мы стали издавать *Колоколъ*, и онъ пошелъ... Мы съ Ворцелемъ видались рѣдко, онъ радовался нашимъ успѣхамъ, съ той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, съ которой мать,

потерявшая сына, слѣдитъ за развитіемъ чужаго от
ка... Время роковой альтернативы, поставленной Вор
лемъ въ его oggi o mai, наступало и онъ гаснулъ...

За три дня до его кончины Чернецкій прислалъ
мною. Ворцель меня спрашивалъ — онъ былъ оч
плохъ, ждали его кончины. Когда я пріѣхалъ къ не
онъ былъ въ забытьи близкомъ къ обморку, блѣдн
восковой, лежалъ онъ на диванѣ... щеки его соверш
но ввалились, такіе припадки съ нимъ повторялись
послѣдніе дни, онъ привыкалъ быть мертвымъ. Чер
четверть часа Ворцель сталъ приходить въ себя, сл
говорить, потомъ узналъ меня, привсталъ и легъ по
сидя на диванѣ. Читали вы газеты? спросилъ онъ ме
— Читалъ. — Разскажите какъ идетъ Невшательс
вопросъ, я не могу ничего читать. Я ему разсказа
онъ все слышалъ и все понялъ.

— Ахъ какъ спать хочется, оставьте меня тепер
не усну при васъ, а мнѣ отъ сна будетъ легче.

На другой день ему было получше. Ему хотѣл
мнѣ что-то сказать... онъ раза два начиналъ и оста
вливался.. и только оставшись со мной наединѣ, у
рающій подозвалъ меня къ себѣ и слабо взявъ мен
руку, сказалъ: „какъ вы были правы... вы не зна
какъ вы были правы... у меня лежало это на ду
вамъ сказать.

— Не будемъ больше говорить объ нихъ.

— Идите вашей дорогой... онъ поднялъ на меня с
умирающій, но свѣтлый, лучезарный взглядъ. Бол
онъ говорить не могъ. Я поцѣловалъ его въ губы –
хорошо сдѣлалъ, мы простились на долго. Вечер
онъ всталъ, вышелъ въ другую комнату, хлебнулъ
плой воды съ джиномъ у хозяйки дома, простой, п
восходной женщины, религіозно уважавшей въ Ворц

какое-то высшее явленіе, взошелъ опять къ себѣ и уснулъ. На другой день, утромъ, Жабицкій и хозяйка спросили не надобно ли ему чего больше. — Онъ просилъ сдѣлать огонь, и дать ему еще уснуть. Огонь сдѣлали. Ворцель не просыпался.

Я уже не засталъ его. Худое, худое лице его и тѣло было покрыто бѣлой простыней, я посмотрѣлъ на него, простился и пошелъ за работникомъ скульптора, чтобъ снять маску.

Его послѣднее свиданіе, его величественную агонію я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ.*) Прибавлю къ ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорилъ о своей семьѣ. Разъ какъ-то онъ искалъ для меня какое-то письмо, порывшись на столѣ, онъ открылъ ящикъ. Тамъ лежала фотографія какого-то сытаго, молодаго человѣка съ офицерскими усами. „Навѣрное полякъ и патріотъ?“ сказалъ я больше шутя, чѣмъ спрашивая.

— Это—сказалъ Ворцель глядя въ сторону и поспѣшно взявъ у меня изъ рукъ портретъ—это... мой сынъ.

Я узналъ впослѣдствіи, что онъ былъ русскимъ чиновникомъ въ Варшавѣ.

Дочь его вышла за мужъ за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины онъ диктовалъ Мацціни свое завѣщаніе — совѣтъ Польшѣ, поклонъ ей, привѣтъ друзьямъ... „Теперь все,“ сказалъ умирающій. Мацціни не покидалъ пера. „Подумайте, говорилъ онъ, не хотите ли вы въ эту минуту“. Ворцель молчалъ. „Нѣтъ ли еще лицъ, которымъ бы вы имѣли что нибудь сказать?“ Ворцель понялъ, лице его подернулось тучей и онъ отвѣтилъ:

*) Сборникъ Типогр. Стр. 163, 164.

— *Мнѣ имъ нечего сказать.*

Я не знаю проклятія, которое ужаснѣе звучало бы и тяжелѣй бы ложилось этихъ простыхъ словъ.

ON LIBERTY

Много я принялъ горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, безъ страха и сожалѣнія, высказываю это. Съ того времени, какъ я печаталъ въ *Современникѣ* мои *письма изъ* Avenue Marigny, часть друзей и недруговъ показывали знаки нетерпѣнія, негодованія, возражали... а тутъ какъ на зло, съ каждымъ событіемъ становилось на Западѣ темнѣе, угарнѣе, и ни умныя статьи Парадоля, ни клерикально - либеральныя книженки Монталамбера, ни замѣна прусскаго короля прусскимъ принцемъ, не могли отвести глазъ искавшихъ истины. У насъ не хотятъ этого знать, и натурально, сердятся на нескромнаго обличителя.

Европа намъ нужна какъ идеалъ, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ, если она не такая, ее надобно выдумать. Развѣ наивные вольнодумы XVIII вѣка, и въ ихъ числѣ Вольтеръ и Робеспьеръ не говорили, что если и нѣтъ безсмертія души, то его надобно проповѣдывать для того, чтобъ держать людей въ страхѣ и добродѣли. Или развѣ мы не видимъ въ исторіи, какъ иногда вельможи скрывали тяжкую болѣзнь или скоропостижную смерть царя и управляли именемъ трупа, или сумашедшаго, какъ это недавно было въ Пруссіи.

Ложь ко спасенію дѣло можетъ хорошее, но не всѣ способны къ ней.

Я не унылъ, впрочемъ, отъ порицаній и утѣшалъ се-

бя тѣмъ, что и здѣсь мною высказанныя мысли принимались не лучше, да еще тѣмъ, что онѣ объективно истинны, т. е. независимы отъ личныхъ мнѣній и даже добрыхъ цѣлей воспитанія, исправленія нравовъ и т. д. Все само по себѣ истинное рано или поздно взойдетъ и обличится, „Kommt an die Sonnen," какъ говоритъ Гёте.

Одна изъ причинъ неудовольствія, собственно противъ *моихъ* мнѣній, антропологически понятна, сверхъ докучнаго безпокойства, приносимаго разрушеніемъ оконченныхъ мнѣній и окаменѣлыхъ идеаловъ, на меня досадовали за то, что я *свой человѣкъ*, съ чего же въ самомъ дѣлѣ вдругъ вздумалъ судить и рядить, да еще старшихъ, и какихъ?

Въ нашемъ новомъ поколѣніи есть странный кряжъ, въ немъ спаяны, какъ въ маятникахъ, самые противоположные элементы, съ одной стороны, оно толкается какимъ-то жестянымъ, костлявымъ, неукладчивымъ самолюбіемъ, заносчивой самонадѣянностью, щепетильной обидчивостью; съ другой, въ немъ поражаетъ обезкураженная подавленность, недовѣріе къ Россіи, преждевременное старчество. Это естественный разультатъ тридцатилѣтняго рабства; въ немъ въ иной формѣ сохранилась наглость начальника, дерзость барина, съ подавленностью подчиненнаго, съ отчаяніемъ ревизской души, отпускаемой въ услуженіе.

Пока меня побранивали наши начальники литературныхъ отдѣленій, время шло себѣ да шло, и наконецъ прошло цѣлыхъ десять лѣтъ. Многое изъ того, что было ново въ 1849, стало въ 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасброднымъ парадоксомъ, перешло въ общественное мнѣніе и много *вѣчныхъ и незыблемыхъ* истинъ прошли съ тогдашнимъ покроемъ платья.

Серьезные умы въ Европѣ стали смотрѣть серьезно. Ихъ очень не много, это только подтверждаетъ мое мнѣніе о Западѣ, но они далеко идутъ, и я очень помню, какъ Т. Карлейль и добродушный Олсопъ (тотъ, который былъ замѣшанъ въ дѣло Орсини) улыбались надъ остатками моей вѣры въ англійскія формы. Но вотъ является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant qui ante nos nostra dixerunt и спасибо тѣмъ, которые послѣ насъ своимъ авторитетомъ утверждаютъ сказанное нами и своимъ талантомъ ясно и мощно передаютъ слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудономъ, ни даже Пьеромъ Леру или другимъ соціалистомъ-изгнанникомъ, раздраженнымъ,—совсѣмъ нѣтъ, она писана однимъ изъ извѣстнѣйшихъ политическихъ экономовъ, однимъ изъ недавнихъ членовъ индійскаго борда, которому три мѣсяца тому назадъ лордъ Стенли предлагалъ мѣсто въ правительствѣ. Человѣкъ этотъ пользуется огромнымъ, заслуженнымъ авторитетомъ, въ Англіи его нехотя читаютъ тори и со злобой виги, его читаютъ на материкѣ тѣ нѣсколько человѣкъ (кромѣ спеціалистовъ), которые вообще читаютъ что нибудь, кромѣ газетъ и памфлетовъ.

Человѣкъ этотъ Джонъ Стюартъ Милль.

Мѣсяцъ тому назадъ онъ издалъ странную книгу въ защиту *свободы мысли, рѣчи и лица*, я говорю странную, потому что неужели не странно, что тамъ, гдѣ за два вѣка Мильтонъ писалъ о томъ же, явилась необходимость снова поднять рѣчь on Liberty. А вѣдь такіе люди, какъ С. Милль, не могутъ писать изъ удовольствія; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитов-

ской. Онъ потому заговорилъ, что зло стало хуже. Мильтонъ защищалъ свободу рѣчи противъ нападеній власти, противъ насилія, и все энергическое и благородное было съ нимъ. У Стюарта Милля врагъ совсѣмъ иной, онъ отстаиваетъ свободу не противъ образованнаго правительства, а противъ *общества*, противъ *нравовъ*, противъ мертвящей силы равнодушія, противъ мелкой нетерпимости, противъ „посредственности."

Это не негодующій старикъ царедворецъ Екатерины, который брюзжитъ, обойденной кавалеріей, надъ юнымъ поколѣніемъ и колетъ глаза зимнему дворцу грановитой палатой. Нѣтъ, это человѣкъ полный силъ, давно живущій въ государственныхъ дѣлахъ и глубоко продуманныхъ теоріяхъ, привыкнувшій спокойно смотрѣть на міръ, и какъ англичанинъ, и какъ мыслитель, и онъ-то наконецъ не вытерпѣлъ и, подвергаясь гнѣву невскихъ регистраторовъ цивилизаціи и москворѣцкихъ крыжниковъ западнаго образованія, закричалъ: „Мы тонемъ!"

Постоянное пониженіе личностей, вкуса, тона, пустота интересовъ, отсутствіе энергіи ужаснули его, онъ присматривается и видитъ какъ ясно все мельчаетъ, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй „добропорядочнѣе," но пошлѣе. Онъ видитъ въ Англіи (то, что Токвиль замѣтилъ во Франціи), что выработываются общіе стадные типы и, серьезно качая головой, говоритъ своимъ современникамъ: Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите — *душа убываетъ*.

Но зачѣмъ же будитъ онъ спящихъ, какой путь, какой выходъ онъ придумалъ для нихъ? Онъ, какъ нѣкогда Іоаннъ Предтеча, грозитъ будущимъ и зоветъ на покаяніе; врядъ второй разъ подвинешь ли этимъ от-

рицательнымъ рычагомъ людей. Стюартъ Милль стыдитъ своихъ современниковъ, какъ стыдилъ своихъ Тацитъ, онъ ихъ этимъ не остановитъ, какъ не остановилъ своихъ Тацитъ. Не только нѣсколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но, можетъ, никакой плотиной въ мірѣ.

„Люди инаго закала, говоритъ онъ, сдѣлали изъ Англіи то, что *она была*, и только люди другаго закала могутъ ее предупредить отъ *паденія*.“

Но это пониженіе личностей, этотъ недостатокъ закала, только патологическій фактъ и признать его очень важный шагъ для выхода, но не выходъ. Стюартъ Милль коритъ больнаго, указывая ему на здоровыхъ праотцевъ; странное леченіе и едва ли великодушное.

Ну, что же начать теперь корить ящерицу допотопнымъ ихтіосавромъ, виновата ли она, что она маленькая, а тотъ большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности, окружающей его среды, закричалъ со страстей и съ горя, какъ богатыри въ нашихъ сказкахъ: „Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?“

Зачѣмъ же онъ его звалъ? Затѣмъ, чтобъ сказать ему, что онъ выродившійся потомокъ сильныхъ праотцевъ и слѣдственно долженъ сдѣлаться такимъ же, какъ они.

Для чего? — Молчаніе.

И Робертъ Оуенъ звалъ людей лѣтъ семдесять сряду и тоже безъ всякой пользы; но онъ звалъ ихъ *на что нибудь*. Это *что нибудь* была ли утопія, фантазія или истина, намъ теперь до этого дѣла нѣтъ; намъ важно то, что онъ звалъ съ цѣлью; а С. Милль, подавляя современниковъ суровыми, рембрантовскими тѣ-

нями временъ Кромвеля и пуританъ, хочетъ, чтобъ вѣчно обвѣшивающіе, вѣчно обмѣривающіе лавочники сдѣлались изъ какой-то поэтической потребности, изъ какой-то душевной гимнастики, героями.

Мы можемъ также вызвать монументальныя, грозныя личности французскаго Конвента и поставить ихъ рядомъ съ бывшими, будущими и настоящими французскими шпіонами и épiciers, и начать рѣчь въ родѣ Гамлета:

Look here, upon this picture and on this...
Hyperion's curls, the front of Love himself;
An eye like Mars...
Look you now, what follows,
Here is your husband...

Это будетъ очень справедливо и еще больше обидно, но неужели отъ этого кто нибудь оставитъ свой пошлый, но удобный бытъ, и все это для того, чтобъ величаво скучать, какъ Кромвель, или стоически нести голову на плаху, какъ Дантонъ.

Тѣмъ было легко такъ поступать, потому что они были подъ господствомъ страстнаго убѣжденія, d'une idée fixe.

Такая idée fixe былъ католицизмъ въ свое время, потомъ протестантизмъ; наука въ эпоху возрожденія, революція въ XVIII столѣтіи.

Гдѣ же эта святая мономанія, этотъ magnum ignotum, этотъ сфинксовской вопросъ нашей цивилизаціи, гдѣ та могущая мысль, та страстная вѣра, то горячее упованіе, которое можетъ закалить тѣло, какъ сталь, довести душу до того судорожнаго ожесточенія, которое не чувствуетъ ни боли, ни лишеній, и твердымъ шагомъ идетъ на плаху, на костеръ?

Посмотрите кругомъ, что въ состояніи одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религія ли

папы съ его незапятнаннымъ рожденіемъ богородицы, или религія безъ папы, съ ея догматомъ воздержанія отъ пива въ субботній день? ариѳметическій ли пантеизмъ всеобщей подачи голосовъ или идолопоклонство монархіи, суевѣріе ли въ республику или суевѣріе въ парламентскія реформы?... Нѣтъ и нѣтъ; все это блѣднѣетъ, старѣетъ и укладывается, какъ нѣкогда боги Олимпа укладывались, когда они съѣзжали съ неба, вытѣсняемые новыми соперниками, подымавшимися съ Голгоѳы.

Только на бѣду ихъ нѣтъ у нашихъ почернѣвшихъ кумировъ, по крайней мѣрѣ С. Милль не указываетъ ихъ.

Знаетъ онъ ихъ или нѣтъ, это сказать трудно.

Съ одной стороны англійскому генію противно отвлеченное обобщеніе и смѣлая логическая послѣдовательность, онъ своимъ скептицизмомъ чуетъ, что логическая крайность, какъ законы чистой математики, неприлагаемы безъ ввода жизненныхъ условій. Съ другой стороны, онъ привыкъ физически и нравственно застегивать пальто на всѣ пуговицы и поднимать воротникъ, это его предостерегаетъ отъ сыраго вѣтра и отъ суровой нетерпимости. Въ той же книгѣ С. Милля мы видимъ примѣръ этому. Двумя - тремя ударами необычайной ловкости онъ опрокинулъ немного падшую на ногу христіанскую мораль, и во во всей книгѣ ничего не сказалъ о христіанствѣ*)

*) „Христіанская нравственность имѣетъ весь характеръ реакціи, это большей частью одинъ протестъ противъ язычества. Ея идеалъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный, страдательный, чѣмъ дѣятельный. Она больше проповѣдуетъ воздержаніе отъ зла, чѣмъ дѣланіе добра. Ужасъ отъ чувственности доведенъ до аскетизма. Награды на небѣ и наказанія въ аду придаютъ самымъ лучшимъ поступкамъ чисто эгоистическій характеръ, и въ этомъ отно-

С. Миль, вмѣсто всякаго выхода, вдругъ замѣчаетъ: „Въ развитіи народовъ, кажется, есть предѣлъ, послѣ котораго онъ останавливается и *дѣлается Китаемъ*."

Когда же это бываетъ?

Тогда, отвѣчаетъ онъ, когда личности начинаютъ стираться, пропадать въ массахъ, когда все подчиняется принятымъ обычаямъ, когда понятіе добра и зла смѣшиваетъ съ понятіемъ сообразности или несообразности съ принятымъ. Гнетъ обычая останавливаетъ развитіе, развитіе собственно и состоитъ изъ стремленія къ *лучшему* отъ обычнаго. Вся исторія состоитъ изъ этой борьбы, и если большая часть человѣчества не имѣетъ исторіи, то это потому, что жизнь ихъ совершенно подчинена обычаю.

Теперь слѣдуетъ взглянуть, какъ нашъ авторъ разсматриваетъ современное состояніе образованнаго міра. Онъ говоритъ, что, не смотря на умственное превосходство нашего времени, все идетъ къ *посредственности*, лица теряются въ толпѣ. Эта collective mediocrity ненавидитъ все рѣзкое, самобытное, выступающее; она проводитъ надъ всѣмъ общій уровень. А такъ какъ въ среднемъ разрѣзѣ у людей не много ума и не много желаній, то сборная посредственность, какъ топкое болото, понимаетъ, съ одной стороны, все желающее вынырнуть, а съ другой, предупреждая безпорядокъ эксцентричныхъ личностей, воспитаніемъ новыхъ поколѣній въ такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведенія состоитъ преимущественно въ томъ,

нія христіанское воззрѣніе гораздо ниже античнаго. Лучшая часть въ нашихъ смутныхъ понятіяхъ объ общественныхъ обязанностяхъ взята изъ греческихъ и римскихъ источниковъ. Все доблестное, благородное, самое понятіе чести передано намъ свѣтскимъ воспитаніемъ нашимъ, а не духовнымъ, проповѣдующимъ слѣпое повиновеніе, какъ высшую добродѣтель." J. S. Mill.

чтобъ жить, какъ другіе. „Горе мущинѣ, а особливо женщинѣ, которые вздумаютъ дѣлать то, *чего никто не дѣлаетъ*; но горе и тѣмъ, которые не дѣлаютъ *того, что дѣлаютъ всѣ*." Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими *дѣлами*, и иной разъ для развлеченія шалятъ въ филантропію (philantrophic hobby) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой - то средѣ принадлежитъ сила и власть, самое правительство по той мѣрѣ мощно, по какой оно служитъ органомъ господствущей среды и понимаетъ его инстинктъ.

Какая же это державная среда? „Въ Америкѣ къ ней принадлежатъ всѣ бѣлые, въ Англіи господствующій слой составляетъ *среднее состояніе*." *)

С. Милль находитъ одно различіе между мертвой неподвижностью восточныхъ народовъ и современнымъ мѣщанскимъ государствомъ. И въ немъ-то, мнѣ кажется, находится самая горькая капля изъ всего кубка полыни, поданнаго имъ. Вмѣсто азіатскаго, коснаго покоя, современные европейцы живутъ, говоритъ онъ, въ пустомъ безпокойствѣ, въ безсмысленныхъ перемѣнахъ: „отвергая особенности, мы не отвергаемъ перемѣнъ, лишь бы онѣ были всякій разъ сдѣланы *всѣми*. Мы бросили своеобычную одежду нашихъ отцовъ и готовы мѣнять два - три раза въ годъ покрой нашего платья, но съ тѣмъ, чтобъ всѣ мѣняли его, и это дѣлается не изъ видовъ красоты или удобства, а для самой перемѣны!"

Если личности не высвободятся отъ этого утягивающаго омута, отъ замаривающей топи, то „Европа, не

*) Пусть читатель вспомнитъ, что было сказано объ этомъ въ „Западныхъ Арабескахъ."

смотря на свои благородные антецеденты и свое христіанство, *сдѣлается Китаемъ.*"

Вотъ мы и возвратились и стоимъ передъ тѣмъ же вопросомъ. На какомъ основаніи будить спящаго; во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая въ мелочь вдохновится, сдѣлается недовольна своей тепершней жизнью, съ желѣзными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изданіями?

Личности не выступаютъ оттого, что нѣтъ достаточнаго повода. За кого, за что или противъ кого имъ выступать? Отсутствіе сильныхъ дѣятелей не причина, а послѣдствіе.

Точка, линія, послѣ которой борьба между желаніемъ *лучшаго* и сохраненіемъ *существующаго* оканчивается въ пользу сохраненія, наступаетъ (кажется намъ) тогда, когда господствующая, дѣятельная, *историческая* часть народа близко подходитъ къ такой формѣ жизни, которая соотвѣтствуетъ ему, это своего рода насыщеніе, сатурація, все приходитъ въ равновѣсіе, успокоивается, продолжаетъ вѣчное одно и то же, до катаклизма, обновленія, разрушенія. Semper idem не требуетъ ни огромныхъ усилій, ни грозныхъ бойцевъ; въ какомъ бы родѣ они ни были, они будутъ лишніе, середь мира не нужно полководцевъ.

Чтобъ не ходить такъ далеко, какъ Китай, взгляните возлѣ на ту страну на Западѣ, которая наибольше отстоялась—на страну, которой Европа начинаетъ сѣдѣть—на Голландію: гдѣ ея великіе государственные люди, гдѣ ея великіе живописцы, гдѣ тонкіе богословы, гдѣ смѣлые мореплаватели? Да на что ихъ? Развѣ она несчастна оттого, что не мятется, не бушуетъ, оттого, что ихъ нѣтъ? Она вамъ покажетъ свои смѣющіяся деревни на обсушенныхъ болотахъ, свои выти-

ранные города, свои выглаженные сады, свой комфортъ, свою свободу, и скажетъ: мои великіе люди пріобрѣли мнѣ эту свободу, мои мореплаватели завѣщали мнѣ это богатство, мои великіе художники украсили мои стѣны и церкви, мнѣ хорошо,—чего же вы отъ меня хотите? Рѣзкой борьбы съ правительствомъ? да развѣ оно тѣснитъ? у насъ и теперь свободы больше, нежели во Франціи когда либо бывало.

Да что же изъ этой жизни?

Что выйдетъ? Да вообще что изъ жизни выходитъ. А потомъ—развѣ въ Голландіи нѣтъ частныхъ романовъ, коллизій, сплетней; развѣ въ Голландіи люди не любятся, не плачутъ, не хохочутъ, не поютъ пѣсень, не пьютъ скидама, не пляшутъ въ каждой деревнѣ до утра? Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что съ одной стороны они пользуются всѣми плодами образованія, наукъ и художествъ, а съ другой—имъ бездна дѣла: гран-пасіансъ торговли, меледа хозяйства, воспитаніе дѣтей по образу и подобію своему; не успѣетъ голландецъ оглянуться, обдосужиться, а ужъ его несутъ на „божью ниву“ въ щегольски отлакированномъ гробѣ, въ то время какъ сынъ запряженъ въ торговое колесо, которое необходимо слѣдуетъ безпрестанно вертѣть, а то дѣла остановятся.

Такъ можно прожить тысячу лѣтъ, если не помѣшаетъ какое нибудь второе пришествіе Бонапартова брата.

Отъ старшихъ братій я прошу позволеніе отступить къ меньшимъ.

Мы не имѣемъ достаточно фактовъ, но можемъ предположить, что животныя породы, такъ какъ они установились, представляютъ послѣдній результатъ долгаго колебанія разныхъ видоизмѣній, ряда совершенствованій

и достиженій. Эта исторія дѣлалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нервъ.

Допотопные животные представляютъ какую-то героическую эпоху этой *книги бытія*, это титаны и богатыри, они мельчаютъ, уравновѣшиваются съ новой средой и какъ только достигаютъ довольно ловкаго и прочнаго типа, начинаютъ типически повторяться и до такой степени, что Улисова собака въ Одисеѣ похожа какъ двѣ капли воды на всѣхъ нашихъ собакъ. И это не все: кто сказалъ, что животные политическіе или общественные, живущіе не только стадомъ, но и съ нѣкоторой организаціей, какъ муравьи и пчелы, что они такъ съ разу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Милліоны поколѣній легли и погибли прежде, чѣмъ они устроились и упрочили свои *китайскіе* муравейники.

Я желалъ бы уяснить этимъ, что если какой нибудь народъ дойдетъ до этого состоянія, соотвѣтственности внѣшняго общественнаго устройства съ своими потребностями, то ему нѣтъ никакой внутренней необходимости, до перемѣны потребностей, идти впередъ, воевать, бунтовать, производить эксцентрическія личности.

Покойное поглощеніе въ стадѣ, въ ульѣ—одно изъ первыхъ условій сохраненія достигнутаго.

До этого полнаго покоя міръ, о которомъ говоритъ С. Милль, не дошелъ. Онъ послѣ всѣхъ своихъ революцій и потрясеній не можетъ ни устояться, ни отстояться, бездна дряни на верху, все мутно, нѣтъ ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной бѣлизны. Въ немъ множество неспѣтаго, уродливаго, даже болѣзненнаго, и въ этомъ отношеніи ему предстоитъ дѣйствительно на его собственномъ пути еще шагъ впередъ. Ему надобно пріобрѣсти не энерги-

ческія личности, не эксцентрическія страсти, а честную мораль своего положенія. Англичанинъ перестанетъ обвѣшивать, французъ—помогать всякой полиціи, этого требуетъ не только raspectability, но и прочность быта.

Тогда Англія можетъ, по словамъ С. Милля, превратиться въ Китай (и конечно въ усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е. облегчая его по мѣрѣ возрастанія обязательнаго обычая, который лучше всѣхъ судовъ и наказаній заморитъ волю. А Франція можетъ въ это время взойти въ красивое, военное русло персидской жизни, расширенное всѣмъ, что образованная централизація даетъ въ руки власти, вознаграждая себя за потерю всѣхъ человѣческихъ правъ, блестящими набѣгами на сосѣдей и приковывая другіе народы къ судьбамъ централизованной деспотіи.... черты зуавовъ уже теперь больше принадлежатъ азіатскому типу, чѣмъ европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятія, я тороплюсь сказать, что здѣсь рѣчь идетъ не о моихъ желаніяхъ, ни даже о моихъ мнѣніяхъ. Трудъ мой чисто логическій, я хотѣлъ *развернуть скобки* формулы, въ которой выраженъ результатъ С. Милля, я хотѣлъ отъ его личностей-дифференціаловъ взять историческій интегралъ.

Стало быть, вопросъ не можетъ быть въ томъ, учтиво ли пророчить Англіи судьбы Китая (это же сдѣлалъ не я, а онъ самъ), и деликатно ли предсказывать Франціи, что она будетъ Персіей? Хотя по справедливости я и не знаю, отчего же Китай и Персію можно безнаказанно оскорблять. Вопросъ дѣйствительно важный, до котораго С. Милль не коснулся, вотъ въ чемъ: существуютъ ли всходы новой силы, которые могли бы обно-

вить старую кровь, есть ли подсѣды и здоровые ростки, чтобъ прорости измельчавшуюся траву? А тотъ вопросъ сводится на то, потерпитъ ли народъ, чтобъ его окончательно употребили для удобренія почвы новому Китаю и новой Персіи, на безвыходную, черную работу, на невѣжество и проголодь; позволяя въ замѣнъ, какъ въ лотерейной игрѣ, одному на десять тысячъ, въ примѣръ, ободреніе и усмиреніе прочимъ, разбогатѣть и сдѣлаться изъ снѣдающаго—обѣдающимъ.

Вопросъ этотъ разрѣшатъ событія,—теоретически его не разрѣшишь.

Если народъ сломится, новый Китай и новая Персія неминуемы.

Но если народъ сломитъ, неминуемъ *соціальный переворотъ!*

Не это ли и есть *идея*, которая можетъ быть произведена въ idée fixe, не смотря на пожиманіе плечъ аристократіи, ни на скрежетъ зубовъ мѣщанъ?

Народъ это чуетъ и очень, прежней дѣтской вѣры въ законность, или по крайней мѣрѣ въ справеливость того, что дѣлается,—нѣтъ; есть страхъ передъ силой и неумѣнье возвести въ общее правило частную боль,— но слѣпаго довѣрія нѣтъ. Во Франціи народъ грозно заявилъ свой протестъ въ то самое время, когда среднее состояніе въ упоеніи отъ власти и силы вѣнчало себя на царство подъ именемъ республики и развалясь съ Марастомъ на креслахъ Людовика XV въ Версалѣ, диктовало законы; народъ возсталъ съ отчаянія, видя, что онъ опять остался за дверями и безъ куска хлѣба; онъ возсталъ варварски, неимѣя никакого рѣшенія, безъ плана, безъ вождей, безъ средствъ, но въ энергическихъ личностяхъ у него недостатка не было и еще больше—

онъ съ другой стороны вызвалъ этихъ хищныхъ, кровожадныхъ коршуновъ, въ родѣ Кавеньяка.

Народъ побили на голову. Вѣроятности Персіи *поднялись*, и съ тѣхъ поръ все идутъ въ гору.

Какъ англійскій работникъ поставитъ свой соціальный вопросъ, мы не знаемъ, но воловья упорность его велика. Съ его стороны числовое большинство, но сила не съ его стороны. Число ничего не доказываетъ. Три-четыре линейныхъ казака, да два-три гарнизонныхъ солдата водятъ изъ Москвы въ Сибирь по пятисотъ колондиковъ.

Если народъ и въ Англіи будетъ побитъ, какъ въ Германіи во время крестьянскихъ войнъ, какъ во Франціи въ іюньскіе дни,—тогда Китай, пророчимый Стюартомъ Миллемъ, не далекъ. Переходъ въ него сдѣлается незамѣтно, не утратится, какъ мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкіе, люди чувствительные говорятъ, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, какъ согласиться съ ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоитъ именно въ томъ, что та идея, которая можетъ спасти народъ и устремить Европу къ новымъ судьбамъ—*невыгодна* господствующему классу, что ему, еслибъ онъ былъ послѣдователенъ и смѣлъ, *выгодно* только государство съ американскимъ невольничествомъ!

Но кто же изъ нихъ правъ? Праваго между голодныхъ и сытымъ найти не мудрено, но это ни къ чему не ведетъ, — Іисусъ Христотъ развѣ не былъ правъ противъ Синагоги,— однако же его распяли.

За то черезъ четыре вѣка римская имперія сдѣлалась *христіанской*.

А христіанство *языческимъ!* (*)

*) Прибавленіе о книгѣ С. Милля писано въ 1859 году.

PATER V. PETSCHERINE

— Вчера я видѣлъ Печерина.

Я вздрогнулъ при этомъ имени. „Какъ спросилъ я, *того* Печерина, онъ здѣсь?“

— Кто, reverend Petscherine? да, онъ здѣсь.

— Гдѣ же онъ?

— Въ іезуитскомъ монастырѣ С. Мери Чапель въ Клапамѣ.

Reverend Petscherine!... И этотъ грѣхъ лежитъ на Николаѣ. Я Печерина лично не зналъ, но слышалъ объ немъ очень много отъ Рѣдкина, Крюкова, Грановскаго. Молодымъ доцентомъ возвратился онъ изъ за границы, на каѳедру греческаго языка въ московскомъ университетѣ; это было въ одну изъ самыхъ томныхъ эпохъ николаевскаго гоненія между 1835 и 1840. Мы были въ ссылкѣ, молодые профессора еще не пріѣзжали, *Телеграфъ* былъ запрещенъ, *Европеецъ* былъ запрещенъ, *Телескопъ* запрещенъ, Чаадаевъ объявленъ сумашедшимъ. Только послѣ 1848 года, терроръ въ Россіи пошелъ еще дальше.

Но угорѣлое самовластіе послѣднихъ лѣтъ николаевскаго царствованія явнымъ образомъ было *пятымъ дѣйствіемъ*. Тутъ уже становилось замѣтно, что не только что-то ломитъ и губитъ, но что-то само ломится и

гибнетъ, слышно было какъ полъ трещитъ — но подъ разсѣдающимся сводомъ.

Въ тридцатыхъ годахъ, совсѣмъ напротивъ, опьяненіе власти, шло обычнымъ порядкомъ, будничнымъ шагомъ; кругомъ глушь, молчаніе, — все было безотвѣтно, безчеловѣчно, безнадежно, и притомъ чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взоръ, искавшій сочувствія, встрѣчалъ лакейскую угрозу или испугъ, отъ него отворачивались или оскорбляли его. Печеринъ задыхался въ этомъ неаполитанскомъ гротѣ рабства, имъ овладѣлъ ужасъ, тоска, надобно было бѣжать, бѣжать во что бы ни стало, изъ этой проклятой страны. Для того, чтобъ уѣхать, надобны деньги. Печеринъ сталъ давать уроки, свелъ свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходилъ, миновалъ товарищескія сходки и накопивши немного денегъ уѣхалъ.

Черезъ нѣкоторое время онъ написалъ гр. С. Строгонову письмо; онъ увѣдомлялъ его о томъ, что онъ не воротится больше. Благодаря его, прощаясь съ нимъ, Печеринъ говорилъ о невыносимой духотѣ, отъ которой онъ бѣжалъ, и заклиналъ его *беречь* несчастныхъ молодыхъ профессоровъ, обреченныхъ своимъ развитіемъ на тѣ же страданія, быть ихъ щитомъ отъ ударовъ грубой силы.

Строгоновъ показывалъ это письмо многимъ изъ профессоровъ.

Москва на нѣкоторое время замолкла объ немъ, и вдругъ мы услышали, съ какимъ-то безконечно тяжелымъ чувствомъ, что Печеринъ сдѣлался іезуитомъ, что онъ на искусѣ въ монастырѣ. Бѣдность, безучастіе, одиночество сломили его: я перечитывалъ его „Торжество Смерти!“ и спрашивалъ себя—неужели этотъ человѣкъ можетъ быть католикомъ, іезуитомъ? Вѣдь онъ

уже ушелъ изъ царства, въ которомъ *исторія дѣлается* подъ палкой квартальнаго и подъ надзоромъ жандарма. Зачѣмъ же ему такъ скоро занадобилась другая власть, другое указаніе?

Разобщеннымъ показался себѣ, сирымъ русскій человѣкъ въ сортированномъ и по горло занятомъ Западѣ, ему было слишкомъ безродно. Когда веревка, на которой онъ былъ привязанъ, порвалась, и судьба его, вдругъ отрѣшенная отъ всякаго внѣшняго направленія, попала въ его собственныя руки, онъ не зналъ что дѣлать, не умѣлъ съ ней управляться, и сорвавшись съ орбиты, безъ цѣли и границъ, упалъ въ іезуитскій монастырь!

На другой день, часа въ два, я отправился въ S. Mary Chapel. Тяжелая, дубовая дверь заперта, — я стукнулъ три раза кольцемъ, дверь отворилась и явился тощій, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, въ монашескомъ подрясникѣ, въ рукахъ у него былъ молитвенникъ.

— Кого вамъ? спросилъ братъ привратникъ по англійски.

— Reverend Father Petcherine.

— Позвольте ваше имя.

— Вотъ карточка и письмо. Въ письмѣ я вложилъ объявленіе о русской типографіи.

— Взойдите, сказалъ молодой человѣкъ, запирая снова за мною дверь. Подождите здѣсь, и онъ указалъ въ обширныхъ сѣняхъ на два, три большихъ стула со старинной рѣзьбой.

Минутъ черезъ пять, братъ привратникъ возвратился и сказалъ мнѣ съ небольшимъ акцентомъ по французски, что le père Petcherine sera enchanté de me recevoir dans un instant.

Послѣ этого онъ повелъ меня черезъ какой-то рефекторій, въ высокую, небольшую комнату, слабо освѣщенную, и снова просилъ сѣсть. На стѣнѣ было высѣченное изъ камня распятіе и, если не ошибаюсь, съ другой стороны также богородица. Кругомъ тяжелаго массивнаго стола стояли большія деревянныя кресла и стулья. Противоположная дверь вела сѣнями въ обширный садъ, его свѣтская зелень и шумъ листьевъ были какъ-то не на мѣстѣ.

Братъ привратникъ показалъ мнѣ на стѣнѣ надпись, въ ней было сказано, что reverend Fathers принимаютъ имѣющихъ въ нихъ нужду, отъ 4 до 6 часовъ. Еще не было четырехъ.

— Вы кажется не англичанинъ и не французъ? спросилъ я его, вслушиваясь въ его акценты.

— Нѣтъ.

— Sind sie ein Deutscher?

— O nein, mein Herr, отвѣчалъ онъ улыбаясь, ich bin beinah Ihr Landsmann, ich bin ein Pole.

Ну — брата привратника выбрали не дурно, онъ говорилъ на четырехъ языкахъ. Я сѣлъ, онъ ушелъ: странно мнѣ было видѣть себя въ этой обстановкѣ. Черныя фигуры прохаживались въ саду, человѣка два въ полумонашескомъ платьѣ прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво, кланялись, глядя въ землю, я всякой разъ привставалъ, и также серьезно откланивался имъ. Наконецъ вышелъ, небольшой ростомъ, очень пожилой священникъ въ граненой шапкѣ, и во всемъ одѣяніи, въ которомъ священники ходятъ въ монастыряхъ. Онъ шелъ прямо ко мнѣ, шурстя своей сутаной, и спросилъ меня чистѣйшимъ французскимъ языкомъ: „Вы желали видѣть Печерина?“

Я отвѣчалъ, что — я.

— Чрезвычайно радъ вашему посѣщенію — сказалъ онъ, протягивая руку, сдѣлайте одолженіе, присядьте.

— Извините—сказалъ я, нѣсколько смѣшавшись, что не узналъ его, мнѣ въ голову не приходило, что встрѣчу его костюмированнаго—ваше платье...

Онъ слегка улыбнулся, и тотчасъ продолжалъ: „Давно не слыхалъ я никакой вѣсти о родномъ краѣ, объ нашихъ, объ университетѣ, вы вѣроятно знали Рѣдкина и Крюкова.“

Я смотрѣлъ на него, лице его было старо, старше лѣтъ; видно было, что подъ этими морщинами много прошло и прошло tout de bon, т. е. умерло, оставивъ только свои надгробные слѣды въ чертахъ. Искуственный, клерикальный покой, которымъ особенно монахи какъ сулемой заморяютъ цѣлыя стороны сердца и ума, былъ уже и въ его рѣчи и во всѣхъ движеніяхъ. Католическій священникъ всегда сбивается на вдову, онъ также въ траурѣ и въ одиночествѣ, онъ также вѣренъ чему-то, чего нѣтъ, и утоляетъ настоящія страсти раздраженіемъ фантазіи.

Когда я ему разсказалъ объ общихъ знакомыхъ, и о кончинѣ Крюкова, при которой я былъ, о томъ, какъ его студенты несли черезъ весь городъ на кладбище, потомъ объ успѣхахъ Грановскаго, объ его публичныхъ лекціяхъ — мы оба какъ-то призадумались; что происходило въ черепѣ подъ граненой шапкой—не знаю; но Печеринъ снялъ ее, какъ будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставилъ на столъ. Разговоръ не шелъ. Sortons un peu au jardin, сказалъ Печеринъ, le temps est si beau, et c'est si rare à Londres.

— Avec le plus grand plaisir. Да скажите пожалуста, для чего же мы съ вами говоримъ по французски?

— И то! будемте говорить по русски, я думаю, что уже совсѣмъ разучился.

Мы вышли въ садъ. Разговоръ снова перешелъ къ университету и Москвѣ. „О, сказалъ Печеринъ, что это было за время, когда я оставилъ Россію, безъ содроганія не могу вспомнить!

— Подумайте же, что теперь дѣлается, нашъ Саулъ совсѣмъ сошелъ съ ума послѣ 1848.—И я ему передалъ нѣсколько гнуснѣйшихъ фактовъ.

— Бѣдная страна, особенно для меньшинства, получившаго несчастный даръ образованія. А вѣдь какой добрый народъ, я часто вспоминаю нашихъ мужиковъ, когда бываю въ Ирландіи, они чрезвычайно похожи; Келтійскій землепашецъ такой же ребенокъ какъ нашъ. Побывайте въ Ирландіи, вы сами убѣдитесь въ этомъ.

Такъ длился разговоръ съ полчаса, наконецъ собираясь оставить его, я сказалъ ему:

— У меня есть просьба къ вамъ.

— Что такое, сдѣлайте одолженіе?

— У меня были въ рукахъ въ Петербургѣ нѣсколько вашихъ стихотвореній—въ числѣ ихъ есть трилогія — *Поликратъ Самосскій*, *Торжество смерти*, и еще что то, нѣтъ ли у васъ ихъ, или не можете ли вы мнѣ ихъ дать?

— Какъ это вы вспомнили такой вздоръ. Это незрѣлыя, ребяческія произведенія иного времени и иного настроенія.

— Можетъ, замѣтилъ я, улыбаясь, *поэтому-то* они мнѣ и нравятся. Да есть они у васъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, гдѣ же!...

— И продиктовать не можете?

— Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ.

— А если я ихъ найду гдѣ нибудь въ Россіи, — печатать позволите.

— Я, право, на эти ничтожныя произведенія, смотрю точно будто другой писалъ; мнѣ до нихъ дѣла нѣтъ, какъ больному до бреда послѣ выздоровленія.

— Коли вамъ дѣла нѣтъ, стало я могу печатать ихъ, положимъ безъ имени.

— Неужели эти стихи вамъ нравятся до сихъ поръ?

— Это мое дѣло, вы мнѣ скажите, позволяете мнѣ ихъ печатать или нѣтъ?

Прямаго отвѣта онъ и тутъ не далъ, я пересталъ приставать.

— А что же, спросилъ Печеринъ, когда я прощался, вы мнѣ не привезли ничего изъ вашихъ публикацій, я помню въ журналахъ говорили, года три тому назадъ, объ одной книгѣ изданной вами, кажется на нѣмецкомъ языкѣ?

— Ваше платье, отвѣчалъ я, скажетъ вамъ, по какимъ соображеніямъ я не долженъ былъ привести ее, примите это съ моей стороны за знакъ уваженія и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь, мы можемъ скорбѣть о заблужденіи, молиться объ исправленіи, желать его, и во всякомъ случаѣ любить человѣка.

— Мы разстались.

Онъ не забылъ ни книги, ни моего отвѣта, и дня черезъ три написалъ ко мнѣ слѣдующее письмо по французски.

J. M. J. A. St Mary's Clapham, 11 апрѣля, 1853 г.

Я не могу скрыть отъ васъ той симпатіи, которую возбуждаетъ въ моемъ сердцѣ слово свободы,— свободы

для моей несчастной родины! Не сомнѣвайтесь ни на минуту, въ искренности моего желанія — возрожденія Россіи. При всемъ этомъ, я далеко не во всемъ согласенъ съ вашей программой. Но это ничего не значитъ. Любовь католическаго священника обнимаетъ всѣ мнѣнія и всѣ партіи. Когда ваши драгоцѣннѣйшія упованія обманутъ васъ, когда силы міра сего поднимутся на васъ, вамъ еще останется вѣрное убѣжище въ сердцѣ католическаго священника: въ немъ вы найдете дружбу безъ притворства, сладкія слезы и миръ, который свѣтъ не можетъ вамъ дать. Пріѣзжайте ко мнѣ, любезный соотечественникъ. Я былъ бы очень радъ васъ видѣть еще разъ, до моего отъѣзда въ Гернсей. Не забудьте, пожалуста, привести вашу брошюру мнѣ.

В. Печеринъ.

Я свезъ ему книги, и черезъ четыре дня получилъ слѣдующее письмо.

S-t Pierre, Jsland of Guernsey.
J. M. J. A. Chapelle Catholique, 15 апрѣля, 1853 г.

Я прочелъ обѣ ваши книги, съ большимъ вниманіемъ. Одна вещь особенно поразила меня, мнѣ кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философію, и на изящную словесность (belle littérature). Неужели вы думаете, что онѣ призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидѣтельство исторіи совершенно противъ васъ. Нѣтъ примѣра, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философіей и словесностью. Скажу просто, (tranchons le mot) одна религія служила всегда основой государствъ, философія и словесность—это увы! уже послѣдній цвѣтокъ общественнаго древа. Когда философія и литература достигаютъ своей апогеи, когда философы, орато-

ры и поэты господствуютъ и разрѣшаютъ всѣ общественные вопросы, тогда конецъ, паденіе, тогда смерть общества. Это доказываетъ Грецiя и Римъ, это доказываетъ такъ называемая александринская эпоха; никогда философiя не была больше изощрена, никогда литература цвѣтущѣе, а между тѣмъ, это была эпоха глубокаго общественнаго паденiя. Когда философiя бралась за пересозданiе общественнаго порядка, она постоянно доходила до жестокаго деспотизма, напримѣръ въ Фридрихѣ II, Екатеринѣ II, Iосифѣ II и во всѣхъ неудавшихся революцiяхъ. У васъ вырвалась фраза, счастливая или несчастная, какъ хотите: вы говорите, „что фаланстеръ ничто иное, какъ преобразованная казарма и коммунистъ можетъ быть только видоизмѣненiе николаевскаго самовластья.“ Я вообще вижу какой-то меланхолическiй отблескъ на васъ и на вашихъ московскихъ друзьяхъ. Вы даже сами сознаетесь, что вы всѣ Онѣгины, т. е. что вы и ваши — въ отрицанiи, въ сомнѣнiи, въ отчаянiи. Можно ли перерождать общество на такихъ основанiяхъ?

Можетъ я высказалъ вещь избитую, и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобъ начать контроверзу, но я считалъ себя обязаннымъ сдѣлать это замѣчанiе, потому что иногда лучшiе умы и благороднѣйшiя сердца ошибаются въ основѣ, сами не замѣчая того. Для того я это пишу вамъ, чтобъ доказать, какъ внимательно читалъ я вашу книгу, и дать новый знакъ того уваженiя и любви, съ которыми...

В. Печеринъ.

На это я отвѣчалъ ему по русски.

25, Euston Square, 21 апрѣля, 1853 г.

Почтеннѣйшій соотечественникъ,

Душевно благодарю васъ, за ваше письмо, и прошу позволеніе сказать нѣсколько словъ à la hate о главныхъ пунктахъ.

Я совершенно согласенъ съ вами, что литература, какъ осенніе цвѣты, является во всемъ блескѣ передъ смертью государствъ. Древній Римъ не могъ быть спасенъ щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни вольтеріанизмомъ Лукіяна, ни нѣмецкой философіей Прокла. Но замѣтьте, что онъ равно не могъ быть спасенъ ни елевзинскими таинствами, ни Аполлономъ Тіанскимъ, ни всѣми опытами продолжить и воскресить язычество.

Это было не только невозможно, но и ненужно. Древній міръ вовсе не надобно было спасать, онъ дожилъ свой вѣкъ, и новый міръ шелъ ему на смѣну. Европа совершенно въ томъ же положеніи; литература и философія не сохранятъ дряхлыхъ формъ, а толкнутъ ихъ въ могилу, разобьютъ ихъ, освободятъ отъ нихъ.

Новый міръ—точно также приближается, какъ тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвавъ фаланстеръ—казармой, нѣтъ, всѣ доселѣ явившіяся ученія и школы соціалистовъ, отъ С. Симона до Прудона, который представляетъ одно отрицаніе— бѣдны, это первый лепетъ, это чтеніе по складамъ, это Терапевты и Ессеніане древняго Востока. Но кто же не видитъ, не чуетъ сердцемъ огромнаго содержанія, просвѣчивающаго черезъ одностороннія попытки, или кто же казнитъ дѣтей за то, что у нихъ трудно рѣжутся зубы или выходятъ вкось?

Тоска современной жизни—тоска сумерокъ, тоска пе-

рехода, предчувствія. Звѣри безпокоятся передъ землетрясеніемъ.

Къ тому же все остановилось. Одни хотятъ насильственно раскрыть дверь будущему, другіе насильственно не выпускаютъ прошедшаго; у однихъ впереди пророчества, у другихъ—воспоминанія. Ихъ *работа* состоитъ въ томъ, чтобъ мѣшать другъ другу, и вотъ тѣ и другіе стоятъ въ болотѣ.

Рядомъ другой міръ—Русь. Въ основѣ его — коммунистическій народъ, еще дремлющій, покрытый поверхностной пленкой образованныхъ людей, дошедшихъ до состоянія Онѣгина, до отчаянія, до эмиграціи, до вашей, до моей судьбы. Для насъ это горько. Мы жертвы того, что не во время родились; для *дѣла* это безразлично, по крайней мѣрѣ не имѣетъ того смысла.

Говоря о революціонномъ движеніи въ новой Россіи, я впередъ сказалъ, что съ Петра I русская исторія — исторія дворянства и правительства. Въ дворянствѣ находится революціонный ферментъ; онъ не имѣлъ въ Россіи другаго поприща—яркаго, кроваваго, на площади—кромѣ поприща литературнаго, тамъ я его и прослѣдилъ.

Я имѣлъ смѣлость сказать (въ письмѣ къ Мишле), что образованные русскіе *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли въ отрицаніи, чѣмъ напр. французы. Въ отрицаніи чего? Разумѣется, стараго міра.

Онѣгинъ рядомъ съ праздным отчаяніемъ доходитъ теперь до положительныхъ надеждъ. Вы ихъ, кажется, не замѣтили. Отвергая Европу въ ея изжитой формѣ, отвергая Петербургъ, т. е. опять таки Европу, но переложенную на наши нравы; слабые и оторванные отъ народа—мы гибли. Но мало по малу развивалось нѣчто

новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у Панславистовъ. Этотъ новый элементъ, элементъ вѣры въ силу народа, элементъ проникнутый любовью. Мы съ нимъ только начали понимать народъ. Но мы далеки отъ него. Я и не говорю, чтобъ *намъ* досталась участь пересоздать Россію, и то хорошо, что мы привѣтствовали русскій народъ и догадались, что онъ принадлежитъ къ грядущему міру.

Еще одно слово. Я не смѣшиваю науки съ литературно-философскимъ развитіемъ. Наука, если и не пересоздаетъ государства, то и не падаетъ въ самомъ дѣлѣ съ нимъ. Она средство, память рода человѣческаго, она побѣда надъ природой, освобожденіе. Невѣжество, *одно невѣжество*—причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* въ животномъ состояніи. Наука, одна наука можетъ теперь поправить это, и дать имъ кусокъ хлѣба и кровъ. Не пропагандой, а химіей, а механикой, технологіей, желѣзными дорогами она можетъ поправить мозгъ, который вѣками сжимали физически и нравственно.

Я буду сердечно радъ...

Черезъ двѣ недѣли я получилъ отъ о. Печерина слѣдующее письмо.

J. M. J. A.

St. Mary's, Clapham 3 Мая 1853.

Я вамъ отвѣчаю по французски по причинамъ, которыя вы знаете. Не могъ писать я къ вамъ прежде, потому что былъ обремененъ занятіями въ Гернсеѣ. Мало остается времени на философскія теоріи, когда живешь въ самой серединѣ животрепещущей дѣйствительности; нѣтъ досуга разрѣшать спекулятивные вопросы о будущихъ судьбахъ человѣчества, когда человѣчество съ

костями и плотью приходитъ изливать въ вашу грудь свои скорби и требуетъ совѣта и помощи.

Признаюсь вамъ откровенно, ваше послѣднее письмо навело на меня ужасъ, и ужасъ очень эгоистическій, признаюсь и въ этомъ.

Что будетъ съ нами, когда *ваше* образованіе (votre civilisation à vous) одержитъ побѣду. Для васъ *наука* все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимаетъ всѣ способности человѣка, видимое и невидимое, наука—такъ какъ ее понималъ міръ до сихъ поръ; но наука ограниченная, узкая, наука матеріальная, которая разбираетъ и разсѣкаетъ вещество, и ничего не знаетъ кромѣ его. Химія, механика, технологія, паръ, электричество, великая наука пить и ѣсть, поклоненіе личности (le culte de la personne) какъ бы сказалъ Мишель Шевалье. Если *эта* наука восторжествуетъ, горе намъ! Во времена гоненій римскихъ императоровъ христіане имѣли по крайней мѣрѣ возможность бѣгства въ степи Египта, мечъ тирановъ останавливался у этого непереходимаго для нихъ предѣла. А куда бѣжать отъ тиранства вашей матеріальной цивилизаціи? Она сглаживаетъ горы, вырываетъ каналы, прокладываетъ желѣзныя дороги, посылаетъ пароходы, журналы ея проникаютъ до каленыхъ пустынь Африки, до непроходимыхъ лѣсовъ Америки. Какъ нѣкогда христіанъ влекли на амфитеатры, чтобъ ихъ отдать на посмѣяніе толпы, жадной до зрѣлищъ, такъ повлекутъ теперь насъ, людей молчанія и молитвы, на публичныя торжища, и тамъ спросятъ: „Зачѣмъ вы бѣжите отъ нашего общества? Вы должны участвовать въ нашей матеріальной жизни, въ нашей торговлѣ, въ нашей удивительной индустріи. Идите витійствовать на площади, идите проповѣдѣвать политическую экономію, обсуживать паденіе и возвыше-

ніе курса, идите работать на наши фабрики, направлять паръ и электричество. Идите предсѣдательствовать на нашихъ пирахъ, рай здѣсь на землѣ,—будемъ ѣсть и пить, вѣдь мы завтра умремъ!" Вотъ что меня приводитъ въ ужасъ, ибо гдѣ же найти убѣжище отъ тиранства матеріи, которая больше и больше овладѣваетъ всѣмъ.

Простите, если я сколько нибудь преувеличилъ темныя краски. Мнѣ кажется, что я только довелъ до законныхъ послѣдствій основанія, положенныя вами.

Стоило ли покидать Россію изъ за умственнаго каприза (caprice de spiritualité). Россія именно начала съ науки, такъ какъ вы ее понимаете, она продолжаетъ наукой. Она въ рукахъ своихъ держитъ гигантскій рычагъ матеріальной мощи, она призываетъ всѣ таланты на служеніе себѣ и на пиръ своего матеріальнаго благосостоянія, она сдѣлается самая образованная страна въ мірѣ, провидѣніе ей дало въ удѣлъ матеріальный міръ, она сдѣлаетъ рай изъ него для своихъ избранныхъ. Она понимаетъ цивилизацію именно такъ, какъ вы ее понимаете. Матеріальная наука составляла всегда ея силу. Но мы, вѣрующіе въ безсмертную душу и въ будущій міръ, какое намъ дѣло въ этой цивилизаціи настоящей минуты? Россія никогда не будетъ меня имѣть своимъ подданнымъ.

Я изложилъ мои идеи съ простотою для того, чтобы уяснить намъ другъ друга. Извините, если я внесъ въ слова мои излишнюю горячность. Такъ какъ я ѣду снова въ Ирландію въ пятницу утромъ, мнѣ будетъ невозможно зайти къ вамъ. Но я буду очень радъ, если вамъ будетъ удобно посѣтить меня въ середу или въ четвергъ послѣ обѣда.

Примите и проч. В. Печеринъ.

Я ему отвѣчалъ на другой день.

25, Euston Square, 4 мая 1853.

Почтеннѣйшій соотечественникъ,

Я былъ у васъ для того, чтобы пожать руку русскому, котораго имя мнѣ было знакомо, котораго положеніе такъ сходно съ моимъ... Не смотря на то, что судьба и убѣжденія васъ поставили въ торжествующіе ряды побѣдителей, меня — въ печальный станъ побѣжденныхъ, я не думалъ коснуться разницы нашихъ мнѣній. Мнѣ хотѣлось видѣть русскаго, мнѣ хотѣлось принесть вамъ живую вѣсть о родинѣ. Изъ чувства глубокой деликатности я не предложилъ вамъ моихъ брошюръ, вы сами желали ихъ видѣть. Отсюда ваше письмо, мой отвѣтъ и второе письмо ваше отъ 3 марта. Вы нападаете на меня, на мои мнѣнія (преувеличенныя и не вполнѣ раздѣляемыя мною), нельзя же мнѣ не защищаться. Я не давалъ того значенія слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вамъ только писалъ, что я совокупность всѣхъ побѣдъ надъ природой и всего развитія, разумѣется, ставлю внѣ беллетристики и отвлеченной философіи.

Но это предметъ длинный и, безъ особаго вызова, не хочется повторять все, такъ много разъ сказанное объ немъ. Позвольте мнѣ лучше успокоить васъ на счетъ вашего страха о будущности людей, любящихъ созерцательную жизнь. Наука не есть ученіе или доктрина и потому она не можетъ сдѣлаться ни правительствомъ, ни указомъ, ни гоненіемъ. Вы вѣрно хотѣли сказать о торжествѣ соціальныхъ идей, свободы. Въ такомъ случаѣ возьмите страну самую „матерьяльную“ и самую свободную, Англію. Люди созерцательные, такъ какъ

утописты, находятъ въ ней уголъ для тихой думы и трибуну для проповѣди. А еще Англія, монархическая и протестантская, далека отъ полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колесъ, подвозящихъ хлѣбъ насущный толпѣ голодной и полуодѣтой? Не запрещаютъ же у насъ, для того, чтобы не безпокоить лирическую нѣгу, молотить хлѣбъ.

Созерцательныя натуры будутъ всегда, вездѣ; имъ будетъ привольнѣе въ думахъ и тиши, пусть ищутъ онѣ себѣ тогда тихаго мѣста; кто ихъ будетъ безпокоить, кто звать, кто преслѣдовать; ихъ ни гнать, ни *поддерживать* никто не будетъ. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшенія жизни массъ, потому что производство этого улучшенія *можетъ* обезпокоить слухъ лицъ, не хотящихъ слышать ничего внѣшняго. Тутъ даже самоотверженія никто не проситъ, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торгъ перенесть слѣдуетъ, а отойти отъ него. Но журналы всюду идутъ слѣдомъ,—кто же изъ *созерцательныхъ* натуръ зависитъ отъ premier Paris или premier Londres?

Вотъ видите, если вмѣсто свободы восторжествуютъ антиматеріальное начало и монархическій принципъ, тогда укажите *намъ* мѣсто, гдѣ насъ, не то что не будутъ безпокоить, а гдѣ насъ не будутъ вѣшать, жечь, сажать на колъ, какъ это теперь отчасти дѣлается въ Римѣ и Миланѣ, во Франціи и Россіи.

Кому же слѣдуетъ бояться? Оно конечно—смерть не важна, sub specie eternitatis, да вѣдь съ этой точки зрѣнія и все остальное не важно.

Простите мнѣ, П. С., откровенное противорѣчіе вашимъ словамъ и подумайте, что мнѣ было невозможно иначе отвѣчать.

Душевно желаю, чтобы вы хорошо совершили ваше путешествіе въ Ирландію.

Этимъ и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Сѣрая мгла европейскаго горизонта зардѣлась заревомъ крымской войны, мгла отъ него стала еще чернѣй и, вдругъ, середь кровавыхъ вѣстей походовъ и осадъ, читаю я въ газетахъ, что тамъ-то въ Ирландіи отданъ подъ судъ rever. father Vladimir Petcherin, native a Russian, за публичное сожженіе на площади протестантской библіи. Гордый британскій судья, взявъ въ разсчетъ безумный поступокъ и то, что виноватый—русскій, а Англія съ Россіей въ войнѣ, ограничился отеческимъ наставленіемъ вести себя впредь на улицахъ благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или онъ часто снимаетъ граненую шапку и ставитъ ее устало на столъ?

РОБЕРТЪ ОУЭНЪ.

ПОСВЯЩЕНО К—У.

Ты все поймешь, ты все оцѣнишь!

Shut up the world at large, let Bedlam out
And you will be perhaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of « soi-disant » sound mind,
This I could prove beyond a single doubt.
Were there a jot of sense among mankind;
But till that point d'appui is found, alas!
Like Archimedes, I leave earth as 't was.

BYRON. DON-JUAN, C. XIV—84.

I.

... Вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ, въ 1852 году, я получилъ приглашеніе отъ одной дамы; она звала меня на нѣсколько дней къ себѣ на дачу въ Seven Oaks. Я съ ней познакомился въ Ниццѣ, въ 50 году, черезъ Маццини. Она еще застала домъ мой свѣтлымъ и такъ оставила его. Мнѣ захотѣлось ее видѣть; я поѣхалъ.

Встрѣча наша была неловка. Слишкомъ много чернаго было со мною съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались. Если человѣкъ не хвастаетъ своими бѣдствіями, то онъ ихъ стыдится, и это чувство стыда всплываетъ при всякой встрѣчѣ съ прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мнѣ руку и повела меня въ паркъ. Это былъ первый старинный англійскій

паркъ, который я видѣлъ, и одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ. До него со временъ Елисаветы не дотрогивалась рука человѣческая; тѣнистый, мрачный, онъ росъ безъ помѣхи и разростался въ своемъ аристократически-монастырскомъ удаленіи отъ міра. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворецъ былъ пустъ; не смотря на то, что въ немъ жила одинокая старуха, барыня, никого не было видно; только сѣдой привратникъ, сидѣвшій у воротъ, съ нѣкоторой важностью замѣчалъ входящимъ въ паркъ, чтобъ въ обѣденное время не ходить мимо замка. Въ паркѣ было такъ тихо, что лани гурьбой перебѣгали большія аллеи, спокойно пріостанавливались и безпечно нюхали воздухъ, приподнявши морду. Нигдѣ не раздавался никакой посторонній звукъ и вороны каркали, точно какъ въ старомъ саду у насъ, въ Васильевскомъ. Такъ бы, кажется, легъ гдѣ-нибудь подъ дерево и представилъ бы себѣ тринадцатилѣтній возрастъ... мы вчера только-что изъ Москвы, тутъ гдѣ-нибудь неподалеку старикъ садовникъ троитъ мятную воду... На насъ, дубравныхъ жителей, лѣса и деревья роднѣе дѣйствуютъ моря и горъ.

Мы говорили объ Италіи, о поѣздкѣ въ Ментоне; говорили о Медичи, съ которымъ она была коротко знакома, объ Орсини и не говорили о томъ, что тогда меня и ее, вѣроятно, занимало больше всего.

Ея искреннее участіе я видѣлъ въ ея глазахъ и, молча, благодарилъ ее... Что я могъ ей сказать новаго?

Сталъ перепадать дождь; онъ могъ сдѣлаться сильнымъ и продолжительнымъ, мы воротились домой.

Въ гостинной былъ маленькій, щедушный старичекъ, сѣдой какъ лунь, съ необычайно добродушнымъ лицемъ, съ чистымъ, свѣтлымъ, кроткимъ взглядомъ, съ тѣмъ голубымъ дѣтскимъ взглядомъ, который остается у лю-

дей до глубокой старости, какъ отсвѣтъ великой доброты.*)

Дочери хозяйки дома бросились къ сѣдому дѣдушкѣ; видно было, что они пріятели.

Я остановился въ дверяхъ сада.

— Вотъ кстати, какъ нельзя больше, сказала ихъ мать, протягивая старику руку, сегодня у меня есть чѣмъ васъ угостить. Позвольте вамъ представить нашего русскаго друга. Я думаю, прибавила она, обращаясь ко мнѣ, вамъ пріятно будетъ познакомиться съ однимъ изъ *вашихъ патріарховъ*.

— Robert Owen, сказалъ добродушно улыбаясь старикъ, очень, очень радъ.

Я сжалъ его руку съ чувствомъ сыновняго уваженія, еслибъ я былъ моложе, я бы сталъ можетъ на колѣни и просилъ бы старика возложить на меня руки.

Такъ вотъ отчего у него добрый, свѣтлый взглядъ, вотъ отчего его любятъ дѣти.. .. Это тотъ, *одинъ* трезвый и мужественный присяжный „между пьяными" (какъ нѣкогда выразился Аристотель объ Анаксагорѣ), который осмѣлился произнести not guilty человѣчеству, not guilty преступнику. Это тотъ второй чудакъ, который скорбѣлъ о мытарѣ и жалѣлъ о падшемъ, и который, не потонувши, прошелъ если не по морю, то по мѣщанскимъ болотамъ англійской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

... Обращеніе Оуэна было очень просто; но и въ немъ, какъ въ Гарибальди, середь добродушія просвѣчивала сила и сознаніе, что онъ власть имущій. Въ его снисходительности было чувство собственнаго превосходства; оно можетъ было слѣдствіемъ постоянныхъ

*) При этомъ не могу не вспомнить тотъ же голубой взглядъ дѣтства подъ сѣдыми бровями Лелевеля.

сношеній съ жалкой средой; вообще онъ скорѣе походилъ на раззорившагося аристократа, на меньшаго брата большой фамиліи, чѣмъ на плебея и соціалиста.

Я тогда совсѣмъ не говорилъ по англійски; Оуэнъ не зналъ по французски и былъ замѣтно глухъ. Старшая дочь хозяйки предложила намъ себя въ драгоманы: Оуэнъ привыкъ такъ говорить съ иностранцами.

— Я жду великаго отъ вашей родины—сказалъ мнѣ Оуэнъ—у васъ поле чище, у васъ попы не такъ сильны, предразсудки не такъ закоснѣли..... а силъ то..... а силъ то! Еслибъ императоръ хотѣлъ вникнуть, понять новыя требованія возникающаго гармоническаго міра, какъ ему легко было бы сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ людей.

Улыбаясь, просилъ я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имѣю надеждъ, чтобъ Николай сдѣлался его послѣдователемъ.

— А вѣдь онъ былъ у меня въ Ленаркѣ.

— И вѣрно ничего не понялъ?

— Онъ былъ тогда молодъ, и — Оуэнъ засмѣялся — очень жалѣлъ, что мой старшій сынъ такого *высокаго роста и не идетъ въ военную службу*. А впрочемъ онъ меня приглашалъ въ Россію.

— Теперь онъ старъ, но также ничего не понимаетъ, и навѣрное еще больше жалѣетъ, что не всѣ люди большаго роста идутъ въ солдаты. Я видѣлъ письмо, которое вы адресовали къ нему и, скажу откровенно, не понимаю, зачѣмъ вы его писали. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ надѣетесь?

— Пока человѣкъ живъ, не надобно въ немъ отчаяваться. Мало ли какое событіе можетъ раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подѣйствуетъ, и онъ броситъ его, чтожъ за бѣда, я сдѣлалъ свое. Онъ не виноватъ, что

его воспитаніе и среда, въ которой живетъ, сдѣлали его неспособнымъ понимать истину. Тутъ надобно не сердиться, а жалѣть.

И такъ этотъ старецъ свое всеотпущеніе грѣховъ распространялъ не только на воровъ и преступниковъ, а даже на Николая! Мнѣ, на минуту, сдѣлалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболѣзненный бредъ о духахъ?

Когда я встрѣтилъ Оуэна, ему былъ восемдесятъ второй годъ (род. 1771). Онъ *шестдесятъ лѣтъ* не сходилъ съ арены.

Года три спустя послѣ Seven Oaks'а, я еще разъ мелькомъ видѣлъ Оуэна. Тѣло отжило, умъ тускъ и иногда бродилъ разнуздавшись по мистическимъ областямъ призраковъ и тѣней. А энергія была та же и тотъ же голубой взглядъ дѣтской доброты и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, онъ старые счеты забылъ, онъ былъ тотъ же молодой энтузіастъ, учредитель New Lanark'а; худо слышавшій, сѣдой, слабый, но также проповѣдывавшій уничтоженіе казней и стройную жизнь общаго труда. Нельзя было безъ глубокаго благоговѣнія видѣть этого старца, идущаго медленно и невѣрной стопой на трибуну, на которой *нѣкогда* его встрѣчали горячія рукоплесканія блестящей аудиторіи и на которой пожелтѣлыя сѣдины его вызывали теперь шопотъ равнодушія и ироническій смѣхъ. Безумный старикъ, съ печатью смерти на лицѣ, стоялъ не сердясь, и просилъ кротко, съ любовью, часъ времени. Казалось можно бы было дать ему этотъ часъ за шестидесяти-пяти лѣтнюю безпорочную службу; но ему въ немъ отказывали, онъ надоѣлъ, онъ повторялъ одно и тоже, а главное онъ глубоко обидѣлъ толпу, онъ хо-

тѣлъ отнять у нея право болтаться на висѣлицѣ и смотрѣть, какъ другіе на ней болтаются; онъ хотѣлъ у нихъ отнять подлое колесо, которое сзади подгоняетъ и отворить селюллярную клѣтку, эту безчеловѣчную mater dolorosa для духа, которой свѣтская инквизиція замѣнила монашескіе ящики съ ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна каменьями, но и она сдѣлалась *человѣколюбивѣе*: кампи вышли изъ моды; имъ предпочитаютъ грязь, свистъ и журнальныя статейки.

Другой старикъ, такой же фанатикъ, былъ счастливѣе Оуэна, когда слабыми, столѣтними руками благословлялъ малаго и большаго на Патмосѣ и только лепеталъ: „Дѣти! любите другъ друга!“ Простые люди и нищіе не хохотали надъ нимъ, не говорили, что его заповѣдь нелѣпость; между этими плебеями не было золотой посредственности мѣщанскаго міра — больше лицемѣрнаго чѣмъ невѣжественнаго, больше *ограниченнаго* чѣмъ глупаго. Принужденный оставить свой New Lanark въ Англіи, Оуенъ десять разъ переплывалъ океанъ, думая, что сѣмена его ученія лучше взойдутъ на *новомъ грунтѣ*, забывая, что его расчистили квэкеры и пуритане и навѣрно не предвидя, что пять лѣтъ послѣ его смерти, джеферсоновская республика, первая провозгласившая права человѣка, распадется во имя права сѣчь негровъ. Не успѣвъ и тамъ, Оуэнъ снова является на старой почвѣ, стучится ста руками во всѣ двери, у дворцовъ и хижинъ, заводитъ базары, которые послужатъ типомъ рочдельскаго общества и ко-оперативныхъ ассоціацій, издаетъ книги, издаетъ журналы, пишетъ посланія, собираетъ митинги, произноситъ рѣчи, пользуется всякимъ случаемъ. Правительства посылаютъ со всего міра делегатовъ на „всемірную выставку“ —

Оуэнъ уже между ними, проситъ ихъ взять съ собой оливовую вѣтку, вѣсть призыва къ разумной жизни и согласію—а тѣ не слушаютъ его, думаютъ о будущихъ крестахъ и табакеркахъ. Оуэнъ не унываетъ.

Однимъ туманнымъ октябрскимъ днемъ 1858 лордъ Брумъ — очень хорошо знающій, что въ вѣтхой общественной баркѣ течь все сильнѣе, но чающій еще, что ее можно такъ проконопатить, что на нашъ вѣкъ хватитъ — совѣщался о *пакли и смолѣ* въ Ливерпулѣ, на второмъ сходѣ Social science association.

Вдругъ дѣлается какое-то движеніе, тихо несутъ на носилкахъ блѣднаго, больнаго Оуэна на платформу. Онъ черезъ силу, нарочно пріѣхалъ изъ Лондона, чтобъ повторить свою благую вѣсть, о возможности — сытаго и одѣтаго общества, о возможности общества безъ палача. Съ уваженіемъ принялъ лордъ Брумъ старца—они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэнъ и слабымъ голосомъ сказалъ о приближеніи другаго времени... новаго согласія, new harmony, и рѣчь его остановилась, силы оставили... Брумъ докончилъ фразу и подалъ знакъ, тѣло старца склонилось—онъ былъ безъ чувствъ, тихо положили его на носилки и въ мертвой тишинѣ пронесли толпой, пораженной на этотъ разъ какимъ-то благоговѣніемъ, она будто чувствовала, что тутъ начинаются какія-то не совсѣмъ обыкновенные похороны, и тухнетъ что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло нѣсколько дней, Оуэнъ немного оправился и однимъ утромъ сказалъ своему другу и помощнику Ригби, чтобъ онъ укладывался, что онъ хочетъ ѣхать.

— Опять въ Лондонъ? Спросилъ Ригби.

— Нѣтъ, свезите меня теперь на мѣсто моего рожденія, я тамъ сложу мои кости.

И Ригби повезъ старца въ Монгомери-Ширъ, въ

Ньютоунъ, гдѣ за восемдесятъ восемь лѣтъ тому назадъ родился этотъ странный человѣкъ, апостолъ между фабрикантами...

„Дыханье его прекратилось такъ тихо, пишетъ его старшій сынъ, одинъ успѣвшій еще пріѣхать въ Ньютоунъ до кончины Оуэна, что я, державшій его руку, едва замѣтилъ — не было ни малѣйшей борьбы, ни одного судорожнаго движенія.“ Ни Англія, ни весь міръ точно также не замѣтили, какъ этотъ свидѣтель à decharge, въ уголовномъ процессѣ человѣчества, пересталъ дышать.

Англійскій попъ втѣснилъ его праху отпѣваніе вопреки желанію небольшой кучки друзей, пріѣхавшихъ похоронить его, друзья разошлись, Томасъ Ольсопъ*) протестовалъ смѣло, благородно—and all was over.

Хотѣлось мнѣ сказать нѣсколько словъ объ немъ, но унесенный общимъ wirlewind'омъ, я ничего не сдѣлалъ, трагическая тѣнь его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за рѣзкими событіями и ежедневной пылью—вдругъ на дняхъ я вспомнилъ Оуэна и мое намѣреніе написать о немъ что нибудь.

Перелистывая книжку Westminster Review, я нашелъ статью о немъ и прочиталъ ее всю внимательно. Статью эту писалъ не врагъ Оуэна, человѣкъ солидный, разсудительный, умѣющій отдавать должное заслугамъ и заслуженное недостаткамъ — а между тѣмъ я положилъ книгу съ страннымъ чувствомъ боли, оскорбленія, чего-то душнаго; съ чувствомъ близкимъ къ ненависти за вынесенное.

Можетъ я былъ боленъ, въ дурномъ расположеніи, не понялъ?... я взялъ опять книжку, перечиталъ тамъ сямъ—все тоже дѣйствіе.

*) Извѣстный по дѣлу Орсини.

„Больше чѣмъ двадцать послѣднихъ лѣтъ жизни Оуэна не имѣютъ никакого интереса для публики.

Ein unnütz leben ist ein fruher Tod

„Онъ сзывалъ митинги, но почти никто не шелъ на нихъ, потому что онъ повторялъ свои старыя начала давно всѣми забытыя. Тѣ, которые хотѣли узнать отъ него что *нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о томъ, что весь общественный бытъ зиждется на ложныхъ основаніяхъ. . . вскорѣ къ этому помѣшательству (dotage) присовокупилась вѣра въ постукивающіе духи... старикъ толковалъ о своихъ бесѣдахъ съ герцогомъ Кентомъ, Байрономъ, Шелли и проч.....

„Нѣтъ ни малѣйшей опасности, чтобъ ученіе Оуэна было практически принято. Это такія *слабыя* цѣпи, которыя не могутъ *держать* цѣлаго народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а онъ все еще воображалъ себя благодѣтелемъ рода человѣческаго, какимъ-то *атеистическимъ Мессіей*.

„Его обращеніе къ постукивающимъ духамъ нисколько не удивительно. Люди, *не получившіе воспитанія*, постоянно переходятъ, съ чрезвычайной легкостью отъ крайняго скептицизма къ крайнему суевѣрію. Они хотятъ опредѣлить каждый вопросъ однимъ *природнымъ* свѣтомъ. Изученіе, разсужденіе и осторожность въ сужденіяхъ имъ неизвѣстны.

„Мы въ предшествующихъ страницахъ,“ прибавляетъ авторъ въ концѣ статьи, „больше занимались жизнью Оуэна, чѣмъ его ученіями; мы хотѣли *выразить наше сочувствіе* къ практическому добру, сдѣланному имъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ, заявить наше совершенное несогласіе съ его теоріями. Его біографія интереснѣе его сочиненій. Въ то время какъ первая можетъ быть полезна и занимательна (amuse), вторыя могутъ только сбить съ

толку и надоѣсть читателю. Но и тутъ мы чувствуемъ, что онъ *слишкомъ долго жилъ:* слишкомъ долго для себя, слишкомъ долго для своихъ друзей, и еще дольше для своихъ біографовъ!"

Тѣнь кроткаго старца носилась передо мной; на глазахъ его были горькія слезы и онъ грустно качая своей старой, старой головой, какъ будто хотѣлъ сказать: „неужели я заслужилъ это?" и не могъ, а рыдая упалъ на колѣни, и будто Лордъ Брумъ торопился опять покрыть его и дѣлалъ знакъ Ригби, чтобъ его снесли, какъ можно скорѣе назадъ на кладбище, пока испуганная толпа не успѣетъ образумиться и упрекнуть его за все, за все что ему было такъ дорого и свято, и даже за то, что онъ такъ долго жилъ, заѣхалъ чужую жизнь, занималъ лишнее мѣсто у очага. Въ самомъ дѣлѣ Оуэнъ чай былъ ровесникомъ Веллингтона, этой величественнѣйшей *неспособности* во время мира.

„Не смотря на его ошибки, его гордость, его паденіе, Оуэнъ *заслуживаетъ наше признаніе.*" — Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого нибудь Оксфордскаго, Винчестерскаго, или Чичестерскаго архіерея, проклинающаго Оуэна легче для насъ, чѣмъ это воздаяніе по заслугамъ? Оттого, что тамъ страсть, обиженная вѣра, а тутъ узенькое *безпристрастіе*, безпристрастіе не просто человѣка, а судьи низшей инстанціи. Въ управѣ благочинія очень хорошо могутъ обсудить поступки какого нибудь гуляки вообще, но не такого какъ Мирабо или Фоксъ. Складнымъ футомъ легко мѣрить съ большой точностью холстъ, но очень неудобно прикидывать на него сидеральныя пространства.

Можетъ для вѣрности сужденія о дѣлахъ, неподлежащихъ ни полицейскому суду, ни ариѳметической повѣр-

кѣ, *пристрастіе* нужнѣе справедливости. Страсть можетъ не только ослѣплять, но и проникать глубже въ предметъ, обхватывать его своимъ огнемъ.

Дайте школьному педанту, если онъ только не надѣленъ отъ природы эстетическимъ пониманьемъ — дайте ему на разборъ что хотите, Фауста, Гамлета, и вы увидите, какъ исхудаетъ „жирный датскій принцъ", помятый какимъ нибудь гимназистомъ - доктринеромъ. Съ цинизмомъ Ноева сына покажетъ онъ наготу и недостатки драмъ, которыми восхищается поколѣніе за поколѣніемъ.

Въ мірѣ ничего нѣтъ великаго, поэтическаго, чтобы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взглядъ, взглядъ обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили такъ мѣтко пословицей, что „для камердинера нѣтъ великаго человѣка".

„Попадись нищему лошадь", какъ говоритъ народъ и повторяетъ критикъ Вестминстерскаго Обозрѣнія, „онъ на ней и ускачетъ къ черту... An ex linen-draper, (это выраженіе употреблено нѣсколько разъ*) который вдругъ сдѣлался (замѣтьте послѣ двадцати лѣтъ неусыпнаго труда и колосальныхъ успѣховъ) важнымъ лицомъ, на дружеской ногѣ съ герцогами и министрами—натурально долженъ былъ зазнаться и сдѣлаться *смѣшнымъ, не имѣя ни большой умѣренности, ни большаго благоразумія*". Ex linen draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотѣлось перестроить свѣтъ; съ этими притязаніями, онъ разсорился, ни въ чемъ не успѣлъ и покрылъ себя *смѣхомъ*.

*) Фурье началъ съ того, что былъ сидѣльцемъ въ суконной лавкѣ своего отца; Прудонъ—сынъ безансонскаго крестьянина. Какое *подлое* начало соціализма! Отъ такихъ ли полубоговъ и полуразбойниковъ ведутъ начало династій?

И это не все. Еслибъ Оуэнъ только проповѣдывалъ свой экономическій переворотъ, это безуміе простили бы ему, на первый случай, въ *классической* странѣ сумашествія. Доказательствомъ этому служитъ то, что министры и архіереи, парламентскіе комитеты и съѣзды фабрикантовъ совѣщались съ нимъ. Успѣхъ New Lanark'a увлекъ всѣхъ: ни одинъ государственный человѣкъ, ни одинъ ученый, не уѣзжалъ изъ Англіи, не сдѣлавши поѣздки къ Оуэну; даже (какъ мы видѣли) самъ Николай Павловичъ былъ у него и хотѣлъ сманить его въ Россію, а сына его въ военную службу. Толпы народа наполняли корридоры и сѣни залъ, гдѣ Оуэнъ читалъ свои рѣчи. Но Оуэнъ своей дерзостью, разомъ, въ четверть часа уничтожилъ эту колосальную популярность, основанную на колосальномъ непониманіи того, что онъ говорилъ, видя это, онъ поставилъ точку на і, и притомъ на самое опасное і.

Это случилось 21-го Августа 1817 года. Протестантскіе святоши, самые неотвязчивые и клейко-скучные давно надоѣдали ему. Оуэнъ, сколько могъ, откланялъ пренія съ ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизиторъ и бумажныхъ дѣлъ фабрикантъ, Филипсъ, дошелъ въ своемъ церквобѣсіи до того, что въ комитетѣ парламента, вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, середь дѣльныхъ преній, приталъ къ Оуэну съ допросомъ, во что онъ вѣритъ и во что не вѣритъ?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать бумажныхъ дѣлъ фабриканту какими нибудь тонкостями, какъ Фаустъ отвѣчаетъ Гретхенъ, ex linen draper Оуэнъ предпочелъ отвѣчать съ высоты трибуны, передъ огромнѣйшимъ стеченіемъ народа, на публичномъ митингѣ *въ Англіи, въ Лондонѣ, въ Сити*, въ London Tavern! Онъ, по сю сторону Темпль-бара, возлѣ каѳедральнаго зонтика, подъ

которымъ лѣпится старый городъ, въ сосѣдствѣ Гога и Магога, въ виду Уайтъ-Голль и свѣтской каѳедральной синагоги Банка, — объявилъ прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствіе къ гармоническому развитію новаго общежитія людей—*Религія*. „Нелѣпости изувѣрства сдѣлали изъ человѣка слабаго, одурѣлаго звѣря, безумнаго фанатика, ханжу или лицемѣра. Съ существующими религіозными понятіями, заключилъ Оуэнъ, не только не устроишь предполагаемыхъ имъ общинныхъ деревень, но съ ними рай не долго устоялъ бы раемъ."

Оуэнъ былъ до того увѣренъ, что этотъ актъ „безумія" былъ актомъ *честности и апостольства*, необходимымъ послѣдствіемъ его ученія, что обнародовать свое мнѣніе заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что черезъ *тридцать пять лѣтъ* онъ писалъ: „это величайшій день въ моей жизни, я исполнилъ свой долгъ!"

Нераскаянный грѣшникъ былъ этотъ Оуэнъ! За то ему и досталось!

„Оуэна, говоритъ Westminster Review, не разорвали на части за это: время физической мести въ дѣлахъ религіи прошло. Но никто, даже и нынѣ, *не можетъ безнаказанно оскорблять дорогіе намъ предразсудки!*"

Англійскіе попы, въ самомъ дѣлѣ, не употребляютъ больше хирургическихъ средствъ, хотя другими, болѣе духовными, не брезгаютъ. „Съ этой минуты, говоритъ авторъ статьи, Оуэнъ опрокинулъ на себя страшную ненависть духовенста, и съ этого митинга начинается *длинная перечень его неудачъ, сдѣлавшая смѣшными сорокъ послѣднихъ лѣтъ его жизни*, He wat not a martyr, but he was an outlaw!

Я думаю, довольно. Westminstr Review можно поло-

жить на мѣсто; я ему очень благодаренъ, онъ мнѣ такъ живо напомнилъ не только святаго старца, но и среду, въ которой онъ жилъ. Обратимся къ дѣлу, т. е. къ самому Оуэну и его ученію.

Одно прибавлю я, прощаясь съ неумытнымъ критикомъ и съ другимъ біографомъ Оуэна, тоже неумытнымъ, менѣе строгимъ, но не менѣе солиднымъ, что, не будучи вовсе завистливымъ человѣкомъ, я завидую имъ отъ всей души. Я далъ бы дорого за ихъ невозмущаемое сознаніе своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своимъ пониманіемъ, за ихъ иногда уступчивую, всегда справедливую, а подъ часъ слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная увѣренность и въ своемъ знаніи, и въ томъ, что они и умнѣе, и практичнѣе Оуэна, что будь у нихъ его энергія и его деньги, они бы не надѣлали такихъ глупостей, а были бы богаты, какъ Ротшильдъ, и министры, какъ Пальмерстонъ!

II.

Р. Оуэнъ назвалъ одну изъ статей, въ которыхъ онъ излагалъ свою систему 'an attempt to change this lunatic asylum into a rational world. *)

Одинъ изъ біографовъ Оуэна по этому случаю разсказываетъ, какъ какой-то безумный, содержавшійся въ больницѣ, говорилъ: „Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же; бѣда моя въ томъ, что *большинство* со стороны всего свѣта.“

Это пополняетъ заглавіе Оуэна и бросаетъ яркій

*) Опытъ измѣнить сумашедшій домъ общественнаго устройства въ раціональный.

свѣтъ на все. Мы увѣрены, что біографъ не разсудилъ, *на сколько беретъ и какъ далеко бьетъ* его сравненіе. Онъ только хотѣлъ намекнуть на то, что Оуэнъ былъ сумашедшій, и мы спорить объ этомъ не станемъ... но съ чего же онъ *весь свѣтъ-то считаетъ умнымъ*—этого мы не понимаемъ.

Оуэнъ, если былъ сумашедшимъ, то вовсе не потому, что его свѣтъ считалъ такимъ и онъ ему платилъ той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живетъ въ домѣ умалишенныхъ и окруженъ больными, онъ *шестдесятъ лѣтъ* говорилъ съ ними, какъ съ здоровыми.

Число больныхъ тутъ ничего не значитъ, умъ имѣетъ свое оправданіе, не въ большинствѣ голосовъ, а въ своей логической самозаконности. И если вся Англія будетъ убѣждена, что такой-то medium призываетъ духи умершихъ, а одинъ Фаредей скажетъ, что это вздоръ, то истина и умъ будутъ съ его стороны, а не со стороны всего англійскаго населенія. Еще больше, если и Фаредей не будетъ этого говоритъ, тогда истина объ этомъ предметѣ совсѣмъ существовать не будетъ, какъ сознанная, но, тѣмъ не меньше, единогласно принятая цѣлымъ народомъ нелѣпость — все же будетъ нелѣпость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, въ лжи или въ истинѣ, а потому, что оно сильно, и потому что ключи отъ Бедлама у него въ рукахъ.

Сила не заключаетъ въ своемъ понятіи сознательности, какъ необходимаго условія, напротивъ, она тѣмъ непреодолимѣе—чѣмъ безумнѣе, тѣмъ страшнѣе—чѣмъ безсознательнѣе. Отъ поврежденнаго человѣка можно спастись, отъ стада бѣшеныхъ волковъ труднѣе, а не-

редъ безсмысленной стихіей человѣку остается сложить руки и погибнуть.

Поступокъ Оуэна, поразившій ужасомъ Англію 1817 года, не удивилъ бы въ 1617 родину Ванини и Джордана Бруно, не скандализировалъ бы въ 1717 ни Германію, ни Францію, а Англія не можетъ черезъ полвѣка вспомнить объ немъ безъ раздраженія. Можетъ быть, гдѣ нибудь въ Испаніи, монахи взбунтовали бы противъ него дикую чернь, или инквизиціонные алгвазилы посадили бы его въ тюрьму, сожгли бы на кострѣ; но очеловѣченная часть общества была бы за него...

Развѣ Гёте и Фихте, Кантъ и Шиллеръ, наконецъ Гумбольдъ въ наше время, и Лессингъ сто лѣтъ тому назадъ, скрывали свой образъ мыслей или имѣли безсовѣстность проповѣдывать шесть дней въ недѣлю въ академіяхъ и книгахъ свою философію, а на седьмой фарисейски слушать предику и морочить толпу, la plèbe, своимъ благочестивымъ христіанствомъ?

Во Франціи то же самое, ни Вольтеръ, ни Руссо, ни Дидро, ни всѣ энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лапласъ, ни Контъ, не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно передъ „дорогими предразсудками,“ и это ни на одну іоту не унизило, не умалило ихъ значенія.

Политически порабощенный материкъ нравственно свободнѣе Англіи; масса идей и сомнѣній, находящихся въ оборотѣ, гораздо обширнѣе; къ ней привыкли, общество не трепещетъ ни страхомъ, ни негодованіемъ передъ свободнымъ человѣкомъ —

Wenn er die Kette bricht.

Люди материка безпомощны передъ властью, выносятъ цѣпи, но не уважаютъ ихъ. Свобода англичанина больше въ учрежденіяхъ, чѣмъ въ немъ, чѣмъ въ его

совѣсти; его свобода въ common law, въ habeas corpus, а не въ крайнихъ, не въ образѣ мыслей. Передъ общественнымъ предразсудкомъ гордый Бритъ склоняется безъ ропота, съ видомъ уваженія. Само собою разумѣется, что вездѣ, гдѣ есть люди, тамъ лгутъ и притворяются; но не считаютъ откровенности порокомъ, не смѣшиваютъ смѣло высказанное убѣжденіе мыслителя съ неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своимъ паденіемъ; но не подымаютъ лицемѣрія на степень общественной и притомъ обязательной добродѣтели.*)

Конечно, ни Давидъ Юмъ, ни Гиббонъ не лгали на себя мистическихъ вѣрованій. Но Англія, слушавшая Оуэна въ 1817 г., была не та, во времени и *въ глубинѣ*. Ценсъ пониманья расширился и не былъ больше ограниченъ отборнымъ вѣнкомъ образованныхъ аристократовъ и литераторовъ. Съ другой стороны, она лѣтъ пятнадцать просидѣла въ селюлярной тюрьмѣ, запертая въ нее Наполеономъ, и съ одной стороны выдвинулась изъ потока идей, а съ другой, жизнь вдвинула впередъ огромное большинство мѣщанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. Въ новой Англіи люди, какъ Байронъ и Шеллей, бродятъ иностранцами, одинъ проситъ у вѣтра нести его куда нибудь, только не на родину, у другаго судьи, съ помощью обезумѣв-

*) Въ нынѣшнемъ году мирный судья Темиль не принялъ показанія одной женщины изъ Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной формѣ, говоря, что не вѣритъ въ наказанія на томъ свѣтѣ. Трелоне (сынъ извѣстнаго пріятеля Байрона и Шеллея) спрашивалъ 12 Февраля въ парламентѣ министра внутреннихъ *дѣлъ*, какія мѣры онъ предполагаетъ взять, въ отстраненіи такихъ отводовъ? Министръ отвѣчалъ, *что никакихъ*. Подобные случаи повторялись много разъ, напр., съ извѣстнымъ публицистомъ Голиокомъ. Лгать присягой дѣлается необходимостью.

лей отъ изувѣрства семьи, обираютъ дѣтей, потому что онъ не вѣритъ въ бога.

И такъ, нетерпимость противъ Оуэна не даетъ никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его ученія; она только даетъ мѣру безумія, т. е. нравственной несвободы Англіи и въ особенности того слоя, который ходитъ по митингамъ и пишетъ журнальныя статейки.

Умъ количественно всегда долженъ будетъ уступить, онъ *на вѣсъ* всегда окажется слабѣйшимъ, онъ, какъ сѣверное сіяніе, свѣтитъ далеко, но едва существуетъ. Умъ послѣднее усиліе, вершина, до которой развитіе не часто доходитъ, оттого-то онъ мощенъ, но не устоитъ противъ кулака. Умъ, какъ сознаніе, можетъ вовсе не быть на земномъ шарѣ; онъ едва родился въ сравненіи съ маститыми Альпійскими старцами, свидѣтелями и участниками геологическихъ революцій. Въ до-человѣческой, въ около-человѣческой природѣ нѣтъ ни ума, ни глупости, а необходимость условій, отношеній и послѣдствій. Умъ мутно глядитъ въ первый разъ молочнымъ взглядомъ животнаго, онъ медленно мужаетъ, выростаетъ изъ своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнью рода человѣческаго. Стремленіе пробиться къ уму, изъ инстинкта, постоянно является вслѣдъ за сытостью и безопасностью; такъ что въ какую бы минуту мы ни остановили людское сожитіе, мы поймаемъ его на этихъ усиліяхъ, достигнуть ума изъ подвласти безумія. Пути впередъ не назначено, его надобно прокладывать; исторія, какъ поэма Аріоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, съ тѣмъ тревожнымъ безпокойствомъ, которое уже безцѣльно волнуетъ обезъяну и котораго почти совсѣмъ нѣтъ у низшихъ звѣрей, этихъ довольныхъ животнаго царства.

Слово lunatic asylum, Оуэнъ, само собою разумѣется, употребилъ comme une manière de dire. Государства не домы сошедшихъ съ ума, а домы не *взошедшихъ въ умъ*. Практически, впрочемъ, онъ могъ употребить это выраженіе... не дѣлая ошибки. Ядъ или огонь въ рукахъ трехлѣтняго ребенка также страшенъ, какъ въ рукахъ тридцатилѣтнаго сумашедшаго. Разница въ томъ, что безуміе одного — состояніе патологическое, другого— степень развитія, состояніе эмбріогеническое. Устрица представляетъ ту степень развитія организма, на которой животное *еще не имѣетъ* ногъ, она фактически *безногая*, но вовсе не такъ, какъ звѣрь, у котораго ноги отняты. Мы знаемъ (но устрица этого не знаетъ), что при хорошихъ обстоятельствахъ органическія попытки дойдутъ до ногъ и до крыльевъ, и смотримъ на неразвитыя формы молюска, какъ на одну изъ растущихъ прибывающихъ волнъ прилива, въ то время, какъ форма искаженная возвращается съ отливомъ въ стихійный океанъ, и составляетъ частный случай смерти или агоніи.

Оуэнъ, убѣдившись, что организму въ тысячу разъ удобнѣе имѣть ноги, руки, крылья, чѣмъ постоянно дремать въ раковинѣ; понимая, что изъ тѣхъ же самыхъ бѣдныхъ, но уже *существующихъ* частей организма, есть возможность развить эти оконечности, — до того увлекся, что вдругъ сталъ проповѣдывать устрицамъ, чтобъ они взяли свои раковины и пошли за нимъ. Устрицы обидѣлись и сочли его *анти-молюскомъ*, т. е. безнравственнымъ въ смыслѣ раковинной жизни и прокляли его.

... „Характеръ человѣка существенно опредѣляется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество можетъ легко* такъ устроить, чтобъ

онѣ способствовали наилучшему развитію умственныхъ и практическихъ способностей, сохраняя притомъ все безконечное разнообразіе личностей и соображаясь съ многоразличіемъ физической и умственной натуры."

Все это понятно и надобно имѣть рѣдкую степень тупоумія, чтобъ возражать на этотъ тезисъ Оуэна. Да на него, замѣтьте, никто и не возражаетъ. Возраженіе, большинствомъ, не отвѣтъ, а насиліе; возраженіе, что это безнравственно или не согласно съ такой-то традиціонной религіей или съ иной, тоже не опроверженіе. Въ худшемъ случаѣ, такіе отвѣты могутъ только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вредъ правды.* Истина не подлежитъ этому суду, ея критеріумъ не тутъ.

Ахиллова пята Оуэна не въ ясныхъ и простыхъ основаніяхъ его ученія, а въ томъ, что онъ думалъ, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая такъ, онъ впалъ въ святую ошибку любви и нетерпѣнія, въ которую впадали всѣ преобразователи и предтечи переворотовъ отъ Іисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сенъ Симона и Фурье.

Хроническое *недоуміе* въ томъ и состоитъ, что люди, подъ вліяніемъ историческаго преломленія лучей и разныхъ нравственныхъ паралаксовъ, всего меньше понимаютъ *простое*, а готовы вѣрить и еще больше *вѣрить, что понимаютъ* вещи очень сложныя и совершенно непонятныя, но традиціонныя, привычныя и соотвѣтствующія дѣтской фантазіи... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухомъ положительно проще дышать чѣмъ водой, но для этого надобно имѣть легкія; а гдѣ же имъ развиться у рыбъ, которымъ нуженъ сложный дыхательный снарядъ, чтобъ достать немного кислорода изъ воды. Среда имъ не позволяетъ, ихъ не вызываетъ

на развитіе легкихъ, она слишкомъ густа и иначе составлена, чѣмъ воздухъ. Нравственная густота и составъ, въ которомъ выросли слушатели Оуэна, обусловила у нихъ свои *духовныя* жабры, дышать болѣе чистой и рѣдкой средой должно было произвести боль и отвращеніе.

Не думайте, что тутъ только внѣшнее сравненіе, тутъ истинная аналогія одинакихъ явленій, въ разныхъ возрастахъ и разныхъ слояхъ.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте — кому? Той толпѣ, которая наполняетъ до давки колосальный трансцептъ кристальнаго дворца, слушая съ жадностью и рукоплесканіемъ проповѣди какого-то плоскаго средневѣковаго бакалавра, попавшаго, не знаю какъ, въ нашъ вѣкъ и обѣщающаго толпѣ кары небесныя и бѣдствія земныя на вульгарномъ языкѣ шиллеровскаго капуцина въ Wallenstein's Lager?

Для нихъ не легко!

Люди отдаютъ долю своего достоянія и своей воли, подчиняются всякаго рода властямъ и требованіямъ, вооружаютъ цѣлыя толпы тунеядцевъ, строятъ суды, тюрьмы и стращаютъ висѣлицей, строютъ церкви и стращаютъ адомъ. Словомъ, дѣлаютъ все такъ, чтобъ куда человѣкъ ни обернулся, передъ его глазами былъ бы или палачъ земной, или палачъ небесный, одинъ съ веревкой, готовый все кончить, другой съ огнемъ, готовый жечь всю вѣчность. Цѣль всего этого сохранить общественную безопасность отъ дикихъ страстей и преступныхъ покушеній, какъ нибудь удержать въ руслѣ общественной жизни необузданныя покушенія вырваться изъ него.

А тутъ является чудакъ, который прямо и просто говоритъ, да еще съ какой-то обидной наивностью, *что*

все это вздоръ, что человѣкъ вовсе не преступникъ par le droit de naissance, что онъ такъ же мало отвѣчаетъ за себя, какъ и другіе звѣри и, какъ они, суду не подлежитъ, *а воспитанію очень*. И это не все, онъ передъ лицомъ судей и поповъ, имѣющихъ единственнымъ основаніемъ, единственной достаточной причиной своего существованія, грѣхопаденіе, наказаніе и отпущеніе, всенародно объявляетъ: что человѣкъ не самъ творитъ свой характеръ, что стоитъ его поставить со дня рожденія въ такія обстоятельства, чтобъ онъ могъ быть не мошенникомъ, такъ онъ и будетъ, такъ себѣ, хорошій человѣкъ. А теперь общество рядомъ нелѣпостей наводитъ его на преступленіе, а люди наказываютъ не общественное устройство, *а лицо*.

И Оуэнъ воображалъ, что это *легко* понять?

Развѣ онъ не зналъ, что намъ легче себѣ вообразить кошку, повѣшенную за мышегубство, и собаку награжденную почетнымъ ошейникомъ, за оказанное усердіе, при поимкѣ укрывшагося зайца, чѣмъ ребенка не наказаннаго за дѣтскую шалость, не говоря уже о преступникѣ. Примириться съ тѣмъ, что мстить всѣмъ обществомъ преступнику мерзко и глупо, что цѣлымъ соборомъ дѣлать безопасно и хладнокровно столько же злодѣйства надъ преступникомъ, сколько онъ сдѣлалъ. подвергаясь опасности и подъ вліяніемъ страсти, отвратительно и безполезно, ужасно трудно, не но нашимъ жабрамъ! Рѣзко!

Въ боязливомъ упорствѣ массъ, въ тупомъ отставаніи стараго, въ консервативной цѣпкости ея, есть своего рода темное воспоминаніе, что висѣлица и покаяніе, смертная казнь и безсмертіе души, страхъ божій и страхъ власти, уголовная палата и страшный судъ, царь и жрецъ, что все это были нѣкогда огромные ша-

ги впередъ, огромныя ступени вверхъ, великіе Errungenschaften, подмостки, по которымъ люди, выбиваясь изъ силъ, взбирались къ покойной жизни, комяги на которыхъ подплывали, сами не зная дороги къ гавани, гдѣ бы можно было отдохнуть отъ тяжелой борьбы со стихіями, отъ земляной и кровавой работы, можно было бы найти безтревожный досугъ и святую праздность, этихъ первыхъ условій прогресса, свободы, искуства и сознанія!

Чтобъ сберечь, этотъ дорого доставшійся покой, люди обставили свои гавани всякаго рода пугалами и дали своему царю въ руки палку, чтобъ погонять и защищать, а жрецу власть проклинать и благословлять.

Одолѣвшее племя естественно кабалило себѣ племя покоренное, и на его рабствѣ основывало свой досугъ, т. е. свое развитіе. Рабствомъ собственно началось государство, образованіе, человѣческая свобода. Инстинктъ самосохраненія навелъ на свирѣпые законы, необузданная фантазія додѣлала остальное. Преданія, переходя изъ рода въ родъ, покрывали больше и больше цвѣтными туманами начала, и подавляющій владыка, также какъ подавленный рабъ, склонялся съ ужасомъ передъ заповѣдями и вѣрилъ, что при блескѣ молніи и трескѣ грома ихъ диктовалъ Іегова на Синаѣ, или что они были внушены человѣку избранному, какимъ нибудь паразитнымъ духомъ, живущимъ въ его мозгу.

Если свести всѣ разнообразныя основы этихъ краеугольныхъ камней, на которыхъ выводились государства, на главныя начала, освобождая ихъ отъ фантастическаго, дѣтскаго, принадлежащаго къ возрасту, то мы увидимъ, что они постоянно одни и тѣ же, сопринесущи всякой церкви и всякому государству, декораціи и формы мѣняются, но начала тѣ же.

Дикая расправа царя звѣролова въ Африкѣ, который собственноручно прирѣзываетъ преступника, совсѣмъ не такъ далека отъ расправы судьи, довѣряющаго другому убійство. Дѣло въ томъ, что ни судья въ шубѣ, въ бѣломъ парикѣ, съ перомъ за ухомъ, ни голый африканскій царь, съ перомъ въ носу, и совершенно черный, не сомнѣваются, что они это дѣлаютъ для спасенія общества, и не только имѣютъ право въ иныхъ случаяхъ убивать, но и священный долгъ.

Нескладная безсмыслица, произносимая какимъ нибудь лѣснымъ заклинателемъ, и складный вздоръ, произносимый какимъ нибудь архіереемъ или первосвященникомъ, также похожи другъ на друга. Существенное не въ томъ, какъ кто ворожитъ и какихъ духовъ призываетъ, а въ томъ, допускаютъ ли они или нѣтъ, какой-то заграничный міръ котораго никто не видѣлъ, міръ, дѣйствующій безъ тѣла, разсуждающій безъ мозга, чувствующій безъ нервъ и имѣющій вліяніе на насъ, не только послѣ нашего перехода въ эеирное состояніе, но и при теперешнемъ податномъ состояніи? Если допускаютъ — остальное оттѣнки и подробности: египетскіе боги съ собачьей мордой, и греческіе съ очень красивымъ лицемъ, богъ Авраама, богъ Іакова, богъ Іосифа Маццини, богъ Пьера Леру, это все тотъ же богъ, такъ ясно опредѣленный въ алкоранѣ: „богъ есть богъ.“

Чѣмъ развитѣе народъ, тѣмъ развитѣе его религія, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, чѣмъ религія дальше отъ фетишизма, тѣмъ она глубже и тоньше проникаетъ въ душу людей. Грубый католицизмъ и позолоченный византизмъ не такъ съуживаютъ умъ, какъ тощій протестантизмъ; а религія безъ откровенія, безъ церкви и съ притязаніемъ на логику, почти неискоренима изъ голо-

вы поверхностныхъ умовъ, равно не имѣющихъ ни довольно сердца, чтобъ вѣрить, ни довольно мозга, чтобъ разсуждать.*)

То же самое и въ юридической церкви. Царь звѣролововъ, исполняющій бердышемъ или топоромъ свой приговоръ, близокъ къ тому, что виновный или подсудимый, если у него бердышъ длиннѣе, предупредитъ его. Сверхъ того, юристъ съ перомъ въ носу, вѣроятно будетъ казнить зря, по пристрастію, толпа будетъ роптать и наконецъ взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и безъ вѣры, какъ подчиняется человѣкъ

*) Нѣтъ той логической абстракціи, нѣтъ того собирательнаго имени, нѣтъ того неизвѣстнаго начала или неизслѣдованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божествомъ или святыней. Иконоборцы раціонализма, сильно ратующіе противъ кумировъ, съ удивленіемъ видятъ, что по мѣрѣ того, какъ они сбрасываютъ однихъ съ пьедесталей, на нихъ являются другіе. А по большей части они и не удивляются, потому ли, что вовсе не замѣчаютъ, или сами ихъ принимаютъ за истинныхъ боговъ.

Естествоиспытатели, хвастающіеся своимъ матеріализмомъ, толкуютъ о какихъ-то впередъ задуманныхъ планахъ природы, о ея цѣляхъ и ловкомъ избраніи средствъ; ничего не поймешь, какъ будто natura sic voluit яснѣе fiat lux? Это фатализмъ въ *третьей* степени, въ кубѣ, на первой кипитъ кровь Януарія, на второй — орошаются поля дождемъ по молитвѣ, на третьей — открываются тайные замыслы химическаго процесса, хвалятся экономическія способности жизненной силы, заготовляющей желтки для зародышей и т. п. Какъ ни смѣшны *протестантскія* статьи, издѣвающіяся надъ кипѣніемъ крови св. Януарія, помѣшаемыя рядомъ съ молитвами архіереевъ о снабженіи такой-то страны дождемъ или засухой, какъ будто кипятить кровь въ католической склянкѣ труднѣе для Бога, чѣмъ мочить и сушить по надобности протестантскія поля,— но тутъ иной разъ проглядываетъ наивная глупость, и потому онѣ ничего не значатъ въ сравненіи съ благочестивой риторикой, которую мы безпрестанно находимъ въ физіологическихъ или геологическихъ лекціяхъ и трактатахъ, въ которыхъ естествоиспытатель съ умиленіемъ толкуетъ о благости провидѣнія, снабдившаго птицъ крыльями, безъ которыхъ бѣдняжки бы попадали и расшиблись въ прахъ и проч.

чумѣ или наводненію. Но тамъ, гдѣ нѣтъ лицепріятія, гдѣ судъ честенъ, т. е. вѣренъ своимъ началамъ, что вовсе не мѣшаетъ началамъ быть невѣрными, тамъ онъ становится вдвое незыблемѣе, и никто не сомнѣвается въ немъ, не исключая самаго паціента, который печально отправляется на висѣлицу, увѣренный, что такъ и надобно, что они дѣло дѣлаютъ, вѣшая его.

Сверхъ страха воли, того страха, который дѣти чувствуютъ, начиная ходить безъ помочей, сверхъ привычки къ этимъ поручнямъ, облитымъ потомъ и кровью, къ этимъ ладьямъ, сдѣлавшимся ковчегами спасенія, въ которыхъ народы пережили не одинъ черный день, есть еще сильные контрфорсы, поддерживающіе ветхое зданіе. Неразвитость массъ, неумѣющихъ понимать, съ одной стороны, и корыстный страхъ, съ другой, мѣшающій понимать меньшинству, долго продержутъ на ногахъ старый порядокъ. Образованныя сословія, противно своимъ убѣжденіямъ, готовы сами ходить на веревкѣ, лишь бы не спускали съ нея толпу.

Оно и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ безопасно.

Внизу и вверху разные календари. На верху XIX вѣкъ, а внизу развѣ XV, да и то не въ самомъ внизу, тамъ уже Готентоты и Кафры различныхъ цвѣтовъ, породъ и климатовъ.

Если въ самомъ дѣлѣ подумать объ этой цивилизаціи, которая осѣдаетъ лаццаронами и лондонской чернью, людьми свернувшими съ пол-дороги и возвращающимися къ состоянію лемуровъ и обезьянъ, въ то время, какъ на вершинахъ ея цвѣтутъ бездарные Меровинги всѣхъ династій, и щедушные астеки всѣхъ аристократій—дѣйствительно голова закружится. Вообразите себѣ этотъ звѣринецъ на волѣ, безъ церкви, безъ инквизиціи и суда, безъ попа, царя и палача?

Оуэнъ считалъ ложью, т. е. отжившей правдой, вѣковыя твердыни теологіи и юриспруденціи, и это понятно; но когда онъ подъ этимъ предлогомъ требовалъ, чтобъ они сдались, онъ забылъ храбрый гарнизонъ, защищающій крѣпость. Ничего въ мірѣ нѣтъ упорнѣе трупа, его можно убить, разбить на части, но убѣдить нельзя. Къ тому же, на нашемъ Олимпѣ сидятъ уже не сговорчивые, не разгульные боги Греціи, которымъ, по словамъ Лукьяна, пока они придумывали мѣры противъ атеизма, пришли доложить, что дѣло ихъ проиграно и что въ Аѳинахъ доказали, что *ихъ* нѣтъ, а они поблѣднѣли, улетучились и исчезли. Греки, люди и боги были проще. Греки вѣрили вздору, играли въ мраморныя куклы изъ дѣтской артистической потребности, а мы изъ *процентовъ*, изъ барышей поддерживаемъ іезуитовъ и old shop: въ обузданіе народа и обезпеченіе эксплуатацій его. Какая же логика тутъ возьметъ?

Это приводитъ насъ къ вопросу, не о томъ, правъ или не правъ Р. Оуэнъ, а о томъ, *совмѣстны ли вообще разумное сознаніе и нравственная независимость съ государственнымъ бытомъ?*

Исторія свидѣтельствуетъ, что общества постоянно достигаютъ разумной аутономіи, но свидѣтельствуетъ также, что они остаются въ нравственной неволѣ. Разрѣшимы эти вопросы или нѣтъ, сказать трудно; ихъ не рѣшишь съ плеча, особенно одной любовью къ людямъ и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всѣхъ сферахъ жизни, мы наталкиваемся на неразрѣшимыя антиноміи, на эти ассимптоты, вѣчно стремящіяся къ своимъ гиперболамъ, никогда не совпадая съ ними. Это крайнія грани, между которыми

колеблется жизнь, движется и утекаетъ, касаясь то того берега, то другаго.

Появленіе людей протестующихъ противъ общественной неволи и неволи совѣсти — не новость; они являлись обличителями и пророками, во всѣхъ сколько нибудь назрѣвшихъ цивилизаціяхъ, особенно, когда онѣ старѣли. Это высшій предѣлъ, *перехватывающая личность*, явленіе исключительное и рѣдкое, какъ геній, какъ красота, какъ необыкновенный голосъ. Опытъ не доказываетъ, чтобъ ихъ утопіи были осуществляемы.

У насъ передъ глазами страшный примѣръ. Съ тѣхъ поръ, какъ родъ человѣческій запомнитъ себя, не встрѣчалось никогда такого стеченія счастливыхъ обстоятельствъ для разумнаго и свободнаго развитія государственнаго, какъ въ Сѣверной Америкѣ; все мѣшающее на истощенной, исторической почвѣ, или на почвѣ, вовсе невоздѣланной — отсутствовало. Ученіе великихъ мыслителей и революціонеровъ XVIII вѣка, — безъ французской военщины; англійскій common law — безъ кастъ, легли въ основу ихъ государственнаго быта. Чего же больше? Все, о чемъ мечтала старая Европа: республика, демократія, федерація, самозаконность каждаго клочка и — едва связывающій общій правительственный поясъ съ слабымъ узломъ въ серединѣ.

Что же вышло изъ всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; самъ народъ исполняетъ должность Николая Павловича, III-го отдѣленія и палача; народъ, объявившій восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ „права человѣка," распадается изъ за „права сѣчь." Преслѣдованія и гоненія въ Южныхъ Штатахъ, по-

ставившихъ на своемъ знамени слово *Рабство*, такъ какъ нѣкогда Николай ставилъ на своемъ слово *Самодержавіе*, — за образъ мыслей и слова, не уступаютъ въ гнусности тому, что дѣлалъ неаполитанскій король и вѣнскій императоръ.

Въ Сѣверныхъ Штатахъ „рабство“ не возведено въ догматъ религіи; но каковъ уровень образованія и свободы совѣсти въ странѣ, бросающей счетную книгу только для того, чтобъ заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, въ странѣ, хранящей всю нетерпимость пуританъ и квекеровъ!

Въ формахъ, болѣе мягкихъ, мы тожо встрѣчаемъ въ Англіи и въ Швеціи. Чѣмъ страна свободнѣе отъ правительственнаго вмѣшательства, чѣмъ больше признаны ея права на слово, на независимость совѣсти — тѣмъ нетерпимѣе дѣлается толпа, общественное мнѣніе становится застѣнкомъ; вашъ сосѣдъ, вашъ мясникъ, вашъ портной, семья, клубъ, приходъ держатъ васъ подъ надзоромъ и исправляютъ должность квартальнаго. Неужели только народъ, не способный къ *внутренней* свободѣ, можетъ достигнуть свободныхъ учрежденій? или не значитъ ли это наконецъ, что государство развиваетъ постоянно потребности и идеалы, достиженіе которыхъ исполняютъ дѣятельностью лучшіе умы, но которыхъ осуществленіе несовмѣстимо съ государственной жизнью?

Мы не знаемъ рѣшенія этого вопроса; но считать его рѣшеннымъ не имѣемъ права. Исторія до сихъ поръ его рѣшаетъ однимъ образомъ; нѣкоторые мыслители, и въ томъ числѣ Р. Оуэнъ, иначе. Оуэнъ *вѣритъ* несокрушимой вѣрой мыслителей XVIII-го столѣтія (прозваннаго вѣкомъ безвѣрія), что человѣчество наканунѣ своего торжественнаго облеченія въ вирильную тогу. А намъ

кажется, что всѣ опекуны и пастухи, дядьки и мамки могутъ спокойно ѣсть и спать на счетъ недоросля. Какой бы вздоръ народы ни потребовали, *на нашемъ языку* они не потребуютъ право совершеннолѣтія. Человѣчество еще долго проходитъ съ отложными воротничками à l'enfant.

Причинъ на это бездна. Для того, чтобъ человѣку образумиться и придти въ себя, надобно быть гигантомъ; да наконецъ и никакія колоссальныя силы не помогутъ пробиться, если бытъ общественный такъ хорошо и прочно сложился, какъ въ Японіи или Китаѣ. Съ той минуты, когда младенецъ, улыбаясь, открываетъ глаза у груди своей матери, до тѣхъ поръ, пока, примирившись съ совѣстью и богомъ, онъ также спокойно закрываетъ глаза, увѣренный, что, пока онъ соснетъ, его перевезутъ въ обитель, гдѣ нѣтъ ни плача, ни воздыханія — все такъ улажено, чтобъ онъ не развилъ ни одного простаго понятія, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Онъ съ молокомъ матери сосетъ дурманъ; никакое чувство не остается не искаженнымъ, не сбитымъ съ естественнаго пути. Школьное воспитаніе продолжаетъ то, что сдѣлано дома, оно обобщаетъ оптическій обманъ, книжно упрочиваетъ его, теоретически узакониваетъ традиціонный хламъ и пріучаетъ дѣтей къ тому, чтобъ они *жали, не понимая*, и принимали бы *названія за опредѣленія*.

Сбитый въ понятіяхъ, запутанный словами, человѣкъ теряетъ чутье истины, вкусъ природы. Какую же надобно имѣть силу мышленія, чтобъ заподозрить этотъ нравственный чадъ и уже съ круженіемъ головы броситься изъ него на чистый воздухъ, которымъ въ добавокъ стращаютъ всѣ вокругъ! На это Оуэнъ отвѣ-

чалъ бы, что онъ именно потому и начиналъ свое соціальное перерожденіе людей, не съ фаланстера, не съ Икаріи, а со школы; со школы, въ которую онъ бралъ дѣтей съ двухлѣтняго возраста и меньше.

Оуэнъ былъ правъ, и еще больше, онъ практически доказалъ, что *онъ былъ правъ*, передъ New Lanark'омъ противники Оуэна молчатъ. Этотъ проклятый New Lanark вообще костью стоитъ въ горлѣ людей, постоянно обвиняющихъ соціализмъ въ утопіяхъ и въ неспособности что нибудь осуществить на практикѣ. „Что сдѣлалъ Консидеранъ съ Брейсбеномъ, что монастырь Сито, что портные въ Клиши и Banque du peuple Прудона?“ Но противъ блестящаго успѣха New Lanark'а сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды,все выходило съ удивленіемъ и благоговѣніемъ изъ школы. Докторъ герцога Кентскаго, скептикъ, говорилъ о Lanark'ѣ съ улыбкой. Герцогъ, другъ Оуэна, совѣтовалъ ему съѣздить самому въ New Lanark. Вечеромъ докторъ пишетъ герцогу: „отчетъ я оставляю до завтра; я такъ взволнованъ и тронутъ тѣмъ, что̀ видѣлъ, что не могу еще писать; у меня нѣсколько разъ навертывались слезы на глазахъ.“ На этомъ торжественномъ признаніи я и жду моего старика. И такъ, онъ доказалъ свою мысль на дѣлѣ — онъ былъ правъ. Пойдемте далѣе.

New Lanark былъ на вершинѣ своего благосостоянія. Неутомимый Оуэнъ, не смотря ни на лондонскія поѣздки, ни на митинги, ни на безпрерывныя посѣщенія всѣхъ знаменитостей Европы, даже, какъ мы сказали, самаго Николая Павловича — съ той же дѣятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостояніемъ работниковъ, между которыми развивалъ общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, онъ обанкротился? Учители перессорились, дѣти избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатѣли, школа процвѣтала. Но однимъ добрымъ утромъ въ эту школу взошли какіе-то два черныхъ шута, въ низенькихъ шляпахъ, въ намѣренно дурно сшитыхъ сертукахъ: это были двое квекеровъ, такіе же собственники New Lanark'а, какъ и самъ Оуэнъ. Насупили они брови, видя веселыхъ дѣтей, нисколько не горюющихъ о грѣхопаденіи; ужаснулись, что маленькіе мальчики безъ панталонъ, и потребовали преподаваніе какого-то своего катихизиса. Оуэнъ сначала отвѣчалъ геніально: цифрой приращенія доходовъ. Ревность о господѣ успокоилась на время: такъ грѣховная цифра была велика. Но совѣсть квекеровъ проснулась опять, и они еще настоятельнѣе стали требовать, чтобы дѣтей не учили ни танцовать, ни *свѣтскому* пѣнію, а раскольничьему катихизису непремѣнно.

Оуэнъ, у котораго хоры, правильныя эволюціи и танцы играли важную роль въ воспитаніи, не согласился. Были долгія пренія; квекеры рѣшились, на этотъ разъ, упрочить свои мѣста въ раю и требовали введенія псалмовъ и какихъ-то штанишекъ дѣтямъ, ходившимъ по шотландски. Оуэнъ понялъ, что крестовый походъ квекеровъ на этомъ не остановится. „Въ такомъ случаѣ," сказалъ онъ имъ, „управляйте сами; я отказываюсь." Онъ не могъ иначе поступить.

„Квекеры," говоритъ біографъ Оуэна, „вступивъ въ управленіе New Lanark'омъ, начали съ того, что *уменьшили плату и увеличили число часовъ работы.*

New Lanark палъ.

Не надобно забывать, что успѣхъ Оуена раскрываетъ

еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бѣдный и подавленный работникъ, лишенный образованія, съ дѣтства пріученный къ пьянству и обману, къ войнѣ съ обществомъ, только сначала противодѣйствуетъ нововведеніямъ, и то изъ недовѣрія; но какъ только онъ убѣждается въ томъ, что перемѣна не во вредъ ему, что при ней и онъ не забытъ, онъ слѣдуетъ съ покорностью, потомъ съ довѣрчивой любовью.

Среда служащая тормазомъ не тутъ.

Гейнцъ, литературный холопъ Меттерниха, за обѣдомъ, во Франкфуртѣ, сказалъ Роберту Оуэну: „положимъ, что вы бы успѣли,—что же бы изъ этого вышло?"

— Очень просто — отвѣчалъ Оуэнъ—вышло бы то, что каждый былъ бы сытъ, хорошо одѣтъ, и получилъ бы дѣльное воспитаніе.

—Да вѣдь этого-то именно мы и не хотимъ, замѣтилъ Цицеронъ Вѣнскаго Конгресса. Гейнцъ, чего нѣтъ другаго, былъ откровененъ.

Съ той минуты какъ попы, лавочники догадались, что *потѣшныя* роты работниковъ и учениковъ—дѣло очень серьезное, гибель New Lanark'a была неминуема.

И вотъ отчего паденіе небольшой шотландской деревушки, съ фабрикой и школой, имѣетъ значеніе историческаго несчастія. Развалины Оуэнскаго New Lanark'a наводятъ на нашу душу не меньше грустныхъ думъ, какъ нѣкогда другія развалины наводили на душу Марія; съ той разницей, что римскій изгнанникъ сидѣлъ на гробѣ старца и думалъ о суетѣ суетствій; а мы тоже думаемъ, сидя у свѣжей могилы младенца, много обѣщавшаго и убитаго дурнымъ уходомъ, и страхомъ— *что онъ потребуетъ наслѣдства!*

III

И такъ Р. Оуэнъ былъ правъ передъ разумомъ; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Имъ только недоставало *пониманья* со стороны слушавшихъ его.

— Это дѣло времени, когда нибудь люди поймутъ.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтобъ люди никогда не дошли до пониманья своихъ собственныхъ выгодъ.

— Однако до сихъ поръ было такъ; этотъ недостатокъ пониманья восполнялся церковью и государствомъ, т. е. двумя главнѣйшими препятствіями къ дальнѣйшему развитію. Это логическій кругъ, изъ котораго очень трудно выйти. Оуэнъ воображалъ, что достаточно людямъ указать на отжившую нелѣпость ихъ, чтобъ люди освободились—и ошибся. Нелѣпость ихъ, особенно церкви, очевидна; но это имъ нисколько не мѣшаетъ. Несокрушимая твердость ихъ основана не *на разумѣ*, *а на недостаткѣ его*, и потому они почти также мало зависятъ отъ критики, какъ горы, лѣса, скалы. Исторія развивалась нелѣпостями; люди постоянно стремились за бреднями — а достигали очень дѣйствительныхъ послѣдствій. На яву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небѣ, то небо на землѣ, а по дорогѣ пѣли свои вѣчныя пѣсни, украшали храмы своими вѣчными изваяніями, построили Римъ и Аѳины, Парижъ и Лондонъ. Одно сновидѣніе уступаетъ другому; сонъ становится *иногда* тоньше, но никогда не проходитъ. Люди принимаютъ все, вѣрятъ во все, покоряются всему и многимъ готовы жертвовать; но они съ ужасомъ отпрядываютъ, когда между двумя религіями въ рас-

крытую щель, въ которую проходитъ дневной свѣтъ, дунетъ на нихъ свѣжій вѣтеръ разума и критики. Еслибъ напр. Р. Оуэнъ хотѣлъ исправить англиканскую церковь, ему также бы удалось, какъ унитаріямъ, квекерамъ, и не знаю кому. Перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку, или безъ перегородки, вынести образа, или принесть ихъ еще больше—это все можно, и тысячи пойдутъ за реформаторомъ; но Оуэнъ хотѣлъ вести *вонъ* изъ церкви, тутъ sta viator, тутъ рубежъ. До границы легко идти, труднѣйшее во всякой странѣ—это перейти ее; особенно когда самъ народъ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь исторіи, какъ только накапливалось немного образованія, попытки эти были: нѣсколько человѣкъ просыпались, протестовали противъ спящихъ, заявляли, что они на яву, но другихъ добудиться не могли. Появленіе ихъ доказываетъ, безъ малѣйшаго сомнѣнія, возможность человѣка развиваться до разумнаго пониманья. Но этимъ не разрѣшается нашъ вопросъ: можетъ ли это исключительное развитіе сдѣлаться общимъ? Наведеніе, которое намъ даетъ прошедшее, не въ пользу положительнаго рѣшенія. Развѣ будущее пойдетъ иначе, приведетъ иныя силы, иные элементы, которыхъ мы не знаемъ и которые перевернутъ, по плюсу или минусу, судьбы человѣчества или значительной части его. Открытіе Америки равняется геологическому перевороту; желѣзныя дороги, электрическій телеграфъ измѣнили всѣ человѣческія отношенія. То, чего мы не знаемъ, мы не имѣемъ права вводить въ нашъ разсчетъ; но, принимая всѣ лучшіе шансы, мы все же не предвидимъ, чтобъ люди скоро почувствовали потребность *здраваго смысла*. Развитіе мозга требуетъ своего времени. Въ природѣ нѣтъ торопливости; она

могла тысячи и тысячи лѣтъ лежать въ каменномъ обморкѣ и другія тысячи чирикать птицами, рыскать звѣрями по лѣсу, или плавать рыбой по морю. Историческаго бреда ей станетъ на долго; имъ же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной въ другихъ сферахъ.

Люди, которые поняли, что это сонъ, воображаютъ, что проснуться легко, сердятся на спящихъ, не соображая, что весь міръ ихъ окружающій не позволяетъ имъ проснуться. Жизнь проходитъ рядомъ оптическихъ обмановъ, искуственныхъ потребностей и мнимыхъ удовлетвореній.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тутъ Робертъ Оуэнъ поможетъ? Изъ вздора люди страдаютъ съ самоотверженіемъ, изъ вздора идутъ на смерть, изъ вздора убиваютъ другихъ. Въ вѣчной заботѣ, суетѣ, нуждѣ, тревогѣ, въ потѣ лица, въ трудѣ безъ отдыха и конца, человѣкъ даже и не наслаждается. Если ему досугъ отъ работы, онъ торопится свить семейныя сѣти, вьетъ ихъ совершенно случайно, самъ попадаетъ въ нихъ, стягиваетъ другихъ, и если не долженъ спасаться отъ голодной смерти—каторжной, нескончаемой работой, то начинаетъ ожесточенное преслѣдованіе жены, дѣтей, родныхъ или самъ преслѣдуется ими. Такъ люди гонятъ другъ друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, дѣлая ненавистными священнѣйшія связи. Когда же тутъ образумиться? Развѣ по другую сторону семьи, за ея гробомъ, когда человѣкъ все потерялъ, и энергію, и свѣжесть мысли, когда онъ ищетъ одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы цѣлаго муравейника, или одного муравья отдѣльно; вникните въ его до-

могательства и цѣли, въ его радости и горе, въ его понятія о добрѣ и злѣ, о *чести и позорѣ* — во все что онъ дѣлаетъ въ продолженіи всей жизни, съ утра до ночи; взгляните на что онъ посвящаетъ послѣдніе дни и чему жертвуетъ лучшими мгновеніями своей жизни— васъ обдастъ дѣтской, съ ея лошадками на колесахъ, съ блестками и фольгой, съ куклами, поставленными въ уголъ, и съ розгами, поставленными въ другой. Въ ребячьемъ лепетѣ слышится иной разъ проблескъ дѣла; но онъ теряется въ дѣтской разсѣянности. Остановиться, обдуматься нельзя — дѣла разстроишь, отстанешь, будешь затертъ; всѣ слишкомъ компрометировались и всѣ слишкомъ быстро несутся, чтобъ можно было остановиться, особенно передъ горстью людей, безъ пушекъ, безъ денегъ, безъ власти, *протестующихъ во имя разума*, не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильду, или Монтефіоре, *надобно* съ утра въ бюро, чтобъ начать капитализацію сотаго милліона; въ Бразиліи моръ, въ Италіи война, Америка распадается, все идетъ прекрасно; а тутъ, ему говорятъ о безотвѣтственности человѣка и о *иномъ* распредѣленіи богатствъ — разумѣется онъ не слушаетъ. Макъ-Магонъ дни, почи обдумывалъ, какъ вѣрнѣе, въ самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одѣтыхъ въ бѣлые мундиры, людьми одѣтыми въ красные штаны; истребилъ ихъ больше чѣмъ думалъ, всѣ его поздравляютъ, даже ирландцы, которые въ качествѣ папистовъ побиты имъ; а ему говорятъ, что война не только отвратительная нелѣпость но и преступленіе. Разумѣется, вмѣсто того, чтобъ слушать, онъ станетъ любоваться мечемъ, поднесеннымъ Ирландіей.

Въ Италіи, я былъ знакомъ съ однимъ старикомъ, главою богатаго банкирскаго дома. Разъ, поздно ночью,

мнѣ не спалось, я пошелъ гулять и возвращался, часу въ пятомъ утра, мимо его дома. Работники выкатывали изъ подваловъ боченки съ оливковымъ масломъ, для отправки моремъ. Старикъ банкиръ, въ тепломъ сертукѣ, стоялъ съ бумагой въ рукѣ, отмѣчая каждый боченокъ. Утро было свѣжо, онъ зябнулъ.

— Вы уже встали? сказалъ я ему.

— Я здѣсь больше часа, отвѣчалъ онъ, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли какъ въ Россіи.

— Что дѣлать, старъ становлюсь, силы отказываютъ.

— Пріятели-то ваши (т. е. его сыновья) спятъ еще, небось, — и пусть поспятъ пока старикъ еще живъ.

— А безъ собственнаго надзора нельзя. Я прежняго покроя человѣкъ, много наглядѣлся; пять революцій, какъ шю, видѣлъ, возлѣ прошли; а я, за своей работой, все также: отпущу масло, пойду въ контору. Я и кофей тамъ пью, прибавилъ онъ.

— И такъ до самаго обѣда?

— До самаго обѣда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочемъ, скажу вамъ откровенно, тутъ много дѣлаетъ привычка. *Мнѣ скучно безъ дѣла.*

Не нынче-завтра онъ умретъ. Кто же будетъ масло отпускать, какъ пойдетъ домъ? думалъ я, оставивъ его. Развѣ, къ тѣмъ порамъ, старшій сынъ тоже сдѣлается человѣкомъ прежняго покроя, и тоже будетъ скучать безъ дѣла, и вставать въ четыре часа? Такъ и пойдетъ одна тысяча золотыхъ къ другой, до тѣхъ поръ, пока кто нибудь изъ династовъ и навѣрное самый лучшій проиграетъ все въ карты, или поднесетъ лореткѣ. — „Родители-то какіе были! скажутъ добрые люди, — они

отказывали во всемъ себѣ и другимъ тоже, и все копили про дѣтей. А вотъ блудный сынъ!...“

Ну гдѣжъ тутъ скоро добраться, сквозь эту толщу нелѣпости, до живаго мяса?

Этимъ людямъ, занятымъ службой, ажіотажемъ, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, — Р. Оуэнъ проповѣдывалъ другое употребленіе силъ и указывалъ имъ на нелѣпость ихъ жизни. Убѣдить ихъ онъ не могъ, а озлобилъ ихъ и опрокинулъ на себя всю нетерпимость непониманія. Одинъ разумъ долготерпѣливъ и милосердъ, потому что онъ понимаетъ.

Біографъ Р. Оуэна очень вѣрно судилъ, говоря, что онъ разрушилъ свое вліяніе, отрѣкаясь отъ религіи. Дѣйствительно, стукнувшись о церковную ограду, ему слѣдовало остановиться, а онъ перелѣзъ на другую сторону и остался тамъ одинъ одинехонекъ, провожаемый благочестивымъ ругательствомъ. Но намъ кажется, что рано или поздно, онъ точно также остался бы и за *другимъ черепкомъ* раковины—одинъ и outlaw!

Толпа только потому не освирѣпѣла на него съ самаго начала, что государство и судъ не такъ популярны, какъ церковь и алтарь. Но за право наказанія вступились бы, à la longue, люди получше подкованные чѣмъ богобѣснующіеся квекеры и фельетонные святоши.

О церковномъ ученіи и истинахъ катехизиса никто, уважающій себя, не споритъ, зная впередъ, что они не могутъ выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатіе дѣвы Маріи, или увѣрять, что геологическія изслѣдованія Моисея сходны съ изслѣдованіями Мурчисона. Свѣтскія церкви *гражданскаго и уголовнаго суда* и догматы юридическаго катехизиса стоятъ гораздо тверже и пользуются, *впредь до*

разсмотрѣнія, правами доказанныхъ истинъ и незыблемыхъ аксіомъ.

Люди опрокинувшіе алтари не дерзали коснуться до зерцала. Анахарсисъ Клоцъ, Гебертисты, назвавшіе Бога по имени — Разумомъ, были также увѣрены во всѣхъ salus populi и другихъ гражданскихъ заповѣдяхъ, какъ средневѣковые попы въ каноническомъ правѣ и въ необходимости жечь колдуновъ.

Давно ли одинъ изъ сильнѣйшихъ, изъ самыхъ смѣлыхъ мыслителей нашего вѣка, для того, чтобъ нанести церкви послѣдній ударъ, секуляризовалъ ее въ трибуналъ, и вырывая изъ рукъ жрецовъ Исаака, приготовляемаго на закланіе богу, отдалъ его подъ судъ, т. е. на закланіе справедливости?

Вѣковой споръ, споръ тысячелѣтній о *волѣ и предопредѣленіи* не конченъ. Но одинъ Оуэнъ въ наше время сомнѣвался въ отвѣтственности человѣка за его поступки; слѣды того сомнѣнія мы найдемъ у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенауера, у натуралистовъ и у врачей, и, что всего важнѣе, у всѣхъ занимающихся статистикой преступленій. Во всякомъ случаѣ споръ не рѣшенъ, *но о томъ, что преступника наказывать справедливо, и, притомъ, по мѣрѣ преступленія, объ этомъ и спору нѣтъ*, это всякій самъ знаетъ!

Съ которой же стороны lunatic asylum?

„Наказаніе есть неотъемлемое право преступника," сказалъ самъ Платонъ.

— Жаль, что онъ самъ сказалъ этотъ каламбуръ, но впрочемъ мы не обязаны съ Аддисоновымъ Катономъ приговаривать ко всему: „ты правъ Платонъ, ты правъ" даже и тогда, когда онъ говоритъ, что „нашъ духъ не умираетъ".

Если быть выпоронному или повѣшенному составляетъ

право преступника, пусть же онъ самъ и предъявляетъ его, если оно нарушено. Права втѣснять не надобно.

Бентамъ называетъ преступника дурнымъ счетчикомъ: понятно, что кто обчелся, тотъ долженъ нести послѣдствія ошибки, но вѣдь это не право его. Никто не говоритъ, что если вы стукнулись лбомъ, то вы имѣете право на синее пятно, и нѣтъ особаго чиновника, который бы посылалъ фельдшера сдѣлать это пятно, если его нѣтъ. Спиноза еще проще говоритъ о могущей быть необходимости убить человѣка, мѣшающаго жить другимъ, „такъ какъ убиваютъ бѣшеную собаку“. Это понятно. Но юристы или такъ неоткровенны, или такъ забили свой умъ, что они казнь вовсе не хотятъ признать обороной или местью, а какимъ-то нравственнымъ вознагражденіемъ, „возстановленіемъ равновѣсія“. На войнѣ дѣла идутъ прямѣе: убивая непріятеля, солдатъ не ищетъ *его* вины, не говоритъ даже что это справедливо, а кто кого сможетъ, тотъ того и повалитъ.

— Но съ этими понятіями придется затворить всѣ суды.

— Зачѣмъ? дѣлали же изъ базиликъ приходскія церкви, не попробовать ли теперь ихъ отдать подъ приходскія школы?

— Съ этими понятіями о безнаказанности не устоитъ ни одно правительство.

— Оуэнъ могъ бы какъ первый *историческій* братъ на это отвѣчать: развѣ мнѣ было поручено упрочивать правительства?

— Онъ въ отношеніи правительствъ былъ очень уклончивъ и умѣлъ ладить съ коронованными головами, съ министрами тори и съ президентомъ американской республики.

— А развѣ онъ былъ дуренъ съ католиками или протестантами?

— Чтожъ вы думаете Оуэнъ былъ республиканецъ?

— Я думаю, что Р. Оуэнъ предпочиталъ ту *форму правительства*, которая наибольше соотвѣтствуетъ принимаемой имъ церкви.

— Помилуйте у него никакой нѣтъ церкви.

— Ну вотъ видите.

— Однако нельзя быть безъ правительства.

— Безъ сомнѣнія; хотъ какое нибудь дрянное да надобно. Гегель разсказываетъ о доброй старухѣ, говорившей: „Ну чтожъ, что дурная погода, все лучше чтобъ была дурная, чѣмъ еслибъ совсѣмъ погоды не было!“

— Хорошо, смѣйтесь, да вѣдь государство погибнетъ безъ правительства;

— А мнѣ что за дѣло!

IV.

Во время революціи былъ сдѣланъ опытъ кореннаго измѣненія гражданскаго быта, съ сохраненіемъ *сильной правительственной* власти.

Декреты приготовлявшагося правительства уцѣлѣли, съ своимъ заголовкомъ.

Egalité Liberté
Bonheur Commun.

Къ которому иногда прибавляется въ видѣ поясненія, ou la mort!

Декреты, какъ и слѣдуетъ ожидать, начинаются съ *декрета полиціи*.

§ 1. Лица, ничего не дѣлающіе *для отечества*, не

имѣютъ никакихъ политическихъ правъ, это *иностранцы*, которымъ *республика* даетъ гостепріимство.

§ 2. Ничего не дѣлаютъ *для отечества* тѣ, которые не *служатъ* ему полезнымъ трудомъ.

§ 3. *Законъ* считаетъ полезными трудами:

Земледѣліе, скотоводство, рыбную ловлю, мореплаваніе.

Механическія и ручныя работы.

Мелкую торговлю (la vente en detail).

Извозъ и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподаваніе.

§ 4. Впрочемъ, *науки* и *преподаваніе* не будутъ считаться полезными, если *лица*, занимающіеся ими, не представятъ въ данное время свидѣтельство цивизма, *написанное по опредѣленной формѣ*.

§ 6. *Иностранцамъ* воспрещается входъ въ публичныя собранія.

§ 7. Иностранцы находятся подъ прямымъ надзоромъ высшей администраціи, которой предоставляется право высылать ихъ съ мѣста жительства и отправлять въ исправительныя мѣста.

Въ декретѣ о „работахъ“ все росписано и распредѣлено, въ какое время, когда что дѣлать, сколько часовъ работать; старшины даютъ „примѣръ усердія и дѣятельности,“ другіе доносятъ обо всемъ, дѣлающемся въ мастерскихъ, начальству. Работниковъ *посылаютъ* изъ одного мѣста въ другое (такъ какъ гоняютъ мужиковъ на шоссейную работу у насъ), по мѣрѣ надобности рукъ и труда.

§ 11. Высшая администрація посылаетъ на каторжную работу (travaux forcés) подъ надзоръ ею назначенныхъ общинъ, лица обоего пола, которыхъ *инцивизмъ*

(incivisme), лѣнь, роскошь, и *дурное поведеніе*, даютъ обществу дурной примѣръ. Ихъ имущество будетъ конфисковано.

§ 14. Особенные чиновники заботятся о содержаніи и приплодѣ скота, объ одеждѣ, переѣздахъ и облегченіяхъ, работающихъ гражданъ,

Декретъ о распредѣленіи имущества.

§ 1. Ни одинъ членъ общины, не можетъ пользоваться ни чѣмъ, кромѣ того, что ему опредѣляется закономъ, и дано посредствомъ облеченнаго властью чиновника (magistrat).

§ 2. Народная община съ самаго начала даетъ своимъ членамъ квартиру, платья, стирку, освѣщеніе, отопленіе, достаточное количество хлѣба, мяса, куръ, рыбы, яицъ, масла, вина и другихъ напитковъ.

§ 3. Въ каждой комунѣ, въ опредѣленныя эпохи, будутъ общія трапезы, на которыхъ члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякій членъ, взявшій плату за работу или хранящій у себя деньги, *наказывается*.

Декретъ о торговлѣ.

§ 1 Заграничная торговля частнымъ лицамъ *запрещена*. Товаръ будетъ конфискованъ, преступникъ наказанъ.

Торговля будетъ производиться чиновниками. За тѣмъ деньги уничтожаются. Золото и серебро не велѣно ввозить. Республика не выдаетъ денегъ, внутреніе частные долги уничтожаются, внѣшніе уплачиваются; а если кто обманетъ или сдѣлаетъ подлогъ, то наказывается *вѣчнымъ рабствомъ*, (esclavage perpetuel).

За этимъ такъ и ждешь *Питеръ* въ Сарскомъ Селѣ, или гр. *Аракчеевъ* въ Грузинѣ, а подписалъ не Петръ I, а первый соціалистъ французскій *Гракхъ Бабефъ!*

Жаловаться трудно, чтобъ въ этомъ проектѣ не доставало правительства; обо всемъ попеченіе, за всѣмъ надзоръ, надъ всѣмъ опека, все устроено, все приведено въ порядокъ. Даже воспроизведеніе животныхъ не предоставляется ихъ собственнымъ слабостямъ и кокетству, а реглементировано высшимъ начальствомъ.

И для чего вы думаете все это? Для чего кормятъ „курами и рыбой, обмываютъ, одѣваютъ и *утѣшаютъ*“*) этихъ *крѣпостныхъ* благосостоянія, этихъ приписанныхъ къ равенству арестантовъ? не просто для ниxъ, декретъ именно говоритъ, что все это будетъ дѣлаться mediocrement. „Одна Республика должна быть богата, великолѣпна и всемогуща.“

Это сильно напоминаетъ нашу Иверскую Божію матерь, sie hat Perlen und Diamanten, карету и лошадей, іеромонаховъ для прислуги, кучеровъ съ незамерзаемой головой, словомъ у нея все есть — да ее только нѣтъ, она владѣетъ всѣмъ добромъ in effigie.

Противоположность Роберта Оуэна съ Гракхомъ Бабёфомъ очень замѣчательна. Черезъ вѣка, когда все измѣнится на земномъ шарѣ, по этимъ *двумъ кореннымъ зубамъ* можно будетъ возстановить ископаемые остовы Англіи и Франціи до послѣдней косточки. Тѣмъ больше, что въ сущности эти мастодонты соціализма принадлежатъ одной семьѣ, идутъ къ одной цѣли, и изъ тѣхъ же побужденій, тѣмъ ярче ихъ различіе.

Одинъ видѣлъ, что, не смотря на казнь короля, на провозглашеніе республики, на уничтоженіе *федералистовъ* и демократическій терроръ, народъ остался не причемъ. Другой, что, не смотря на огромное развитіе промышленности, капиталовъ, машинъ и усиленной про-

*) „Каждый гражданинъ будетъ отъ администраціи logé, nourri, habillé et amusé.“

изводительности, „веселая Англія“ дѣлается все больше Англіей скучной, и Англія обжорливая, все больше Англіей голодной. Это привело обоихъ къ необходимости измѣненія основныхъ условій государственнаго и экономическаго быта. Почему они (и многіе другіе) почти въ одно и тоже время попали на этотъ порядокъ идей—понятно. Противорѣчія общественнаго быта становились не больше и не хуже, чѣмъ прежде, но они выступали рѣзче, къ концу XVIII вѣка. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонію, которая была прежде между ними, при меньше благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Встрѣтившись такъ близко въ точкѣ исхода, оба идутъ въ противоположныя стороны.

Оуэнъ видитъ въ томъ, что общественное зло приходитъ къ сознанію, послѣднее *достиженіе*, послѣднюю побѣду тяжелаго, сложнаго, историческаго похода; онъ привѣтствуетъ зарю *новаго* дня, никогда не бывалаго и невозможнаго въ прошедшемъ, и уговариваетъ дѣтей, какъ можно скорѣе покинуть пеленки, помочи, и стать на свои ноги. Онъ заглянулъ въ двери будущаго и, какъ путешественникъ, доѣхавшій до мѣста, не сердится больше на дорогу, не браннтъ ни станціонныхъ смотрителей, ни клячъ.

Но конституція 1793 года думала не такъ, а съ ней не такъ думалъ и Гракхъ Бабёфъ. Она декретировала *возстановленіе естественныхъ правъ человѣка, забытыхъ и утраченныхъ*. Государственный бытъ — преступный плодъ узурпаціи, послѣдствіе злодѣйскаго заговора тирановъ и ихъ сообщниковъ — поповъ и аристократовъ. Ихъ слѣдуетъ казнить, какъ враговъ отечества, достояніе ихъ возвратить законному *государю*, которому теперь ѣсть нечего, и который называется поэтому *сан-*

кюлотомъ. Пора возстановить его старыя, *неотъемлемыя* права... Гдѣ они были? Почему пролетарій государь? Почему ему принадлежитъ все достояніе, награбленное другими?... А! вы сомнѣваетесь — вы подозрительный человѣкъ, ближній государь сведетъ васъ къ гражданину судьѣ, а тотъ пошлетъ къ гражданину палачу, и вы больше сомнѣваться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мѣшать практикѣ *акушера* Оуэна.

Бабёфъ хотѣлъ силой, т. е. властью разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжаніе. Для этого онъ сдѣлалъ заговоръ, еслибъ ему удалось овладѣть Парижемъ, комитетъ insurrecteur *приказалъ бы* Франціи новое устройство, точно такъ, какъ Византіи его приказалъ побѣдоносный Османлисъ; онъ втѣснилъ бы французамъ свое *рабство общаго благосостоянія* и разумѣется съ такимъ насиліемъ, что вызвалъ бы страшнѣйшую реакцію, въ борьбѣ съ которой Бабёфъ и его комитетъ погибли бы, бросивъ міру *великую мысль въ нелѣпой формѣ*, мысль, которая и теперь тлѣетъ подъ пепломъ и мутитъ довольство *довольныхъ*.

Оуэнъ, видя, что люди образованныхъ странъ подростаютъ къ переходу въ новый періодъ, не думалъ вовсе о насиліи, а хотѣлъ только облегчить развитіе. Съ своей стороны онъ, также послѣдовательно, какъ Бабёфъ съ своей, принялся за изученіе зародыша, за развитіе ячейки. Онъ началъ, какъ всѣ естествоиспытатели, съ частнаго случая; его микроскопъ, его лабораторія былъ New Lanark; его ученіе росло и мужало вмѣстѣ съ ячейкой, и онѣ-то довело его до заключенія, что главный путь водворенія новаго порядка — *воспитаніе*.

Заговоръ для Оуэна былъ ненуженъ, возстаніе мо-

гло только повредить ему. Онъ не только могъ ужиться съ лучшимъ въ мірѣ правительствомъ, съ англійскимъ, но со всякимъ другимъ. Онъ въ правительствѣ видѣлъ устарѣлый, историческій фактъ. поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойниковъ, которую надобно неожиданно накрыть. Но домогаясь ниспровергнуть правительства, онъ не домогался нисколько и *поправлять его.* Еслибъ святые лавочники не мѣшали ему, въ Англіи и Америкѣ были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony*), въ нихъ втекали бы свѣжія силы рабочаго народонаселенія. они исподволь отвели бы лучшіе, жизненные соки отъ отжившихъ государственныхъ цистернъ. Что же ему было бороться съ умирающими; онъ могъ ихъ предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенецъ, котораго приносятъ въ его школы, c'est autant de pris надъ церковью и правительствомъ!

Бабёфъ былъ казненъ. Во время процесса онъ выростаетъ въ одну изъ тѣхъ великихъ личностей — мучениковъ и побитыхъ пророковъ, передъ которыми невольно склоняется человѣкъ. Онъ угасъ, а на его могилѣ росло больше и больше всепоглощающее чудовище *централизаціи.* Передъ нею особенность стерлась, заснула, поблѣднѣла личность и исчезла. Никогда на европейской почвѣ, со временъ тридцати тирановъ аѳинскихъ до тридцатилѣтней войны и отъ нея до исхода

*) Съ легкой руки Оуэна начали въ Англіи развиваться *кооперативныя работничьи ассоціаціи,* ихъ считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бѣдно 15 лѣтъ тому назадъ, съ капиталомъ 28 ливровъ, строитъ теперь на общественныя деньги фабрику съ двумя машинами, каждая въ 60 силъ, и которая имъ стоитъ за 30,000 фунтовъ. Кооперативныя общества печатаютъ журналъ „The Co-operator," который издается исключительно работниками.

французской революціи, человѣкъ не былъ такъ пойманъ правительственной паутиной, такъ опутанъ сѣтями администраціи, какъ въ новѣйшее время во Франціи.

Оуэна исподоволь затянуло иломъ. Онъ двигался, пока могъ, говорилъ, пока его голосъ доходилъ. Илъ пожималъ плечами, качалъ головой; неотразимая волна мѣщанства росла, Оуэнъ старѣлся и все глубже уходилъ въ трясину; мало по малу его усилія, его слова, его ученіе—все исчезло въ болотѣ. Иногда будто попрыгиваютъ фіолетовые огоньки, пугающіе робкія души либераловъ,—только *либераловъ*: аристократы ихъ презираютъ, попы ненавидятъ, народъ не знаетъ.

— За то будущее ихъ!..

— Какъ случится!

— Помилуйте, къ чему же послѣ этого вся исторія?

— Да и все-то на свѣтѣ къ чему? Что касается до исторіи, я не дѣлаю ее и потому за нее не отвѣчаю. Я, какъ „сестра Анна“ въ Синей Бородѣ, смотрю для васъ на дорогу и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... вотъ ѣдутъ... ѣдутъ, кажется, они; нѣтъ, это не братья наши, это бараны, много барановъ! Наконецъ-то приближаются два гиганта разными дорогами. Ну, ужъ не тотъ, такъ другой потреплетъ Рауля за синюю бороду. Не тутъ-то было! грозныхъ указовъ Бабёфа Рауль не слушается, въ школу Р. Оуэна не идетъ; одного послалъ на гильотину, другого утопилъ въ болотѣ. Я этого вовсе не хвалю, мнѣ Рауль не родной; я только констатирую фактъ *и больше ничего*!

V.

... Около того времени, когда въ Вандомѣ упали въ роковой мѣшокъ головы Бабёфа и Дорте, Оуэнъ жилъ

на одной квартирѣ съ другимъ непризнаннымъ геніемъ и бѣднякомъ Фультономъ и отдавалъ ему послѣдніе свои шиллинги, чтобъ тотъ дѣлалъ модели машинъ, которыми онъ обогатилъ и облагодѣтельствовалъ родъ человѣческій. Случилось, что одинъ молодой офицеръ показывалъ дамамъ свою батарею. Чтобъ быть вполнѣ любезнымъ, онъ безъ всякой нужды пустилъ нѣсколько ядеръ (это разсказываетъ онъ самъ); непріятель отвѣчалъ тѣмъ же; нѣсколько человѣкъ пали, другіе были изранены; дамы остались очень довольны нервнымъ потрясеніемъ. Офицера немножко угрызала совѣсть, „люди эти, говоритъ, погибли совершенно безполезно“... но дѣло военное, это скоро прошло. Cela promettait и впослѣдствіи молодой человѣкъ пролилъ крови больше, чѣмъ всѣ революціи вмѣстѣ, потребилъ одной конскрипціей больше солдатъ, чѣмъ надобно было Оуэну учениковъ, чтобъ пересоздать весь свѣтъ.

Системы у него не было никакой, добра людямъ онъ не желалъ и не обѣщалъ. Онъ добра желалъ себѣ одному, а подъ добромъ разумѣлъ власть. Теперь и посмотрите, какъ слабы передъ нимъ Бабёфъ и Оуэнъ! Его имя тридцать лѣтъ послѣ его смерти было достаточно, чтобъ его племянника признали императоромъ.

Какой же у него былъ секретъ?

Бабёфъ хотѣлъ людямъ *приказать благосостояніе* и коммунистическую республику.

Оуэнъ хотѣлъ ихъ *воспитать* въ другой экономической бытъ, несравненно больше выгодный для нихъ.

Наполеонъ не хотѣлъ ни того, ни другого; онъ понялъ, что французы не въ самомъ дѣлѣ желаютъ питаться спартанской похлебкой и возвратиться къ нравамъ Брута старшаго, что они не очень удовлетворятся тѣмъ, что по большимъ праздникамъ „граждане бу-

дутъ сходиться разсуждать о законахъ*) и обучать дѣтей цивическимъ добродѣтелямъ.“ Вотъ, дѣло другое, подраться и похвастаться храбростью они, точно, любятъ.

Вмѣсто того, чтобъ имъ мѣшать и дразнить, проповѣдуя вѣчный миръ, лакедемонскій столъ, римскія добродѣтели и миртовые вѣнки, Наполеонъ, видя, какъ они страстно любятъ кровавую славу, сталъ ихъ натравливать на другіе народы и самъ ходить съ ними на охоту. Его винить не за что, французы и безъ него были бы такіе же. Но эта одинаковость вкусовъ совершенно объясняетъ любовь къ нему народа: для толпы онъ не былъ упрекомъ, онъ ее не оскорблялъ ни своей чистотой, ни своими добродѣтелями, онъ не представлялъ ей возвышенный, преображенный идеалъ; онъ не являлся ни карающимъ пророкомъ, ни поучающимъ геніемъ, *онъ самъ принадлежалъ толпѣ* и показалъ ей *ее самое*, съ ея недостатками и симпатіями, съ ея страстями и влеченіями, возведенную въ *Генія* и покрытую лучами славы. Вотъ отгадка его силы и вліянія; вотъ отчего толпа плакала объ немъ, переносила его гробъ съ любовью и вездѣ повѣсила его портретъ.

Если и онъ палъ, то вовсе не отъ того, чтобъ толпа его оставила, что она разглядѣла пустоту его замысловъ, что она устала отдавать послѣдняго сына и безъ причины лить кровь человѣческую. Онъ додразнилъ другіе народы до дикаго отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своихъ господъ. Христіанская нравственность была удовлетворена, нельзя было съ большимъ остервенѣніемъ защищать своихъ враговъ!

*) Не изъ нашихъ ли законовъ взялъ Гракхъ Бабёфъ это развлеченіе? Когда въ коллегіи нѣтъ дѣла, члены должны *читать законы!*

На этотъ разъ военный деспотизмъ былъ побѣжденъ феодальнымъ.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встрѣчу Веллингтона съ Блюхеромъ въ минуту побѣды подъ Ватерлоо, я долго смотрю на нее всякій разъ, и всякій разъ внутри груди дѣлается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обѣщающая ничего свѣтлаго фигура—и этотъ сѣдой, свирѣпо-добродушный нѣмецкій кондотьеръ. Ирландецъ на англійской службѣ, человѣкъ безъ отечества—и пруссакъ, у котораго отечество въ казармахъ—привѣтствуютъ радостно другъ друга; и какъ имъ не радоваться, они только что своротили исторію съ большой дороги по ступицу въ грязь, въ такую грязь, изъ которой ее въ полвѣка не вытащатъ... Дѣло на разсвѣтѣ... Европа еще спала въ это время и не знала, что судьбы ея перемѣнились. И отъ чего? Оттого, что Блюхеръ поторопился, а Груши опоздалъ! Сколько несчастій и слезъ стоила народамъ эта побѣда? А сколько несчастій и крови стоила бы народамъ побѣда противной стороны?

... Да какой же выводъ изъ всего этого?

— Что вы называете выводъ? Нравоученіе въ родѣ fais ce que dois, advienne ce qui pourra, или сентенцію въ родѣ—

И прежде кровь лилась рѣкою,
И прежде плакалъ человѣкъ?

Пониманіе дѣла—вотъ и выводъ, освобожденіе отъ лжи —вотъ и нравоученіе.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбіе и особенно теперь, когда всѣ кричатъ о безнравственности взятокъ? „Истина—религія,“ толкуетъ старикъ Оуэнъ, „не требуйте отъ нея ничего больше, какъ ее самое.“

За все вынесенное, за поломанныя кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблужденія, по крайней мѣрѣ разобрать нѣсколько буквъ таинственной грамоты, понять общій смыслъ того, что дѣлается около насъ... Это страшно много! Дѣтскій хламъ, который мы утрачиваемъ, не занимаетъ больше, онъ намъ дорогъ только по привычкѣ. Чего тутъ жалѣть? Бабу-Ягу или жизненную силу, сказку о золотомъ вѣкѣ сзади, или о безконечномъ прогрессѣ впереди, чудотворную склянку св. Януарія или метеорологическую молитву о дождѣ, тайный умыселъ химичечкихъ заговорщиковъ или natura sic voluit?

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокругъ все колеблется, несется; стой или ступай куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства.... Вѣроятно и море пугало сначала безпорядкомъ, но какъ только человѣкъ понялъ его безцѣльную суету, онъ взялъ дорогу съ собой и въ какой-то скорлупѣ переплылъ океаны.

Ни природа, ни исторія *никуда не идутъ* и потому готовы идти *всюду*, куда имъ укажутъ, *если это возможно*, т. е. если ничего не мѣшаетъ. Онѣ слагаются au fur et à mesure бездной другъ на друга дѣйствующихъ, другъ съ другомъ встрѣчающихся, другъ друга останавливающихъ и увлекающихъ частностей; но человѣкъ вовсе не теряется отъ этого, какъ песчинка въ горѣ, не больше подчиняется стихіямъ, не круче связывается необходимостью, а выростаетъ тѣмъ, что понялъ свое положеніе, въ рулеваго, который гордо разсѣкаетъ волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себѣ путемъ сообщенія.

Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи

готова идти съ каждымъ, каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ и, если онъ звученъ, онъ останется *его* стихомъ, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будетъ бродить въ ея крови и памяти. Возможностей, эпизодовъ, открытій въ ней и въ природѣ дремлетъ бездна на всякомъ шагу. Стоитъ тронуть наукой скалу, чтобъ изъ нея текла вода; да что вода? подумайте о томъ, что сдѣлалъ сгнетенный паръ, что дѣлаетъ электричество съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, а не Юпитеръ взялъ ихъ въ руки. Человѣческое участіе велико и полно поэзіи, это своего рода творчество. Стихіямъ, веществу все равно, они могутъ дремать тысячелѣтія и вовсе не просыпаться, но человѣкъ шлетъ ихъ на свою работу и они идутъ. Солнце давно ходитъ по небу; вдругъ человѣкъ перехватилъ его лучъ, задержалъ его слѣдъ и солнце стало ему дѣлать портреты.

Природа никогда не борется съ человѣкомъ, это пошлый религіозный поклепъ на нее, она не настолько умна, чтобъ бороться, ей все равно; „по той мѣрѣ, по которой человѣкъ ее знаетъ, по той мѣрѣ онъ можетъ ею управлять,“ сказалъ Бэконъ и былъ совершенно правъ. Природа не можетъ перечить человѣку, если человѣкъ не перечитъ ея законамъ: она, продолжая свое дѣло, безсознательно будетъ дѣлать его дѣло. Люди это знаютъ и на этомъ основаніи владѣютъ морями и сушами. Но передъ объективностью историческаго міра человѣкъ не имѣетъ того же уваженія, тутъ онъ дома и не стѣсняется; въ исторіи ему легче страдательно уноситься потокомъ событій или врываться въ него съ ножемъ и крикомъ: „общее благосостояніе или смерть!“ чѣмъ вглядываться въ приливы и отливы волнъ его несущихъ, изучать ритмъ ихъ колебаній и тѣмъ самымъ открыть себѣ безконечные фарватеры.

Конечно, положеніе человѣка въ исторіи сложнѣе, тутъ онъ разомъ *лодка, волна и кормчій.* Хоть бы карта была!

— А будь карта у Колумба, не онъ открылъ бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтобъ попасть на карту. Только отнимая у исторіи всякой предназначенный путь, человѣкъ и исторія дѣлаются чѣмъ-то серьезнымъ, дѣйствительнымъ и исполненнымъ глубокаго интереса. Если событія подтасованы, если вся исторія—развитіе какого-то доисторическаго *заговора* и она сводится на одно выполненіе, на одну его mise en scène, возьмемте по крайней мѣрѣ и мы деревянные мечи и щиты изъ латуни. Неужели намъ лить настоящую кровь и настоящія слезы для представленія провиденціальной шарады. Съ предопредѣленнымъ планомъ исторія сводится на вставку чиселъ въ алгебраическую формулу, будущее отдано въ кабалу до рожденія.

Люди, съ ужасомъ говорящіе о томъ, что Р. Оуэнъ лишаетъ человѣка воли и нравственной доблести, мирятъ предопредѣленіе не только съ свободой, но и съ палачемъ. Развѣ только на основаніи текста, что „Сынъ человѣческій *долженъ быть* преданъ, но горе тому, кто его предастъ!“ *)

*) Теологи отважнѣе доктринеровъ вообще, они прямо говорятъ, что безъ воли божіей не падетъ волосъ съ головы, а отвѣтственность за каждое дѣйствіе, даже за помыслъ оставляютъ на человѣкѣ. Ученый фатализмъ утверждаетъ, что у нихъ и рѣчи нѣтъ о личностяхъ, *о случайныхъ* носителяхъ идеи... (т. е. рѣчи нѣтъ о нашемъ братѣ, обыкновенномъ человѣкѣ, а что касается до такихъ личностей, какъ Александръ Македонскій или Петръ I — намъ уши прожужжали ихъ всемірно историческимъ призваніемъ). Доктринеры, видите, какъ большіе господа, хозяйствомъ исторіи распоряжа-

Въ мистическомъ воззрѣніи все это на мѣстѣ, и тамъ это имѣетъ свою художественную сторону, которой въ доктринаризмѣ нѣтъ. Въ религіи развертывается цѣлая драма; тутъ борьба, возмущеніе и его усмиреніе; вѣчная Мессіада, Титаны, Луциферъ, Аббадона, изгонямый Адамъ, прикованный Прометей, караемые богомъ и искупаемые спасителемъ. Это романъ, потрясающій душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализмъ, переходя изъ церкви въ школу, утратилъ весь свой смыслъ, даже тотъ смыслъ правдоподобія, который мы требуемъ въ сказкѣ. Изъ яркаго, пахучаго, опьяняющаго, азіатскаго цвѣтка, доктринеры высушили блѣдное сѣно для гербаріума. Отталкивая фантастическіе образы, они остались при голой логической ошибкѣ, при нелѣпости предъ исторической аггіёге pensеё, воплощающейся во чтобы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами, своихъ цѣлей. Зачѣмъ, если она существуетъ, она еще разъ осуществляется. Если же ее нѣтъ и она только *становится и отстаивается* событіями, то что же за новый имиакулатный процессъ зачатія зародилъ, во времен-

ются en gros, гуртомъ... но гдѣ граница стада и личностей, гдѣ нѣсколько зеренъ-то, какъ спрашивали мои милые аѳинскіе софисты, становятся кучей?

Само собою разумѣется, что мы никогда не смѣшивали предопредѣленій съ теоріей вѣроятностей, мы въ правѣ наведеніемъ дѣлать посылки отъ прошедшаго къ будущему. Дѣлая индукцію, мы знаемъ, что дѣлаемъ, основываясь на постоянствѣ нѣкоторыхъ законовъ и явленій, но допуская также и нарушенія. Мы видимъ человѣка тридцати лѣтъ и имѣемъ полное право предполагать, что черезъ другія тридцать лѣтъ онъ будетъ сѣдъ или плѣшивъ, нѣсколько сгорбится и пр. Это не значитъ, что его назначеніе сѣдѣть, плѣшивѣть, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри онъ тридцати пяти лѣтъ, онъ не будетъ сѣдѣть, а пойдетъ „на замазку,“ какъ говоритъ Гамлетъ, или на салатъ.

номъ, преждесущую идею, которая, выходя изъ чрева исторіи, возвѣщаетъ тотчасъ, что она была прежде и будетъ послѣ. Это новое сводное безсмертіе души, идущее въ обѣ стороны, не личное, не чье нибудь, а родовое... *Безсмертная душа* всего человѣчества..... Это стоитъ мертвыхъ душъ! Нѣтъ ли безсмертной березы всѣхъ березъ?

Мудрено ли, что съ такимъ освѣщеніемъ самые простѣйшіе, обыденные предметы сдѣлались при схоластическомъ объясненіи совершенно непонятными. Можетъ ли, напримѣръ, быть фактъ доступнѣе всякому, какъ наблюденіе, что чѣмъ человѣкъ больше живетъ, тѣмъ имѣетъ больше случая нажиться; чѣмъ дольше глядитъ на одинъ предметъ, тѣмъ больше разглядываетъ его, если ничего не помѣшаетъ или онъ не ослѣпнетъ? И изъ этого факта ухитрились сдѣлать кумиръ *прогресса*, какого-то безпрерывно растущаго и обѣщающаго рости въ безконечность золотаго тельца.

Не проще ли понять, что человѣкъ живетъ не для *совершенія судебъ*, не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился *для* (какъ ни дурно это слово) для настоящаго, что вовсе не мѣшаетъ ему ни получать наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завѣщанію. Это кажется идеалистамъ унизительно и грубо; они никакъ не хотятъ обратить вниманія на то, что все великое значеніе наше, при нашей ничтожности, при едва уловимомъ мельканіи личной жизни, въ томъ - то и состоитъ, что пока мы живы, пока не развязался на стихіи задержанный нами узелъ, *мы все таки сами*, а не куклы, назначенныя выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тѣмъ, что мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шью-

щаго пеструю ткань исторіи... мы знаемъ, что ткань эта не безъ насъ шьется, но это не цѣль наша, не назначенье, не заданный урокъ, а послѣдствіе той сложной круговой поруки, которая связываетъ все сущее концами и началами, причинами и дѣйствіями.

И это не все, мы можемъ *перемѣнить узоръ ковра*. Хозяина нѣтъ, рисунка нѣтъ, одна основа, да мы одни одинехоньки. Прежніе ткачи судьбы, всѣ эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприкащики скрываютъ отъ насъ ихъ завѣщаніе, а покойники намъ завѣщали свою власть.

„Но если, съ одной стороны, вы отдаете судьбу человѣка на его произволъ, а съ другой, снимаете съ него отвѣтственность, то съ вашимъ ученіемъ онъ сложитъ руки, и просто ничего не будетъ дѣлать."

Ужъ не перестанутъ ли люди ѣсть и пить, любить и производить дѣтей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнаютъ, что ѣдятъ и слушаютъ, любятъ и наслаждаются для себя, а не для совершенія высшихъ предначертаній и не для *скорѣйшаго* достиженія *безконечнаго* развитія совершенства?

Если религія съ своимъ подавляющимъ фатализмомъ и доктринаризмомъ, съ своимъ безотраднымъ и холоднымъ, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтобъ это сдѣлало воззрѣніе, освобождающее его отъ этихъ плитъ. Одного чутья жизни и непослѣдовательности было достаточно, чтобъ спасти европейскіе народы отъ религіозныхъ проказъ, въ родѣ аскетизма, квіетизма, которые постоянно были только на словахъ и никогда на дѣлѣ; неужели разумъ и сознаніе окажутся слабѣе?

Къ тому же, въ реальномъ воззрѣніи есть свой се-

кретъ; тотъ, кто отъ него сложитъ руки, тотъ не поймётъ его, и не приметъ; онъ еще принадлежитъ къ иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры, съ одной стороны діаволъ съ чернымъ хвостомъ, съ другой, ангелъ съ бѣлой лиліей.

Стремленіе людей къ болѣе гармоническому быту, совершенно естественно, его нельзя ничѣмъ остановить, такъ какъ нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вотъ почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки отъ какого бы ученія ни было. Найдутся ли лучшія условія жизни, совладаетъ ли съ ними человѣкъ, или въ иномъ мѣстѣ собьется съ дороги, а въ другомъ надѣлаетъ вздору, это другой вопросъ. Говоря, что у человѣка никогда не пропадетъ голодъ, мы не говоримъ, будутъ ли всегда и для каждаго съѣстные припасы, и притомъ здоровые.

Есть люди, удовлетворяющіеся малымъ, съ бѣдными потребностями, съ узкимъ взглядомъ и ограниченными желаніями. Есть и народы съ небольшимъ горизонтомъ, съ страннымъ воззрѣніемъ, удовлетворяющіеся бѣдно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, безъ сомнѣнія, два народа, нашедшіе наиболѣе соотвѣтствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они такъ неизмѣнно одни и тѣже.

Европа, кажется намъ, тоже близка къ „насыщенію“ и стремится, усталая, осѣсть, скристаллизоваться, найдя свое прочное общественное положеніе *въ мѣщанскомъ устройствѣ*. Ей мѣшаютъ покойно сложиться монархическо-феодальные остатки и завоевательное начало. Мѣщанское устройство представляетъ огромный успѣхъ въ сравненіи съ олигархически-военнымъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но для Европы, и въ особенности для англо-германской, оно представляетъ не только огромный ус-

пѣхъ, *но и успѣхъ достаточный.* Голландія опередила, она первая успокоилась до прекращенія исторіи. Прекращеніе роста—начало совершеннолѣтія. Жизнь студента полнѣе событій и идетъ гораздо бурнѣе, чѣмъ трезвая и работящая жизнь отца семейства. Еслибъ надъ Англіей не тяготѣлъ свинцовый щитъ феодальнаго землевладѣнія и она, какъ Уголино, не ступала бы постоянно на своихъ дѣтей, умирающихъ съ голоду; еслибъ она, какъ Голландія, могла достигнуть для всѣхъ благосостоянія мелкихъ лавочниковъ и небогатыхъ хозяевъ средней руки, она успокоилась бы на мѣщанствѣ. А съ тѣмъ вмѣстѣ уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизилась, и жизнь безъ событій, развлекаемая иногда внѣшними толчками, свелась бы на однообразный круговоротъ, на слегка видоизмѣняющійся semper idem. Собирался бы парламентъ, представлялся бы бюджетъ, говорились бы дѣльныя рѣчи, улучшались бы формы... и на будущій годъ тоже, и черезъ десять лѣтъ тоже; это была бы покойная колея взрослаго человѣка, его дѣловые будни. Мы и въ естественныхъ явленіяхъ видимъ, какъ начала эксцентричны, а устоявшееся продолженіе идетъ потихоньку, не буйной кометой, описывающей съ распущенной косой свои невѣдомые пути, а тихой планетой, плывущей съ своими сателлитами, въ родѣ фонариковъ, битымъ и перебитымъ путемъ; небольшія отступленія выставляютъ еще больше общій порядокъ... весна помокрѣе, весна посуше, но послѣ всякой—лѣто, но передъ всякой—зима.

— Такъ это, пожалуй, все человѣчество дойдетъ до мѣщанства, да на немъ и застрянетъ?

— Не думаю, чтобы все, а нѣкоторыя части навѣрно. Слово „человѣчество“—препротивное, оно не выра-

жаетъ ничего опредѣленнаго, а только къ смутности всѣхъ остальныхъ понятій подбавляетъ еще какого-то пѣгаго полубога. Какое единство разумѣется подъ словомъ „человѣчество“? Развѣ то, которое мы понимаемъ подъ всякимъ суммовымъ названіемъ, въ родѣ икры и т. п. Кто въ мірѣ осмѣлится сказать, что есть какое нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинакимъ образомъ ирокезовъ и ирландцевъ, арабовъ и мадьяръ, кафровъ и славянъ? Мы можемъ сказать одно, что нѣкоторымъ народамъ мѣщанское устройство противно, а другіе въ немъ какъ рыба въ водѣ. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русскіе имѣютъ въ себѣ очень мало мѣщанскихъ элементовъ; общественное устройство, въ которомъ имъ было бы привольно, выше того, которое можетъ имъ дать мѣщанство. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что они *достигнутъ* этого высшаго состоянія, или что они не свернутъ на буржуазную дорогу. Одно стремленіе ничего не обезпечиваетъ, на разницу возможнаго и неминуемаго мы ужасно напираемъ. Недостаточно знать, что такое-то устройство намъ противно, а надобно знать, какого мы хотимъ и возможно ли его осуществленіе. Возможностей много впереди: народы буржуазные могутъ взять совсѣмъ иной полетъ, народы самые поэтическіе—сдѣлаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнетъ, стремленій авортируетъ, развитій отклоняется. Что можетъ быть очевиднѣе, осязаемѣе тѣхъ, не только возможностей, а началъ личной жизни, мысли, энергіи, которыя умираютъ въ каждомъ ребенкѣ. Замѣтьте, что и эта ранняя смерть дѣтей тоже не имѣетъ въ себѣ ничего неминуемаго; жизнь девяти десятыхъ навѣрное могла бы сохраниться, еслибъ доктора знали медицину и медицина была бы въ самомъ дѣлѣ наукой. На это *вліяніе чело-*

вѣка и науки мы обращаемъ особенное вниманіе, оно чрезвычайно важно.

Замѣтьте еще посягательство обезьянъ (напр. Шимпанзе) на дальнѣйшее умственное развитіе. Оно видно въ ихъ безпокойно озабоченномъ взглядѣ, въ тоскливо грустномъ присматриваніи ко всему, что дѣлается, въ недовѣрчивой и суетливой тревожности и любопытствѣ, которое съ другой стороны не даетъ мысли сосредоточиться и постоянно ее разсѣваетъ. Ряды и ряды поколѣній вновь и вновь стремятся къ какому-то разумѣнію, замѣняются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умираютъ—и такъ прошли десятки тысячъ лѣтъ и пройдутъ еще десятки.

Люди имѣютъ большой шагъ передъ обезьянами; ихъ стремленія не пропадаютъ безслѣдно, они облекаются словомъ, воплощаются въ образъ, остаются въ преданіи и передаются изъ вѣка въ вѣкъ. Каждый человѣкъ опирается на страшное генеалогическое дерево, котораго корни чуть ли не идутъ до адамова рая; за нами, какъ за прибрежной волной, чувствуется напоръ цѣлаго океана—всемірной исторіи; мысль всѣхъ вѣковъ на сію минуту въ нашемъ мозгу и нѣтъ ея „развѣ него,“ а съ нею мы можемъ быть властью.

Крайности ни въ комъ нѣтъ, но всякой можетъ быть незамѣнимой дѣйствительностью; передъ каждымъ открытыя двери. *Есть что* сказать человѣку, пусть говоритъ, слушать его будутъ; мучитъ его душу убѣжденіе, пусть проповѣдуетъ. Люди не такъ покорны какъ стихіи, но мы всегда имѣемъ дѣло съ современной массой, ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго *фонда* картины, отъ одинакихъ предшествовавшихъ вліяній, связь общая есть. Теперь вы

понимаете, отъ кого и кого зависитъ будущность людей, народовъ?

— Отъ кого?

— Какъ отъ кого?... да отъ *насъ съ вами*, напримѣръ. Какъ же послѣ этого намъ сложить руки!

ДВА ПРОЦЕССА*)

Rul Britania!

I.

ДУЭЛЬ

Въ 1853 году извѣстный коммунистъ Виллихъ познакомилъ меня съ парижскимъ работникомъ *Бартелеми*. Имя его я зналъ прежде, по іюньскому процессу, по приговору и наконецъ по его бѣгству изъ Бель-Иля.

Онъ былъ молодъ, невысокаго роста, но мускульно сильнаго сложенія, черные какъ смоль и курчавые волосы, придавали ему что-то южное, лице его, слегка отмѣченное оспой, было красиво и рѣзко. Постоянная борьба воспитала въ немъ непреклонную волю и умѣнье управлять ею. Бартелеми былъ одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ характеровъ, которыхъ мнѣ случилось видѣть. Школьнаго, книжнаго образованія онъ не имѣлъ, кромѣ по своей части: онъ былъ отличнымъ механи-

*) *Пол. Зв.* Томъ VII (часть 2-я).

комъ — замѣтимъ мимоходомъ, что изъ числа механиковъ, машинистовъ, инженеровъ, работниковъ на желѣзныхъ дорогахъ вышли самые рѣшительные бойцы іюньскихъ баррикадъ.

Жизненная мысль его, страсть всего его существованія была неутомимая, спартаковская жажда возстанія рабочаго класса противъ средняго сословія. Мысль эта у него была неразрывна съ свирѣпымъ желаніемъ истребленія буржуазіи.

Какой комментарій далъ мнѣ этотъ человѣкъ къ ужасамъ 93 и 94 года, къ сентябрьскимъ днямъ, къ той ненависти, съ которой ближайшія партіи уничтожали другъ друга; въ немъ я наглазно видѣлъ, какъ человѣкъ можетъ соединять желаніе крови съ гуманностью въ другихъ отношеніяхъ, даже съ нѣжностью, и какъ человѣкъ можетъ быть правымъ передъ совѣстью, посылая, какъ Сенъ Жюстъ, десятки людей на гильотину.

„Чтобъ революція въ десятый разъ не была украдена изъ нашихъ рукъ, говорилъ Бартелеми, надобно *дома, въ нашей семьѣ* сломить голову злѣйшему врагу. За прилавкомъ, за конторкой мы его всегда найдемъ — въ *своемъ станѣ* слѣдуетъ его побить!“ Въ его листы проскрипціи входила почти вся эмиграція: Викторъ Гюго, Маццини, Викторъ Шельшеръ и Кошутъ. Онъ исключалъ очень не многихъ и въ томъ числѣ я помню Луи Блана.

Особымъ, задушевнымъ предметомъ его ненависти былъ Ледрю-Ролленъ. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лице Бартелеми судорожно подергивалось, когда онъ говорилъ объ „этомъ диктаторѣ буржуазіи.“

А говорилъ онъ мастерски, этотъ талантъ становит-

ся рѣже и рѣже. Публичныхъ говоруновъ въ Парижѣ и особенно въ Англіи бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевыхъ карандашей, наемные свѣтскіе и духовные ораторы въ паркахъ, всѣ они имѣютъ удивительную способность *проповѣдывать*, но говорить *для комнаты* умѣютъ не многіе.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная въ одну точку, дѣйствовала какъ пламя паяльной трубки. Онъ говорилъ плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выборъ словъ были правильны, чисты и совершенно свободны отъ трехъ проклятій современнаго французскаго языка, революціоннаго жаргона, адвокатско-судебныхъ выраженій и развязности сидѣльцевъ.

Откуда же взялъ этотъ работникъ, воспитанный въ душныхъ мастерскихъ, гдѣ ковали и тянули желѣзо для машинъ, въ душныхъ парижскихъ закоулкахъ, между питейнымъ домомъ и наковальнею, въ тюрьмѣ и на каторжной работѣ — вѣрное понятіе мѣры и красоты, такта и граціи — понятіе, утраченное буржуазной Франціей? Какъ онъ умѣлъ сохранить естественность языка середь вычурныхъ риторовъ, гасконцевъ революціонной фразы?

Это дѣйствительно задача.

Видно около мастерскихъ вѣетъ воздухъ по свѣжѣе. Впрочемъ, вотъ его жизнь.

Ему не было двадцати лѣтъ, когда онъ замѣшался въ какую-то эмёту при Людвигѣ Филиппѣ. Жандармъ остановилъ его и такъ какъ онъ сталъ ему что-то говорить, то жандармъ хватилъ его кулакомъ въ лицо. Бартелеми, котораго держалъ муниципалъ, рванулся, но не могъ ничего сдѣлать. Ударъ этотъ пробудилъ тиг-

ра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работникъ всталъ на другой день переродившимся.

Надобно замѣтить, что арестованнаго Бартелеми полиція отпустила, найдя его невиноватымъ. Объ обидѣ, причиненной ему, никто и говорить не хотѣлъ. „Зачѣмъ ходить по улицамъ во время эмёты! Да и какъ найти теперь жандарма!“

Вотъ какъ. Бартелеми купилъ пистолетъ, зарядилъ его и пошелъ бродить около тѣхъ мѣстъ; побродилъ день, другой, вдругъ на углу стоитъ жандармъ. Бартелеми отвернулся и взвелъ курокъ. „Вы меня узнали?“ спросилъ онъ полицейскаго. „Еще-бы нѣтъ.“ — „Такъ вы помните, какъ вы.....?“ — „Ну, ступайте, ступайте своей дорогой,“ сказалъ жандармъ. — „Счастливаго и вамъ пути,“ отвѣчалъ Бартелеми и спустилъ курокъ. Жандармъ повалился, а Бартелеми пошелъ. Жандармъ былъ смертельно раненъ, но не умеръ.

Бартелеми судили какъ простаго убійцу. Никто не взялъ въ разсчетъ величину обиды, особенно по понятіямъ французовъ, невозможность работника послать ему вызовъ, невозможность сдѣлать процессъ. Бартелеми былъ осужденъ на *каторжную работу*. Это былъ третій пансіонъ, въ которомъ онъ воспитывался послѣ кузницы и тюрьмы. При переборѣ дѣлъ министромъ юстиціи Кремьё, послѣ февральской революціи, Бартелеми выпустили.

Пришли іюньскіе дни. Бартелеми, принадлежавшій къ горячимъ послѣдователямъ Бланки, явился тутъ во весь ростъ.

Онъ былъ схваченъ, геройски защищая баррикаду, и сведенъ въ форты. Однихъ побѣдители разстрѣливали, другими набивали тюльрійскіе подвалы, третьихъ отсы-

лали въ форты и тамъ иногда разстрѣливали, случайно больше, чтобъ очистить мѣсто.

Бартелеми уцѣлѣлъ; въ судѣ онъ и не думалъ оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимаго, чтобъ изъ нея сдѣлать трибуну для обвиненія національной гвардіи. Ему мы обязаны многими подробностями о каннибальскихъ подвигахъ защитниковъ порядка, сдѣланныхъ въ тихомолку, нѣкоторымъ образомъ семейно. Нѣсколько разъ президентъ приказывалъ ему молчать, и наконецъ перервалъ его рѣчь, приговоромъ на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лѣтъ (у меня нѣтъ передъ глазами іюньскаго процесса).

Бартелеми былъ съ другими отправленъ въ Belle Isle.

Года черезъ два онъ бѣжалъ оттуда и явился въ Лондонъ съ предложеніемъ ѣхать назадъ и устроить бѣгство шести заключенныхъ. Небольшая сумма денегъ, которую онъ просилъ (тысячъ 6, 7 фр.) была ему обѣщана, и онъ, одѣвшись аббатомъ, съ молитвенникомъ въ рукѣ, отправился въ Парижъ, въ Бель-Иль, все устроилъ и возвратился въ Лондонъ за деньгами. Говорятъ, что дѣло не состоялось за споромъ, освобождать ли Бланки или нѣтъ. Сторонники Барбеса и другихъ лучше желали оставить нѣсколько человѣкъ друзей въ тюрьмѣ, чѣмъ освободить одного врага.

Бартелеми уѣхалъ въ Швейцарію. Онъ разошелся со всѣми партіями и отсталъ отъ нихъ; съ ледрю-ролленистами онъ былъ заклятый врагъ, но онъ не былъ другомъ и съ своими; онъ былъ слишкомъ рѣзокъ и угловатъ, крайнія мнѣнія его были непріятны запѣвалямъ и отпугивали слабыхъ. Въ Швейцаріи онъ особенно занялся ружейнымъ мастерствомъ. Онъ изобрѣлъ особеннаго устройства ружье, которое заряжалось по

мѣрѣ выстрѣловъ — и такимъ образомъ давало возможность пустить рядъ пуль въ одну точку, другъ за другомъ. Этимъ ружьемъ онъ думалъ убить Наполеона, но дикія страсти Бартелеми два раза спасли Бонапарта отъ человѣка, въ которомъ рѣшимости было не меньше, чѣмъ у Орсини.

Въ партіи Ледрю-Роллена находился лихой человѣкъ, бретеръ, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежалъ къ особому типу людей, который часто встрѣчается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими въ деревнѣ, къ нимъ принадлежалъ Денисъ Давыдовъ и его „собутыльникъ“ Бурцовъ, Гагаринъ — Адамова головка и секундантъ Ленскаго Зарѣцкій. Въ вульгарной формѣ они встрѣчаются между прусскими „юнкерами“ и австрійскимъ казарменнымъ брудерствомъ. Въ Англіи ихъ совсѣмъ нѣтъ, во Франціи они дома, какъ рыба въ водѣ, но рыба съ почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безразсудства, и очень недальніе. Они всю жизнь живутъ воспоминаніемъ двухъ-трехъ случаевъ, въ которыхъ они прошли сквозь огонь и воду, кому нибудь обрубили уши, простояли подъ градомъ пуль. Случается, что они сперва наклеплятъ на себя отважный поступокъ, а потомъ дѣйствительно его сдѣлаютъ, чтобъ подтвердить свои слова. Они смутно понимаютъ, что этотъ задоръ ихъ сила, единственный интересъ, которымъ они могутъ похвастаться; а хвастаться имъ хочется смертельно. При этомъ они часто хорошіе товарищи, особенно въ веселой бесѣдѣ, и до первой размолвки за своихъ стоятъ грудью; и вообще имѣютъ больше военной отваги, чѣмъ гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки въ картахъ и въ жизни, ланскене всякаго отчаяннаго предпріятія—особенно если притомъ можно надѣть мундиръ съ генеральскимъ шитьемъ, схватить денегъ, крестовъ—и потомъ снова успокоиться на нѣсколько лѣтъ въ бильярдной или кофейной. А ужъ помогая Наполеону ли въ Страсбургѣ, Герцогинѣ ли Берійской въ Блуа или красной республикѣ въ предмѣстіи Св. Антона, все равно. Храбрость и удача для нихъ и для всей Франціи покрываютъ все.

Курне началъ свою карьеру во флотѣ во время ссоры Франціи съ Португаліей. Онъ съ нѣсколькими товарищами влѣзъ на португальскій фрегатъ, овладѣлъ экипажемъ и взялъ фрегатъ. Случай этотъ опредѣлилъ и окончилъ дальнѣйшую жизнь Курне. Вся Франція говорила о молодомъ мичманѣ; далѣе онъ не пошелъ и такъ же кончилъ свою карьеру абордажемъ, которымъ началъ ее, какъ еслибъ онъ на немъ былъ убитъ на повалъ. Изъ флота онъ былъ впослѣдствіи исключенъ. Въ Европѣ царилъ глухой миръ; Курне поскучалъ, поскучалъ, и сталъ воевать на свой салтыкъ. Онъ говорилъ, что у него было до двадцати дуэлей, положимъ, что ихъ было десять, и этого за глаза довольно, чтобъ его не считать серьезнымъ человѣкомъ.

Какъ онъ попалъ въ красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли онъ во французвой эмиграціи не игралъ. Разсказывали объ немъ разные анекдоты, какъ онъ въ Бельгіи поколотилъ полицейскаго, который хотѣлъ его арестовать и ушелъ отъ него, и другіе продѣлки въ томъ же родѣ. Онъ считалъ себя „одной изъ первыхъ шпагъ во Франціи.“

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненнаго по своему необузданнѣйшимъ самолюбіемъ, столкнувшись съ

надменной храбростью Курне, должна была привести къ бѣдствіямъ. Они ревновали другъ друга. Но, принадлежа къ разнымъ кругамъ, къ враждебнымъ партіямъ, они могли всю жизнь не встрѣчаться. Добрые люди братски помогли дѣлу.

Бартелеми имѣлъ на Курне какой-то зубъ, за письма, посланныя ему черезъ Курне изъ Франціи, которыя до него не дошли. Очень вѣроятно, что въ этомъ дѣлѣ онъ не былъ виноватъ; вскорѣ къ этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился въ Швейцаріи съ одной актрисой, итальянкой, и былъ съ нею въ связи. „Какая жалость — говорилъ Курне — что этотъ соціалистъ изъ соціалистовъ пошелъ на содержаніе къ актрисѣ.“ Пріятели Бартелеми тотчасъ написали ему это. Получивъ письмо, Бартелеми бросилъ свой проэктъ ружья и свою актрису и прискакалъ въ Лондонъ.

Мы уже сказали, что онъ былъ знакомъ съ Виллихомъ. Виллихъ былъ человѣкъ съ чистымъ сердцемъ и очень добрый, прусскій артиллерійскій офицеръ; онъ перешелъ на сторону революціи и сдѣлался коммунистомъ. Дрался въ Баденѣ за народъ, начальствуя орудіями во время Гекерова возстанія, и когда все было побито, уѣхалъ въ Англію. Въ Лондонъ онъ явился безъ гроша денегъ, попробовалъ давать уроки математики, нѣмецкаго языка, ему не повезло. Онъ бросилъ учебныя книги и, забывая бывшія эполеты, геройски сталъ работникомъ. Съ нѣсколькими товарищами, они завели мастерскую щеточныхъ издѣлій; ихъ не поддержали. Виллихъ не терялъ недежды ни на возстаніе Германіи, ни на поправку своихъ дѣлъ, однако, дѣла не поправлялись и онъ надежду на тевтонскую республику увезъ съ собою въ Нью-Іоркъ, гдѣ получилъ отъ правительства мѣсто землемѣра.

Виллихъ понялъ, что дѣло съ Курне приметъ очень дурной оборотъ и самъ себя предложилъ въ посредники. Бартелеми вполнѣ вѣрилъ Виллиху и поручилъ ему дѣло. Виллихъ отправился къ Курне; твердый, спокойный тонъ Виллиха подѣйствовалъ на „первую шпагу“; онъ объяснилъ исторію писемъ; послѣ, на вопросъ Виллиха, увѣренъ ли онъ, что Бартелеми жилъ на содержаніи у актрисы? Курне сказалъ ему, что онъ повторилъ слухъ и что жалѣетъ объ этомъ.

— Этого, сказалъ Виллихъ, совершенно достаточно, напишите, что̀ вы сказали, на бумагѣ, отдайте мнѣ и я съ искренной радостью пойду домой.

— Пожалуй — сказалъ Курне и взялъ перо.

— Такъ это вы будете извиняться передъ какимъ нибудь Бартелеми, замѣтилъ другой рефюжье, взошедшій въ концѣ разговора.

— Какъ извиняться?—И вы принимаете это за извиненіе?

— За дѣйствіе, сказалъ Валлихъ, честнаго человѣка, который, повторивши клевету, жалѣетъ объ этомъ.

— Нѣтъ, сказалъ Курне. бросая перо, этого я не могу.

— Не сейчасъ же ли вы говорили?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, „что я сказалъ это потому, что хотѣлъ сказать.“

— Браввссимо — воскрикнулъ другой рефюжье.

— На васъ, м. г., падетъ отвѣтственность за будущія несчастія, сказалъ ему Виллихъ и вышелъ вонъ.

Это было вечеромъ; онъ зашелъ ко мнѣ, не видавшись еще съ Бартелеми; печально ходилъ онъ по комнатѣ, говоря: „теперь дуэль неотвратима, экое несчастіе, что этотъ рефужье былъ на лицо.“

Тутъ не поможешь, думалъ я, умъ молчитъ передъ дикимъ разгаромъ страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерій и разныхъ хористовъ въ амфитеатрѣ!...

Черезъ день утромъ я шелъ по Пель-Мелю; Виллихъ скорыми шагами торопился куда-то, я остановилъ его; блѣдный и встревоженный, обернулся онъ ко мнѣ.

— Что?

— Убитъ на повалъ.

— Кто?

— Курне. Я бѣгу къ Луи-Бланъ за совѣтомъ, что дѣлать.

Гдѣ Бартелеми?

— И онъ, и его секундантъ, и секунданты Курне— въ тюрьмѣ; одинъ изъ секундантовъ только не взятъ; по англійскимъ законамъ, Бартелеми можно повѣсить. Виллихъ сѣлъ на омнибусъ и уѣхалъ. Я остался на улицѣ, постоялъ, постоялъ, повернулся и пошелъ опять домой.

Часа черезъ два пришелъ Виллихъ, Луи Бланъ принялъ, разумѣется, дѣятельное участіе, хотѣлъ посовѣтоваться съ извѣстными адвокатами. Всего лучше казалось, поставить дѣло такъ, чтобъ слѣдователи не знали, кто стрѣлялъ и кто былъ свидѣтелемъ. Для этого надобно было, чтобъ обѣ стороны говорили одно и то же. Въ томъ, что англійскій судъ не захочетъ въ дѣлѣ дуэли употреблять полицейскія уловки — въ этомъ всѣ были увѣрены.

Надобно было передать это пріятелямъ Курне, но никто изъ знакомыхъ Виллиха не ѣздилъ ни къ нимъ, ни къ Ледрю-Роллену, Виллихъ поэтому отправилъ меня къ Маццини.

Я его засталъ сильно раздраженнымъ. — Вы вѣрно пріѣхали, сказалъ онъ, по дѣлу этого убійцы?

Я посмотрѣлъ на него, намѣренно помолчалъ и сказалъ: по дѣлу *Бартелеми*.

— Вы съ нимъ знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастнаго Курне были тоже пріятели и друзья...

— Которые, вѣроятно, не называли его разбойникомъ за то, что онъ былъ на двадцати дуэляхъ, на которыхъ, кажется, *не онъ* былъ убитъ.

— Теперь ли поминать объ этомъ?

— Я отвѣчаю.

— Что же теперь спасать *его* изъ петли?

— Я полагаю, что особеннаго удовольствія никому не будетъ, если повѣсятъ человѣка, который себя такъ велъ какъ Бартелеми на іюньскихъ баррикадахъ. Впрочемъ рѣчь идетъ не о немъ одномъ, а и о секундантахъ Курне.

— Его не повѣсятъ.

— Почемъ знать, замѣтилъ хладнокровно молодой англійскій радикалъ, причесанный à la Jesus, молчавшій все время и подтверждавшій слова Маццини головой, дымомъ сигары и какими-то неуловимыми *полифтонами*, въ которыхъ пять-шесть гласныхъ, сплюснутыхъ вмѣстѣ, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имѣете противъ этого?

— Мы любимъ и уважаемъ законъ.

— Не оттого ли, замѣтилъ я, придавая добродушный видъ моимъ словамъ, всѣ народы больше уважаютъ Англію, чѣмъ любятъ англичанъ.

— Оеуэ? спросилъ радикалъ, а можетъ и отвѣчалъ.

— Въ чемъ дѣло? перебилъ Маццини. Я разсказалъ ему.

— Они уже сами думали объ этомъ и пришли къ тому же результату.

Процессъ Бартелеми имѣетъ чрезвычайный интересъ. Рѣдко англійскій и французскій характеръ обличались съ такой рѣзкостью, въ такой тѣсной и удобоизмѣримой рамѣ.

Начиная съ мѣста поединка все было нелѣпо: они дрались близъ Виндзора, для этого надобно было по желѣзной дорогѣ (которая *только* идетъ въ Виндзоръ) отъѣхать нѣсколько десятковъ миль *отъ границы внутрь* королевства,—въ то время какъ вообще люди дерутся на границѣ, близъ кораблей, лодокъ и пр. Выборъ Виндзора сверхъ того самъ по себѣ былъ никуда негоденъ. Королевскій дворецъ, любимая резиденція Викторіи, разумѣется въ полицейскомъ отношеніи, находится подъ двойнымъ надзоромъ. Я полагаю, что мѣсто это было выбрано очень просто потому, что французы изъ всѣхъ окресностей Лондона только и знаютъ: *Ришмонъ*‘ и *Вансоръ*.

Секунданты взяли *на всякій случай* рапиры съ отточенными концами, хотя и знали, что противники будутъ стрѣляться. Когда Курне палъ—всѣ, за исключеніемъ одного секунданта, который уѣхалъ особо и вслѣдствіе того спокойно пробрался въ Бельгію, поѣхали вмѣстѣ, *не забывъ съ собою взять* рапиры. Когда они прибыли на ватерлоскую станцію въ Лондонѣ, телеграфъ уже давно извѣстилъ полицію. Полиціи искать было нечего: „четыре человѣка, съ бородами и усами, въ фуражкахъ, говорящіе по французски и съ завернутыми рапирами,“ были взяты, выходя изъ вагоновъ.

Какъ же все это могло случиться? не намъ, кажется, учить французовъ прятаться отъ полиціи. Злѣе, расторопнѣе, безнравственнѣе и неутомимѣе въ своемъ усер-

діи нѣтъ полиціи въ мірѣ, какъ французская. Во время Людвика Филиппа *ищущій* и *искомый* играли мастерски свою партію, каждый ходъ былъ расчитанъ—(теперь это не нужно, полиція, по русски, впередъ говоритъ *шахъ и матъ*), но вѣдь время Людвика Филиппа не за горами. Какимъ же образомъ такой умный человѣкъ, какъ Бартелеми, и такіе бывалые люди, какъ секунданты Курне, надѣлали столько промаховъ?

Причина одна и таже: совершенное незнаніе Англіи и англійскихъ законовъ. Они слыхали, что никого арестовать нельзя безъ „уарандъ"; они слыхали о какомъ-то „абеасъ корпюсъ," по которому слѣдуетъ выпустить человѣка по требованію адвоката, и полагали, что они доѣдутъ домой, переодѣнутся и будутъ въ Бельгіи, когда утромъ за ними придетъ одураченный констабль, *непремѣнно* съ палочкой (какъ ихъ описываютъ во французскихъ романахъ) и скажетъ, увидя, что ихъ нѣтъ, god-damn! Не смотря на то, что ни констабли палочекъ не носятъ, ни англичане не говорятъ god-damn!

Арестованныхъ посадили въ Surrey'скую тюрьму. Начались посѣщенія, поѣхали дамы, поѣхали пріятели убитаго Курне. Полиція, разумѣется, тотчасъ догадалась въ чемъ дѣло и какъ оно было; впрочемъ, этого нельзя ей поставить въ заслугу, пріятели и непріятели Бартелеми и Курне кричали въ трактирахъ и public-гаузахъ о всѣхъ подробностяхъ дуэли, разумѣется, прибавляя и такія, которыхъ вовсе не было и совершенно не могло быть. Но оффиціально полиція *не хотѣла* знать, и потому, когда одни посѣтители спрашивали позволеніе видѣть секунданта „Бароне," другіе секунданта Бартелеми, полицейскій офицеръ рѣшился имъ сказать: „гг. мы вовсе не знаемъ, кто изъ нихъ секундантъ, кто виноватый, слѣдствіе еще не открыло всѣхъ обстоятельствъ

дѣла, называйте, пожалуйста, знакомыхъ вашихъ по именамъ.“ Первый урокъ!

Наконецъ судебный кругъ дошелъ до Surrey, назначенъ былъ день, въ который lord-chief-justice, Кембель будетъ судить дѣло о неизвѣстно кѣмъ убитомъ французѣ Курне и прикосновенныхъ къ его убійству лицахъ.

Я тогда жилъ возлѣ Primrose Hill; часовъ въ семь холодно-туманнаго февральскаго утра вышелъ я въ Реженть Паркъ, чтобы, пройдя его, отправиться на желѣзную дорогу.

День этотъ остался очень рельефно въ моей памяти. Отъ тумана, покрывавшаго паркъ и бѣлыхъ лебедей, сонно плывшихъ по водѣ, подернутой пскрасна-желтымъ дымомъ, до той минуты, когда далеко за полночь я сидѣлъ съ однимъ lawyer'омъ у Верп на Режентъ-стритѣ и пилъ шампанское за здоровье Англіи. Все какъ на блюдечкѣ.

Я англійскаго суда не видалъ прежде; комизмъ средневѣковой mise en scène будитъ въ насъ больше воспоминаній оперы буффы, чѣмъ почтенной традиціи, но это можно забыть въ этотъ день.

Около десяти часовъ передъ гостинницею, гдѣ стоялъ лордъ Кембель, явились первыя маски, герольды съ двумя трубачами, возвѣстившіе, что лордъ Кембель въ открытомъ судѣ будетъ въ 10 часовъ судить такое то дѣло. Мы бросились къ дверямъ судебной залы, которая была въ нѣсколькихъ шагахъ; между тѣмъ черезъ площадь двигался и лордъ Кембель въ золоченой каретѣ, въ паркѣ, который только уступалъ въ величинѣ и красотѣ парику его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пѣшкомъ человѣкъ двадцать аторнеевъ, солиситоровъ, подобравъ

мантіи, безъ шляпъ и въ шерстяныхъ парикахъ, намѣренно сдѣланныхъ какъ можно менѣе похожими на человѣческіе волосы. Въ дверяхъ я чуть было, вмѣсто суда чифъ-джустиса Кембеля надъ Бартелеми, не попалъ на судъ, который Богъ держалъ надъ Курне.

Въ самыхъ дверяхъ масса народа, вытѣсняемая полицейскими изъ залы, и нечеловѣческій напоръ сзади, произвели остановку: впередъ нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейскимъ надоѣло работать по мелочи, они схватились за руки и разомъ, дружно пошли на приступъ—передній рядъ меня такъ прижалъ, что дыханіе сперлось, еще и еще храбрый напоръ осаждающихъ, и мы вдругъ очутились вѣтесненными, выжатыми, выброшенными на десять шаговъ далѣе дверп на улицу.

Еслибъ не знакомый адвокатъ, мы бы совсѣмъ не попали, зала была набита, онъ насъ провелъ особыми дверями, и мы наконецъ усѣлись, отирая потъ и справляясь, цѣлы ли часы, деньги и пр.

Замѣчательная вещь, что нигдѣ толпа не бываетъ многочисленнѣе, плотнѣе, страшнѣе, какъ въ Лондонѣ, а дѣлать кё ни въ какомъ случаѣ не умѣетъ; англичане всегда берутъ своимъ національнымъ упорствомъ, давятъ два часа, что нибудь да продавятъ. Меня это много разъ дивило при входѣ въ театры, еслибъ люди шли другъ за другомъ, они навѣрное вошли бы въ полчаса, но такъ какъ они прутъ всей массой, то множество переднихъ пробиваются по правой и лѣвой сторонѣ дверей, тутъ ими овладѣваетъ какое-то сосредоточенное ожесточеніе и они начинаютъ давить съ боковъ медленно двигающуюся среднюю струю безъ всякой пользы для себя, но какъ бы вымѣщая на ихъ бокахъ ихъ счастье.

Стучатъ въ двери. Какой-то господинъ, тоже въ маскарадномъ платьѣ, кричитъ, кто тамъ?—Судъ,—отвѣчаютъ съ той стороны; отворяются дверп и является Кембель въ шубѣ и въ какомъ-то женскомъ шлафрокѣ; онъ поклонился на всѣ четыре стороны и объявилъ, что судъ открытъ.

Мнѣніе о дѣлѣ Бартелеми, составленное судомъ, т. е. Кембелемъ, было ясно съ начала до конца, и онъ его выдержалъ, не смотря на всѣ усилія французовъ сбить его съ дороги и ухудшить. Была дуэль. Одинъ убитъ. Оба—французы, рефюжье, имѣющіе иныя понятія о чести, чѣмъ мы; кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, разобрать трудно. Одинъ сошелъ съ баррикадъ, другой бретеръ. Намъ нельзя оставить это безнаказаннымъ, но не слѣдуетъ всею силою англійскихъ законовъ побивать иностранцевъ, тѣмъ больше, что всѣ они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому— кто убійца, мы не будемъ добиваться—все вѣроятіе, что убійца тотъ изъ нихъ, который бѣжалъ въ Бельгію; подсудимыхъ мы обвинимъ въ участіи, и спросимъ присяжныхъ, виноваты ли они въ manslaughter или нѣтъ? Обвиненные присяжными—они въ нашихъ рукахъ; мы приговоримъ ихъ къ одному изъ наименьшихъ наказаній, и покончимъ дѣло. Оправдаютъ ихъ присяжные — богъ съ ними совсѣмъ, пусть идутъ на всѣ четыре стороны.

Все это французамъ обѣихъ партій было ножъ острый!

Сторонники Курне хотѣли воспользоваться случаемъ, чтобъ потерять въ мнѣніи суда Бартелеми, и не называя его прямо, указать на него, какъ на убійцу Курне.

Нѣсколько человѣкъ друзей Бартелеми и самъ онъ домогались покрыть презрѣніемъ и стыдомъ Бароне и компанію странной подробностью, которая открылась

въ полицейскомъ слѣдствіи. Пистолеты были взяты у ружейника, послѣ дуэли ему ихъ прислали. Одинъ пистолетъ былъ заряженъ. Когда началось дѣло, ружейникъ явился съ пистолетомъ и съ показаніемъ, что подъ пулей и порохомъ лежала небольшая тряпочка, такъ что выстрѣлъ былъ невозможенъ.

Дуэль шла такъ: Курне выстрѣлилъ въ Бартелеми и не попалъ. У Бартелеми капсюль исправно щелкнулъ, но выстрѣла не было, ему дали другой капсюль,—таже исторія. Тогда Бартелеми бросилъ пистолетъ, и предложилъ Курне драться на рапирахъ. Курне не согласился; рѣшились еще разъ стрѣлять, но Бартелеми потребовалъ другой пистолетъ, на что Курне тотчасъ согласился. Пистолетъ былъ поданъ, раздался выстрѣлъ и Курне упалъ мертвый.

Стало быть, пистолетъ, возвратившійся къ ружейнику заряженнымъ, былъ тотъ самый, который былъ въ рукахъ Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты досталъ пріятель Курне, Пардигонъ, нѣкогда участвовавшій въ Voix du peuple и страшно изуродованный въ іюньскіе дни.*)

*) Пардигонъ, схваченный въ іюньскіе дни, былъ брошенъ въ тюльерійскій подвалъ; тамъ находилось тысячъ до пяти человѣкъ. Тутъ были холерные, раненые, умиравшіе. Когда правительство прислало Корменена освидѣтельствовать положеніе ихъ, то отворивши двери, онъ и доктора отпрянули отъ удушающей заразительной вони Къ окошечкамъ soupirail было запрещено подходить. Пардигонъ, изнемогая отъ духоты, поднялъ голову, чтобы подышать; это замѣтилъ часовой изъ національной гвардіи и сказалъ ему, чтобъ онъ отошелъ или онъ выстрѣлитъ. Пардигонъ медлилъ, тогда почтенный буржуа опустилъ дуло и выстрѣлилъ въ него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, онъ упалъ. Вечеромъ часть арестантовъ повели въ форты, въ томъ числѣ подняли раненаго Пардигона, связали ему руки и повели. Тутъ извѣстная тревога на карусельской площади, въ которой національная гвардія со страха стрѣляла другъ въ друга; раненый Пардигонъ выбился изъ силъ и

Еслибъ можно было доказать, что тряпка была положена съ цѣлью, т. е. что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позоромъ и погублены на вѣки вѣковъ.

За такой пріятный результатъ Бартелеми охотно пошелъ бы на десять лѣтъ въ каторжную работу или въ депортацію.

По слѣдствію оказалось, что лоскутокъ, вынутый изъ пистолета, дѣйствительно принадлежалъ Пардигону, онъ былъ вырванъ изъ тряпки, которой онъ обтиралъ лаковые сапоги. Пардигонъ говорилъ, что онъ чистилъ дуло, надѣвъ тряпочку на карандашъ, и что можетъ, вертѣвши ею, отрѣзалъ лоскутокъ, но друзья Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нѣту городковъ отъ складокъ...

Съ своей стороны противники Бартелеми приготовили фалангу свидѣтелей à decharge въ пользу Бароне и его товарищей.

Политика ихъ состояла въ томъ, что аторней со стороны Бароне будетъ ихъ спрашивать объ антецедентахъ Курне и прочихъ. Они превознесутъ ихъ, и будутъ молчать о Бартелеми и его секундантахъ. Такое единодушное умалчиваніе со стороны соотечественниковъ и „корелижіонеровъ“ должно было, по ихъ мнѣнію, сильно поднять въ глазахъ Кембеля и публики однихъ и сильно уронить другихъ. Призывъ свидѣтелей стоитъ денегъ, да и сверхъ того у Бартелеми не было цѣлой

упалъ; его бросили на полъ въ полицейскую коръ-де-гардію, и онъ остался съ связанными руками, лежа на спинѣ и *захлебываясь* своей кровью изъ раны. Такъ его засталъ какой-то политехникъ, разругавшій этихъ каннибаловъ и заставившій ихъ снести больнаго въ больницу. Помнится, я этотъ случай разсказалъ въ „Письмахъ изъ Италіи и Франціи“... но это не мѣшаетъ протверживать, чтобы не забывать, что такое образованная парижская буржуазія.

шпринги друзей, которымъ онъ могъ бы отдать приказаніе говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при слѣдствіи, умѣли краснорѣчиво молчать.

Одного изъ арестованныхъ свидѣтелей, Бароне, слѣдопроизводитель спросилъ, знаетъ ли онъ, кто убилъ Курне, или кого онъ подозрѣваетъ. Бароне отвѣчалъ, что никакія угрозы, никакія наказанія не заставятъ его назвать человѣка, лишившаго жизни Курне, не смотря на то, что покойникъ былъ лучшій другъ его. „Если бы я долженъ былъ десятокъ лѣтъ влачить цѣпи въ душной тюрьмѣ, то я и тогда не сказалъ бы.“

Солиситоръ перебилъ его хладнокровнымъ замѣчаніемъ: „Да это ваше право, впрочемъ вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете.“

И послѣ всего этого они хотѣли перехитрить — кого же?—*Лорда Кембеля?* Я желалъ бы приложить его портретъ для того, чтобы показать всю мѣру нелѣпости этой попытки. Старика лорда Кембеля, посѣдѣвшаго и сморщившагося на своемъ судейскомъ креслѣ, читая равнодушнымъ голосомъ, съ шотланскимъ акцентомъ, страшнѣйшія evidences и распутывая самыя сложныя дѣла съ осязательной ясностью, — его хотѣла перехитрить кучка парижскихъ клубистовъ... Лорда Кембеля, который никогда не поднимаетъ голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяетъ себѣ въ самыхъ смѣшныхъ или сильныхъ минутахъ высморкаться... Лорда Кембеля, съ лицомъ ворчуньи-старухи, въ которомъ, вглядываясь, вы ясно видите извѣстную метаморфозу, такъ непріятно удивившую дѣвочку *красную шапочку*, что это вовсе не бабушка, а волкъ, въ парикѣ, женскомъ робронѣ и кацавейкѣ обшитой мѣхомъ.

За то его лордшипство не осталось въ долгу.

Послѣ долгихъ дискуцій о тряпочкѣ и послѣ показаній Пардигона, защитники Бароне начали вызывать свидѣтелей.

Во первыхъ, явился старикъ рефюжье, товарищъ Барбеса и Бланки. Онъ сначала съ нѣкоторымъ отвращеніемъ принялъ библію, потомъ сдѣлалъ движеніе рукой, „была молъ не была“ — присягнулъ и вытянулъ шею.

— Давно ли вы, спросилъ одинъ изъ аторнеевъ, знакомы съ Курне?

— Граждане — сказалъ рефюжье по французски — съ молодыхъ лѣтъ моихъ преданный одному дѣлу, я посвятилъ жизнь свою священному дѣлу свободы и равенству... и пошелъ было въ этомъ родѣ.

Но аторней остановилъ его и, обращаясь къ переводчику, замѣтилъ: свидѣтель, кажется, не понялъ вопроса, переведите его на французскій.

За нимъ слѣдовалъ другой. Когда пять, шесть французовъ, съ бородами, идущими въ рюмочку, и плѣшивыхъ, съ огромными усами и волосами, выстриженными по николаевски, наконецъ съ волосами, падающими на плечи и въ красныхъ шейныхъ платкахъ, явились одинъ за другимъ, чтобъ сказать варіаціи на слѣдующую тему: „Курне былъ человѣкъ, котораго достоинства превышали добродѣтели, а добродѣтели равнялись достоинствамъ, онъ былъ украшеніе эмиграціи, честь партіи, жена его неутѣшна, а друзья утѣшаются только тѣмъ, что остались въ живыхъ такіе люди, какъ Бароне и его товарищи.“

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, онъ французскій рефюжье... видалъ, но не

знаю ничего о немъ; при этомъ свидѣтель чмокалъ по французски ртомъ.

— Свидѣтеля такого-то... сказалъ аторней.

— Позвольте, замѣтила бабушка Кембель голосомъ мягкаго участія, не безпокойте ихъ больше, это множество свидѣтелей *въ пользу* покойнаго Курне и подсудимаго Бароне, намъ кажется излишнимъ и вреднымъ, мы не считаемъ ни того, ни другаго такими дурными людьми, чтобы ихъ честность и порядочное поведеніе слѣдовало доказывать съ такимъ упорствомъ. Сверхъ того, Курне умеръ, и намъ вовсе не нужно ничего знать о немъ, мы призваны судить одно дѣло о его убіеніи; все, идущее къ этому преступленію, для насъ важно, а событія прошлой жизни подсудимыхъ, которыхъ мы равно считаемъ весьма порядочными джентельменами, намъ не нужно знать. Я съ своей стороны не имѣю никакихъ подозрѣній на счетъ г. Бароне.

— А на что у тебя, бабушка, такіе хитрые, да смѣющіеся глаза?

— На то, что ртомъ я по моему сану не могу смѣяться надъ вами, милые внучата, а потому посмѣюсь глазами.

Разумѣется, что послѣ этого свидѣтелей съ прической внизу и съ прической на верху, съ военнымъ видомъ и съ кашне всѣхъ семи цвѣтовъ призмы, отпустили, не слушавши.

Затѣмъ дѣло пошло быстро.

Одинъ изъ защитниковъ, представляя присяжнымъ, что подсудимые иностранцы, совершенно не знающіе англійскихъ законовъ, заслуживаютъ всякаго снисхожденія, прибавилъ: „Представьте себѣ, гг. присяжные, г. Бароне такъ мало зналъ Англію, что на вопросъ, знаете ли вы, кто убилъ Курне, отвѣчалъ, что еслибъ

его въ цѣпяхъ посадили лѣтъ на десять въ тюремные склепы, то онъ и тогда бы не сказалъ имени. Вы видите, что г. Бароне еще имѣлъ объ Англіи какія-то средневѣковыя понятія, онъ могъ думать, что за его умалчиваніе его можно ковать въ цѣпи, бросить на десять лѣтъ въ тюрьму. Надѣюсь, сказалъ онъ, не удерживая смѣха, что несчастное событіе, по которому г. Бароне былъ нѣсколько мѣсяцевъ лишенъ свободы, убѣдило его, что тюрьмы въ Англіи нѣсколько улучшились съ среднихъ вѣковъ и врядъ ли хуже тюремъ въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Докажемте же подсудимымъ, что и судъ нашъ также человѣчественъ и справедливъ" и пр.

Присяжные, составленные на половину изъ иностранцевъ, нашли подсудимыхъ „виновными."

Тогда Кембель обратился къ подсудимымъ, напомнилъ имъ строгость англійскихъ законовъ, напомнилъ, что иностранецъ, ступая на англійскую землю, пользуется всѣми правами англичанина и за это долженъ нести и равную отвѣтственность передъ закономъ. Потомъ перешелъ къ разницѣ нравовъ и сказалъ, наконецъ, что онъ не считалъ бы справедливымъ наказать ихъ по всей строгости законовъ, а потому приговариваетъ ихъ къ *двухмѣсячному тюремному заключенію.*

Публика, народъ, адвокаты и мы всѣ были довольны; ждали рѣзкаго наказанія, но не смѣли думать о меньшемъ minimum'ѣ, какъ три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошелъ къ Бартелеми, онъ мрачно сжалъ мнѣ руку и сказалъ: Пардигонъ-то остался чистъ, Бароне... и онъ пожалъ плечами.

Когда я выходилъ изъ залы, я встрѣтилъ моего зна-

комаго, lawyer'a, онъ стоялъ съ Бароне. „Лучше бы меня," говорилъ послѣдній, „на годъ посадили, чѣмъ смѣшать съ этимъ злодѣемъ Бартелеми."

Судъ кончился часовъ около десяти вечеромъ. Когда мы пришли на желѣзную дорогу, мы застали въ амбаркадерѣ толпы французовъ и англичанъ, громко и шумно разсуждавшихъ о дѣлѣ. Большинство французовъ было довольно приговоромъ, хотя и чувствовало, что побѣда не по ту сторону Ламанша. Въ вагонахъ французы затянули Марсельезу.

— Господа, сказалъ я, справедливость прежде всего; на этотъ разъ споемте-ка Rule Britania!

И Rule Britania запѣли!

II.

NOT GUILTY.

„..... Вчера арестовали на собственной квартирѣ доктора Симона Бернара, по дѣлу Орсини..."

Надобно нѣсколько лѣтъ прожить въ Англіи, чтобъ понять, какъ подобная новость удивляетъ... какъ ей не сразу вѣришь... какъ *континентально* становится на душѣ!...

На Англію находятъ, и довольно часто, періодическіе страхи, и въ это время оторопѣлости не попадайся ей ничего на дорогѣ. Страхъ вообще безжалостенъ, безпощаденъ; но имѣетъ ту выгоду за собой, что онъ скоро проходитъ. Страхъ не злопамятенъ, онъ старается, чтобъ его поскорѣе забыли.

Не надобно думать, чтобъ трусливое чувство осторожности и тревожнаго самохраненія лежало въ самомъ

англійскомъ характерѣ. Это слѣдствіе отучнѣнія отъ богатства и воспитанія всѣхъ помысловъ и страстей на стяжаніе. Робость въ англійской крови внесена капиталистами и мѣщанствомъ, они передаютъ болѣзненную тревожность свою оффиціальному міру, который въ представительной странѣ постоянно поддѣлывается подъ нравы — голосъ и деньги имущихъ. Составляя господствующую среду, они при всякой неожиданной случайности теряютъ голову и, не имѣя нужды стѣсняться, являются во всей безпомощной, неуклюжей трусости своей, не прикрытой пестрымъ и линялымъ фуляромъ французской риторики.

Надобно умѣть переждать, какъ только капиталъ придетъ въ себя, успокоится за проценты, все опять пойдетъ своимъ чередомъ.

Взятіемъ Бернара думали отдѣлаться отъ гнѣва кесарева, за то, что Орсини на англійской почвѣ обдумывалъ свои гранаты. Слабодушныя уступки обыкновенно раздражаютъ, и вмѣсто спасиба — грозныя ноты сдѣлались еще грознѣе, военныя статьи, въ французскихъ газетахъ, запахли еще сильнѣе порохомъ. Капиталъ поблѣднѣлъ, въ глазахъ его помутилось, онъ ужъ видѣлъ, чуялъ винтовые пароходы, красные штаны, красныя ядра, красное зарево, банкъ, превращенный въ Мабиль, съ исторической надписью: Ici l'on danse! Что же дѣлать? — Не только выдать и уничтожить доктора Симона Бернара, но, пожалуй, срыть гору Сенъ-Бернаръ и ее уничтожить, лишь бы проклятый призракъ красныхъ штановъ и черныхъ бородокъ исчезъ, лишь бы смѣнить гнѣвъ союзника на милость.

Лучшій метеорологическій снарядъ въ Англіи — Пальмерстонъ, показывающій очень вѣрно состояніе температуры среднихъ слоевъ, перевелъ „очень страш-

но“ на Conspiracy Bill. По этому закону, если бы онъ прошелъ, съ нѣкоторой старательностью и усердіемъ къ службѣ, каждое посольство могло бы усадить въ тюрьму, а въ иныхъ случаяхъ и на корабль, любаго изъ враговъ своихъ правительствъ.

Но по счастью, температура острова не во всѣхъ слояхъ одинакая, и мы сейчасъ увидимъ премудрость англійскаго распредѣленія богатствъ, освобождающую значительную часть англичанъ отъ заботы о капиталѣ. Будь въ Англіи всѣ до единаго капиталисты, Conspiracy Bill былъ бы принятъ, а Симонъ Бернаръ былъ бы повѣшенъ... или отправленъ въ Каэну.

При слухѣ о Conspiracy Bill и о почти несомнѣнной возможности, что онъ пройдетъ, старое англо-саксонское чувство независимости встрепенулось; ему стало жаль своего древняго *права убѣжища*, которымъ кто и кто не пользовался отъ гугенотовъ до католиковъ въ 1793, отъ Вольтера и Паоли до Карла X и Людвика Филиппа? Англичанинъ не имѣетъ особой любви къ иностранцамъ, еще меньше къ изгнанникамъ, которыхъ считаетъ бѣдняками, а этого порока онъ не прощаетъ — но за *право убѣжища* онъ держится; безнаказанно касаться его онъ не позволяетъ, такъ точно, какъ касаться до права митинговъ, до свободы книгопечатанія.

Предлагая Conspiracy Bill, Пальмерстонъ считалъ, и очень вѣрно, на упадокъ британскаго духа; онъ думалъ объ одной средѣ, очень мощной, но забылъ о другой, очень многочисленной.

За нѣсколько дней до вотированія биля, Лондонъ покрылся афишами: комитетъ, составившійся для противодѣйствія новому закону, приглашалъ на митингъ въ слѣдующее воскресенье въ Hyde Park, тамъ коми-

тетъ хотѣлъ предложить адресъ королевѣ. Въ этомъ адресѣ требовалось объявленіе Пальмерстона и его товарищей измѣнниками отечества, ихъ подсудимость и просьба въ томъ случаѣ, если законъ пройдетъ, чтобъ королева, въ силу ей предоставленнаго права, отвергла его. Количество народа, которое ожидали въ паркѣ, было такъ велико, что комитетъ объявилъ о невозможности говорить рѣчи, параграфы адреса комитетъ распорядился предлагать на сужденіе телеграфическими знаками.

Разнесся слухъ, что къ субботѣ собираются работники, молодые люди, со всѣхъ концовъ Англіи, что желѣзныя дороги привезутъ десятки тысячъ людей, сильно раздраженныхъ. Можно было надѣяться на митингъ въ двѣсти тысячъ человѣкъ. Что могла сдѣлать полиція съ ними? Употребить войско противъ митинга законнаго и безоружнаго, собирающагося для адреса королевѣ, было невозможно, да и на это необходимъ былъ Mutiny Bill, слѣдовало предупредить митингъ. И вотъ въ пятницу Мильнеръ Гибсонъ явился съ своею рѣчью противъ пальмерстонова закона. Пальмерстонъ былъ до того увѣренъ въ своемъ торжествѣ, что, улыбаясь, ждалъ счета голосовъ. Подъ вліяніемъ будущаго митинга, часть пальмерстоновыхъ кліентовъ вотировала противъ него, и когда большинство больше 30 голосовъ было со стороны Мильнеръ Гибсона, онъ думалъ, что считавшій обмолвился, переспросилъ, потребовалъ рѣчи, ничего не сказалъ, а растерянный произнесъ нѣсколько безсвязныхъ словъ, сопровождая ихъ натянутой улыбкой, и потомъ опустился на стулъ, оглушаемый враждебнымъ рукоплесканіемъ.

Митингъ сдѣлался невозможенъ, не было больше причины ѣхать изъ Манчестера, Бристоля, Ньюкастля на

Тейнѣ... Conspiracy Bill палъ и съ нимъ Пальмерстонъ съ своими товарищами.

Классически велерѣчивое и чопорно консервативное министерство Дерби, съ своими еврейскими мелодіями д'Израели и дипломатическими тонкостями временъ Кастельри, смѣнило ихъ.

Въ Воскресенье, часу въ третьемъ, я пошелъ съ визитомъ и именно къ Г-жѣ Мильнеръ Гибсонъ, мнѣ хотѣлось ее поздравить; она жила возлѣ Гайдъ-Парка. Афиши были сняты и носильщики ходили съ печатными объявленіями на груди и спинѣ, что по случаю паденія закона и министровъ митинга не будетъ. Тѣмъ не меньше, пригласивши тысячъ двѣсти гостей, нельзя было ожидать, чтобы Паркъ остался пустъ. Вездѣ стояли густыя группы народа, ораторы, взгромоздившись на стулья, на столы, говорили рѣчи, и толпы были возбуждены больше обыкновеннаго. Нѣсколько полицейскихъ ходили съ дѣвичьей скромностью, ватаги мальчишекъ распѣвали во все горло: Pop goes the weasel! Вдругъ кто-то, указывая на поджарую фигуру француза съ усиками, въ потертой шляпѣ, закричалъ: A french spy!... въ ту же минуту мальчишки бросились за нимъ. Перепуганный шпіонъ хотѣлъ дать стрѣчка, но, брошенный на землю, онъ уже пошелъ не пѣшкомъ, его потащили волокомъ съ торжествомъ и крикомъ: „french spy, въ Серпентину его!“ привели къ берегу, помокнули его (это было въ Февралѣ), вынули и положили на берегъ, съ хохотомъ и свистомъ. Мокрый, дрожащій французъ, барахтался на пескѣ, выкликая *въ Паркѣ:* „кабман'! кабман'!“

Вотъ какъ повторилось черезъ пятьдесятъ лѣтъ въ Гайдъ-Паркѣ знаменитое тургеневское: „француза топимъ.“

Этотъ прологъ à la Pristnitz къ бернаровскому процессу показалъ, какъ далеко распространилось негодованіе. Народъ англійскій былъ дѣйствительно разсерженъ, и спасъ свою родину отъ пятна, которымъ conglomerated mediocrity С. Милля непремѣнно опозорила бы ее.

Англія велика и сносна *только* при полнѣйшемъ сохраненіи своихъ правъ и свободъ, неспѣтыхъ въ одно, одѣтыхъ въ средневѣковыя платья пуританскіе кафтаны, но допустившихъ жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической увѣренности въ законной почвѣ.

То, что понялъ инстинктомъ народъ англійскій, Дерби также мало оцѣнилъ, какъ и Пальмерстонъ. Забота Дерби состояла въ томъ, чтобъ успокоитъ капиталъ и сдѣлать всевозможныя уступки для разсерженнаго союзника; ему онъ хотѣлъ доказать, что и безъ Conspiracy Bill онъ надѣлаетъ чудеса. Въ излишнемъ рвеніи онъ сдѣлалъ двѣ ошибки.

Министерство Пальмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его въ misdemeanour, т. е. въ дурномъ поведеніи, въ бездѣльничествѣ, словомъ, въ преступленіи, которое не влекло за собою *большаго* наказанія какъ трехлѣтнее тюремное заключеніе. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика, не приняли бы особеннаго участія въ дѣлѣ, и оно вѣроятно кончилось бы противъ Бернара. Дерби потребовалъ судить Бернара за felony, за уголовное преступленіе, дающее судьѣ право, въ случаѣ обвинительнаго вердикта, приговорить его къ висѣлицѣ. Это нельзя было такъ пропустить, сверхъ того увеличивать виновность, пока виноватый подъ судомъ, совершенно противно юридическому смыслу англичанъ.

Пальмерстонъ въ самыхъ острыхъ припадкахъ страха, послѣ атентата Орсини, поймалъ безвреднѣйшую книжонку какого-то Адамса, разсуждавшаго о томъ, когда tyranicide позволено и когда нѣтъ, и отдалъ подъ судъ ея издателя Трулова.

Вся независимая пресса съ негодованіемъ взглянула на эту континентальную замашку. Преслѣдованіе брошюры было совершенно безсмысленно, въ Англіи тирановъ нѣтъ, во Франціи никто не узналъ бы объ брошюрѣ, писанной на англійскомъ языкѣ, да и такія ли ли вещи печатаются въ Англіи ежедневно.

Дерби съ своими привычками торфа и скачекъ захотѣлъ нагнать, а если можно, обскакать Пальмерстона. Феликсъ Пья написалъ отъ имени революціонной коммуны какой-то манифестъ, оправдывавшій Орсини, никто не хотѣлъ издавать его; польскій изгнанникъ Тхоржевскій поставилъ имя своей книжной лавки на посланіи Пья. Дерби велѣлъ схватить экземпляръ и отдать подъ судъ Тхоржевскаго.

Вся англо-саксонская кровь, въ которой желѣзо не было замѣнено золотомъ, отъ этого новаго оскорбленія бросилась въ голову, всѣ органы — Шотландіи, Ирландіи и, разумѣется, Англіи (кромѣ двухъ-трехъ журналовъ *на содержаніи*)—приняли за преступное посягательство на свободу книгопечатанія эти опыты урѣзыванія словъ и спрашивали, въ полномъ ли разсудкѣ поступаетъ такъ правительсто или оно сошло съ ума?

При этомъ благопріятномъ настроеніи въ пользу правительственныхъ преслѣдованій, начался въ Old-Bailey процессъ Бернара, это „юридическое Ватерлоо“ Англіи, какъ мы сказали тогда въ *Колоколѣ*.

Процессъ Бернара я прослѣдилъ отъ доски до доски,

я былъ всѣ засѣданія въ Old-Bailey (разъ только часа два опоздалъ), и не раскаяваюсь въ этомъ. Первый процессъ Вартелеми и процессъ Бернара доказали мнѣ очевидно, насколько Англія совершеннолѣтнѣе Франціи въ юридическомъ отношеніи.

Чтобъ обвинить Бернара, французское правительство и англійское министерство взяло колосальныя мѣры, процессъ этотъ стоилъ обоимъ правительствамъ до 30,000 ф. стер., т. е. до 750,000 фр. Ватага французскихъ агентовъ жила въ Лондонѣ, ѣздила въ Парижъ и возвращалась, для того, чтобъ сказать одно слово, для того, чтобъ быть въ готовности *на случай* надобности, семьи были выписаны, доктора медицины, жокеи, начальники тюремъ, женщины, дѣти... и все это жило въ дорогихъ гостинницахъ, получая фунтъ (25 фр.) въ день на содержаніе. Цезарь былъ испуганъ. Карѳагены были испуганы! И все-то это понялъ насупившись неповоротливый англичанинъ, и въ продолженіи слѣдствія преслѣдовалъ мальчиками, свистомъ и грязью на Гай-Маркетѣ и Ковентри французскихъ шпіоновъ; англійская полиція должна была не разъ ихъ спасать.

На этой ненависти къ политическимъ шпіонамъ и къ безцеремонному вторженію ихъ въ Лондонъ основалъ Едвинъ Джемсъ свою защиту. Что онъ дѣлалъ съ англійскими агентами, трудно себѣ вообразить. Я не знаю, какія средства нашелъ Scotland Yard или французское правительство, чтобъ вознаградить за пытку, которую заставлялъ ихъ выносить Е. Джемсъ.

Нѣкто Рожерсъ свидѣтельствуетъ, что Бернаръ въ клубѣ на Лестеръ Скверѣ говорилъ то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона.

— Вы были тамъ? — спрашиваетъ Е. Джемсъ.

— Былъ.

— Вы стало занимаетесь политикой?

— Нѣтъ.

— Зачѣмъ же вы ходите по политическимъ клубамъ?

— *По обязанностямъ службы.*

— Не понимаю, какая же это служба?

— Я служу у Серъ Ричарда Мена*).

— А... Что же, вамъ дается инструкція?

— Да.

— Какая?

— Велѣно слушать, что говорится, и сообщать объ этомъ по начальству.

— И вы получаете за это жалованье?

— Получаю.

— Въ такомъ случаѣ *вы шпіонъ* — a spy? Вы давно бы сказали.

Королевскій атторней Фицрой Келли встаетъ и, обращаясь къ лорду Кембелю, одному изъ четырехъ судей, призванныхъ судить Бернара, проситъ его защитить *свидѣтеля* отъ дерзкихъ наименованій адвоката. Кембель, съ всегдашнимъ безстрастіемъ своимъ, совѣтуетъ Е. Джемсу не обижать свидѣтеля. Джемсъ протестуетъ, онъ и намѣренія не имѣлъ его обижать, слово spy, говоритъ онъ, — plain english word и есть названіе его должности; Кембель увѣряетъ, что лучше называть *иначе*, адвокатъ отыскиваетъ какой-то фоліантъ и читаетъ опредѣленіе слова шпіонъ. „Шпіонъ, лице, употребляемое за плату полиціей для подслушиванія и пр.“ — а Рожерсъ, прибавляетъ онъ, сейчасъ сказалъ, что онъ за деньги, получаемыя отъ Серъ Ричарда Мена (при чемъ онъ указываетъ на самого Ричарда Мена головой), ходитъ слушать въ клубы и доносить, что тамъ дѣлается. А потому онъ про-

*) Начальникъ Metropolitan Police.

ситъ у Лорда извиненія, но иначе не можетъ его называть, и потомъ, обращаясь къ негодяю, на котораго обращены всѣ глаза и который второй разъ обтираетъ потъ, выступившій на лицѣ, спрашиваетъ: „Шпіонъ Рожерсъ, вы можетъ тоже и отъ французскаго правительства получали жалованье?

Пытаемый Рожерсъ бѣсится и отвѣчаетъ, что онъ никогда не служилъ никакому деспотизму.

Едвинъ Джемсъ обращается къ публикѣ и середь гомерическаго смѣха говоритъ: „нашъ spy Roggers за представительное правительство.“

Допрашивая агента, взявшаго бумаги Бернара, онъ спросилъ его: съ кѣмъ онъ приходилъ? (горничная показала, что онъ былъ не одинъ).

— Съ моимъ дядей.

— А чѣмъ вашъ дядюшка занимается?

— Онъ кондукторомъ омнибуса.

— Зачѣмъ же онъ приходилъ съ вами?

— Онъ меня просилъ взять его съ собой, такъ какъ онъ никогда не видалъ, какъ арестуютъ или забираютъ бумаги.

— Экой любопытный у васъ дядюшка. Да кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо отъ Орсини, письмо это было на итальянскомъ языкѣ, а доставили вы его въ переводѣ, не дядюшка ли вашъ переводилъ?

— Нѣтъ, письмо это переводилъ Убичини*).

— Англичанинъ?

— Англичанинъ.

— Никогда не случалось мнѣ слышать такой англійской фамиліи. Что же, г. Убичини занимается литературой?

— Онъ переводитъ по обязанности.

*) Кажется такъ.

— Такъ вашъ пріятель можетъ, какъ шпіонъ Рожерсъ, служить у серъ Ричардъ Мена (снова кивая на серъ Ричарда головой)?

— Точно такъ.

— Давнобъ вы сказали.

Съ французскими шпіонами онъ до этой степени не доходилъ. хотя доставалось и имъ.

Всего больше мнѣ понравилось то, что, вызвавъ на эстраду свидѣтеля, какого-то содержателя трактира француза или бельга, за весьма неважнымъ вопросомъ, онъ вдругъ остановился и, обращаясь къ лорду Кембелю, сказалъ: „вопросъ, который я хочу предложить свидѣтелю, такого рода, что онъ можетъ его затруднить въ присутствіи французскихъ агентовъ. Я прошу васъ ихъ на время выслать.

— Huissier, выведите французскихъ агентовъ, сказалъ Кембель.

И huisser, въ шелковой мантильи, съ палочкой въ рукахъ, повелъ дюжину шпіоновъ съ бородками и удивительными усами, съ золотыми цѣпочками, перстнями, черезъ залу, набитую биткомъ. Чего стоило одно такое путешествіе, сопровождаемое едва сдержимымъ хохотомъ?

Процессъ извѣстенъ. Я не буду его разсказывать.

Когда свидѣтелей переспросили, обвинитель и защитникъ произнесли свои рѣчи, Кембель холодно субсумировалъ дѣло, прочитавъ всю evidence.

Кембель читалъ часа два. „Какъ это у него достаетъ груди и легкихъ?...“ сказалъ я полицейскому. Полицейскій посмотрѣлъ на меня съ чувствомъ гордости и, поднося мнѣ табакерку, замѣтилъ: „что это для него! Когда Пальмера судили, онъ *шесть съ половиной* часовъ читалъ, и то ничего, — вотъ онъ какой!“

Страшно сильные организмы у англичанъ. Какъ они пріобрѣтаютъ такой запасъ силъ и на такой длинный срокъ, это задача. У насъ понятія не имѣютъ о такой дѣятельности и о такой работѣ, особенно въ *первыхъ трехъ* классахъ. Кембель напр. пріѣзжалъ въ Old-Bailey ровно въ 10 часовъ, до 2 онъ безостановочно велъ процессъ. Въ 2 судьи выходили на четверть часа или минутъ на двадцать, и потомъ снова оставались до 5 и 5½. Кембель писалъ всю evidence своей рукой. Вечеромъ того же дня онъ являлся въ палату лордовъ и произносилъ длинныя рѣчи, какъ слѣдуетъ, съ ненужными латинскими цитатами, произнесенными такъ, что самъ Горацій не понялъ бы своего стиха.

Гладстонъ между двумя управленіями финансовъ, имѣя полтора года времени, написалъ комментаріи къ Гомеру..

А *вѣчно юный* Пальмерстонъ, скачущій верхомъ, являющійся на вечерахъ и обѣдахъ, вездѣ любезный, вездѣ болтливый и неистощимый, бросающій ученую пыль въ глаза на экзаменахъ и раздачахъ премій — и пыль либерализма, національной гордости и благородныхъ симпатій въ застольныхъ рѣчахъ, Палмерстонъ, завѣдующій своимъ министерствомъ и отчасти всѣми другими, исправляющій парламентъ!

Эта прочность силъ и страстная привычка работы тайна англійскаго организма, воспитанія, климата. Англичанинъ учится медленно, мало и поздно, съ раннихъ лѣтъ пьетъ портъ и шери, объѣдается и пріобрѣтаетъ каменное здоровье; не дѣлая школьной гимнастики нѣмецкихъ Turner-Uebungen — онъ скачетъ верхомъ черезъ плетни и загородки, правитъ всякой лошадью, гребетъ во всякой лодкѣ и умѣетъ въ кулачномъ бою поставить самый разноцвѣтный фо-

нарь. При этомъ жизнь введена въ наѣзженную колею и правильно идетъ отъ *извѣстнаго* рожденія, *извѣстными* аллеями къ *извѣстнымъ* похоронамъ; страсти слабо ее волнуютъ. Англичанинъ теряетъ свое состояніе съ меньшимъ шумомъ, чѣмъ французъ пріобрѣтаетъ свое; онъ проще застрѣливается, чѣмъ французъ переѣзжаетъ въ Женеву или Брюсель.

Vous voyez, vous manger votre veau froid chaudement, говорилъ одинъ старый англичанинъ, желавшій объяснить французу разницу англійскаго характера отъ французскаго. Et nous manger notre b e a f chaud froidement. Оттого-то ихъ и становится лѣтъ на восемьдесятъ...

...Прежде чѣмъ я возвращусь къ процессу, мнѣ остается объяснить, почему полицейскій подчивалъ меня табакомъ. Въ первый день суда я сидѣлъ на лавочкахъ стенографовъ; когда ввели Бернара на помостъ подсудимыхъ, онъ провелъ взглядомъ по залѣ, до нельзя набитой народомъ,—ни одного знакомаго лица; онъ опустилъ глаза, взглянулъ около и, встрѣтивъ мой взглядъ, слегка кивнулъ мнѣ головой, какъ бы спрашивая, желаю ли я признаться въ знакомствѣ или нѣтъ; я всталъ и дружески поклонился ему. Это было въ самомъ началѣ, т. е. въ одну изъ тѣхъ минутъ безусловной тишины, въ которыя каждый шорохъ слышенъ, каждое движеніе замѣчено. Сандерсъ, одинъ изъ начальниковъ detective police, пошептался съ кѣмъ-то изъ своихъ и велѣлъ наблюдать за мной, т. е. онъ очень просто указалъ на меня пальцемъ какому-то детективу, и съ той минуты онъ постоянно былъ вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряженіе. Уходилъ ли я на четверть часа, во время отдыха судей, въ таверну выпить стаканъ элю и приходя не

находилъ мѣста, полицейскій кивалъ мнѣ головой и указывалъ гдѣ сѣсть. Останавливалъ ли меня въ дверяхъ другой полицейскій, тотъ давалъ ему знакъ и полицейскій пропускалъ. Наконецъ, я разъ поставилъ шляпу на окно, забылъ объ ней и напоромъ массы былъ совершенно оттертъ отъ него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти; я приподнялся, чтобы взглянуть, нѣтъ ли какой щели, но полицейскій меня успокоилъ: „Вы вѣрно шляпу ищете, я ее прибралъ".

Послѣ этого не трудно понять, почему его товарищъ подчивалъ меня шотландскимъ рыженькимъ кавендишемъ.

Пріятное знакомство съ детективомъ послужило мнѣ на пользу даже впослѣдствіи. Разъ, взявши какихъ-то книгъ у Трюбнера, я сѣлъ въ омнибусъ и забылъ ихъ тамъ; на дорогѣ хватился, омнибусъ уѣхалъ. Отправился я въ Сити на станцію омнибусовъ, идетъ мой детективъ, поклонился мнѣ. — Очень радъ, вотъ научитека, какъ скорѣе достать книги. — А какъ называется омнибусъ? — Такъ-то. — Въ которомъ часу? — Сейчасъ. — Это пустяки, пойдемте, — и черезъ четверть часа книги были у меня.

Фицрой Келли прочелъ свой обвинительный актъ, съ примѣсью желчи, сухой, cassant, Кембель прочелъ evidence, и присяжныхъ увели.

Я подошелъ къ лавкѣ адвокатовъ и спросилъ знакомаго sollicitor'a, какъ онъ думаетъ? — Плохо, сказалъ онъ, я почти увѣренъ, что приговоръ присяжныхъ будетъ противъ него.—Скверно.—И неужели его..?—Нѣтъ, не думаю, перебилъ солиситоръ, ну а въ депортацію попадетъ, все будетъ зависѣть отъ судей,

Въ залѣ былъ страшный шумъ, хохотъ, разговоръ, кашлянье. Какой-то алдерманъ снялъ съ себя свою зо-

лотую цѣпь и показывалъ ее дамамъ; толстая цѣпь ходила изъ рукъ въ руки, неужели ее никто не украдетъ? думалъ я. Часа черезъ два раздался колокольчикъ, взошелъ снова Кембель, взошелъ Поллокъ—дряхлый, худой старикъ, нѣкогда адвокатъ королевы Шарлоты и два другіе собрата, судьи. Huissier возвѣстилъ имъ, что присяжные согласны.

„Введите присяжныхъ!“ сказалъ Кембель; водворилась мертвая тишина, я смотрѣлъ кругомъ, лица измѣнились, стали блѣднѣе, серьезнѣе, глаза зажглись. дамы дрожали. Въ этой тишинѣ, при этой толпѣ, обычный ритуалъ вопросовъ, присяги, былъ необыкновенно торжественъ. Скрестивъ руки на груди, спокойно стоялъ Бернаръ, нѣсколько блѣднѣе обыкновеннаго (во весь процессъ онъ держалъ себя превосходно).

Тихимъ, но внятнымъ голосомъ спросилъ Кембель: „Согласны ли присяжные, избрали ли они изъ среды своей старшаго—и кто онъ?“

Они избрали какого-то небогатаго портнаго изъ Сити.

Когда онъ присягнулъ, и Кембель, вставши, сказалъ ему, что судъ ждетъ рѣшенія присяжныхъ, сердце замерло, дыханье сперлось.

... Передъ Богомъ и подсудимымъ на помостѣ... объявляемъ мы, что докторъ Симонъ Бернаръ, обвиняемый въ участіи атентата 12 Января, сдѣланнаго противъ Наполеона, и въ убійствѣ, онъ усилилъ голосъ и громко прибавилъ not guilty!“

Нѣсколько секундъ молчанья, потомъ пробѣжалъ какой-то нестройный вздохъ и вслѣдъ за тѣмъ безумный крикъ, трескъ рукоплесканій, громъ радости..... дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мущины съ раскраснѣвшимся лицомъ, съ слезами, стру-

явшимися на щекахъ, судорожно кричали — уре! уре! Прошли минуты двѣ, судьи, недовольные неуваженіемъ, велѣли huissiers возстановить тишину, двѣ, три жалкія фигуры съ палками махали, шевелили губами, шумъ не переставалъ и не дѣлался слабѣе. Кембель вышелъ и товарищи его вышли. Никто не обращалъ на это вниманія, шумъ и крикъ продолжались. Присяжные торжествовали.

Я подошелъ къ эстрадѣ, поздравилъ Бернара и хотѣлъ пожать ему руку, но какъ онъ ни наклонялся и я ни вытягивался, руки его я не досталъ. Вдругъ два адвоката, незнакомые, въ мантіяхъ и парикахъ, говорятъ мнѣ: „постойте, погодите," и не ожидая отвѣта схватываютъ меня, и подсаживаютъ, чтобъ я могъ достать его руку.

Только что крикъ сталъ утихать, и вдругъ какое-то море ударилось въ стѣны и ворвалось съ глухимъ плескомъ во всѣ окна и двери зданія, это былъ крикъ на лѣстницѣ въ сѣняхъ, онъ уходилъ, приближался и разливался все больше и больше и, наконецъ, слился въ общій гулъ: это былъ голосъ народа.

Кембель взошелъ и объявилъ, что Бернаръ по этому дѣлу отъ суда освобожденъ, и вышелъ съ своими „братьями судьями"; вышелъ и я. Это была одна изъ тѣхъ рѣдкихъ минутъ, когда человѣкъ смотритъ на толпу съ любовью, когда ему легко съ людьми... Много грѣховъ Англіи будутъ отпущены ей и за этотъ вердиктъ, и за эту радость!

Я вышелъ вонъ, улица была запружена народомъ.

Изъ боковаго переулка выѣхалъ угольщикъ, посмотрѣлъ на толпу народа и спросилъ: кончилось? — Да. — Чѣмъ? — not guilty. Угольщикъ положилъ возжи, снялъ свою кожаную шапку съ огромнымъ козыркомъ

сзади, бросилъ ее вверхъ и неистовымъ голосомъ принялся кричать: Уре! Уре! и толпа опять принялась кричать Уре.

Въ это время изъ дверей Old-Bailey вышли подъ прикрытіемъ полиціи присяжные. Народъ ихъ встрѣтилъ съ *непокрытой головой* и съ безконечными криками одобренія. Дороги имъ не приходилось расчищать полицейскимъ, толпа сама разступилась — присяжные пошли въ таверну на Флитъ стритъ, народъ пошелъ ихъ провожать, новыя толпы по мѣрѣ того, какъ они проходили, кричали имъ ура и бросали шляпы вверхъ.

Это было часу въ шестомъ, въ семь часовъ въ Манчестрѣ, Ньюкестлѣ, Ливерпулѣ и пр. работники бѣгали по улицамъ съ факелами, возвѣщая жителямъ освобожденіе Бернара. Вѣсть эту сообщили по телеграфу ихъ знакомые; съ четырехъ часовъ толпы стояли у телеграфическихъ конторъ.

Вотъ какъ Англія отпраздновала новое торжество своей свободы!

Послѣ Пальмерстоновскаго пораженія за Conspiracy bill и неудачу Дербитовъ въ дѣлѣ Бернара, процессы, затѣянные правительствомъ противъ двухъ брошюръ, становились невозможными. Еслибъ Бернаръ былъ обвиненъ, повѣшенъ или посланъ лѣтъ на двадцать въ депортацію, и общественное мнѣніе осталось бы равнодушнымъ, тогда было бы легко принести на закланіе, для полноты жертвы, двухъ-трехъ Исааковъ книгопечатанія. Французскіе агенты уже точили зубы на другія брошюры, и въ томъ числѣ на письмо Маццини.

Но Бернаръ былъ отъ суда освобожденъ, и это не все. Овація присяжнымъ, восторженный шумъ въ Old-Bailey, радость во всей Англіи не предсказывали успѣха. Дѣло брошюръ перенесли въ Queen's-Bench.

Это былъ послѣдній опытъ обвинить подсудимыхъ. Присяжные Old-Bailey казались ненадежными, жители Сити, строго державшіеся своихъ правъ и нѣсколько оппозиціонные по традиціи, не внушали довѣрія, присяжные Queen's-Bench изъ Вестъ Энда, большей частью богатые торговцы, строго придерживающіеся религіи порядка и традиціи наживы. Но и на это jury трудно было считать, послѣ вердикта портнаго.

Къ тому же, вся пресса въ Лондонѣ и во всемъ королевствѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ, завѣдомо подкупленныхъ листовъ, возстала, безъ различія партій, противъ посягательства на свободу книгопечатанія. Сбирались митинги, составлялись комитеты, дѣлались складки для уплаты штрафовъ и проторей, если бы правительству удалось осудить издателей, писались адрессы и петиціи.

Дѣло становилось труднѣе и нелѣпѣе со всякимъ днемъ. Франція въ широкихъ шароварахъ, couleur garance, въ кепи нѣсколько на бокъ, съ зловѣщимъ видомъ смотрѣла изъ-за Ла-Манша — чѣмъ кончится дѣло, предпринятое въ защиту ея господина. Освобожденіе Бернара ее глубоко обидѣло, и она вынимала изъ ноженъ свой тесакъ, ругаясь, какъ капралъ.

Пуще сердце замираетъ,
Тяжелѣй тоска...

Съ серебряной блѣдностью смотрѣлъ капиталъ на правительство — зеркальное правительство отразило его испугъ. Но до этого нѣтъ никакого дѣла Кембелю и судебной власти *не отъ міра сего.* Она знала одно, что процессъ противъ свободы книгопечатанія противенъ духу всей націи и строгій приговоръ лишитъ ихъ всей популярности и вызоветъ грозный протестъ. Имъ оставалось приговорить къ ничтожному наказанію, къ

фардингу королевѣ—къ одному дню тюрьмы... А Франція-то, съ кепи на бекрень, приняла бы такое рѣшеніе за личную обиду.

Еще хуже бы было, еслибъ присяжные оправдали Трулова и Тхоржевскаго, тогда вся вина пала бы на правительство, почему оно не велѣло лондонскому префекту или лорду-меру назначить присяжныхъ изъ service de sureté—по крайней мѣрѣ, изъ *друзей порядка*... Ну и вслѣдъ за тѣмъ.

Tambourgi! Tambourgi! they'larum afar.....

Это безвыходное положеніе очень хорошо понимали министры королевы и ея аторней, можетъ бы и они что нибудь сдѣлали, еслибъ въ Англіи вообще можно было дѣлать то, что̀ англичане называютъ *коупъ дете*, а французы coup d'état, а примѣръ къ тому же извертливаго, двужильнаго, неуловимаго, молодаго-стараго Пальмерстона былъ такъ свѣжъ.....

Что за коммиссія, создатель,
Быть *взрослой націи царемъ!*

Пришелъ день суда.

Наканунѣ нашъ Б. отправился въ Queen's bench и вручилъ какому-то полицейскому 5 шил., чтобъ онъ его завтра провелъ. Б. смѣялся и потиралъ руки, онъ былъ увѣренъ, что мы останемся безъ мѣста, или что насъ не пропустятъ въ дверяхъ. Онъ одного не взялъ въ расчетъ, что именно дверей-то въ залу Queen's bench'a и нѣтъ, а есть большая арка. Я пришелъ за часъ до Кембеля, народу было не много и я усѣлся превосходно. Смотрю, минутъ черезъ двадцать является Б., глядитъ по сторонамъ, ищетъ, безпокоится. — Что тебѣ надобно? — Ищу, братецъ, моего полицейскаго. — Зачѣмъ тебѣ его? — Да онъ обѣщалъ мѣсто дать. — По-

милуй, тутъ сто мѣстъ къ твоимъ услугамъ. — Надулъ полицейскій, сказалъ Б., смѣясь. — Чѣмъ же онъ надулъ, вѣдь мѣсто есть. Полицейскій, разумѣется, не показывался.

Между Тхоржевскимъ и Труловымъ шелъ горячій разговоръ, въ немъ участвовали и ихъ солиситоры; наконецъ Тхоржевскій обратился ко мнѣ и сказалъ, подавая письмо: „какъ вы думаете объ этомъ письмѣ?“ Письмо было отъ Трулова къ его адвокату, онъ жаловался въ немъ на то, что его арестовали, и говорилъ, что, печатая брошюру, онъ вовсе не думалъ о Наполеонѣ, что онъ и впредь не намѣренъ издавать подобныхъ книгъ; письмо было подписано. Труловъ стоялъ возлѣ.

Совѣтовать Трулову мнѣ было нечего, я отдѣлался какой-то пустой фразой, но Тхоржевскій сказалъ мнѣ: „они хотятъ, чтобъ и я подписалъ такое письмо; этого не будетъ, я лучше пойду въ тюрьму, а такого письма не подпишу.“

„Сайленсъ,“ закричалъ huisser; явился лордъ Кембель. Когда всѣ формальности были окончены, присяжные приведены къ присягѣ, Фицрой Келли всталъ и объявилъ Кембелю, что онъ имѣетъ сообщеніе отъ правительства. „Правительство, сказалъ онъ, имѣя въ виду письмо Трулова, въ которомъ онъ объясняетъ то-то и то-то, и принявъ въ расчетъ то-то и то-то, съ своей стороны отъ преслѣдованія *отказывается*.“

Кембель, обратившись къ присяжнымъ, сказалъ на это, „что виновность издателя брошюры о tyrannicid'ѣ несомнѣнна, что англійскій законъ, давая всевозможную свободу печати, тѣмъ не менѣе имѣетъ полныя средства наказывать вызовъ на такое ужасное преступленіе и пр. Но такъ какъ правительство, по такимъ-то сооб-

раженіямъ, отъ преслѣдованія отказывается, то и онъ готовъ, если присяжные согласны, судъ прекратить; впрочемъ, если они этого не хотятъ, онъ будетъ продолжать."

Присяжные хотѣли завтракать, идти по своимъ дѣламъ и потому, не выходя вонъ, обернулись спиной и, переговоривши, отвѣчали, какъ и слѣдовало ожидать, что они тоже согласны на прекращеніе суда.

Кембель возвѣстилъ Трулову, что онъ отъ суда и слѣдствія свободенъ. Тутъ не было даже рукоплесканія, а только хохотъ.

Наступилъ антръ-актъ. Въ это время Б. вспомнилъ, что онъ еще не пилъ чаю, и пошелъ въ ближнюю таверну. Черту эту я особенно отмѣчаю, какъ совершенно русскую. Англичанинъ ѣстъ много и жирно, нѣмецъ много и скверно, французъ не много, но съ энтузіазмомъ; англичанинъ сильно пьетъ пиво и все прочее, нѣмецъ пьетъ тоже пиво, да еще пиво за все прочее; но ни англичанинъ, ни французъ, ни нѣмецъ не находятся въ такой полной зависимости отъ желудочныхъ привычекъ, какъ русскій. Это связываетъ ихъ по рукамъ и ногамъ. Остаться безъ обѣда..... какъ можно..... лучше днемъ опоздать, лучше того-то совсѣмъ не видать. Б. заплатилъ за свой чай, сверхъ двухъ шилинговъ, слѣдующей превосходной сценой.

Когда чередъ дошелъ до Тхоржевскаго, Фицрой Келли всталъ и снова объявилъ, что онъ имѣетъ сообщеніе отъ правительства. Я натянулъ уши. Какую же причину онъ выдумалъ? Тхоржевскій письма не писалъ.

„Подсудимый, началъ Ф. Келли, Stanislas Trouj..... Torj..... Toush....." и онъ остановился, добавивъ: „that is impossible! The foreign gentleman at the bar..... хотя и дѣйствительно виноватъ въ изданіи и продажѣ брошю-

ры Ф. Пья, но правительство, взявъ въ расчетъ, что онъ иностранецъ и англійскихъ законовъ по этой части не зналъ, на первый случай отказывается отъ преслѣдованія."

И таже комедія. Кембель спросилъ присяжныхъ. Присяжные въ ту же минуту акитировали Тхоржевскаго.

Французы и тутъ были недовольны. Имъ хотѣлось пышную mise en scéne, имъ хотѣлось громить тирановъ и защитить la cause des peuples..... можетъ по дорогѣ Трулова и Тхоржевскаго приговорили бы къ штрафу, къ тюрьмѣ; но что значитъ тюрьма, десять лѣтъ тюрьмы..... передъ всенароднымъ повтореніемъ великихъ началъ, ставящихъ внѣ закона тирановъ и ихъ Сеидовъ... незыблемыхъ началъ 1789 года, на которыхъ такъ твердо стоитъ свобода Франціи... въ ссылкѣ!

Правительство, испуганное сосѣдомъ, ударилось второй разъ объ гранитной утесъ англійской свободы и смиренно отступило; какого же больше торжества свободной печати?

CAMICIA ROSSA*)

Шекспировъ день превратился въ день Гарибальди. Сближеніе это вытянуто за волосы исторіей, такія натяжки удаются ей одной.

Народъ, собравшись на Примрозъ-Гиль, чтобъ посадить дерево въ память trecentenary, остался тамъ, чтобъ поговорить о *скоропостижномъ* отъѣздѣ Гарибальди. Полиція разогнала народъ. Пятьдесятъ тысячъ человѣкъ (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейскихъ, и изъ глубокаго уваженія къ законности, въ половину сгубили великое право сходовъ подъ чистымъ небомъ и, во всякомъ случаѣ, поддержали беззаконное вмѣшательство власти.

... Дѣйствительно, какая-то шекспировская фантазія пронеслась передъ нашими глазами на сѣромъ фондѣ Англіи, съ чисто шекспировской близостью великаго и отвратительнаго, раздирающаго душу и скрипящаго по тарелкѣ. Святая простота человѣка, наивная простота массъ и тайные скопы за стѣной, интриги, ложь. Знакомыя тѣни мелькаютъ въ другихъ образахъ—отъ Гамлета до короля Лира, отъ Гонериль и Корделій до *честнаго* Яго. Яго все крошечные, не за то какое количество и какая у нихъ честность!

Прологъ. Трубы. Является идолъ массъ, единственная, великая, народная личность нашего вѣка, выраба-

*) *Напечатано было въ Колоколѣ 15 августа, 15 сентября и 15 ноября 1864 года.*

тавшаяся съ 1848 года, является во всѣхъ лучахъ славы. Все склоняется передъ ней, все ее празднуетъ, это очью совершающееся hero worship Карлейля. Пушечные выстрѣлы, колокольный звонъ, вымпела на корабляхъ — и только потому нѣтъ музыки, что *гость Англіи* пріѣхалъ въ Воскресенье, а Воскресенье здѣсь постный день... Лондонъ ждетъ пріѣзжаго часовъ семь на ногахъ, овацiи растутъ съ каждымъ днемъ; появленіе человѣка въ *красной рубашкѣ* на улицѣ дѣлаетъ взрывъ восторга, толпы провожаютъ его ночью въ часъ изъ оперы, толпы встрѣчаютъ его утромъ въ семь часовъ передъ Стаффордъ гаузомъ. Работники и дюки,*) швеи и лорды, банкиры и high church, феодальная развалина Дерби и осколокъ февральской революціи—республиканецъ 1848 года, старшій сынъ королевы Викторіи и босой swiper, родившійся безъ родителей, ищутъ на перерывъ его руки, взгляда, слова. Шотландія, Ньюкестль онъ Тейнъ, Глазговъ, Манчестеръ трепещутъ отъ ожиданія — а онъ исчезаетъ въ непроницаемомъ туманѣ, въ синевѣ океана.

Какъ тѣнь Гамлетова отца, гость попалъ на какую-то министерскую досчечку, и исчезъ. Гдѣ онъ? Сейчасъ былъ тутъ и тутъ, а теперь нѣтъ... Остается одна точка, какой-то парусъ готовый отплыть.

Народъ англійскій одураченъ. „Великій, глупый народъ“ — какъ сказалъ о немъ поэтъ. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джонъ-буль, и жаль его и смѣшно! Быкъ съ львиными замашками — только что было тряхнулъ гривой и порасправился, чтобъ встрѣтить гостя, такъ какъ онъ

*) Я прошу позволеніе дюковъ называть дюками, а не герцогами. Во-первыхъ оно правильнѣе, а во-вторыхъ однимъ нѣмецкимъ словомъ меньше въ русскомъ языкѣ. Autant de pris sur le Teutchthum.

никогда не встрѣчалъ ни одного ни на службѣ состоящаго, ни отрѣшеннаго отъ должности монарха, а у него его и отняли. Левъ-быкъ бьетъ двойнымъ копытомъ, царапаетъ землю, сердится... но сторожа знаютъ хитрости замковъ и засововъ *свободы*, которыми онъ запертъ, болтаютъ ему какой-то вздоръ и держатъ ключъ въ карманѣ... а точка исчезаетъ въ океанѣ.

Бѣдный левъ-быкъ, ступай на свой hard labour, тащи плугъ, подымай молотъ. Развѣ три министра, одинъ не министръ, одинъ дюкъ, одинъ профессоръ хирургіи и одинъ лордъ піэтизма, не засвидѣтельствовали всенародно въ камерѣ перовъ и въ низшей камерѣ, въ журналахъ и гостинныхъ, что здоровый человѣкъ, котораго ты видѣлъ вчера, *больнъ* и болѣнъ такъ, что его надобно послать на яхтѣ вдоль атлантическаго океана и поперегъ средиземнаго моря... „Кому же ты больше вѣришь, моему ослу или мнѣ?“ — говорилъ обнженный мельникъ, въ старой баснѣ, скептическому другу своему, который сомнѣвался, слыша ревъ, что осла нѣтъ дома...

Или развѣ они не друзья народа, больше чѣмъ друзья — они его опекуны, его отцы съ матерью...

... Газеты подробно разсказали о пирахъ и яствахъ, рѣчахъ и мечахъ, адресахъ и кантатахъ, Чизикѣ и Гильдголѣ. Балетъ и декораціи, пантомины и арлекины этого „сновидѣнія въ весеннюю ночь“ описаны довольно. Я не намѣренъ вступать съ ними въ соревнованіе, а просто хочу передать изъ моего небольшаго фотографическаго снаряда нѣсколько картинокъ, взятыхъ съ того скромнаго угла, изъ котораго я смотрѣлъ. Въ нихъ, какъ всегда бываетъ въ фотографіяхъ, захватилось и осталось много случайнаго, неловкія складки, неловкія позы, слишкомъ выступившія мелочи—рядомъ

съ нерукотворенными чертами событій и неподслащенными чертами лицъ...

Разсказъ этотъ дарю я вамъ, отсутствующія дѣти (отчасти онъ для васъ и писанъ) и еще разъ очень, очень жалѣю, что васъ здѣсь не было съ нами 17 Апрѣля.

I.

ВЪ БРУКЪ ГАУЗѢ.

Третьяго Апрѣля къ вечеру Гарибальди пріѣхалъ въ Соутамтонъ. Мнѣ хотѣлось видѣть его прежде, чѣмъ его завертятъ, опутаютъ, утомятъ.

Хотѣлось мнѣ этого по многому: во-первыхъ просто потому, что я его люблю и не видалъ около десяти лѣтъ. Съ 1848 я слѣдилъ шагъ за шагомъ за его великой карьерой; онъ уже былъ для меня въ 1854 г. лицо взятое цѣликомъ изъ Корнелія Непота или Плутарха... съ тѣхъ поръ онъ переросъ половину ихъ, сдѣлался „невѣнчаннымъ царемъ“ народовъ, ихъ упованіемъ, ихъ живой легендой, ихъ святымъ человѣкомъ, и это отъ Украйны и Сербіи до Андалузіи и Шотландіи, отъ Южной Америки до Сѣверныхъ Штатовъ. Съ тѣхъ поръ онъ съ горстью людей побѣдилъ армію, освободилъ цѣлую страну и былъ отпущенъ изъ нея, какъ отпускаютъ ямщика, когда онъ довезъ до станціи. Съ тѣхъ поръ онъ былъ обманутъ и побитъ, и такъ какъ ничего не выигралъ побѣдой, не только ничего не проигралъ пораженіемъ, но удвоилъ ею свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его съ народомъ. Къ величію героя прибавился вѣнецъ

мученика. Мнѣ хотѣлось видѣть тотъ ли же это добродушный морякъ, приведшій Common Wealth изъ Бостона въ Indian Docks, мечтавшій о пловучей эмиграціи, носящейся по океану и угощавшій меня нищскимъ Бѣлетомъ, привезеннымъ изъ Америки.

Хотѣлось мнѣ, во-вторыхъ, поговорить съ нимъ о здѣшнихъ интригахъ и нелѣпостяхъ, о добрыхъ людяхъ, строившихъ одной рукой пьедесталъ ему и другой привязывавшихъ Маццини къ позорному столбу. Хотѣлось ему разсказать объ охотѣ по Стансфильду и о тѣхъ нищихъ разумомъ либералахъ, которые вторили лаю готическихъ своръ, не понимая, что тѣ имѣли по крайней мѣрѣ цѣль—сковырнуть на Стансфильдѣ пѣгое и безхарактерное министерство, и замѣнить его своей подагрой, своей вѣтошью и своимъ линялымъ тряпьемъ съ гербами.

... Въ Соутамтонѣ я Гарибальди не засталъ. Онъ только что уѣхалъ на Островъ Вайтъ. На улицахъ были видны остатки торжества, знамена, группы народа, бездна иностранцевъ...

Не останавливаясь въ Соутомтонѣ, я отправился въ Коусъ. На пароходѣ, въ отеляхъ все говорило о Гарибальди, о его пріемѣ. Разсказывали отдѣльные анекдоты, какъ онъ вышелъ на палубу, опираясь на дюка Сутерландскаго, какъ сходя въ Коусѣ съ парохода, когда матросы выстроились, чтобъ проводить его, Гарибальди пошелъ было поклонившись, но вдругъ остановился, подошелъ къ матросамъ и каждому подалъ руку, вмѣсто того, чтобъ подать на водку.

Въ Коусъ я пріѣхалъ часовъ въ 9 вечера; узналъ, что Брукъ гаусъ очень не близокъ, заказалъ на другое утро коляску и пошелъ по взморью. Это былъ первый

теплый вечеръ 1864. Море совершенно покойное, лѣниво-шаля колыхалось; кой гдѣ сверкалъ, исчезая, фосфорическій свѣтъ; я съ наслажденіемъ вдыхалъ влажно іодистый запахъ морскихъ испареній, который люблю какъ запахъ сѣна; издали раздавалась бальная музыка изъ какого-то клуба или казино, все было свѣтло и празднично.

За то на другой день, когда я часовъ въ шесть утра отворилъ окно, Англія напомнила о себѣ; вмѣсто моря и неба, земли и дали была одна сплошная масса неровнаго сѣраго цвѣта, изъ которой лился частый, мелкій дождь, съ той британской настойчивостью, которая впередъ говоритъ: „если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану". Въ семь часовъ поѣхалъ я подъ этой душей въ Брукъ-гаусъ.

Не желая долго толковать съ тугой на пониманье и скупой на учтивость англійской прислугой, я послалъ записку къ секретарю Гарибальди—Гверцони. Гверцони провелъ меня въ свою комнату и пошелъ сказать Гарибальди. Вслѣдъ за тѣмъ я услышалъ постукиванье трости и голосъ: „Гдѣ онъ, гдѣ онъ?" Я вышелъ въ корридоръ, Гарибальди стоялъ передо мной и прямо, ясно, кротко смотрѣлъ мнѣ въ глаза, потомъ протянулъ обѣ руки и сказавъ: „Очень, очень радъ, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете," обнялъ меня. „Куда вы хотите?" Это комната Гверцони; хотите ко мнѣ, хотите остаться здѣсь?" спросилъ онъ и сѣлъ.

Теперь была моя очередь смотрѣть на него.

Одѣтъ онъ былъ такъ, какъ вы знаете по безчисленнымъ фотографіямъ, картинкамъ, статуеткамъ; на немъ была красная шерстяная рубашка и сверху плащъ, особымъ образомъ застегнутый на груди; не на шеѣ. а на

плечахъ былъ платокъ, такъ какъ его носятъ матросы, узломъ завязанный на груди. Все это къ нему необыкновенно шло, особенно его плащъ.

Онъ гораздо меньше измѣнился въ эти десять лѣтъ, чѣмъ я ожидалъ. Всѣ портреты, всѣ фотографіи его ни куда не годятся, на всѣхъ онъ старше, чернѣе, и главное, выраженіе лица нигдѣ не схвачено. А *въ немъ-то* и высказывается *весь секретъ*, не только его лица, но его самого, его силы — той притяжательной и отдающейся силы, которой онъ постоянно покорялъ все окружавшее его... какое бы оно ни было, безъ различія діаметра: кучку рыбаковъ въ Ниццѣ, экипажъ матросовъ на океанѣ, drapello гверилльясовъ въ Монтевидео, войско ополченцовъ въ Италіи, народныя массы всѣхъ странъ, цѣлыя части земнаго шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильнаго и скорѣе напоминающаго славянскій типъ, чѣмъ итальянскій, оживлена, проникнута безпредѣльной добротой, любовью и тѣмъ, что называется bienveillance (я употребляю французское слово, потому что наше „благоволѣніе“ затаскалось до того по переднимъ и канцеляріямъ, что его смыслъ исказился и оподлѣлъ). Тоже въ его взглядѣ, тоже въ его голосѣ, и все это такъ просто, такъ отъ души, что если человѣкъ не имѣетъ задней мысли, жалованья отъ какого нибудь правительства и вообще не остережется, то онъ непремѣнно его полюбитъ.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характеръ, ни выраженіе его лица; рядомъ съ его добродушіемъ и увлекаемостью чувствуется несокрушимая, нравственная твердость и какой-то возвратъ на себя задумчивый и страшно грустный. Этой черты меланхолической, печальной я прежде не замѣчалъ въ немъ.

Минутами разговоръ обрывается; по его лицу, какъ

тучи по морю, пробѣгаютъ какія-то мысли — ужасъ-ли то передъ судьбами, лежащими на его плечахъ, передъ тѣмъ народнымъ *помазаніемъ*, отъ котораго онъ уже не можетъ отказаться? Сомнѣніе ли послѣ того, какъ онъ видѣлъ столько измѣнъ, столько паденій, столько слабыхъ людей? Искушеніе ли величія? Послѣдняго не думаю, его личность давно исчезла въ его дѣлѣ...

Я увѣренъ, что подобная черта страданья передъ призваньемъ, была и на лицѣ Дѣвы Орлеанской, и на лицѣ Іоанна Лейденскаго — они принадлежали народу, стихійныя чувства или лучше предчувствія, заморенныя въ насъ—сильнѣе въ народѣ. Въ ихъ вѣрѣ былъ фатализмъ, а фатализмъ самъ по себѣ безконечно грустенъ. „Да совершится воля твоя“ — говоритъ всѣми чертами лица Сикстинская Мадона. — „Да совершится воля твоя“, говоритъ ея сынъ плебей и Спаситель, грустно молясь на масличной горѣ.

... Гарибальди вспомнилъ разныя подробности о 1854 годѣ, когда онъ былъ въ Лондонѣ, какъ онъ ночевалъ у меня, опоздавши въ Indian docks; я напомнилъ ему, какъ онъ въ этотъ день пошелъ гулять съ моимъ сыномъ и сдѣлалъ для меня его фотографію у Кальдези, объ обѣдѣ у американскаго консула съ Бьюхананомъ, который нѣкогда надѣлалъ бездну шума и въ сущности не имѣлъ смысла.*)

„Я долженъ вамъ покаяться, что я поторопился къ вамъ пріѣхать не безъ цѣли, сказалъ я наконецъ ему; я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишкомъ англійская, т. е. туманная, для того, чтобъ ясно видѣть закулисную механику одной пьэсы, которая съ успѣхомъ разыгривается теперь въ парламентѣ... чѣмъ

*) Въ ненапечатанной части „Былое и Думы“ обѣдъ этотъ разсказанъ.

вы дальше поѣдете, тѣмъ гуще будетъ туманъ. Хотите вы меня выслушать?“

— Говорите, говорите—мы старые друзья.

Я разсказалъ ему дебаты, журнальный вопль, нелѣпость выходокъ противъ Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда. „Замѣтьте, добавилъ я, что въ Стансфильдѣ тори и ихъ сообщники преслѣдуютъ не только революцію, которую они смѣшиваютъ съ Маццини, не только министерство Пальмерстона, но сверхъ того человѣка, своимъ личнымъ достоинствомъ, своимъ трудомъ, умомъ достигнувшаго въ довольно молодыхъ лѣтахъ мѣста лорда въ адмиралтействѣ, человѣка безъ рода и связей въ аристократіи. — На васъ прямо они не смѣютъ нападать на сію минуту, но посмотрите, какъ они безцеремонно васъ трактуютъ. Вчера въ Коусѣ я купилъ послѣдній листъ Standard'a; ѣхавши къ вамъ, я его прочиталъ, посмотрите. „Мы увѣрены, что Гарибальди поймете на столько обязанности, возлагаемыя на него гостепріимствомъ Англіи, что не будетъ имѣть сношеній съ прежнимъ товарищемъ своимъ и найдетъ на столько такта, чтобъ не ѣздить въ 35 Thourloe Square“*). За тѣмъ выговоръ par anticipation, если вы этого не исполните“.

— Я слышалъ кое-что — сказалъ Гарибальди — объ этой интригѣ. *Разумѣется одинъ изъ первыхъ визитовъ моихъ будетъ къ Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что вамъ дѣлать, я хотѣлъ вамъ только показать безъ тумана безобразныя линіи этой интриги.

Гарибальди всталъ, я думалъ, что онъ хочетъ окончить свиданіе и сталъ прощаться. „Нѣтъ, нѣтъ, пойдемте теперь ко мнѣ“, сказалъ онъ и мы пошли. При-

*) Квартира Стансфильда.

храмываетъ онъ сильно, но вообще его организмъ вышелъ торжественно изъ всякаго рода моральныхъ и хирургическихъ сондированій, операцій и пр.

Костюмъ его, скажу еще разъ, необыкновенно идетъ къ нему и необыкновенно изященъ; въ немъ нѣтъ ничего профессіонно-солдатскаго и ничего буржуазнаго, онъ очень простъ и очень удобенъ. Непринужденность, отсутствіе всякой афектаціи въ томъ, какъ онъ носитъ его, остановили салонные пересуды и тонкія насмѣшки. Врядъ существуетъ-ли европеецъ, которому бы сошла съ рукъ *красная рубашка* въ дворцахъ и палатахъ Англіи.

Притомъ костюмъ его чрезвычайно важенъ, *въ красной рубашкѣ* народъ узнаетъ себя и своего. Аристократія думаетъ, что, схвативши его коня подъ уздцы, она его поведетъ, куда хочетъ и, главное, отведетъ отъ народа; но народъ смотритъ на *красную рубашку* и радъ, что дюки, маркизы и лорды пошли въ конюхи и оффиціанты къ революціонному вождю, взяли на себя должности мажордомовъ, пажей и скороходовъ, при великомъ плебеѣ въ плебейскомъ платьѣ.

Консервативныя газеты замѣтили бѣду, и чтобъ смягчить безнравственность и безчиніе гарибальдіевскаго костюма, выдумали, что онъ носитъ *мундиръ* монтевидейскаго волонтера. Да вѣдь Гарибальди съ тѣхъ поръ былъ пожалованъ генераломъ—королемъ, которому онъ пожаловалъ два королевства — отчего же онъ носитъ мундиръ монтевидейскаго волонтера?

Да и почему то, что онъ носитъ—мундиръ?

Къ мундиру принадлежитъ какое нибудь смертоносное оружіе, какой нибудь знакъ власти, или кровавыхъ воспоминаній. Гарибальди ходитъ безъ оружія, онъ не боится никого и никого не стращаетъ; въ Гарибальди

также мало военнаго, какъ мало аристократическаго и мѣщанскаго. „Я не солдатъ, говорилъ онъ въ Кристальпаласѣ итальянцамъ, подносившимъ ему мечъ, и не люблю солдатскаго ремесла. Я видѣлъ мой отчій домъ наполненный разбойниками и схватился за оружіе, чтобъ ихъ выгнать".—„Я работникъ, происхожу отъ работниковъ и горжусь этимъ", сказалъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

При этомъ нельзя не замѣтить, что у Гарибальди нѣтъ также ни на іоту плебейской грубости, ни изученаго демократизма. Его обращеніе мягко до женственности. Итальянецъ и человѣкъ, онъ на вершинѣ общественнаго міра представляетъ не только плебея, вѣрнаго своему началу, но итальянца, вѣрнаго эстетичности своей расы.

Его мантія, застегнутая на груди, не столько военный плащъ, сколько риза попа первосвященника, propheta-re. Когда онъ поднимаетъ руку, отъ него ждутъ благословенія и привѣта, а не военнаго приказа.

Гарибальди загокорилъ о польскихъ дѣлахъ. Онъ дивился отвагѣ поляковъ. „Безъ организаціи, безъ оружія, безъ людей, безъ открытой границы, безъ всякой опоры — выступить противъ сильной военной державы, и продержаться слишкомъ годъ — такого примѣра нѣтъ въ исторіи... Хорошо, еслибъ другіе народы переняли. Столько геройства не должно, не можетъ погибнуть, я полагаю, что Галиція готова къ возстанію?"

Я промолчалъ.

— Также какъ и Венгрія—вы не вѣрите?

— Нѣтъ, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого нибудь движенія въ Россіи?

— Никакого. Съ тѣхъ поръ какъ я вамъ писалъ письмо, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, ничего не перемѣнилось.

Правительство, чувствующее поддержку во всѣхъ злодѣйствахъ въ Польшѣ, идетъ очертя голову, ни въ грошъ не ставитъ Европу, общество падаетъ глубже и глубже. Народъ молчитъ. Польское дѣло не его дѣло, у насъ врагъ одинъ, общій, но вопросъ розно поставленъ. Къ тому же у насъ много времени впереди, а у нихъ его нѣтъ.

Такъ продолжался разговоръ еще вѣсколько минутъ, начались въ дверяхъ показываться архи-англійскія физіономіи, шурстѣть дамскія платья... я всталъ.

— Куда вы торопитесь?—сказалъ Гарибальди.

— Я не хочу васъ больше красть у Англіи.

— До свиданья въ Лондонѣ—не правда ли?

— Я непремѣнно буду. Правда — что вы останавливаетесь у дюка Сутерландскаго?

— Да, сказалъ Гарибальди и прибавилъ будто извиняясь, не могъ отказаться.

— Такъ я явлюсь къ вамъ напудрившись, для того, чтобъ лакеи въ Стаффордъ гаузѣ подумали, что у меня пудренный слуга.

Въ это время явился поэтъ *лавреатъ* Тенисонъ съ женой — это было слишкомъ много лавровъ, и я по тому же безпрерывному дождю отправился въ Коусъ.

Перемѣна декораціи, но продолженіе той же пьэсы. Пароходъ изъ Коуса въ Соутамтонъ только что ушелъ, а другой отправлялся черезъ три часа, въ силу чего я пошелъ въ ближайшій ресторанъ, заказалъ себѣ обѣдъ и принялся читать „Теймсъ“. Съ первыхъ строкъ я былъ ошеломленъ. Семидесятипятилѣтній Авраамъ, судившійся мѣсяца два тому назадъ за какія-то шашни съ новой Агарью, принесъ окончательно на жертву своего Галифакскаго Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это въ самое то время, когда Гари-

бальди начиналъ свое торжественное шествіе въ Англію. Говоря съ Гарибальди я этого даже не предполагалъ.

Что Стансфильдъ подалъ во второй разъ въ отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему съ самаго начала слѣдовало стать во весь ростъ и бросить свое лордшипство. Стансфильдъ сдѣлалъ свое дѣло. Но что сдѣлалъ Пальмерстонъ съ товарищами? И что онъ лепеталъ потомъ въ своей рѣчи?.. Съ какой подобострастной лестью отзывался онъ о великодушномъ союзникѣ, о притрепетномъ желаніи ему долговѣчья и всякаго блага на вѣки нерушимаго. Какъ будто, кто нибудь бралъ au sérieux эту полицейскую фарсу Greco, Trabucco et C°.

Это была *Мажента.*

Я спросилъ бумаги и написалъ письмо къ Гверцони, написалъ я его со всей свѣжестью досады и просилъ его прочесть „Теймсъ“ Гарибальди; я ему писалъ о безобразіи этой апотеозы Гарибальди—рядомъ съ оскорбленіями Маццини. „Мнѣ 52 года, говорилъ я, но признаюсь, что слезы негодованія навертываются на глазахъ, при мысли объ этой несправедливости“ и проч.

За нѣсколько дней до моей поѣздки, я былъ у Маццини. Человѣкъ этотъ многое вынесъ, многое умѣетъ выносить, это старый боецъ, котораго ни утомить, ни низложить нельзя; но тутъ я его засталъ сильно огорченнымъ, именно тѣмъ, что его выбрали средствомъ для того, чтобъ выбить изъ стремянъ его друга. Когда я писалъ письмо къ Гверцони образъ исхудалаго, благороднаго старца съ сверкающими глазами носился передо мной.

Когда я кончилъ и человѣкъ подалъ обѣдъ, я замѣтилъ, что я не одинъ — небольшаго роста бѣлокурый молодой человѣкъ съ усиками и въ синей пальто-курткѣ,

которую носятъ моряки, сидѣлъ у камина, à l'amerîcaine, хитро утвердивши ноги въ уровень съ ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинціальный акцентъ, дѣлавшій для меня его рѣчь непонятной, убѣдили меня еще больше, что это какой нибудь пирующій на берегу мичманъ, и я пересталъ имъ заниматься — говорилъ онъ не со мной, а съ слугой. Знакомство окончилось было тѣмъ, что я ему подвинулъ соль, а онъ за то тряхнулъ головой.

Вскорѣ къ нему присоединился пожилыхъ лѣтъ черноватенькій господинъ, весь въ черномъ и весь до невозможности застегнутый—съ тѣмъ особеннымъ видомъ помѣшательства, которое даетъ людямъ близкое знакомство съ небомъ и натянутая религіозная экзальтація, дѣлающаяся натуральной отъ долгаго употребленія.

Казалось, что онъ хорошо зналъ мичмана и пришелъ, чтобъ съ нимъ повидаться. Послѣ трехъ-четырехъ словъ, онъ пересталъ *говорить* и началъ *проповѣдывать*. „Видѣлъ я говорилъ онъ, Маковея, Гедеона... орудіе въ рукахъ промысла, его мечъ, его пращъ... и чѣмъ болѣе я смотрѣлъ на него, тѣмъ сильнѣе былъ тронутъ, и со слезами твердилъ: мечъ Господень! мечъ Господень! Слабаго Давида избралъ онъ побить Голіаѳа. Отъ того-то народъ англійскій, народъ избранный, идетъ ему на срѣтеніе, какъ къ невѣстѣ Ливанской..... Сердце народа въ рукахъ Божіихъ; оно сказало ему, что это мечъ Господень, орудіе промысла, Гедеонъ!“

... Отворились настежъ двери и вошла не невѣста ливанская, а разомъ человѣкъ десять, важныхъ бритовъ и въ ихъ числѣ лордъ Шефсбюри, Линдзей. Всѣ они усѣлись за столъ и потребовали что нибудь перекусить, объявляя, что сейчасъ ѣдутъ въ Brook-house. Это была оффиціальная депутація отъ Лондона, съ приглаше-

ніемъ къ Гарибальди. Проповѣдникъ умолкъ; но мичманъ поднялся въ моихъ глазахъ, онъ съ такимъ не двусмысленнымъ чувствомъ отвращенія смотрѣлъ на взошедшую депутацію, что мнѣ пришло въ голову, вспоминая проповѣдь его пріятеля, что онъ принимаетъ этихъ людей, если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросилъ его, какъ слѣдуетъ надписать письмо въ Brook-house, достаточно ли назвать домъ, или надобно прибавить ближній городъ. Онъ сказалъ, что не нужно ничего прибавлять.

Одинъ изъ депутаціи, сѣдой, толстый старикъ, спросилъ меня, къ кому я посылаю письмо въ Brook-house?

— Къ Гверцони.

— Онъ кажется секретаремъ при Гарибальди?

— Да.

— Чего-же вамъ хлопотать, мы сейчасъ ѣдемъ, я охотно свезу письмо.

Я вынулъ мою карточку и отдалъ ее съ письмомъ. Можетъ ли что нибудь подобное случиться на континентѣ? Представьте себѣ, еслибъ во Франціи кто нибудь спросилъ бы васъ въ гостинницѣ — къ кому вы пишете—и узнавши что это къ секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано и я на другой день имѣлъ отвѣтъ въ Лондонѣ.

Редакторъ иностранной части Morning Star'a узналъ меня. Начались вопросы о томъ, какъ я нашелъ Гарибальди, о его здоровьи. Поговоривши нѣсколько минутъ съ нимъ, я ушелъ въ smoking room. Тамъ сидѣли за пель-элемъ и трубками мой бѣлокурый морякъ и его черномазый теологъ. „Что, сказалъ онъ мнѣ, наглядѣлись вы на эти лица?.. а вѣдь это неподражаемо хо-

рошо, лордъ Шефсбюри, Линдзей дутъ депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедія! Знаютъ ли они кто такое Гарибальди?

— Орудіе промысла, мечъ въ рукахъ Господнихъ, его пращъ... потому-то онъ и вознесъ его и оставилъ его въ святой простотѣ его...

— Это все очень хорошо, да за чѣмъ ѣдутъ эти господа? Спросилъ бы я кой у кого изъ нихъ — сколько у нихъ денегъ въ Алабамѣ?.. Дайте-ка Гарибальди пріѣхать въ Ньюкестль он' Тейнъ, да въ Глазговъ, тамъ онъ увидитъ народъ по ближе, тамъ ему не будутъ мѣшать лорды и дюки.

Это былъ не мичманъ, а корабельный постройщикъ. Онъ долго жилъ въ Америкѣ, зналъ хорошо дѣла Юга и Сѣвера, говорилъ о безвыходности тамошней войны, на что утѣшительный теологъ замѣтилъ: „Если Господь раздвоилъ народъ этотъ и направилъ брата на брата, онъ имѣетъ свои виды, и если мы ихъ не понимаемъ, то должны покоряться провидѣнію, даже тогда когда оно караетъ.“

Вотъ гдѣ и въ какой формѣ мнѣ пришлось слышать въ послѣдній разъ комментарій на знаменитый гегелевскій мотто: „Все что дѣйствительно—то разумно“.

Дружески пожавъ руку моряку и его каплану, я отправился въ Соутамтонъ.

На пароходѣ я встрѣтилъ радикальнаго публициста Голіока, онъ видѣлся съ Гарибальди позже меня, Гарибальди черезъ него приглашалъ Маццини; онъ ему уже телеграфировалъ, чтобъ онъ ѣхалъ въ Соутамтонъ, гдѣ Голіокъ намѣренъ былъ его ждать съ Менотти Гарибальди и его братомъ. Голіоку очень хотѣлось доставить еще въ тотъ-же вечеръ два письма въ Лондонъ

(по почтѣ онѣ придти не могли до утра). Я предложилъ мои услуги.

Въ 11 часовъ вечера пріѣхалъ я въ Лондонъ, заказалъ въ York hotel'ѣ возлѣ Ватерлоской станціи комнату и поѣхалъ съ письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успѣлъ перестать. Въ часъ или въ началѣ втораго пріѣхалъ я въ гостинницу—заперто. Я стучался, стучался... какой-то пьяный, оканчивавшій свой вечеръ возлѣ рѣшетки кабака, сказалъ „не тутъ стучите, въ переулкѣ есть night-bell;“ пошелъ я искать night-bell, нашелъ и сталъ звонить. Не отворяя дверей, изъ какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая „чего мнѣ?“ — Комнаты. — „Ни одной нѣтъ“. — Я въ 11 часовъ самъ заказалъ. — „Говорятъ, что нѣтъ ни одной“‘ и онъ захлопнулъ дверь пресподней, не дождавшись даже, чтобъ я его обругалъ, что я и сдѣлалъ платонически, потому что онъ слышать не могъ.

Дѣло было непріятное, найти въ Лондонѣ въ два часа ночи комнату, особенно въ такой части города, не легко. Я вспомнилъ объ небольшомъ французскомъ ресторанѣ и отправился туда.—„Есть комната?“—спросилъ я хозяина.—„Есть, да не очень хороша“—Показывайте. Дѣйствительно онъ сказалъ правду, комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было, я отворилъ окно и сошелъ на минуту въ залу. Тамъ все еще пили, кричали, играли въ карты и домино какіе-то французы. Нѣмецъ колосальнаго роста, котораго я видалъ, подошелъ ко мнѣ и спросилъ, имѣю ли я время съ нимъ поговорить на единѣ, что ему нужно мнѣ сообщить что-то особенно важное.

— Разумѣется имѣю, пойдемте въ другую залу, тамъ никого нѣтъ.

Нѣмецъ сѣлъ противъ меня и трагически началъ мнѣ разсказывать, какъ его патронъ французъ надулъ, какъ онъ три года эксплуатировалъ его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что онъ его приметъ въ товарищи, и вдругъ, не говоря худаго слова, уѣхалъ въ Парижъ и тамъ нашелъ товарища. Въ силу этого, нѣмецъ сказалъ ему, что онъ оставляетъ мѣсто, а патронъ не возвращается...

— Да за чѣмъ-же вы вѣрили ему безъ всякаго условія?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin.

— Ну это другое дѣло.

— Я хочу запечатать заведеніе и уйти.

— Смотрите, онъ вамъ сдѣлаетъ процессъ; знаете-ли вы здѣшніе законы?

Нѣмецъ покачалъ головой. — Хотѣлось бы мнѣ насолить ему... а вы вѣрно были у Гарибальди?

— Былъ.

— Ну что онъ? Ein famoser Kerl — да вѣдь еслибъ онъ мнѣ не обѣщалъ цѣлые три года, я бы иначе велъ дѣла..... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется ничего.

— Эдакая бестія, все скрылъ и въ послѣдній день говоритъ у меня ужъ есть товарищъ-associé. Я вамъ кажется надоѣлъ?

— Совсѣмъ нѣтъ, только я не много усталъ, хочу спать, я всталъ въ 6 часовъ, а теперь два съ хвостикомъ.

— Да что же мнѣ дѣлать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли, ich habe so bei mir gedacht der wird Rath schaffen. Такъ не запечатывать заведенія?

— Нѣтъ. А такъ какъ ему полюбилось въ Парижѣ,

такъ вы ему завтра же напишете: „Заведеніе запечатано, когда вамъ угодно принимать его?“ Вы увидите, эфектъ, онъ броситъ жену и игру на биржѣ, прискачетъ сюда и—и увидитъ, что заведеніе не заперто.

— Saperlot! das ist eine Idée—ausgezeichnet, я пойду писать письмо.

— А я спать. Gute Nacht.

— Schlafen sie wohl!

Я спрашиваю свѣчку. Хозяинъ подаетъ ее собственноручно и объясняетъ, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сдѣлался духовникомъ.—Что вамъ надобно, оно не много поздно, но я готовъ.

— Нѣсколько словъ. Я васъ хотѣлъ спросить—какъ вы думаете, если я завтра выставлю бюстъ Гарибальди, знаете, съ цвѣтами, съ лавровымъ вѣнкомъ, вѣдь это будетъ очень хорошо? Я ужъ и о надписи думалъ... трехцвѣтными буквами Garibaldi — liberateur?

— Отчего-же — можно! Только французское посольство запретитъ ходить въ вашъ ресторанъ французамъ, а они у васъ съ утра до ночи.

— Оно такъ..... Но знаете, сколько денегъ зашибешь, выставивши бюстъ... а потомъ забудутъ...

— Смотрите, замѣтилъ я, рѣшительно вставая, чтобъ идти, не говорите никому, у васъ украдутъ эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили останется, я надѣюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомнѣвайтесь, и я отправился въ нечистую спальню его.

Симъ оканчивается мое первое свиданье съ Гарибальди въ 1864 году.

II.

ВЪ СТАФФОРДЪ ГАУЗѢ.

Въ день пріѣзда Гарибальди въ Лондонъ, я его не видалъ, а видѣлъ море народа, рѣки народа, запруженныя имъ улицы въ нѣсколько верстъ, наводненныя площади; вездѣ, гдѣ былъ корнизъ, балконъ, окно, выступили люди, и все это ждало, въ иныхъ мѣстахъ *шесть часовъ*... Гарибальди пріѣхалъ въ половинѣ третьяго на станцію Нейн Эльмсъ и только въ половинѣ девятаго подъѣхалъ къ Стаффордъ-гаузу, у подъѣзда котораго ждалъ его дюкъ Сутерландъ съ женой.

Англійская толпа груба, многочисленныя сборища ея не обходятся безъ дракъ, безъ пьяныхъ, безъ всякаго рода отвратительныхъ сценъ и главное безъ организованнаго на огромную скалу воровства. На этотъ разъ порядокъ былъ удивительный, народъ понялъ, что это *его* праздникъ, что онъ чествуетъ одного изъ *своихъ*, что онъ больше чѣмъ свидѣтель; и посмотрите въ полицейскомъ отдѣлѣ газетъ сколько было покражъ въ день въѣзда невѣсты Вельскаго и сколько*) при проѣздѣ Гарибальди, а полиціи было несравненно меньше. Куда-же дѣлись пик-покеты?

У Вестминстерскаго моста, близъ Парламента, народъ такъ плотно сжался, что коляска, ѣхавшая шагомъ, остановилась и процессія, тянувшаяся на версту, ушла впередъ съ своими знаменами, музыкой и пр. Съ криками ура народъ облѣпилъ коляску, все что могло продраться жало руку, цаловало края плаща Гарибальди,

*) Я помню одинъ процесъ кражи часовъ и двѣ-три драки съ ирландцами.

кричало Wellcom! Съ какимъ-то упоеньемъ любуясь на великаго плебея, народъ хотѣлъ отложить лошадей и везти на себѣ, но его уговорили. Дюковъ и лордовъ, окружавшихъ его, никто не замѣчалъ; они сошли на скромное мѣсто гайдуковъ и офиціантовъ. Эта овація продолжалась около часа, одна народная волна передавала гостя другой, при чемъ коляска двигалась нѣсколько шаговъ и снова останавливалась.

Злоба и остервенѣніе континентальныхъ консерваторовъ совершенно понятны. Пріемъ Гарибальди не только обиденъ для табели о рангахъ, для ливреи, но онъ чрезвычайно опасенъ какъ примѣръ. За то бѣшенство листовъ, состоящихъ на службѣ трехъ императоровъ и однаго „imperial“ торизма, вышло изъ всѣхъ границъ, начиная съ границъ учтивости. У нихъ помутилось въ глазахъ, зашумѣло въ ушахъ... Англія дворцовъ, Англія сундуковъ, забывъ всякое приличіе, идетъ вмѣстѣ съ Англіей мастерскихъ на срѣтеніе какого-то „aventuriei“ мятежника, который былъ бы повѣшенъ, еслибъ ему не удалось освободить Сициліи. „Отчего, говоритъ опростоволосившаяся La France, отчего Лондонъ никогда такъ не встрѣчалъ маршала Пелисье, котораго слава такъ чиста?“ и даже не смотря на то, забыла она прибавить, что онъ выжигалъ сотнями арабовъ съ дѣтьми и женами, такъ какъ у насъ выжигаютъ таракановъ.

Жаль, что Гарибальди принялъ гостепріимство дюка Сутерландскаго. Неважное значеніе и политическая стертость „пожарнаго“ дюка, до нѣкоторой степени дѣлали Стаффордъ гаузъ гостинницей Гарибальди... но все-же обстановка не шла и интрига, затѣянная *до въѣзда* его въ Лондонъ, разцвѣла удобно на дворцовомъ грунтѣ. Цѣль ея состояла въ томъ, чтобъ удалить Гарибальди отъ народа, т. е. отъ работниковъ и отрѣ-

зать его отъ тѣхъ изъ друзей и знакомыхъ, которые остались вѣрными прежнему знамени и разумѣется пуще всего отъ Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этихъ ширмъ, но другая половина осталась—именно невозможность говорить съ нимъ безъ свидѣтелей. Еслибъ Гарибальди не вставалъ въ 5 часовъ утра и не принималъ въ 6, она удалась бы совсѣмъ; по счастію усердіе интриги раньше половины девятаго не шло; только въ день его отъѣзда дамы начали вторженіе въ его спальню часомъ раньше. Разъ какъ-то Мордини, не успѣвъ сказать ни слова съ Гарибальди въ продолженіи часа, смѣясь замѣтилъ мнѣ: „Въ мірѣ нѣтъ человѣка, котораго бы было легче видѣть какъ Гарибальди, но за то нѣтъ человѣка, съ которымъ бы было труднѣе говорить".

Гостепріимство дюка было далеко лишено того широкаго характера, которое нѣкогда мирило съ аристократической роскошью. Онъ далъ только комнату для Гарибальди и для молодаго человѣка, который перевязывалъ его ногу; а другимъ, т. е. сыновьямъ Гарибальди, Гверцони и Базиліо хотѣлъ нанять комнаты. Они разумѣется отказались и помѣстились на свой счетъ въ Bath hotel. Чтобъ оцѣнить эту странность, надо знать что такое Стаффордъ гаузъ. Въ немъ можно помѣстить, не стѣсняя хозяевъ, всѣ семьи крестьянъ, пущенныхъ по міру отцомъ дюка, а ихъ очень много.

Англичане дурные актеры, и это имъ дѣлаетъ величайшую честь. Въ первый разъ какъ я былъ у Гарибальди въ Стаффордъ гаузѣ, придворная интрига около него бросилась мнѣ въ глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали безпрерывно. Какой-то итальянецъ сдѣлался полицмейстеромъ, це-

ремоніймейстеромъ, экзекуторомъ, дворецкимъ, бутафоромъ, суфлеромъ. Да и какъ не сдѣлаться за честь засѣдать съ дюками и лордами, вмѣстѣ съ ними предпринимать мѣры для предупрежденія и пресѣченія всѣхъ сближеній между народомъ и Гарибальди, и вмѣстѣ съ дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянскаго вождя и которую хромой генералъ рвалъ ежедневно, не замѣчая ее.

Гарибальди, напримѣръ, ѣдетъ къ Маццини. Что дѣлать? Какъ скрыть? Сейчасъ на сцену бутафоры, фактотумы—средство найдено. На другое утро весь Лондонъ читаетъ: „Вчера въ такомъ-то часу Гарибальди посѣтилъ въ Онсло Террасъ *Джонъ Френса*“. Вы думаете, что это вымышленное имя — нѣтъ, это имя хозяина содержащаго квартиру.

Гарибальди не думалъ отрѣкаться отъ Маццини, но онъ могъ уѣхать изъ этого водоворота, не встрѣчаясь съ нимъ при людяхъ и не заявивъ этого публично. Маццини отказался отъ посѣщеній къ Гарибальди, пока онъ будетъ въ Стаффордъ гаузѣ. Они могли бы легко встрѣтиться при небольшомъ числѣ, но никто не бралъ инициативы. Подумавъ объ этомъ, я написалъ къ Маццини записку и спросилъ его, приметъ ли Гарибальди приглашеніе въ такую даль какъ Теддингтонъ, если нѣтъ, то я его не буду звать, тѣмъ дѣло и кончится; если же поѣдетъ, то я очень желалъ бы ихъ обоихъ пригласить. Маццини написалъ мнѣ на другой день, что Гарибальди очень радъ, и что если ему ничего не помѣшаетъ, то они пріѣдутъ въ Воскресенье, въ часъ. Маццини въ заключеніе прибавилъ, что Гарибальди очень бы желалъ видѣть у меня Ледрю-Роллена.

Въ субботу утромъ я поѣхалъ къ Гарибальди, и не заставъ его дома, остался съ Саффи, Гверцони и др.

его ждать. Когда онъ возвратился, толпа посѣтителей, дожидавшихся въ сѣняхъ и корридорѣ, бросилась на него; одинъ храбрый бритъ вырвалъ у него палку, всунулъ ему въ руку другую и съ какимъ-то азартомъ повторялъ: „Генералъ, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше". — „Да за чѣмъ-же? — спросилъ Гарибальди улыбаясь — я къ моей палкѣ привыкъ". Но видя, что англичанинъ безъ боя палки не отдастъ, пожалъ слегка плечами и пошелъ дальше.

Въ залѣ, за мною шелъ крупный разговоръ. Я не обратилъ бы на него никакого вниманія, еслибъ не услышалъ громко повторенныя слова: „Capite, Теддингтонъ въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта. Помилуйте, да это невозможно, матеріально невозможно... въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта, это 16. 18 миль". Я обернулся и видя совершенно мнѣ незнакомаго человѣка, принимавшаго такъ къ сердцу разстояніе отъ Лондона до Теддингтона, я ему сказалъ: „Двѣнадцать или тринадцать миль".

Споривший тотчасъ обратился ко мнѣ: „И тринадцать милей страшное дѣло. Генералъ долженъ быть въ три часа въ Лондонѣ... во всякомъ случаѣ Теддингтонъ надо отложить".

Гверцони повторялъ ему, что Гарибальди хочетъ ѣхать и поѣдетъ.

Къ итальянскому опекуну прибавился англицкій, находившій, что принять приглашеніе въ такую даль, сдѣлаетъ гибельный антецедентъ... Желая имъ напомнить неделикатность дебатировать этотъ вопросъ при мнѣ, я замѣтилъ имъ: „Господа, позвольте мнѣ покончить вашъ споръ" и тутъ же, подойдя къ Гарибальди, сказалъ ему: „Мнѣ ваше посѣщеніе безконечно дорого и теперь больше чѣмъ когда нибудь, въ эту черную

полосу для Россіи, ваше посѣщеніе будетъ имѣть особое значеніе, вы посѣтите не одного меня, но друзей нашихъ, заточенныхъ въ тюрьмы, сосланныхъ на каторгу. Зная какъ вы заняты, я боялся васъ звать. По одному слову общаго друга, вы велѣли мнѣ передать, что пріѣдете. Это вдвое дороже для меня. Я вѣрю, что вы хотите пріѣхать, но я не настаиваю, (je n'insiste pas) если это сопряжено съ такими непреоборимыми препятствіями, какъ говоритъ этотъ господинъ, котораго я не знаю." Я указалъ его пальцемъ.

— Въ чемъ же препятствія?—спросилъ Гарибальди.

Impresario подбѣжалъ и скороговоркой представилъ ему всѣ резоны, что ѣхать завтра въ 11 часовъ въ Теддингтонъ и пріѣхать къ тремъ невозможно.

— Это очень просто—сказалъ Гарибальди—значитъ надо ѣхать не въ 11, а въ 10, кажется ясно?—Импрезаріо исчезъ.

— Въ такомъ случаѣ, чтобъ не было ни потери времени, ни исканья, ни новыхъ затрудненій, сказалъ я, позвольте мнѣ пріѣхать къ вамъ въ десятомъ часу и поѣдемте вмѣстѣ.

— Очень радъ, я васъ буду ждать.

Отъ Гарибальди я отправился къ Ледрю-Ролленъ. Въ послѣдніе два года я его не видалъ. Не потому, чтобъ между нами были какіе нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общаго. Къ тому же лондонская жизнь и въ особенности въ его предмѣстьяхъ разводитъ людей какъ-то незамѣтно. Онъ держалъ себя въ послѣднее время одиноко и тихо, хотя и вѣрилъ съ тѣмъ же ожесточеніемъ, съ которымъ вѣрилъ 14 іюня 1849 въ близкую революцію во Франціи. Я не вѣрилъ въ нее почти также долго и тоже оставался при моемъ невѣріи.

Ледрю-Ролленъ, съ большей вѣжливостію ко мнѣ, отказался отъ приглашенія. Онъ говорилъ, что душевно былъ бы радъ опять встрѣтиться съ Гарибальди и, разумѣется, готовъ бы былъ ѣхать ко мнѣ, но что онъ, какъ представитель французской республики, какъ пострадавшій за Римъ (13 іюня 1849 года), не можетъ Гарибальди видѣть въ первый разъ иначе, какъ у себя. „Если, говорилъ онъ, политическіе виды Гарибальди не дозволяютъ ему оффиціально показать свою симпатію французской республикѣ, въ моемъ ли лицѣ, въ лицѣ Луи Блана или кого нибудь изъ насъ, все равно, я не буду сѣтовать. Но отклоню свиданье съ нимъ, гдѣ бы оно ни было. Какъ частный человѣкъ, я желаю его видѣть, но мнѣ нѣтъ особеннаго дѣла до него; французская республика не куртизана, чтобъ ей назначать свиданье полутайкомъ. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете къ себѣ, и скажите откровенно, согласны вы съ моимъ разсужденіемъ или нѣтъ“?

— Я полагаю, что вы правы, и надѣюсь, что вы не имѣете ничего противъ того, чтобъ я передалъ нашъ разговоръ Гарибальди?

— Совсѣмъ напротивъ.

Затѣмъ разговоръ перемѣнился. Февральская революція и 1848 годъ вышли изъ могилы и снова стали передо мной въ томъ же образѣ тогдашняго трибуна, съ нѣсколькими морщинами и сѣдинами больше. Тотъ же слогъ, тѣ же мысли, тѣ же обороты, а главное та же надежда. „Дѣла идутъ превосходно. Имперія не знаетъ, что дѣлать. Elle est debordée. Сегодня еще я имѣлъ вѣсти, невѣроятный успѣхъ въ общественномъ мнѣніи. Да и довольно; кто могъ думать, что такая нелѣпость продержится до 1864.“

Я не противорѣчилъ и мы разстались довольные другъ другомъ.

На другой день, пріѣхавши въ Лондонъ, я началъ съ того, что взялъ карету съ парой сильныхъ лошадей и отправился въ Стаффордъ-гаузъ.

Когда я взошелъ въ комнату Гарибальди, его въ ней не было. А ярый итальянецъ уже съ отчаяніемъ проповѣдывалъ о совершенной невозможности ѣхать въ Теддингтонъ.

— Неужели вы думаете, говорилъ онъ Гверцони, что лошади дюка вынесутъ 12 или 13 миль взадъ и впередъ, да ихъ просто не дадутъ на такую поѣздку.

— Ихъ не нужно, у меня есть карета.

— Да какія же лошади повезутъ назадъ, все тѣ же?

— Не заботьтесь, если лошади устанутъ, впрягутъ другихъ.

Гверцони съ бѣшенствомъ сказалъ мнѣ: „Когда это кончится эта каторга, всякая дрянь распоряжается, интригуетъ.“

— Да вы не обо мнѣ ли говорите, кричалъ блѣдный отъ злобы итальянецъ, я, м г., не позволю съ собой обращаться, какъ съ какимъ нибудь лакеемъ, и онъ схватилъ на столѣ карандашъ, сломалъ его и бросилъ. Да если такъ, я все брошу, я сейчасъ уйду.

— Объ этомъ-то васъ просятъ.

Ярый итальянецъ направился быстрымъ шагомъ къ двери, но въ дверяхъ показался Гарибальди, покойно посмотрѣлъ онъ на нихъ, на меня и потомъ сказалъ: „Не пора ли? Я въ вашихъ распоряженіяхъ, только доставьте меня, пожалуста, въ Лондонъ къ 2 ½ или 3 часамъ, а теперь позвольте мнѣ принять стараго друга, который только что пріѣхалъ, да вы можетъ его знаете, Мордини.

— Больше, чѣмъ знаю, мы съ нимъ пріятели. Если вы не имѣете ничего противъ, я его приглашу.

— Возьмемъ его съ собой.

Взошелъ Мордини, я отошелъ съ Саффи къ окну. Вдругъ фактотумъ, измѣнившій свое намѣреніе, подбѣжалъ ко мнѣ и храбро спросилъ меня: „Позвольте, я ничего не понимаю, у васъ карета, а ѣдете вы, сосчитайте: генералъ, вы, Меноти, Гверцони, Саффи и Мордини... гдѣ вы сядете?“

— Если нужно, будетъ еще карета, двѣ...

— А время-то ихъ достать...

Я посмотрѣлъ на него и, обращаясь къ Мордини, сказалъ ему: Мордини, я къ вамъ и къ Саффи съ просьбой, возьмите энсомъ и поѣзжайте сейчасъ на Ватерлоскую станцію, вы застанете train, а то вотъ этотъ господинъ заботится, что намъ негдѣ сѣсть и нѣтъ времени послать за другой каретой. Еслибъ я вчера зналъ, что будутъ такія затрудненія, я пригласилъ бы Гарибальди ѣхать по желѣзной дорогѣ, теперь это потому нельзя, что я не отвѣчаю, найдемъ ли мы карету или коляску у теддингтонской станціи. А пѣшкомъ идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы ѣдемъ сейчасъ, отвѣчали Саффи и Мордини.

— Поѣдемте и мы, сказалъ Гарибальди, вставая.

Мы вышли, толпа уже густо покрывала мѣсто передъ Стаффордъ - гаузомъ. Громкое, продолжительное *ура* встрѣтило и проводило нашу карету.

Менотти не могъ ѣхать съ нами, онъ съ братомъ отправлялся въ Виндзоръ. Говорятъ, что королева, которой хотѣлось видѣть Гарибальди, но которая одна во всей Великобританіи не имѣла на то права, желала *не-*

чаянно встрѣтиться съ его сыновьями. Въ этомъ дѣлежѣ львиная часть досталась не королевѣ...

III.

У НАСЪ.

День этотъ удался необыкновенно и былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, безоблачныхъ и прекрасныхъ дней послѣднихъ пятнадцати лѣтъ. Въ немъ была удивительная ясность и полнота, въ немъ была эстетическая мѣра и законченность, очень рѣдко случающіяся. *Одним*ъ днемъ позже, и праздникъ нашъ не имѣлъ бы того характера. Однимъ не итальянцемъ больше и тонъ былъ бы другой, по крайней мѣрѣ была бы боязнь, что онъ исказится. Такіе дни представляютъ вершины... дальше, выше, въ сторону—ничего, какъ въ пропѣтыхъ звукахъ, какъ въ распустившихся цвѣтахъ.

Съ той минуты, какъ исчезъ подъѣздъ Стаффордъ-гауза съ фактотами, лакеями и швейцаромъ сутерландскаго дюка и толпа приняла Гарибальди своимъ *ура*, на душѣ стало легко, все настроилось на свободный человѣческій діапазонъ и такъ осталось до той минуты, когда Гарибальди снова тѣснимый, сжимаемый народомъ, цалуемый въ плечо и въ полы, сѣлъ въ карету и уѣхалъ въ Лондонъ.

На дорогѣ говорили объ разныхъ разностяхъ. Гарибальди дивился, что нѣмцы не понимаютъ, что въ Даніи побѣждаетъ не ихъ свобода, не ихъ единство, а двѣ арміи двухъ деспотическихъ государствъ, съ которыми они послѣ не сладятъ*). „Еслибъ Данія была под-

*) Не странно ли, что Гарибальди въ оцѣнкѣ своей Шлезвигъ-Гольштинскаго вопроса встрѣтился съ К. Фогтомъ?

держана въ ея борьбѣ, говорилъ онъ, силы Австріи и Пруссіи были бы отвлечены, намъ открылась бы линія дѣйствій на противоположномъ берегѣ."

Я замѣтилъ ему, что нѣмцы страшные націоналисты, что на нихъ наклепали космополитизмъ, потому что ихъ знали по книгамъ. Они патріоты не меньше французовъ, но французы спокойнѣе, зная, что ихъ боятся. Нѣмцы знаютъ невыгодное мнѣніе о себѣ другихъ народовъ и выходятъ изъ себя, чтобъ поддержать свою репутацію. Неужели вы думаете, прибавилъ я, что есть нѣмцы, которые хотятъ отдать Венецію и квадрилатеръ? Можетъ еще Венецію, вопросъ этотъ слишкомъ на виду, неправда этого дѣла очевидна, аристократическое имя дѣйствуетъ на нихъ; а вы поговорите о Тріэстѣ, который имъ нуженъ для торговли, и о Галиціи или Познани, которыя имъ нужны для того, чтобъ ихъ *цивилизовать*.

Между прочимъ я передалъ Гарибальди нашъ разговоръ съ Ледрю-Ролленомъ и прибавилъ, что по моему мнѣнію Ледрю-Ролленъ правъ.

— Безъ сомнѣнія, сказалъ Гарибальди, совершенно правъ. Я не подумалъ объ этомъ. Завтра поѣду къ нему и къ Лун Блану. Да нельзя ли заѣхать теперь? прибавилъ онъ.

Мы были на Вондсвортскомъ шоссе, а Ледрю Ролленъ живетъ въ Сенъ-Джонсъ-Вудъ Паркѣ, т. е. за восемь миль. Пришлось и мнѣ à l'impressario сказать, что это матеріально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчалъ, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминалъ. Онъ глядѣлъ въ даль, словно искалъ чего-то на горизонтѣ. Я не прерывалъ его, а смотрѣлъ и думалъ: „мечъ ли онъ въ рукахъ

провидѣнія“ или нѣтъ, но навѣрное не полководецъ по ремеслу, не *генералъ*. Онъ сказалъ святую истину, говоря, что онъ не солдатъ, а просто человѣкъ, вооружившійся, чтобъ защитить поруганный очагъ свой, апостолъ-воинъ, готовый проповѣдывать крестовый походъ и идти во главѣ его, готовый отдать за свой народъ свою душу, своихъ дѣтей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, разсѣять его прахъ... и, позабывши потомъ побѣду, бросить окровавленный мечъ свой вмѣстѣ съ ножнами въ глубину морскую...

Все это и *именно это* поняли народы, поняли массы, поняла чернь тѣмъ ясновидѣніемъ, тѣмъ откровеніемъ, которымъ нѣкогда римскіе рабы поняли непонятную тайну пришествія христова и толпы страждущихъ и обремененныхъ, женщинъ и старцевъ, молились кресту казненнаго. Понять значитъ для нихъ увѣровать, увѣровать значитъ чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейскій Теддингтонъ и толпился у рѣшетки нашего дома, съ утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъѣхали, толпа въ какомъ-то изступленіи бросилась его привѣтствовать, жала ему руки, кричала God bless you, Garibaldi, женщины хватали руку его и цаловали, цаловали край его плаща—я это видѣлъ своими глазами—подымали дѣтей своихъ къ нему, плакали... Онъ, какъ въ своей семьѣ, улыбаясь, жалъ имъ руки, кланялся и едва могъ пройти до сѣней. Когда онъ взошелъ, крикъ удвоился—Гарибальди вышелъ опять и положа обѣ руки на грудь, кланялся во всѣ стороны. Народъ затихъ, но остался и простоялъ все время, пока Гарибальди уѣхалъ.

Трудно людямъ, не видавшимъ ничего подобнаго, людямъ, выросшимъ въ канцеляріяхъ, казармахъ и передней, понять подобныя явленія — „флибустеръ,“ сынъ

моряка изъ Ниццы, матросъ, *повстанецъ*... и этотъ царскій пріемъ! Что онъ сдѣлалъ для англійскаго народа?... И добрые люди ищутъ, ищутъ въ головѣ объясненія, ищутъ тайную пружину: „въ Англіи удивительно съ какимъ плутовствомъ умѣетъ *начальство* устроивать демонстраціи... Насъ не проведешь—Wir wissen was wir wissen—мы сами Гнейста читали!“

Чего добраго можетъ и лодочникъ въ Неаполѣ, который разсказывалъ*), что медальонъ Гарибальди и медальонъ Богородицы предохраняютъ во время бури, былъ подкупленъ партіей Сикарди и министерствомъ Веносты!

Хотя оно и сомнительно, чтобъ журнальные Видоки, особенно наши москворѣцкіе, такъ ужъ ясно могли отгадывать игру такихъ мастеровъ какъ Пальмерстонъ, Гладстонъ и К°, но все же иной разъ они ее скорѣе поймутъ, по сочувствію крошечнаго паука съ огромнымъ тарантуломъ, чѣмъ секретъ Гарибальдіевскаго пріема. И это превосходно для нихъ—пойми они *эту тайну*, имъ придется повѣситься на ближней осинѣ. Клопы на томъ только основаніи и могутъ жить счастливо, что они не догадываются о своемъ запахѣ. Горе клопу, у котораго раскроется *человѣческое* обоняніе...

... Маццини пріѣхалъ тотчасъ послѣ Гарибальди, мы всѣ вышли его встрѣчать къ воротамъ. Народъ, услышавъ кто это, громко привѣтствовалъ; народъ вообще ничего не имѣетъ противъ него. Старушечій страхъ передъ конспираторомъ, агитаторомъ начинается съ лавочниковъ, мелкихъ собственниковъ и проч.

Нѣсколько словъ, которыя сказали Маццини и Гари-

*) „Колоколъ,“ № 177, (1864).

бальди, извѣстны читателямъ *Колокола*, мы не считаемъ нужнымъ ихъ повторять.*)

*) Это указаніе относится къ слѣдующей замѣткѣ, помѣщенной въ „Колоколѣ“ № 184, 1 Мая 1864 г. стр. 1509:

17 АПРѢЛЯ 1864.

За южную Россію, которая страдаетъ и борется за новую Россію которая, разъ одолѣвъ Россію царскую, будетъ, очевидно, въ своемъ развитіи имѣть огромное значеніе въ судьбахъ міра!

Изъ тоста Гарибальди.

Тостъ вашъ дойдетъ до нашихъ друзей, дойдетъ до казематъ и рудниковъ...

Изъ отвѣта на него.

Мы обѣщали статью о путешествіи Гарибальди въ Англіи; теперь, когда оно такъ *неожиданно* окончилось, мы убѣдились въ историческомъ значеніи его. Но та статья впереди. Теперь мы хотимъ только передать нашимъ друзьямъ нѣкоторыя подробности о посѣщеніи Гарибальди у насъ. Да, и эти подробности будутъ собственно состоять изъ короткихъ рѣчей Маццини и Гарибальди. Англійскіе журналы до того перегружены описаніемъ пріемовъ, встрѣчъ, блюдъ, гирляндъ и пр., что мы также мало хотимъ вступать съ ними въ состязаніе, какъ мало могли соревновать съ вальтазаровскими и аристократическими пирами въ честь революціоннаго вождя.

Нашъ праздникъ былъ скроменъ, на немъ не было и двадцати приглашенныхъ гостей†). Въ «Daily News,» въ «Morning Star'ѣ,» въ „Листкѣ“ князя Долгорукаго было сказано, какъ толпился народъ передъ рѣшеткой сада, кричалъ *ура* (когда Гарибальди входилъ, его чуть не сшибли съ ногъ, дамы цѣловали руки, края шинели) и пр., — все такъ, какъ было во всѣхъ домахъ, въ которые пріѣзжалъ *необычайный король*.

За завтракомъ Маццини всталъ и, поднявъ свой бокалъ, сказалъ слѣдующее:

†) Въ ихъ числѣ, не считая Гарибальди и Маццини, было нѣсколько близкихъ имъ людей, Саффи, бывшій тріумвиръ въ Римѣ, Мордини, продиктаторъ Сициліи, Гверцони и пр Въ числѣ дамъ была M-me Stansfeld.

... Всѣ были до того потрясены словами арибальди о Маццини, тѣмъ искреннимъ голосомъ, которымъ они

„Въ провозглашенномъ мною тостѣ я соединю все то, что мы любимъ, все то, за что мы боремся —

„За свободу народовъ,

„За союзъ народовъ,

„За того человѣка, который въ наше время представляетъ живое воплощеніе этихъ великихъ идей, за Джюзеппе Гарибальди!

„За несчастную, святую, героическую *Польшу*, которой сыны въ молчаніи дерутся болѣе года и умираютъ за свободу.

„За *юную Россію*, которая, подъ знаменемъ *Земли и Воли*, въ скоромъ времени подастъ Польшѣ братскую руку, признаетъ ея равенство, независимость и изгладитъ воспоминаніе о Россіи царской.

„За тѣхъ *русскихъ*, которые вслѣдъ за другомъ нашимъ Герценомъ наиболѣе трудились для развитія этой Россіи.

„За религію долга, которая даетъ намъ силы на борьбу и смерть, за эти идеи!“

Тогда всталъ Гарибальди и, съ *рюмкой марсалы* въ рукахъ, сказалъ:

„Я хочу сегодня исполнить долгъ, который уже давно слѣдовало бы исполнить. Между нами здѣсь человѣкъ, оказавшій величайшія услуги и моему родному краю и свободѣ вообще. Когда еще я былъ юношей и имѣлъ одни неопредѣленныя стремленія, я искалъ человѣка, который бы могъ быть путеводителемъ, совѣтникомъ моей юности, искалъ его, какъ жаждущій ищетъ воды... Я нашелъ его. Онъ одинъ бодрствовалъ, когда все спало кругомъ. Онъ сдѣлался моимъ другомъ и остался имъ навсегда, въ немъ никогда не потухалъ священный огонь любви къ отечеству и къ свободѣ. Этотъ человѣкъ Джюзеппе Маццини — я нью за него, за моего друга, за моего наставника!“

Въ голосѣ, въ выраженіи лица, съ которымъ были сказаны эти слова, было столько захватывающаго и потрясающаго, что они были приняты не шумомъ, а слезами.

Послѣ минутнаго молчанія Гариблаьди всталъ со словами:

„Маццини сказалъ нѣсколько словъ о несчастной Польшѣ, съ которыми я совершенно сочувствую. За Польшу, отчизну мучениковъ, за Польшу, идущую на смерть за независимость и подающую великій примѣръ народамъ.

„Теперь выпьемъ за *юную* Россію, которая страдаетъ и борется,

были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало въ нихъ, той торженственностью, которую они пріобрѣтали отъ ряда предшествовавшихъ событій, что никто не отвѣчалъ, одинъ Маццини протянулъ руку и два раза повторилъ—„это слишкомъ.“ Я не видалъ ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида recueilli и не было бы взволновано сознаніемъ,

какъ мы, и побѣдитъ, какъ мы, за новый народъ, который, освободившись и одолѣвъ Россію царскую, очевидно, призванъ играть великую роль въ судьбахъ Европы.

„За *Англію* наконецъ, за страну независимости и свободы, страну, которая своимъ гостепріимствомъ и сочувствіемъ къ гонимымъ заслуживаетъ полную благодарность нашу. За Англію, которая даетъ намъ возможность собраться дружески вмѣстѣ, какъ теперь“ ...

...Послѣ отъѣзда Гарибальди я написалъ ему слѣдующее письмо:

„Я былъ такъ взволнованъ вчера, что не сказалъ вамъ того, что хотѣлъ и ограничился одной благодарностью во имя *наступающей* Россіи, притѣсненной не менѣе Польши, во имя Россіи, умирающей въ казематахъ и рудникахъ и *живущей* въ сознаніи народа, просыпающагося съ своимъ идеаломъ неразрывности *Земли и Воли*, да въ меньшинствѣ, гонимомъ за то, что оно высказало это народное стремленіе.

„Съ радостью услышатъ наши дальніе друзья сочувствующіе слова ваши; они имъ нужны, на ихъ страданія рѣдко бросаютъ вѣнки; отблескъ преступленій, совершающихся въ Польшѣ, падаетъ на насъ всѣхъ.

„Въ сущности я и не жалѣю, что ничего не прибавилъ къ словамъ благодарности. Что могъ я прибавить? Тостъ за Италію? Да развѣ все собраніе наше не было тостомъ за Италію? То, что я чувствовалъ, дурно умѣщалось въ тостъ. Я смотрѣлъ на васъ обоихъ, слушалъ васъ съ юнымъ чувствомъ піэтета, которое мнѣ уже не подъ лѣта, и, видя, какъ вы, два великихъ путеводителя народовъ, привѣтствовали зорю восходящей Россіи, я благословлялъ васъ подъ скромной крышей нашей.

„Вамъ я обязанъ лучшимъ днемъ моей зимы, днемъ ясности безусловной и за то еще разъ обнимаю васъ съ пламенной благодарностью, съ глубокой любовью и безграничнымъ уваженіемъ.“

18 Апрѣль 1864.
Elmfild House, Teddington.

что тутъ пали великія слова, что эта минута вносилась въ исторію.

.. Я подошелъ къ Гарибальди съ бокаломъ, когда онъ говорилъ о Россіи и сказалъ, что его тостъ дойдетъ до друзей нашихъ въ казематахъ и рудникахъ, что я благодарю его за нихъ.

Мы перешли въ другую комнату. Въ корридорѣ понабрались разные лица, вдругъ продирается старикъ итальянецъ, стародавній эмигрантъ, бѣднякъ, дѣлавшій мороженое, онъ схватилъ Гарибальди за полу, остановилъ его и, заливаясь слезами, сказалъ: „ну теперь я могу умереть, я его видѣлъ, я его видѣлъ!“ Гарибальди обнялъ и поцаловалъ старика. Тогда старикъ, перебиваясь и путаясь, съ страшной быстротой народнаго итальянскаго языка, началъ разсказывать Гарибальди свои похожденія и заключилъ свою рѣчь удивительнымъ цвѣткомъ южнаго краснорѣчія: „Я теперь умру покойно, а вы—да благословитъ васъ Богъ—живите долго, живите для нашей родины, живите для насъ, живите пока я воскресну изъ мертвыхъ!“ Онъ схватилъ его руку, покрылъ ее поцалуями и рыдая ушелъ вонъ.

Какъ ни привыкъ Гарибальди ко всему этому, но явнымъ образомъ взволнованный, онъ сѣлъ на небольшой диванъ, дамы окружили его, я сталъ возлѣ дивана и на него налетѣло облако тяжелыхъ думъ—но на этотъ разъ онъ не вытерпѣлъ и слазалъ: „Мнѣ иногда бываетъ страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишкомъ много хорошаго. Я помню, когда изгнанникомъ я возвращался изъ Америки въ Ниццу —когда я опять увидалъ родительскій домъ, нашелъ свою семью, родныхъ, знакомыя мѣста, знакомыхъ людей—я былъ удрученъ счастіемъ... Вы знаете, прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, что и что было потомъ,

какой рядъ бѣдствій. Пріемъ народа англійскаго превзошелъ мои ожиданія... Что же дальше? Что впереди?"

Я не имѣлъ ни одного слова успокоенія, я внутренно дрожалъ передъ вопросомъ: *Что дальше? Что впереди?*

... Пора было ѣхать. Гарибальди всталъ, крѣпко обнялъ меня, дружески простился со всѣми—снова крики, снова *ура*, снова два толстыхъ полицейскихъ и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу, снова God bless you, Garibaldi for ever —и карета умчалась.

Всѣ остались въ какомъ-то поднятомъ, тихо торжественномъ настроеніи. Точно послѣ праздничнаго богослуженія, послѣ крестинъ или отъѣзда невѣсты, у всѣхъ было полно на душѣ, всѣ перебирали подробности и примыкали къ грозному, безотвѣтному—„А что дальше?"

Князь П. В. Долгорукій первый догадался взять листъ бумаги и записать оба тоста. Онъ записалъ вѣрно, другіе пополнили. Мы показали Маццини и другимъ, и составили тотъ текстъ (съ легкими и несущественными перемѣнами), который какъ электрическая искра облетѣлъ Европу, вызывая крикъ восторга и ревъ негодованія...

Потомъ уѣхалъ Маццини, уѣхали гости. Мы остались одни съ двумя-тремя близкими и тихо настали сумерки.

Какъ искренно и глубоко жалѣлъ я, дѣти, что васъ не было съ нами въ этотъ день, такіе дни хорошо помнить долгіе годы, отъ нихъ свѣжѣетъ душа и примиряется съ изнанкой жизни. Ихъ очень мало...

IV

26. PRINCESS GATE

„Что то будетъ?"... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Какъ въ старыхъ эпопеяхъ, въ то время, какъ герой спокойно отдыхаетъ на лаврахъ, пируетъ или спитъ— Раздоръ, Месть, Зависть въ своемъ парадномъ костюмѣ съѣзжаются въ какихъ нибудь тучахъ; Месть съ Завистью варятъ ядъ, куютъ кинжалы, а Раздоръ раздуваетъ мѣха и оттачиваетъ острія. Такъ случилось и теперь, въ приличномъ переложеніи на наши мирно-кроткіе нравы. Въ нашъ вѣкъ все это дѣлается просто людьми, а не аллегоріями; они собираются въ свѣтлыхъ залахъ, а не во „тьмѣ ночной," безъ растрепанныхъ фурій, а съ пудренными лакеями; декораціи и ужасы классическихъ поэмъ и дѣтскихъ пантоминъ замѣнены простой мирной *игрой*—въ крапленныя карты, колдовство—обыденными коммерческими продѣлками, въ которыхъ *честный* лавочникъ клянется, продавая какую-то смородинную ваксу съ водкой, что это „портъ" и притомъ „олдпортъ ххх," зная, что ему никто не вѣритъ, но и процесса не сдѣлаетъ, а если сдѣлаетъ, то самъ же будетъ въ дуракахъ.

Въ то самое время, какъ Гарибальди называлъ Маццини своимъ „другомъ и учителемъ," называлъ его тѣмъ раннимъ, бдящимъ сѣятелемъ, который одиноко стоялъ на полѣ, когда все спало около него и указывая просыпавшимся путь, указалъ его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, изъ котораго вышелъ вождь народа итальянскаго — въ то время, какъ окруженный друзьями, онъ смотрѣлъ на плакавшаго бѣдняка-изгнанника, повторявшаго свое „нынѣ отпущаеши" и самъ чуть не плакалъ—въ то время, когда онъ повѣрялъ намъ свой тайный ужасъ передъ будущимъ, какіе-то *заговорщики* рѣшили отдѣлаться во чтобъ ни стало отъ неловкаго гостя и не смотря на то, что въ *заговорѣ* участвовали люди состарившіеся въ дипломаціяхъ и

интригахъ, посѣдѣвшіе и падшіе на ноги въ каверзахъ и лицемѣріи, они сыграли свою игру вовсе не хуже честнаго лавочника, продающаго на свое *честное* слово смородинную ваксу за Old Port ххх.

Англійское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди, это все вздоръ, выдуманный глубокомысленными журналистами на континентѣ. Англичане, приглашавшіе Гарибальди, не имѣютъ ничего общаго съ министерствомъ. Предположеніе правительственнаго плана также нелѣпо, какъ тонкое замѣчаніе нашихъ кретиновъ о томъ, что Пальмерстонъ далъ Стансфильду мѣсто въ адмиралтействѣ *именно потому*, что онъ другъ Маццини. Замѣтьте, что въ самыхъ яростныхъ нападкахъ на Стансфильда и Пальмерстона объ этомъ не было рѣчи ни въ парламентѣ, ни въ англійскихъ журналахъ, подобная пошлость возбудила бы такой же смѣхъ, какъ обвиненіе Уркуарда, что Пальмерстонъ беретъ деньги съ Россіи. Чамберсъ и другіе спрашивали Пальмерстона, не будетъ ли пріѣзъ Гарибальди непріятенъ правительству. Онъ отвѣчалъ то, что ему слѣдовало отвѣчать: правительству не можетъ быть непріятно, чтобъ генералъ Гарибальди пріѣхалъ въ Англію, оно съ своей стороны не отклоняетъ его пріѣзда и не приглашаетъ его.

Гарибальди согласился пріѣхать съ цѣлью снова выдвинуть въ Англіи итальянскій вопросъ, собрать на столько денегъ, чтобъ начать походъ въ Адріатикѣ и совершившимся фактомъ увлечь Виктора Емануила.

Вотъ и все.

Что Гарибальди будутъ овація—знали очень хорошо приглашавшіе его и всѣ желавшіе его пріѣзда. Но оборотъ, который приняло дѣло въ народѣ, они не ждали.

Англійскій народъ при вѣсти, что человѣкъ „красной

рубашки," что *раненый итальянской пулей* ѣдетъ къ нему въ гости, встрепенулся и взмахнулъ своими крыльями, отвыкнувшими отъ полета и потерявшими гибкость отъ тяжелой и безпрерывной работы. Въ этомъ взмахѣ была не одна радость и не одна любовь, въ немъ была жалоба, былъ ропотъ, былъ стонъ—въ апотеозѣ одного было порицаніе другимъ.

Вспомните мою встрѣчу съ корабельщикомъ изъ Ньюкестля. Вспомните, что лондонскіе работники были первые, которые въ своемъ адресѣ преднамѣренно поставили имя Маццини рядомъ съ Гарибальди.

Англійская аристократія на сію минуту отъ своего могучаго и забитаго недоросля ничего не боится, сверхъ того ея Ахиловы пяты вовсе не со стороны европейской революціи. Но все же ей былъ крайне непріятенъ характеръ, который принимало дѣло. Главное, что коробило народныхъ пастырей въ мирной агитаціи работниковъ, это то, что она выводила ихъ изъ достодолжнаго строя, отвлекала ихъ отъ доброй, нравственной и притомъ безвыходной заботы о хлѣбѣ насущномъ, отъ пожизненнаго hard labor, на который не они его приговорили, а нашъ общій фабрикантъ, our Maker, богъ Шефсбюри, богъ Дерби, богъ Сутерландовъ и Девоншировъ—въ неисповѣдимой премудрости своей и нескончаемой благости.

Настоящей англійской аристократіи, разумѣется, и въ голову не приходило изгонять Гарибальди; напротивъ, она хотѣла утянуть его въ себя, закрыть его отъ народа золотымъ облакомъ, какъ закрывалась волоокая Гера, забавляясь съ Зевсомъ. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему придти въ себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочетъ денегъ—много ли могутъ ему собрать, осужден-

ные благостью нашего „фабриканта," фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира на тихую и благословенную бѣдность? Мы ему набросаемъ полмилліона, милліонъ франковъ, полпари за лошадь на Эпсомской скачкѣ, мы ему купимъ —

Деревню, дачу, домъ,
Сто тысячъ чистымъ серебромъ.

Мы ему купимъ остальную часть Капреры, мы ему купимъ удивительную яхту, онъ такъ любитъ кататься по морю — а чтобъ онъ не бросилъ на вздоръ деньги (подъ вздоромъ разумѣется освобожденіе Италіи) мы сдѣлаемъ маіоратъ, мы предоставимъ ему пользоваться рентой *)

Всѣ эти планы приводились въ исполненіе съ самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди точно мѣсяцъ въ ненастную ночь, какъ облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались, выходилъ свѣтлый, ясный и свѣтилъ къ намъ внизъ.

Аристократія начала нѣсколько конфузиться. На выручку ей явились *дѣльцы*. Ихъ интересы слишкомъ скоротечны, чтобъ думать о нравственныхъ послѣдствіяхъ агитаціи, имъ надобно владѣть минутой, кажется, одинъ Цезарь поморщился, кажется, другой насупился—какъ бы этимъ не воспользовались тори.... и то Стансфильдова исторія вотъ гдѣ сидитъ.

По счастью въ самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать въ Тьюльри! Нужда была небольшая, онъ тотчасъ возвратился. Наполеонъ говорилъ съ нимъ о Гарибальди и изъявилъ свое удоволь-

*) Какъ будто Гарибальди просилъ денегъ для себя. Разумѣется, онъ отказался отъ приданаго англійской аристократіи, даннаго на такихъ нелѣпыхъ условіяхъ къ крайнему огорченію полицейскихъ журналовъ, разсчитавшихъ грошъ въ грошъ, сколько онъ увезетъ на Капреру.

ствіе, что англійскій народъ чтитъ великихъ людей. Дрюинъ-де-Люйсъ говорилъ, т. е. онъ ничего не говорилъ, а еслибъ онъ заикнулся—

Я близъ Кавказа рождена,
Civis romanus sum!

Австрійскій посолъ даже и не радовался пріему— *умвелицыісъ* генерала. Все обстояло благополучно. А на душѣ-то кошки—кошки.

Не спится министерству; шепшется „первый" со вторымъ, „второй" съ другомъ Гарибальди, другъ Гарибальди съ родственникомъ Пальмерстона, съ лордомъ Шефсбюри и съ еще большимъ его другомъ Силли, Силли шепчется съ операторомъ Фергюсономъ — испугался Фергюсонъ, ничего не боявшійся за ближняго и пишетъ письмо за письмомъ о болѣзни Гарибальди. Прочитавши ихъ, еще больше хирурга испугался Гладстонъ. Кто могъ думать, какая пропасть любви и состраданія лежитъ иной разъ подъ портфелемъ министра финансовъ?...

...На другой день послѣ нашего праздника поѣхалъ я въ Лондонъ. Беру на желѣзной дорогѣ вечернюю газету и читаю большими буквами „Болѣзнь генерала Гарибальди," потомъ вѣсть, что онъ на дняхъ ѣдетъ въ Капреру. *не заѣзжая ни въ одинъ городъ.* Не будучи ни такъ нервно чувствителенъ, какъ Шефсбюри, ни такъ тревожливъ за здоровье друзей, какъ Гладстонъ, я нисколько не обезпокоился газетной вѣстью о болѣзни человѣка, котораго вчера видѣлъ совершенно здоровымъ — конечно, бываютъ болѣзни очень быстрыя, императоръ Павелъ, напр., хирѣлъ недолго, но отъ *апоплексическаго* удара Гарибальди былъ далекъ, а еслибъ съ нимъ что и случилось, кто нибудь изъ общихъ дру-

зей далъ бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté.

Ѣхать къ Гарибальди было поздно. Я отправился къ Маццини и не засталъ его, потомъ къ одной дамѣ, отъ которой узналъ главныя черты министерскаго сострадания къ болѣзни великаго человѣка. Туда пришелъ и Маццини, такимъ я его еще не видалъ; въ его чертахъ, въ его голосѣ были слезы.

Изъ рѣчи, сказанной на второмъ митингѣ на Примрозъ Гилѣ Шеномъ, можно знать en gros, какъ было дѣло. „Заговорщики“ были имъ названы и обстоятельства описаны довольно вѣрно. Шефсбюри пріѣзжалъ совѣтоваться съ Силли; Силли, какъ дѣловой человѣкъ, тотчасъ сказалъ, что необходимо письмо Фергюсона; Фергюсонъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобъ отказать въ письмѣ. Съ нимъ-то въ Воскресенье вечеромъ, 17 Апрѣля, явились заговорщики въ Стаффордъ гаусъ и возлѣ комнаты, гдѣ Гарибальди спокойно сидѣлъ, не зная ни того, что онъ такъ болѣнъ, ни того, что онъ ѣдетъ, ѣлъ виноградъ—сговаривались что дѣлать. Наконецъ храбрый Гладстонъ взялъ на себя трудную роль и пошелъ въ сопровожденіи Шефсбюри и Силли въ комнату Гарибальди. Гладстонъ заговаривалъ цѣлые парламенты, университеты, корпораціи, депутаціи, мудрено ли было заговорить Гарибальди, къ тому же онъ рѣчь велъ на итальянскомъ языкѣ, и хорошо сдѣлалъ, потому что вчетверомъ говорилъ безъ свидѣтелей. Гарибальди ему отвѣчалъ сначала, „что онъ здоровъ“, но министръ финансовъ не могъ принять случайный фактъ его здоровья за оправданіе и доказывалъ по Фергюсону, что онъ болѣнъ, и это съ документомъ въ рукѣ. Наконецъ Гарибальди, догадавшись, что нѣжное участіе прикрываетъ что-то другое, спросилъ Гладсто-

на, „значитъ ли все это, что они желаютъ, чтобъ онъ ѣхалъ?“ Гладстонъ не скрылъ отъ него, что присутствіе Гарибальди во многомъ усложняетъ трудное безъ того положеніе. „Въ такомъ случаѣ я ѣду“.

Смягченный Гладстонъ испугался слишкомъ *замѣтнаго* успѣха и предложилъ ему ѣхать въ два-три города, и потомъ отправиться въ Капреру.

— Выбирать между городами я не умѣю—отвѣчалъ оскорбленный Гарибальди—и даю слово, что черезъ два дня уѣду.

... Въ понедѣльникъ была интерцеляція въ парламентѣ. Вѣтреный старичекъ Пальмерстонъ въ одной и быстрый пилигримъ Кларендонъ въ другой палатѣ все объясняли по чистой совѣсти. Кларендонъ удостовѣрилъ перовъ, что Наполеонъ вовсе не требовалъ высылки Гарибальди. Пальмерстонъ, съ своей стороны, вовсе не желалъ его удаленія. Онъ только безпокоился о его здоровьи... и тутъ онъ вступилъ во всѣ подробности, въ которыя вступаетъ любящая жена или врачъ, присланный отъ страховаго общества — о часахъ сна и обѣда, о послѣдствіяхъ раны, о діэтѣ, о волненіи, о лѣтахъ. Засѣданіе парламента сдѣлалось консультаціей лекарей. Министръ ссылался не на Чатама и Кембеля, а на лечебники и Фергюсона, помогавшаго ему въ этой трудной операціи.

Законодательное собраніе рѣшило, что Гарибальди болѣнъ. Города и села, графства и банки управляются къ Англіи по собственному крайнему разумѣнію. Правительство, ревниво отталкивающее отъ себя всякое подозрѣніе въ вмѣшательствѣ, дозволяющее ежедневно умирать людямъ съ голоду — боясь ограничить самоуправленіе рабочихъ домовъ, позволяющее морить на работѣ и кретинизировать цѣлыя населенія — вдругъ

дѣлается больничной сидѣлкой, дядькой. Государственные люди бросаютъ кормило великаго корабля и шушукаются о здоровьи человѣка, не просящаго ихъ о томъ, прописываютъ ему безъ его спроса Атлантическій океанъ и Сутерландскую „Ундину“, министръ финансовъ забываетъ балансъ, income taxe, debit и credit, и ѣдетъ на консиліумъ. Министръ министровъ докладываетъ этотъ патологическій казусъ парламенту. Да неужели самоуправленіе желудкомъ и ногами меньше свято чѣмъ произволъ богоугодныхъ заведеній, служащихъ введеніемъ въ кладбище?

Давно ли Стансфильдъ пострадалъ за то, что служа королевѣ, не счелъ обязанностью поссориться съ Мацини. А теперь самые *мѣстные* министры пишутъ не адресы, а рецепты и хлопочутъ изъ всѣхъ силъ о сохраненіи дней такого же революціонера какъ Маццини?

Гарибальди *долженъ былъ* усомниться въ желаніи правительства, изъявленномъ ему слишкомъ горячими друзьями его—и остаться. Развѣ кто нибудь могъ сомнѣваться въ истинѣ словъ перваго министра, сказанныхъ представителямъ Англіи, ему это совѣтовали всѣ друзья — „Слова Пальмерстона не могутъ развязать моего честнаго слова“, отвѣчалъ Гарибальди и велѣлъ укладываться.

Это Сольферино!

Бѣлинскій давно замѣтилъ, что секретъ успѣха дипломатовъ состоитъ въ томъ, что они съ нами поступаютъ какъ съ дипломатами, а мы съ *дипломатами* какъ съ людьми.

Теперь вы понимаете, *что однимъ днемъ позже* и нашъ праздникъ и рѣчь Гарибальди, его слова о Маццини не имѣли бы того значенія.

... На другой день я поѣхалъ въ Стаффордъ гаузъ и

узналъ, что Гарибальди переѣхалъ къ Силли, 26 Princess Gate, возлѣ Кензинтонскаго сада. Я отправился въ Princess Gate; говорить съ Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали съ глазъ, человѣкъ двадцать гостей, ходило, сидѣло, молчало, говорило въ залѣ, въ кабинетѣ. „Вы ѣдете?“ сказалъ я и взялъ его за руку. Гарибальди пожалъ мою руку и отвѣчалъ печальнымъ голосомъ: „Я покоряюсь необходимостямъ (je plie aux nécéssités)“.

Онъ куда-то ѣхалъ; я оставилъ его и пошелъ внизъ, тамъ засталъ я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, всѣ были внѣ себя отъ отъѣзда Гарибальди. Взошла Mme Силли и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась съ чрезвычайнымъ краснорѣчіемъ къ хозяйкѣ дома, говоря о счастіи познакомиться съ такой personne distinguée. Mme Силли обратилась къ Стансфильду, прося его перевести въ чемъ дѣло. Француженка продолжала: „Ахъ боже мой, какъ я рада, это вѣрно вашъ сынъ, позвольте мнѣ ему представиться“. Стансфильдъ разувѣрилъ француженку не замѣтившую, что Mme Силли однихъ съ нимъ лѣтъ и просилъ ее сказать что ей угодно. Она бросила взглядъ на меня (Саффи и другіе ушли) и сказала „мы не одни“. Стансфильдъ назвалъ меня. Она тотчасъ обратилась съ *рѣчью* ко мнѣ и просила остаться, но я предпочелъ ее оставить въ tête à tête съ Стансфильдомъ и опять ушелъ на верхъ. Черезъ минуту пришелъ Стансфильдъ съ какимъ-то крюкомъ или рванью. Мужъ француженки изобрѣлъ его и она хотѣла одобренія Гарибальди.

Послѣдніе два дня были смутны и печальны. Гарибальди избѣгалъ говорить о своемъ отъѣздѣ и ничего не говорилъ о своемъ здоровьи... во всѣхъ близкихъ

онъ встрѣчалъ печальный упрекъ. Дурно было у него на душѣ, но онъ молчалъ.

Наканунѣ отъѣзда, часа въ два, я сидѣлъ у него, когда пришли сказать, что въ пріемной уже тѣсно. Въ этотъ день представлялись ему члены парламента съ семействами и разная nobility и gentry, всего по „Тейму“ до двухъ тысячъ человѣкъ, это было Grande levée, царскій выходъ, да еще такой, что не только король виртембергскій, но и прусскій врядъ натянетъ ли, безъ профессоровъ и унтеръ-офицеровъ.

Гарибальди всталъ и спросилъ: неужели пора? Стансфильдъ, который случился тутъ, посмотрѣлъ на часы и сказалъ: „Еще минутъ пять есть до назначеннаго времени“. Гарибальди вздохнулъ и весело сѣлъ на свое мѣсто. Но тутъ прибѣжалъ фактотумъ и сталъ распоряжаться, гдѣ поставить диванъ, въ какую дверь входить, въ какую выходить — „Я уйду“, сказалъ я Гарибальди. „За чѣмъ, оставайтесь“. — Что же я буду дѣлать? — „Могу же я, сказалъ онъ улыбаясь, оставить одного знакомаго, когда принимаю столько незнакомыхъ“.

Отворились двери; въ дверяхъ сталъ импровизированный церемоніймейстеръ съ листомъ бумаги и началъ громко читать какой-то адресъ-календарь — The right honorable so and so — honorable — esquire — lady — esquire—lordship—Missss — esquire—m. p. — m. p.— m. p. безъ конца. При каждомъ имени врывались въ дверь и потомъ покойно плыли старыя и молодыя кринолины, аэростаты, сѣдыя головы и головы безъ волосъ, крошечные и толстенькіе старички-крѣпыши и какіе-то худые жирафы, безъ заднихъ ногъ, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что какъ-то подпирали верхнюю часть головы на огромные жел-

тые зубы... каждый имѣлъ три, четыре, пять дамъ, и это было очень хорошо, потому что онѣ занимали мѣсто пятидесяти человѣкъ, и такимъ образомъ спасали отъ давки. Всѣ подходили по очереди къ Гарибальди, мущины трясли ему руку съ той силой, съ которой это дѣлаетъ человѣкъ, попавши пальцемъ въ кипятокъ, иные при этомъ что-то говорили, большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрѣли такъ страстно и долго на Гарибальди, что въ нынѣшнемъ году навѣрное въ Лондонѣ будетъ урожай дѣтей съ его чертами, а такъ какъ дѣтей и теперь ужъ водятъ въ такихъ же красныхъ рубашкахъ какъ у него, то дѣло станетъ только за плащемъ.

Откланявшіеся плыли въ противоположную дверь, открывавшуюся въ залу и спускались по лѣстницѣ; болѣе смѣлые не торопились, а старались побыть въ комнатѣ.

Гарибальди сначала стоялъ, потомъ садился и вставалъ, наконецъ просто сѣлъ. Нога не позволяла ему долго стоять, конца пріему нельзя было и ожидать... кареты все подъѣзжали... церемоніймейстеръ все читалъ памятцы.

Грянула музыка horse gard'овъ, я постоялъ, постоялъ и вышелъ сначала въ залу а потомъ вмѣстѣ съ потокомъ кринолинныхъ волнъ достигъ до каскады и съ нею очутился у дверей комнаты, гдѣ обыкновенно сидѣли Саффи и Мордини. Въ ней никого не было, на душѣ было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка съ позолотой и рядомъ эта комедія царскаго пріема? Усталый бросился я на диванъ, музыка играла изъ Лукреціи, и очень хорошо, я сталъ слушать — Да, да, Non curiamo l'incerto domani.

Въ окно былъ видѣнъ рядъ каретъ; эти еще не

подъѣхали, вотъ двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка и мнѣ представилось, какъ Гарибальди, съ раненой *рукой*, усталый, печальный сидитъ, у него по липу идетъ туча, этого никто не замѣчаетъ, и все плывутъ кринолины, и все идутъ right honorabl'и — сѣдые, плѣшивые, скулы, жирафы...

... Музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ, не знаю, какъ это случилось, но я заснулъ, кто-то отворилъ дверь и разбудилъ меня... музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ, конца не видать... они въ самомъ дѣлѣ его убьютъ!

Я пошелъ домой.

На другой день, т. е. въ день отъѣзда, я отправился къ Гарибальди въ семь часовъ утра, и нарочно для этого ночевалъ въ Лондонѣ. Онъ былъ мраченъ, отрывистъ, тутъ только можно было догадаться, что онъ привыкъ къ начальству, что онъ былъ желѣзнымъ вождемъ на полѣ битвы и на морѣ.

Его поймалъ какой-то господинъ, который привелъ сапожника, изобрѣтателя обуви съ желѣзнымъ снарядомъ для Гарибальди. Гарибальди сѣлъ самоотверженно на кресло—сапожникъ въ потѣ лица надѣлъ на него свою колодку, потомъ заставилъ его потопать и походить, все оказалось хорошо.—„Что ему надобно заплатить?“ спросилъ Гарибальди. „Помилуйте, отвѣчалъ господинъ, вы его осчастливите принявши“. Они отретировались.

— „На дняхъ это будетъ на вывѣскѣ“, замѣтилъ кто-то, а Гарибальди съ умоляющимъ видомъ сказалъ молодому человѣку, который ходилъ за нимъ: „Бога ради, избавьте меня отъ этого снаряда, мочи нѣтъ больно“. Это было ужасно смѣшно.

За тѣмъ явились аристократическія дамы — менѣе важныя толпой ожидали въ залѣ.

Я и Огаревъ мы подошли къ нему. „Прощайте", сказалъ я. „Прощайте и до свиданья въ Капрерѣ". Онъ обнялъ меня, сѣлъ, протянулъ намъ обѣ руки и голосомъ, который такъ и рѣзнулъ по сердцу, сказалъ: "Простите меня, простите меня, у меня голова кругомъ идетъ, пріѣзжайте въ Капреру". И онъ еще разъ обнялъ насъ.

Гарибальди послѣ пріема собирался ѣхать на свиданіе съ дюкомъ Вельскимъ въ Стаффордъ гаузъ.

Мы вышли изъ воротъ и разошлись. Огаревъ пошелъ къ Маццини, я къ Ротшильду. У Ротшильда въ конторѣ еще не было никого. Я взошелъ въ таверну св. Павла и тамъ не было никого... я спросилъ себѣ ромстекъ и, сидя совершенно одинъ, перебиралъ подробности этого „сновидѣнія въ весеннюю ночь"...

— Ступай великое дитя, великая сила, великій юродивый и великая *простота*. Ступай на свою скалу, плебей въ красной рубашкѣ и король Лиръ!—Гонериль тебя гонитъ, оставь ее, у тебя есть бѣдная Корделія, она не разлюбитъ тебя и не умретъ!

Четвертое дѣйствіе кончилось...

Что то будетъ въ пятомъ?

15 Мая 1864.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВЫЛОЕ И ДУМЫ

(1850—1864)

Часть пятая

Стр.

ГЛАВА XL. — Европейскій комитетъ — Русскій генеральный консулъ въ Ниццѣ — Письмо къ А. Ѳ. Орлову — Преслѣдованіе ребенка — Фогты — Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне — Пріемъ въ Шателѣ 1

ГЛАВА XLI. — П. Ж. Прудонъ — Изданіе La voix du Peuple — Переписка — Значеніе Прудона — Прибавленіе 42

Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ 66

ГЛАВА XLII. — Прокуроръ покойной республики — Гласъ коровій въ пустынѣ — Высылка прокурора — Порядокъ и цивилизація торжествуютъ 79

Oceano nox 89

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ

Русскія тѣни: Н. И. Сазоновъ 104

— — Энгельсоны 127

АНГЛІЯ

(1852—1855)

ГЛАВА I. — Лондонскіе туманы 175

ГЛАВА II. — Горныя вершины — Центральный европейскій комитетъ — Маццини — Ледрю-Ролленъ — Кошутъ ... 180

Изъ IV и V части 196

ГЛАВА III. — Эмиграціи въ Лондонѣ — Нѣмцы, французы Партіи — В. Гюго — Феликсъ Пья — Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ 200

ГЛАВА IV. — Польскіе выходцы:

Алоизій Бернацкій — Станиславъ Ворцель — Агитація 1854 — 56 года — Смерть Ворцеля 223

On liberty 240

Pater V. Petcherine 255

Робертъ Оуэнъ 272

Два процесса 334

Camicia Rossa 378

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ X

GENÈVE. — IMPRIMERIE TROUSSOFF.

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ X

ВЫЛОЕ И ДУМЫ

1867—1868

РАЗНЫЯ СТАТЬИ

GENÈVE — BALE — LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1879

Tous droits réservés.

БЫЛОЕ И ДУМЫ*)

(1867—1868)

БЕЗЪ СВЯЗИ

I.

ШВЕЙЦАРСКІЕ ВИДЫ**)

Лѣтъ десять тому назадъ, идучи позднимъ зимнимъ, холоднымъ сырымъ вечеромъ по Геймаркету, я натолкнулся на негра, лѣтъ семнадцати, онъ былъ босъ, безъ рубашки и, вообще, больше раздѣтъ тропически, чѣмъ одѣтъ по лондонски. Стуча зубами и дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ попросилъ у меня милостыни. Дня черезъ два я опять его встрѣтилъ, а потомъ еще и еще. Наконецъ я вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ говорилъ ломанымъ англо-испанскимъ языкомъ, но понять смыслъ его словъ было не трудно.

— Вы молоды, сказалъ я ему, крѣпки, что же вы не ищите работы?

— Никто не даетъ.

— Отчего?

— Нѣтъ никого знакомаго, кто бы поручился.

*) *Эта часть была напечатана въ Пол. Зв. Т. VIII (1868.).*

**) Небольшіе отрывки изъ этого отдѣла были напечатаны въ „Колоколѣ.“

— Да вы откуда?

— Съ корабля.

— Съ какого?

— Съ испанскаго. Меня капитанъ очень билъ, я и ушелъ.

— Что вы дѣлали на кораблѣ?

— Все: платье чистилъ, посуду мылъ, каюты прибиралъ.

— Что же вы намѣрены дѣлать?

— Не знаю.

— Да вѣдь вы умрете съ холода и голода, по крайней мѣрѣ навѣрно схватите лихорадку.

— Что же мнѣ дѣлать? говорилъ негръ съ отчаяніемъ, глядя на меня и дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода.

Ну, подумалъ я, была не была, не первая глупость въ жизни, „Идите со мной, я вамъ дамъ уголъ и платье, вы будете чистить у меня комнаты, топить камины и останетесь сколько хотите, если будете вести себя порядкомъ и тихо. Se no — no.“

Негръ запрыгалъ отъ радости.

Въ недѣлю онъ потолстѣлъ и весело работалъ за четырехъ. Такъ прожилъ онъ съ полгода; потомъ, какъ-то вечеромъ, явился передъ моей дверью, постоялъ молча и потомъ сказалъ мнѣ:

— Я къ вамъ пришелъ проститься.

— Какъ такъ?

— *Теперь довольно,* я пойду.

— Васъ кто нибудь обидѣлъ?

— Помилуйте, я всѣми доволенъ.

— Такъ куда же вы?

— На какой нибудь корабль.

— Зачѣмъ?

— Очень соскучился, не могу, я сдѣлаю бѣду, если останусь, мнѣ надобно море. Я поѣзжу и опять пріѣду, а *теперь довольно.*

Я сдѣлалъ опытъ остановить его, дня три онъ подождалъ и во второй разъ объявилъ, что это сверхъ силъ его, что онъ долженъ уйти, что *теперь довольно.*

Это было весной. Осенью онъ явился ко мнѣ снова тропически раздѣтый, я опять его одѣлъ; но онъ вскорѣ надѣлалъ разныхъ пакостей, даже грозилъ меня убить, и я былъ вынужденъ его прогнать.

Послѣднее къ дѣлу не идетъ, а идетъ къ дѣлу то, что я совершенно раздѣляю воззрѣніе негра. Долго живши на одномъ мѣстѣ и въ одной колеѣ, я чувствую, что на нѣкоторое время *довольно*, что надобно освѣжиться другими горизонтами и физіономіями... и съ тѣмъ вмѣстѣ взойти въ себя, какъ бы это ни казалось страннымъ. Поверхностная разсѣянность дороги не мѣшаетъ.

Есть люди предпочитающіе отъѣзжать *внутренно*, кто при помощи сильной фантазіи и *отвлекаемости* отъ окружающаго—на это надобно особое помазаніе, близкое къ геніальности и безумію—кто при помощи опіума или алкоголя. Русскіе, напримѣръ, пьютъ запоемъ недѣлю-другую, потомъ возвращаются ко дворамъ и дѣламъ. Я предпочитаю передвиженіе всего тѣла передвиженію мозга, и круженіе по свѣту—круженію головы.

Можетъ отъ того, что у меня похмѣлье тяжело.

Такъ разсуждалъ я, 4 Октября 1866, въ небольшой комнатѣ дрянной гостиницы на берегу Невшательскаго озера, въ которой чувствовалъ себя какъ дома, какъ будто въ ней жилъ всю жизнь.

Съ лѣтами странно развивается потребность одиночества и главное тишины... На дворѣ было довольно

тепло, я отворилъ окно... все спало глубокимъ сномъ, и городъ, и озеро, и причаленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрыпу и видно по легкому уклоненію мачты, никакъ не попадавшей въ линію равновѣсія и переходившей ее то на право, то на лѣво...

... Знать, что никто васъ не ждетъ, никто къ вамъ не взойдетъ, что вы можете дѣлать что хотите, умереть пожалуй... и никто не помѣшаетъ, никому нѣтъ дѣла... разомъ страшно и хорошо. Я рѣшительно начинаю дичать и иногда жалѣю, что не нахожу силъ принять свѣтскую схиму.

Только въ одиночествѣ человѣкъ можетъ работать во всю силу своей могуты. Воля располагать временемъ и отсутствіе неминуемыхъ перерывовъ — великое дѣло. Сдѣлалось скучно, усталъ человѣкъ—онъ беретъ шляпу и самъ ищетъ людей и отдыхаетъ съ ними. Стоитъ ему выйти на улицу—вѣчная каскада лицъ несется нескончаемая, мѣняющаяся, неизмѣнная, съ своей искрящейся радугой и сѣдой пѣной, шумомъ и гуломъ. На этотъ водопадъ вы смотрите какъ художникъ. Смотрите на него какъ на выставку, именно потому, что не имѣете практическаго отношенія. Всѣ вамъ постороннее, и ни отъ кого ничего не надобно.

На другой день я всталъ ранехонько и уже въ 11 часовъ до того проголодался, что отправился завтракать въ большой отель, куда меня съ вечера не пустили за непмѣніемъ мѣста. Въ столовой сидѣлъ англичанинъ съ своей женой, закрывшись отъ нея листомъ Теймса, и французъ лѣтъ тридцати, изъ новыхъ, теперь слагающихся, типовъ, толстый, рыхлый, бѣлый, бѣлокурый, мягко-жирный; онъ, казалось, готовъ былъ расплыться, какъ желе въ теплой комнатѣ, еслибъ ши-

рокое пальто и панталоны изъ упругой матеріи не удержнвали его мясовъ Навѣрно сынъ какого нибудь князя биржи или аристократъ демократической имперіи. Вяло, съ недовѣріемъ и пытливымъ духомъ продолжалъ онъ свой завтракъ; видно было, что онъ давно занимается и усталъ.

Типъ этотъ, почти не существовавшій прежде во Франціи, началъ слагаться при Людовикѣ Филиппѣ и окончательно разцвѣлъ въ послѣдніе пятнадцать лѣтъ. Онъ очень противенъ, и это, можетъ, комплиментъ французамъ. Жизнь кухоннаго и виннаго эпикуреизма не такъ искажаетъ англичанина и русскаго, какъ француза. Фоксы и Шериданы пили и ѣли за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Французъ безнаказанно предается одной *литературной* гастрономіи, состоящей въ утонченномъ *знаніи* яствъ и витійствѣ, при заказѣ блюдъ. Ни одна нація не *говоритъ* столько объ обѣдѣ, о приправахъ, тонкостяхъ, какъ французы; но это все фіоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француза заѣдаетъ, поглощаетъ... оно ему не по нервамъ. Французъ остается цѣлъ и невредимъ только при самомъ многостороннемъ волокитствѣ, это его національная страсть и любимая слабость—въ ней онъ силенъ.

— „Прикажете десертъ?“ спросилъ гарсонъ, видимо уважавшій француза больше насъ. Молодой господинъ варилъ въ это время пищу въ себѣ и потому, медленно поднимая на гарсона тусклый и томный взглядъ, сказалъ ему: „я еще не знаю,“ потомъ подумалъ и прибавилъ: „une poire!“

Англичанинъ, который въ продолженіи всего времени молча ѣлъ за ширмами газеты, встрепенулся и сказалъ: „Et à moâ aussi!“

Гарсонъ принесъ двѣ груши, на двухъ тарелкахъ, и одну подалъ англичанину; но тотъ съ энергіей и азартомъ протестовалъ: „No, no! aucune chose pour poire!“ Ему просто хотѣлось пить. Онъ напился и всталъ; я тутъ только замѣтилъ, что на немъ была дѣтская курточка, или спенцеръ, свѣтло-коричневаго цвѣта и свѣтлые панталоны въ обтяжку, страшно сморщившіеся возлѣ ботинокъ. Встала и леди; она подымалась все выше, выше и, сдѣлавшись очень высокой, оперлась на руку приземистаго своего мужа и вышла.

Я ихъ проводилъ улыбкой невольной, но совершенно беззлобной; они все же мнѣ казались вдесятеро больше люди, чѣмъ мой сосѣдъ, растегивавшій, по случаю удаленія дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейнъ—естественная граница, ничего не отдѣляющая, но раздѣляющая на двѣ части Базель, что не мѣшаетъ нисколько невыразимой скукѣ обѣихъ сторонъ. Тройная скука налегла здѣсь на все: нѣмецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нѣтъ удивительнаго, что единственное художественное произведеніе, выдуманное въ Базелѣ, представляетъ пляску умирающихъ со смертью; кромѣ мертвыхъ здѣсь никто не веселится, хотя нѣмецкое общество сильно любитъ музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Городъ—транзитный: всѣ проѣзжаютъ по немъ и никто не останавливается, кромѣ коммиссіонеровъ и ломовыхъ извощиковъ высшаго порядка.

Жить въ Базелѣ, безъ особой любви къ деньгамъ, нельзя. Впрочемъ, вообще въ швейцарскихъ городахъ жить скучно, да и не въ однихъ швейцарскихъ, а во всѣхъ небольшихъ городахъ. „Чудесный городъ Фло-

ренція, говоритъ Бакунинъ, точно прекрасная конфета... ѣшь, не нарадуешься, а черезъ недѣлю намъ все сладкое смертельно надоѣдаетъ.“ Это совершенно вѣрно; что же и говорить послѣ этого о швейцарскихъ городахъ? Прежде было покойно и хорошо по берегу Лемана; но съ тѣхъ поръ, какъ отъ Вевея до Вето все застроили подмосковными и въ нихъ выселились изъ Россіи цѣлыя дворянскія семьи, исхудалыя отъ несчастія 19 Февраля 1861, нашему брату тамъ не рука.

Лозанна.

Я въ Лозаннѣ проѣздомъ. Въ Лозаннѣ всѣ проѣздомъ, кромѣ аборигеновъ.

Въ Лозаннѣ посторонніе не живутъ, не смотря ни на ея удивительныя окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: разъ послѣ смерти Кромвеля, разъ при жизни Гиббона и теперь, строя въ ней домы и виллы. Живутъ туристы только въ Женевѣ.

Мысль о ней для меня неразрывна съ мыслью о самомъ холодномъ и сухомъ великомъ человѣкѣ и о самомъ холодномъ и сухомъ вѣтрѣ, о Кальвинѣ и о бизѣ. Я обоихъ терпѣть не могу.

И вѣдь въ каждомъ женевцѣ осталось что-то отъ бизы и отъ Кальвина, которые дули на него духовно и тѣлесно, со дня рожденія, со дня зачатія и даже прежде, одинъ изъ горъ, другой изъ молитвенниковъ.

Дѣйствительно, слѣдъ этихъ *двухъ простудъ*, съ разными пограничными и черезполосными оттѣнками: савойскими, валійскими, пуще всего французскими, составляетъ основный характеръ женевца, хорошій, но не то, чтобъ особенно пріятный.

Впрочемъ, я теперь описываю путевыя впечатлѣнія,

а въ Женевѣ *я живу*. Объ ней я буду писать, отойдя на артистическое разстояніе...

... Въ Фрибургъ я пріѣхалъ часовъ въ десять вечера... прямо къ Zæhringhoff'у. Тотъ же хозяинъ, въ черной бархатной скуфьѣ, который встрѣчалъ меня въ 1851 году, съ тѣмъ же правильнымъ и высокомѣрно-учтивымъ лицомъ русскаго оберъ-церемоніймейстера или англійскаго швейцара, подошелъ къ омнибусу и поздравилъ насъ съ пріѣздомъ.

... И столовая таже, тѣже складные четырехугольные диванчики, обитые краснымъ бархатомъ.

Четырнадцать лѣтъ прошли передъ Фрибургомъ, какъ четырнадцать дней! Таже гордость каѳедральнымъ органомъ, таже гордость цѣпнымъ мостомъ.

Вѣяніе новаго духа, безпокойнаго, мѣняющаго стѣны, разбрасывающагося, поднятаго эквинокціальными бурями 1848 года, мало коснулось городовъ, стоящихъ въ нравственной и физической сторонѣ, въ родѣ іезуитскаго Фрибурга и піэтистическаго Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашьимъ шагомъ, стали лучше, но намъ кажутся отсталыми въ своей каменной одеждѣ, сшитой не по модѣ... А вѣдь многое въ прежней жизни было не дурно, прочнѣе, удобнѣе; она была лучше разочтена для *малаго* числа избранныхъ и именно поэтому не соотвѣтствуетъ огромному числу вновь приглашенныхъ, далеко не такъ избалованныхъ и не такъ трудныхъ во вкусѣ.

Конечно, при современномъ состояніи техники, при ежедневныхъ открытіяхъ, при облегченіи средствъ можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человѣкъ, владѣющій мѣстомъ, довольствуется малымъ. Вообще на него наклепали и, главное, наклепалъ онъ самъ то пристрастіе къ комфорту и ту пз-

балованность, о которой говорятъ. Вте это у него риторика и фраза, какъ и все прочее; были же у него свободныя учрежденія безъ свободы, отчего же не имѣть блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключенія. Мало ли что можно найти у англійскихъ аристократовъ, у французскихъ камелій, у іудейскихъ князей міра сего... все это личное и временное: лорды и банкиры не имѣютъ будущности, а камеліи наслѣдниковъ. Мы говоримъ о *всемъ свѣтѣ*, о золотой посредственности, о хорѣ и коръ-де-бале, который теперь на сценѣ и жируетъ, оставляя въ сторонѣ отца лорда Станлей, имѣющаго тысячъ двадцать франковъ дохода въ день, и отца того двѣнадцатилѣтняго ребенка, который на дняхъ бросился въ Темзу, чтобъ облегчить родителямъ пропитанье.

Старый, разбогатѣвшій мѣщанинъ любитъ толковать объ удобствахъ жизни, для него все это еще ново, *что онъ баринъ*, qu'il a ses aises, „что его средства ему позволяютъ, что это его не раззоритъ.“ Онъ дивится деньгамъ и знаетъ ихъ цѣну и летучесть въ то время, какъ его предшественники по богатству не вѣрили ни въ ихъ истощаемость, ни въ ихъ достоинство и потому раззорялись. Но раззорялись они со вкусомъ. У „буржуа“ мало смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой, наслѣдственной, скупой жизни осталась. Онъ, пожалуй, и тратитъ большія деньги, но не на то, что надобно. Поколѣніе, прошедшее прилавкомъ, усвоило себѣ не тѣ размѣры, не тѣ планы, въ которыхъ привольно, и не можетъ отъ нихъ отстать. У нихъ все дѣлается, будто на продажу и они естественно имѣютъ въ виду какъ можно большую выгоду, барышъ и казовый конецъ. „Пропріетеръ“ инстинктивно уменьшаетъ размѣръ комнатъ и увеличи-

ваетъ ихъ число, не зная, почему дѣлаетъ небольшія окны, низкіе потолки: онъ пользуется каждымъ угломъ чтобъ вырвать его у жильца или у своей семьи. Уголъ этотъ ему не нуженъ, но на всякій случай онъ его отнимаетъ у кого нибудь. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ устроиваетъ двѣ неудобныхъ кухни, вмѣсто одной порядочной, устроиваетъ мансарду для горничной, въ которой нельзя ни работать, ни повернуться, но за то сыро. За эту экономію свѣта и пространства онъ украшаетъ фасадъ, грузитъ мебелью гостинную и устроиваетъ передъ домомъ цвѣтникъ съ фонтаномъ, наказаніе дѣтямъ, нянькамъ, собакамъ и наемщикамъ.

Чего не испортило скряжничество, то долѣливаетъ нерасторопность ума. Наука, прорѣзывающая мутный прудъ обыденной жизни, не мѣшаясь съ ней, бросаетъ на право и на лѣво свои богатства, но ихъ не умѣютъ удить мелкіе лодочники. Вся польза идетъ гуртовщикамъ и цѣдится каплями для другихъ; гуртовщики мѣняютъ шаръ земной, а частная жизнь тащится возлѣ ихъ паровозовъ въ старой колымагѣ, на своихъ клячахъ... Каминъ, который бы не дымился—мечта; мнѣ одинъ женевскій хозяинъ успокоительно говорилъ: „каминъ этотъ *только* дымитъ въ бизу," т. е. именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза какъ будто случайность или новое изобрѣтеніе, какъ будто она не дула до рожденія Кальвина и не будетъ дуть послѣ смерти Фази. Во всей Европѣ, не исключая ни Испаніи, ни Италіи, надобно, вступая въ зиму, писать свое завѣщаніе, какъ писали его прежде, отправляясь изъ Парижа въ Марсель, и въ половинѣ апрѣля служить молебенъ иверской божіей матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой существій, что у нихъ другого дѣла много, я имъ прощу

и дымящіеся камины, и замки, которые разомъ отворяютъ дверь и кровь, и вонь въ сѣняхъ и проч., но спрошу, въ чемъ ихъ дѣло, въ чемъ ихъ высшіе интересы? *Ихъ нѣтъ*... они только выставляютъ ихъ для скрытія невообразимой пустоты и безсмыслія...

Въ средніе вѣка люди жили наискверн**ѣ**йшимъ образомъ и тратились на совершенно ненужныя и не идущія къ удобствамъ постройки. Но средніе вѣка не толковали о страсти къ удобствамъ; напротивъ, чѣмъ неудобнѣе шла ихъ жизнь, тѣмъ она ближе была къ ихъ идеалу; ихъ роскошь была въ благолѣпіи дома божія и дома общиннаго, и тамъ они ужъ не скупились, не жались. Рыцарь строилъ тогда крѣпость, а не дворецъ и выбиралъ не наиудобнѣйшую дорогу для нея, а неприступную скалу. Теперь защищаться не отъ кого, въ спасеніе души отъ украшенія церквей никто не вѣритъ; отъ форума и ратуши, отъ оппозиціи и клуба мирный гражданинъ порядка отсталъ; страсти и фанатизмы, религіи и героизмы—все это уступило мѣсто матеріальному благосостоянію, *а оно-то и не устроилось.*

Для меня во всемъ этомъ есть что-то печальное, трагическое, точно этотъ міръ живетъ кой-какъ въ ожиданіи, что земля разступится подъ ногами, и ищетъ не устроиться, а забыться. Я это вижу не только въ озабоченныхъ морщинахъ, но и въ боязни передъ ссрьезной мыслью, въ отвращеніи отъ всякаго разбора своего положенья, въ судорожной жаждѣ недосуга, внѣшней разсѣянности. Старики готовы играть въ игрушки, „лишь бы дѣло не шло на умъ.“

Модный оттягивающій пластырь—всемірныя выставки. Пластырь и болѣзнь вмѣстѣ, какая-то перемежающаяся лихорадка съ перемѣнными центрами. Все несется, плыветъ, идетъ, летитъ, тратится, домогается, глядитъ,

устаетъ, живетъ еще неудобнѣе, чтобъ слѣдить за *успѣхомъ*—чего? Ну, такъ за успѣхами. Какъ будто въ три-четыре года можетъ быть такой прогрессъ во всемъ, какъ будто при желѣзныхъ дорогахъ такая крайность возить изъ угла въ уголъ—домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды...

... Ну, а выставки надоѣдятъ—примутся за войну, начнутъ разсѣеваться грудами труповъ, лишь бы не видѣть какихъ-то *черныхъ точекъ* на набесклонѣ...

II.

БОЛТОВНЯ СЪ ДОРОГИ И РОДИНА ВЪ БУФЕТѢ.

. . . . . .

— Есть мѣсто въ Андерматъ?

— Вѣроятно будетъ.

— Въ кабріолетѣ?

— Можетъ быть, вы заходите въ половинѣ одинадцатаго...

Я смотрю на часы, три безъ четверти... и я съ чувствомъ какого-то бѣшенства сажусь на лавочку передъ кафе... Шумъ, крикъ, таскаютъ чемоданы, водятъ лошадей, лошади стучатъ безъ нужды по камнямъ, трактирные гарсоны завоевываютъ путешественниковъ, дамы роются между саками... щелкъ, щелкъ, одинъ дилижансъ поскакалъ... щелкъ, щелкъ, другой поскакалъ за нимъ... площадь пустѣетъ, все разошлось... жаръ смертельный, свѣтло до безобразія, камни поблѣднѣли, собака легла было середь площади, но вдругъ вскочила съ негодованіемъ и побѣжала въ тѣнь. Передъ кафе сидитъ толстый хозяинъ въ рубашкѣ, онъ постоянно дремлетъ. Идетъ баба съ рыбой. „По чемъ рыба?“ спрашиваетъ

съ видомъ страшной злобы хозяинъ. Женщина говоритъ цѣну.— „Carrogna,“ кричитъ хозяинъ.— „Ladro,“ кричитъ женщина.— „Иди мимо, старая чертовка.“ — Берешь что ли, разбойникъ“ ?—„Ну, отдавай за *три вента* фунтъ.“—„Чтобъ тебѣ умереть безъ исповѣди!“ Хозяинъ беретъ рыбу, женщина деньги, и дружески разстаются. Всѣ эти ругательства—одна принятая форма, въ родѣ вѣжливостей, употребляемыхъ нами.

Собака продолжаетъ спать, хозяинъ отдалъ рыбу и опять дремлетъ, солнце печетъ, сидѣть дольше невозможно. Иду въ кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу... Описаніе горъ и пропастей, цвѣтущихъ луговъ и голыхъ гранитовъ — все это есть въ гидѣ... Лучше посплетничать. Сплетни—отдыхъ разговора, его десертъ, его соя, одни идеалисты и абстрактные люди не любятъ спетней... Но о комъ сплетничать?... Разумѣется, о предметѣ самомъ близкомъ нашему патріотическому сердцу—о нашихъ милыхъ соотечественникахъ. Ихъ вездѣ много, особенно въ хорошихъ отеляхъ.

Узнавать русскихъ все еще также легко, какъ и прежде. Давно отмѣченные зоологическіе признаки не совсѣмъ стерлись при сильномъ увеличеніи путешественниковъ. Русскіе говорятъ громко тамъ, гдѣ другіе говорятъ тихо, и совсѣмъ не говорятъ тамъ, гдѣ другіе говорятъ громко. Они смѣются вслухъ и разсказываютъ шопотомъ смѣшныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ сосѣдями, они ѣдятъ съ ножа, военные похожи на нѣмцевъ, но отличаются отъ нихъ особенно дерзкимъ затылкомъ, съ оригинальной шетинкой, дамы поражаютъ костюмомъ на желѣзныхъ дорогахъ и параходахъ такъ какъ англичанки за table d'hôt'омъ и пр.

Тунское озеро сдѣлалось цистерной, около которой насѣли наши туристы высшаго полета. Fremden List словно выписанъ изъ „памятной книжки,“ министры и тузы, генералы всѣхъ оружій и даже тайной полиціи отмѣчены въ немъ. Въ садахъ отелей наслаждаются сановники, mit Weib und Kind, природой и въ ихъ столовой ея дарами. — „Вы черезъ Гечми или Гримзель?“ спрашиваетъ англичанка англичанку. — „Вы въ Jungfraublick'ѣ или въ Викторіи остановились“? спрашиваетъ русская русскую.—Вотъ и Jungfrau! говоритъ англичанка. — Вотъ и Рейтеръ, министръ финансовъ, говоритъ русская...

. . . . . .

Intcinq minutes d'arret...
Intcinq minutes d'arret...

и все, что было въ вагонахъ, высыпалось въ залу ресторана и бросилось за столъ, торопясь съѣсть обѣдъ въ какія нибудь двадцать минутъ, изъ которыхъ дорожное начальство непремѣнно украдетъ пять-шесть, да еще прежде испугаетъ апетитъ страшнымъ звонкомъ и крикомъ: En voiture.

Взошла высокая барыня въ темномъ и ея мужъ въ свѣтломъ, съ ними двое дѣтей... взошла съ застѣнчивымъ, неловкимъ видомъ, бѣдно одѣтая дѣвушка, у которой на рукахъ были какіе-то мѣшечки и баульчики. Она постояла... потомъ пошла въ уголъ и сѣла почти возлѣ меня. Зоркій взглядъ гарсона ее замѣтилъ; прорѣевъ съ тарелкой, на которой лежалъ кусокъ ростбифа, онъ спустился, какъ коршунъ, на бѣдную дѣвушку и спросилъ ее: „что она желаетъ заказать“?—„Ничего,“ отвѣчала она и гарсонъ, котораго кликалъ англійскій клержиманъ, побѣжалъ къ нему... но черезъ минуту онъ

опять подлетѣлъ къ ней и, махая салфеткой, спросилъ ее: „Что бишь вы заказали“?

Дѣвушка что-то прошептала, покраснѣла и встала. Меня такъ и кольнуло. Мнѣ захотѣлось предложить ей чего нибудь, но я не смѣлъ.

Прежде чѣмъ я рѣшился, черная дама повела черными глазами по залѣ и, увидя дѣвушку, подозвала ее пальцемъ. Она подошла, дама указала ей на недоѣденнѣй дѣтьми супъ, и та *стоя*, середь ряда сидящихъ и удивленныхъ путешественниковъ, смущенная и потерянная, съѣла ложки двѣ и поставила тарелку.

Essieurs les voyageurs pour Ucinnungen onctiou, et tontuyx —en voiture!

Всѣ бросились съ ненужной поспѣшностью къ вагонамъ.

Молчать я не могъ и сказалъ гарсону (не коршуну, другому): „Вы видѣли“?

— „Какъ же не видать—это *русскіе*.“

III.

ЗА АЛЬПАМИ

. . . Архитектуральный, монументальный характеръ итальянскихъ городовъ, рядомъ съ ихъ запущенностью, подъ конецъ надоѣдаетъ. Современный человѣкъ въ нихъ не дома, а въ неудобной ложѣ театра, на сценѣ котораго поставлены величественныя декораціи.

Жизнь въ нихъ не уравновѣсилась, не проста и не удобна. Тонъ поднятъ, во всемъ декламація и декламація итальянская (кто слыхалъ чтеніе Данта, тотъ знаетъ ее). Во всемъ та натянутость, которая бывала въ

ходу у московскихъ философовъ и нѣмецкихъ *ученыхъ* художниковъ; все съ высшей точки, vom höhern Standpunkt. — Взвинченность эта исключаетъ abandon, вѣчно готова на отпоръ и проповѣдь съ сентенціями. Хроническая восторженность утомляетъ, сердитъ.

Человѣку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, имѣть *тугенды*, быть тронутымъ и носиться мыслію далеко въ быломъ, а Италія не спускаетъ съ извѣстнаго діапазона и безпрестанно напоминаетъ, что ея улица не просто улица, а что она памятникъ, что по ея площадямъ не только надобно ходить, но должно ихъ изучать.

Вмѣстѣ съ тѣмъ все, особенно изящное и великое въ Италіи (а можетъ и вездѣ) граничитъ съ безуміемъ и нелѣпостью — по крайней мѣрѣ напоминаетъ малолѣтство... Piazza Signoria.—это дѣтская флорентинскаго народа; дѣдушка Бонаротти и дядюшка Челини надарили ему мраморныхъ и бронзовыхъ игрушекъ, а онъ ихъ разставилъ зря на площади, гдѣ столько разъ лилась кровь и рѣшалась его судьба — безъ малѣйшаго отношенія къ Давиду или Персею... Городъ въ водѣ, такъ что по улицамъ могутъ гулять ерши и окуни... Городъ изъ каменныхъ щелей—такъ что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтобъ ползать и бѣгать по узенькому дну — между утесами, составленными изъ дворцовъ... А тутъ бѣловѣжская пуща изъ мрамора. Какая голова смѣла создать чертежъ этого каменнаго лѣса, называемаго Миланскимъ соборомъ, эту гору сталактитовъ? Какая голова имѣла дерзость привести въ исполненіе сонъ безумнаго зодчаго... и кто далъ деньги, огромныя, невѣроятныя деньги!

Люди только жертвуютъ на ненужное. Имъ всего дороже ихъ фантастическія цѣли. Дороже насущнаго хлѣ-

ба, дороже своей корысти. Въ эгоизмъ надобно воспитаться также какъ въ гуманность. А фантазія уноситъ безъ воспитанія, увлекаетъ безъ разсужденій. Вѣка вѣры были вѣками чудесъ.

Городъ по новѣе, но менѣе историческій и декоративный — Туринъ.

— Такъ и обдаетъ своей прозой.

— Да, а жить въ немъ легче — именно потому, что онъ просто городъ, городъ не въ собственное свое воспоминаніе, а для обыденной жизни, для настоящаго, въ немъ улицы не представляютъ археологическаго музея, не напоминаютъ на каждомъ шагу Memento mori, — а взгляните на его работничье населеніе, на ихъ рѣзкій, какъ альпійскій воздухъ, видъ — и вы увидите, что это кряжъ людей бодрѣе Флорентинцевъ, Венеціанъ, а можетъ и постойчѣе Генуэзцевъ.

Послѣднихъ впрочемъ я не знаю. Къ нимъ присмотрѣться очень трудно, они все мелькаютъ передъ глазами, бѣгутъ, суетятся, снуютъ, торопятся. Въ переулкахъ къ морю народъ кипитъ, но тѣ, которые стоятъ, не генуэзцы — это матросы всѣхъ морей и океановъ — шкиперы, капитаны. — Звонокъ тамъ, звонокъ тутъ—Partenza!—Partenza!—и часть муравейника засуетилась—одни нагружаютъ, другіе разгружаютъ.

IV.

ZU DEUTCH

... Три дня льетъ проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется... Въ окнѣ книжной лавки выставлена „Переписка Гейне“ два тома. Вотъ спа-

сенье, я взялъ пхъ и принялся читать впредь до расчищенія неба.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ Гейне писалъ Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дѣло — съ 1848 года мы все пятились, да отступали, все бросали за бортъ, да ежились, а кой что сдѣлалось и все исподволь измѣнилось. Мы ближе къ землѣ, мы ниже стоимъ, т. е. тверже, плугъ глубже врѣзывается, работа не такъ казиста, чернѣе—можетъ оттого, что это въ самомъ дѣтѣ работа. Донъ-Кихоты реакціи пропороли много нашихъ воздушныхъ шаровъ, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше какъ духъ божій надъ водами съ цѣвницей и пророческимъ пѣснопѣніемъ, а цѣпляемся за деревья, крыши и за мать сыру землю.

Гдѣ эти времена, когда „юная Германія“, въ своемъ „прекрасномъ-высоко“, *теоретически* освобождала отечество и въ сферахъ чистаго разума и искусства покончивала съ міромъ преданій и предразсудковъ? Гейне было противно на ярко освѣщенной морозной высотѣ, на которой величественно дремалъ подъ старость Гёте. грезя не совсѣмъ складные, но умные сны второй части Фауста—однако и онъ ниже книжнаго магазина не опустился, это все еще академическая aula, литературные кружки, журнальные приходы, съ ихъ сплетнями и дрязгами, съ ихъ книжными Шейлохами въ видѣ Коты или Гофмана и Кампе, съ ихъ гетингенскими архіереями филологіи и епископами юриспруденціи въ Галле или Боннѣ. Ни Гейне, ни его кругъ, народа не знали, и народъ ихъ не зналъ. Ни скорбь, ни радость низменныхъ полей не подымалась на эти вершины — для того, чтобъ понять стонъ современныхъ человѣческихъ трясинъ, имъ надобно было переложить его на латин-

скіе нравы и черезъ Гракховъ и пролетаріевъ добраться до ихъ мысли.

Бакалавры міра *сублимированнаго*, они выходили иногда въ жизнь, начиная какъ Фаустъ съ полпивной и всегда какъ онъ съ какимъ нибудь духомъ школьнаго отрицанья, который имъ, какъ Фаусту, мѣшалъ своей рефлексіей просто глядѣть и видѣть. Оттого-то они тотчасъ возвращались отъ живыхъ источниковъ къ источникамъ историческимъ, тутъ они чувствовали себя больше дома. Занятія ихъ, это особенно замѣчательно, не только не были *дѣломъ*, но и не были *наукой*, а такъ сказать ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчасъ бунтовалъ противъ архивнаго воздуха и аналитическаго наслажденія, хотѣлъ чего-то другаго, а письма его совершенно *нѣмецкія письма*, того нѣмецкаго періода, на первой страницѣ котораго Бетина-дитя, а на послѣдней Рахель еврейка. Мы свѣжѣе дышемъ, встрѣчая въ его письмахъ страстные порывы юдаизма, тутъ Гейне въ самомъ дѣлѣ увлекающійся человѣкъ — но онъ тотчасъ стынетъ, холодѣетъ къ юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не безкорыстную измѣну.

Революція 1830 и потомъ переѣздъ Гейне въ Парижъ сильно двинули его. Der Pan ist gestorben! говоритъ онъ съ восторгомъ и торопится *туда* — туда, куда и я нѣкогда торопился такъ болѣзненно-страстно — въ Парижъ; онъ хочетъ видѣть „великій народъ“ и „сѣдаго Лафайета, разъѣзжающаго на сѣрой лошади“. Но литература вскорѣ беретъ верхъ, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями въ пересыпочку съ жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположеніе духа, сквозь котораго просвѣчиваетъ безмѣрное, оскорбительное са-

молюбіе. И тутъ же Гейне беретъ фальшивую ноту. Холодно вздутый риторическій бонапартизмъ его становится также противенъ, какъ брезгливый ужасъ гамбургскаго хорошо вымытаго жида передъ народными трибунами, не въ книгахъ, а на самомъ дѣлѣ. Онъ не могъ переварить, что рабочьи сходки не представлялись въ чопорной обстановкѣ кабинета и салона Варнгагена, „фарфороваго“ Варнгагена фонъ Энзе, какъ онъ его самъ назвалъ.

Чистотой рукъ и отсутствіемъ табачнаго запаха, впрочемъ, и ограничивается чувство его собственнаго достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не нѣмецкое, не еврейское и по несчастію тоже не русское.

Гейне кокетничаетъ съ прусскимъ правительствомъ, заискиваетъ въ немъ черезъ посла, черезъ Варнгагена, и ругаетъ его*). Кокетничаетъ съ баварскимъ королемъ и осыпаетъ его сарказмами, больше чѣмъ кокетничаетъ съ „высокой“ германской діэтой и выкупаетъ свое дрянное поведеніе передъ ней ѣдкими насмѣшками.

Все это не объясняетъ-ли отчего учено-революціонная вспышка въ Германіи такъ быстро лопнула въ 1848 году? Она тоже принадлежала литературѣ и исчезла какъ ракета, пущенная въ Кроль-гарденѣ; она имѣла своихъ вождей-профессоровъ и своихъ генераловъ отъ филологіи, она имѣла свой народъ въ бот-

*) Не тоже-ли дѣлалъ и геній *на содержаніи* прусскаго короля? Его двуипостасность навлекла на него колкое слово. Послѣ 1848, король гановерскій, ультра консерваторъ и феодалъ, пріѣхалъ въ Потсдамъ. На лѣстницѣ дворца его встрѣтили разные придворные и Гумбольтъ въ ливрейномъ фракѣ. Злой король остановился, и улыбаясь сказалъ ему: „Immer derselbe, immer Republicaner und immer im Vorzimmer des Palastes.“

фортахъ и беретахъ, народъ студентовъ измѣнившихъ революціонному дѣлу, какъ только оно перешло изъ метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кромѣ нѣсколько забѣжавшихъ или завлеченныхъ работниковъ, народъ не шелъ за этими блѣдными *фюреры*, они ему такъ и остались посторонними.

— Какъ вы можете выносить всѣ обиды Бисмарка, спросилъ я, за годъ до войны, у одного лѣваго депутата изъ Берлина, въ самое то время, когда графъ набивалъ себѣ руку для того, чтобъ повышибать зубы но крѣпче Грабова и К°.

— Мы все сдѣлали, что могли inne halb конституціи.

— Ну такъ вы бы по примѣру правительства попробовали ausserhalb:

— То есть что-же? сдѣлать воззваніе къ народу, остановить платежи налоговъ?... Это мечта... *ни одинъ человѣкъ не двинулся бы за насъ*, не поддержалъ бы насъ... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидѣтельствуя сами нашу слабость.

— Ну такъ и я скажу какъ вашъ президентъ при всякомъ заушеніи: „Воскликните троекратно Es lebe der Kœnig! и разойдитесь съ миромъ!“

V.

СЪ ТОГО И ЭТОГО СВѢТА

I.

СЪ ТОГО

... Villa Adolphina... Адольфина?... что бишь такое?... Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer...

Вхожу, все чисто, хорошо, деревья, цвѣты, англійскіе дѣти на дворѣ, толстые, мягкіе, румяные, которымъ отъ души желаю никогда не встрѣчаться съ антропофагами... выходитъ старушка и, спросивъ о причинѣ прихода, начинаетъ разговоръ съ того, что она не *служанка*, „а больше по дружбѣ," что Mme Adolphine поѣхала въ больницу или въ богадѣльню, въ которой она патронесса. Потомъ ведетъ меня показывать „необыкновенно удобную квартиру," которая первый разъ еще не занята во время сезона и которую сегодня утромъ приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, въ силу чего служащая „больше по дружбѣ" старушка искренно совѣтовала мнѣ не терять времени. Поблагодаривъ ее за такое внезапное сочувствіе и предпочтеніе, я обратился къ ней съ вопросомъ: Sie sind eine Deutsche?

— Zu Diensten, und der gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg. Признаться сказать, такого города, кажется, нѣтъ и не будетъ.

— Очень пріятно слышать. Вы давно оставили Петербургъ?

— Да не вчера таки, мы вотъ ужъ здѣсь живемъ на худой конецъ лѣтъ двадцать. Я съ дѣтства была подругой съ Mme Adolphine и потомъ никогда не хотѣла ее покинуть. Она мало хозяйствомъ занимается, все у нея идетъ такъ, некому присмотрѣть. Когда meine Gönnerin купила этотъ маленькій *парадизъ*, она меня тотчасъ выписала изъ Брауншвейга...

— А гдѣ вы жили въ Петербургѣ? спросилъ я вдругъ.

— О, мы жили въ самой лучшей части города, гдѣ lauter Herrschaften und Generäle живутъ. Сколько разъ

я видѣла покойнаго государя, какъ онъ въ коляскѣ и въ саняхъ на одной лошади проѣзжалъ so ernst... можно сказать, настоящій потентатъ былъ.

— Вы жили на Невскомъ, на Морской?

— Да, т. е. не совсѣмъ на Нефскомъ, а тутъ возлѣ, у Полицей- брюкѣ.

Довольно... довольно, какъ не знать, думаю я, и прошу старушку, чтобъ она сказала, что я приду къ самой Mme Adolphine переговорить о квартирѣ.

Я никогда не могъ безъ особаго умиленія встрѣчаться съ развалинами давнишняго времени, съ полуразрушенными памятниками храма ли Весты или другого бога, все равно... Старушка „по дружбѣ“ пошла меня провожать черезъ садъ къ воротамъ. „Вотъ нашъ сосѣдъ, тоже долго жилъ въ Петербургѣ“... она указала мнѣ большой, кокетливо убранный домъ, на этотъ разъ съ англійской надписью: Large and small app. (furnished or unfurnished)... Вы вѣрно помните Флоріани? Coiffeur de la cour былъ возлѣ Милльонной; онъ имѣлъ одну непріятную исторію... былъ преслѣдованъ, чуть не попалъ въ Сибирь... знаете, за излишнее снисхожденіе, тогда были такія строгости.

Ну, думаю, она непремѣнно произведетъ Флоріани въ мои „товарищи несчастья.“

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту исторію, въ ней были замѣшаны синодскій оберъ-прокуроръ и другіе богословы и гвардейцы...

— Вотъ онъ самъ.

... Высохшій, беззубый старичишка въ маленькой соломенной шляпѣ, морской или дѣтской, съ голубой лентой около тальи, въ коротенькомъ, свѣтло-гороховомъ полупальто и въ полосатыхъ штанишкахъ... вышелъ за ворота. Онъ поднялъ скупосухіе, безжизненные глаза и

пожевывая тонкими губами, кивнулъ головой старушкѣ „по дружбѣ.“

— Хотите я его позову?

— Нѣтъ, покорно благодарю... *я не по этой части* — видите бороду не брѣю... Прощайте. Да скажите пожалуйста, ошибся я или нѣтъ, у Monsieur Floriani красная ленточка.

— Да, да, онъ очень много жертвовалъ!

— Прекрасное сердце.

Въ классическія времена писатели любили сводить на томъ свѣтѣ давно и недавно умершихъ за тѣмъ, чтобъ они покалякали о томъ и о семъ. Въ нашъ реальный вѣкъ все на землѣ и даже часть *того свѣта на этомъ свѣтѣ*. Елисейскія поля растянулись въ Елисейскіе берега, Елисейскія взморья и разсыпались тамъ-сямъ по сѣрнымъ и теплымъ водамъ, у подножія горъ на рамкахъ озеръ, они продаются акрами, обработываются подъ виноградъ... Часть умершаго въ треволненной жизни отправляетъ здѣсь первый курсъ переселенія душъ и гимназическій классъ Чистилища.

Всякій человѣкъ, прожившій лѣтъ пятьдесятъ, схоронилъ цѣлый міръ, даже два—съ его исчезновеніемъ онъ свыкся и привыкъ къ новымъ декораціямъ другаго акта—вдругъ имена и лица давно умершаго времени являются чаще и чаще на его дорогѣ, вызывая ряды тѣней и картинъ, гдѣ-то хранившихся, на всякій случай, въ безконечныхъ катакомбахъ памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной разъ чуть не расплакаться...

Желающимъ, какъ Фаустъ, повидаться „съ матерями“ и даже „съ отцами,“ не нужно никакихъ Мефистофелей, достаточно взять билетъ на желѣзной дорогѣ и ѣхать къ Югу. Съ Кана и Граса начиная, бродятъ грѣющіяся тѣни

давно утекшаго времени; прижатыя къ морю, онѣ, покойно сгорбившись, ждутъ Харона и свой чередъ.

На дорогѣ этой Citta, не то чтобъ очень dolente, стоитъ привратникомъ высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. Послѣ долгой, честной и исполненной безплоднаго труда жизни, онъ всѣмъ существомъ и одной сѣдой бровью ниже другой выражаетъ часть Дантовской надписи: „Voi ch'entrate, *съ мыслью домашними средствами поправить застарѣлое, историческое зло* lasciate ogni speranza." Старикъ Брумъ, лучшій изъ вѣтхихъ деньми, защитникъ несчастной королевы Каролины, другъ Роберта Оуэна, современникъ Канинга и Байрона, послѣдній, ненаписанный томъ Маколея, поставилъ свою виллу между Грасомъ и Каномъ, и очень хорошо сдѣлалъ. Кого было бы, какъ не его, поставить примиряющей вывѣской въ преддверіи временнаго Чистилища, чтобъ не отстращать живыхъ?

За тѣмъ мы en plein въ мірѣ умолкшихъ теноровъ, потрясавшихъ наши восемнадцатилѣтнія груди лѣтъ *тридцать* тому назадъ—ножекъ, отъ которыхъ таяло и замирало наше сердце вмѣстѣ съ сердцемъ цѣлаго партера, ножекъ, оканчивающихъ теперь свою карьеру въ стоптанныхъ, собственноручно вязанныхъ изъ шерсти туфляхъ, пошлепывающихъ за горничной изъ безцѣльной ревности и по хозяйству изъ очень цѣлесообразной скупости...

... И все-то это съ разными промежутками продолжается до самой Адріатики, до береговъ Комскаго озера и даже нѣкоторыхъ нѣмецкихъ водяныхъ *пятенъ* (Flecken). Здѣсь villa Taglioni, тамъ Palazzo Rubini, тутъ Campagne Fanny Elsner и другихъ *лицъ*... du prétérit défini et du plus que parfait.

Возлѣ актеровъ, сошедшихъ со сцены маленькаго те-

атра, актеры самыхъ большихъ подмостковъ въ мірѣ, давно исключенные изъ афишъ и забытые—они въ тиши доживаютъ вѣкъ Цинцинатами и философами противъ воли. Рядомъ съ артистами, нѣкогда отлично представлявшими царей, встрѣчаются цари, скверно разыгравшіе свою роль. Цари эти захватили съ собой, какъ индійскіе покойники, берущіе на тотъ свѣтъ своихъ женъ, двухъ-трехъ преданныхъ министровъ, которые такъ усердно помогли имъ пасть и сами свалились съ ними. Въ ихъ числѣ есть вѣнценосцы, освистанные при дебютѣ и все еще ожидающіе, что публика придетъ къ больше справедливой оцѣнкѣ и опять позоветъ ихъ. Есть и такіе, которымъ impresario историческаго театра не позволилъ и дебютировать—мертворожденные, имѣющіе *вчера*, но не имѣющіе *сегодня*—ихъ біографія оканчивается до ихъ появленія на свѣтъ; астеки давно ниспровергнутаго закона престолонаслѣдія, они остаются шевелящимися памятниками угасшихъ династій.

Далѣе идутъ генералы, знаменитые побѣдами, одержанными надъ ними, тонкіе дипломаты, погубившіе свои страны, игроки, погубившіе свое состояніе и сморщенныя, сѣдыя старухи, погубившія во время оно сердца этихъ дипломатовъ и этихъ игроковъ. Государственные фосили, все еще понюхивающіе табакъ, такъ какъ его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминаютъ съ „ископаемыми“ красавицами временъ Mme Recamier залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибранъ и дивятся, что Патти смѣетъ послѣ этого пѣть... И въ тоже время люди зеленаго сукна, прихрамывая и крехтя, полурасшибленные параличомъ, полузатопленные водяной, толкуютъ съ другими старушками о другихъ салонахъ и другихъ знаменитостяхъ, о смѣлыхъ ставкахъ, о графинѣ Ки-

селевой, о Гомбургской и Баденской рулеткѣ, объ игрѣ покойнаго Сухозанета, о тѣхъ патріархальныхъ временахъ, когда владѣтельные принцы нѣмецкихъ водъ были въ долѣ съ содержателями игръ и опасный, средневѣковый грабежъ путешественниковъ перекладывали на мирное поприще банка и rouge ou noir...

... И все это еще дышетъ, еще движется, кто не на ногахъ, въ перамбулаторѣ, въ колескѣ, укрытой мѣхомъ, кто опираясь вмѣсто клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимѣніемъ слуги. „Списки иностранцевъ“ похожи на старинные адресъ-календари, на клочья изорванныхъ газетъ „временъ наваринскихъ и покоренія Алжира.“

Возлѣ гаснущихъ звѣздъ трехъ первыхъ классовъ сохраняются другія кометы и свѣтила, занимавшія собою лѣтъ тридцать тому назадъ праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, съ которымъ люди слѣдятъ за процессами, ведущими отъ труповъ къ гильотинѣ и отъ кучей золота на каторгу. Въ ихъ числѣ разные освобожденные отъ суда за „неимѣніемъ доказательствъ,“ отравители, фальшивые монетчики, люди кончившіе курсъ нравственнаго леченія гдѣ нибудь въ центральной тюрьмѣ или колоніяхъ „контюмасы“ и проч.

Всего меньше встрѣчаются въ этихъ теплыхъ чистилищахъ тѣни людей, всплывшихъ середь революціонныхъ бурь и неудавшихся народныхъ движеній. Мрачные и озлобленные горцы *якобинскихъ* вершинъ, предпочитаютъ суровую бизу, угрюмые Лакедемоняне, они скрываются за лондонскими туманами...

II.

СЪ ЭТОГО

I.

ЖИВЫЕ ЦВѢТЫ—ПОСЛѢДНЯЯ МОГИКАНКА

— „Поѣдемте на bal de l'Opera, теперь самая пора, половина втораго," сказалъ я, вставая изъ-за стола въ небольшомъ кабинетѣ Café Anglais, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполнѣ не протрезвлявшемуся. Мнѣ хотѣлось на воздухъ, на шумъ и къ тому же я побаивался длиннаго tête à tête съ моимъ невскимъ Клодъ Лореномъ.

— Поѣдемте, сказалъ онъ, и налилъ себѣ еще рюмку коньяку.

Это было въ началѣ 1849 года, въ минуту ложнаго выздоровленья между двухъ болѣзней, когда еще хотѣлось, или казалось, что хотѣлось, иногда дурачества и веселья.

... Побродивши по оперной залѣ, мы остановились передъ особенно красивой кадрилью напудренныхъ дебардеровъ съ намазанными мѣломъ Пьерро. Всѣ четыре дѣвушки очень молодыя, лѣтъ 18-19, были милы и граціозны, плясали и тѣшились отъ всей души, незамѣтно переходя отъ кадрили въ канканъ. Не успѣли мы довольно налюбоваться, какъ вдругъ кадриль разстроился, „по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ танцовавшихъ," какъ выражались у насъ журналисты въ счастливыя времена цензуры. Одна изъ танцовщицъ и, увы, самая красивая такъ ловко, или такъ неловко, опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину

груди и часть спины, немного больше того, какъ дѣлаютъ англичанки, особенно пожилыя, которымъ нечѣмъ взять кромѣ плечей, на самыхъ чопорныхъ раутахъ и въ самыхъ видныхъ ложахъ Ковентгардена (вслѣдствіе чего во второмъ ярусѣ рѣшительно нѣтъ возможности съ достодолжнымъ цѣломудріемъ слушать Casta diva или Sul salice.

Едва я успѣлъ сказать простуженному художнику: „давайте-ка сюда Бонароти, Тиціана, берите вашу кисть, а то она поправится," какъ огромная черная рука, не Бонароти и не Тиціана, а gardien de Paris схватила ее за воротъ, рванула вонъ изъ кадриля и потащила съ собой. Дѣвушка упиралась, не шла, какъ дѣлаютъ дѣти, когда ихъ собираются мыть въ холодной водѣ, но человѣческая справедливость и порядокъ взяли верхъ и были удовлетворены. Другія танцовщицы и ихъ Пьерро переглянулись, нашли свѣжаго дебардера и снова начали поднимать ноги выше головы и отпрядывать другъ отъ друга для того, чтобъ еще яростнѣе наступать, не обративъ почти никакого вниманія на похищеніе Прозерпины. „Пойдемте посмотрѣть, что полицейской сдѣлаетъ съ ней," сказалъ я моему товарищу. „Я замѣтилъ дверь, въ которую онъ ее повелъ."

Мы спустились по боковой лѣстницѣ внизъ. Кто видѣлъ и помнитъ бронзовую собаку, внимательно и съ нѣкоторымъ волненіемъ смотрящую на черепаху, тотъ легко представитъ себѣ сцену, которую мы нашли. Несчастная дѣвушка въ своемъ легкомъ костюмѣ сидѣла на каменной ступенькѣ и на сквозномъ вѣтру, заливаясь слезами; передъ ней сухопарый, высокій муниципалъ, съ хищнымъ и серьезно глупымъ видомъ, съ запятой изъ волосъ на подбородкѣ, съ полусѣдыми усами

и во всей формѣ. Онъ съ достоинствомъ стоялъ, сложивъ руки, и пристально смотрѣлъ, чѣмъ кончится этотъ плачъ, приговаривая: Allons, allons!

Для довершенія удара, дѣвушка сквозь слезы и хныканье говорила; „...Et... et on dit,. on dit que... que... nous sommes en République... et... on ne peut danser comme l'on veut!..."

Все это было такъ смѣшно и такъ въ самомъ дѣлѣ жалко, что я рѣшился идти на выручку военноплѣнной и на спасеніе въ ея глазахъ чести республиканской формы правленія.

— Mon brave, сказалъ я съ расчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому, что вы сдѣлаете съ Mademoiselle?

— Посажу au violon до завтрашняго дня, отвѣчалъ онъ сурово.

Стенанья увеличиваются.—„Научится, какъ рубашку скидывать" — прибавилъ блюститель порядка и общественной нравственности.

— Это было несчастье, Brigadier, вы бы ее простили.

— Нельзя, La consigne.

— Дѣло праздничное...

— Да вамъ что за забота; Etes-vous son réciproque?

— Первый разъ отъ роду вижу, parole d'honneur! имени не знаю, спросите ее сами. Мы иностранцы и насъ удивило, что въ Парижѣ такъ строго поступаютъ съ слабой дѣвушкой, avec un être frêle. У насъ думаютъ, что здѣсь полиція такая добрая. . . И зачѣмъ позволяютъ вообще канкинировать, а если позволяютъ, г. бригадиръ, тутъ иной разъ по неволѣ, или нога поднимется слишкомъ высоко, или воротъ опустится слишкомъ низко.

— Это-то пожалуй и такъ, замѣтилъ пораженный

моимъ краснорѣчіемъ муниципалъ, а главное задѣтый моимъ замѣчаніемъ, что иностранцы имѣютъ такое лестное мнѣніе о парижской полиціи.

— Къ тому-же, сказалъ я, посмотрите, что вы дѣлаете. Вы ее простудите — какъ же изъ душной залы полуголое дитя посадить на сквозной вѣтеръ.

— Она сама не идетъ. Ну да вотъ что, если вы дадите мнѣ честное слово, что она въ залу сегодня не взойдетъ, я ее отпущу.

— Браво! впрочемъ, я меньше и не ожидалъ отъ г. бригадира—я васъ благодарю отъ всей души.

Пришлось пуститься въ переговоры съ освобожденной жертвой. „Извините, что не имѣя удовольствія быть съ вами знакомымъ лично, вступился за васъ“. Она протянула мнѣ горячую, мокрую рученку и смотрѣла на меня еще больше мокрыми и горячими глазами. „Вы слышали въ чемъ дѣло? Я не могу за васъ поручиться если вы мнѣ не дадите слова, или лучше, если вы не уѣдете сейчасъ. Въ сущности жертва не велика, я полагаю теперь часа три съ половиной“.

— Я готова, я пойду за мантильей.

— Нѣтъ—сказалъ неумолимый блюститель порядка — отсюда ни шагу.

— Гдѣ ваша мантилья и шляпка?

— Въ ложѣ—такой-то, №—въ такомъ-то ряду. Артистъ бросился было, но остановился съ вопросомъ „да какъ-же мнѣ отдадутъ?“

— Скажите только что было и то, что вы отъ *Леонтины-маленькой*... Вотъ и балъ!—прибавила она съ тѣмъ видомъ, съ которымъ на кладбищѣ говорятъ „Спи спокойно“.

— Хотите, чтобъ я привелъ фіакръ?

— Я не одна.

— Съ кѣмъ-же?

— Съ однимъ другомъ.

Артистъ возвратился окончательно распростуженный съ шляпой, мантильей и какимъ то молодымъ лавочникомъ, или Comtois-voyageur. „Очень обязанъ", сказалъ онъ мнѣ, потрогивая шляпу—потомъ ей: „всегда надѣлаешь исторій!" Онъ почти также грубо схватилъ ее подъ руку, какъ полицейскій за воротъ, и изчезъ въ большихъ сѣняхъ оперы... бѣдная... достанется ей... и что за вкусъ... она... и онъ!

Даже досадно стало. Я предложилъ художьнку выпить—онъ не отказался.

Прошелъ мѣсяцъ. Мы сговорились человѣкъ пять: Венскій агитаторъ Таузенау, генералъ Г., Миллеръ С. и еще одинъ господинъ ѣхать другой разъ на балъ. Ни Г., ни Миллеръ ни разу не были. Мы стояли въ кучкѣ. Вдругъ какая-то маска продирается, продирается и прямо ко мнѣ, чуть не бросается на шею и говоритъ: „Я васъ не успѣла тогда поблагодарить..."

— Ah! Mademoiselle Léontine... очень, очень радъ, что васъ встрѣтилъ, я такъ и вижу передъ собой ваше заплаканное личико, ваши надутыя губки — вы были ужасно милы—это не значитъ, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрѣла на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

— Ни мало.

— Въ воспоминанье вашего плѣна, вы должны были бы—если бы вы были очень, очень любезны—

— Ну что-же? Soyez bref.

— Должны бы отъужинать съ нами.

— Съ удовольствіемъ, ma parole, но только не теперь.

— Гдѣ же я васъ сыщу?

— Не безпокойтесь, я васъ сама сыщу. ровно въ четыре. Да вотъ что, я здѣсь не одна...

— Опять съ вашимъ другомъ—и мурашки пробѣжали у меня по спинѣ.

Она расхохоталась—„онъ не очень опасенъ“—и она подвела ко мнѣ дѣвочку лѣтъ семнадцати, свѣтло-бѣлокурую, съ голубыми глазами. „Вотъ мой другъ“.

Я пригласилъ и ее.

Въ четыре Леонтина подбѣжала ко мнѣ, подала руку и мы отправились въ Café Riche. Какъ ни близко это отъ Оперы, но по дорогѣ Г. успѣлъ влюбиться въ Мадону Андрея Del Sarto, то есть въ блондинку. И за первымъ блюдомъ, послѣ длинныхъ и курьезныхъ фразъ о тинторетовской прелести ея волосъ и глазъ, Г., только что мы усѣлись за столъ, началъ проповѣдь о томъ, какъ съ лицомъ Мадонны и выраженіемъ чистаго ангела не эстетично танцовать канканъ. „Armes, holdes Kind!“ добавилъ онъ, обращаясь ко всѣмъ.

— Зачѣмъ вашъ другъ, сказала мнѣ Леонтина на ухо, говоритъ такой скучный fatras?—да и зачѣмъ вообще онъ ѣздитъ на оперные балы—ему бы ходить въ Мадлену.

— Онъ *нѣмецъ*, у нихъ ужъ такая болѣзнь — шепнулъ я ей.

— Mais c'est qu'il est ennuyeux votre ami avec son mal de sermont. Mon petit saint finira-t-il donc bientôt?

И въ ожиданіи конца проповѣди, усталая Леонтина бросилась на кушетку. Противъ нея было большое зеркало, она безпрестанно смотрѣлась и не выдержала, она указала мнѣ пальцемъ на себя въ зеркалѣ и сказала: „А что, въ этой растрепавшейся прическѣ, въ этомъ смятомъ костюмѣ, въ этой позѣ я и въ самомъ

дѣлѣ будто не дурна". Сказавши это, она вдругъ опустила глаза и покраснѣла, покраснѣла откровенно, до ушей. Чтобъ скрыть, она запѣла извѣстную пѣсню, которую Гейне изуродовалъ въ своемъ переводѣ и которая страшна въ своей безискусственной простотѣ:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hôtel-Dieu.

Странное существо, неуловимое, живое. „Лацерта" гётевскихъ элегій, дитя въ какомъ-то безсознательномъ чаду. Она дѣйствительно, какъ ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидѣть, да и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пѣла, дѣлала гримасы передъ зеркаломъ, и все съ непринужденностью ребенка и съ граціей женщины. Ея frivolité была наивна. Случайно завертѣвшись, она еще кружилась... неслась... того толчка, который бы остановилъ на краю или окончательно толкнулъ ее въ пропасть, еще не было. Она довольно сдѣлала дороги, но воротиться могла. Ее въ силахъ были спасти свѣтлый умъ и врожденная грація.

Этотъ типъ, этотъ кругъ, эта среда не существуютъ больше. Это la petite femme студента былыхъ временъ, гризетка, переѣхавшая изъ латинскаго квартала по сю сторону Сены, равно не *дѣлающая* несчастнаго *тротуара* и не имѣющая прочнаго общественнаго положенія камеліи. Этотъ типъ не существуетъ, такъ какъ не существуетъ конверсацій около камина, чтеній за круглымъ, столомъ, болтанья за чаемъ. Другія формы другіе звуки, другіе люди, другія слова... Тутъ своя скала, свое crescendo. Шаловливый, нѣсколько распущенный элементъ тридцатыхъ годовъ—du lest, de l'espiéglerie—перешелъ въ *шикъ*—въ немъ былъ каенскій перецъ, но еще оставалась кипучая, растрепанная гра-

ція, оставались остроты и умъ. Съ увеличеніемъ дѣлъ, коммерція отбросила все излишнее и всѣмъ внутреннимъ пожертвовала выставкѣ, эталажу. Типъ Леонтины — разбитной парижской gamine, подвижной, умной, избалованной, искрящейся, вольной и въ случаѣ надобности гордой—не требуется, и *шикъ* перешелъ въ *собаку*. Для бульварнаго Ловласа нужна женщина-собака и пуще всего собака, имѣющая своего хозяина. Оно экономнѣе и безкорыстнѣе—съ ней онъ можетъ охотиться на чужой счетъ, уплачивая одни extra. „Parbleu, говорилъ мнѣ старикъ, котораго лучшіе годы совпадали съ началомъ царствованія Людовика Филиппа, je ne me retrouve plus—où est le fion, le chique, où est l'esprit?... Tout cela, Monsieur... ne parle pas, Monsieur,—c'est bon, c'est beau welbredet, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens.

Это мнѣ напоминаетъ, какъ въ пятидесятыхъ годахъ добрый, милый Таляндье, съ досадой влюбленнаго на свою Францію, объяснялъ мнѣ съ музыкальной иллюстраціей ея паденіе. „Когда, говорилъ онъ, мы были велики, въ первые дни послѣ февральской революціи, гремѣла одна Марсельеза — въ кафе, на улицахъ, въ процессіяхъ—все Марсельеза. Во всякомъ театрѣ была своя Марсельеза, гдѣ съ пушками, гдѣ съ Рашелью. Когда пошло плоше и тише... монотонные звуки Mourir pour la patrie замѣнили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... Un sous-lieutenant accablé de besogne... drin, drin, din, din, din... эту дрянь пѣлъ весь городъ, столица міра, вся Франція. Это не конецъ, вслѣдъ за тѣмъ мы заиграли и запѣли Partant pour la Syrie—вверху и Qu'aime donc Margot... Margoë—внизу, т. е. безмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя“.

Можно! Таляндье не предвидѣлъ ни Je suis la femme

à barbe, ни Сапера — онъ еще остался въ *шикѣ* и до *собаки* не доходилъ.

Недосужій, мясной развратъ взялъ верхъ надъ всѣми фіоритурами. Тѣло побѣдило духъ и, какъ я сказалъ еще десять лѣтъ тому назадъ. Марго, la fille de marbre вытѣснила Лизету Беранже и всѣхъ Леонтинъ въ мірѣ. У нихъ была своя гуманность, своя поэзія, свои понятія чести. Онѣ любили шумъ и зрѣлища больше вина и ужина, и ужинъ любили больше изъ за постановки, свѣчей, конфетъ, цвѣтовъ. Безъ танца и бала, безъ хохота и болтовни онѣ не могли существовать. Въ самомъ пышномъ гаремѣ онѣ заглохли бы, завяли бы въ годъ. Ихъ высшая представительница была Дежазе — на большой сценѣ свѣта и на маленькой théâtre des Variétés. Живая пѣсня Беранже, притча Вольтера, молодая въ сорокъ лѣтъ. Дежазе, мѣнявшая поклонниковъ какъ почетный караулъ, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встрѣчному, чтобъ выручить свою пріятельницу изъ бѣды.

Нынче все опрощено, сокращено, все *ближе къ цѣли*, какъ говорили встарь помѣщики, предпочитавшіе водку вину. Женщина съ *фіономъ* интриговала, занимала — женщина *съ шикомъ* жалила, смѣшила и обѣ, сверхъ денегъ, брали время. *Собака* съ разу бросается на свою жертву, кусаетъ своей красотой и тащитъ за полу sans phrase. Тутъ нѣтъ предисловій — тутъ въ началѣ эпилогъ. Даже благодаря попечительному начальству и факультету, нѣтъ двухъ прежнихъ опасностей. Полиція и медицина сдѣлали большіе успѣхи въ послѣднее время.

... А что будетъ послѣ *собаки?* Pieuvre Гюго рѣшительно не удалась, можетъ оттого, что слишкомъ похожа на pleutre — не остановиться же на собакѣ. Впро-

чемъ оставимъ пророчества. Судьбы Провидѣнія неисповѣдимы.

Меня занимаетъ другое.

Которое-то изъ двухъ будущихъ Касандриной пѣсни исполнилось надъ Леонтиной? Что ея нѣкогда граціозная головка, покоится-ли на подушкѣ обшитой кружевами въ *своемъ* отелѣ, или она склонилась на жесткій, больничный валекъ, для того, чтобъ уснуть на вѣки, или проснуться на горе и бѣдность. А можетъ не случилось ни того, ни другого и она хлопочетъ, чтобъ дочь выдать замужъ, копитъ деньги, чтобъ купить подставнаго сыну... Вѣдь она ужъ не молода теперь, и не бось давно перегнула за тридцать.

II

МАХРОВЫЕ ЦВѢТЫ.

Въ *нашей Европѣ* повторялось въ уменьшенномъ по количеству и въ увеличенномъ или искаженномъ по качеству видѣ все, что дѣлалось въ Европѣ *европейской*. У насъ были ультра-католики изъ православныхъ, либеральные буржуа изъ графовъ, императорскіе роялисты, канцелярскіе демократы и Лейбъ-Гвардіи Преображенскіе или Конногвардейскіе бонапартисты. Мудрено-ли, что и по дамской части не обошлось безъ своихъ chique и chien. Съ той разницей, что нашъ demi monde былъ *одинъ съ четвертью*.

Наши Травіаты и Камеліи большей частью титулярныя, т. е. почетныя, растутъ совсѣмъ на другой почвѣ и цвѣтутъ въ другихъ сферахъ, чѣмъ ихъ парижскіе первообразы. Ихъ надобно искать не внизу, не долу, а на вершинахъ. Онѣ не поднимаются какъ туманъ, а

опускаются какъ роса. Княгиня-Камелія и Травіата съ тамбовскимъ или воронежскимъ имѣніемъ — явленіе чисто русское и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не Европы, ея нравы много были спасены крѣпостнымъ правомъ, на которое теперь такъ много клевещутъ. Любовь была печальна въ деревнѣ, она своего кровнаго называла „болѣзнымъ“, словно чувствуя за собой что она краденая у барина и онъ можетъ всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господскій дворъ дрова, сѣно, барановъ и своихъ дочерей по обязанности. Это былъ священный долгъ, коронная служба, отъ которой отказываться нельзя было, не дѣлая преступленія противъ нравственности и религіи, и не навлекая на себя розогъ помѣщика и кнута всей имперіи. Тутъ было не до *шику*, а иногда до топора, чаще до рѣки, въ которой гибла никѣмъ не замѣченная Палашка или Лушка.

Что сталось послѣ освобожденія, мы мало знаемъ, и потому больше держимся барынь. Онѣ дѣйствительно за границей мастерски усвоиваютъ себѣ и съ чрезвычайной быстротой и ловкостью всѣ ухватки, весь habitus лоретокъ. Только при тщательномъ разсматриваніи замѣчается, что чего-то не достаетъ. А не достаетъ самой простой вещи—*быть лореткой*. Это все Петръ I, работающій молотомъ и долотомъ въ Саардамѣ, воображая, что дѣлаетъ дѣло. Наши барыни изъ ума и праздности, отъ избытка и скуки *шутятъ въ ремесло*, такъ какъ ихъ мужья играютъ въ токарный станокъ.

Этотъ характеръ ненужности, махровости мѣняетъ дѣло. Съ русской стороны чувствуется превосходная декорація, съ французской — правда и необходимость. Отсюда громадныя разницы. Травіату tout de bon бываетъ часто душевно жаль, „dame aux perles“ почти

никогда; надъ одной подчасъ хочется плакать, надъ другой всегда смѣяться. Имѣя наслѣдственныхъ двѣ, три тысячи душъ, сперва вѣчно, нынѣ временно раззоряемыхъ крестьянъ, многое можно — интриговать на игорныхъ водахъ, эксцентрически одѣваться, лежа сидѣть въ колескѣ, свистать, шумѣть, дѣлать скандалы въ ресторанахъ, заставлять краснѣть мущинъ, мѣнять любовниковъ, ѣздить съ ними на parties fines, на разныя „каллистеническія упражненія и конверсаціи,“ пить шампанское, курить гаванскія сигары и ставить пригоршни золота на „черное или красное“... можно быть Мессалиной и Екатериной, — но, какъ мы сказали, лореткой быть нельзя, не смотря на то, что лоретки не родятся, какъ поэты, а дѣлаются. У каждой лоретки своя исторія, свое посвященіе, втѣсненное обстоятельствами. Обыкновенно бѣдная дѣвушка идетъ, не зная куда, и наталкивается на грубый обманъ, на грубую обиду. Отъ сломленной любви, отъ сломленнаго стыда у нея являются dépit, досада, своего рода жажда мести и съ тѣмъ вмѣстѣ жажда опьяненья, шума, нарядовъ — кругомъ нужда—деньги только *однимъ* путемъ и можно достать, а потому—vogue la galère. Обманутый ребенокъ безъ воспитанія вступаетъ въ бой, побѣды ее балуютъ, завлекаютъ (тѣхъ, которыя не побѣдили, мы не знаемъ, тѣ пропадаютъ безъ вѣсти), у ней въ памяти свои Маренго и Арколи — привычка владычества и пышности входитъ въ кровь. Она же всему обязана одной себѣ. Начавъ съ одного своего тѣла, она тоже пріобрѣтаетъ души и также раззоряетъ временно привязанныхъ къ ней богачей, какъ наша барыня своихъ нищихъ мужиковъ.

Но въ этомъ *также* и лежитъ вся непереходимая даль между лореткой по положенію и камеліей по ди-

летантизму. Та даль и та противоположность, которая такъ ярко выражается въ томъ, что лоретка, ужиная въ какомъ нибудь душномъ кабинетѣ Maison d'or, мечтаетъ о своемъ будущемъ салонѣ—а русская дама, сидя въ своемъ богатомъ салонѣ, мечтаетъ о трактирѣ.

Серьезная сторона вопроса состоитъ въ томъ, чтобъ опредѣлить, откуда у насъ взялась въ дамскомъ обществѣ эта потребность разгула и кутежа, потребность похвастаться своимъ освобожденіемъ; дерзко, капризно пренебречь общественнымъ мнѣніемъ и сбросить съ себя всѣ вуали и маски? И это въ то время, когда бабушки и матушки нашихъ львицъ, цѣломудренныя и патріархальныя, краснѣли до сорока лѣтъ отъ нескромнаго слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневскимъ нахлѣбникомъ, а за неимѣніемъ его — кучеромъ или буфетчикомъ.

Замѣтьте, что аристократическій камелизмъ у насъ не идетъ дальше начала сороковыхъ годовъ.

И все новое движеніе, вся возбужденность мысли, исканья, недовольства, тоски идетъ отъ того же времени.

Тутъ-то и раскрывается человѣческая и историческая сторона аристократическаго камелизма. Это своего рода полусознанный протестъ противъ старинной, давящей какъ свинецъ семьи, противъ безобразнаго разврата мужчинъ. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, былъ досугъ читать, и когда она почувствовала, что „домострой“ плохо идетъ съ Ж. Сандъ, и когда она наслушалась восторженныхъ разсказовъ о Бланшахъ и Селестинахъ—у нея терпѣнье лопнуло и она закусила удила. Ея протестъ былъ дикъ, но вѣдь и положеніе было дико. Ея оппозиція не была формулирована, а бродила въ крови—она была обижена. Она чувствовала

униженье, подавленность, но самобытной воли внѣ кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеніемъ, ея возмущеніе было полно избалованности и дурныхъ привычекъ, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась не освобождаясь. Въ ней оставался внутренній страхъ и неувѣренность, но ей хотѣлось дѣлать на зло и попробовать *этой другой* жизни. Противъ узкаго своеволья притѣснителей она ставила узкое своеволье лопнувшаго терпѣнья, безъ твердой направляющей мысли, но съ запосчивой отроческой бравадой. Какъ ракета, она мерцала, искрилась и падала съ шумомъ и трескомъ, но очень не глубоко. Вотъ вамъ исторія нашихъ Камелій съ гербомъ, нашихъ Травіатъ съ жемчугомъ.

Конечно и тутъ можно вспомнить желчеваго Ростопчина, говорившаго на смертномъ одрѣ о 14 Декабрѣ: „У насъ все на изнанку, во Франціи la roture хотѣла подняться до дворянства, ну оно и понятно; у насъ дворяне хотятъ сдѣлаться чернью, ну чепуха!“

Но намъ именно этотъ характеръ вовсе не кажется чепухой. Онъ идетъ очень послѣдовательно изъ двухъ началъ: изъ чуждости образованія, которое вовсе для насъ не обязательно и изъ основнаго тона другаго общественнаго порядка, къ которому мы сознательно или безсознательно стремимся.

Впрочемъ это принадлежитъ къ нашему катехизису— и я боюсь увлечься въ повторенія.

Травіаты наши въ исторіи нашего развитія не пропадутъ, онѣ имѣютъ свой смыслъ и значеніе и представляютъ удалую и разгульную ширингу авангардныхъ охотниковъ и пѣсельниковъ, которые съ присвистомъ и бубнами, куражась и подплясывая, идутъ въ первый огонь, покрывая собой болѣе серьезную фалангу, у ко-

торой нѣтъ недостатка ни въ мысли, ни въ отвагѣ, ни въ оружіи съ „иголкой.“

III.

ЦВѢТЫ МИНЕРВЫ.

Эта фаланга—сама революція, суровая въ семнадцать лѣтъ... огонь глазъ смягченъ очками, чтобъ дать волю одному свѣту ума... Sans crinolines идущія на замѣну Sans culot'амъ.

Дѣвушка-студентъ, барышня-буршъ ничего не имѣютъ общаго съ барынями-Травіатами. Вакханки посѣдѣли, оплѣшивѣли, состарѣлись и отступили, а студенты заняли ихъ мѣсто, еще не вступивши въ совершеннолѣтіе. Камеліи и Травіаты салоновъ принадлежали николаевскому времени. Такъ какъ выставочные генералы того же времени, щеголи-шагисты, побѣдители своихъ собственныхъ солдатъ, знавшіе всю туалетную часть военнаго дѣла, все кокетство вахтпарадовъ, и не замаравшіе мундира непріятельской кровью. Публичныхъ генераловъ, рысисто „дѣлавшихъ тротуаръ“ на Невскомъ, разомъ прихлопнула Крымская война. А „блескъ упоительный бала,“ будуарная любовь и шумныя оргіи *генеральшъ* круто смѣнились академической аудиторіей, анатомической залой, въ которой подстриженный студентъ въ очкахъ изучалъ тайны природы.

Тутъ надобно забыть всѣ камеліи и магноліи, забыть, что существуютъ два пола. Передъ истиной науки, im Reiche der Wahrheit различія половъ стираются.

Камеліи наши—Жиронда, оттого онѣ такъ и смахиваютъ на Фобласа.

Студенты-барышни—Якобинцы, Сенъ-Жюстъ въ амазонкѣ—все рѣзко, чисто, безпощадно.

У Камелій маска loup изъ теплой Венеціи.

У студентовъ маска же, но маска изъ невскаго льда. Первая можетъ прилипнуть, вторая непремѣнно растаетъ... но это впереди.

Тутъ настоящій, сознательный протестъ, протестъ и переломъ. Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. Разгулъ, роскошь, глумленье, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьемъ-четвертомъ планѣ. Афродита съ своимъ голымъ оруженосцемъ надулась и ушла; на ея мѣсто Паллада съ копьемъ и совой. Камеліи шли отъ неопредѣленнаго волненія, отъ негодованія, отъ несытаго и томнаго желанія... и доходили до пресыщенія. Здѣсь идутъ отъ идеи, въ которую вѣрятъ, отъ объявленія „правъ женщины,“ и исполняютъ обязанности, налагаемыя вѣрой. Однѣ отдаются по принципу, другія невѣрны по долгу. Иногда *студенты* уходятъ слишкомъ далеко, но все же остаются дѣтьми—непокорными, заносчивыми, но дѣтьми. Серьезность ихъ *радикализма* показываетъ, что дѣло въ головѣ, въ теоріи, а не въ сердцѣ.

Онѣ страстны въ общемъ и въ частную встрѣчу вносятъ не больше „патоса“ (какъ говаривали встарь), какъ всякія Леонтины. Можетъ меньше. Леонтины играютъ, играютъ огнемъ и, очень часто вспыхнувъ съ ногъ до головы, спасаются отъ пожара въ Сенѣ; утянутыя жизнью, прежде всякихъ разсужденій, имъ иной разъ трудно побѣдить свое сердце. Наши бурши начинаютъ съ анализа, съ разбора; съ ними тоже многое можетъ случиться, но сюрпризовъ не будетъ, и паденій не будетъ; онѣ падаютъ съ теоретическимъ парашютомъ.

Онѣ бросаются въ потокъ съ руководствомъ о плаваніи и намѣренно плывутъ противъ теченія.

Долго ли проплывутъ онѣ à livre ouvert, я не знаю, но мѣсто въ исторіи займутъ по всей справедливости.

Самые недогадливѣйшіе въ мірѣ люди догадались объ этомъ.

Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дѣдушки отечества съ улыбкой снисхожденья и даже поощренья смотрѣли на столбовыхъ камелій (если только онѣ не были супругами ихъ сыновей)... но *студенты* имъ не понравились... ничего не похожи на „милыхъ шалуній," съ которыми они иногда любили языкомъ отогрѣть старое сердце.

Давно гнѣвались старички на суровыхъ нигилистокъ и искали случая ихъ подвести подъ сюркупъ.

А тутъ, какъ нарочно, Каракозовъ выстрѣлилъ... „Вотъ оно, государь (стали ему нашептывать), что значитъ не по формѣ одѣваться... всѣ эти очки, клочки." „Какъ? не по утвержденной формѣ," говоритъ государь, „строжайше предписать." „Попущенье, в. в., попущенье! Мы только и ожидали милостиваго разрѣшенія спасать священную особу вашего величества."

Дѣло не шуточное, принялись дружно. Совѣтъ, сенатъ, синодъ, министры, архіереи, военноначальники, градоначальники и другія полиціи совѣщались, думали, толковали и рѣшили, во первыхъ, изгнать студентовъ женскаго пола изъ университетовъ. При этомъ одинъ изъ архіереевъ, боясь подлога, приснопамятствовалъ, какъ во время оно въ лже-каѳолической церкви на папежъ избрана была папиха Анна, и предложилъ было своихъ иноковъ... такъ какъ „предъ очами мертвецовъ срама тѣлеснаго нѣтъ." Живые не приняли его предложенія, генералы же съ своей стороны думали, что та-

кого рода экспертиза можетъ быть только поручена высшему сановнику, который своимъ мѣстомъ и довѣріемъ монарха поставленъ внѣ соблазна; хотѣли отъ военнаго вѣдомства предложить это мѣсто Адлербергу старшему и Буткову отъ статскихъ. Но и это не состоялось, говорятъ, потому, что великіе князья домогались на этотъ постъ.

Затѣмъ совѣтъ, синодъ, сенатъ приказали въ 24 часа отростить стриженые волосы, отобрать очки и обязать подпиской имѣть здоровые глаза и носить кринолины. Не смотря на то, что въ Кормчей книгѣ ничего не сказано о „обручеюбіи“ и „подолоразверстіи,“ а волосы плести просто въ ней запрещено, черное духовенство согласилось. На первый случай жизнь государя казалась обезпеченною до Елисейскихъ полей. Не ихъ вина, что въ Парижѣ тоже нашлись Елисейскія поля, да еще съ „круглой точкой.“

Чрезвычайныя мѣры эти принесли огромную пользу, и это я говорю безъ малѣйшей иронiи; кому?

Нашимъ *нигилисткамъ*.

Имъ недоставало одного: сбросить мундиръ, формализмъ и развиваться съ той широкой свободой, на которую онѣ имѣютъ большія права. Самому ужасно трудно, привыкнувъ къ формѣ, ее отбросить. Платье приростаетъ. Архіерей во фракѣ перестанетъ благословлять и говорить на *о*...

Студенты наши и бурши долго не отдѣлались бы отъ очковъ и прочихъ кокардъ. Ихъ раздѣли на казенный счетъ, прибавляя къ этой услугѣ ореолъ туалетнаго мученичества.

Затѣмъ ихъ дѣло плыть au large.

P. S. Однѣ уже возвращаются съ блестящимъ дипломомъ Доктора Медицины, и слава имъ!

Ницца. лѣтомъ 1867.

VENEZIA LA BELLA

(Февраль 1867)

Великолѣпнѣе нелѣпости, какъ Венеція, нѣтъ. Построить городъ тамъ, гдѣ городъ построить нельзя, само по себѣ безуміе; но построить такъ одинъ изъ изящнѣйшихъ, грандіознѣйшихъ городовъ—геніальное безуміе. Вода, море, ихъ блескъ и мерцанье обязываютъ къ особой пышности. Моллюски отдѣлываютъ перломутромъ и жемчугомъ свои каюты.

Одинъ поверхностный взглядъ на Венецію показываетъ, что это городъ крѣпкій волей, сильный умомъ, республиканскій, торговый, олигархическій, что это—узелъ, которымъ привязано что-то за водами, —торговой складъ подъ военнымъ флагомъ; городъ шумнаго вѣча и беззвучный городъ тайныхъ совѣщаній и мѣръ, на его площади толчется съ утра до ночи все населеніе, и, молча, текутъ изъ него рѣки улицъ въ море. Пока толпа шумитъ и кричитъ на площади св. Марка, никѣмъ не замѣченная лодка скользитъ и пропадаетъ; кто знаетъ, что подъ ея чернымъ пологомъ? Какъ тутъ было не топить людей возлѣ любовныхъ свиданій?

Люди, чувствовавшіе себя дома въ Palazzo ducale, должны были имѣть своеобразный закалъ. Они не останавливались ни передъ чѣмъ. Земли нѣтъ, деревьевъ нѣтъ, что за бѣда! давайте еще больше рѣзныхъ каменьевъ, больше орнаментовъ, золота, мозаики, ваянья, картинъ, фресковъ. Тутъ остался пустой уголъ, худаго

бога морей съ длинной мокрой бородой въ уголъ! Тутъ порожній уступъ, еще льва съ крыльями и съ евангельемъ св. Марка! Тамъ голо, пусто, коверъ изъ мрамора и мозаики туда! Кружева изъ порфира туда! Побѣда ли надъ турками или Генуей, папа ли ищетъ дружбы города, еще мрамору, цѣлую стѣну покрыть изсѣченной занавѣсью и, главное, еще картинъ. Павелъ Веронезъ, Тинторетъ, Тиціанъ—за кисть, на помостъ: каждый шагъ торжественнаго шествія морской красавицы долженъ быть записанъ потомству кистью и рѣзцомъ.

И такъ былъ живучъ духъ, обитавшій эти камни, что мало было новыхъ путей и новыхъ приморскихъ городовъ, Колумба и Васко-де-Гама, чтобъ сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтобъ на развалинахъ французскаго трона явилась „единая и нераздѣльная“ республика и на развалинахъ этой республики явился бы солдатъ, бросившій въ льва, по корсикански, стилетъ, отравленный Австріей. Но Венеція переработала ядъ и снова оказывается живою черезъ полстолѣтіе.

Да живою ли? Трудно сказать, что уцѣлѣло, кромѣ великой раковины, и есть ли новая будущность Венеціи... Да и въ чемъ будущность Италіи вообще? Для Венеціи, можетъ, она въ Константинополѣ, въ томъ вырѣзывающемся смутными очерками изъ-за восточнаго тумана свободномъ союзничествѣ воскресающихъ славяно-эллинскихъ народностей.

А для Италіи?... Объ этомъ послѣ. Теперь въ Венеціи карнавалъ, первый карнавалъ на волѣ, послѣ семидесятилѣтняго плѣненія. Площадь превратилась въ залу парижской оперы. Старый св. Маркъ весело участвуетъ въ праздникѣ съ своей иконописью и позолотой, съ патріотическими знаменами и своими языческими

лошадьми. Одни голуби, являющіеся всякій день въ два часа на площадь закуспть, сконфужены и перелетаютъ съ карниза на карнизъ, чтобъ убѣдиться, точно ли ихъ столовая въ такомъ безпорядкѣ.

Толпа все растетъ, le peuple s'amuse, дурачится отъ души, изъ всѣхъ силъ, съ большимъ комическимъ талантомъ въ декламаціи и словахъ, въ выговорѣ и жестахъ, но безъ кантаридности парижскихъ Пьеро, безъ вульгарной шутки нѣмца, безъ нашей родной грязи. Отсутствіе всего неприличнаго удивляетъ, хотя смыслъ его ясенъ. Это—шалость, отдыхъ, забава цѣлаго народа, а не вахтпарадъ публичныхъ домовъ, ихъ сукурсалей, жительницамъ которыхъ, снимая многое другое, прибавляютъ маску, въ родѣ бисмарковой иголки, чтобъ усилить и сдѣлать неотразимѣе выстрѣлы. Здѣсь онѣ были бы неумѣстны; здѣсь тѣшится народъ, здѣсь тѣшится сестра, жена, дочь, и горе тому, кто оскорбитъ маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чѣмъ былъ Станиславъ въ петлицѣ для станціоннаго смотрителя*).

Сначала карнавалъ оставлялъ меня въ покоѣ, но онъ все росъ и, при своей стихійной силѣ, долженъ былъ утянуть всякаго.

Мало ли какой вздоръ можетъ случиться, когда пляска св. Витта овладѣваетъ цѣлымъ населеніемъ въ шутовскихъ костюмахъ. Въ большой залѣ ресторана сидятъ сотни, можетъ больше, лилово-бѣлыхъ масокъ; онѣ проѣхали по площади на раззолоченомъ кораблѣ,

*) Годъ спустя я видѣлъ карнавалъ въ Ниццѣ. Какая страшная разница, не говоря о солдатахъ въ полномъ боевомъ вооруженіи, ни жандармахъ, ни комисарахъ полиціи съ шарфами... сама масса народа, не туристовъ. дивила меня. Пьяныя маски ругались и дрались съ людьми, стоявшими въ воротахъ, сильные тумаки сшибали въ грязь бѣлыхъ Пьеро.

который тащили быки (все сухопутное и четвероногое въ Венеціи рѣдкость и роскошь), теперь онѣ пьютъ и ѣдятъ. Одинъ изъ гостей предлагаетъ курьезность и берется ее достать, *курьезность эта—я.*

Господинъ, едва знакомый со мной, бѣжитъ ко мнѣ въ Albergo Danieri, умоляетъ, проситъ явиться съ нимъ на минуту къ маскамъ. Глупо идти, глупо ломаться, я иду. Меня встрѣчаютъ evviva и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздоръ, evviva сильнѣе: одни кричатъ evviva l'amico di Garibaldi, другіе—poeta russo! Боясь, что лилово-бѣлые будутъ пить за меня, какъ за pittore Slavo, scultore e maestro, я ретируюсь на Piazza St Marco.

На площади стѣна людей; я прислонился къ пилястрѣ, гордый титуломъ поэта; возлѣ меня стоялъ мой проводникъ, исполнившій mandat d'amener лилово-бѣлыхъ. „Боже мой, какъ она хороша!“ сорвалось у меня съ языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый, не говоря худаго слова, схватилъ меня и разомъ поставилъ передъ ней. „Это тотъ *русскій*,“ началъ мой польскій графъ. „Хотите вы мнѣ дать руку послѣ этого слова?“ перебилъ я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по русски, что давно хотѣла меня видѣть, и такъ симпатически взглянула на меня, что я еще разъ пожалъ ея руку и проводилъ глазами, пока было видно.

Цвѣтокъ, сорванный ураганомъ, смытый кровью съ своихъ литовскихъ полей, думалъ я, глядя ей вслѣдъ, не своимъ теперь свѣтитъ твоя красота.

Я сошелъ съ площади и поѣхалъ встрѣчать Гарибальди. На водѣ все было тихо... нестройно доносился шумъ карнавала. Строгія, насупившіяся массы домовъ тѣснятся все ближе и ближе къ лодкѣ, глядятъ на нее

фонарями, у подъѣзда всплескиваетъ правило, блеснетъ стальной крючекъ, прокричитъ лодочникъ: aprі—sia stale... и опять тихо вода утягиваетъ въ переулокъ, и вдругъ домы опять раздвигаются; мы въ Gran Canal'ѣ... Fejovia Signoie, говоритъ гондольеръ, картавя, какъ картавитъ весь городъ. Гарибальди остался въ Болоньи и не пріѣзжалъ. Машина, ѣхавшая во Флоренцію, стонала въ ожиданіи свистка. Уѣхать бы и мнѣ, завтра маски надоѣдятъ, завтра не увижу я славянской красавицы...

... Городъ принялъ Гарибальди блестящимъ образомъ. Gran Canal представлялъ почти сплошной мостъ; для того, чтобъ попасть въ нашу лодку, уѣзжая, намъ надобно было перейти черезъ десятки другихъ. Правительство и его кліенты сдѣлали все возможное, чтобъ показать, что дуются на Гарибальди. Если принцу Амедею были приказаны его отцемъ всѣ мелкія неделикатности, вся подленькая пикировка, то отчего же у этого мальчика-итальянца не заговорило сердце, отчего онъ не примирилъ на минуту городъ съ королемъ и королевскаго сына съ совѣстью? Вѣдь Гарибальди имъ подарилъ двѣ короны двухъ Сицилій!

Я нашелъ Гарибальди и не состарѣвшимся, и не больнымъ, послѣ лондонскаго свиданія въ 1864. Но онъ былъ невеселъ, озабоченъ и не разговорчивъ съ венеціанцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящій хоръ—народныя массы; онъ ожилъ въ Кіожіи, гдѣ его ждали лодочники и рыбаки; мѣшаясь въ толпу, онъ говорилъ этимъ простымъ бѣднякамъ: „Какъ мнѣ съ вами хорошо и дома, какъ я чувствую, что родился отъ работниковъ и былъ работникомъ; несчастья нашей родины оторвали меня отъ мирныхъ занятій. Я также выросъ на берегу моря и знаю каждую работу

вашу...“ Стонъ восторга покрылъ слова бывшаго лодочника, народъ ринулся къ нему; „дай имя моему новорожденному,“ кричала женщина, „благослови моего, и моего,“ кричали другія. Храбрый генералъ Ламармора и неутѣшный вдовецъ Рикасоли, со всѣми вашими Шіаолами, Депретисами, вы ужъ отложите попеченіе разрушить эту связь, она затянута мужицкой, работничьей рукой и такой веревкой, которую вамъ не перетереть со всѣми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всѣми вашими грошевыми Макіавелли.

Теперь воротимтесь къ вопросу: что ждетъ Италію впереди, какую будущность имѣетъ она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповѣдывалъ Маццини, ту ли, къ которой ведетъ Гарибальди... ну хоть ту ли, которую осуществлялъ Кавуръ?

Вопросъ этотъ отбрасываетъ насъ разомъ въ страшную даль, во всѣ тяжкія—самыхъ скорбныхъ и самыхъ спорныхъ предметовъ. Онъ прямо касается тѣхъ внутреннихъ убѣжденій, которыя легли въ основу нашей жизни и той борьбы, которая такъ часто раздвояетъ насъ съ друзьями, а иной разъ ставитъ на одну сторону съ противниками.

Я сомнѣваюсь *въ будущности латинскихъ народовъ*, сомнѣваюсь въ ихъ *будущей* плодотворности, имъ нравится процессъ переворотовъ, но тягостенъ добытый прогрессъ. Они любятъ рваться къ нему—не достигая.

Идеалъ итальянскаго освобожденія—бѣденъ, въ немъ опущенъ съ одной стороны существенный, животворный элементъ, и какъ на зло съ другой оставленъ элементъ старый, тлетворный, умирающій и мертвящій. Итальянская революція была до сихъ поръ боемъ за независимость.

Конечно, если земной шаръ не дастъ трещины, или

комета не пройдетъ слишкомъ близко и не накалитъ нашей атмосферы, Италія и въ будущемъ *будетъ* Италіей, страной синяго неба и синяго моря, изящныхъ очертаній, прекрасной, симпатической породы людей, людей музыкальныхъ, художниковъ отъ природы. Конечно, и то, что весь этотъ военный и штатскій genie ménage. и слава и позоръ, и падшія границы и возникающія камеры, все это отразится въ ея жизни, — она изъ клерикально-деспотической сдѣлается (и дѣлается) буржуазно-парламентской, изъ дешевой — дорогой, изъ неудобной — удобной и пр., и пр. Но этого мало и съ этимъ еще далеко не уйдешь. Не дуренъ и другой берегъ, который омываетъ тоже синее море, не дурна и та, доблестная и угрюмая, порода людей, которая живетъ за Пиринеями; внѣшняго врага у нея нѣтъ, камера есть, наружное единство есть... ну что же при всемъ этомъ Испанія?

Народы живучи, вѣка могутъ они лежать *подъ паромъ* и снова, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, оказываются исполненными силъ и соковъ. Но тѣми ли они возстаютъ, какъ были?

Сколько вѣковъ, я чуть не сказалъ тысячелѣтій, греческій народъ былъ стертъ съ лица земли, какъ государство, и все же онъ остался живъ и въ ту самую минуту, когда вся Европа угорала въ чаду реставрацій, Греція проснулась и встревожила весь міръ. Но греки Каподистрія были ли похожи на грековъ Перикла или на грековъ Византіи? Осталось одно имя и натянутое воспоминаніе. Обновиться можетъ и Италія, но тогда ей придется начать другую исторію. Ея освобожденіе только *право на существованіе.*

Примѣръ Греціи очень идетъ; онъ такъ далекъ отъ насъ, что меньше возбуждаетъ страстей. Греція Аѳин-

ская, Македонская, лишенная независимости Римомъ, является снова государственно-самобытной въ Византійскій періодъ. Что же она дѣлаетъ въ немъ? Ничего или хуже, богословскую контроверзу, *серальные* перевороты par anticipation. Турки помогаютъ застрялой природѣ и придаютъ блескъ зарева ея насильственной смерти. Древняя Грецiя *изжила свою жизнь*, когда римское владычество накрыло ее и спасло, какъ лава и пепелъ спасли Помпею и Геркуланумъ. Византійскій періодъ поднялъ гробовую крышу и мертвый остался мертвымъ, имъ завладѣли попы и монахи, какъ всякой могилой, имъ распоряжались евнухи, совершенно на мѣстѣ какъ представители безплодности. Кто не знаетъ разсказовъ о томъ, какъ крестоносцы были въ Византіи — въ образованіи, въ утонченности нравовъ не было сравненія, но эти дикіе латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремленій, они шли впередъ, съ ними былъ *Богъ исторіи*. Ему люди не по хорошу милы, а по коренастой сплѣ и по своевременности ихъ à propos. Оттого-то читая скучныя лѣтописи, мы радуемся, когда съ сѣверныхъ снѣговъ скатываются варяги, плывутъ на какихъ-то скорлупахъ славяне, и клеймятъ своими щитами гордые стѣны Вазантіи. Я ученикомъ не могъ нарадоваться на дикаря, въ рубахѣ, одноко гребущаго свою комягу, отправляясь съ золотой серьгой въ ушахъ на свиданье съ пзнѣженнымъ, набогословленнымъ, пышнымъ, книжнымъ императоромъ Цимисхіемъ.

Подумайте объ Византіи; пока наши славянофилы не пустили еще въ свѣтъ новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее, она многое объяснитъ изъ того, что такъ тяжело сказать.

Византія могла *жить*, но *дѣлать* ей было нечего; а

исторію вообще только народы и занимаютъ пока они на сценѣ, т. е. пока они что нибудь дѣлаютъ.

... Помнится, я упоминалъ объ отвѣтѣ Томаса Карлейля мнѣ, когда я ему говорилъ о строгостяхъ парижской ценсуры: „Да что вы такъ на нее сердитесь“, замѣтилъ онъ, „заставляя французовъ молчать, Наполеонъ сдѣлалъ имъ величайшее одолженіе, *имъ нечего сказать*, а говорить хочется... Наполеонъ далъ имъ внѣшнее оправданіе...“ Я не говорю, на сколько я согласенъ съ Карлейлемъ или нѣтъ, но спрашиваю себя: *будетъ ли что* Италіи сказать и сдѣлать на другой день послѣ занятія Рима? И иной разъ не пріискавъ отвѣта, я начинаю желать, чтобъ Римъ остался еще на долго оживляющимъ desideratum'омъ.

До Рима все пойдетъ не дурно, хватитъ и энергіи, и силы, лишь бы хватило денегъ... до Рима Италія многое вынесетъ, и налоги, и піэмонтское мѣстничество, и грабящую администрацію, и сварливую и докучную бюрократію; въ ожиданіи Рима все кажется неважнымъ, для того чтобы, имѣть его можно стѣсниться, надобно стоять дружно. Римъ — черта границы, знамя, онъ передъ глазами, онъ мѣшаетъ спать, мѣшаетъ торговать, онъ поддерживаетъ лихорадку. Въ Римѣ все перемѣнится, все оборвется... тамъ кажется заключеніе, вѣнецъ; совсѣмъ нѣтъ, тамъ *начало*.

Народы, искупающіе свою независимость, никогда не знаютъ, и это превосходно, что независимость сама по себѣ ничего не даетъ, кромѣ правъ совершеннолѣтія, кромѣ мѣста между перами, кромѣ признанія гражданской способности *совершать акты*, и только.

Какой-же *актъ* возвѣстится намъ съ высоты Капитолія и Квиринала, что провозгласится міру на Римскомъ

Форумѣ, или на томъ балконѣ, съ котораго папа вѣка благословлялъ „вселенную и городъ“.

Провозгласить „независимость“ sans phrase — мало. А другаго ничего нѣтъ.,. и мнѣ подъ часъ кажется, что въ тотъ день, когда Гарибальди броситъ свой ненужный больше мечъ и надѣнетъ тогу virilis на плечи Италіи, ему останется всенародно обняться на берегахъ Тибра съ своимъ maestro Маццини и сказать съ нимъ вмѣстѣ „Нынѣ отпущаеши!“

Я это говорю за нихъ, а не противъ нихъ.

Будущность ихъ обезпечена, ихъ два имени станутъ высоко и свѣтло во всей Италіи отъ Фьюме до Мессины и будутъ подыматься выше и выше во всей печальной Европѣ, по мѣрѣ историческаго пониженія и измельчанія ея людей.

Но врядъ пойдетъ-ли Италія по программѣ великаго карбонаро и великаго воина; ихъ религія совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла мечъ, это труба, разбудившая спящихъ, знамя, съ которымъ Италія завоевала себя..... Половина идеала Маццини исполнилась и именно потому, что другая часть далеко перехватывала черезъ возможное. Что Маццини теперь ужъ сталъ слабѣе, въ этомъ его успѣхъ и величіе, онъ сталъ *бѣднѣе* той частію своего идеала, которая перешла въ дѣйствительность, это слабость послѣ родовъ. Въ виду берега, Колумбу стоило плыть, и нечего было употреблять всѣ силы своего неукротимаго духа. Мы въ нашемъ кругѣ испытали подобное... гдѣ сила, которую придавала нашему слову борьба противъ крѣпостнаго права, противъ отсутствія всякаго суда, всякой гласности?

Римъ—Америка Маццини... дальнѣйшихъ зародышей

[illegible] въ прошедшемъ [illegible] [illegible] за единство и [illegible].

— [illegible] республика?

[illegible]

[illegible] Италію, [illegible] [illegible] и [illegible] съ [illegible]. Принцессы и [illegible], банкиры и доктора, актеры и [illegible], художники и адвокаты, все образованное въ мѣщанствѣ, все подымавшее голову между работниками, офицеры и солдаты, все тайно, явно, было съ ними, работало для нихъ. Республики хотѣли немногіе, независимости и единства всѣ. Независимости они добились, единство на французскій манеръ имъ опротивѣло, республики они не хотятъ. Современный порядокъ дѣлъ во многомъ итальянцамъ по плечу, имъ туда же хочется представлять „сильную и величественную“ фигуру въ сонмѣ европейскихъ государствъ и, найдя эту bella e grande figura въ Викторѣ Эмануилѣ, они держутся за него*).

*) Одинъ милѣйшій венгерецъ, графъ С. Т., служившій потомъ въ Италіи кавалерійскимъ полковникомъ, смѣясь какъ-то надъ мишурной роскошью флорентійскихъ щеголей, сказалъ мнѣ: „Помните бѣгъ въ Москвѣ или гулянье… глупо, но имѣетъ характеръ, кучеръ налитъ виномъ, шапка на бекрень, лошади въ нѣсколько тысячъ рублей, и баринъ замираетъ въ блаженствѣ и соболяхъ. А тутъ тощій графъ какой нибудь заложитъ чахлыхъ клячъ, съ тикомъ въ

Представительная система въ ея континентальномъ развитіи дѣйствительно всего лучше идетъ, когда нѣтъ ничего яснаго въ головѣ, или ничего возможнаго на дѣлѣ. Это великое *покамѣсть*, которое перетираетъ углы и крайности обѣихъ сторонъ въ муку и выигрываетъ время. Этимъ жерновомъ часть Европы прошла, другая пройдетъ и мы грѣшные въ томъ числѣ. Чего Египетъ? и тотъ въѣхалъ на верблюдахъ въ представительную мельницу, подгоняемый арапникомъ.

Я не виню, ни большинство плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, такъ долго оставленныя на воспитаніи клерикаловъ, я не виню даже правительство: да и какъ же его винить за ограниченность, за неумѣнье, за недостатокъ порыва, поэзіи, такта. Оно родилось въ Кариньянскомъ дворцѣ, среди ржавыхъ готическихъ мечей, пудреныхъ старинныхъ париковъ и накрахмаленнаго этикета маленькихъ дворовъ съ огромными притязаніями.

Любви оно не вселило къ себѣ, совсѣмъ напротивъ, но отъ этого оно не слабже стало. Я былъ удивленъ въ 1863 общей нелюбовью въ Неаполѣ къ правительству. Въ 1867 въ Венеціи я видѣлъ безъ малѣйшаго удивленія, что черезъ три мѣсяца послѣ освобожденія. его терпѣть не могли. Но при этомъ я еще яснѣе увидѣлъ, *что бояться ему нечего*, если оно само не надѣлаетъ ряда колосальныхъ глупостей, хотя и онѣ ему сходятъ съ рукъ необыкновенно легко.

Примѣръ того и другаго передъ глазами, я его приведу въ нѣсколькихъ строкахъ.

ногахъ, прядущихъ головой, и тотъ же неуклюжій, худенькой Жакопо, который у него садовникъ и поваръ, сидитъ на козлахъ, дергаетъ возжи, одѣтый въ ливрею не по мѣркѣ, а графъ проситъ его: Жакопо, Жакопо, fate una grande e bella figura. Я прошу у графа Т. ссудить меня этимъ выраженіемъ.

Къ разнымъ каламбурамъ, которыми правительства иногда удостоиваютъ отводить народамъ глаза, въ родѣ „Prisonniers de la paix“ Людовика Филиппа, „Имперія — миръ“ Людовика Наполеона, Рикасоли прибавилъ свой, и законъ, которымъ *закрывалъ большую часть* достоянія духовенству, назвалъ закономъ „*о свободѣ* (или независимости) *церкви въ свободномъ государствѣ*“. Всѣ недоросли либерализма, всѣ люди, не идущіе дальше заглавія, обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало побѣду; сдѣлка была явнымъ образомъ выгодна духовенству. Явился бельгійскій грѣшникъ и мытарь, за котораго спрятались отцы іезуиты. Онъ привезъ съ собой груды золота, цвѣтъ котораго въ Италіи давно не видали, и предлагалъ большую сумму правительству, съ тѣмъ, чтобъ обезпечить духовенству законное владѣніе имѣніями, выпытанными на духу, набранными у умирающихъ преступниковъ и всякихъ нищихъ духомъ.

Правительство видѣло одно—деньги; дураки—другое: *американскую* свободу церкви въ свободномъ государствѣ. Теперь же въ модѣ прикидывать европейскія учрежденія на американскій ярдъ. Герцогъ Персиньи находитъ неумѣренное сходство между второй имперіей и первой республикой нашего времени.

Однако какъ ни хитрили Рикасоли и Шіаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована и подтасована безъ нея. Банкиръ прикидывался импрезаріемъ и старался скупать итальянскіе голоса, но на этотъ разъ дѣло было въ февралѣ, камера охрипла. Въ Неаполѣ подняли ропотъ, въ Венеціи созвали сходку въ театръ Малибранъ для протеста. Рикасоли велѣлъ запереть театръ и поставить часовыхъ. Безъ сомнѣнія изъ всѣхъ про-

маховъ, которые можно было сдѣлать, нельзя было ничего придумать глупѣе. Венеція, только что освобожденная, хотѣла воспользоваться оппозиціоннымъ правомъ и была полицейски подрѣзана. Собираться для празднованія короля и подносить букеты al gran comendatore Ла Мармора ничего не значитъ. Еслибъ венеціанцы хотѣли дѣлать сходки для празднованія австрійскихъ архидюковъ, имъ конечно позволили бы. Опасности сходка въ театрѣ Малибранъ не представляла никакой.

Камера встрепенулась и спросила отчета. Рикасоли отвѣчалъ дерзко, высокомѣрно, какъ подобаетъ послѣднему представителю Рауля синей бороды, средневѣковому графу и феодалу. Камера, „увѣренная, что министерство не желаетъ уменьшить право сходокъ," хотѣла перейти къ очереди. Рауль взбѣшенный уже тѣмъ, что его законъ „о свободѣ церкви", въ которомъ онъ не сомнѣвался, сталъ проваливаться въ комитетахъ, объявилъ, что онъ не можетъ принять ordre du jour motivé. Обиженная камера вотировала противъ него. За такую продерзость онъ на другой день отсрочилъ камеру, на третій распустилъ, на четвертый думалъ еще о какой-то крутой мѣрѣ, но говорятъ Чальдини сказалъ королю, что на войско расчитывать трудно.

Бывали примѣры, что правительства зарапортовавшись пріискивали дѣльный предлогъ, чтобъ сдѣлать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелѣпый предлогъ, чтобъ засвидѣтельствовать свое пораженіе. Если правительство будетъ дальше и рѣзче идти этимъ путемъ, можетъ оно и сломитъ себѣ шею; расчитывать, предвидѣть можно только то, что сколько нибудь покорено разуму; всемогущество безумія не имѣетъ границъ, хотя и имѣетъ почти всегда возлѣ ка-

кого нибудь Чальдини, который въ опасную минуту вольетъ шайку холодной воды на голову.

А если Италія вживется въ этотъ порядокъ, сложится въ немъ, она его не вынесетъ безнаказанно. Такого призрачнаго міра лжи и пустыхъ словъ, фразъ безъ содержанія трудно переработать народу *менѣе бывалому* чѣмъ французы. У Франціи все *не въ самомъ дѣлѣ*, но все есть, хоть для вида и показа; она какъ старики, впавшіе въ дѣтство, увлекается игрушками; подъ часъ и догадывается, что ея лошади деревянныя, но хочетъ обманываться. Италія не совладаетъ съ этими тѣнями китайскаго фонаря съ лунной независимостью, освѣщаемой въ три четверти тюльерійскимъ солнцемъ, съ церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживаютъ, какъ за безумной бабушкой въ ожиданіи ея скорой смерти. Картофельное тѣсто парламентаризма и риторика камеръ не дастъ итальянцу здоровья. Его забьетъ, сведетъ съ ума эта мнимая пища и не въ самомъ дѣлѣ борьба. А другаго ничего не готовится. Что-же дѣлать? гдѣ выходъ? Не знаю, развѣ въ томъ, что, провозгласивши въ Римѣ единство Италіи, вслѣдъ за тѣмъ провозгласить ея распаденіе на самобытныя, самозаконныя части, едва связанныя между собой. Въ десяти живыхъ узлахъ можетъ больше выработаться, если есть чему вырабатываться, оно же и совершенно въ духѣ Италіи.

... Середь этихъ разсужденій мнѣ попалась брошюра Кине: „Франція и Германія“; я ей ужасно обрадовался не то чтобъ я особенно зависѣлъ отъ сужденій знаменитаго историка-мыслителя, котораго лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

Въ старые годы въ Петербургѣ одинъ пріятель извѣстный своимъ юморомъ, найдя у меня на столѣ книгу

берлинскаго Мишле „о безсмертіи духа,“ оставилъ мнѣ записочку слѣдующаго содержанія: „Любезный другъ, когда ты прочтешь эту книгу, потрудись сообщить мнѣ вкратцѣ, есть безсмертіе души или нѣтъ. Мнѣ все равно, но желалъ бы знать для *успокоенія родственниковъ*“. Вотъ для *родственниковъ* то и я радъ тому, что встрѣтился съ Кине. Наши друзья до сихъ поръ, не смотря на заносчивую позу, которую многіе изъ нихъ приняли относительно европейскихъ авторитетовъ, ихъ больше слушаютъ, чѣмъ своего брата. Оттого то я и старался, когда могъ, ставить свою мысль подъ покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорилъ, что у дверей Франціи не Катилина, а смерть; держась за полу Стюарта Милля, я твердилъ объ англійскомъ китаизмѣ и очень доволенъ, что могу взять за руку Кине и сказать; „вотъ и почтенный другъ мой Кине говоритъ въ 1867 о латинской Европѣ то, что я говорилъ обо всей въ 1847 и во всѣ послѣдующіе“.

Кине съ ужасомъ и грустью видитъ пониженіе Франціи, размягченіе ея мозга, ея омельчаніе. Причины онъ не понимаетъ, ищетъ ее въ отклоненіи Франціи отъ началъ 1789 года, въ потерѣ политической свободы и потому въ его словахъ изъ за печали сквозитъ скрытая надежда на выздоровленіе возвращеніемъ къ серьезному парламентскому режиму, къ великимъ принципамъ революціи.

Кине не замѣчаетъ, что великія начала, о которыхъ онъ говоритъ, и вообще политическія идеи латинскаго міра потеряли свое значеніе, ихъ пружина доиграла и чуть-ли не лопнула. Les principes de 1789 не были фразой, но теперь стали фразой, какъ литургія и слова молитвы. Заслуга ихъ огромна, *ими*, *черезъ нихъ* Фран-

ція совершила свою революцію, она приподняла завѣсу будущаго и испуганная отпрянула.

Явилась дилемма.

Или свободныя учрежденія снова коснутся завѣтной завѣсы, или правительственная опека, внѣшній порядокъ и внутреннее рабство.

Еслибъ въ европейской народной жизни была одна цѣль, одно стремленіе, та или другая сторона взяла бы давно верхъ. Но такъ какъ сложилась западная исторія, она привела къ вѣчной борьбѣ. Въ основномъ бытовомъ фактѣ двойнаго образованія лежитъ органическое препятствіе послѣдовательному развитію. Жить въ двѣ цивилизаціи, въ два пласта, въ два свѣта, въ два возраста, жить не цѣлымъ организмомъ, а одной частью его, употреблять на топливо и кормъ другую и повторять о свободѣ и равенствѣ становится труднѣе и труднѣе.

Опыты выйти къ болѣе гармоническому, уравновѣшенному строю не имѣли успѣха. Но если они не имѣли успѣха въ данномъ мѣстѣ, это больше доказываетъ неспособность мѣста, чѣмъ ложность начала.

Въ этомъ-то и лежитъ вся сущность дѣла.

Сѣверо-американскіе штаты съ своимъ единствомъ цивилизаціи легко опередятъ Европу, ихъ положеніе проще. Уровень ихъ цивилизаціи ниже западно-европейскаго, *но онъ одинъ* и до него достигаютъ *всѣ*, и въ этомъ ихъ страшная сила.

Двадцать лѣтъ тому назадъ Франція рванулась титанически къ другой жизни, борясь въ потьмахъ, безсмысленно, безъ плана и другаго знанія, кромѣ знанія нестерпимой боли—она была побита „порядкомъ и цивилизаціей“, а отступилъ побѣдитель. Буржуазіи пришлось за печальную побѣду свою заплатить всѣмъ, что

она выработала вѣками усилій, жертвъ, войнъ и революцій, лучшими плодами своего образованія.

Центры силъ, пути развитія, все измѣнилось, скрывшаяся дѣятельность, подавленная работа общественнаго пересозданія бросились въ другія части, за французскую границу.

Какъ только нѣмцы убѣдились, что французскій берегъ понизился, что страшныя революціонныя идеи ея повѣтшали, что бояться ее нечего — изъ за крѣпостныхъ стѣнъ прирейнскихъ показалась прусская каска.

Франція все пятилась, каска все выдвигалась. Своихъ Бисмаркъ никогда не уважалъ, онъ навострилъ оба уха въ сторону Франціи, онъ нюхалъ воздухъ оттуда и, убѣдившись въ прочномъ пониженіи страны, онъ понялъ, что время Пруссіи настало. Понявши, онъ заказалъ планъ Мольтке, заказалъ иголки оружейникамъ и систематически, съ нѣмецкой, безцеремонной грубостію забралъ спѣлыя нѣмецкія груши и ссыпалъ смѣшному Фридриху Вильгельму въ фартухъ, увѣривъ его, что онъ герой по особенному чуду лютеранскаго бога.

Я не вѣрю, чтобъ судьбы міра оставались на долго въ рукахъ нѣмцевъ и Гогенцолерновъ. Это невозможно, это противно человѣческому смыслу, противно исторической эстетикѣ. Я скажу, какъ Кентъ Лиру, только обратно: „Въ тебѣ Боруссія нѣтъ ничего, что бы я могъ назвать царемъ“. Но все же Пруссія отодвинула Францію на второй планъ и сама сѣла на первое мѣсто. Но все же, окрасивъ въ одинъ цвѣтъ пестрые лоскутья нѣмецкаго отечества, *она* будетъ предписывать законы Европѣ до тѣхъ поръ, пока законы ея будутъ предписывать штыкомъ и исполнять картечью, по самой простой причинѣ, потому что у нея больше штыковъ и больше картечей.

За прусской волной подымется уже *другая*, не очень заботясь, нравится это или нѣтъ классическимъ старикамъ.

Англія хитро-хранитъ *видъ силы*, отошедши въ сторону, будто гордая въ своемъ мнимомъ неучастіи... она почувствовала въ глубинѣ своихъ внутренностей туже соціальную боль, которую она такъ легко вылечила въ 1848 полицейскими палками... но потуги посильнѣй... и она втягиваетъ далеко хватающіе щупальцы свои на домашнюю борьбу.

Франція удивленная, сконфуженная перемѣной положенія, грозитъ не Пруссіи войной, а Италіи, если она дотронется до временныхъ владѣній *вѣчнаго* отца, и собираетъ деньги на памятникъ Вольтеру.

Воскреситъ ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *послѣдняго* военнаго суда, разбудитъ ли ее приближеніе *ученыхъ* варваровъ?

Chi lo sa?

... Я пріѣхалъ въ Геную съ американцами, только что переплывшими океанъ. Генуя ихъ поразила. Все читанное ими въ книгахъ о старомъ свѣтѣ они увидѣли очью и не могли насмотрѣться на средневѣковыя улицы, гористыя, узкія, черныя, на необычайной вышины домы, на полуразрушенные переходы, укрѣпленія, и проч.

Мы взошли въ сѣни какого-то дворца. Крикъ восторга вырвался у одного изъ американцевъ: „Какъ эти люди жили, повторялъ онъ, какъ они жили! Что за размѣры, что за изящество! Нѣтъ, ничего подобнаго вы не найдете у насъ.“ И онъ готовъ былъ покраснѣть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева ихъ въ портретахъ, картины, картины, стѣны сдавшія цвѣтъ, старая мебель, старые гербы, нежилой

воздухъ, пустота и старикъ кустодъ въ черной вязаной скуфьѣ, въ черномъ потертомъ сертукѣ, съ связкой ключей..... все такъ и говорило, что это ужъ не домъ, а рѣдкость, саркофагъ, *пышный слѣдъ прошедшей жизни.*

— Да, сказалъ я выходя американцамъ, вы совершенно правы, люди эти хорошо *жили.*

(Мартъ 1867)

LA BELLE FRANCE

Ah! que j'ai douce souvenance
De ce beau pays de France!

III.

ANTE PORTAS

Франція была для меня заперта. Годъ спустя послѣ моего пріѣзда въ Ниццу, лѣтомъ 1851, я написалъ письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутреннихъ дѣлъ, и просилъ его дозволенія пріѣхать на нѣсколько дней въ Парижъ. „У меня въ Парижѣ домъ и я долженъ имъ заняться"; истый экономистъ не могъ не сдаться на это доказательство и я получилъ разрѣшеніе пріѣхать „на самое короткое время."

Въ 1852 я просилъ право проѣхать Франціей въ Англію —*отказъ.* Въ 1856 я хотѣлъ возвратиться изъ Англіи въ Швейцарію и снова просилъ визы—*отказъ.* Я написалъ въ фрибургскій Conseil d'Etat, что я отрѣзанъ отъ

Швейцаріи и долженъ или ѣхать тайкомъ, или черезъ Гибралтарскій проливъ, или, наконецъ, черезъ Германію, причемъ я вѣроятнѣе всего доѣду въ Петропавловскую крѣпость, а не въ Фрибургъ. Въ силу чего я просилъ Conseil d'Etat вступить въ сношеніе съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, требуя для меня проѣзда черезъ Францію. Совѣтъ отвѣчалъ мнѣ, 19 Октября 1856 года, слѣдующимъ письмомъ:

М. Г.

Вслѣдствіе вашего желанія, мы поручили швейцарскому министру въ Парижѣ сдѣлать необходимые шаги для полученія вамъ авторизаціи проѣхать Франціей, возвращаясь въ Швейцарію. Мы передаемъ вамъ текстуально отвѣтъ, полученный швейцарскимъ министромъ: „Г. Валевскій долженъ былъ совѣщаться по этому предмету съ своимъ товарищемъ внутреннихъ дѣлъ, *соображенія особенной важности,* сообщилъ ему м. в. д., заставили отказать г. Герцену въ правѣ проѣзда Франціей въ прошломъ Августѣ, что онъ не можетъ измѣнить своего рѣшенія," и пр.

Я не имѣлъ ничего общаго съ французами, кромѣ простаго знакомства; не былъ ни въ какой конспираціи, ни въ какомъ обществѣ, и занимался тогда уже исключительно русской пропагандой. Все это французская полиція, единая всезнающая, единая національная, и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня *гнѣвались* за мои статьи и связи.

Про этотъ гнѣвъ нельзя не сказать, что онъ вышелъ *изъ границъ*. Въ 1859 году я поѣхалъ на нѣсколько дней въ Брюссель съ моимъ сыномъ. Ни въ Остенде, ни въ Брюсселѣ паспорта не спрашивали. Дней черезъ шесть, когда я возвратился вечеромъ въ отель, слуга, подавая свѣчу, сказалъ мнѣ, что изъ полиціи требуютъ моего паспорта. „Во время хватились," замѣтилъ я. Слуга проводилъ меня до номера и паспортъ взялъ. Только что я легъ, часу въ первомъ, стучатъ въ дверь;

явился опять тотъ же слуга съ большимъ пакетомъ. „Министръ юстиціи покорно проситъ такого-то явиться завтра въ 11 часовъ утра въ департаментъ de la sureté publique“

— И это вы изъ за этого ходите ночью будить людей?

— Ждутъ отвѣта.

— Кто?

— Кто-то изъ полиціи.

— Ну скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашенія послѣ полуночи.

Затѣмъ я, какъ Нулинъ, „свѣчку погасилъ.“

На другое утро, въ 8 часовъ, снова стукъ въ дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгійская юстиція. „Entrez!“

Взошелъ господинъ излишне чисто одѣтый, въ очень новой шляпѣ, съ длинной цѣпочкой, толстой и на видъ золотой, въ свѣжемъ черномъ сертукѣ и пр.

Я едва, и то отчасти, одѣтый, представлялъ самый странный контрастъ человѣку, который *долженъ* одѣваться такъ тщательно съ семи часовъ утра для того, чтобъ его хоть ошибкой приняли за честнаго человѣка. Авантажъ былъ съ его стороны.

— Я имѣю честь говорить avec M Herzen père?

— C'est selon; какъ возмемъ дѣло. Съ одной стороны я отецъ, съ другой сынъ.

Это развеселило шпіона.

— Я пришелъ къ вамъ...

— Позвольте, чтобъ сказать, что министръ юстиціи меня зоветъ въ 11 часовъ въ департаментъ?

— Точно такъ.

— Зачѣмъ же министръ васъ безпокоитъ и притомъ такъ рано? Довольно того, что онъ меня такъ поздно безпокоилъ вчера ночью, прославши этотъ пакетъ.

— Такъ вы будете?

— Непремѣнно.

— Вы знаете дорогу?

— А что же намъ велѣно меня провожать?

— Помилуйте, quelle idée!

— И такъ...

— Желаю вамъ добраго дня.

— Будьте здоровы.

Въ 11 часовъ я сидѣлъ у начальника бельгійской общественной безопасности.

Онъ держалъ какую-то тетрадку и мой паспортъ. „Извините меня, что мы васъ побезпокоили, но видите, тутъ два небольшихъ обстоятельства: во первыхъ, у васъ паспортъ швейцарскій, а... онъ съ полицейской проницательностью, испытуя меня, остановилъ на мнѣ свой взглядъ.

— *А я русскій*, добавилъ я.

— Да, признаюсь, это показалось намъ странно.

— Отчего же, развѣ въ Бельгіи нѣтъ закона о натурализаціи?

— Да вы?...

— Натурализованъ десять лѣтъ тому назадъ въ Моратѣ, фрибургскаго кантона, въ деревнѣ Шатель.

— Конечно, *если такъ*, въ такомъ случаѣ я не смѣю сомнѣваться... мы перейдемъ ко второму затрудненію. Года три тому назадъ вы спрашивали дозволенія пріѣхать въ Брюссель и получили отказъ...

— Этого, mille pardon, не было и быть не могло. Какое же я имѣлъ бы мнѣніе о *свободной* Бельгіи, еслибъ я, никогда не высланный изъ нея, усомнился въ правѣ моемъ пріѣхать въ Брюссель?

Начальникъ общественной безопасности нѣсколько смутился.

— Однако, вотъ тутъ... и онъ развернулъ тетрадь.

— Видно, не все въ ней вѣрно. Вотъ вѣдь вы не знали же, что я натурализованъ въ Швейцаріи.

— Такъ-съ. Консулъ е. в. Дельпьеръ...

— Не безпокойтесь, остальное я вамъ разскажу. Я спрашивалъ вашего консула въ Лондонѣ, могу ли я перевести въ Брюссель русскую типографію, т. е. оставятъ ли типографію въ покоѣ, если я не буду мѣшаться въ бельгійскія дѣла, на что у меня не было никогда никакой охоты, *какъ вы легко повѣрите.* Г. Дельпьеръ спросилъ министра. Министръ просилъ его отклонить меня отъ моего намѣренія перевести типографію. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерскій отвѣтъ и онъ просилъ передать мнѣ эту вѣсть, какъ общаго знакомаго, Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просилъ его успокоить г. Дельпьера и увѣрить его, что я съ большей твердостью духа узналъ, что *типографію* не пустятъ въ Брюссель, „еслибъ, прибавилъ я, консулу пришлось мнѣ сообщить обратное, т. е. что меня и типографію во вѣкъ вѣковъ *не выпустятъ изъ Брюсселя*, можетъ я не нашелъ бы столько геройства.“ Видите, я очень помню всѣ обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистилъ голосъ и, читая тетрадку, замѣтилъ: Дѣйствительно такъ, я о типографіи и не замѣтилъ. Впрочемъ, я полагаю, вамъ все таки необходимо разрѣшеніе отъ министра; иначе, какъ это ни непріятно будетъ для насъ, но мы будемъ вынуждены просить васъ...“

— Я завтра ѣду.

— Помилуйте, никто не требуетъ такой поспѣшности; оставайтесь недѣлю, двѣ. Мы говоримъ на счетъ осѣдлой жизни... я почти увѣренъ, что министръ разрѣшитъ.

— [illegible]

[illegible]

[illegible] живш[illegible] въ Парижѣ, занемогла. Я опять потребовалъ визы и Персиньи опять отказалъ. Въ это время графъ Ксаверій Браницкій былъ въ Лондонѣ. Обѣдая у него, я разсказалъ объ отказѣ. „Напишите къ принцу Наполеону письмо, сказалъ Браницкій, я ему доставлю." — Съ какой же стати буду я писать Принцу? — „Это правда, пишите къ императору. Завтра я ѣду и послѣ завтра ваше письмо будетъ въ его рукахъ." — Это скорѣе, дайте подумать.

Пріѣхавъ домой, я написалъ слѣдующее письмо:

Sire,

Больше десяти лѣтъ тому назадъ я былъ вынужденъ оставить Францію по министерскому распоряженію. Съ тѣхъ поръ мнѣ два раза былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ.*) Впослѣдствіи мнѣ постоянно отказывали въ правѣ въѣзжать во Францію: между тѣмъ въ Парижѣ воспитывается одна изъ моихъ дочерей и я имѣю тамъ собственный домъ.

Я беру смѣлость отнестись прямо къ в. в. съ просьбой о разрѣшеніи мнѣ въѣзда во Францію и пребыванія въ Парижѣ насколько потребуютъ дѣла, и буду съ довѣріемъ и уваженіемъ ждать вашего рѣшенія.

*) Второй разъ мнѣ былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ въ 1858, по случаю болѣзни М. К. Рейхель. Этотъ пропускъ я получилъ по просьбѣ Ротшильда. Болѣзнь М. К. прошла и я имъ не воспользовался. Года черезъ два мнѣ объявили въ французскомъ консульствѣ, что такъ какъ я тогда не ѣздилъ, то пропускъ не имѣетъ больше значенія.

Во всякомъ случаѣ, Sire, я даю слово, что желаніе мое имѣть право ѣздить во Францію не имѣетъ никакой политической цѣли.

Остаюсь съ глубочайшимъ почтеніемъ
вашего величества
покорнѣйшимъ слугой
А. Г.

31 Мая 1861.
Лондонъ, Орсетъ Гаусъ, Уэстборнъ Террасъ.

Браницкій нашелъ, что письмо *сухо*, потому вѣроятно и не достигнетъ цѣли. Я сказалъ ему, что другаго письма не напишу, и что если онъ хочетъ сдѣлать мнѣ услугу, пусть его передастъ, а возьметъ раздумье, пусть броситъ въ каминъ. Разговоръ этотъ былъ на желѣзной дорогѣ. Онъ уѣхалъ.

А черезъ четыре дня я получилъ слѣдующее письмо изъ французскаго посольства:

Парижъ, 3 Іюня 1861.

Кабинетъ
Префекта Полиціи
I Бюро

М. Г.

По приказанію императора имѣю честь сообщить вамъ, что е. в. разрѣшаетъ вамъ въѣздъ во Францію и пребываніе въ Парижѣ всякій разъ, когда дѣла ваши этого потребуютъ, такъ какъ вы проспми вашимъ письмомъ отъ 31 Мая.

Вы можете слѣдственно свободно путешествовать во всей имперіи, соображаясь съ общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префектъ Полиціи.

Затѣмъ подпись эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на все, но не на фамилію Boitelle.

Въ тотъ же день пришло письмо отъ Браницкаго. Принцъ Наполеонъ сообщалъ ему слѣдующую записку императора: „Любезный Наполеонъ, сообщаю тебѣ, что

я сейчасъ разрѣшилъ въѣздъ *Господину**) Герцену во Францію и приказалъ ему выдать паспортъ.

Послѣ этого „подвысь“! шлагбаумъ, опущенный въ продолженіи одинадцати лѣтъ, поднялся и я отправился черезъ мѣсяцъ въ Парижъ.

II.

INTRA MUROS

Maame Erstin! кричалъ мрачный съ огромными усами жандармъ въ Кале, возлѣ рогатки, черезъ которую должны были проходить во Францію одинъ за однимъ путешественники, только-что сошедшіе на берегъ съ дуврскаго парохода и загнанные въ каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандармъ отдавалъ пассы, комиссаръ полиціи допрашивалъ глазами, а гдѣ находилъ нужнымъ языкомъ, и одобренный и найденный безопаснымъ для имперіи терялся за рогаткой.

На крикъ жандарма въ этотъ разъ никто изъ путешественниковъ не двинулся.

Mame Ogle Erstin! кричалъ, прибавляя голоса и махая паспортомъ, жандармъ. Никто не откликался.

„Да что же, никого что ли нѣтъ съ этимъ именемъ,“ кричалъ жандармъ и, посмотрѣвъ въ бумагу, прибавилъ: Mamselle Ogle Erstin!

Тутъ только дѣвочка лѣтъ десяти, т. е. моя дочь Ольга, догадалась, что защитникъ порядка вызывалъ ее съ такимъ неистовствомъ. „Avancez donc, prenez vos

*) Я отмѣтилъ слово *господинъ*, потому что при моей высылкѣ префектура постоянно писала sieur, а Наполеонъ въ запискѣ написалъ слово Monsieur всѣми буквами.

papiers!“ свирѣпо командовалъ жандармъ. Ольга взяла пассъ и, прижавшись къ М., потихоньку спросила ее: Est-ce que c'est l'empereur?

Это было съ ней въ 1860 году, а со мной случилось черезъ годъ еще хуже, и не у рогатки въ Кале (уже не существующей теперь), а *вездѣ*: въ вагонѣ, на улицѣ, въ Парижѣ, въ провинціи, въ домѣ, во снѣ, на яву, вездѣ стоялъ передо мной самъ императоръ съ длинными усами, засмаленными въ ниточку, съ глазами безъ взгляда, съ ртомъ безъ словъ. Не только жандармы, которые по положенію своему немного императоры, мерещились мнѣ Наполеонами, но солдаты, сидѣльцы, гарсоны и особенно кондукторы желѣзныхъ дорогъ и омнибусовъ. Я только тутъ, въ Парижѣ, 1861 года, передъ тѣмъ же Hôtel de ville'мъ, передъ которымъ я стоялъ полный уваженія въ 1847 году, передъ той же Notre Dame, на Елисейскихъ поляхъ и бульварахъ, понялъ псаломъ, въ которомъ царь Давидъ съ льстивымъ отчаяніемъ жалуется Іеговѣ, что онъ не можетъ никуда дѣться отъ него, никуда бѣжать: „Въ воду, говоритъ, ты тамъ; въ землю, ты тамъ; на небо, и подавно.“ Шелъ ли я обѣдать въ Maison d'or, Наполеонъ, въ одной изъ своихъ ипостасей, обѣдалъ черезъ столъ и спрашивалъ трюфли въ салфеткѣ; отправлялся ли я въ театръ, онъ сидѣлъ въ томъ же ряду, да еще другой ходилъ на сценѣ. Бѣжалъ ли я отъ него за городъ, онъ шелъ по пятамъ дальше булонскаго лѣса, въ сертукѣ плотно застегнутомъ, въ усахъ съ круто нафабренными кончиками. Гдѣ же его нѣтъ? На балѣ въ Мабиль? На обѣднѣ въ Мадленъ? Непремѣнно тамъ и тутъ.

La révolution s'est fait homme. „Революція воплотилась въ человѣкѣ“ была одна изъ любимыхъ фразъ док-

[illegible]: [illegible] временъ Тьера и либеральныхъ истериковъ луи-филипповскихъ временъ; а тутъ искупленіе: „революція и реакція" порядокъ и безпорядокъ, свобода и власть воплотились въ одномъ человѣкѣ и этотъ человѣкъ, въ свою очередь, перевоплотился во всю администрацію, отъ министровъ до сельскихъ сторожей, отъ сенаторовъ до деревенскихъ мэровъ, — разсыпался пѣхотой, поплылъ флотомъ.

Человѣкъ этотъ не воинъ, не пророкъ, не побѣдитель, не эксцентричность, не геній, не талантъ; а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаическій, господинъ „среднихъ лѣтъ, ни толстый, ни худой." Le bourgeois буржуазной Франціи, l'homme du destin, le neveu du grand homme, плебей. Онъ уничтожаетъ, осредотворяетъ въ себѣ всѣ рѣзкія стороны національнаго характера и всѣ стремленія народа, какъ вершинная точка горы или пирамиды оканчиваетъ цѣлую гору *ничѣмъ*.

Въ 49, въ 50 годахъ я не угадалъ Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оцѣнилъ. 1861 годъ былъ однимъ изъ самыхъ лучшихъ для имперіи, все обстояло благополучно, все уравновѣсилось, примирилось, покорилось новому порядку. Оппозицій и смѣлыхъ мыслей было ровно на столько, на сколько надобно для тѣни и слегка пряннаго вкуса. Лабуле очень умно хвалилъ Нью-Іоркъ въ пику Парижу, Прево Парадоль Австрію въ пику Франціи. По дѣлу Миреса дѣлали анонимные намеки. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому движенію слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшіеся пофрондерствовать, какъ, бывало, мы собирались въ Москвѣ въ сороковыхъ годахъ у кого нибудь изъ старыхъ пріятелей. Были даже свои недовольныя знаменитости, въ ро-

дѣ статскихъ Ермоловыхъ, какъ Гизо. Остальное все было прибито градомъ. И никто не жаловался, отдыхъ еще нравился такъ, какъ нравится первая недѣля поста съ своимъ хрѣномъ да капустой послѣ семидневнаго масла и пьянства на масляницѣ. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видѣть: онъ исчезалъ на короткое или долгое время и возвращался съ исправленнымъ вкусомъ изъ Ламбессы или изъ Мазаса. Полиція, la grande police, замѣнившая la grande armée, была вездѣ во всякое время. Въ литературѣ—плоскій штиль; плохіе лодочники плавали спокойно на плохихъ лодкахъ по нѣкогда бурному морю. Пошлость пьэсъ, даваемыхъ на всѣхъ сценахъ, наводила къ ночи тяжелую сонливость, которая утромъ поддерживалась безсмысленными журналами. Журналистика въ прежнемъ смыслѣ не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. Послѣ leading article лондонскихъ газетъ, писанныхъ сжатымъ, дѣловымъ слогомъ, съ „нервомъ,“ какъ говорятъ французы, и „мышцами,“ premiers Paris нельзя было читать. Риторическія декораціи, полинялыя и потертыя, и тѣже возгласы, сдѣлавшіеся больше чѣмъ смѣшными, гадкими по явному противорѣчію съ фактами, замѣняли содержаніе. Страждущія народности постоянно приглашались по прежнему надѣяться на Францію, она все таки оставалась „ во главѣ великаго движенія“ и все еще несла міру революцію, свободу и великіе принципы 1789 года. Оппозиція дѣлалась подъ знаменемъ бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвѣта, но ихъ можно было означать въ томъ родѣ, какъ моряки означаютъ промежуточные вѣтры: N. N. W., N. W. N., N. W. W. W. N. W... Бонапартизмъ отчаянный, бѣснующійся, умѣренный; бонапартизмъ монархическій, бонапартизмъ

республиканскій, демократическій и соціальный; бонапартизмъ мирный, военный, революціонный, консервативный, наконецъ палероялькій и тюльрійскій... Вечеромъ поздно бѣгали по редакціямъ какіе-то господа, ставившіе на мѣсто стрѣлку газетъ, если она гдѣ уходила далеко за N. къ W. или E. Они повѣряли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились въ слѣдующую редакцію.

... Въ café, читая вечерній журналъ, въ которомъ было написано, что адвокатъ Мирeса отказался указать какое-то употребленіе суммъ, говоря, что тутъ замѣшаны „слишкомъ высоко поставленныя лица," я сказалъ кому-то изъ знакомыхъ: „Да какъ же прокуроръ не заставилъ его назвать и какъ же не требуютъ этого журналы?" Знакомый дернулъ меня за пальто, оглядѣлся, сдѣлалъ знакъ глазами, руками, тростью. Я не даромъ жилъ въ Петербургѣ, понялъ его и сталъ разсуждать объ абсинтѣ съ зельцерской водой.

Выходя изъ кафе, я увидѣлъ крошечнаго человѣка, бѣгущаго на меня съ крошечными объятіями. На близкомъ разстояніи я разглядѣлъ Даримона. — „Какъ вы должны быть счастливы, говорилъ лѣвый депутатъ, возвратившись въ Парижъ! Ah! je m'imagine!

— Не то чтобъ особенно!

Даримонъ остолбенѣлъ.

— Ну что Madame Darimon и вашъ маленькій, который вѣрно теперь вашъ большой, особенно если онъ не беретъ въ ростъ примѣра съ отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très-bien — и мы разстались.

Тяжело мнѣ было въ Парижѣ и я только свободно вздохнулъ, когда черезъ мѣсяцъ, сквозь дождь и туманъ, опять увидѣлъ грязно-бѣлые, мѣловые берега

Англіи. Все, что жало, какъ узкіе башмаки при Людовикѣ Филиппѣ, жало теперь какъ колодка. Промежуточныхъ явленій, которыми упрочивался и прилаживался новый порядокъ, я не видалъ, а нашелъ его черезъ десять лѣтъ совершенно *готовымъ и сложившимся*... Къ тому же я Парижъ не узнавалъ, мнѣ были чужды его перестроенныя улицы, недостроенные дворцы и пуще всего встрѣчавшіеся люди. Это не тотъ Парижъ, который я любилъ и ненавидѣлъ, не тотъ, въ который я стремился съ дѣтства, не тотъ, который покидалъ съ проклятьемъ на губахъ. Это Парижъ, утратившій свою личность, равнодушный, откипѣвшій. Сильная рука давила его вездѣ и всякую минуту готова была притянуть возжи — но это было не нужно; Парижъ *принялъ* tout de bon вторую имперію, у него едва оставались наружныя привычки прежняго времени. У „недовольныхъ“ ничего не было серьезнаго и сильнаго, чтобы они могли противопоставить имперіи. Воспоминанія тацитовскихъ республиканцевъ и неопредѣленные идеалы соціалистовъ не могли потрясти цезарскій тронъ. Съ „фантазіями“ *надзоръ полиціи* боролся не серьезно, онѣ его сердили не какъ опасность, а какъ безпорядокъ и безчинство. „Воспоминанія“ досаждали больше „надеждъ“, орлеанистовъ держали строже. Иногда самодержавная полиція нежданно разражалась ударомъ, несправедливымъ и грубымъ, грозно напоминая о себѣ; она нарочно распространяла ужасъ на два квартала и на два мѣсяца, и снова уходила въ щели префектуры и корридоры министерскихъ домовъ.

Въ сущности все было тихо. Два самыхъ сильныхъ протеста были не французскіе. Покушеніями Піанори и Орсини мстила Италія, мстилъ Римъ. Дѣло Орсини, испугавшее Наполеона, было принято за достаточный

предлогъ, чтобъ нанести послѣдній ударъ — coup de grâce. Онъ удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительныхъ людяхъ Эспинасса, дала свой залогъ. Надобно было испугать, показать, что полиція ни передъ чѣмъ не остановится, надобно было сломить всякое понятіе о правѣ, о человѣческомъ достоинствѣ, надобно было несправедливостью поразить умы, пріучить къ ней и ею доказать свою власть. Очистивъ Парижъ отъ *подозрительныхъ* людей, Эспинассъ приказалъ префектамъ въ *каждомъ* департаментѣ открыть заговоръ, замѣшать въ него не меньше десяти человѣкъ заявленныхъ враговъ имперіи, арестовать ихъ и представить на распоряженіе министра. Министръ имѣлъ право ссылать въ Каену, Ламбесу, безъ слѣдствія, безъ отчета и отвѣтственности. Человѣкъ сосланный погибалъ, ни оправданья, ни протеста не могло и быть; онъ не былъ судимъ, могла быть одна монаршая милость. „Получаю это приказаніе“, разсказывалъ префектъ Н. нашему поэту Ѳ. Т. — что тутъ дѣлать? Ломалъ себѣ голову, ломалъ... положеніе затруднительное и непріятное, наконецъ мнѣ пришла счастливая мысль какъ вывернуться. Я посылаю за комиссаромъ полиціи и говорю ему: можете вы въ самомъ скоромъ времени найти мнѣ десятокъ отчаянныхъ негодяевъ, воровъ неуличенныхъ по суду и т. п. Комиссаръ говоритъ, что ничего нѣтъ легче. Ну такъ составьте списокъ, мы ихъ нынче ночью арестуемъ и потомъ представимъ министру какъ возмутителей“.

— Ну что же? спросилъ Т.

— Мы ихъ представили, министръ ихъ отправилъ въ Каену и весь департаментъ былъ доволенъ, благодарилъ меня, что такъ легко отдѣлался отъ мошенниковъ, прибавилъ добрый префектъ, смѣясь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилія, чѣмъ публика и общественное мнѣніе. Времена тишины, покоя, de la sécurité наступали не по днямъ, а по часамъ. Мало по малу разгладились морщины на челѣ полиціи; дерзкій, вызывающій взглядъ шпіона, свирѣпый видъ sergent de ville стали смягчаться; императоръ мечталъ о разныхъ умныхъ и кроткихъ свободахъ и децентрализаціяхъ. Неподкупные въ усердіи министры удерживали его либеральную горячность.

... Съ 1861, двери были отворены и я проѣзжалъ нѣсколько разъ Парижемъ. Сначала я торопился поскорѣе уѣхать, потомъ и это прошло, я привыкъ къ новому Парижу. Онъ меньше сердилъ. Это былъ другой городъ, огромный, незнакомый. Умственное движеніе, наука, отодвинутыя за Сену, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свои „расширенныя свободы“ Наполеонъ далъ; беззубая оппозиція подняла свою лысую голову и затянула старую фразеологію сороковыхъ годовъ; работники не вѣрили имъ, молчали и слабо пробовали ассоціаціи и кооперацію. Парижъ становился больше и больше общимъ европейскимъ рынкомъ, въ которомъ толпилось, толкалось все на свѣтѣ: купцы, пѣвцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всѣхъ странъ и, невиданная въ прежнія времена масса нѣмцевъ. Вкусъ, тонъ, выраженія, все измѣнилось. Блестящая, тяжелая роскошь, металлическая, золотая, цѣнная, замѣнила прежнее эстетическое чувство: въ мелочахъ и одеждѣ хвастались не выборомъ, не умѣньемъ, а дороговизной, возможностью тратъ и безпрерывно толковали о наживѣ, объ игрѣ въ карты, мѣста, фонды. Лоретки давали тонъ дамамъ. Женское образованіе пало на степень прежняго итальянскаго.

— L'empire, l'empire... вотъ гдѣ зло, вотъ гдѣ бѣда... Нѣтъ, причина глубже. Sire, vous avez un cancer rentré, говоритъ Антомарки — un Waterloo rentrè, отвѣчаетъ Наполеонъ. А тутъ двѣ, три революціи rentrées, avortées, внутрь взошедшія, недоношенныя и выкинутыя.

Оттого-ли Франція не донашиваетъ, что она слишкомъ рано, слишкомъ поспѣшно попала въ интересное положеніе и хотѣла отдѣлаться отъ него кесаревымъ сѣченіемъ; оттого-ли, что духа хватило на рубку головъ, а на рубку идей не достало; оттого-ли, что изъ революціи сдѣлали армію и права человѣка покропили святой водой; оттого-ли, что масса была покрыта тьмой и революція дѣлалась не для крестьянъ?

III

ALPENDRUCKEN

Да здравствуетъ свѣтъ!
Да здравствуетъ разумъ!

Русскіе, не имѣя вблизи горъ просто говорятъ, что „домовой душилъ". Оно пожалуй вѣрнѣе. Дѣйствительно, словно кто-то душитъ, сонъ не ясенъ, но очень страшенъ, дыханье трудно, а дышать надобно вдвое, пульсъ поднятъ, сердце ударяетъ тяжело и скоро... За вами гнались, гонятся по пятамъ, не то люди, не то привидѣнія, передъ вами мелькаютъ забытые образы напоминающіе другіе годы и возрасты... тутъ какія-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенья нѣтъ, вы летите въ темную пустоту, крикъ вырывается невольно и вы проснулись... проснулись въ лихорадкѣ, потъ на лбу, дыханье сперто—вы торопитесь къ окну... Свѣжій

свѣтлый разсвѣтъ на дворѣ, вѣтеръ осаживаетъ въ одну сторону туманъ, запахъ травы, лѣса, звуки и крики... все *наше* земное... и вы, успокоенные пьете всѣми легкими утренній воздухъ.

... Меня на дняхъ душилъ домовой, не во снѣ, а на яву, не въ постели, а въ книгѣ, и когда я вырвался изъ нея на свѣтъ, я чуть не вскрикнулъ: „Да здравствуетъ разумъ! нашъ простой, земной разумъ!“

Старикъ Пьеръ Леру, котораго я привыкъ любить и уважать лѣтъ тридцать, принесъ мнѣ свое послѣднее сочиненіе и просилъ непремѣнно прочесть его, „хоть текстъ, а примѣчаніе послѣ, когда нибудь“.

„*Книга Іова*, трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, *сочиненная* Исаіемъ и переведенная Пьеромъ Леру“. И не только переведенная, но прилаженная къ современнымъ вопросамъ.

Я прочелъ *весь* текстъ и, подавленный печалью, ужасомъ, искалъ окна.

Что же это такое?

Какіе антецеденты могли развить такой мозгъ, такую книгу? Гдѣ отечество этого чековѣка и что за судьбы и страны и лица? Такъ сойти можно только *съ большаго ума*; это заключеніе длиннаго и сломленнаго развитія.

Книга эта — бредъ поэта лунатика, у котораго въ памяти остались факты и строй, упованья и образы, но смысла не осталось; у котораго сохранились чувства, воспоминанія, формы, но *разумъ* не сохранился, или если и уцѣлѣлъ, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя изъ мыслей въ фантазіи, изъ истинъ въ мистеріи, изъ выводовъ въ миѳы, изъ знанія въ откровеніе.

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состоя-

ніе, опьянѣніе Пиѳіи, Шамана, дурь вертящагося Дервиша, дурь вертящихся столовъ...

Революція и чародѣйство, соціализмъ и талмудъ, Іовъ и Ж. Сандъ, Исаія и Сенъ-Симонъ, 1789 годъ до Р. Х. и 1789 послѣ Р. Х., все брошено зря въ кабалистическій горнъ. Что же могло выйти изъ этихъ натянутыхъ, враждебныхъ совокупленій? Человѣкъ захворалъ отъ этой непереваримаемой пищи, онъ потерялъ здоровое чувство истины, любовь и уваженье къ разуму. Гдѣ же причина, отбросившая такъ далеко отъ русла этого старика, нѣкогда стоявшаго въ числѣ главъ соціальнаго движенія, полнаго энергіи и любви, человѣка, котораго рѣчь, проникнутая негодованьемъ и сочувствіемъ къ меньшей братіи потрясала сердца? Я это время помню. „Петръ Рыжій", такъ называли мы его въ сороковыхъ годахъ, „становится моимъ Христомъ", писалъ мнѣ, всегда увлекавшійся черезъ край, Бѣлинскій — и вотъ этотъ-то учитель, этотъ живой, будящій голосъ, послѣ пятнадцатилѣтняго удаленія въ Жерсеѣ, является съ grève de Samarez и съ книгой Іова, проповѣдуетъ какое-то переселеніе душъ, ищетъ развязки на томъ свѣтѣ, въ *этотъ не вѣритъ* больше. Франція, революція обманули его; онъ скиніи свои разбиваетъ въ другомъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ обмана, да и ничего нѣтъ, въ силу чего большой просторъ для фантазіи.

Можетъ это личная болѣзнь—идіосинкразія? Ньютонъ имѣлъ свою книгу Іова, Августъ Контъ свое помѣшательство.

Можетъ... но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу—все книга Іова, все мутитъ умъ и давитъ грудь, все заставляетъ искать свѣта и воздуха, все носитъ слѣды душевной тревоги и недуга, чего-то сбившагося съ пути. Врядъ можно ли въ этомъ

случаѣ многое объяснить личнымъ безуміемъ, напротивъ, надобно искать въ общемъ разстройствѣ причину частнаго явленія. Я именно въ полнѣйшихъ представителяхъ французскаго генія вижу слѣды недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелымъ сномъ, въ долгомъ лихорадочномъ ожиданіи, усталые отъ горечи дня и отъ жгучаго нетерпѣнія, они бредятъ въ какомъ-то полуснѣ и хотятъ насъ и самихъ себя увѣрить, что ихъ видѣнія—дѣйствительность и что настоящая жизнь дурной сонъ, который сейчасъ пройдетъ, особенно для Франціи.

Неистощимое богатство ихъ длинной цивилизаціи, колоссальные запасы *словъ* и образовъ мерцаютъ въ ихъ мозгу, какъ фосфоресценція моря, не освѣщая ничего. Какой-то вихрь, подметающій передъ начинающимся катаклизмомъ осколки двухъ, трехъ міровъ, снесъ ихъ въ эти исполинскія памяти безъ цемента, безъ связи, безъ *науки*. Процесъ, которымъ развивается ихъ мысль, для насъ не понятенъ, они идутъ отъ словъ къ словамъ, отъ антиномій къ антиноміямъ, отъ антитезисовъ къ синтезисамъ, не разрѣшающимъ ихъ; іероглифъ принимается за дѣло и желанье за фактъ. Громадныя стремленія безъ возможныхъ средствъ и ясныхъ цѣлей, недоконченныя очертанія, недодуманныя мысли, намеки, сближенія, прорицанія, орнаменты, фрески, арабески... Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франція, у нихъ нѣтъ, истины они не ищутъ, она такъ страшна на дѣлѣ, что они отворачиваются отъ нея. Романтизмъ ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкусъ отъ всего простаго и здороваго.

Размѣры потеряны, перспективы ложны...

Да еще хорошо, когда дѣло идетъ о путешествіяхъ душъ по планетамъ, объ ангельскихъ хуторахъ Жана

Рено, о разговорѣ Іова съ Прудономъ и Прудона съ мертвой женщиной; хорошо еще, когда изъ цѣлой тысячи и одной ночи человѣчества дѣлается одна сказка, и Шекспиръ изъ любви и уваженія заваливается пирамидами и обелисками, Олимпомъ и Библіей, Ассиріей и Ниневіей; но что сказать, когда все это врывается въ жизнь, отводитъ глаза и мѣшаетъ карты для того, чтобъ ими ворожить о „близкомъ счастьи и исполненіи желаній“ на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блескомъ прошедшей славы заштукатуриваютъ гнилыя раны, и сифилитическія пятна на повислыхъ щекахъ выдаютъ за румянецъ юноши?

Передъ падшимъ Парижемъ, въ самую нежалкую минуту его паденья, когда онъ довольный богатой ливреей и щедростью постороннихъ помѣщиковъ, бражничаетъ на всемірномъ толкунѣ, поверженъ въ прахѣ старикъ поэтъ. Онъ привѣтствуетъ Парижъ путеводной звѣздой человѣчества, сердцемъ міра, мозгомъ исторіи, онъ увѣряетъ его, что базаръ на Champ de Mars — починъ братства народовъ и примиренія вселенной.

Пьянить похвалами поколѣніе измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустыхъ и выродившихся сыновей и внучатъ, покрывая одобреніемъ генія ихъ жалкое, безсмысленное существованіе—велікій грѣхъ.

Дѣлать изъ современнаго Парижа *спасителя и освободителя міра*, увѣрять его, что онъ великъ въ своемъ паденіи, что онъ въ сущности вовсе не падалъ, сбиваетъ на апотеозу *божественнаго* Нерона и *божественнаго* Калигулы или Каракаллы.

Разница въ томъ, что Сенеки и Ульпіаны были въ силѣ и власти, а В. Гюго въ ссылкѣ.

Рядомъ съ лестью васъ поражаетъ неопредѣленность понятій, смутность стремленій, незрѣлость идеаловъ. Люди, идущіе впередъ, ведущіе другихъ, остаются въ полумракѣ, безъ тоски о свѣтѣ. Толки о преображеніи человѣчества, о пересозданіи существующаго... но о какомъ, но во что?

Это равно не ясно, ни *на томъ свѣтѣ* Пьера Леру, ни *на этомъ* Виктора Гюго.

„Въ XX столѣтіи будетъ чрезвычайная страна. Она будетъ велика и это не помѣшаетъ ей быть свободной. Она будетъ знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человѣчеству. Она будетъ имѣть кроткую доблесть старшей сестры.

„Эта центральная страна, изъ которой все лучится, эта образцовая ферма человѣчества, по которой все кроится, имѣетъ свое сердце, свой мозгъ, называемый *Парижъ*.

„Городъ этотъ имѣетъ одно неудобство: кто имъ владѣетъ, тому принадлежитъ міръ. Человѣчество идетъ за нимъ. Парижъ работаетъ для общности земной. Кто бы ты ни былъ, Парижъ твой господинъ... онъ иногда ошибается, имѣетъ свои оптическіе обманы, свой дурной вкусъ... *тѣмъ хуже* для всемірнаго смысла, компасъ потерянъ и прогрессъ идетъ ощупью.

„Но Парижъ настоящій *кажется* не таковъ. Я не вѣрю въ этотъ Парижъ—это призракъ, а, впрочемъ, небольшая проходящая тѣнь не идетъ въ счетъ, когда дѣло идетъ объ огромной утренней зарѣ.

„Одни дикіе боятся за солнце во время затмѣній.

„Парижъ — зажженый факелъ; зажженый факелъ имѣетъ *волю*... Парижъ изгоняетъ изъ себя все нечистое, онъ *уничтожилъ* смертную казнь, на сколько это было въ его волѣ и перенесъ гильотину въ la Roquette. Въ Лондонѣ вѣшаютъ, гильотинировать въ Парижѣ нельзя больше; еслибъ вздумали снова поставить гильотину передъ ратушей, камни возстали бы. Убивать въ этой средѣ невозможно. Остается поставить внѣ закона, что поставлено внѣ города!

„1866 былъ годочъ столкновенія народовъ, 1867 будетъ годомъ ихъ встрѣчей. Выставка въ Парижѣ — великій соборъ мира, всѣ препятствія, тормазы, палки въ колесахъ прогресса сломятся въ куски, разлетятся въ прахъ... Война невозможна... зачѣмъ выставили страшныя пушки и другіе военные снаряды... Развѣ мы не знаемъ, что война умерла? Она умерла въ тотъ день, когда Іисусъ сказалъ: „Любите другъ друга!“ и бродила только, какъ привидѣніе; Вольтеръ и революція убили ее еще разъ. Мы не вѣримъ въ

войну. Всѣ народы собрались на выставкѣ. всѣ народы, притекши въ Парижъ, побывали Франціей (ils viennent être France); они узнали, что есть городъ-солнце... и должны любить его, желать его, вносить его!"

И въ полномъ умиленіи передъ народомъ, который *испаряется братствомъ*, котораго свобода—свидѣтельство совершеннолѣтія человѣческаго рода. Гюго восклицаетъ: „О Франція! прощай! Ты слишкомъ велика, чтобъ быть отечествомъ; съ матерью, сдѣлавшейся богиней, слѣдуетъ разстаться. Еще шагъ во времени, и ты исчезнешь преображенная; ты такъ велика, что скоро тебя не будетъ. Ты не будешь Франціей, ты будешь человѣчествомъ. Ты не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами... Рѣшись принять бремя твоей безконечности и, какъ Аѳины сдѣлались Греціей, Римъ — христіанствомъ, сдѣлайся ты. Франція, міромъ.!"

Когда я читалъ эти строки, передо мной лежала газета и въ ней какой-то простодушный корреспондентъ писалъ слѣдующее: „То, что теперь творится въ Парижѣ—необыкновенно занимательно, и не только для современниковъ, но и для будущихъ поколѣній. Толпы, собравшіяся на выставку, кутятъ... всѣ границы перейдены, оргія вездѣ, въ трактирахъ и домахъ, пуще всего на самой выставкѣ. Пріѣздъ царей окончательно опьянилъ всѣхъ. Парижъ представляетъ какую-то колоссальную descente de la courtille.

„Вчера (10 іюня) это опьяненіе дошло до своего апогея. Пока вѣнценосцы пировали во дворцѣ, видавшемъ такъ много на своемъ вѣку, толпы наполняли окольныя улицы и мѣста. По набережной, на улицахъ Риволи, Кастиліоне, Сентъ-Оноре пировали на свой манеръ до трехъ сотъ тысячъ человѣкъ. Отъ Маделены до théâtre des Variétés шла самая растрепанная и нецеремонная оргія; большія, открытыя линейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложенные изуренными, измученными клячами, едва-

едва двигались по бульварамъ въ сплошномъ множествѣ головъ и головъ. Линейки эти въ свою очередь были биткомъ набиты, въ нихъ стояли, сидѣли, больше всего лежали растянувшись мужчины и женщины во всевозможныхъ позахъ съ бутылками въ рукахъ; они съ хохотомъ и пѣснями переговаривались съ пѣшей толпой; шумъ и крикъ несся имъ на встрѣчу изъ кафе и ресторановъ совершенно полныхъ; иногда крикъ и пѣсни смѣнялись дикимъ ругательствомъ фіакрнаго извощика или дружеской ссорой подпившихъ... На углахъ, въ переулкахъ валялись мертво-пьяные, сама полиція, казалось, отступила за невозможностью что нибудь сдѣлать.—Никогда, пишетъ корреспондентъ, я не видалъ ничего подобнаго въ Парижѣ, а живу въ немъ лѣтъ двадцать."

Это́ на улицѣ, „въ канавѣ," какъ выражаются французы, а что внутри дворцовъ, освѣщенныхъ болѣе чѣмъ десятью тысячами свѣчей... что дѣлалось на праздникахъ, на которые тратилось по милліону франковъ?

„Съ бала, даннаго городомъ въ Hôtel de ville, государи уѣхали около двухъ часовъ — это повѣствуетъ оффиціальный исторіографъ императорскихъ увеселеній—кареты не могли во время ни пріѣхать, ни отвести восемь тысячъ человѣкъ. Часы шли за часами, усталь овладѣла гостями, дамы сѣли на ступеняхъ лѣстницы, другія просто легли въ залахъ на ковры и заснули у ногъ лакеевъ и huissiers, кавалеры шагали за нихъ, цѣпляясь за кружева и уборы. Когда мало по малу расчистилось мѣсто, ковровъ было не видно, все было покрыто завялыми цвѣтами, раздавленными бусами, лоскутьями блондъ и кружевъ, тюля, кисеи, оторванныхъ ефесами, саблями, шитьемъ, царапавшими плечи" и пр.

А за кулисами шпіоны били кулаками, ловили, выдавали за воровъ людей, кричавшихъ: Vive la Pologne! и судъ въ двухъ инстанціяхъ осудилъ ихъ же на тюрьму за *препятствіе* шпіонамъ беззаконно, безформенно, арестовывать ихъ съ зуботычинами.

Я нарочно помянулъ одни *мелочи:* микроскопическая анатомія легче дастъ понятіе о разложеніи ткани, чѣмъ отрѣзанный ломотъ трупа...

II.

ДАНИЛЫ

Въ іюльскіе дни 1848 года, послѣ перваго террора и ошеломленья побѣдителей и побѣжденныхъ, явился представителемъ *угрызенія совѣсти* угрюмый и худой старикъ. Мрачными словами заклеймилъ онъ и проклялъ людей „порядка," разстрѣливавшихъ сотнями, не спроса имени, ссылавшихъ тысячами безъ суда и державшихъ Парижъ въ осадномъ положеніи. Окончивъ анаѳему, онъ обернулся къ народу и сказалъ ему: „А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобъ тебѣ имѣть рѣчь."

Это былъ Ламене. Его чуть не схватили, но испугались его сѣдинъ, его морщинъ, его глазъ, на которыхъ дрожала старая слеза, и на которыхъ скоро ничего дрожать не будетъ.

Слова Ламене прошли безслѣдно.

Черезъ двадцать лѣтъ другіе угрюмые старики явились съ своимъ суровымъ словомъ и ихъ голосъ погибъ въ пустынѣ.

Они не вѣрили въ силу своихъ словъ, но сердце не выдержало. Не сговариваясь въ своихъ ссылкахъ и удаленіяхъ, эти вемическіе судьи и Данінлы произнесли свой приговоръ, зная, что онъ не будетъ исполненъ.

Они, на горе себѣ, поняли, что это „ничтожное облако, мѣшающее величественному разсвѣту," не такъ ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмѣлье послѣ революціи не такъ-то скоро пройдутъ, и сказали это.

„Въ худшія времена древняго цезаризма, говорилъ Едгаръ Кине на конгрессѣ въ Женевѣ, когда все было нѣмо, за исключеніемъ владыки, находились люди, оставлявшіе свои пустыни для того,

чтобъ произнести нѣсколько словъ правды въ глаза падшимъ народамъ.

„Шестнадцать лѣтъ живу я въ пустынѣ и хотѣлъ бы въ свою очередь прервать мертвое молчаніе, къ которому привыкли въ наше время."

Какую же вѣсть принесъ онъ съ своихъ горъ и во имя чего поднялъ рѣчь? Онъ ее поднялъ для того, чтобъ сказать своимъ соотечественникамъ (французъ о чемъ бы ни говорилъ, говоритъ всегда о Франціи): „У васъ нѣтъ совѣсти... она умерла, раздавленная пятою сильнаго, она отреклась отъ себя. Шестнадцать лѣтъ искалъ я слѣдовъ ея и не нашелъ!"

„Тоже было при Цезаряхъ въ древнемъ мірѣ. Душа человѣческая исчезла. Народы помогали своему порабощенію, рукоплескали ему, не показывая ни сожалѣнія, ни раскаянія. Совѣсть человѣческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всемъ, какъ теперь, и для того, чтобъ ее наполнить, надобно было *новаго бога.*

„*Кто же* наполнитъ въ наше время пропасти, вырытыя новымъ цезаризмомъ?

„На мѣсто стертой, упраздненной совѣсти настала ночь, мы бродимъ въ потьмахъ, не зная, откуда искать помощи, къ кому обратиться. Все соучастникъ паденья: церковь и судъ, народы и общество... Глуха земля, глуха совѣсть, глухи народы; право погибло съ совѣстью; одна сила царитъ...

„Зачѣмъ вы пришли, что вы ищете въ этихъ развалинахъ — развалинъ? Вы отвѣчаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились въ обломкахъ падшаго зданія права. Вы ищете мира, вы ошибаетесь, его здѣсь нѣтъ. Здѣсь война. Въ этой ночи безъ разсвѣта должны сталкиваться народы и племена и уничтожать другъ друга зря, исполняя волю властителей, перевязавшихъ имъ умъ и руки.

„Народы подвинутся только тогда, когда *сознаютъ всю глубину своего паденья!*"

Старикъ бросилъ для дѣтей нѣсколько цвѣтовъ, чтобъ уменьшить ужасъ картины. Ему рукоплескали. Они и тутъ не вѣдали, что творили. Черезъ нѣсколько дней отреклись отъ своихъ рукоплесканій.

Мѣсяца два передъ тѣмъ, какъ эти мрачныя слова раздались на женевскомъ сходѣ, въ другомъ швейцарскомъ городѣ другой изгнанный прежняго времени писалъ слѣдующія строки:

„Я не имѣю больше вѣры во Францію.

„Если когда нибудь она воскреснетъ къ новой жизни и оправится отъ страха самой себя, это будетъ чудо; изъ такого глубокаго паденья не поднималась ни одна больная нація. Я не жду чудесъ. Забытыя учрежденія могутъ возродиться,—потухнувшій духъ народа не оживаетъ. Несправедливое провидѣніе не дало мнѣ и того утѣшенья, которымъ оно такъ щедро надѣляетъ, въ замѣну бѣдности, всѣхъ изгнанниковъ: всегдашней надежды и вѣры въ мечты. Отъ всего прожитаго мною остались только уроки опытности, горькое разочарованіе и неизлечимая усталь (énervement). Мнѣ *холодно* на сердцѣ. Я не вѣрю больше ни въ право, ни въ человѣческую справедливость, ни въ здравый смыслъ. Я отошелъ въ равнодушіе, какъ въ могилу.“

Жирондистъ Мерсье, одной ногой уже въ гробу, говорилъ во время паденья первой имперіи: „Я живу еще только для того, чтобъ увидѣть, чѣмъ это кончится!“ „Я и этого не могу сказать, прибавилъ Маркъ Дюфрессъ, у меня нѣтъ особаго любопытства узнать, чѣмъ развяжется императорская эпопея“.

И старикъ повернулся къ прошедшему и съ глубокой печалью показалъ его исхудалымъ потомкамъ. Настоящее ему не знакомо, чуждо, противно. Изъ его кельи вѣетъ могилой, отъ его словъ дрожь пробираетъ посторонняго.

Слова одного, строки другаго, все скользнуло безслѣдно. Слушая ихъ, читая ихъ, у французовъ не сдѣлалось „холодно въ груди“. Многіе открыто негодовали: „Эти люди лишаютъ насъ силъ, повергаютъ въ отчаяніе... гдѣ въ ихъ словахъ *выходъ*, утѣшенье?“

Судъ не обязанъ утѣшать; онъ долженъ обличать, уличать *тамъ*, гдѣ нѣтъ сознанія и раскаянія. Его дѣ-

ло вызвать *совѣсть*. Судъ и не пророчество, у него нѣтъ Мессіи въ запасѣ для утѣшенія въ будущемъ. Онъ, такъ же какъ и подсудимый, принадлежитъ старой религіи. Судъ представляетъ чистую и идеальную сторону ея, а масса ея практическое, уклонившееся, истощенное приложеніе. Осуждающій служитъ поневолѣ практическимъ обвинителемъ идеала; защищая его, онъ указываетъ его односторонность.

Ни Едгаръ Кине, ни Маркъ Дюфрессъ дѣйствительно не знаютъ *выхода*, и зовутъ вспять. Не мудрено, что они его не видятъ, они къ нему стоятъ спиной. Они принадлежатъ къ прошедшему. Возмущенные безчестной кончиной своего міра, они схватили клюку и явились незванными гостьми на оргію высокомѣрнаго, самодовольнаго народа и сказали ему: „Ты все утратилъ, все продалъ, тебя ничто не оскорбляетъ кромѣ правды, у тебя нѣтъ ни прежняго ума, у тебя нѣтъ прежняго достоинства, у тебя нѣтъ совѣсти, ты на днѣ паденья и, не только не чувствуешь твоего рабства, но туда же имѣешь притязаніе освобождать народы и народности, украшаясь лаврами войны — хочешь надѣть на себя оливковыя вѣнки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающіе, пришли тебя звать къ раскаянію и если не пойдешь, сломимъ жезлъ нашъ надъ тобою".

Они видятъ свое войско отступающимъ, бѣгущимъ отъ своего знамени, и карой своихъ словъ хотятъ его возвратить въ прежній станъ *и не могутъ*. Для того, чтобъ ихъ собрать, надобно новое знамя, а его нѣтъ у нихъ. Они, какъ языческіе первосвященники, раздираютъ ризы свои, защищая падавшую святыню свою. Не они, а гонимые Назареи возвѣщали воскресеніе и жизнь будущаго вѣка.

Кине и Маркъ Дюфрессъ скорбятъ объ осквернении

храма своего. храма народнаго представительства. Они скорбятъ не только объ утратѣ во Франціи свободы человѣческаго достоинства. они скорбятъ *о потерѣ передоваго* мѣста, они не могутъ примириться съ тѣмъ, что имперія не предупредила единства Германіи, они ужасаются тому, что Франція сошла *на второй планъ*.

Вопросъ о томъ *зачѣмъ* Франціи, въ которую они сами не вѣрятъ, быть *на первомъ мѣстѣ*, не представлялся ни разу ихъ уму...

Маркъ Дюфрессъ съ раздраженнымъ смиреніемъ говоритъ, что онъ не понимаетъ *новыхъ вопросовъ*, т. е. экономическихъ; а Кине ищетъ того бога, который сойдетъ, чтобъ наполнить пустоту, оставленную потерей совѣсти... Онъ прошелъ мимо ихъ, они его не узнали и допустили его распятіе.

P. S. Какъ коментарій къ нашему очерку идетъ и странная книга Ренана о „современныхъ вопросахъ“. Его тоже пугаетъ настоящее. Онъ понялъ, что дѣло идетъ плохо. Но что за жалкая терапія! Онъ видитъ больнаго по горло въ сифилисѣ и совѣтуетъ ему хорошо учиться и по классическимъ источникамъ. Онъ видитъ внутреннее равнодушіе ко всему, кромѣ матеріальныхъ выгодъ и сплетаетъ на выручку изъ своего раціонализма нѣкую религію, католицизмъ безъ настоящаго Христа и безъ папы, но съ плотоумерщвленіемъ. Уму ставитъ онъ дисциплинарныя перегородки, или лучше гигіеническія.

Можетъ самое важное и смѣлое въ его книгѣ — это отзывъ о революціи: „Французская революція была великимъ опытомъ, но *опытомъ неудавшимся*“.

И за тѣмъ онъ представляетъ картину ниспроверженія всѣхъ прежнихъ институтовъ, стѣснительныхъ съ одной стороны, но служившихъ отпоромъ противъ по-

глощающей централизаціи, и на мѣстѣ ихъ — слабаго, беззащитнаго человѣка передъ давящимъ, всемогущимъ государствомъ и уцѣлѣвшей церковью.

По неволѣ съ ужасомъ думаешь о союзѣ этого государства съ церковью, который совершается наглазно, который идетъ до того, что церковь тѣснитъ медицину, отбираетъ докторскіе дипломы у матеріалистовъ и старается рѣшать вопросы о разумѣ и откровеніи—сенатскимъ рѣшеніемъ, декретировать libre arbitre какъ Робеспьеръ декретировалъ l'être suprême.

Не нынче, завтра церковь захватитъ воспитаніе — тогда что?

Французы, уцѣлѣвшіе отъ реакціи, это видятъ и положеніе ихъ относительно иностранцевъ становится невыгоднѣе и невыгоднѣе. Никогда они не выносили столько какъ теперь, и отъ кого же? Въ особенности отъ нѣмцевъ. Недавно при мнѣ былъ споръ одного нѣмецкаго ex-réfugié съ однимъ изъ замѣчательныхъ литераторовъ. Нѣмецъ былъ безпощаденъ. Прежде была какая-то тайно соглашенная терпимость къ англичанамъ, которымъ всегда позволяли говорить нелѣпости изъ уваженія и увѣренности, что они нѣсколько поврежденные, и къ французамъ—изъ любви къ нимъ и изъ благодарности за революцію. Льготы эти остались только для англичанъ — французы очутились въ положеніи состарѣвшихся и подурнѣвшихъ красавицъ, которыя долго не замѣчали, что средства ихъ уменьшились, что на обаяніе красотой надѣяться больше нечего.

Прежде имъ спускалось невѣжество всего находящагося за границами Франціи, употребленіе битыхъ фразъ, позолоченый стеклярусъ, слезливая сентиментальность, рѣзкій, вершающій тонъ и les grands mots — все это утратилось.

Нѣмецъ, поправляя очки, трепалъ француза по плечу, приговаривая: Mais, mon cher et très-cher ami, эти готовыя фразы, замѣняющія разборъ дѣла, вниманье, пониманье, мы знаемъ наизусть; вы намъ ихъ повторяли лѣтъ тридцать; онѣ-то вамъ и мѣшаютъ видѣть ясно настоящее положеніе дѣлъ.

— Но какъ бы то ни было, все же, говорилъ литераторъ, видимо желая заключить разговоръ, однако же, мой милый философъ, вы всѣ склонили голову подъ прусскій деспотизмъ; я очень понимаю, что для васъ это средство, что прусское владычество — ступень...

— Тѣмъ-то мы и отличаемся отъ васъ, перебилъ его нѣмецъ, что мы идемъ этимъ тяжелымъ путемъ, ненавидя его и покоряясь необходимости, имѣя цѣль передъ глазами, а вы *пришли* въ такое же положеніе, какъ въ гавань спасенья; для васъ это не ступень, а заключеніе — къ тому же большинство его любитъ.

— C'est une impasse, une impasse, замѣтилъ печально литераторъ и перемѣнилъ разговоръ.

По несчастью онъ заговорилъ о рѣчи Жюль Фавра въ Академіи. Тутъ окрысился другой нѣмецъ: „Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословіе можетъ вамъ нравиться? Лицемѣрье, неправда о наукѣ, неправда во всемъ; нельзя же два часа читать панегирикъ блѣдному Кузеню. И что ему было за дѣло защищать казенный спиритуализмъ? И вы думаете, что эта оппозиція спасетъ васъ? Это риторы и софисты, да и какъ смѣшна вся эта процедура рѣчи и отвѣта, обязательная похвала предшественнику—весь этотъ средневѣковый бой пустословья.

— Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes...

Мнѣ было жаль литератора...

III

СВѢТЛЫЯ ТОЧКИ

Но за Даніилами видны же и свѣтлыя точки, слабыя, дальнія, и въ томъ же Парижѣ. Мы говоримъ о Латинскомъ кварталѣ, объ этой Авентинской горѣ, на которую отступили учащіеся в ихъ учители, то есть тѣ изъ нихъ, которые остались вѣрны великому преданію 1789 года, энциклопедистамъ, горѣ, соціальному движенію. Тамъ хранится Евангеліе первой революціи; читаютъ ея апостольскія дѣянія и посланія святыхъ отцевъ XVIII вѣка; тамъ извѣстны *великіе вопросы*, которыхъ не знаетъ Маркъ Дюфрессъ; тамъ мечтаютъ о будущей „веси человѣческой“, такъ какъ монахи первыхъ вѣковъ мечтали о „веси божіей“.

Изъ переулковъ этого Лаціума, изъ четвертыхъ этажей невзрачныхъ домовъ его, постоянно идутъ ставленники и миссіонеры на борьбу и проповѣдь и гибнутъ большею частью морально, а иногда физически, in partibus infidelium, т. е. по другую сторону Сены.

Объективная истина съ ихъ стороны, всяческая правота и дѣльность пониманья съ ихъ стороны — но и только. „Рано или поздно истина всегда побѣждаетъ“. А мы думаемъ, *очень поздно* и *очень рѣдко*. Разумъ съ поконъ вѣка былъ недоступенъ или противенъ большинству. Для того, чтобъ *разумъ* могъ понравиться, Анахарсисъ Клотцъ долженъ былъ одѣть его въ хорошенькую актрису, а ее раздѣть до нага. Дѣйствовать на людей можно только грезя ихъ сны яснѣе, чѣмъ они сами грезятъ, а не доказывая имъ свои мысли такъ, какъ доказываютъ геометрическія теоремы.

Латинскій кварталъ напоминаетъ средневѣковые чертозы или камалдулы, отступившія на шагъ отъ людскаго шума, съ своей вѣрой въ братство, милосердіе и главное въ скорое пришествіе царства божія. И это въ самое то время, когда за ихъ стѣнами рыцари и рейтеры жгли и рѣзали, лили кровь, грабили, засѣкали виланов, насиловали ихъ дочерей... Потомъ наступили другія времена также безъ братства и втораго пришествія, и это прошло—а камалдулы и чертозы остались при своей вѣрѣ. Нравы еще смягчились, измѣнилась манера грабить, насиловать стали съ платой, обирать по принятымъ уставамъ; но царство божіе не приходило, а все немпнуемо *наступало* (такъ казалось въ чертозахъ), знаменія становились все яснѣе, прямѣе; вѣра спасала иноковъ отъ отчаянія.

Съ каждымъ ударомъ, отъ котораго разлетаются въ прахъ послѣднія убогія свободы; съ каждымъ паденіемъ общества, съ каждымъ наглымъ шагомъ назадъ, Латинскій кварталъ приподнимаетъ голову, mezza voce, у себя дома поетъ Марсельезу и поправляя фуражку говоритъ: „этого-то и надобно было. Они дойдутъ до предѣла... чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше“. Латинскій кварталъ вѣритъ *въ свой курсъ* и храбро чертитъ планъ своей „вески истины“, идя въ разрѣзъ съ „весью дѣйствительности“.

А Пьеръ Леру вѣритъ въ Іова!

А В. Гюто—въ выставку братства!

IV

ПОСЛѢ НАБѢГА

„Святой отецъ—теперь ваше дѣло!“
ДОНЪ КАРЛОСЪ. (Филиппъ II великому инквизитору)

Эти слова мнѣ такъ и хочется повторить Бисмарку. Груша зрѣла и безъ его сіятельства дѣло не обойдется. Не церемоньтесь, Графъ!

Я не дивлюсь тому, что дѣлается и не имѣю права дивиться — *я* давно кричалъ свое: „берегись, берегись!“... Я просто *прощаюсь* и это тяжело. Тутъ нѣтъ ни противорѣчія, ни слабости. Человѣкъ можетъ очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будетъ очень больно; онъ можетъ сверхъ того предчувствовать, что она подымется, что ее ничѣмъ не остановишь; тѣмъ не меньше ему все же будетъ *больно*, когда она подымется.

Мнѣ жаль личностей, которыхъ люблю.

Мнѣ жаль страны, которой первое пробужденіе я видѣлъ своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обезчещенную

Мнѣ жаль этого Мазепу, котораго отвязали отъ хвоста одной имперіи, чтобъ привязать къ хвосту другой.

Мнѣ жаль, что я правъ, я словно соприкосновенный къ дѣлу, тѣмъ, что въ общихъ чертахъ его предвидѣлъ. Я досадую на себя, какъ досадуетъ дитя на барометръ, предсказавшій бурю и испортившій прогулку.

Италія похожа на семью, въ которой недавно совершилось какое нибудь черное преступленіе, обрушилось какое нибудь страшное несчастіе, обличившее дурныя тайны—на семью, по которой прошла рука палача, изъ

которой кто нибудь выбылъ на галеры... всѣ въ раздраженіи, невинные стыдятся и готовы на дерзкій отпоръ. Всѣхъ мучитъ безсильное желаніе мести, страдательная ненависть отравляетъ, разслабляетъ.

Можетъ и *есть* близкіе выходы, но разумомъ ихъ не видать; они лежатъ въ случайностяхъ, во внѣшнихъ обстоятельствахъ, они лежатъ *внѣ границъ*. Судьба Италіи, *не въ ней*. Это само по себѣ одно изъ невыносимѣйшихъ оскорбленій; оно такъ грубо напоминаетъ недавній плѣнъ и чувство собственной несостоятельности и слабости, которое начало было стираться.

И только *двадцать лѣтъ*!

Двадцать лѣтъ тому назадъ, въ концѣ декабря, я въ Римѣ оканчивалъ первую статью „Съ того берега“ и *измѣнилъ* ей, увлеченный сорокъ восьмымъ годомъ. Я былъ тогда въ полной силѣ развитія и съ жадностью слѣдилъ за развертывающимися событіями. Въ моей жизни не было еще ни одного несчастія, которое оставило бы сильный, ноющій рубецъ, ни одного упрека совѣсти внутри, ни одного оскорбительнаго слова снаружи. Я несся, слегка ударяя въ волны, съ безумнымъ легкомысліемъ, съ безграничной самонадѣянностью, на всѣхъ парусахъ. И всѣ ихъ одни за одними пришлось подвязать!. . . . . .

. . . . . .

Во время перваго ареста Гарибальди, я былъ въ Парижѣ. Французы не вѣрили въ вторженіе ихъ войскъ. Мнѣ случалось встрѣчаться съ людьми разныхъ слоевъ общества. Заклятые ретрограды и клерикалы желали вмѣшательства, кричали о немъ, но сомнѣвались. На желѣзной дорогѣ, одинъ извѣстный французскій ученый, прощаясь со мной, говорилъ мнѣ: „У васъ, мой милый, сѣверный Гамлетъ, такъ фантазія настроена, вы види-

те одно черное, оттого вамъ и не очевидна невозможность войны съ Италіей; правительство слишкомъ хорошо знаетъ, что война за Папу поставитъ противъ него все мыслящее, вѣдь все же мы Франція 1789 года". Первая новость, которую я не прочелъ, а *увидѣлъ* — былъ флотъ, отправлявшійся изъ Тулона въ Чивиту. „Это военная прогулка", говорилъ мнѣ другой французъ. „On ne viendra jamais aux mains, да и не нужно намъ мараться въ итальянской крови".

Оказалось *нужнымъ*. Нѣсколько юношей изъ „Лаціума" протестовали, ихъ посадили на съѣзжую, со стороны Франціи тѣмъ и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италія, благодаря нерѣшительности короля, шулерству министерства, дѣлала всѣ уступки. Но разсвирѣпѣлаго француза, упивающагося всякой побѣдой, нельзя было остановить — къ крови, къ дѣлу ему надобно было прибавить крѣпкое *слово*.

И на этомъ крѣпкомъ словѣ, покрытомъ рукоплесканіями имперіи, подали руку ея злѣйшіе враги: легитимисты, въ видѣ стараго стряпчаго бурбоновъ — Берье и орлеанисты — въ видѣ стараго Фигаро временъ Людовика-Филиппа — Тьера.

Я считаю *слово* Руэра историческимъ откровеніемъ. Кто послѣ этого не понялъ Франціи, тотъ слѣпорожденный.

Графъ Бисмаркъ, теперь ваше дѣло!

А вы, Маццини, Гарибальди, послѣдніе угодники божіи, послѣдніе Могикане, сложите ваше руки, успокойтесь. Теперь васъ не нужно. Вы свое сдѣлали. Теперь дайте мѣсто безумію, бѣшенству крови, которыми или Европа себя убьетъ, или реакція. Ну что же вы сдѣлаете съ вашими ста республиканцами и вашими во-

лонтерами, съ двумя-тремя ящиками контрабандныхъ ружей? Теперь милліонъ отсюда, милліонъ оттуда, съ иголками и другими пружинами. Теперь пойдутъ озера крови, моря крови, горы труповъ... а тамъ тифъ, голодъ, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотѣли даже и такой блѣдной республики какъ Февральская, не хотѣли подслащенной демократіи, которую вамъ подносилъ кондитеръ Ламартинъ. Вы не хотѣли ни Маццини стопка, ни Гарибальди героя. Вы хотѣли *порядка*.

Будетъ вамъ за то война, семилѣтняя, тридцатилѣтняя...

Вы боялись соціальныхъ реформъ, вотъ вамъ Феніане съ бочкой пороха и зажженнымъ фителемъ.

Кто въ дуракахъ?

Генуя, 31 Декабря 1867 года.

IV.

ЛОНДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА.*)

ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ

Отрывокъ этотъ идетъ *за* описаніемъ „горныхъ вершинъ" эмиграціи—отъ ихъ вѣчно красныхъ утесовъ до низменныхъ болотъ и „сѣрныхъ копей".**) Я прошу читателя не забывать, что въ этой главѣ мы опускаемся съ нимъ ниже уровня моря и занимаемся исключительно плистымъ дномъ его, такъ какъ оно было послѣ февральскаго шквала.

*) Изъ V тома „*Былое и Думы*".

**) Die Schwefelbande.

Почти все описанное здѣсь измѣнилось, исчезло; политическіе поддонки пятидесятыхъ годовъ занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притихъ, вымеръ этотъ низменный міръ волненій и гоненій, отстой его успокоился и занялъ свое мѣсто въ слойкѣ. Оставшіяся личности становятся рѣдкостью и я ужъ люблю съ ними встрѣчаться.

Печально уродливы, печально смѣшны нѣкоторые изъ образовъ, которые я хочу вывести, но они всѣ писаны съ натуры—безслѣдно исчезнуть и они не должны.

ГЛАВА VI.

Простыя несчастья и несчастья политическія. — Учители и комиссіонеры. — Ходебщики и хожалые. — Ораторы и эпистолаторы. — Ничего не дѣлающіе фактотумы и вѣчно занятые трутни. — Русскіе. — Воры. — Шпіоны.

(Писано въ 1856 — 1857).

... Отъ *сърной шайки*, какъ сами нѣмцы называютъ Марксидовъ, естественно и не далеко перейти къ послѣднимъ поддонкамъ, къ мутной гущѣ, которая осѣдаетъ, отъ континентальныхъ толчковъ и потрясеній — на британскихъ берегахъ и пуще всего въ Лондонѣ.

Можно себѣ представить, сколько противуположнаго снадобья захватываютъ съ собой съ материка и оставляютъ въ Англіи приливы и отливы революцій и реакцій, истощающихъ какъ перемѣжающаяся лихорадка европейскій организмъ, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродятъ по сырому, топкому лондонскому дну. Каковъ долженъ быть хаосъ понятій, воззрѣній у этихъ образцовъ всѣхъ нравственныхъ формацій и реформацій, всѣхъ проте-

стовъ, всѣхъ утопій, всѣхъ отчаяній, всѣхъ надеждъ, встрѣчающихся въ закоулкахъ, харчевняхъ и питейныхъ домахъ Лестер-Сквера и его *проселочныхъ* переулковъ. „Тамъ гдѣ, по выраженію Теймса, обитаетъ жалкое населеніе чужеземцевъ, носящихъ шляпы, какихъ никто не носитъ и волосы тамъ, гдѣ ихъ не надобно, населеніе несчастное, убогое, загнанное, и котораго трепещутъ всѣ сильные монархи Европы. кромѣ Англійской Королевы". Да, тамъ дѣйствительно по public hous'амъ и харчевнямъ сидятъ эти чужіе, эти гости, за джиномъ съ горячей водой, съ холодной водой и совсѣмъ безъ воды, горькимъ портеромъ въ кружкѣ и съ еще больше горькими словами на губахъ, поджидая революціи, къ которой они больше не способны, и денегъ отъ родныхъ, которыхъ никогда не получатъ.

Какихъ оригиналовъ, какихъ чудаковъ я не наглядѣлся между ними! Тутъ рядомъ съ комунистомъ стараго толка, ненавидящимъ всякаго собственника во имя общаго братства — старый карлистъ, пристрѣливавшій своихъ родныхъ братьевъ во имя любви къ отечеству, изъ преданности къ Монтемолино или Донъ-Хуану, о которыхъ ничего не зналъ и не знаетъ. Тамъ рядомъ съ венгерцемъ, разсказывающимъ, какъ онъ съ пятью гонведами опрокинулъ эскадронъ австрійской кавалеріи и застегивающій венгерку до самаго горла, чтобы имѣть еще больше военный видъ, венгерку, размѣры которой показываютъ, что ея юность принадлежала другому, нѣмецъ, дающій уроки музыки, латыни, всѣхъ литературъ и всѣхъ искуствъ изъ насущнаго пива, атеистъ, космополитъ, презирающій всѣ націи, кромѣ Куръ-Гессена или Гессенъ-Касселя, смотря потому, въ которомъ изъ Гессеновъ родился; полякъ, прежняго покроя католически любящій независимость и италья-

нецъ, полагающій независимость въ ненависти къ католицизму.

Возлѣ эмигрантовъ революціонеревъ, эмигранты *консерваторы*. Какой нибудь негоціантъ или нотаріусъ, sans adieux удалившійся отъ родины, кредиторовъ и довѣрителей, считающій себя тоже *несправедливо гонимымъ* — какой нибудь *честный* банкрутъ, увѣренный, что онъ скоро очистится, пріобрѣтетъ кредитъ и капиталъ, такъ какъ его сосѣдъ справа достовѣрно знаетъ, что на дняхъ, а rouge будетъ провозглашена лично самой „Марьяной“ — а сосѣдъ слѣва, что Орлеанская фамилія укладывается въ Клермонѣ и принцессы шьютъ отличныя платья для торжественнаго въѣзда въ Парижъ.

Къ *консервативной* средѣ „виноватыхъ, но не осужденныхъ окончательно *за отсутствіемъ* подсудимаго“, принадлежатъ и больше радикальныя лица, чѣмъ банкруты и нотаріусы съ горячимъ воображеніемъ; — это люди, имѣвшіе на родинѣ *большія несчастія* и желающіе всѣми силами выдать *свои простыя несчастія* за несчастія *политическія*. Эта особая номенклатурв требуетъ поясненія.

Одинъ нашъ пріятель явился шутя въ агентство сватовства. Съ него взяли десять франковъ и принялись распрашивать, какую ему нужно невѣсту, въ сколько приданаго, бѣлокурую или смуглую, и пр., за тѣмъ записывавшій гладенькій старичекъ, оговорившись и извинясь, сталъ спрашивать о его происхожденіи, очень обрадовался, узнавъ, что оно дворянское, потомъ усугубивъ извиненія, спросилъ его, замѣтивъ притомъ, что молчаніе гроба ихъ законъ и сила.

— Не имѣли ли вы *несчастій?*

— Я полякъ и въ изгнаніи, т. е. безъ родины, безъ правъ, безъ состоянія.

— Послѣднее плохо, но позвольте, по какой причинѣ оставили вы вашу belle patrie?

— По причинѣ послѣдняго возстанія (дѣло было въ 1848 году).

— Это ничего но значитъ, *политическія несчастія мы не считаемъ*, оно скорѣе выгодно, c'est une attraction. Но позвольте, вы меня завѣряете, что у васъ не было *другихъ несчастій?*

— Мало ли было, ну отецъ съ матерью у меня умерли.

— О, нѣтъ, нѣтъ...

— Что же вы разумѣете подъ словомъ *другаго несчастія?*

— Видите, еслибъ вы оставили ваше прекрасное отечество по *частнымъ* причинамъ, а не по политическимъ. Иногда въ молодости, неосторожность, дурные примѣры, искушеніе большихъ городовъ, знаете эдакъ... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись, какъ нибудь...

— Понимаю, понимаю, сказалъ, расхохотавшись, X; нѣтъ, увѣряю васъ, я не былъ судимъ ни за кражу, ни за подлогъ.

... Въ 1855 году одинъ французъ exilé de sa patrie ходилъ по товарищамъ несчастія съ предложеніемъ помочь ему въ изданіи его поэмы, въ родѣ Бальзаковой „Comedie du diable,“ писанной стихами и прозой, съ новой орѳографіей и вновь изобрѣтеннымъ синтаксисомъ. Тутъ были дѣйствующими лицами Людовикъ-Филиппъ, Іисусъ Христосъ, Робеспьеръ, Маршалъ Бюжо и самъ богъ.

Между прочимъ явился онъ съ той же просьбой къ Ш.*), честнѣйшему и чопорнѣйшему изъ смертныхъ.

*) Шельшеръ.

— Вы давно ли въ эмиграціи? спросилъ его защитникъ черныхъ.

— Съ 1847 года.

— Съ 1847 года? и вы пріѣхали сюда?

— Изъ Бреста, изъ каторжной работы.

— Какое же это было дѣло? Я совсѣмъ не помню.

— О, какъ же, тогда это дѣло было очень извѣстно! Конечно, это дѣло больше частное.

— Однакожъ?... спросилъ нѣсколько обезпокоенный Ш.

— Ah bas, si vous y tenez, я по своему протестовалъ противъ права собственности, j'ai protesté à ma manière.

— И вы... вы были въ Брестѣ?

— Parbleu, oui, семь лѣтъ каторжной работы *за воровство со взломомъ* (vol avec effraction).

И Ш. голосомъ цѣломудренной Сусанны, гнавшей нескромныхъ стариковъ, просилъ самобытнаго протестанта выйти вонъ.

Люди, которыхъ несчастія по счастію были *общія* и протесты коллективные, оставленные нами въ закопченныхъ public haus'ахъ и черныхъ тавернахъ, за некрашенными столами съ джинъ-уатеромъ и портеромъ, настрадались вдоволь и, что всего больнѣе, не знай совсѣмъ, за что.

Время шло съ ужасной медленностью, но шло; революціи нигдѣ не было въ виду, кромѣ въ ихъ воображеніи, а нужда дѣйствительная, безпощадная подкашивала все ближе и ближе подножный кормъ, и вся эта масса людей, большею частью хорошихъ, голодала больше и больше. Привычки у нихъ не было къ работѣ; умъ, обращенный на политическую арену, не могъ сосредоточиться на дѣлѣ. Они хватались за все, но съ

озлобленіемъ, съ досадой, съ нетерпѣніемъ, безъ выдержки, и все падало у нихъ изъ рукъ. Тѣ, у которыхъ была сила и мужество труда, тѣ незамѣтно выдѣлялись и выплывали изъ тины, а остальные?

И какая бездна была этихъ остальныхъ! Съ тѣхъ поръ многихъ унесла французская амнистія и амнистія смерти, но въ началѣ пятидесятыхъ годовъ я засталъ еще the great tide.

Нѣмецкіе изгнанники, особенно не работники, много бѣдствовали, не меньше французовъ. Удачъ имъ было мало. Доктора медицины, хорошо учившіеся и, во всякомъ случаѣ, во сто разъ лучше знавшіе дѣло, чѣмъ англійскіе цирульники, называемые surgeon, не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели, съ чистыми и платоническими мечтами объ искуствѣ и священнодѣйственномъ служеніи ему, но безъ производительнаго таланта, безъ ожесточенія, настойчивости работы, безъ мѣткаго чутья, гибли въ толпѣ соревнующихъ соперниковъ. Въ простой жизни своего маленькаго городка, на дешевомъ нѣмецкомъ корму, они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое дѣвственное поклоненіе идеаламъ и вѣру въ свое жреческое призваніе. Тамъ они остались бы и умерли въ подозрѣніи таланта. Вырванные французской бурей изъ родныхъ палисадниковъ, они потерялись въ Бѣловежской пущи лондонской жизни.

Въ Лондонѣ, чтобъ не быть затертымъ, задавленнымъ, надобно работать много, рѣзко, сейчасъ и что попало, что потребовали. Надобно остановить разсѣянное вниманіе ко всему приглядѣвшейся толпы силой, наглостью, множествомъ, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слѣпки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цвѣты, лишь

бы скорѣе, лишь бы кстати и въ большомъ количествѣ. Жюльенъ, le grand Julien, *черезъ сутки* послѣ полученія вѣсти объ индійской побѣдѣ Гевлока написалъ концертъ съ крикомъ африканскихъ птицъ и топотомъ слоновъ, съ индійскими напѣвами и пушечной пальбой, такъ что Лондонъ разомъ читалъ въ газетахъ и слушалъ въ концертѣ реляцію. За этотъ концертъ онъ выручилъ громадныя суммы, повторяя его мѣсяцъ. А зарейнскіе мечтатели падали середь дороги на этой безчеловѣчной скачкѣ за деньгами и успѣхами, изнеможенные, съ отчаяніемъ складывали они руки пли, хуже, подымали ихъ на себя, чтобы окончить неровный и оскорбительный бой.

Кстати къ концертамъ, музыкантамъ изъ нѣмцевъ вообще было легче; количество ихъ, потребляемое ежедневно Лондономъ съ его субурбами, колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мѣщанъ и нескромные въ Argyl'румѣ, въ Креморнѣ, въ Casino, cafés chantants съ танцами, cafés chantants съ трико въ античныхъ позахъ, Her Majesty's Ковенъ Гарденъ, Эксетеръ Галь, Кристаль Паласъ, С. Джемсъ на верху и углы всѣхъ большихъ улицъ внизу занимаютъ и содержатъ цѣлое народонаселеніе двухъ-трехъ нѣмецкихъ герцогствъ. Мечтай себѣ о музыкѣ будущаго и о Россини, колѣнопреклоненномъ передъ Вагнеромъ, читай себѣ дома à livre ouvert, безъ инструмента, Тангейсера и исполняй, за штатскимъ тамбурмажоромъ и гаеромъ съ слоновой палкой, часа четыре къ ряду какую нибудь Mary Ann польку или Flower and butterfly's redova, и дадутъ бѣдняку отъ двухъ до четырехъ съ половиной шиллинговъ за вечеръ, и пойдетъ онъ въ темную ночь по дождю въ полпивную, въ которую преимущественно ходятъ нѣмцы, и застанетъ тамъ моихъ быв-

шихъ друзей Краута и Миллера: Краута, шестой годъ работающаго надъ бюстомъ, который становится все хуже; Миллера, двадцать шестой годъ дописывающаго трагедію „Эрикъ," которую онъ мнѣ читалъ десять лѣтъ тому назадъ, пять лѣтъ тому назадъ и теперь бы еще читалъ, еслибъ мы не поссорились съ нимъ.

А поссорились мы съ нимъ за генерала Урбана, но объ этомъ въ другой разъ...

... И чего не дѣлали нѣмцы, чтобъ заслужить благосклонное вниманіе англичанъ; все безуспѣшно.

Люди, всю жизнь курившіе во всѣхъ углахъ своего жилья, за обѣдомъ и чаемъ, въ постели и за работой, не курятъ въ Лондонѣ, въ своемъ закопченномъ, продымленномъ отъ угля drawing room'ѣ и не дозволяютъ курить гостю. Люди, всю жизнь ходившіе въ биркенпы своей родины выпить „шопъ," посидѣть тамъ за трубкой въ хорошемъ обществѣ, идутъ, не глядя, мимо public hous'овъ и посылаютъ туда за пивомъ горничную съ кружкой или молочникомъ.

Мнѣ случилось въ присутствіи одного нѣмецкаго выходца отправлять къ англичанкѣ письмо. „Что вы дѣлаете?" вскрикнулъ онъ въ какомъ-то азартѣ; я вздрогнулъ и невольно бросилъ пакетъ, полагая, по крайней мѣрѣ, что въ немъ скорпіонъ; „въ Англіи, сказалъ онъ, письмо складываютъ вообще *втрое, а не вчетверо*, а вы еще пишете къ дамѣ, и къ какой!"

Сначала моего пріѣзда въ Лондонъ, я пошелъ отыскивать одного знакомаго нѣмецкаго доктора. Я не застадъ его дома и написалъ на бумагѣ, лежавшей на бумагѣ что-то въ родѣ: Cher docteur, я въ Лондонѣ и очень желалъ бы васъ видѣть, не придете ли вечеромъ въ такую-то таверну выпить по старому бутылку вина и потолковать о всякой всячинѣ. Докторъ

не пришелъ, а на другой день я получилъ отъ него записку въ такомъ родѣ: Monsieur H. мнѣ очень жаль, что я не могъ воспользоваться вашимъ любезнымъ приглашеніемъ, мои занятія не оставляютъ мнѣ столько свободнаго времени. Постараюсь, впрочемъ, на дняхъ посѣтить васъ и пр. — „А что? У доктора, видно, практика того? спросилъ я освободителя Германіи, которому былъ обязанъ знаніемъ, что англичане письма складываютъ втрое. „Никакой нѣтъ, der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominös.“ „Такъ что же онъ дѣлаетъ?“ и я передалъ ему записку. Онъ улыбнулся, однако замѣтилъ, что и мнѣ врядъ слѣдовало ли оставлять на столѣ доктора медицины открытую записку, въ которой я его приглашаю выпить бутылку вина; „да и зачѣмъ же въ такой тавернѣ, гдѣ всегда народъ, здѣсь пьютъ дома.“ — „Жаль, замѣтилъ я, наука всегда приходитъ поздно, теперь я знаю какъ доктора звать и куда, но навѣрно не позову.“

Затѣмъ воротимся къ нашимъ чающимъ движенія народнаго, присылки денегъ отъ родныхъ и работы безъ труда.

Неработнику начать работу не такъ легко, какъ кажется, многіе думаютъ, пришла нужда, есть работа, есть молотъ и долотъ и работникъ готовъ. Работа требуетъ не только своего рода воспитанія, навыка, но и самоотверженія. Изгнанники большей частью изъ мелкой литературной и „паркетной“ среды, журнальные поденщики, начинавшіе адвокаты; отъ своего труда въ Англіи они жить не могли, другой имъ былъ дикъ; да и не стоило начинать его, они все прислушивались, не раздастся ли набатъ; прошло десять лѣтъ, прошло пятнадцать лѣтъ, нѣтъ набата.

Въ отчаяніи, въ досадѣ, безъ платья, безъ обезпече-

нія на завтрашній день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрывъ глаза, на аферы, выдумываютъ спекуляціи. Аферы не удаются, спекуляціи лопаютъ, и потому что они выдумываютъ вздоръ, и потому что они вносятъ вмѣсто капитала какую-то безпомощную неловкость въ дѣлѣ, чрезвычайную раздражительность, неумѣнье найтиться въ самомъ простомъ положеніи и опять таки неспособность къ выдержанному труду и усѣянному терніями началу. При неудачѣ они утѣшаются недостаткомъ денегъ: „Будь сто-двѣсти фунтовъ и все пошло бы какъ по маслу!“ Дѣйствительно, недостатокъ капитала мѣшаетъ, но это общая судьба работниковъ. Чего и чего не выдумывалось, отъ общества на акціяхъ для выписыванія изъ Гавра куриныхъ яицъ до изобрѣтенія особыхъ чернилъ для фабричныхъ марокъ и какихъ-то эссенцій, которыми можно было превращать сквернѣйшія водки въ превосходнѣйшіе ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на всѣ эти чудеса, надобно было ѣсть и нѣсколько прикрываться отъ сѣверо-восточнаго вѣтра и отъ застѣнчивыхъ взоровъ дщерей Альбіона.

Для этого предпринимались два палліативныя средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но съ большими развлеченіями. Люди мирные, съ Sitzfleisch'емъ, принимались за уроки, не смотря на то, что они не только прежде не давали уроковъ, да и сомнительно, чтобъ когда нибудь ихъ брали. Конкуренція страшно понизила цѣны.

Вотъ образчикъ объявленій одного семидесятилѣтняго старика, который, мнѣ кажется, принадлежалъ скорѣе къ числу *самобытныхъ протестантовъ*, чѣмъ коллективныхъ.

MONSIEUR N. N.

TEACHES THE FRENCH LANGUAGE

ON A NEW AND EASY SYSTEM OF RAPID PROFICIENCY,
HAS ATTENDED MEMBERS OF THE BRITISH PARLIAMENT AND MANY OTHER
PERSONS OF RESPECTABILITY, AS VOUCHERS CERTIFY,
TRANSLATES AND INTERPRETS THAT UNIVERSAL CONTINENTAL
LANGUAGE, AND ENGLISH,

IN A MASTERLY MANNER.

TERMS MODERATE:
Namely, Three Lessons per Week for Six Shillings.

Давать уроки у англичанъ не составляетъ особеннаго удовольствія; кому англичанинъ платитъ, съ тѣмъ онъ не церемонится.

Одинъ изъ моихъ старыхъ пріятелей получаетъ письмо отъ какого-то англичанина, предлагающаго ему давать уроки французскаго языка его дочери. Онъ отправился къ нему въ назначенное время для переговора. Отецъ спалъ послѣ обѣда, его встрѣтила дочь и довольно учтиво, потомъ вышелъ старикъ, осмотрѣлъ съ головы до ногъ Б. и спросилъ: „Vous etre le french teacher?“ Б. подтвердилъ. „Vous pas convenir á moa.“ При этомъ британскій оселъ указалъ на усы и бороду. — „Чтоже вы ему не дали тумака?“ спрашивалъ я Б. —„Я право думалъ объ этомъ, но когда быкъ поворотился, дочь со слезами на глазахъ молча просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не такъ скучно; оно состоитъ въ судорожномъ и артистическомъ коммиссіонерствѣ, въ предложеніи разныхъ разностей безъ вниманія на запросъ. Французы по большей части *работали* въ винахъ и водкахъ. Одинъ легистъ предлагалъ своимъ знакомымъ и *корреліжіонерамъ* коньякъ, доста-

вшійся ему чрезвычайнымъ образомъ, по связямъ, о которыхъ въ теперешнемъ положеніи Франціи онъ не могъ и не долженъ былъ разсказывать, и притомъ черезъ капитана корабля, котораго компрометировать было бы calamité publique. Коньякъ былъ такъ себѣ и стоилъ шесть пенсовъ дороже чѣмъ въ лавкѣ. Легистъ привыкнувшій „пледировать“ съ декламаціей, прибавлялъ къ насилію оскорбленіе: онъ бралъ рюмку двумя пальцами за донышко, описывалъ ею медленные круги, плескалъ нѣсколько капель, нюхалъ ихъ на воздухѣ и всякій разъ былъ изумленъ замѣчательно превосходнымъ запахомъ коньяка.

Другой товарищъ изгнанія, нѣкогда провинціальный профессоръ словесности, увлекалъ виномъ. Вино онъ получалъ *прямо* изъ Котъ д'Ора, Бургоньи, отъ прежнихъ учениковъ и съ необыкновеннымъ выборомъ.

„Гражданинъ, писалъ онъ ко мнѣ, спросите ваше братское сердце (votre cœur fraternel) и оно вамъ скажетъ, что вы должны мнѣ уступить пріятное преимущество снабжать васъ французскимъ виномъ. И тутъ сердце ваше будетъ за одно со вкусомъ и экономіей. Употребляя превосходное вино, по самой дешевой цѣнѣ, вы будете имѣть наслажденіе въ мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу чаловѣка, который дѣлу родины и свободы пожертвовалъ все.

Salut et fraternité!

P. S. Я взялъ на себя смѣлость вмѣстѣ съ тѣмъ отправить къ вамъ нѣсколько пробъ.

Образчики эти были въ полубутылкахъ, на которыхъ онъ собственноручно надписывалъ не только имя вина, но и разныя обстоятельства изъ его біографіи: Chambertin (Gr. vin et très-rare!). Côte rotie (Comète). Pomard (1823!). Nuits (provision Aguado!)...

Недѣли черезъ двѣ-три профессоръ словесности снова присылалъ образчики. Обыкновенно черезъ день или два послѣ присылки, онъ являлся самъ и сидѣлъ часъ, два, три, до тѣхъ поръ, пока я оставлялъ почти всѣ пробы и платилъ за нихъ. Такъ какъ онъ былъ неумолимъ и это повторялось нѣсколько разъ, то впослѣдствіи, только что онъ отворялъ дверь, я хвалилъ часть образчиковъ, отдавалъ деньги и остальное вино. „Я не хочу, гражданинъ, у васъ красть ваше драгоцѣнное время," говорилъ онъ мнѣ и освобождалъ меня недѣли на двѣ отъ кислаго бургонскаго, рожденнаго подъ кометой и прянаго Котъ роти изъ подваловъ Aguado.

Нѣмцы, венгерцы работали въ другихъ отрасляхъ.

Какъ-то въ Ричмондѣ я лежалъ въ одномъ изъ страшныхъ припадковъ головной боли. Взошелъ Франсуа съ визитной карточкой, говоря, что какой-то господинъ имѣетъ крайность меня видѣть, что онъ венгерецъ, adjutante del generale (*вспъ* венгерцы-изгнанники, не имѣющіе никакого занятія, никакой честной профессіи, называли себя *адъютантами Кошута).* Я взглянулъ на карточку—совершенно незнакомая фамилія, украшенная капитанскимъ чиномъ.

— Зачѣмъ вы его пустили? сколько тысячъ разъ я вамъ говорилъ?

— Онъ приходитъ сегодня въ третій разъ.

— Ну, зовите въ залу. Я вышелъ разъяреннымъ львомъ, вооружившись стклянкой распалевой седативной воды.

— Позвольте рекомендоваться, капитанъ такой-то. Я долгое время находился у русскихъ въ плѣну, у Ридигера послѣ Вилагоша. Съ нами русскіе превосходно обращались. Я былъ особенно обласканъ генераломъ

Глазенапъ и полковникомъ... какъ бишь его... русскія фамиліи очень мудрены... *ичъ... ичъ...*

— Пожалуйста не безпокойтесь, *я* ни одного полковника не знаю... Очень радъ, что вамъ было хорошо. Не угодно ли сѣсть.

— Очень, очень хорошо... мы съ офицерами всякій день эдакъ, штосъ, банкъ... прекрасные люди и австрійцевъ терпѣть не могутъ. Я даже помню нѣсколько словъ по русски: „глѣба“, „шевердакъ“ — une pièce de 25 sous.

— Позвольте васъ спросить, что мнѣ доставляетъ...

— Вы меня должны извинить, *баронъ*... я гулялъ въ Ричмондѣ... прекрасная погода, жаль только, что дождь идетъ... я столько наслышался объ васъ отъ *самаго* старика и отъ графа Сандора — Сандора Телеки, также отъ графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, hors ligne.—Молчаніе.

— Да-съ, и Сандоръ... мы съ нимъ вмѣстѣ были въ гонведахъ... Я, собственно, желалъ бы показать вамъ... — и онъ вытащилъ откуда-то изъ за стула портфель, развязалъ его и вынулъ портреты безрукаго Раглана, отвратительную рожу С. Арно, Омеръ-Паши въ фескѣ. — Сходство, баронъ, удивительное. Я самъ былъ въ Турціи, въ Кутаисѣ, въ 1849 году, прибавилъ онъ, какъ будто въ удостовѣреніе сходства, не смотря на то, что въ 1849 году ни Раглана, ни С. Арно тамъ не было.—Вы прежде видѣли эту коллекцію?

— Какъ не видать, отвѣчаю я, смачивая голову распалевой водой. — Эти портреты вывѣшены вездѣ, на Чипсайдѣ, по Странду, въ Вестъ-Эндѣ.

— Да-съ, вы правы, но у меня вся коллекція, и тѣ не на китайской бумагѣ. Въ лавкахъ вы заплатите ги-

нею, а я могу вамъ уступить за пятнадцать шиллинговъ.

— Я, право, очень благодаренъ, но скажите, капитанъ, на что же мнѣ портреты С. Арно и всей этой сволочи?

— Баронъ, я буду откровененъ, я солдатъ, а не метерниховскій дипломатъ. Потерявъ мои владѣнія близъ Темешвара, я нахожусь во временно стѣсненномъ положеніи, а потому беру на коммиссію артистическія вещи (а также сигары, гаванскія сигары и турецкій табакъ — ужъ въ немъ-то русскіе и мы знаемъ толкъ!), это доставляетъ мнѣ скудную копѣйку, на которую я покупаю „горькій хлѣбъ изгнанья“, wie der Schiller sagt.

— Капитанъ, будьте вполнѣ откровенны и скажите, что вамъ придется съ каждой тетради? спрашиваю я, (хотя и сомнѣваюсь, что Шиллеръ сказалъ этотъ дантовскій стихъ).

— Полкроны.

— Позвольте намъ вотъ какъ покончить дѣло: я вамъ предложу *цѣлую крону*, но съ тѣмъ, чтобъ не покупать портретовъ.

— Право, баронъ, мнѣ совѣстно, но мое положеніе... впрочемъ, вы все знаете, чувствуете... я васъ такъ давно привыкъ уважать... графиня Пульская и графъ Сандоръ... Сандоръ Телеки.

— Вы меня извините, капитанъ, я едва сижу отъ головной боли.

— У нашего губернатора (т. е. у Кошута), у старика тоже часто болитъ голова, замѣчаетъ мнѣ гонведъ, какъ бы въ ободреніе и утѣшеніе, потомъ на скоро завязываетъ портфель и беретъ вмѣстѣ съ удивительно похожими портретами Раглана и К-іи довольно сходное изображеніе королевы Викторіи на монетѣ.

Между этими *ходебщиками*, эмиграціи предлагающими выгодныя покупки и эмигрантами, останавливающими всѣхъ небрѣющихъ бороду на улицахъ и скверахъ, требуя *десятый годъ* недостающихъ двухъ шиллинговъ, для отъѣзда въ Америку, и шести пенсовъ, для покупки гробика ребенку, умершему отъ скарлатины—находятся эмигранты, пишущіе письма, иногда пользуясь знакомствомъ, иногда пользуясь незнакомствомъ, о всякаго рода чрезвычайныхъ нуждахъ и единовременныхъ денежныхъ затрудненіяхъ, часто представляя въ дальней перспективѣ обогащеніе, и всегда съ оригинальнымъ эпистолярнымъ искуствомъ.

Такихъ писемъ у меня тетрадь, сообщу два-три особенно характеристическихъ.

„Herr Graf! Я былъ австрійскимъ лейтенантомъ, но дрался за свободу мадьяровъ, долженъ былъ бѣжать и совершенно обносился. Если у васъ найдутся поношенные панталоны—вы неизрѣченно меня обяжете.

P. S. Завтра въ 9 часовъ я навѣдаюсь у вашего *курьера*".

Это родъ наивный, но есть письма классическія по языку и лапидарности, напр:.

„Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquod per me facere potes gaudeo gaudebit cor meum.

Mercuris dies 1859".

Другія письма, не имѣя ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особеннымъ счетоводствомъ:

„Гражданинъ, вы были такъ добры, что прислали мнѣ прошлаго февраля (вы можетъ не помните, но *я* помню) *три* ливра. Давно хотѣлъ я вамъ ихъ отдать, но не получалъ вовсе денегъ отъ родныхъ; на дняхъ я получу довольно значительную сумму. Еслибъ мнѣ не

было совѣстно, я бы попросилъ васъ прислать еще два ливра и отдалъ бы вамъ *круглымъ щетомъ пять* ливровъ".

Я предпочелъ остаться при трехугольномъ. Охотникъ до круглыхъ счетовъ началъ поговаривать. что я въ связяхъ съ русскимъ посольствомъ.

Затѣмъ идутъ письма дѣловыя и письма ораторскія, и тѣ и другія очень много теряютъ въ русскомъ переводѣ.

Mon cher Monsieur! Вы *вѣрно* знаете мое открытіе, оно доставило бы нашему вѣку честь, а мнѣ кусокъ хлѣба. И открытіе это останется неизвѣстнымъ, оттого что у меня нѣтъ кредита на какихъ нибудь 200 фунтовъ, и вмѣсто того, чтобъ заниматься моимъ дѣломъ, мнѣ приходится за вздорную плату courir le cachet. Всякій разъ, когда мнѣ представляется работа продолжительная и выгодная, насмѣшливая судьба дуетъ на нее (*я перевожу слово въ слово*), она летитъ прочь — я за ней, настойчивая дерзость ея беретъ верхъ (son opiniâtre insolence bafoue mes projets) вновь стегаетъ мои надежды и я бѣгу туда — туда. Бѣгу и теперь. Поймаю ли? Почти увѣренъ,--если вы, имѣя довѣріе къ моему таланту, захотите пустить въ волны ваше довѣріе съ моими надеждами, по капризному вѣтру моей судьбы (embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle peu aventureux de mon destin). Далѣе объясняется, что 80 фунт. есть въ виду, даже 85; остальные 115 изобрѣтатель щетъ занять, обѣщая 13, almeno 11 процентовъ въ случаѣ удачи. „Можно ли лучше, вѣрнѣе помѣстить капиталъ въ наше время, когда фонды всего міра колеблются и государства такъ не твердо стоятъ, опираясь на штыки нашихъ враговъ?"

Я ста пятнадцати не даю. Изобрѣтатель начинаетъ соглашаться, что въ моемъ поведеніи не все ясно, il y a du louche, и что не мѣшаетъ со мною быть осторожнымъ.

Въ заключеніе, вотъ письмо чисто ораторское:

„Великодушный согражданинъ, будущей всемірной республики! Сколько разъ вы помогали мнѣ и вашъ знаменитый другъ Луи Бланъ, и опять таки я пишу къ вамъ и пишу къ гражданину Блану, чтобъ попросить нѣсколько шиллинговъ. Удручающее положеніе мое не улучшается вдали отъ Ларъ и Пенатъ, на негостепріимномъ островѣ эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы въ одномъ изъ сочиненій вашихъ (я постоянно ихъ перечитываю). „что талантъ гаснетъ безъ денегъ, какъ лампа безъ масла“ и пр.

Само собой разумѣется, что я этой пошлости никогда не писалъ и что согражданинъ по будущей республикѣ, future et universelle, ни разу не развертывалъ моихъ сочиненій.

За ораторами на письмѣ идутъ ораторы на словахъ, „дѣлающіе тротуаръ и переулокъ“. Большею частію они только прикидываются изгнанниками, а въ сущности — спившіеся съ круга не англійскіе мастеровые или люди, имѣвшіе дома *несчастія*. Пользуясь необъятной величиной Лондона, они продѣлываютъ одну часть за другой и потомъ снова возвращаются на Via sacra, т. е. на Режентъ стритъ съ Геймаркетомъ и Лестеръ скверомъ.

Лѣтъ пять тому назадъ, молодой человѣкъ, довольно чисто одѣтый и съ сентиментальной наружностью, нѣсколько разъ подходилъ ко мнѣ въ сумеркахъ съ вопросомъ на французскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ акцентомъ: „Не можете ли вы мнѣ сказать гдѣ такая-то часть города?“ и онъ подавалъ какой-то адресъ верстъ

за десять отъ Вестъ-Энда, гдѣ нибудь въ Головеѣ, Гекнеѣ. Каждый, такъ какъ и я, принимался ему толковать. Его обдавалъ ужасъ. „Теперь 9 часовъ вечера, я еще не ѣлъ... когда же я приду? Ни гроша на омнибусъ... этого я не ждалъ. Не смѣю просить васъ, но еслибъ вы меня выручили .. мнѣ одного шиллинга за глаза довольно".

Я его встрѣчалъ еще раза два, наконецъ онъ исчезъ и я не безъ удовольствія его встрѣтилъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя на старомъ мѣстѣ, съ измѣненной бородой и въ другой фуражкѣ. Съ чувствомъ приподымая ее, спросилъ онъ меня: „Вы вѣрно знаете по французски?" Знаю, отвѣчалъ я, да сверхъ того знаю, что у васъ есть адресъ, вамъ придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ѣли, на омнибусъ денегъ нѣтъ, вамъ нуженъ шиллингъ... но, на этотъ разъ, я вамъ дамъ сикспенсъ, потому что не вы мнѣ, а я вамъ разсказалъ все это".

— Что дѣлать, отвѣчалъ онъ мнѣ улыбаясь, безъ малѣйшей злобы, вѣдь вотъ вы опять не повѣрите, а я ѣду въ Америку, прибавьте на дорогу.

Я не выдержалъ и додалъ сикспенсъ.

Въ числѣ этихъ господъ были и русссіе: напр. бывшій кавказскій офицеръ, Стремоуховъ, просившій на бѣдность въ Парижѣ еще въ 1847 году, разсказывая очень плавно исторію, какой-то дуэли, бѣгства и пр. и забирая, къ сильному озлобленію прислуги все на свѣтѣ: старыя платья и туфли, фуфайки лѣтомъ и зимой панталоны изъ парусины, дѣтскія платья, дамскія ненужности. Русскіе собрали для него денегъ и отправили въ Алжиръ въ иностранный легіонъ. Онъ выслужилъ пять лѣтъ, привезъ атестатъ и снова отправился изъ дома въ домъ, разсказывать о дуэли и побѣгѣ, приба-

вляя къ нимъ разныя арабскія похожденія. Стремоуховъ становился старъ и жаль его было и надоѣдалъ онъ страшно. Русскій священникъ при лондонской миссіи сдѣлалъ для него колекту, чтобъ отправить его въ Австралію. Ему дали въ Мельборнъ рекомендацію и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проѣздъ. Стремоуховъ приходилъ къ намъ прощаться. Мы его совсѣмъ снарядили: я ему далъ теплое пальто, Г. рубашекъ и пр. Стремоуховъ прощаясь заплакалъ и сказалъ: „Какъ хотите, господа, а ѣхать въ такую даль не легкая вещь. Вдругъ разорваться со всѣми привычками, но это надобно...“ И онъ цѣловалъ насъ и благодарилъ съ горячностью.

Я думалъ, что Стремоуховъ давнымъ давно гдѣ нибудь на берегахъ Викторіи Риверъ, какъ вдругъ читаю въ Теймсѣ, что какой-то russian officer Stremoouchoff за буянство, драку въ кабакѣ, вслѣдствіе какихъ-то взаимныхъ обвиненій въ воровствѣ и пр., присуждается на три мѣсяца тюрьмы. Мѣсяца черезъ четыре послѣ этого, я шелъ по Оксфортъ стритъ, пошелъ сильный дождь, со мной не было зонтика, я подъ вороты. Въ то самое время какъ я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлымъ зонтикомъ, торопливо шмыгнула подъ другія вороты. Я узналъ Стремоухова.—„Какъ, вы воротились изъ Австраліи?“ спросилъ я его, прямо глядя ему въ глаза. — „Ахъ, это вы, а я и не призналъ васъ, отвѣчалъ онъ слабымъ и умирающимъ голосомъ — нѣтъ-съ, не изъ Австраліи, а изъ больницы, гдѣ пролежалъ мѣсяца три между жизнію и смертью... и не знаю, зачѣмъ выздоровѣлъ“.

— Въ какой же вы были больницѣ, въ S. Georges Hospital?

— Нѣтъ, не здѣсь, въ Соутамтонѣ.

— Какъ же вы это занемогли, и никому не дали знать? Да и какъ же вы не уѣхали?

— Опоздалъ на первый train, пріѣзжаю со вторымъ, пароходъ-съ ушелъ. Я постоялъ на берегу, постоялъ и чуть не бросился въ пучину морскую. Иду къ Reverend'у, къ которому нашъ батюшка меня рекомендовалъ, „Капитанъ, говоритъ, уѣхалъ, часу ждать не хотѣлъ".

— А деньги?

— Деньги онъ оставилъ у Reverend'а.

— Вы разумѣется ихъ взяли?

— Взялъ-съ, но проку не вышло, во время болѣзни все утащили изъ подъ подушки, такой народъ! Если можете чѣмъ помочь?

— А вотъ здѣсь во время вашего отсутствія, какого то другаго Стремоухова запекли въ тюрьму и то-же на три мѣсяца, за драку съ курьеромъ. Вы не слыхали?

— Гдѣ же слышать между жизнію и смертію. Кажется дождь перестаетъ. Желаю счастливо оставаться.

— Берегитесь выходить въ сырую погоду, а то опять попадетесь въ больницу.

Послѣ Крымской войны нѣсколько плѣнныхъ матросовъ и солдатъ остались сами, не зная за чѣмъ, въ Лондонѣ. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Нѣкоторые изъ нихъ просили посольство заступиться за нихъ, исходатайствовать прощеніе, aber was macht es den dem Herrn Baron von Brunov!

Они представляли чрезвычайно печальное зрѣлище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то съ дерзостью (довольно непріятною въ узкихъ улицахъ послѣ десяти часовъ вечера), требовали денегъ.

Въ 1853 г. бѣжало нѣсколько матросовъ съ военнаго корабля въ Портсмутѣ, часть ихъ была возвращена, въ силу нелѣпаго закона, подъ который подходятъ исклю-

чительно одни матросы. Нѣсколько человѣкъ спаслись и пришли пѣшкомъ изъ *Портмы* въ Лондонъ. Одинъ изъ нихъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати двухъ, съ добрымъ и открытымъ лицемъ, былъ башмачникомъ, умѣлъ тачать, какъ онъ называлъ, „шлиперы“. Я купилъ ему инструментъ и далъ денегъ, но работа не пошла.

Въ это время Гарибальди отплывалъ съ своимъ Common Wealth въ Генуэ, я попросилъ его взять съ собой молодаго человѣка. Гарибальди принялъ его съ жалованьемъ *фунта* въ мѣсяцъ и съ обѣщаніемъ, если будетъ хорошо себя вести, давать черезъ годъ два фунта. Матросъ разумѣется согласился, взялъ у Гарибальди два фунта впередъ и принесъ свои пожитки на корабль.

На другой день послѣ отъѣзда Гарибальди матросъ пришелъ ко мнѣ красный, заспаный, вспухнувшій.

„Что случилось? спрашиваю я его.

— Несчастіе, ваше благородіе, опоздалъ на корабль.

— Какъ опоздалъ?

Матросъ бросился на колѣни и неестественно хныкалъ. Дѣло было исправимо. Корабль пошелъ за углемъ въ Newcastle on Tyne. „Я тебя пошлю по желѣзной дорогѣ туда, сказалъ я ему, но если ты и на этотъ разъ опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сдѣлаю, хоть умри съ голоду. А такъ какъ дорога въ Newcastle стоитъ больше фунта, а я тебѣ не довѣрю шиллинга, то я пошлю за знакомымъ и ему поручу продержать тебя всю ночь и посадить въ вагонъ“.

— Всю жизнь буду молить Бога за в. в!

Знакомый, взявшійся за отправку, пришелъ ко мнѣ съ рапортомъ, что матроса выпроводилъ.

Представьте же мое удивленіе, когда дня черезъ три

матросъ явился съ какимъ-то полякомъ. „Что это значитъ?“ закричалъ я на него, въ самомъ дѣлѣ дрожа отъ бѣшенства. Но прежде чѣмъ матросъ открылъ ротъ, его товарищъ принялся его защищать на ломаномъ русскомъ языкѣ, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и вина.

— Кто вы такой?

— Польскій *дворянинъ*.

— Въ Польшѣ всѣ дворяне. Почему вы пришли ко мнѣ съ этимъ мошенникомъ?

Дворянинъ расхорахорился. Я сухо замѣтилъ ему, что я съ нимъ не знакомъ и что его присутствіе въ моей комнатѣ до того странно, что я могу его велѣть вывести, позвавъ полисмена.

Я посмотрѣлъ на матроса. Въ три дня аристократическаго общества съ дворяниномъ его много воспитали. Онъ не плакалъ и пьяно дерзко смотрѣлъ на меня.

— Очено занемогъ в. б. Думалъ Богу душу отдать, полегчало когда машина ушла.

— Гдѣ же это тебя схватило?

— На самой т. е. желѣзной дорогѣ.

— Что-жъ не поѣхалъ съ слѣдующей машиной?

— Не въ домекъ-съ, да и такъ какъ языку не способенъ...

— Гдѣ билетъ?

— Да билета нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Уступилъ тутъ одному человѣчку.

— Ну, теперь ищи себѣ другихъ человѣчковъ, только въ одномъ будь увѣренъ, я тебѣ не помогу ни въ какомъ случаѣ.

— Однако позвольте, вступилъ въ рѣчь „вольный шляхтичъ“.

— М. г., я не имѣю ничего вамъ сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился онъ съ своимъ Телемакомъ, вѣроятно до перваго кабака.

Еще ступеньку внизъ...

Можетъ многіе съ недоумѣніемъ спросятъ, какая же это еще ступенька внизъ... а *есть* и довольно *большая* — только тутъ ужъ темно, идите осторожно. Я не имѣю pruderie Ш-ра и мнѣ авторъ поэмы, въ которой Христосъ разговариваетъ съ маршаломъ Бюжо, показался еще забавнѣе послѣ геройскаго pour un vol avec effraction. Если онъ и укралъ что нибудь изъ подъ замка, за то подвергался богъ знаетъ чему и потомъ работалъ нѣсколько лѣтъ, можетъ съ ядромъ на ногахъ. Онъ имѣлъ противъ себя не только того, котораго обокралъ, но все государство и общество, церковь, войско, полицію, судъ, всѣхъ честныхъ людей, которымъ красть не нужно, и всѣхъ безчестныхъ, но не уличенныхъ по суду. Есть воры другого рода, награждаемые правительствомъ, отогрѣваемые начальствомъ, благословляемые церковью, защищаемые войскомъ и не преслѣдуемые полиціей, потому что они сами къ ней принадлежатъ. Это люди, ворующіе не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпіоны — шпіоны въ квадратѣ... ими оканчивается порокъ и развратъ; дальше, какъ за Луциферомъ у Данта, ничего нѣтъ—тамъ ужъ опять пойдетъ вверхъ.

Французы большіе артисты этого дѣла. Они умѣютъ ловко сочетать образованныя формы, горячія фразы, aplomb человѣка, котораго совѣсть чиста и point d'honneur раздражителенъ, съ должностью шпіона. Заподозрите его, онъ вызоветъ васъ на дуэль, онъ будетъ драться и *храбро* драться.

Записки Де-ла-Года, Шеню, Шнепфа — кладъ для изученія грязи, въ которую цивилизація завела своихъ блудныхъ дѣтей. Де-ла-Годъ наивно печатаетъ, что онъ, предавая своихъ друзей, долженъ былъ съ ними хитрить такъ, „какъ хитритъ охотникъ съ дичью“.

Де-ла-Годъ—это Алкивіадъ шпіонства.

Молодой человѣкъ съ литературнымъ образованіемъ и радикальнымъ образомъ мыслей, онъ изъ провинціи явился въ Парижъ, бѣдный какъ Иръ и просилъ работы въ редакціи *Реформы*. Ему дали какую-то работу, онъ ее сдѣлалъ хорошо; мало по малу съ нимъ сблизились. Онъ вступилъ въ политическіе круги, зналъ многое изъ того, что дѣлалось въ республиканской партіи и продолжалъ работать *нѣсколько лѣтъ*, оставаясь въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ къ сотрудникамъ.

Когда послѣ февральской революціи Коссидьеръ разобралъ бумаги въ префектурѣ, онъ нашелъ, что Де-ла Годъ все время неправильно доносилъ полиціи о томъ, что дѣлалось въ редакціи *Реформы* Коссидьеръ позвалъ Де-ла-Года къ Альберу, тамъ ждали свидѣтели. Де-ла-Годъ явился, ничего не подозрѣвая, попробовалъ запираться, но потомъ, видя невозможность, признался, что письма къ префекту писалъ онъ. Возникъ вопросъ, что съ нимъ дѣлать? Одни думали, и были совершенно правы, застрѣлить его тутъ же какъ собаку. Альберъ возсталъ пуще всѣхъ и не хотѣлъ, чтобы въ *его квартирѣ* убили человѣка. Коссидьеръ предложилъ ему заряженный пистолетъ съ тѣмъ, чтобъ онъ застрѣлился. Де-ла-Годъ отказался. Кто-то спросилъ его, не хочетъ-ли онъ яду? онъ и отъ яду отказался, а отправляясь въ тюрьму, какъ благоразумный человѣкъ, *спросилъ кружку пива*, это фактъ, переданный мнѣ сопровождавшимъ его помощникомъ мера XII округа.

Когда реакція стала брать верхъ, Де-ла-Года выпустили изъ тюрьмы, онъ уѣхалъ въ Англію, но когда реакція еще окончательнѣе восторжествовала, онъ возвратился въ Парижъ и совался впередъ въ театрахъ и другихъ публичныхъ собраніяхъ, какъ левъ особой породы, вслѣдъ за тѣмъ издалъ онъ свои записки.

Шпіоны постоянно трутся во всѣхъ эмиграціяхъ — ихъ узнаютъ, открываютъ, колотятъ, а они свое дѣло дѣлаютъ съ полнѣйшимъ успѣхомъ. Въ Парижѣ полиція знаетъ всѣ лондонскія тайны. День тайнаго пріѣзда Делеклюза, потомъ Бушо во Францію, были такъ хорошо извѣстны, что они были схвачены въ Кале, лишь только вышли изъ корабля. Въ коммунистическомъ процессѣ въ Кельнѣ читали документы и письма „купленныя въ Лондонѣ“ какъ наивно признался въ судѣ прусскій коммисаръ полиціи.

Въ 1849 году, я познакомился съ изгнаннымъ австрійскимъ журналистомъ, Энглендеромъ. Онъ былъ очень уменъ, очень колокъ и впослѣдствіи помѣщалъ въ Колачековскихъ ярбухахъ рядъ живыхъ статей объ историческомъ развитіи соціализма. Энглендеръ этотъ попался въ тюрьму въ Парижѣ по дѣлу, названному „Дѣломъ корреспондентовъ“. Ходили разные слухи объ немъ, наконецъ онъ самъ явился въ Лондонъ. Здѣсь другой австрійскій изгнанникъ, докторъ Гефнеръ, очень уважаемый своими, говорилъ, что Энглендеръ въ Парижѣ былъ на жалованьи у префекта, и что его сажали въ тюрьму за измѣну брачной вѣрности французской полиціи, приревновавшей его къ австрійскому посольству, у котораго онъ тоже былъ на жалованьи. Энглендеръ жилъ разгульно, на это надобно много денегъ, одного префекта видно не хватало.

Нѣмецкая эмиграція потолковала, потолковала и по-

звала Энглендера къ отвѣту. Энглендеръ хотѣлъ отшутиться, но Гефнеръ былъ безпощаденъ! тогда мужъ двухъ полицій вдругъ вскочилъ съ раскраснѣвшимся лицомъ, со слезами на глазахъ и сказалъ: „Ну да, я во многомъ виноватъ, но не ему меня обвинять"; и онъ бросилъ на столъ письмо префекта, изъ котораго ясно было, что и Гефнеръ получалъ отъ него деньги.

Въ Парижѣ проживалъ нѣкій Н-ръ, тоже австріскій рефюжье, я познакомился съ нимъ въ концѣ 1848 года. Товарищи его разсказывали объ немъ необыкновенно храбрый поступокъ во время революціи въ Вѣнѣ. У инсургентовъ не доставало пороха, Н-ръ вызвался привести по *желѣзной дорогѣ* и привезъ. Женатый и съ дѣтьми, онъ бѣдствовалъ въ Парижѣ. Въ 1853 г. я его нашелъ въ Лондонѣ въ большой крайности, онъ занималъ съ семьею двѣ небольшія комнатки, въ одномъ изъ самыхъ бѣдныхъ переулковъ Соо. Все не спорилось въ его рукахъ. Завелъ онъ было прачешную, въ которой его жена и еще одинъ эмигрантъ, стирали бѣлье, а Н-ръ развозилъ его—но товарищъ уѣхалъ въ Америку и прачешная остановилась.

Ему хотѣлось помѣститься въ купеческую контору—очень не глупый человѣкъ и съ образованіемъ онъ могъ заработать хорошія деньги, но reference, reference, безъ reference въ Англіи ни шагу. Я ему далъ свою; по поводу этой рекомендаціи, одинъ нѣмецкій рефюжье, О., замѣтилъ мнѣ, что напрасно я хлопочу, что человѣкъ этотъ не пользуется хорошей репутаціей, что онъ будто бы въ связяхъ съ французской полиціей.

Въ это время Р. привезъ въ Лондонъ моихъ дѣтей. Онъ принималъ въ Н-ръ большое участіе. Я сообщилъ ему, что̀ объ немъ говорятъ.

Р. расхохотался, онъ ручался за Н-ръ, какъ за само-

го себя, и указывалъ на его бѣдность, какъ на лучшее опроверженіе. Послѣднее убѣждало отчасти и меня. Вечеромъ Р. ушелъ гулять, возвратился поздно встревоженный и блѣдный. Онъ взошелъ на минуту ко мнѣ и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— У васъ есть что-то на душѣ, heraus damit!

— Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

— Пожалуй, но что за шалости, предоставьте моей совѣсти.

— Я не могъ успокоиться, услышавши отъ васъ объ Н-ръ, и, не смотря на обѣщаніе, данное вамъ, я рѣшился его спросить и былъ у него. Жена его на дняхъ родитъ, нужда страшная... чего мнѣ стоило начать разговоръ! Я вызвалъ его на улицу и, наконецъ, собравъ всѣ силы, сказалъ ему: знаете ли, что Г. предупреждали въ томъ-то и томъ-то; я увѣренъ, что это клевета, поручите мнѣ разъяснить дѣло. „Благодарю васъ, отвѣчалъ онъ мнѣ мрачно, но это не нужно; я знаю, откуда это идетъ. Въ минуту отчаянія, умирая съ голода, я предложилъ префекту въ Парижѣ мои услуги, чтобы держать его au courant эмиграціонныхъ новостей. Онъ мнѣ прислалъ 300 франковъ и я никогда ему не писалъ потомъ.“

Р. чуть не плакалъ.

— Послушайте, пока жена его не родитъ и не оправится, даю вамъ слово молчать; пусть идетъ въ конторщики и оставитъ политическіе круги. Но, если я услышу новыя доказательства и онъ все таки будетъ въ сношеніяхъ съ эмиграціей, я его выдамъ. Чортъ съ нимъ!

Р. уѣхалъ. Дней черезъ десять, во время обѣда, взо-

шелъ ко мнѣ Н-ръ, блѣдный, разстроенный. „Вы можете понять, говорилъ онъ, чего мнѣ стоитъ этотъ шагъ; но куда ни смотрю, кромѣ васъ спасенья нѣтъ. Жена родитъ черезъ нѣсколько часовъ, въ домѣ ни угля, ни чая, ни чашки молока, денегъ ни гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушеромъ.“ И онъ, дѣйствительно, изнеможенный бросился на стулъ и, покрывъ лице руками, сказалъ: „остается пулю въ лобъ, по крайней мѣрѣ не увижу этого ужаса.“

Я тотчасъ послалъ за добрымъ Павломъ Дарашемъ, далъ денегъ Н-ръ и, сколько могъ, успокоилъ его. На другой день Дарашъ заѣхалъ сказать, что роды сошли съ рукъ хорошо.

Между тѣмъ вѣсть, пущенная вѣроятно по личной враждѣ, о связяхъ съ французской полиціей Н-ра ходила больше и больше и, наконецъ, Т., извѣстный вѣнскій клубистъ и агитаторъ, послѣ рѣчи котораго народъ повѣсилъ Латура, увѣрялъ на право и на лѣво, что онъ самъ читалъ письмо отъ префекта, писанное при присылкѣ денегъ. Обвиненіе Н-ра, видно, было дорого для Т.: онъ самъ зашелъ ко мнѣ, чтобы подтвердить его.

Положеніе мое становилось трудно. Гаугъ жилъ у меня; до того я ему не говорилъ ни слова, но теперь это становилось не деликатно и опасно. Я разсказалъ ему, не упоминая о Р., котораго не хотѣлъ путать въ драму, имѣвшую всѣ шансы на то, что V актъ ея будетъ представляться въ полицейскомъ судѣ или въ Олдъ-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось, „вскипѣлъ бульонъ,“ я едва могъ усмирить Гауга и удержать его отъ нашествія на чердакъ Н-ра. Я зналъ, что Н-ръ долженъ былъ придти къ намъ съ переписанными

тетрадями, и совѣтовалъ подождать его. Гаугъ согласился, и какъ-то утромъ вбѣжалъ ко мнѣ, блѣдный отъ ярости, и объявилъ, что Н-ръ внизу. Я бросилъ поскорѣе бумаги въ столъ и сошелъ. Перестрѣлка шла ужъ сильная. Гаугъ кричалъ и Н-ръ кричалъ. Калиберъ крѣпкихъ словъ становился все крупнѣе. Выраженіе лица Н-ра, искаженнаго злобой и стыдомъ, было дурно. Гаугъ былъ въ азартѣ и путался. Этимъ путемъ можно было скорѣе дойти до раскрытія черепа, чѣмъ дѣла.

— Господа, сказалъ я вдругъ середь рѣчи, позвольте васъ остановить на минуту.

Они остановились.

— Мнѣ кажется, что вы портите дѣло горячностью; прежде, чѣмъ браниться, надобно поставить совершенно ясно вопросъ.

— Что я *шпіонъ или нѣтъ*, кричалъ Н-ръ, я ни одному человѣку не позволю ставить такой вопросъ.

— Нѣтъ, не въ этомъ вопросъ, который я хотѣлъ предложить; васъ обвиняетъ *одинъ человѣкъ*, да и не онъ одинъ, что вы получали деньги отъ парижскаго префекта полиціи.

— Кто этотъ человѣкъ?

— Т.

— Мерзавецъ.

— Это къ дѣлу не идетъ, вы деньги получали или нѣтъ?

— *Получалъ*, сказалъ Н-ръ съ натянутымъ спокойствіемъ, глядя мнѣ и Гаугу въ глаза. Гаугъ судорожно кривлялся и какъ-то стоналъ отъ нетерпѣнія снова обругать Н-ра; я взялъ Гауга за руку и сказалъ: „Ну, только намъ и надобно.“

— *Нѣтъ, не только*, отвѣчалъ Н-ръ, вы должны

знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировалъ никого.

— Дѣло это можетъ рѣшить только вашъ корреспондентъ Піетри, а мы съ нимъ не знакомы.

— Да что я у васъ подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я долженъ передъ вами оправдываться? Я слишкомъ высоко цѣню свое достоинство, чтобы зависѣть отъ мнѣнія какого нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будетъ въ этомъ домѣ, прибавилъ Н-ръ, гордо надѣлъ шляпу и отворилъ дверь. „Въ этомъ вы можете быть увѣрены," сказалъ я ему вслѣдъ. Онъ хлопнулъ дверью и ушелъ. Гаугъ порывался за нимъ, но я, смѣясь, остановилъ его, парефразируя слова Сіэса: Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier— déjeunons!

Н-ръ отправился прямо къ Т. Тучный, лоснящійся Силенъ, о которомъ Мацини какъ-то сказалъ: „мнѣ все кажется, что его поджарили на оливковомъ маслѣ и не обтерли," еще не покидалъ своего ложа. Дверь отворилась и передъ его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Н-ра.

— Ты сказалъ Г., что я получалъ деньги отъ префекта?

— Я.

— Зачѣмъ?

— За тѣмъ, что ты получалъ.

— Хотя и зналъ, что я не доносилъ. Вотъ же тебѣ за это, при этихъ словахъ Н-ръ плюнулъ Т. въ лицо и пошелъ вонъ... Разъяренный Силенъ не хотѣлъ остаться въ долгу, онъ вскочилъ съ постели, схватилъ горшокъ и, пользуясь тѣмъ, что Н-ръ спускался по лѣстницѣ, вылилъ ему весь запасъ на голову, приговаривая: „А это ты возьми себѣ."

Эпилогъ этотъ утѣшилъ меня несказанно. „Видите, какъ хорошо я сдѣлалъ, говорилъ я Гаугу, что васъ остановилъ. Ну что бы подобнаго вы могли сдѣлать надъ главой несчастнаго корреспондента Піетри, вѣдь онъ до втораго пришествія не просохнетъ.“

Казалось бы, дѣло должно было окончиться этой нѣмецкой вендетой, но у эпилога есть еще небольшой финалъ. Какой-то господинъ, говорятъ добрый и честный, старикъ В., сталъ защищать Н. Онъ созвалъ комитетъ нѣмцевъ и пригласилъ меня, *какъ одного изъ обвинителей.* Я написалъ ему, что въ комитетъ не пойду, что все мнѣ извѣстное ограничивается тѣмъ, что Н. въ моемъ присутствіи сознался Гаугу, что онъ деньги *отъ префекта получалъ.* В-ру это не понравилось, онъ написалъ мнѣ, что Н. *фактически* виноватъ, но *морально* чистъ, и приложилъ письмо Н. къ нему. Н. обращалъ между прочимъ вниманіе его на *странность* моего поведенія. „Г., говорилъ онъ, гораздо прежде зналъ отъ г. Р. объ этихъ деньгахъ и не только молчалъ до обвиненія Т., но послѣ того еще далъ мнѣ два фунта и присылалъ на свой счетъ доктора во время болѣзни жены!“

Sehr gut!

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I.
и
В. Н. КАРАЗИНЪ.*)

Вамъ, Н. А., послѣднему нашему маркизу Позѣ.
отъ всей души, посвящаю этотъ очеркъ.

I.

ДОНЪ КАРЛОСЪ.

Въ первые годы царствованія Александра I, т. е. когда уроки Лагарпа были еще въ памяти и урокъ данный монархамъ вообще въ Парижѣ и русскимъ са-

*) Въ моей первой юности, я видалъ раза два-три *Василія Назаровича Каразина*, помню, что мой отецъ разсказывалъ объ его письмѣ къ Александру I, объ его близости къ нему и о быстромъ паденіи. Въ 1860 году, я прочелъ замѣчательную жизнь этого человѣка въ „Сѣверной Пчелѣ". Въ порывистой, многосторонней, исполненной инициативы дѣятельности Каразина все захватывало вниманіе, всего больше то, чего въ Сѣверной Пчелѣ *не было*, т. е., что осталось по ту сторону цензурныхъ колодокъ. Случайно досталъ я письмо Каразина къ императору (оно было напечатано въ „Русскомъ Вѣстникѣ" 1810) и нѣсколько другихъ бумагъ. Сначала я думалъ только напечатать это письмо, въ дополненіе упомянутой статьи. Потомъ мнѣ захотѣлось, по поводу отношеній Александра I къ Каразину, высказать нѣсколько общихъ замѣчаній — я это и сдѣлалъ. Ни статья Сѣверной Пчелы, ни эти замѣчанія, далеко не составляютъ біографіи В. Н. Каразина. Это только матеріалы для нея, я съ своей стороны почти не касался до жизнеописанія Каразина, мнѣ хотѣлось только загрунтовать fond и набросить обстановку, въ которой выступаетъ его фигура.

Эта статья была напечатана въ *Пол. Зв. Т. VII стр. 7.*

модержцамъ въ особенности въ михайловскомъ дворцѣ, не были забыты — у императора Александра I бывали литературные вечера, на нихъ приглашались нѣсколько близкихъ лицъ къ государю, особенно извѣстныхъ за грамотныхъ.

Въ одинъ изъ этихъ вечеровъ, чтеніе длилось долго; читали новую трагедію Шиллера.

Чтецъ кончилъ и остановился.

Государь молчалъ, потупя взглядъ. Можетъ онъ думалъ о своей судьбѣ, которая такъ близко прошла къ судьбѣ Донъ Карлоса, можетъ о судьбѣ своего Филиппа? Нѣсколько минутъ продолжалась совершенная тишина, первый перервалъ ее князь Александръ Николаевичъ Голицынъ; наклоняя голову къ уху графа Виктора Павловича Кочубея, онъ сказалъ ему вполслуха, но такъ, чтобъ всѣ слышали:

— „У насъ есть свой маркизъ Поза!“

Кочубей усмѣхнулся и кивнулъ ему головой. Глаза всѣхъ обернулись на человѣка лѣтъ тридцати, сидѣвшаго поодаль.

Императоръ вздрогнулъ, посмотрѣлъ на окружавшихъ, остановилъ недовѣрчивый, пытливый взглядъ на человѣкѣ, сдѣлавшемся преметомъ общаго вниманія, наморщилъ брови, всталъ мрачный и недовольный, откланялся гостямъ и вышелъ.

Князь Александръ Николаевичъ улыбался; будущій министръ просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, инквизиторъ и масонъ, покровитель Магницкаго и Рунича, начальникъ библейскаго общества и почтоваго вѣдомства, другъ императора Александра, который безжалостно пожертвовалъ его Аракчееву, другъ императора Нилолая, который не поручилъ ему никогда ничего дѣльнаго, былъ доволенъ. Зная подозрительный характеръ Але-

ксандра, онъ былъ увѣренъ, что слово его взойдетъ — и не ошибся. Почему онъ вредилъ этому человѣку, этого онъ не зналъ, это лежало въ его натурѣ царедворца; на всякой случай не мѣшало отстранить лишняго человѣка.

Безъ сомнѣнія на ту минуту, изъ всѣхъ бывшихъ на чтеніи только двое искренно и пламенно желали добра Россіи,—государь и В. Н. Каразинъ, названный маркизомъ Позой.

Эти двѣ личности—одна „вѣнчанная и превознесенная" въ успенскомъ соборѣ митрополитомъ Платономъ, сокрушившая Наполеона и сокрушившаяся подъ бременемъ славы и безвыходнаго, безпомощнаго самодержавія, и другая личность неутомимаго работника на общую пользу, бравшаяся за все и за все съ необыкновенной энергіей, толкавшагося во всѣ двери и встрѣтившаго вездѣ отпоръ, препятствія и невозможность въ этой средѣ произвести что нибудь путное — эти двѣ личности бросаютъ два печальныхъ луча на гладко подмерзнувшія тундры петровской Россіи, въ которыхъ затирались, затираются энергія и воля, таланты и силы, пропадая безъ вѣсти въ болотныхъ топяхъ, какъ сваи. на которыхъ построенъ Петербургъ.

Характеръ императора Александра I мало выясненъ, Наши историки не могли о немъ писать, иностранные не могли и не могутъ понять въ чемъ его трагическій *смыслъ*. Этого равно не объясняютъ, ни его царское достоинство, ни его личныя несчастія; онъ же, совсѣмъ напротивъ, былъ необыкновенно счастливъ какъ царь, счастливъ даже послѣ смерти. Нельзя быть рельефнѣе поставлену въ исторіи, какъ онъ. Наслѣднику Павла только и не доставало имѣть преемникомъ Николая Между гатчинскимъ тигромъ, котораго пришибли какъ

бѣшеннаго звѣря и застегнутымъ на всѣ пуговицы удавомъ, душившимъ тридцать лѣтъ Россію — сутуловатая фигура императора Александра вырѣзывается какъ-то человѣчественно и кротко, то освѣщенная заревомъ Москвы, то озаренная парижскими плошками, то удерживающая руку нѣмецкихъ владѣтельныхъ воришекъ, то останавливающая дикую месть побѣдителей, дорвавшихся до непріятельской столицы.

И эта фигура Агамемнона, примирителя Европы, на вершинѣ своего величія, становится смутнѣе, видимо тускнетъ, стирается за страшной тѣнію Аракчеева, и пропадаетъ одиноко на берегахъ Чернаго моря, подавая руку поздняго примиренія женщинѣ, которой вся жизнь, прикрытая императорской багряницей, была однимъ оскорбленіемъ, и которая одиноко, колѣнопреклоненная передъ умирающимъ, закрыла его глаза и пережила его.

Every inch, „каждый вершокъ" потрясающая трагедія.

Не думайте искать отгадки въ смерти Павла, она могла прибавить еще черную нитку въ его жизни, но fond дальше, обширнѣе, глубже. Какая-то неумолимая, роковая стихія обнимаетъ ее и далеко перехватываетъ. Въ этой средѣ чуется зловѣщее вѣяніе, присутствіе *преступленія*, не совершившагося, не прошедшаго, а преступленія *продолжающагося*, невольнаго: оно бродитъ въ крови, имъ пропитаны стѣны. Кровь отравлена въ жилахъ до рожденія, воздухъ, которымъ тутъ дышатъ люди, тлетворенъ, каждый вступающій вовлеченъ, хочетъ онъ или нѣтъ, въ омутъ нелѣпости, гибели, грѣха. Пути ко всему злому раскрыты во всю ширь. Добро невозможно. Горе тому, кто остановится и подумаетъ, кто спроситъ себя, что онъ дѣлаетъ, что дѣлаютъ вокругъ него, — онъ сойдетъ съума; горе тому,

кто въ этихъ стѣнахъ допуститъ человѣческое чувство въ своемъ сердцѣ,—онъ сломится въ борьбѣ.

Вотъ это-то останавливавшееся лицо, въ рядѣ русскихъ вѣнценосцевъ послѣ Петра, и былъ императоръ Александръ I. Оттого-то онъ и есть единственный *наказанный* изъ всѣхъ Романовыхъ, наказанный человѣчески, внутренней борьбою, наказанный прежде вины, *но доросшій до нея* впослѣдствіи.

Сравните его судьбу съ судьбой Петра III, Павла, пожалуй Николая, и вы поймете, почему именно этотъ человѣкъ, названный „благословеннымъ", умершій на своей кровати, и притомъ никѣмъ не побѣжденный, гораздо больше трагическое лицо чѣмъ всѣ его предшественники. Что трагическаго въ томъ, что пьянаго идіота убила и обобрала развратная женщина; это случается сплошь да рядомъ въ закоптѣлыхъ домахъ темныхъ лондонскихъ переулковъ; или въ томъ, что человѣкъ, обороняясь отъ сумашедшаго, хватилъ его табакеркой въ високъ, а другіе покончили его. Это не трагическія катастрофы, а дѣла уголовной палаты и смирительныхъ домовъ.

Трагическій элементъ не опредѣляется ни болью, ни синими пятнами, ни кулачной борьбой; а тѣми внутренними столкновеніями, независимыми отъ воли, противорѣчащими уму, съ которыми человѣкъ борется а одолѣть ихъ не можетъ—напротивъ, почти всегда уступаетъ имъ, измочалившись о гранитные берега неразрѣшимыхъ повидимому антиномій. Для того, чтобъ такъ разбиться, надобно извѣстную степень человѣческаго развитія, своего рода помазаніе. Есть натуры до того будничныя, до того рутинныя, до того узкія и посредственныя, что ихъ счастіе и несчастіе пошло, по крайней мѣрѣ не интересно. Въ холодныхъ глазахъ, въ

прозѣ военно-учебнаго самовластія Николая, въ его ограниченномъ взглядѣ, постоянно обращенномъ на мелочи и подробности, въ его субалтерной точности и пристрастіи къ прямымъ линіямъ, къ геометрическимъ фигурамъ, лежитъ исключеніе всего поэтическаго. Напрасно изъ послѣднихъ дней его хотятъ сдѣлать что-то величаво-мрачное. Человѣкъ этотъ не останавливался ни на чемъ, не сомнѣвался ни въ чемъ, на него на находило раздумье, у него не было раскаянія, не было идеаловъ, онъ зналъ, что царствуетъ по волѣ божіей, что должность императора—военная, и былъ совершенно доволенъ собой; онъ не подозрѣвалъ, что нравственная жизнь государства понизилась имъ, что онъ, кругомъ сомкнутый и обворованный, поставилъ Россію на край пропасти. Узнавши послѣднее, онъ съ досадой увидѣлъ, что не доросъ даже до того, чтобъ совладать съ первой неудачей, и тотчасъ умеръ отъ безсильной злобы. Это урокъ, примѣръ, угроза, но не трагедія. Въ противномъ случаѣ можно сдѣлать трагическій типъ не только изъ всякаго наказаннаго разбойника, но даже изъ желчеваго труса Аракчеева, умирающаго въ Грузинѣ, всѣми ненавидимаго и оставленнаго, у окаянной могилы облитой кровью цѣлой дворни.

Не таковъ былъ императоръ Александръ. Императрица Екатерина, сосредоточивая на немъ династическій интересъ и то материнское чувство, которое она никогда не имѣла къ своему сыну, дала ему очень человѣческое воспитаніе и, какъ это бываетъ съ старыми грѣшниками, воспитывала его въ невѣденіи того, что дѣлалось вокругъ. Александръ былъ мечтатель, юноша съ романическими идеями, съ той неопредѣленной филантропіей, которая тогда была въ ходу и составляла какъ-бы сѣверное сіяніе, или холодный и мерцающій

отблескъ иной болѣе горячей филантропіи, которая проповѣдывалась тогда въ Парижѣ. Но со всѣмъ тѣмъ, его воспитаніе кончилось рано, и онъ съ Лагарпомъ въ головѣ является на царскій помостъ, окруженный сѣдымъ, догнивающимъ развратомъ послѣднихъ лѣтъ екатерининской эпохи.

... „Я отнюдь недоволенъ своимъ положеніемъ“, пишетъ великій князь, В. П. Кочубею, 10 Мая 1796 года т. е. 18 лѣтъ отъ роду.*) „Я чрезвычайно радъ, что рѣчь объ этомъ зашла сама собою, безъ чего очень затруднился бы завести ее. Да, милый другъ, повторю снова: мое положеніе меня вовсе не удовлетворяетъ. Оно слишкомъ блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствіе. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякій разъ страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену и кровь портится во мнѣ при видѣ низостей, совершаемыхъ другими на каждомъ шагу для полученія внѣшнихъ отличій, не стоющихъ, въ моихъ глазахъ, мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ такихъ людей, которыхъ не *желалъ бы имѣть у себя и лакеями;* а, между тѣмъ, они занимаютъ здѣсь высшія мѣста, какъ напр. З....., П...., Б...., оба С...., М.... и множество другихъ, которыхъ не стоитъ даже называть и которые, будучи надменны съ нисшими, пресмыкаются передъ тѣмъ, кого боятся. Однимъ словомъ, мою любезный другъ, я сознаю, что не рожденъ для того высокаго сана, который ношу теперь, и еще менѣе для предназначеннаго мнѣ въ будущемъ, отъ котораго я далъ себѣ клятву отказаться тѣмъ или другимъ образомъ.

„Вотъ, любезный другъ, важная тайна, которую я

*) Корфъ, восшествіе Николая стр. 228—229.

уже давно хотѣлъ передать вамъ; считаю излишнимъ просить васъ не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете, какъ дорого я могъ бы за нее поплатиться. Я просилъ Г. Гаррика сжечь это письмо. если бы ему не удалось лично вамъ его вручить, и никому не передавать для доставленія его къ вамъ.

„Я обсудилъ этотъ предметъ со всѣхъ сторонъ. Надобно вамъ сказать, что первая мысль о немъ родилась у меня еще прежде, чѣмъ я съ вами познакомился и что я не замедлилъ придти къ настоящему моему рѣшенію.

„Въ нашихъ дѣлахъ господствуетъ неимовѣрный безпорядокъ; грабятъ со всѣхъ сторонъ; всѣ части управляются дурно; порядокъ, кажется изгнанъ отовсюду— а Имперія, не смотря на то, стремится лишь къ расширенію своихъ предѣловъ. При такомъ ходѣ вещей возможно ли одному человѣку управлять государствомъ, а тѣмъ болѣе исправить укоренившіяся въ немъ злоупотребленія; это выше силъ не только человѣка, одареннаго, подобно мнѣ, обыкновенными способностями, но даже и генія, а я постоянно держался правила, что лучше совсѣмъ не браться за дѣло, чѣмъ исполнять его дурно. Слѣдуя этому правилу, я и принялъ то рѣшеніе, о которомъ сказалъ вамъ выше. Мой планъ состоитъ въ томъ, чтобы, по отреченіи отъ этого труднаго поприща (я не могу еще положительно назначить срокъ сего отреченія), поселиться съ женою на берегахъ Рейна, гдѣ буду жить спокойно частнымъ человѣкомъ, полагая мое счастіе въ обществѣ друзей и въ изученіи природы“.

„Вы вольны смѣяться надо мною и говорить, что это намѣреніе несбыточное; но подождите исполненія и уже тогда произносите приговоръ. Знаю, что вы осу-

дите меня, но не могу поступить иначе, потому что покой совѣсти ставлю первымъ для себя закономъ, а могла ли бы она оставаться спокойною, если бы я взялся за дѣло не по моимъ силамъ. Вотъ, мой милый другъ, что я такъ давно желалъ сообщить вамъ. Теперь, когда все высказано, мнѣ только остается увѣрить васъ, что гдѣ бы я ни былъ, счастливымъ или несчастливымъ, богатымъ или бѣднымъ, ваша дружба ко мнѣ будетъ всегда однимъ изъ величайшихъ для меня утѣшеній; моя же къ вамъ, вѣрьте, кончится только съ жизнію."

Екатерина умерла. Павелъ свезъ въ трескучій морозъ тѣло Петра III въ Петропавловскую крѣпость, *прихоронить* его покойницѣ, и заставилъ графа А. Орлова и Барятинскаго нести его корону. Александръ еще ближе подвинулся къ вершинѣ, окруженной тѣмъ гноемъ, о которомъ онъ писалъ. Но тамъ все ужъ измѣнилось одною смертію, все стало еще скверніе, только въ другомъ родѣ. Жалѣть пришлось ему сановниковъ, которыхъ онъ не хотѣлъ „имѣть лакеями". Избалованная, пресыщенная дворня старой барыни замѣнилась капитенармусами и камердинерами наслѣдника, которые внесли во дворецъ казарму и переднюю. На мѣсто надменныхъ дворецкихъ воровъ явились воры доносчики, на мѣсто лакеевъ — палачи; дворецъ изъ публичнаго дома сталъ застѣнкомъ. Развратъ чувственный смѣнился развратомъ свирѣпости, боли, заколачиванія.

Тревожно и грустно стоялъ цесаревичъ, подавленный ужасомъ, у подножія дикаго трона; безсильный помочь и лишенный возможности отойти, Александръ, какъ Гамлетъ, бродилъ по этимъ заламъ, не умѣя ни на что рѣшиться; другіе рѣшились за него.

Также тревожно и грустно, да и еще къ тому жъ съ

чернымъ пятномъ на совѣсти, взошелъ онъ самъ на вершину страшной скалы, съ которой только-что сбросили обезображенный трупъ убитаго отца его. Онъ хотѣлъ добра и ему вѣрили. На его юныя и кроткія черты смотрѣли съ упованіемъ; уповалъ и онъ, что сдѣлаетъ изъ Россіи рай; онъ ей отдаетъ лучшіе годы, лучшія силы, народъ благословитъ его, онъ замолитъ грѣхъ своего участія въ кровавомъ дѣлѣ, и тогда Траянъ и Маркъ-Аврелій, онъ исполнитъ писанное къ Кочубею и пропадетъ въ виноградныхъ садахъ на берегахъ Рейна.*)

Александръ былъ откровененъ въ этихъ мечтахъ, онъ имъ вѣрилъ, и не онъ одинъ, имъ вѣрила вся Россія, т. е. Россія *порядочныхъ людей*, Россія, признанная людскою; до *черной* Руси, до Руси податной, это не касалось; она и тутъ, какъ вообще на торжествахъ и праздникахъ, была исключена изъ общей радости, да и сама не старалась принять въ ней участіе, вспоминая матушку императрицу и словно чуя, что новое царствованіе за кровь десятаго человѣка заплатитъ военными поселеніями.

Легко было начать новую эпоху, опираясь на такую любовь, на такую вѣру, на такую радость о смерти злодѣя...

Теперь дай человѣка мнѣ, создатель...
Ты много далъ мнѣ: только человѣка
Ты дай теперь мнѣ...
Молю тебя о другѣ: я не такъ,
Какъ ты, всевѣдущъ. Слуги, мнѣ тобой
Посланные, самъ вѣдаешь, какіе
Они мнѣ слуги. Изъ-за денегъ только
Они мнѣ служатъ.
Мнѣ правды надо...

*). Мечта объ отреченіи занимала его до самой смерти.

Прошло дней десять послѣ смерти Павла. Во дворцѣ былъ большой пріемъ; радостныя лица, одѣтыя въ глубокій трауръ, входили, выходили, низко кланялись, повторяли заболѣлыя фразы. Застѣнчивый Александръ, мало привыкнувшій къ этой работѣ и къ этой роли бога, передъ которымъ все падаетъ, на котораго все уповаетъ, утомленный, взошелъ послѣ пріема въ свой кабинетъ и бросился на кресло передъ своимъ рабочимъ столомъ. На его столѣ, въ его кабинетѣ, въ который никто не смѣлъ входить, лежало толстое письмо... запечатанное и надписанное ему.

Онъ сорвалъ печать и развернулъ письмо; по мѣрѣ чтенія, глаза его наполнялись слезами, щеки горѣли; онъ положилъ письмо и крупныя слезы продолжали катиться по его щекамъ. Ихъ видѣли графъ Паленъ и Трощинскій. „Господа, сказалъ имъ государь, неизвѣстный человѣкъ положилъ на мой столъ это письмо; оно безъ подписи, сыщите мнѣ непремѣнно, кто его писалъ.“

II.

ПИСЬМО

Вотъ что прочелъ императоръ:

„Какимъ прекраснымъ днемъ началось Твое царствованіе! Казалось намъ, что сама природа въ восторгѣ встрѣтила Тебя!*) Александръ, любимецъ сердецъ нашихъ! Десятый день уже освѣщаетъ весеннее солнце Твоихъ, надеждами исполненныхъ подданныхъ, и день

*) Случилось, что 11 марта 1801 года въ Петербургѣ былъ самый непріятный зимній день; 12-го же, напротивъ, погода сдѣлалась тихая, теплая и ясная, какъ будто весна вдругъ наступила.

отъ дня, часъ отъ часу Ты болѣе оправдываешь сіи надежды. Какая лестная будущность ожидаетъ насъ!

Въ сіе время всеобщаго восторга кто пощадилъ бы жизнь свою на защищеніе Твое? Но Ты въ немъ не имѣешь нужды... Прости жъ, если, искавъ принести Тебѣ дань, я дерзновенною рукою начертаю нѣкоторыя истины, я, удаленный отъ двора Твоего и упованія наградъ, одинъ изъ безвѣстнѣйшихъ россіянъ. Прости, прости меня за неважную сію жертву, но жертву сердечную; пріими ее засвидѣтельствованіемъ довѣренности къ Твоимъ добродѣтелямъ, знакомъ *истинной подданнической* любви. Безъ сомнѣнія, все, что я ни скажу Тебѣ, болѣе или менѣе впечатлѣно уже въ Твоей благородной душѣ, или извѣстно въ сонмѣ мужей мудрыхъ, которыми Ты окружаешь Себя. Но эта мысль не могла меня удержать повергнуть *лепту вдовы въ сокровищницу*, такъ точно, какъ самое блистательное понятіе о славѣ Твоей никогда не удержитъ меня отъ рвенія распространять ее во всякомъ для меня приступномъ кругу моею хвалою...

Государь! Ты царствуешь надъ сорокью милліонами человѣкъ, искони пріобыкшихъ безпредѣльно чтить власть, внѣ которой они не могутъ представить себѣ блаженства. Одного взора ихъ царей часто довольно, чтобъ разлить повсемѣстную радость, и, конечно, одного велѣнія, чтобъ устроить счастіе, какимъ только можетъ человѣкъ наслаждаться на землѣ...

Имперія, которая *своимъ* называть Тебя будетъ, не обыкновенное государство. Ей нѣтъ подобной не только въ нынѣшнемъ состояніи Европы и прочихъ частей свѣта, но, можетъ быть, и въ лѣтописяхъ вѣковъ прошедшихъ. Она заключаетъ въ себѣ десять климатовъ, обитаемыхъ народомъ большею частію единаго языка и

единой вѣры. Она отъ сѣвера до юга и отъ запада къ востоку изобилуетъ въ количествѣ и родѣ безчисленными благами, замѣняющими себя взаимно, которыя даютъ возможность поставить всѣ ея сношенія съ чужими странами въ совершенной независимости. Она имѣетъ и пространнѣйшія земли для воздѣлыванія большею частію *ей одной свойственныхъ* произведеній и надежныя руки сыновъ своихъ для искуственнаго ихъ обработыванія. Посему богатства ея, не на случайныхъ причинахъ, но на природѣ основанныя, должны возростать съ самимъ временемъ. Она представляетъ такъ сказать подобіе рудника, открытаго при поверхности земли, котораго изобиліе постепенно обнаруживается по мѣрѣ его углубленія. Она изобилуетъ рѣками, которыя, изъ ея средины изливаясь въ пять морей, ожидаютъ только попечительной руки правительства, чтобъ соединить ихъ всѣхъ, чтобы сообщать рукодѣлія Европы Азіи и азіятскія богатства Европѣ *кратчайшими путями*. Она граничитъ въ наибольшей части съ Ледовитымъ Океаномъ или странами столько же неприступными, какъ и онъ; въ остальной же части имѣетъ сосѣдей, привыкшихъ почитать русское могущество. Что могу сказать Тебѣ, Государь, новаго о гражданскихъ добродѣтеляхъ Твоего народа, который среди временъ грубѣйшаго невѣжества обращалъ уже на себя вниманіе? народа, въ *нынѣшнемъ* состояніи нравственнаго міра, едва-ль не менѣе всѣхъ прочихъ народовъ поврежденнаго?... Напомню только одну изъ этихъ добродѣтелей. обезпечивающую незыблемость Отечества. Пожертвованіе жизни за него всегда и вездѣ почитаемо было достойнымъ вѣчныхъ похвалъ; но сіе пожертвованіе, безъ всякихъ видовъ славы, утѣшительницы умирающихъ героевъ, сіе великое самоотреченіе свойственно рѣдкимъ лишь

душамъ, и россійскіе ратники способны къ нему болѣе всѣхъ древнихъ и новыхъ воиновъ. Рѣшительный военачальникъ идетъ на смерть: я почитаю его; но вижу, что слава, которая изъ-за предѣловъ гроба простираетъ къ нему свой лавръ, наполняетъ его воображеніе удивленіемъ соотечественниковъ и потомства, что сія слава смягчаетъ ужасы смерти. Честолюбіе, желаніе пріобрѣсть блестящее отличіе упояетъ его. Самая необходимость дѣйствовать соотвѣтственно званію, къ которому онъ принадлежитъ, влечетъ его впередъ. Но простой солдатъ, который не мечтаетъ о лаврахъ, не имѣетъ предразсудковъ благородства, заставляющихъ отличаться, не ожидаетъ наградъ; солдатъ, котораго участь не перемѣняется послѣ двадцати выигранныхъ сраженій и который, не думая о свидѣтеляхъ, о потомствѣ, объ исторіи, умираетъ *весь*, у котораго священный долгъ есть единое побужденіе, для меня прямо великій герой! Таковъ россійскій солдатъ, и такихъ имѣешь Ты сотни тысячъ!...

Время образовало человѣческую премудрость; время, усовершая все, предуготовляетъ законодателю способъ быть благотворителемъ человѣчества. Еслибъ Екатерина, еслибъ Маркъ-Аврелій самъ жили въ желѣзномъ вѣкѣ царствованія Ивана Васильевича, когда вся Европа покрыта еще была тьмою суевѣрія, подавляема своеволіемъ феодализма, много ли бы они могли сдѣлать въ пользу своихъ подданныхъ? Предположивъ, что они изъ собственнаго сердца, созданнаго для блага человѣковъ, изъ собственнаго всеобъемлющаго разума извлекли бы законы; предположивъ, что они нашли бы возможность въ одно время и сильно дѣйствовать, и глубоко размышлять, проникать безъ всякихъ предварительныхъ познаній въ составъ обществъ, въ сердца лю-

дей, гдѣ взяли бы они достойныхъ исполнителей своего плана? Ни люди, ни средства для образованія общественнаго не были еще произведены. Въ наши дни, Государь, наука законодательства вмѣстѣ съ прочими науками, вмѣстѣ съ общими успѣхами разума необходимо усовершенная, представитъ Тебѣ въ твореніяхъ величайшихъ умовъ тысячу новыхъ идей, которыя объяты бывъ благодѣтельнымъ Твоимъ духомъ, искушены, подобно какъ злато искушается огнемъ, религіозностію Твоихъ чувствованій, могутъ положиться въ основаніе счастія Россіянъ. Велика заслуга мудреца, многотрудно открывающаго истину; но тотъ, кто силу, данную ему отъ небесъ, обратитъ на дѣйствительныя приложенія сей истины, достоинъ алтарей! Онъ—Богъ, собирающій носимые безполезно по воздуху пары въ благотворный дождь, который даетъ плодоносіе долинамъ и воды рѣкамъ, орошающимъ ихъ. Ежели земные владыки могутъ назваться подобіемъ великаго, непостижимаго существа, создавшаго милліоны міровъ, то конечно тогда только, когда они подражаютъ Его благодѣтельности...

Воззри напослѣдокъ на нынѣшнее состояніе Европы. Могло-ль быть когда либо время *способнѣе* для возведенія Твоей „Россіи на верхъ славы и блаженства,“ въ сходство обѣщанія Твоего? Притязанія и виды всѣхъ державъ такъ разнообразны, такъ противуположены другъ другу, что Ты никогда не можешь быть въ необходимости принять оружіе, если Самъ будешь имѣть миролюбивыя намѣренія, если суетныя хвалы умовъ праздныхъ (*такъ называемая* слава завоевателей) никогда отъ Тебя не удостоятся быть взвѣшиваемы на ряду съ благословеніями тысячей и темъ человѣковъ, которыхъ судьба отъ Тебя зависитъ. Французскій переворотъ, столь гибельный самъ по себѣ, поколебавшій

столько правленій, не только не сдѣлалъ вреда Россіи въ которую его начала не могли проникнуть, но принесъ ей еще ощутительную выгоду, отвративши, во первыхъ, завистливое вниманіе державъ въ самое критическое для нея время и потомъ, новымъ расположеніемъ связей ихъ, уволивши нашъ дворъ отъ необходимости пристать къ той или другой сторонѣ, которыя обѣ теперь, почитая соучастіе наше рѣшительнымъ, должны на перерывъ искать нашего благорасположенія. Россія вышла, чрезъ неожиданное это стеченіе обстоятельствъ, изъ всегдашней (со времени Петра Великаго) скрытой войны со *всѣми* европейскими державами. Самую молодость ея, которая еще чрезъ цѣлое столѣтіе не могла-бъ быть забыта, революція навсегда изгладила изъ памяти.

Въ семъ состояніи дѣлъ внутренніе и внѣшніе долги государства Твоего не важны, судя по великости источниковъ Твоихъ доходовъ, кои не расточены еще столько, чтобъ простымъ отмѣненіемъ нѣкоторыхъ предположенныхъ издержекъ не можно было вывести казну въ нѣсколько мѣсяцевъ изъ всякаго затрудненія.

Таковы средства, Государь, которыя Ты имѣешь быть великимъ, счастливѣйшимъ монархомъ, среди счастливѣйшаго народа на землѣ...

Ночью, проходя мимо чертоговъ Твоихъ, я представлялъ себѣ сію картину благословеннаго Твоего политическаго положенія, и размышлялъ, каковы будутъ пути Твои?

Неужели захочетъ Онъ, говорилъ я самъ себѣ, произвольно разстроить рѣдкое согласіе неба и земли въ Его пользу и благотворное предуготовленіе цѣлаго полвѣка оставитъ безъ исполненія? Неужели Онъ, созданному для душъ обыкновенныхъ, удовольствію само-

властія хладнокровно пожертвуетъ надеждою народовъ, безсмертною славою, и тою наградою, которая по долговременной, безмятежной, семейственныхъ радостей исполненной жизни, ожидаетъ добродѣтельныхъ монарховъ въ странѣ блаженства?

Нѣтъ! Онъ раскроетъ напослѣдокъ великую ту книгу судьбы нашей и нашихъ потомковъ, которую лишь указалъ перстъ Екатерины. Онъ дастъ намъ непреложные законы. Клятвою многочисленныхъ племенъ своихъ подданныхъ утвердитъ Онъ ихъ въ роды родовъ. Онъ скажетъ Россіи: „Вотъ предѣлъ самодержавія Моего и Моихъ наслѣдниковъ нерушимый во вѣки!...“ и Россія войдетъ, наконецъ, въ число державъ монархическихъ; *и желѣзный своенравія скипетръ не возможетъ сокрушить скрижалей ея завѣта.*

Въ этомъ будетъ Онъ дѣйствовать медленно, какъ дѣйствуетъ природа въ таинственныхъ путяхъ отъ Творца ей уготованныхъ. Онъ призоветъ въ помощь свою вѣчный разумъ, имѣющій озарить Его душу; имъ руководствуясь обозритъ Онъ весь составъ законовъ до нынѣ существующихъ, дабы безъ нужды и по одной лишь любви къ новостямъ не разрушать утвержденнаго и оправданнаго уже временемъ. Именемъ Отечества истребуетъ Онъ совѣтъ у мужей мудрыхъ, счастливою для насъ судьбою поставленныхъ близъ Его, и другихъ, голосъ которыхъ изъ отдаленнѣйшихъ краевъ Его государства истину повѣдать Ему можетъ. *Подъ завѣсою строжайшей скромности* вопроситъ Онъ ихъ; со свѣтильниковъ чистой своей совѣсти пройдетъ творенія законодателей міра, древнихъ и новыхъ: сообразитъ оныя съ обстоятельствами своего народа, съ его нравами, обычаями, религіею, съ мѣстнымъ его положеніемъ, съ просвѣщеніемъ истиннымъ, какое обѣщаетъ намъ

наступившій вѣкъ, послѣ жестокихъ испытаній прошедшаго... Онъ составитъ въ тайнѣ, но торжественно, предъ лицемъ внимающей вселенной издастъ Государственное Уложеніе, основу законовъ, которые *сами*, нечувствительно, могутъ *предварить* ея обнародованіе. Онъ повелитъ, напослѣдокъ, въ пространствѣ Россіи избрать старцевъ, достойныхъ безпредѣльнѣйшей довѣренности своихъ согражданъ; и, поставивъ ихъ внѣ сферы честолюбія и боязни, удѣлитъ имъ весь избытокъ своей власти, — да охраняютъ святая святыхъ Отечества... Онъ прійметъ и другія мѣры, почерпнутыя изъ опыта вѣковъ, для утвержденія правъ своихъ подданныхъ. Онъ-то первый употребитъ самовластіе для обузданія самовластія; первый, кто по чистѣйшему движенію сердца пожертвуетъ человѣчеству собственными выгодами! И человѣчество, возрыдавъ отъ радости, вознесетъ кумиръ Его выше кумировъ прочихъ царей, и сонмы народовъ чуждыхъ притекутъ лобызать Его подножіе, и вкусить среди насъ блаженство!...

Безъ сомнѣнія нашъ Александръ, другъ людей, вѣдаетъ, что довѣренность къ правительству, утверждаемая извѣстностію *непремѣнныхъ* его началъ, *одна* рождаетъ взаимную довѣренность гражданъ между собою, что она есть жизнь промысловъ, мать общественныхъ добродѣтелей и источникъ благоденствія...

Съ довѣренностію къ правительству на одной степени поставитъ Онъ *вѣру къ правосудію*. Безъ нихъ обѣихъ почтенныя слова: гражданинъ, отечество — суть пустые звуки на языкѣ отечественномъ!...

Онъ презритъ новыхъ лжеполитиковъ, утверждающихъ будто частныя неправды не обращаются обществу во вредъ, будто для государства „все равно какъ ни переходитъ собственность изъ рукъ въ руки“. Пре-

доставивъ весь судъ *избраннымъ отъ народа*, Онъ удалитъ ихъ отъ соблазновъ, не законами, безгласными *по необходимости*, но доставленіемъ судьямъ избыточнаго содержанія, содержанія соразмѣрнаго ихъ безкорыстію и соревнованію объ общей пользѣ. На сей же конецъ подчинитъ Онъ судей общественному мнѣнію. Оно всегда было болѣе безпристрастно, болѣе неумолимо, нежели высшія инстанціи, не рѣдко движимыя *одинаковыми-же* началами на вящшее посрамленіе законовъ! Судъ при дверяхъ открытыхъ, право тяжущимся публиковать опредѣленія, будетъ однимъ изъ надежнѣйшихъ огражденій правосудія.

Онъ положитъ единожды на всегда твердое основаніе государственному достоянію: изочтетъ богатства Своихъ обширныхъ владѣній; опредѣлитъ возможность и повинности подданныхъ по неподвижному размѣру, измѣненіямъ отъ прилива и отлива *изобразительныхъ знаковъ* богатства не подверженному, и скажетъ: „*Симъ* обязаны вы взаимно состояніе къ состоянію; *симъ* обязаны относительно къ государственной сокровищницѣ; *симъ*, напослѣдокъ, располагаетъ лице Государя.“ Тогда однѣ чрезвычайныя, всею мудростію человѣческою не предвидимыя нужды государства останутся неопредѣленными: но на удовлетвореніе ихъ готовы коренныя, такъ сказать *утробныя* его силы, которыя съ покоемъ *неопредѣленно-же* возрастаютъ.

Не поводы къ новымъ налогамъ велитъ Онъ изобрѣтать для безконечнаго умноженія мнимыхъ доходовъ; но съ благоволеніемъ приметъ тѣ мѣры, кои клониться будутъ къ уменьшенію издержекъ. И симъ *вѣрнѣйшимъ* путемъ, сопровождаемый благословеніями гражданъ трудящихся въ потѣ лица, достигнетъ Онъ до постояннаго

избытка государственнаго, которымъ ни одна держава похвалиться еще не могла.

Онъ ограничитъ особливо издержки, которыя не служатъ къ пользѣ Имперіи и не возвышаютъ на самомъ дѣлѣ блеска вѣнца Его; уменьшитъ дворъ Свой; изженетъ изъ него толпы ласкателей и прислужниковъ, безстыдно мечтающихъ, что достояніе Имперіи имъ принадлежитъ и что они преимущественное имѣютъ право на милости Государя по одному тому, что случай поставилъ ихъ близъ его особы.

Онъ ограничитъ суетную *любоздательность:* это желаніе украшать улицы и площади столицъ, когда все прочее государство *представляетъ еще безкровныя хижины*. Не художества призоветъ Онъ въ помощь для сооруженія себѣ памятниковъ; но въ премудрости Своихъ учрежденій и въ любви народной найдетъ ихъ; опѣ не сокрушаемы временемъ и не одно удивленіе праздnаго любопытства возбуждаютъ, но почтеніе всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ!

Самыя художества не будетъ Онъ покровительствовать прихотливо и внутри лишь чертоговъ Своихъ, съ условіемъ, чтобъ они платили Ему лестью; но дѣйствительно ободритъ ихъ, *умноживъ общее благосостояніе* и разрѣшивъ узы ума и талантовъ.

Вообще Онъ будетъ дорожить произведеніемъ кроваваго пота подданныхъ, посвященнымъ на пользу общую; и *моральное* изящество будетъ первѣйшимъ Его предметомъ.

Не удостоитъ онъ занять Себя подробностями, и ждивать на мелочи драгоцѣнное время, въ которое едва—едва вмѣститься могутъ *всеобщія* попеченія владѣтеля пространнѣйшей имперіи въ свѣтѣ. Онъ взоромъ будетъ обнимать цѣлыя массы, дастъ правильное дви-

женіе главнѣйшимъ колесамъ государственнаго состава, — и всѣ прочія потекутъ правильно!

Какъ наисовершеннѣйшіе законы останутся безполезными въ народѣ развращенномъ, и чуждыми смысла въ народѣ невѣждъ; то безъ сомнѣнія обратитъ Онъ всю Свою внимательность на *воспитаніе* Своихъ подданныхъ соотвѣтственно мѣстнымъ и личнымъ потребностямъ каждаго. Верховное попеченіе объ этомъ предоставитъ Онъ сословію *блюстителю законовъ*, а оно будетъ дѣйствовать посредствомъ людей, имѣющихъ надъ народомъ наиболѣе нравственной силы. Духовенство употребится на просвѣщеніе народа, и на сей конецъ предварительно само будетъ просвѣщено: учредятся для него гимназіи, удаленныя отъ тяжелыхъ началъ древней схоластики, и отличія предоставятся не тѣмъ проповѣдникамъ слова Божія, которые съ поэтическимъ восторгомъ станутъ величать Государя въ городскихъ храмахъ; но тѣмъ, которые докажутъ опытами вліяніе, какое они имѣли на благонравіе своихъ паствъ; тѣмъ, которые, учредивъ училища, не лѣпостно преподавать въ нихъ будутъ чистое ученіе Христово и своимъ примѣромъ наставлять должностямъ человѣка и гражданина.

Такимъ образомъ, не жезлъ денно-нощно властію подъятый заставитъ исполнять законы; но гораздо дѣйствительнѣе собственное удостовѣреніе каждаго въ ихъ пользѣ. Такимъ образомъ законы будутъ охраняемы нравами, и нравы законами.

Съ другой стороны еще подѣйствуетъ Онъ на нравственность состояній, называемыхъ *послѣдними*. Онъ обезпечитъ права человѣчества въ *помѣщичьихъ крестьянахъ;* введетъ у нихъ собственность; поставитъ предѣлы ихъ зависимости. И сіе не закономъ, могущимъ

опасно поколебать нынѣшнія общественныя связи, но постепенностію обычая, который бы укрѣпилъ оныя болѣе. Простѣйшимъ поселянамъ предоставитъ Онъ средства вкушать иногда, въ воздаяніе трудовъ своихъ сладость жизни, не прибѣгая къ своеволію, питьямъ чувства оглушающимъ и другимъ побужденіямъ разврата, иногда отчаянія и неключимаго рабства...

Земледѣліе распространится подъ кроткимъ Его скипетромъ. Онъ заселитъ пространныя степи Россіи мало по малу, не насильно исторгая семейства изъ домовъ ихъ и переселяя скоропостижно, за цѣлыя тысячи верстъ, въ страны по одной своей безвѣстности уже страшныя для нихъ, и дѣйствительно смертоносныя по чрезвычайному различію климатовъ, но изъ сосѣдственныхъ, населеннѣйшихъ мѣстъ вызывая и ободряя наградами и льготою.

Безводные, но впрочемъ тучные кряжи благословенныхъ климатовъ, будетъ Онъ умѣть содѣлать обитаемыми, и превратить въ цвѣтущіе сады, проводя каналы изъ сосѣдственныхъ рѣкъ, обращая въ пользу пространныя озера, или одѣвая исподволь отлогости горъ лѣсомъ. Неужели однѣ только просвѣщенныя столицы имѣютъ право на подобныя симъ издержки правительства? Неужель не обязано оно готовить жилища будущимъ родамъ и..... убѣжища тѣмъ, которые отъ Запада, вѣроятно, придутъ нѣкогда искать у насъ Отечества?...

Не толпы алчущихъ чиновниковъ поставитъ Онъ на стражѣ у лѣсовъ, сего украшенія земли и сокровищницы водъ; но благоразумнымъ распредѣленіемъ въ собственность, сохранитъ ихъ для государства. Дикія только степи и непроходимые лѣса могутъ быть помѣстьемъ казны; но должны содѣлаться собственностію частныхъ

людей какъ скоро они досягаемы для трудолюбія. Горе правительствамъ, которыхъ учрежденія служатъ *только къ соблазну*, не искореняя зла въ самыхъ его основаніяхъ!..

Онъ назначитъ торжественныя награды для поселянъ, кои отличатся или рѣдкими примѣрами благонравія, или трудолюбіемъ, изобрѣтеніемъ или введеніемъ новыхъ предметовъ земледѣлія или промышленности. О семъ и подобномъ тому предоставитъ Онъ судить не мѣстнымъ начальникамъ, удоборазвлекаемымъ пристрастіемъ, или скудными государственными соображеніями, но устроитъ временныя путешествія по Имперіи особъ, исполненныхъ познаніями въ обозрѣваемой части и достойныхъ представлять собственное Его око. Самъ Онъ не рѣдко оставитъ единообразіе дворской жизни, чтобы *на дѣлѣ* видѣть и слышать: и управленіе Богомъ ввѣреннаго Ему, прекраснаго, пространнѣйшаго царства не заключитъ въ тѣсные предѣлы работъ надъ подносимыми Ему бумагами.

Рукодѣлія возбуждать Онъ станетъ не самовластнымъ *внезапнымъ* запрещеніемъ ввоза иностранныхъ произведеній (можно согласить отечественную пользу съ миролюбіемъ къ чужимъ народамъ!); но привиллегіями данными мануфактурамъ и фабрикамъ и въ особенности снятіемъ стѣснительныхъ налоговъ, отнимающихъ охоту заводить новыя. Впрочемъ Россія *можетъ*, безъ малѣйшей для себя невыгоды, великодушно уступить многія вѣтви промышленности и рукодѣлій народамъ скуднымъ землею. Ей-ли изобилующей существенными богатствами присвоять ненасытимо *всѣ* источники существованія?... желать самой *все* обработывать, когда она несравненно дешевле можетъ имѣть *наемниковъ* себѣ внѣ предѣловъ своихъ? Доколѣ мы измѣрять себя будемъ мѣрилами чуждыми и подражать младенчески?...

Внутренняя торговля, усилясь отъ успѣховъ хлѣбопашества и рукодѣлій, втеченіе немногихъ лѣтъ, сама собою безъ всякихъ насильственныхъ пріемовъ возвыситъ внѣшнюю въ нашу пользу. Великими примѣрами распространяемыя благонравіе и любовь ко всему отечественному послужатъ также къ уменьшенію надобностей въ заграничныхъ произведеніяхъ. Цѣна россійскихъ существенныхъ богатствъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и цѣна изобразительныхъ, возрастетъ неминуемо.

Для внутренней и внѣшней торговли, для совершенія великаго подвига законодательства, Онъ, конечно, потщится сохранить миръ съ державами. Онъ употребитъ на сіе счастливыя средства, представляемыя Ему теперь провидѣніемъ, которое *явно* простираетъ къ Россіи милующую десницу. Ему, безъ сомнѣнія, предоставлено начертать смѣлый планъ *постоянной* политики, свойственный россійской министеріи и одной ей принадлежащій. Не имѣетъ-ли Онъ надежнѣйшихъ способовъ содержать всѣ Дворы въ почтеніи къ себѣ, не преклоняясь ни на чью сторону? Находитъ ли по нынѣшнему положенію Своего государства, по его сопредѣльности, по его силамъ, малѣйшія причины, или выгоды входить въ раздоры ихъ? Населеніе Россіи, въ *цвѣтѣ еще находящееся*, таково-ли, чтобъ жертвовать людьми безъ *крайнѣйшей* необходимости?... О, какая участь! обращать на себя признательные взоры любви и уваженія всѣхъ народовъ; быть извѣстнымъ со стороны безпредѣльнаго могущества, и благотворить!... Если Всевышній мерзитъ человѣкоубійствомъ и другими гнусными слѣдствіями войны, если Ему угодно, чтобъ когда либо существовала истинно-христіанская держава, то сей примѣръ удобнѣе всего въ Россіи, и въ царствованіе Александрово.

Въ счастливое сіе время, вооруженная сила не останется безполезною. Напротивъ, тогда-то будетъ она выполнять истинный свой предметъ: *охраненіе общаго спокойствія.* Въ ожиданіи пока безумный какой либо врагъ дѣйствительно покусился бы на него, найдутся средства занять милліонъ здоровыхъ, сильныхъ рукъ, ежегодно стоющихъ болѣе трети государственныхъ доходовъ, не заставляя ихъ лить кровь въ странахъ и дѣлахъ чужихъ... Прежде всего оградитъ Онъ западные предѣлы Имперіи Своей удвоеннымъ забраломъ крѣпостей: да кажутся онѣ сосѣдямъ страшными рядами зубовъ покоющагося льва. Потомъ, по примѣру Римлянъ, которые, выше всего ставя воинское ремесло, не сомнѣвались однакожъ производить воинами общественныя работы, строить славные свои водоводы и свои дороги; по примѣру нѣкоторыхъ европейскихъ государей, кои въ новѣйшія времена предпринимали такіе-же опыты, и въ числѣ ихъ самаго основателя сей столицы обезпечившаго продовольствіе ея Ладожскимъ каналомъ, станетъ Онъ употреблять, по очереди, часть мощныхъ нашихъ ратниковъ, съ младенчества пріобыкшихъ къ повиновенію и трудамъ, на государственныя работы. Нѣкоторая прибавка къ обыкновенному ихъ жалованью возбудитъ ихъ дѣятельность; и какъ много существенно полезнаго окажется въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ! откроются повсюду водяныя и сухопутныя сообщенія, рѣки сдѣлаются судоходными, болота превратятся въ плодоносныя долины... Между тѣмъ и границы Имперіи не останутся безъ защищенія, и русская сила будетъ въ виду и въ понятіи у непріятелей.

Онъ соединитъ воина съ поселяниномъ, и поселянина съ прочими состояніями союзомъ взаимной пользы, ощущеніе которой, братолюбіе и подданническая обя-

занность, будутъ одно и тоже чувство подъ тремя различными только видами.

Онъ... но могу ли я обнять высокое предназначеніе Всевышняго; могу ли представить себѣ, исчислить всѣ дѣянія, которыхъ сѣмя лежитъ въ его человѣколюбивомъ сердцѣ?.....

Народы всегда будутъ то, чѣмъ угодно правительствамъ, чтобъ они были: Царь Иванъ Васильевичъ хотѣлъ имѣть безотвѣтныхъ рабовъ — съ нимъ подлыхъ, между собою жестокосердыхъ—Онъ имѣлъ ихъ. Петръ желалъ видѣть насъ подражателями иностранцамъ: къ несчастію мы съ излишествомъ такими стали. Премудрая Екатерина начала образовывать *Россіянъ*. Александръ довершитъ великое сіе дѣло. Наслаждаяся нѣкогда плодами своей юности, Онъ будетъ блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ, и слава Его, утвержденная на любви подданныхъ, переходящей изъ рода въ родъ, на всеобщемъ земныхъ племенъ почтеніи, будетъ предметомъ желаній величайшихъ монарховъ!...

Слышалъ я, что юный нашъ владѣтель съ равнодушіемъ затверженныя принимаетъ восклицанія поэзіи, которая безстыдно принаравливаетъ ихъ ко *всѣмъ* царямъ, увѣряя *каждаго*, что онъ лучше своего предшественника: я смѣлъ начертать сіи мысли...

О Ты, котораго обожаетъ мое сердце, не отвергни сію дань его, въ простотѣ и съ безкорыстнѣйшими чувствованіями тебѣ приносимую...

Государь! въ душѣ моей повергаюсь къ стопамъ Твоимъ, орошаю ихъ слезами чистѣйшей, вѣчной преданности!... Геній-благотворитель любезнаго моего Отечества!“

III.

МАРКИЗЪ ПОЗА.

На другой день Трощинскій доложилъ государю, что привезъ автора письма, что онъ чиновникъ одной изъ его канцелярій, *Василій Назаровичъ Каразинъ*. Государь, отпустивъ Трощинскаго, пригласилъ Каразина въ кабинетъ и, оставшись съ нимъ одинъ, спросилъ его:

— Вы писали ко мнѣ это письмо?

— Виноватъ, государь, отвѣчалъ Каразинъ.

— Дайте же мнѣ обнять васъ за него, благодарю васъ, я желалъ бы чтобъ у меня больше было такихъ подданныхъ. Продолжайте всегда со мной говорить такъ откровенно, продолжайте всегда говорить мнѣ *правду!*

Государь прижалъ его къ своей груди и Каразинъ, рыдая какъ ребенокъ, бросился къ его ногамъ со словами: „клянусь, что буду всегда говорить правду.“

Александръ усадилъ его, долго бесѣдовалъ съ нимъ, велѣлъ ему писать къ себѣ въ собственныя руки, двери кабинета были открыты для него...

Маркиза Позу допускать ко мнѣ
Впередъ безъ всякаго доклада.

... Маркизъ Поза нашъ началъ свою политическую карьеру года за два передъ тѣмъ. Двадцати пяти лѣтъ онъ оставилъ военную службу. Образованный, съ рѣдкой многосторонностью, онъ простился съ Семеновскимъ полкомъ, для того, чтобъ изучать Россію и заниматься точными науками. Это было время пущаго разгара павловскаго безумія. Когда молодой человѣкъ вглядѣлся въ положеніе несчастной Россіи, стягаемой

на право и на лѣво, безъ разбору, ея палачемъ, такой ужасъ, такое отвращеніе, такое отчаяніе овладѣли его душой, что онъ рѣшился, во что бы ни стало, уѣхать въ чужія края. Заграничные паспорты были запрещены. Каразину не дали дозволенія ѣхать. Онъ рѣшился перебраться черезъ границу безъ паспорта. При переправкѣ черезъ Нѣманъ, его схватили драгуны и свезли въ Ковно.

Гибель Каразина была неминуема. Онъ хватился за самое опасное и несбыточное средство, оно спасло его. Предупреждая оффиціальное донесеніе, онъ послалъ 14 Августа 1798 съ эстафетой слѣдующее письмо къ Павлу:

14 Августа 1798, Ковно.

Государь,

„Несчастный преступникъ осмѣливается къ Тебѣ писать: преступникъ противъ Твоихъ повелѣній, Самодержецъ Россіи, не противу чести, совѣсти, религіи и отечественныхъ законовъ. Удостой внять прежде осужденія. Да озаритъ меня *единый* лучь твоей прозорливости, прежде нежели созжетъ молнія Твоего гнѣва!

Я хотѣлъ оставить мое отечество, великую страну Твоей державы; покусился, вопреки Твоей, *двукратно*, т. е. всенародно и частно, на мое лицо выраженной воли. Ночью противу 3-го числа сего мѣсяца, при переправкѣ въ Ковно черезъ Нѣманъ, я удержанъ объѣздомъ екатерининскаго гренадерскаго полка: въ короткое время достигнетъ о томъ оффиціальное донесеніе.

Конечно, будутъ собраны обо мнѣ свѣдѣнія въ С. Петербургѣ, гдѣ я короткое время пробылъ, и въ слободской-украинской губерніи, краѣ моего рожденія и помѣстья. Дерзаю здѣсь предварительно увѣрить, что онѣ не послужатъ въ мое обвиненіе. Я не имѣлъ никакой

нужды спасаться бѣгствомъ. Оно будетъ засадкою для моихъ слѣдователей.

Пріими мое признаніе: я желалъ укры́ться отъ Твоего правленія, страшась его жестокости. Многіе примѣры, разнесенные молвою въ пространствѣ царства Твоего, молвою вѣроятно удесятеренные, грозили мысли и воображенію день и ночь. Я не зналъ за собою вины. Въ уединеніи сельской жизни не могъ я имѣть ни случаевъ, ниже поводовъ оскорбить Тебя. Но свободный образъ моихъ мыслей могъ быть уже преступленіемъ...

Теперь въ волѣ Твоей наказать меня—и оправдать страхъ мой, или простить, и заставить лить слезы раскаянія о томъ, что я столь ложныя мысли имѣлъ о государѣ великомъ и милосердомъ!"

Павлу не часто приходилось читать такія письма. Ужасъ передъ его деспотизмомъ, заставившій молодого человѣка бѣжать и простодушное признаніе его, взяли Павла въ расплохъ. Стоя въ третьей танцовальоой позиціи и опираясь преднамѣренно неловко на трость, Павелъ сказалъ приведенному къ нему *преступнику,* своимъ сиплымъ голосомъ: „я докажу тебѣ, молодой человѣкъ, что ты ошибаешься, что служба въ Россіи можетъ быть не дурна и при мнѣ; при комъ хочешь ты служить?" Хотя намѣреніе Каразина перебраться черезъ границу и не было доказательствомъ особенно сильнаго желанія испытывать прелесть павловской службы, но тутъ разсуждать было нечего, Каразинъ назвалъ Трощинскаго, Павелъ велѣлъ его опредѣлить и оставить въ покоѣ.

Для Александра такой человѣкъ былъ кладъ, казалось, что онъ понялъ это. Неутомимая дѣятельность Каразина и глубокое, научное образованіе его были

поразительны: онъ былъ астрономъ и химикъ, агрономъ, статистикъ, не риторъ, какъ Карамзинъ, не доктринеръ, какъ Сперанскій, а живой человѣкъ, вносившій во всякій вопросъ совершенно новый взглядъ и совершенно вѣрное требованіе.

Сначало императоръ безпрестанно посылаетъ за нимъ, пишетъ ему собственноручныя записки*). Каразинъ, уполенный успѣхомъ, удесятеряетъ свои силы, пишетъ проэкты, между прочимъ, проэктъ министерства просвѣщенія, подаетъ записку объ *искорененіи рабства* (т. е. крѣпостнаго состоянія) въ народѣ, въ которой прямо говоритъ, что послѣ того, что дворяне освобождены имъ дарованной грамотой, чередъ за крестьянами; вмѣстѣ съ тѣмъ пишетъ о народныхъ школахъ, составляетъ самъ два катехизиса, одинъ *свѣтскій*, одинъ духовный, и вдругъ, въ пущій разгаръ своего фавера, беретъ отпускъ и пропадаетъ на своей родинѣ въ Малороссіи. Не думайте, что онъ поѣхалъ отдохнуть, набрать новыхъ силъ, такіе люди не устаютъ, нѣтъ, онъ возвращается черезъ нѣсколько недѣль въ Петербургъ съ 618,000 р. с., которые онъ вымолилъ, выплакалъ у харьковскаго и полтавскаго дворянства и купечества, на учрежденіе университета въ Харьковѣ. Государь хочетъ наградить его, Каразинъ отказывается. „Я становился, государь, на колѣна передъ дворянами и купцами, я вымаливалъ у нихъ деньги со слезами, да не будетъ сказано, что я дѣлалъ все это изъ желанія получить награду.“

Александръ имъ доволенъ, все идетъ хорошо, но уже замѣтна какая-то непріязненная сила, которая то тамъ

*) Какъ хотѣлось бы намъ видѣть эти записки. Такія достоянія исторіи не должно хранить подъ спудомъ.

подкатитъ бревно подъ колеса, то тутъ опуститъ тормазъ...

Проэктъ министерства просвѣщенія утвержденъ, но ужъ онъ не тотъ; утвержденъ и проэктъ харьковскаго университета, но колосальный замыселъ Каразина съуживается въ обыкновенные размѣры нѣмецкой провинціальной Hoch Schule. Каразинъ мечталъ о центральномъ учебномъ заведеніи, не только всей Малороссіи, но и юго-западныхъ славянъ, даже грековъ. Ему хотѣлось привлечь туда величайшія знаменитости ученаго міра. Лапласъ и Фихте согласились ѣхать, вызванные имъ, но правительство нашло ихъ не по карману.

Едва замѣчая *неудачу своихъ удачъ*, Каразинъ выписываетъ изъ чужихъ краевъ, на свой счетъ, въ Харьковъ тридцать два семейства типографовъ, переплетчиковъ и другихъ работниковъ, является во дворцѣ вдовствующей императрицы, пишетъ для нея трактаты о женскомъ воспитаніи, статьи о педагогіи и пр. Это его нисколько не отрываетъ отъ другихъ порученій Александра и отъ другихъ предпринятыхъ работъ. Съ небольшимъ въ два года онъ успѣлъ, сверхъ сказаннаго, написать уставъ для академіи, для университетовъ, для всѣхъ учебныхъ заведеній, собрать матеріалы для исторіи финансовъ и для исторіи медицины въ Россіи, заняться собраніемъ первыхъ статистическихъ свѣдѣній и привести въ порядокъ государственный архивъ.

Въ 1804 году Каразинъ возвратился съ слѣдствія, которое онъ дѣлалъ, совокупно съ Державинымъ, надъ губернаторомъ Лопухинымъ. Злоупотребленія этого человѣка, находившаго сильную поддержку, были раскрыты. Лопухинъ отданъ подъ судъ. Оставалось наградить слѣдопроизводителей; но уже нитка, по которой Маркиза Позу пускали ходить, была коротка.

Ничего не замѣчая, онъ явился къ государю. Государь его принялъ съ насупившимися бровями. Карамзинъ стоялъ какъ пораженный громомъ.

— Ты хвастаешься моими письмами?

— Государь... Но государь не далъ ему отвѣтить.

— Посторонніе знаютъ, что я тебѣ писалъ одному и никому не показывалъ. Ты можешь идти.

Карамзинъ вышелъ, и между ними все было кончено. Карамзинъ подалъ въ отставку; государь принялъ его просьбу.

И такъ, въ 1804 году императоръ не зналъ, что содержаніе писемъ бываетъ извѣстно *почтовому вѣдомству.*

Поневолѣ вспомнишь печальный анекдотъ, разсказанный Н. И. Тургеневымъ, какъ Александръ гдѣ-то на конгрессѣ, получивъ просьбу крестьянина, проданнаго своимъ помѣщикомъ, спросилъ Тургенева, „будто законами дозволяется продажа людей безъ земли, и будто продажа въ розницу допускается?“ Тургеневъ, знавшій хаосъ законовъ по этой части, хотѣлъ воспользоваться вопросомъ, чтобъ уничтожить невольническую продажу и разумѣется не успѣлъ. Послѣ засѣданія въ совѣтѣ, на которомъ Тургеневъ горячился, В. П. Кочубей подошелъ къ нему и, горько улыбаясь, сказалъ: „И вы думаете, что изъ этого что нибудь будетъ?... *Вы лучше вотъ чему подивитесь, что государь двадцать лѣтъ царствуетъ и не зналъ, что у насъ людей продаютъ по одиночкѣ!*“

IV.

ПРАРОДИТЕЛЬСКІЙ ГРѢХЪ.

Петровское правительство необычайно свободно. Оно имѣетъ виды, корысти, отношенія, *но нравственныхъ обязанностей* никакихъ.

Освобождаясь отъ застоявшихся преданій родительскаго дома, оно въ то же время оборвало всѣ кровныя связи, не налагая на себя другихъ; оно отдало свою родную мать чужому вотчиму въ кабалу, но и ему не подчинилось.

Сложные, разноначальные элементы западной жизни, были взяты на выборъ, подтасованы. Изъ цѣлой фразы, въ которой самыя противурѣчія смягчали односторонности, выполняли крайности и дѣлали своего рода строй, были выхвачены нѣсколько звуковъ, разрушившихъ ея сочетаніе и смыслъ. Все, увеличивающее власть, все, подавляющее человѣка, было взято; все, ограждающее лицо, оставлено въ сторонѣ; казуистика инквизиторіальнаго процесса обогатилась татарской пыткой, нѣмецкій чинъ—византійскимъ чинопочитаніемъ.

Самое *слово* человѣческое, безусловно подавленное и презираемое, получало только тогда мощь безграничнаго несчастія и неотвратимой угрозы, власть *дѣла*, когда оно сулило доносъ!

Такого правительства, отрѣшеннаго отъ всѣхъ нравственныхъ началъ, отъ всѣхъ обязанностей, принимаемыхъ на себя властью, кромѣ самосохраненія и сохраненія границъ, въ исторіи нѣтъ. Петровское правительство самая чудовищная абстракція, до которой можетъ

только подняться германская метафизика eines Polizeistaates. Правительство для правительства, народъ для государства. Полная независимость отъ исторіи, отъ религіи, отъ обычая, отъ человѣческаго сердца; матеріальная сила вмѣсто идеала, матеріальная власть вмѣсто авторитета.

Будь Россія завоевана, положимъ Польшей, была бы борьба. Польское панство принесло бы свои традиціи шляхетной воли, оно вызвало бы, какъ въ Малороссіи, какъ во время самозванцевъ, изъ оскорбленной народности, Ляпуновыхъ, Мининыхъ, Пожарскихъ, Хмѣльницкихъ. Два элемента помѣрились бы. Побѣдитель посмотрѣлъ бы, кто этотъ побѣжденный, въ чемъ его особенность, въ чемъ его народность. Но петровское завоеваніе Россіей, безъ иноплеменниковъ, безъ враждебнаго знамени, безъ открытаго боя, взяло всю страну въ расплохъ. Народъ тогда догадался, что онъ побѣжденъ, когда всѣ крѣпкія мѣста были въ рукахъ непріятеля; для *побѣдителей* побѣжденный народъ не имѣлъ даже интереса новости неизвѣстнаго, напротивъ, отчуждившійся притѣснитель презиралъ *черный* народъ русскій, былъ увѣренъ, что знаетъ его и чувствовалъ себя тою же плотью и тою же кровью, но очищенной тою же цивилизаціей и призванной управлять *чернью*.

Около Петра собирается куча голи дворянской, непомнящей родства, иностранцевъ, непомнящихъ родины, деньщиковъ и сержантовъ, въ пересыпочку съ старыми боярскими дѣтьми и вѣчными интригантами, ползающими у ногъ всякой власти и пользующимся всякими милостями. Кругъ этотъ ростетъ и умножается быстро, давая всюду свои чужеядныя побѣги.

Мало по малу по всей Россіи распространяется эта

плѣсень, она тащится по грязи и снѣгу, съ офицерскимъ дипломомъ, съ сенатскимъ указомъ о мѣстѣ, съ купчей крѣпостью, голодное и алчное, свирѣпое съ народомъ и подлое съ начальствомъ. Изъ нея составляется какая-то сѣть, охраняемая солдатами, собирающаяся вверху въ узелъ зимняго дворца и уловляющая внизу каждой петлей мужиковъ и горожанъ. Это какое-то разсѣянное дворянски - чиновничье государство съ общимъ армейски-помѣщичьимъ характеромъ. Въ немъ все сбрито: борода, областная самобытность, личная особенность. Оно одѣвается по нѣмецки и старается говорить по французски.

Съ ужасомъ и отвращеніемъ смотритъ народъ на измѣнниковъ, но сила съ ихъ стороны, и какъ онъ ни стонетъ, и какъ ни возстаетъ—ревизіи и рекрутчины, барщины и оброки, кнутъ и розги идутъ своимъ чередомъ. Онъ ропталъ, дѣлалъ опыты частныхъ возстаній; сговорившись съ казаками и татарами, поднялся было въ цѣломъ краѣ—но войска, войска... и пошла опять кнутовая расправа. Оглушенный болью, задавленный отчаяніемъ, онъ грохнулъ на землю и около ста лѣтъ пролежалъ въ оцѣпенѣніи.

Только съ тѣхъ поръ петровская Россія сдѣлалась тѣмъ мертвымъ, беззвучнымъ моремъ, котораго не поднимете никакой ураганъ.

До семидесятыхъ годовъ, петровскіе деньщики и сержанты вовсе не входили въ русло. Люди эти, пьяные отъ вина и крови, привыкшіе къ топору палача, къ стону пытаемыхъ, лизнувшіе власти и битые палкой, съ надменной отвагой и безъ всякаго чувства чести, помнили очень хорошо, какъ легко въ безнародномъ государствѣ сажать на престолъ всякую дрянь и сгонять ее съ престола.

Они знали, что въ императорскомъ „Мы“ есть и ихъ доля... Дальновидные изъ нихъ хотѣли въ свою пользу ограничить самовластіе, но истые сержанты предпочитали просто душить царей и сажать на ихъ мѣсто своихъ любовницъ. Дерзкая дворня была опасна, требовательна. Князю Григорью Григорьевичу Орлову мало было Екатерины, ему хотѣлось титула ея мужа. Зная, какъ узы брачныя легки, Екатерина соглашалась, но другіе деньщики и сержанты и не думали ей позволить. Имя Іоанна Антоновича было произнесено, она его велѣла убить какъ кошку; имя княжны Таракановой вспомнилось, она велѣла ее украсть, какъ крадутъ собаченокъ.

Все это дѣлалось отъ страха. Страхъ лихорадочный, непобѣдимый овладѣвалъ человѣкомъ, какъ только онъ садился на ржавый отъ крови тронъ Петра. На такихъ вѣрноподданныхъ, какъ деньщики и сержанты, какъ нѣмецкіе искатели приключеній, опереться было трудно; на народъ, на этотъ затоптанный въ грязь, подаренный дворянству, безгласный народъ, еще меньше: онъ не существовалъ. Вѣнценосцы куражились, старались забыться, но страхъ бралъ верхъ и вдругъ на нихъ нападалъ ужасъ человѣка, стоящаго на канатѣ: внизу чернь головъ понурыхъ, не смотрящихъ на верхъ, голосъ до нея достигнуть не можетъ; возлѣ... уже лучше бы никого... возлѣ сержанты, деньщики и никого близкаго... Они пугались собственнаго безплодія и посылали искать гдѣ нибудь у нѣмецкихъ ландграфовъ и архіепископовъ каплю петровской крови въ четвертомъ, пятомъ колѣнѣ; или наскоро заказывали дѣтей, какъ Елизавета Екатеринѣ, и все осматривались, и все боялись, не идетъ ли деньщикъ, выпивши... съ андреевской лентой и съ веревкой.

Прошелъ другой, и все измѣнилось. Тучи разсѣялись, свои узнали своихъ. Раскрылась міру картина величайшаго семейнаго счастія: богоподобная Фелица, „мать отечества,“ спокойно стояла на вершинѣ силы и власти, благосклонно улыбаясь колѣнопреклоненнымъ деньщикамъ и сержантамъ, сенаторамъ и кавалерамъ, все молилось ей, все благоговѣло передъ ней. Лучезарная стразами на манеръ *энциклопедическихъ* брилліянтовъ, она сіяла мудростью Беккаріи и глубокомысліемъ Монтескьё, говорила античныя рѣчи степнымъ помѣщикамъ, надѣвала римскіе шлемы своимъ balafrés... вызывала законодателей, принимавшихъ *ея волю* за законъ... Ея полководцы побѣждали ей на сушѣ и на морѣ, Державинъ ее пѣлъ тяжелыми стихами, Вольтеръ ее превозносилъ легкой прозой, и она, упоенная властью, удрученная любовью, отдавала все *своему* народу, все: свое тѣло, души вольныхъ казаковъ, монастырскія имѣнья. „Славься, славься ты, Екатерина!“

Кто сдѣлалъ это чудо, кто зааркалилъ Россію ренегатовъ и нѣмцевъ? Кто привѣнчалъ Фелицѣ крамольныхъ деньщиковъ и окровавленныхъ сержантовъ?

Одна неизвѣстная степная старушка-барыня, въ родѣ помѣщицы Коробочки, приворожила ихъ.

Дѣло, говорятъ, было такъ:

Пугачевъ проѣзжалъ ея усадьбой, струхнула старушка и вышла его величество звать хлѣба-соли откушать.

— А что, какова она у васъ, православные? спросилъ государь-казакъ мужиковъ.

— Не хотимъ, ваше царское величество, грѣха на душу брать, мы барыней завсегда довольны, мать намъ родная.

— Хорошо, старушка, пойду къ тебѣ, выпью твоей водки, благо народъ хвалитъ.

Старуха угостила, чѣмъ могла. Пугачевъ простился съ ней и пошелъ садиться въ сани. Народъ его ждалъ. Лица были недовольны.

— Али просьба какая, говори смѣлѣй.

— Да что же, твое царское величество, при чемъ же мы-то... то есть останемся?

— А что?

— Да вѣдь вотъ ты, батюшка, былъ тамъ-то, помѣщика-то повѣсилъ, да и дѣтенышей-то его, вотъ и тамъ-то... ну, а мы-то какъ?

— Да вѣдь вы же говорите, что больно хороша ваша старуха.

— Оно точно,твое величество, она добрая женщина, да вѣдь все же лучше порѣшить.

— Ну, братцы, коли хотите, какъ хотите, пожалуй и порѣшимъ.

— Жаль-то, жаль, но дѣлать нечего, говорили мужички, отправляясь за старушкой, спокойно убиравшей посуду на радостяхъ, что царь ее простилъ, и къ крайнему ея удивленію повѣсили ее на перекладинѣ. Онато, говорятъ, и сглазила крамольныхъ деньщиковъ и правительствующихъ сержантовъ.

Призадумались они, видя такую *нелицепріятную* справедливость.

„Такъ-то мы *ею* засѣкли? Скажите на милость, да вѣдь это съ каждымъ изъ насъ можетъ случиться? Нѣтъ, полно крамольничать, что мы сдѣлаемъ безъ царской помощи?“

И семейная ссора была покончена.

Съ этого времени начиная, правительство не смѣло ни въ чемъ подать руки крестьянамъ. Дворянство потеряло всякій смыслъ гражданской доблести передъ правительствомъ и всякое чувство нравственнаго стыда

въ отношеніи крестьянъ. Двѣ Россіи окончательно перестали другъ въ другѣ понимать людей. Между ними не было ничего человѣческаго, ни состраданія, ни справедливости. Розная нравственность, розныя святыни. Запуганный крестьянинъ жался въ своей деревнѣ, боялся помѣщика, боялся исправника, боялся города, гдѣ всякій могъ его бить, гдѣ его кафтанъ и поддевка считались подлой одеждой, гдѣ онъ бороду только встрѣчалъ на иконахъ Христа. Помѣщикъ, искренно плакавшій за повѣстями Мармонтеля, хладнокровно дралъ на конюшнѣ мужика за недоимку. Мужикъ съ спокойной совѣстью надувалъ помѣщика и судью. „Ты-то что за баринъ, говорила какая нибудь старушка въ кучерской Митькѣ или Кузькѣ, что ѣшь скоромное въ постъ? То баринъ, съ него и не взыщется, а ты-то съ чего не исполняешь законъ божій?“

Далѣе раздвоеніе идти не можетъ.

Народъ сломился. Безъ ропота, безъ бунта, безъ упованья пошелъ онъ, стиснувъ зубы, *слѣдующую тысячу* розогъ, изнуренный падалъ, умиралъ, гнали его дѣтей, и такъ одно поколѣніе за другимъ. Тишина водворилась, оброки платились, барщины исполнялись, трубила псовая охота, играла крѣпостная музыка; весело было материнскому сердцу императрицы.

Упрочился петербургскій тронъ. Четырнадцать расширяющихся обручей табели о рангахъ, прикрѣпленные къ землѣ штыками и прикладами, поддерживали его; имъ помогало провинціальное дворянство, всосавшись въ крестьянскую грудь. Западный свѣтъ блѣдно и холодно скользилъ по верхушкѣ пирамиды, освѣщая одну сторону ея; по другую, за ея тѣнью, нельзя было ничего разглядѣть, да и нечего было смотрѣть: тамъ лежало какое-то засѣченное тѣло, покрытое рогожей, въ

ожиданіи *кого-то*, кто долженъ рѣшить, умеръ онъ или нѣтъ... Казалось, побѣда была совершенная.

Но петровскій переворотъ замѣшалъ обоюдоострый элементъ въ жизнь дворячской Россіи. Петру нравилась матеріальная сторона цивилизаціи, прикладная наука: ея богатыя средства удесятеряли власть; но онъ не зналъ, какіе шипы кроются въ этихъ западныхъ розахъ, а, пожалуй, слишкомъ презиралъ свой народъ, чтобъ думать о томъ, что онъ можетъ усвоить и еще кое-что, кромѣ фортификаціи, кораблестроенія и канцелярскаго порядка. Наука стоитъ всякаго червя, подтачиваетъ день и ночь до тѣхъ поръ, пока гдѣ нибудь да выйдетъ на свѣтъ, пробьется до сознанія, а *иное сознаніе*, точно угрызеніе совѣсти, пойдетъ бродить до тѣхъ поръ, пока поднимется вся опара.

Въ 1789 случился вотъ какой случай: Одинъ неважный молодой человѣкъ, отъужинавъ съ друзьями въ Петербургѣ, поѣхалъ въ почтовой кибиткѣ въ Москву. Первую станцію онъ проспалъ. На второй, въ Софіи, онъ долго хлопоталъ о лошадяхъ и должно быть оттого разгулялся такъ, что, когда свѣжая тройка понесла его, звеня колокольчикомъ, онъ вмѣсто сна сталъ слушать пѣсню ямщика на свѣжемъ утреннемъ воздухѣ; странныя мысли пришли въ голову неважнаго человѣка. Вотъ его слова:

„Извощикъ мой затянулъ пѣсню, по обыкновенію заунывную. Кто знаетъ голоса русскихъ народныхъ пѣсенъ, тотъ признается, что есть нѣчто, скорбь душевную означающее. Всѣ почти голоса таковыхъ пѣсенъ тона мягкаго. *На семъ музыкальномъ расположеніи народнаго уха умный учреждать бразды правленія.* Въ немъ найдешь образованіе души нашего народа. *Посмотри на русскаго, найдешь его задумчивымъ.* Если захочетъ ра-

зогнать скуку, или, какъ то онъ самъ называетъ, если захочетъ повеселиться, —въ кабакъ... *Бурлакъ, идущій, повѣся голову, въ кабакъ. и возвращающійся обагренный кровью отъ оплеухъ, многое можетъ рѣшить досель гадательное въ исторіи россійской.*"

Ямщикъ все плачетъ свою пѣсню; путникъ все думаетъ свою думу и не доѣхавъ до Чудова, онъ вдругъ вспомнилъ какъ онъ въ Петербургѣ когда-то ударилъ своего Петрушку за то, что онъ былъ пьянъ, да и заплакалъ какъ ребенокъ и, не краснѣя за дворянскую честь, имѣлъ безстыдство написать: „О естьли-бъ онъ тогда хоть пьяный опомнился и отвѣчалъ бы мнѣ соотвѣтственно!"

Отъ этой пѣсни, отъ этихъ слезъ, отъ этихъ словъ, потерянныхъ на почтовомъ трактѣ, между двухъ станцій, надобно считать одну изъ начальныхъ точекъ обратнаго теченія; зачатіе дѣлается всегда тихо и слѣдъ его обыкновенно сначала пропадаетъ.

Императрица Екатерина поняла въ чемъ дѣло и изволила „съ жаромъ *и чувствительностью*" сказать Храповицкому: „*Радищевъ бунтовщикъ хуже Пугачева!*"

Удивляться, что она его отослала въ цѣпяхъ въ Илимской острогъ — нелѣпость. Гораздо удивительнѣе то, что Павелъ воротилъ его; но онъ это сдѣлалъ на зло покойной матери, другой цѣли у него не было.

Съ тѣхъ поръ время отъ времени являются какіе-то потерянные, безгромные зарницы; являются люди, воплотившіе въ себя историческое угрызеніе совѣсти, безсильные искупители, неповинные страдальцы за грѣхи отцовъ. Многіе изъ нихъ готовы были все отдать, всѣмъ пожертвовать, но не было алтаря, некому было принять ихъ жертву. Одни стучались во дворецъ, на колѣняхъ умоляли опомниться; ихъ рѣчь будто потря-

сала вѣнценосцевъ, но изъ этого ничего не вышло, другіе стучались въ избу, но не могли ничего сказать мужику, такъ разошлись ихъ языки. Крестьянинъ смотрѣлъ сурово и недовѣрчиво на этихъ „дары несущихъ Данаевъ“ и съ горестью отходили отъ него раскаявающіеся, сознавая, что у нихъ нѣтъ родины.

Сироты мысли, сироты любви, иностранцы дома, разобщенные между собой, эти пять-шесть лучшихъ людей въ Россіи, гибли въ праздности, окруженные безучастіемъ, ненавистью, непониманіемъ. Новиковъ сидѣлъ въ крѣпости, Радищевъ въ Илимскѣ. Хороша имъ показалась вѣроятно Россія, когда Павелъ ихъ выпустилъ?

... Ничего нѣтъ удивительнаго, что всѣ съ упованьемъ взглянули на Александра.

Молодой, прекрасный собой, съ кроткимъ и задумчивымъ взглядомъ, застѣнчивый и чрезвычайно привѣтливый, онъ могъ очаровать ихъ. Развѣ онъ не страдалъ о болякъ Россіи, какъ они? развѣ онъ не хотѣлъ ихъ изцѣлить, какъ они?... но онъ *сверхъ того и могъ* это сдѣлать, такъ по крайней мѣрѣ имъ казалось.

И Радищевъ, дорого заплатившій за то, что пожалѣлъ черную Русь, идетъ съ такою же вѣрой, какъ Каразинъ, предлагать свои силы юному императору и его онъ принимаетъ. Рьяно бросается Радищевъ на работу, пишетъ рядъ законодательныхъ проэктовъ, которые должны вести къ уничтоженію крѣпостнаго состоянія, тѣлесныхъ наказаній. Но вдругъ, какъ-то потолковавши, не съ ямщикомъ, а съ графомъ Завадовскимъ онъ остановился, замялся, на него напало сомнѣніе, страхъ, онъ подумалъ, подумалъ, налилъ себѣ стаканъ купороснаго масла и выпилъ его. Александръ послалъ къ нему своего лейбъ медика Вилье, помочь было поздно. Вилье только сказалъ, глядя на черты агонизиру-

ющаго—„должно быть этотъ человѣкъ былъ очень несчастенъ!“.

— Должно быть!

— Это было осенью 1802 года, Карамзинъ тогда былъ *въ силѣ*, онъ Радищева зналъ очень хорошо, даже затерялъ какъ-то тетрадь его проэктовъ—но потрясающій примѣръ не подѣйствовалъ. Высланный изъ дворца, онъ возвращается черезъ пять лѣтъ, черезъ десять лѣтъ, черезъ двадцать, черезъ *тридцать*, съ своимъ проэктомъ освобожденія крестьянъ и дворянскаго представительства, съ своимъ переворотомъ *сверху внизъ*. Не замѣчая, наконецъ, что уже царствуетъ Николай, онъ стучится и къ нему въ двери и толкуетъ этому ограниченному фрунтовику о томъ, „то подымаются бури, что быть бѣдѣ, что надобно для сохраненія трона дѣлать уступки“, и никакъ не можетъ сообразить, за что Александръ въ 1820 велѣлъ его посадить въ крѣпость, а изъ передней Николая его велѣлъ вывести жандармамъ оберъ-жандармъ Бенкендорфъ.

Ему бы спросить у Сперанскаго, какъ крутыя горки плоскаго Петербурга укатываютъ рьянаго коня и дѣлаютъ изъ него почтенную упряжную клячу, важно ходящую въ шорахъ.

Но какъ же эти люди могли такъ обманываться, или зачѣмъ же ихъ обманывалъ Александръ? Да этого вовсе не было. Мы не имѣемъ ни малѣйшаго права, по крайней мѣрѣ, до 1806-7 года сомнѣваться въ его искреннемъ желаніи облегчить судьбу своихъ подданныхъ: оградить крестьянъ отъ *злоупотребленія* помѣщиковъ, отъ *злоупотребленія* чиновниковъ, отъ подкупнаго суда и несправедливости сильныхъ. Александръ не ставилъ исключительной цѣлью своего царствованія тупое поддержаніе и увеличеніе своей власти, какъ ка-

кой нибудь Николай. Онъ не желалъ, чтобъ его слово равнялось пріему стрихнина, онъ домогался, чтобъ его не только боялись, но и любили. Въ самыя страстныя минуты, онъ не могъ не только выслушать мнѣніе другаго, но и принять его. Рѣшившись разстрѣлять въ 1812 году Сперанскаго, онъ отмѣнилъ безумную казнь, поговоривши съ академикомъ Парротомъ. Все это такъ но сдѣлать что нибудь путнаго для русскаго народа, *онъ не могъ*. Въ этомъ-то и состояла трагическая роль его.

И по чемъ знать, не ударился ли онъ во внѣшнія войны оттого, что онъ сталъ разглядывать заколдованный кругъ, который расширялся всякій разъ, когда онъ приказывалъ наборъ, увеличивалъ тяги народныя, и тотчасъ съуживался, когда онъ предпринималъ что-нибудь для народа. Онъ становится нерѣшителенъ, его давитъ недовѣріе къ другимъ, неувѣренность въ себѣ; колебаніе растетъ съ пораженіями, растетъ съ побѣдами; изъ Парижа онъ возвращается мрачнымъ мистикомъ — не хочетъ больше ни пересоздавать, ни улучшать; онъ возвращаетъ Сперанскаго, но проэкты его остаются сосланными въ архивѣ; онъ Енгельгардту, сказавшему ему что-то о приведеніи въ порядокъ гражданской части, печально отвѣчаетъ „*Некъмъ взять!*“

Къ власти онъ привыкъ, славу ему было не нужно больше, ему хотѣлось теперь покоя и онъ между всѣми министрами и сановниками, между генералами, покрытыми славой и людьми приближенными, выбралъ бездушнаго палача — Аракчеева и передалъ ему Россію... да еще такъ распорядился, чтобъ она и послѣ его смерти досталась *другому* Аракчееву.

Дворянству *онъ не вѣрилъ*, *народа онъ не зналъ* и чему же дивиться, когда возлѣ него стояли люди какъ Спе-

ранскій и его противникъ Карамзинъ, какъ предтеча славянофильства Шишковъ, которые могли *знать народъ, но не знали его?* Когда умнѣйшіе государственные люди, какъ Мордвиновъ, толковали о дворянствѣ, какъ объ единой опорѣ престола, когда честные сенаторы, какъ Лопухинъ, возмущались при мысли объ освобожденіи крестьянъ?

Жаль, что Александръ былъ немного глухъ и не ѣздилъ одинъ въ кибиткѣ по большимъ дорогамъ, можетъ и его какъ нибудь разбудила бы на зарѣ пѣснь ямщика и онъ въ ней, а не въ Еккартсгаузенѣ, поискалъ бы ключа къ таинствамъ народа.

... Для того, чтобъ знать русскій народъ, Александру мало было убить отца, ему надобно было отрѣчься отъ „премудрой бабки“, отъ „великаго Петра“, отъ всего роду и племени. Ему—страшно сказать—ему надобно было отрѣчься отъ Лагарпа, который изъ него сдѣлалъ человѣка, но которой никогда бы не понялъ, „что объ русской исторіи лучше государственныхъ актовъ можно узнать у бурлака, который угрюмо идетъ въ питейный домъ и окровавленый выходитъ изъ него!“

V.

FAREMO DA SE!

Когда двери государева кабинета затворились для Каразина, онъ еще сдѣлалъ опытъ, пользуясь правомъ ему предоставленнымъ, писать къ нему. Но Маркизъ Поза не имѣлъ больше интереса для коронованнаго Донъ Карлоса, къ тому же Александръ теперь былъ поглощенъ и занятъ вопросами другой важности, вопросами европейскими, онъ мѣрился съ Наполеономъ и напра-

шивался на войну, которая должна была кончиться тѣмъ, что насъ побьютъ подъ Аустерлицомъ.

Начинаетъ заниматься другимъ и Каразинъ; онъ, какъ отверженный любовникъ, par dépit amoureux, бросается въ дѣятельность, изумительно многостороннюю. Въ его огненной, безпокойной головѣ несутся, чередуются, переплавляются вереницы мыслей, государственные планы, агрономическіе проэкты, ученыя теоріи, машины, наблюденія, снаряды, новое винокуреніе, усовершенствованіе кожевеннаго производства, земледѣльческіе опыты съ иностранными семенами, легкій способъ сушить и сохранять плоды и пр. Начинается война — Каразинъ пишетъ о средствахъ умноженія селитры, дѣлаетъ мясные консервы и рядомъ съ этимъ хлопочетъ объ учрежденіи повсемѣстныхъ метереологическихъ наблюденій въ Россіи; ставитъ въ 1808 году совершенно *ясныя наукообразныя* требованія по этой части, которыя наука до сихъ поръ не можетъ удовлетворить; ищетъ средствъ употребить на пользу воздушное электричество, заводитъ филотехническое обществo въ слободско-украинской губерніи, печется о своемъ харьковскомъ университетѣ и пр., и пр.

Но главная мысль, главная боль, основной тонъ жизни не тутъ.

Улучшая винокуренные заводы и стараясь на дѣло употребить воздушное электричество, Каразинъ страстно слѣдитъ за другими событіями и ищетъ другого громоотвода. Между тѣмъ время идетъ да идетъ.

Александръ царствуетъ уже двадцатый годъ. Чего и чего не было съ тѣхъ поръ, какъ со слезами на глазахъ, онъ читалъ письмо Каразина?.. Тильзитъ и 1812 годъ, Москва и Парижъ, Вѣнскій конгресъ и св. Елена. Общественное мнѣніе, разбуженное столькими выстрѣ-

лами и толчками, двинулось впередъ, правительство стало отставать. Александръ не исполнилъ своихъ обѣщаній. Неудовольствіе росло. Народъ, давшій столько крови и получившій за это шишковскую прозу манифеста, ропталъ на новый рекрутскій наборъ тѣмъ больше, что поговаривали о безсмысленной войнѣ для поддержанія австрійскаго ига въ Италіи, о повтореніи нелѣпѣйшей суворовской кампаніи.

Молодые люди, энергическіе и образованные смотрятъ угрюмо. Карамзинъ все это видитъ, но онъ продолжаетъ вѣрить, что Александръ *можетъ и хочетъ* предупредить собирающуюся бурю.

Въ началѣ 1820 года, государь простилъ какой-то казенный долгъ тестю Карамзина. Карамзинъ просилъ дозволеніе лично принести свою благодарность—отказъ. Онъ написалъ государю письмо, въ которомъ, между прочимъ, говоритъ:

„Я ничего особливаго писать не буду; но попрошу только, потребуйте всем. государь у графа Виктора Павловича бумагу въ нѣсколько листовъ, писанную мной для него 31 Марта, по поводу одного съ нимъ разговора, и еще письмо у дѣйств. тайнаго совѣтника князя Вяземскаго, писанное къ нему изъ Масальской его деревни купцомъ Роговымъ отъ 1-го Апрѣля, которое онъ мнѣ читалъ на сихъ дняхъ. Нельзя было безъ ужаса встрѣтить столь рѣшительнаго сходства мыслей *человѣка, столь удаленнаго отъ меня по всѣмъ отношеніямъ*, съ моими, и со всѣмъ тѣмъ, что занимаетъ мою душу постоянно *съ 1817 года*, когда я имѣлъ дерзновеніе открыть сіе въ письмѣ моемъ изъ Украины вашему величеству. Нельзя было не привести себѣ на память, что *точно такъ* изъ разныхъ мѣстъ отзывались во Франціи отголоски благонамѣренныхъ,

предъ наступленіемъ гибельнаго переворота, и что *точно такъ* были пренебрегаемы! «Il est singulier que dans ce siècle de lumières, les souverains ne voient venir l'orage que quand il éclate», сказалъ Наполеонъ Ласъ-Казасу на островѣ св. Елены (p. 93, § CCCLXVII). Столь чудное согласіе различныхъ умовъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго, заслуживаетъ вниманіе; *должно* въ себѣ заключать нѣчто справедливое, тѣмъ больше, что подобныя чувствованія открываются въ бесѣдахъ частныхъ обѣихъ столицъ съ нѣкотораго времени! Довольно, если половина, если *нѣкоторая доля* есть тутъ основательнаго!

„... Время — говоритъ онъ въ запискѣ поданной по приказанію государя В. П. Кочубею — время укрѣпить разслабѣвающій составъ нашего государства; время замѣнить *религіозное* къ престолу почтеніе — другимъ, основаннымъ на законахъ.

— „Конечно годъ, два, можетъ и болѣе еще протянется, но для того-то я теперь и пишу, *для того-то и отваживаю всего себя*. Моя участь должна быть или ссылка за Байкалъ, *пока еще ссылать можно*, или смерть съ оружіемъ въ рукахъ при защищеніи послѣдняго входа къ комнатамъ государевымъ. Тогда я писать ужъ не стану".

Каразинъ умоляетъ государя „не вѣрить словамъ, которыми губернаторы его встрѣчаютъ, *все благополучно, все по прежнему!*" — „Великая перемѣна, говоритъ онъ, произошла и ежедневно происходитъ въ умахъ..." Въ семеновской исторіи, въ которой онъ оправдываетъ солдатъ и удивляется имъ, онъ явно видитъ „ступеньку лѣстницы, которую строитъ *для насъ духъ вѣка*".

Но гдѣ же его громоотводы? Вотъ они. „Постепенное освобожденіе крестьянъ, и вызовъ выборныхъ людей отъ

всего *дворянства*, какъ представителей общественнаго мнѣнія въ семейномъ совѣтѣ правительства"; этой Думой, полагаетъ Карамзинъ „будетъ спасено все и безъ ущерба монархической власти, лишь-бы не ушло время." Земля, единственная въ своемъ составѣ, въ преддверіи величайшаго твоего несчастія, ты можешь еще быть спасена *искреннимъ семейнымъ союзомъ твоего государя съ его дворянствомъ!* Впрочемъ, да будетъ какъ и во всемъ воля божія!

... „Да и что можетъ потерпѣть самодержавіе отъ довѣренности къ тому сословію, котораго участь *тѣснѣйшимъ образомъ съ нимъ соединена?*

... „Всѣ мѣры полицейской и духовной цензуры недостаточны противъ распространяющихся мнѣній. Излишняя строгость возмущаетъ лишь сердца. Натянутая вервь внезапно перервется. Въ многихъ *разночинцахъ и отпущенникахъ* я предвижу злодѣевъ, которые превзойдутъ Робеспіеровъ. Есть и дворяне, прожившіе свое имѣніе, воспитанные въ развратѣ и дурныхъ началахъ, недовольные службою, слѣдовательно, готовые присоединиться къ черни. Время Пугачева, московскаго бунта при Еропкинѣ и явленія безначалія при нашествіи въ 1812 году, въ разныхъ мѣстахъ московской и калужской губерніи(?) оказавшіяся, возвѣщаютъ завременно какова чернь наша при невозбранномъ употребленіи вина! *Горе намъ! престолъ потонетъ въ крови дворянства!*"

На этотъ крикъ ужаса и предостереженія, императоръ Александръ велѣлъ В. П. Кочубею потребовать у Карамзина „подробностей, доказательства, имена", иными словами *донос*. Развился „Траянъ и Маркъ Аврелій" въ двадцатилѣтнее царствованіе!

Карамзинъ отказался. Государь велѣлъ его посадить

въ крѣпость и потомъ удалить на житье въ его малороссійское имѣніе.

За что?

За то, что мѣшался не въ свои дѣла, но этого-то Каразинъ и не могъ никакъ понять. „А давно ли дѣло отечества, въ которомъ я живу, въ которомъ будутъ жить,—говоритъ онъ — мои дѣти и внуки, перестало быть моимъ собственнымъ дѣломъ?*) Изъ какой азіатской системы взята эта мысль? *Учить правительство*, выраженіе изобрѣтенное нарочно для уязвленія самолюбія лицъ, правительство составляющихъ. Но авторы издающіе книги о лучшемъ устройствѣ законодательствъ, финансовъ и пр., развѣ не болѣе еще должны называться виновными? Мы всѣ учимъ и учимся до самой смерти. Правительство есть средоточіе, въ которое необходимо должна стекаться всякая мысль о благѣ общемъ. *Горе если мы станемъ разсуждать на площади*, подобно другимъ народамъ!.. Да и много ли насъ теперь въ Россіи *желающихъ*, *умѣющихъ* и *дерзающихъ* говорить нѣчто правительству? Оно съ сей стороны можетъ оставаться покойнымъ: *ему не наскучатъ!*“

Какъ бы то ни было, но Каразинъ былъ въ крѣпости и могъ на досугѣ обдумывать, что опаснѣе—спасать сильныхъ міра сего, или толкать ихъ въ пропасть.

Въ тѣ ночи безъ сна, когда Каразинъ писалъ Кочубею свои политическія рапсодіи — не спали и другіе

*) Наивный Николай не раздѣлялъ мнѣнія Каразина. Вотъ какъ Харьковскій губернаторъ сообщилъ ему (24 Ноября 1826) высочайшее разрѣшеніе оставить деревню: „г. начальникъ главнаго штаба е. и. в. сообщилъ мнѣ, что государь императоръ вамъ разрѣшаетъ всем. право жить, гдѣ пожелаете, съ дозволеніемъ имѣть *пребываніе и въ Москвѣ, кромѣ однако-же Санкт-Петербурга впредь до повелѣнія* и съ тѣмъ, чтобы вы воздержались отъ *всякаго сужденія до васъ непринадлежащаго!*“—Каковъ языкъ и каковъ мозгъ!

дѣятели; не спали они въ гвардейскихъ казармахъ, въ штабѣ второй арміи, въ московскихъ старинныхъ господскихъ домахъ. Они догадались, что Александръ дальше двухъ-трехъ либеральныхъ фразъ не пойдетъ, что въ зимнемъ дворцѣ нѣтъ мѣста ни Маркизу Позѣ, ни Струензе; они поняли, что спасеніе для народа не можетъ выйти изъ той же комнаты, изъ которой вышли военныя поселенія. Они ничего не ждали отъ правительства и хотѣли своими силами справиться; *ими* свѣтлая полоса пирамиды нѣсколько опустилась; вершина стала тускнуть за туманомъ. Образованіе, умъ, жажда воли, все это было теперь въ другомъ поясѣ, въ другой средѣ, недворцовой! въ ней была юность, отвага, ширь, поэзія, Пушкинъ, рубцы 1812 года, зеленые лавры и бѣлые кресты. Между 1812 и 1825 годами, развилась цѣлая плеяда, блестящая талантами, съ независимымъ характеромъ, съ рыцарской доблестью (явленіями совершенно новыми въ Россіи). Ею было усвоено все то изъ западнаго образованія, что было запрещено къ ввозу. Лучшаго ничего не производила петровская эпоха, это были ея *предповоротные* цвѣты и не смотря на роковую косу, разомъ подрѣзавшую ихъ, ихъ вліяніе — какъ Волгу въ морѣ—можно далеко прослѣдить въ печальной, николаевской Россіи.

Сказаніе о Декабристахъ становится больше и больше торжественнымъ прологомъ, отъ котораго всѣ мы считаемъ нашу жизнь, нашу героическую генеалогію. Что за Титаны, что за гиганты и что за поэтическія, что за сочувственныя личности! Ихъ нельзя было ничѣмъ ни умалить, ни исказить, ни висѣлицей, ни каторгой, ни блудовскимъ донесеніемъ, ни корфовскимъ поминаньемъ...

Да, это были люди! .

Когда, черезъ тридцать лѣтъ, нѣсколько старцевъ. пережившихъ Николая, возвратились согбенные и опираясь на клюку, изъ своей томной, долгой ссылки—николаевское поколѣніе забитыхъ, желчныхъ, разочарованныхъ смотрѣло съ смущеніемъ на эту *юность*, сохранившую въ казематахъ, рудникахъ и Сибири, прежній жаръ сердца, молодое упованье, несокрушимую волю, непреклонныя убѣжденія—на эту *юность* осѣненную серебряными волосами, въ которыхъ виднѣлись слѣды терноваго вѣнка, лежавшаго больше четверти столѣтія на ихъ головахъ. Не они искали у остывшаго очага своего опоры, успокоенья — нѣтъ — они утѣшали слабыхъ, *они* подавали руку больнымъ дѣтямъ, ободряя ихъ, поддерживая ихъ силы и ихъ надежды!

Какъ утомленный Фаустъ обращался за отдыхомъ и миромъ къ вѣчно изящнымъ типамъ матерей, такъ наше молодое поколѣнье обращается за родной силой и крѣпительнымъ примѣромъ къ этимъ Отцамъ.

Святой фалангой Декабристовъ очищенъ петербургскій періодъ; далѣе дворянство не могло идти, не выйдя въ народъ, не разодравъ своей грамоты.

Это его Исаакъ, принесенный на жертву примиренія съ народомъ. Коронованный Авраамъ не слыхалъ гласа божія и затянулъ веревку...

Народъ не плакалъ.

Трагическій элементъ петровскаго періода достигъ высшаго, раздирающаго душу выраженія—далѣе и ему нельзя идти.

Жертва была дѣйствительно полная и эту полноту дало ей именно *безучастіе народа.*

Только теперь становились возможными выходъ и примиреніе. Отпаденіе отъ народа, выработавшее въ себѣ столько любви и силы, чистоты и раскаянія, столь-

ко отрицанія самого себя и преданности другому, было дѣйствительно искупленіемъ. Готовность этой кучки аристократовъ и дворянъ не только поступиться неправымъ стяженіемъ, доставшимся по наслѣдству, se faire roturier de gentilshommes, какъ выражался графъ Ростопчинъ, но умереть, идти на каторжную работу за это—стираетъ историческій грѣхъ!

VI.

ПО ТУ СТОРОНУ.

... Когда въ 1826 г. Якубовичъ увидѣлъ кн. Оболенскаго съ бородой и въ солдатской сермягѣ, онъ не могъ удержаться отъ восклицанія: „Ну, Оболенскій, если я похожъ на Стеньку Разина, то неминуемо ты долженъ быть похожъ на Ваньку Каина!...“ Тутъ взошелъ комендантъ; арестантовъ заковали и отправили въ Сибирь на каторжную работу.

Народъ не призналъ этото сходства и густыя толпы его равнодушно смотрѣли въ нижнемъ Новѣгородѣ, когда провозили колодниковъ въ самое время ярмарки. Можетъ, они думали: „наши-то сердечные *пѣшечкомъ* ходятъ туда, а вотъ господъ-то жандармы возятъ!“

Но по ту сторону уральскаго хребта настаетъ печальное равенство передъ каторгой и передъ безвыходнымъ несчастіемъ. Все измѣняется. Мелкій чиновникъ, котораго мы привыкли знать за бездушнаго, грязнаго взяточника, дрожащимъ отъ слезъ голосомъ умоляетъ ссыльныхъ въ Иртутскъ принять отъ него денежное подаяніе; грубые казаки, конвоирующіе ихъ, мирволятъ имъ, насколько могутъ, купцы угощаютъ ихъ при проѣздѣ. По ту сторону Байкала нѣсколько изъ

нихъ остановились за перевозомъ у Верхне-Удинска, жители провѣдали кого везутъ, какой-то старичекъ тотчасъ посылаетъ имъ, съ внучкомъ, корзину бѣлаго хлѣба и булокъ, и самъ дѣдушка плетется потолковать о забайкальскомъ краѣ, да ихъ пораспросить о бѣломъ свѣтѣ.

Еще въ усольскомъ заводѣ князь Оболенскій пошелъ рано утромъ, на назначенное ему мѣсто рубить деревья. Во время его работы показался изъ лѣсу какой-то человѣкъ, посмотрѣлъ на него пристально, привѣтливо и пошелъ своей дорогой. Вечеромъ, идучи домой, Оболенскій его опять встрѣтилъ, онъ дѣлалъ знаки, указывалъ на лѣсъ; на другое утро онъ вышелъ изъ чащи и указалъ Оболенскому, чтобъ онъ шелъ за нимъ. Оболенскій пошелъ. Заведя его въ чащу, онъ остановился и торжественно сказалъ ему—„Мы давно знаемъ о вашемъ прибытіи, въ пророчествѣ Іезикіиля сказано о васъ. Мы васъ ожидали, нашихъ здѣсь много, *надѣйтесь на насъ, мы васъ не выдадимъ!*“ Это былъ ссыльный духоборецъ.

Давно Оболенскій мучился желаніемъ имѣть вѣсти о своихъ черезъ княгиню Трубецкую, которая пріѣхала въ Иркутскъ. Средствъ ей доставить письмо не было никакихъ. Оболенскій попросилъ помощи раскольника. Тотъ не долго думалъ. „Завтра въ сумерки, сказалъ онъ, я буду на такомъ-то мѣстѣ, приносите письмо, оно будетъ доставлено!“.. Оболенскій отдалъ ему письмо и онъ въ туже ночь отправился въ Иркутскъ, черезъ два дни, отвѣтъ былъ у Оболенскаго.

Что было бы, еслибъ его поймали?

— Свои не считаются...

Раскольникъ заплатилъ со стороны народа за Радищева.

И такъ въ лѣсахъ и рудникахъ Сибири, впервые Россія петровская, помѣщичья, чиновническая, офицерская и Русь черная, крестьянская, сельская, обѣ сосланныя, скованныя, обѣ съ топоромъ за поясомъ, обѣ, опираясь на заступъ и отирая потъ съ лица, взглянули другъ на друга и узнали давно забытыя родственныя черты. Пора тому же совершиться бѣлымъ днемъ, громко, открыто, вездѣ.

Пора дворянству, искуственно поднятому нѣмецкими машинами надъ общимъ уровнемъ, въ своемъ водоемѣ, слиться съ окружающимъ моремъ. Къ фонтанамъ приглядѣлись, и Самсонъ не удивляетъ своимъ стержнемъ воды изъ львиной челюсти, рядомъ съ безконечностью морской зыби.

Петерговскій праздникъ конченъ, куртажная пьэса въ костюмахъ съиграна, лампы тухнутъ и чадятъ, водометы едва сочатся—пойдемте домой!

— „Все это такъ, но... но... не лучше ли народъ поднять?“ Можно, только надобно знать, что поднимать на дыбу—одна вѣрная метода и есть, метода преображенскаго застѣнка, метода Петра I, Бирона, Аракчеева. Потому-то и императоръ Александръ ничего не сдѣлалъ съ Каразиными и Сперанскими — а дошедши до Аракчеева, на немъ и остановился.

Народу слишкомъ много, чтобъ его въ самомъ дѣлѣ можно было поднимать въ 14 классъ *) и вообще ка-

*) Старовѣры англійскаго толка, обязанные по ученію своему сохранять вѣковыя пріобрѣтенія исторической жизни, даже и тогда, когда ихъ нѣтъ, или когда они вредны, не согласны съ этимъ. Они думаютъ, что всякія права, благо и злопріобрѣтенныя, надобно беречь и къ нимъ пріобщать другихъ. Напр., вмѣсто того, чтобъ у дворян отнять право сѣчь и драться съ мужиками—дать это право мужикамъ. Встарь говаривали, что хорошо бы весь народъ произвести въ 14 классъ, чтобъ его не били; не лучше ли прямо произвести

ждый народъ имѣетъ сильно опредѣленный физіологическій характеръ, который и самыя завоеванія рѣдко измѣняютъ. До тѣхъ поръ, пока мы будемъ принимать народъ за глину, а себя за ваятелей и съ нашего *прекраснаго высока* лѣпить изъ него статую à l'antique, на французскій ладъ, на манеръ англійской или на нѣмецкую колодку, мы въ народѣ ничего не встрѣтимъ, кромѣ упорнаго безучастія, или обидно страдательнаго повиновенія.

Педагогическая метода нашихъ цивилизаторовъ скверная. Она идетъ изъ того основанія, что мы все знаемъ, а народъ ничего не знаетъ. Какъ будто мы научили

въ гвардіи капитаны, или въ потомственное дворянство, благо у насъ потомство считается въ обратную сторону. А вотъ украинцы въ XVI столѣтіи разсуждали не такъ, когда ихъ хотѣли облагородить, да и притомъ не книжные школяры, а блестящее, пышное, размашистое панство Вольной Рѣчи Посполитой; имъ казалось лучше остаться казаками. Такое же казацкое мнѣніе въ органическомъ развитіи вообще (которое наши доктринеры очень любятъ брать въ примѣръ), одна сторона организма можетъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ особенно развиться, взять верхъ, всегда въ ущербъ всѣхъ остальныхъ. Самъ по себѣ, органъ этотъ можетъ быть очень развитъ, но въ организмѣ составляетъ уродство, котораго никакъ не снимешь, искуственно развивая до нелѣпости остальныя части

Это приводитъ намъ на память замѣчательный случай изъ религіозно-хирургической практики принца Гогенлоэ. Принцъ Гогенлоэ былъ одинъ изъ послѣднихъ смертныхъ, одаренныхъ чудотворными силами. Это было въ ту благословенную эпоху нашего вѣка, когда все феодальное, клерикальное съ пудрой и ладаномъ воскресало на развалинахъ французской революціи. Принцъ былъ призванъ къ больному, у котораго одна нога была короче, родные его не догадались, что собственно у него *другая* нога была длиннѣе. Чудотворный князь принялся за свои молитвы... растетъ нога — но князь какъ-то не остерегся и очень неумѣренно помолился — короткая нога переросла—дасада какая—онъ за другую молиться, и та переросла — онъ къ прежней... кончилось тѣмъ, что князь оставилъ паціента все-таки съ неровными ногами, да къ тому же на живыхъ ходуляхъ.

его *праву на землю*, общинному владѣнію, устройству, артели, мірской сходкѣ?

Само собою разумѣется, мы многое можемъ указать народу, но многому и намъ придется учиться у него, изучать въ немъ. У насъ есть теоріи, усвоенныя нами и представляющія выработанныя слѣдствія западнаго быта, для того, чтобъ опредѣлить, что и какъ идетъ къ нашему народному быту. Не достаточно подстрочно переводить, мало лексикона, надобно съ нимъ сдѣлать во первыхъ-то, что теоретическое вѣдѣніе старается сдѣлать на западѣ съ бытомъ европейскихъ народовъ—привести его къ сознанію.

Народъ упоренъ въ своемъ бытѣ, онъ ему вѣритъ, но вѣдь и мы упорны въ нашихъ теоріяхъ, и мы имъ вѣримъ, да еще думаемъ, что *знаемъ ихъ*, что *такъ дѣло и есть*. Передавая кой какъ заученое нами изъ книгъ, языкомъ условнымъ, мы съ отчаяніемъ видимъ, что народъ не понимаетъ и сѣтуемъ на глупость народа, точно такъ, какъ школьникъ краснѣетъ за бѣдную родню за то, что она не знаетъ гдѣ писать Ѣ, никогда не подумавъ для чего двѣ буквы для одного звука!

Откровенно желая добра народу, мы ищемъ лекарства его болѣзнямъ въ иностранныхъ фармакопеяхъ; тамъ травы иностранныя, но въ книгѣ искать легче, чѣмъ на полѣ. Мы дѣлаемся легко и послѣдовательно либералами, конституціоналистами, демократами, якобинцами, но не русскими народными людьми. До всѣхъ политическихъ оттѣнковъ этихъ можно дочитаться: все это понято, объяснено, записано, напечатано, переплетено... А тутъ иди цѣликомъ. Русская жизнь стоитъ лѣса, въ которомъ Дантъ заблудился и дикіе *бестіи*, такіе же есть, даже гаже флорентинскихъ, но нѣтъ Виргилія; попались было какіе-то московскіе Сусанины,

да и тѣ вмѣсто избы свели на кладбищенскую часовню...

Не зная народа, можно притѣснять народъ, кабалить его, завоевывать, *но освобождать нельзя.*

Безъ народа—его не освободитъ ни царь съ писаря-ми, ни дворянство съ царемъ, ни дворянство безъ царя.

То, что теперь совершается въ Россіи, слѣпымъ дол-жно открыть глаза. Никогда не признавая законнымъ крѣпостное право, народъ выносилъ страшную тягость его. Видя силу противъ себя, онъ молчалъ. Но какъ толь-ко его захотѣли освободить по своему, онъ отъ ропота, отъ страдательнаго противудѣйствія дошелъ почти до открытаго мятежа. А вѣдь явнымъ образомъ ему теперь лучше. Какихъ же знаменій еще ждутъ цивилизаторы?

Только тотъ, кто, призванный къ дѣятельности, пой-метъ бытъ народа, не утративъ того, что ему дала наука, кто затронетъ *его* стремленія и на осуществленіи ихъ оснуетъ свое участіе въ общемъ земскомъ дѣлѣ, тотъ только и будетъ *женихомъ грядущимъ.*

Этотъ урокъ равно намъ повторяетъ печальная фи-гура Александра, съ своей короной; Радищевъ—съ сво-имъ стаканомъ яда, Каразинъ, пронесшійся горящимъ метеоромъ по зимнему дворцу, Сперанскій, свѣтившій годы цѣлые луннымъ свѣтомъ безъ теплоты, безъ кра-сокъ, и наши святые мученики 14 Декабря.

Кто же будетъ этотъ суженый?

Императоръ ли который, отрѣкаясь отъ петровщины, совмѣститъ въ себѣ царя и Стеньку Разина? Новый ли Пестель, опять ли Емельянъ Пугачевъ, казакъ, царь и раскольникъ, или пророкъ и крестьянинъ какъ Антоній Безднинскій?

Трудно сказать, это частности, des details, какъ го-ворятъ французы. Ктобъ ни былъ, *наше дѣло идти къ нему на встрѣчу съ хлѣбомъ и солью!*

КОНЦЫ И НАЧАЛА.

КЪ ИЗДАТЕЛЮ*).

Любезный другъ!

Вы хотите напечатать небольшой сборникъ моихъ статей изъ „Полярной Звѣзды“ и „Колокола“ — я ничего не имѣю противъ этого. Желаю вамъ успѣха и посылаю небольшой разсказъ „Трагедія за стаканомъ грока,“ который не былъ напечатанъ по-русски. Я особенно радъ, что въ число перепечатываемыхъ статей взошли „Варіаціи на старую тему,“—пусть эта статья, писанная въ началѣ 1857 года, еще разъ пройдетъ предъ читателями, напоминая имъ неизмѣнность основаній того воззрѣнія, которое я старался проводить. Въ книгѣ, писанной тотчасъ послѣ Іюньскихъ баррикадъ, въ статьѣ, перепечатываемой вами, и въ послѣднихъ статьяхъ „Колокола“ проповѣдуется одно и тоже.

Бездна вещей, тогда довольно новыхъ, пососались въ народное разумѣніе, сдѣлались ходячей монетой, не только стали въ ряду вещей, всѣми принятыхъ, но долею осуществились. Примутъ, стало, и другія истины, отъ которыхъ еще пятится робкая совѣсть непривык-

*) *Эти статьи съ прибавленіемъ: „Трагедія за стаканомъ грока,“ Западные арадески,“ „Донозо Кортесъ, маркизъ Вальдегамасъ и Юліанъ отступникъ,“ уже напечатанныхъ въ настоящемъ изданіи, были напечатаны авторомъ въ отдѣльномъ томѣ подъ заглавіемъ: „Еще разъ“ (1866); при этомъ было напечатано письмо къ издателю и предисловіе, которое мы здѣсь помѣщаемъ.* Изд.

шаго, и противъ которыхъ крпчитъ безумный изувѣръ и корыстный защитникъ.

Еще разъ желаю вамъ успѣха и жму вашу руку.

Лондонъ, 1864.

Когда, годъ тому назадъ, я писалъ *Концы* и *Начала*, я не думалъ ихъ такъ круто заключить. Мнѣ хотѣлось въ двухъ-трехъ послѣдующихъ письмахъ ближе означить „*Начала*“; „*Концы*“ казались мнѣ сами по себѣ яснѣе. Сдѣлать этого я не могъ. Строй мыслей измѣнился: событія не давали ни покоя, ни досуга — они принялись за свои комментаріи и за свои выводы. Трагедія продолжаетъ расти передъ нашими глазами и все больше и больше становится изъ частнаго столкновенія введеніемъ въ міровую борьбу. Прологъ ея окончился, — завязка сложилась хорошо; все перепуталось: ни людей, ни партій узнать нельзя... По неволѣ приходитъ въ голову образъ Дантовскихъ единоборцевъ, въ которомъ члены бойцовъ не только переплелись другъ съ другомъ, но, по какой-то метаморфозѣ, послѣдовательно превращаются другъ въ друга.

Все юношеское, восторженное,—отъ молитвы передъ распятіемъ — до безразсудной отваги, отъ женщины, одѣвшейся въ черное — до тайны, хранимой цѣлымъ народомъ, — все давно увядшее въ старомъ мірѣ, отъ митры и рыцарскаго меча—до фригійской шапки, явилось еще разъ во всемъ поэтическомъ блескѣ своемъ, въ возставшей Польшѣ, какъ будто для того, чтобъ украсить молодыми цвѣтами *старцевъ цивилизаціи*, медленно двигающихся на борьбу, которой они боятся...

Съ другой стороны, *Начала* едва пробиваются сквозь дымъ созженныхъ селъ и городовъ... Здѣсь происходитъ совершенно обратное явленіе... все отжившее *стараго*

міра поднялось на защиту петербургской имперіи и отстаиваетъ ея неправое стяжаніе всѣми оружіями, оставленными въ наслѣдство дикими вѣками военной расправы и растлѣннымъ временемъ дипломатическихъ обмановъ,—отъ пытокъ и убійства плѣнныхъ—до ложныхъ амнистій и поддѣльныхъ адресовъ, — отъ татарскаго изгнанія цѣлой части населенія—до журнальныхъ статеекъ и филигранной риторики горчаковскихъ нотъ.

Сотрясеніе послѣдняго времени изболтало тихій омутъ нашъ. Многое, хранившееся въ молчаніи, подъ гробовой доской прошлаго гнета, вышло наружу и обличило всю порчу организма. Только теперь становится возможнымъ измѣритъ *толщу*, которую растлило петербургское императорство, германизируя насъ полтора вѣка. Нѣмецкая лимфа назрѣла въ грубой крови, здоровый организмъ далъ ей свѣжую силу, и зараженный ею, не утратилъ ни одного собственнаго порока... Безчеловѣчное, узкое безобразіе нѣмецкаго рейтера и мелкая, подлая фигура нѣмецкаго бюралиста давно срослись у насъ съ широкими, монгольскими скулами, съ звѣриной безраскаянной жестокостью восточнаго раба и византійскаго евнуха. Но мы не привыкли видѣть эту сводную личность внѣ казармъ и канцелярій; она не такъ рѣзко выступала внѣ службы: мало грамотная, она не только мало писала, но и мало читала; — теперь нашъ минотавръ всплылъ не въ дворцахъ и застѣнкахъ, а въ обществѣ, въ литературѣ, въ университетѣ...

Мы думали, что наша литература такъ благородна, что наши профессора такъ *апостолы*, — мы ошиблись въ нихъ, и какъ это больно; — насъ это возмущаетъ, какъ всякое зрѣлище нравственнаго паденія. Нельзя не протестовать противъ ужасныхъ дѣлъ и ужасныхъ словъ, нельзя не отойти отъ бѣснующихся силъ, отъ

безчеловѣчной бойни и еще больше безчеловѣчныхъ рукоплесканій. Можетъ намъ придется вовсе сложить руки, умереть въ своемъ a parte прежде, чѣмъ этотъ чадъ *образованной* Россіи пройдетъ... Но зерна, лежащаго въ землѣ, эта буря не вырветъ и не затронетъ, а пожалуй еще укрѣпитъ его. Восходящей силѣ все помогаетъ; преступленія и добродѣтели, — она одна можетъ пройти по крови не замаравшись и сказать свирѣпымъ бойцамъ: „я васъ не знаю,—вы мнѣ работали, но вѣдь вы работали *не для меня*".

Посмотрите на дикаго сатрапа въ Литвѣ: онъ душитъ польскій элементъ, а синія пятна выйдутъ у петербургской имперіи, онъ гонитъ съ мѣста, отталкиваетъ польское дворянство,—а побѣжитъ русское.

Дворники, они не знаютъ, кому метутъ, кому расчищаютъ путь, такъ какъ римская волчица не знала *кого* она кормитъ и *что* вскармливаетъ. По ихъ кровавой дорогѣ, пройдетъ тоже если не Ромулъ, то Ремъ, обиженный въ прошедшемъ: ему-то и расчищаютъ дорогу и царь и сатрапы.

Но пока онъ явится — еще много прольется крови, еще случится страшное столкновеніе двухъ міровъ. — Зачѣмъ она польется? — конечно, зачѣмъ? Да что же дѣлать, что люди не умнѣютъ? событія несутся быстро, а мозгъ вырабатывается медленно. Подъ вліяніемъ темныхъ влеченій, фантастическихъ образовъ, народы идутъ какъ съ просонья — рядомъ неразрѣшимыхъ антиномій, дерутся между собой и доходятъ, ничего не уяснивши себѣ, черезъ полторы тысячи лѣтъ послѣ страшнаго разгрома римскаго міра—до временъ Германика и Алариха, переложенныхъ на нравы XIX вѣка.

1 Августа 1863 г.

Письмо первое.*)

И такъ, любезный другъ, ты рѣшительно дальше не ѣдешь, тебѣ хочется отдохнуть въ тучной осенней жатвѣ, въ тѣнистыхъ паркахъ, лѣниво колеблющихъ свои листья, послѣ долгаго знойнаго лѣта. Тебя не страшитъ, что дни уменьшаются, вершины горъ бѣлѣютъ и дуетъ иногда струя воздуха зловѣщая и холодная; ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колѣно, дикаго разлива рѣкъ, голой земли, выступающей изъ подъ снѣга, да и вообще нашего упованья на будущій урожай, отъ котораго мы отдѣлены бурями и градомъ, ливнями, засухами и всѣмъ тяжелымъ трудомъ, котораго мы еще не сдѣлали..... Что же, съ богомъ, разстанемся, какъ добрые попутчики, въ любви и совѣтѣ.

... Тебѣ остается небольшая упряжка, ты пріѣхалъ— вотъ свѣтлый домъ, свѣтлая рѣка, и садъ, и досугъ, и книги въ руки. А я, какъ старая почтовая кляча, затянувшаяся въ гоньбѣ, изъ хомута въ хомутъ, пока грохнусь гдѣ нибудь между двумя станціями.

Будь увѣренъ, что я вполнѣ понимаю и твой страхъ, смѣшанный съ отвращеніемъ передъ неустройствомъ ненаѣзженой жизни, и твою привязанность къ выработавшимся формамъ гражданственности и притомъ къ такимъ, которыя *могутъ быть* лучше — но которыхъ *нѣтъ лучше.*

Мы вообще, люди европейской, городской цивилизаціи, можемъ жить только по готовому. Городская жизнь насъ пріучаетъ съ малолѣтства къ скрытому, закулисному замиренію и уравновѣшенію нестройныхъ силъ.

*) *Первое изданіе „Коней и Людей“ 1863 г., второе — 1866. Текстъ, который здѣсь печатается, взятъ съ экземпляра 1866 г., поправленнаго рукою самого автора. Поправки эти довольно значительны.* Изд.

Сбиваясь случайно съ рельсовъ, на которые она насъ вводитъ съ дня рожденія и осторожно двигаетъ, мы теряемся, какъ кабинетный ученый, привыкнувшій къ музеямъ и гербаріямъ, къ звѣрямъ въ шкапу, теряется поставленный лицемъ къ лицу со слѣдами геологическаго переворота или съ густымъ населеніемъ средиземной волны.

Мнѣ случилось видѣть двухъ, трехъ отчаянныхъ ненавистниковъ Европы, возвращавшихся изъ за океана. Они поѣхали туда, до того оскорбленные реакціей послѣ 1848, до того озлобленные противъ всего европейскаго, что едва останавливались въ Нью-Іоркѣ, торопясь въ Канзасъ, въ Калифорнію. Года черезъ три, четыре они снова явились въ родные кафе и пивныя лавочки старой Европы, готовые на всѣ уступки — лишь бы не видать дѣвственныхъ лѣсовъ Америки, ея непочатой почвы, лишь бы не быть tête à tête съ природой, не встрѣчать ни дикихъ звѣрей, ни змѣй съ гремушками, ни людей съ револьверами. Не надобно думать впрочемъ, что ихъ просто испугала опасность, матеріальная нужда, необходимость работы—и здѣсь мрутъ съ голода не работая, и здѣсь работаютъ по 16 часовъ въ сутки, а опасность полиціи и шпіонства на старомъ континентѣ превышаетъ опасность звѣрей и револьверовъ. Ихъ испугала, утомила пуще всего неочеловѣченная природа, отсутствіе того благоустроеннаго порядка, того администраціей обезпеченнаго покоя, того художественнаго и эпикурейскаго комфорта, которые обусловливаются долгой жизнію на одномъ мѣстѣ, берегутся сильными полицейскими плотинами, покоятся на невѣжествѣ массъ, и защищаются церковью, судомъ и казармами. За эту чечевичную похлебку, *хорошо сервированную*, мы уступаемъ долю человѣческаго достоин-

ства, долю состраданія къ ближнему, и *отрицательно* поддерживаемъ порядокъ, въ сущности намъ противный.

Во Франціи мы видѣли другой примѣръ: беллетристы, жившіе въ риторикѣ, художники, жившіе въ искуствѣ для искуства и для денегъ, были внѣ себя отъ безпокойства, причиненнаго февральской революціей. У насъ есть знакомый учитель пѣнья, который отъ 1848 года переселился изъ Парижа въ Лондонъ, въ отечество горловыхъ болѣзней, бронхитовъ, астмовъ и разговора сквозь зубы,—только чтобы не слыхать набата и дѣйствительнаго хора массъ.

Въ теперешней Россіи соединены обѣ причины, заставлявшія людей бѣжать изъ Парижа и изъ Арканзаса. Въ Америкѣ пугала пуще всего *голая* природа, дикая природа, у которой сотвореніе міра на листахъ не обсохло, и которую мы такъ горячо любимъ въ картинахъ и поэмахъ (человѣкъ съ револьверомъ, наивно убивающій ближняго, относится также къ пампамъ, какъ и наивный тигръ съ своими зубами въ вершокъ величины). Во Франціи, природа ничего, прибрана и выметена, тигры не ходятъ, а виноградъ растетъ; но за то въ 1848 тамъ снова разнуздались страсти и снова покачнулись основы благочинія. У насъ, при непочатой природѣ, люди и учрежденія, образованіе и варварство, прошедшее, умершее вѣка тому назадъ, и будущее, которое черезъ вѣка народится—все въ броженіи и разложеніи, валится и строится, вездѣ пыль столбомъ, стропилы и вѣхи. Дѣйствительно, если къ нашимъ дѣвственнымъ путямъ сообщенія прибавить мужественные пути наживы чиновниковъ, къ нашей глинистой грязи грязь помѣщичьей жизни, къ нашимъ зимнимъ вьюгамъ зимній дворецъ,—а тутъ генералитетъ, кабинетъ, буфетъ, Филаретъ, „жандармскій авангардъ

цивилизаціи“ изъ нѣмцевъ—и арьергардъ съ топорами за кушакомъ, съ стихійной мощью, и стихійной неразвитостью—то, сказать откровенно, надобно имѣть сильную *зазнобу или сильное помѣшательство*, чтобъ по доброй волѣ ринуться въ этотъ водоворотъ, искупающій все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно вырѣзывающимися изъ-за тумана, который постоянно не могутъ побѣдить.

Зазноба и помѣшательство своего рода таланты, и по волѣ не приходятъ. Одного тянетъ непреодолимо въ водоворотъ, другаго онъ отталкиваетъ брызгами и шумомъ. Штука собственно въ томъ, что иному сонъ милѣе отца и матери, а другому сновидѣніе. Что лучше? Я не знаю; въ сущности и то и другое пожалуй сведется на *одинъ бредъ*.

Но въ эти философскія разсужденія мы съ тобой не пустимся, они же обыкновенно, тѣмъ или другимъ путемъ, приводятъ къ непріятному заключенію, что валяйся себѣ на перинѣ или безпокойся въ бѣличьемъ колесѣ, полезный результатъ этого будетъ одинъ и тотъ же, чисто агрономическій. Всякая жизнь, какъ поетъ студентская пѣсня, начинается съ Juvenes dum sumus, и оканчивается: Nos habebit humus! Останавливаться на этихъ печальныхъ привиденіяхъ всего на свѣтѣ *къ нулю* не слѣдуетъ—ты же назовешь эдакъ *нигилистомъ*, а нынче это крѣпкое слово, замѣнившее, гегелистовъ, байронистовъ и пр.

Живой о живомъ и думаетъ. Вопросъ между нами даже не въ томъ, имѣетъ ли право человѣкъ удалиться въ спокойную среду, отойти въ сторону, какъ древній философъ передъ безумiемъ назарейскимъ, передъ наплывомъ варваровъ. Объ этомъ не можетъ быть спору. Мнѣ хочется только уяснить себѣ, въ самомъ ли дѣлѣ

вѣковыя обители, упроченныя и обросшія западнымъ мохомъ, такъ покойны и удобны, а главное такъ прочны, какъ были, и съ другой стороны, нѣтъ ли въ самомъ дѣлѣ какихъ нибудь чаръ въ нашихъ сновидѣніяхъ подъ снѣжную вьюгу, подъ троичные бубенчики, и нѣтъ ли основанія этимъ чарамъ?

Было время, ты защищалъ *идеи* западнаго міра, и дѣлалъ хорошо; жаль только, что это было совершенно не нужно. Идеи Запада, т. е. наука, составляла давнымъ давно всѣми признанный маіоратъ человѣчества. Наука совершенно свободна отъ меридіана, отъ экватора, она какъ гётевскій Диванъ—*западно восточная*.

Теперь ты хочешь права маіората перенести и на самыя формы западной жизни, и находишь, что исторически выработанный бытъ европейскихъ бель-этажей одинъ соотвѣтствуетъ эстетическимъ потребностямъ развитія человѣка, что *онъ* только и даетъ необходимыя условія умственной и художественной жизни, что искусство на Западѣ родилось, выросло, ему принадлежитъ, и что наконецъ другаго искуства нѣтъ совсѣмъ. Остановимся на этомъ сначала.

Пожалуйста не подумай, что съ точки зрѣнія суроваго цивизма и аскетической демагогіи я стану возражать на то мѣсто, которое ты даешь искуству въ жизни. Я съ тобой согласенъ въ этомъ. Искуство — c'est autant de pris; оно, вмѣстѣ съ зарницами личнаго счастья, единственное, несомнѣнное благо наше; во всемъ остальномъ мы работаемъ или толчемъ воду для человѣчества, для родины, для извѣстности, для дѣтей, для денегъ, и притомъ разрѣшаемъ безконечную задачу — въ искуствѣ мы наслаждаемся, въ немъ цѣль достигнута, это тоже *конецъ*.

И такъ, отдавъ Діанѣ эфесской, что Діанѣ принад-

лежитъ, я тебя спрошу, о чемъ ты собственно говоришь, о настоящемъ или прошедшемъ? О томъ ли, что искуство развилось на Западѣ, что Дантъ и Бонаротти, Шекспиръ и Рембрандтъ, Моцартъ и Гёте были по мѣсту рожденія и по мнѣніямъ *западниками?* Но объ этомъ никто не споритъ. Или ты хочешь сказать о томъ, что долгая историческая жизнь приготовила и лучшую арену для искуства, и красивѣйшую раму для него, что хранилищницы въ Европѣ пышнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, галереи и школы богаче, учениковъ больше, учителя даровитѣе, театры лучше обстановлены и пр., и это такъ (или почти такъ, потому что съ тѣхъ поръ какъ большая опера возвратилась къ первобытному состоянію бродячихъ изъ города въ городъ комедіантовъ, одна великая опера и есть überall und niergends). Вся Америка не имѣетъ такого Campo Santo какъ Пиза, но все же Campo Santo кладбище; къ тому же довольно естественно, что тамъ, гдѣ было больше коралловъ, тамъ и коралловыхъ рифовъ больше... Но гдѣ же во всемъ этомъ новое искуство творческое, живое, гдѣ художественный элементъ въ самой жизни? Вызывать постоянно усопшихъ, повторять Бетховена, играть Федру и Аталію очень хорошо, но ничего не говоритъ въ пользу творчества. Въ скучнѣйшія времена Византіи, на литературныхъ вечерахъ читали Гомера, декламировали Софокла; въ Римѣ берегли статуи Фидіаса и собирали лучшія изваянія наканунѣ Генсериховъ и Аларіховъ. Гдѣ же новое искуство, гдѣ художественная иниціатива? Развѣ въ *будущей* музыкѣ Вагнера?

Искуство не брезгливо, оно все можетъ изобразить, ставя на всемъ неизгладимую печать дара духа изящнаго и безкорыстно поднимая, въ уровень Мадонъ и полу-боговъ, всякую случайность бытія, всякой звукъ и

всякую форму, сонную лужу подъ деревомъ, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопоѣ, нищаго мальчика, обожженнаго солнцемъ. Отъ дикой, грозной фантазіи ада и страшнаго суда до фламандской таверны съ своимъ отвернувшимся мужикомъ, отъ Фауста до Фобласа, отъ Requiem'а до Камаринской, все подлежитъ искуству... Но и искуство имѣетъ свой предѣлъ. Есть камень преткновенія, который рѣшительно не беретъ ни смычокъ, ни кисть, ни рѣзецъ; искуство, чтобъ скрыть свою немоготу, издѣвается надъ нимъ, дѣлаетъ каррикатуры. Этотъ камень преткновенія—*мѣщанство*... Художникъ, который превосходно набрасываетъ человѣка совершенно голаго, покрытаго лохмотьями, или до того совершенно одѣтаго, что ничего не видать кромѣ желѣза или монашеской рясы, останавливается въ отчаяніи передъ *мѣщаниномъ во фракѣ*. Отсюда посягательство Роберту Пилю набросить римскую тогу; съ какого нибудь банкира снять сертукъ, галстухъ и отогнуть ему рубашку, такъ что еслибъ онъ послѣ смерти самъ увидѣлъ свой бюстъ, то передъ своей женой покраснѣлъ бы до ушей... Роберъ Макеръ, Прюдомъ—великія каррикатуры, иногда геніально вѣрныя, вѣрныя до трагическаго у Диккенса, но каррикатуры; далѣе Гогарта этотъ родъ идти не можетъ. Ванъ-Дикъ и Рембрандтъ мѣщанства—Пуншъ и Шаривари — это его портретная галлерея и лобное мѣсто. Это фамильныя *фасты* и позорный столбъ.

Дѣло въ томъ, что весь характеръ мѣщанства, съ своимъ добромъ и зломъ, противенъ, тѣсенъ для искуства; искуство въ немъ вянетъ какъ зеленый листъ въ хлорѣ, и только всему человѣческому присущія страсти могутъ, изрѣдка врываясь въ мѣщанскую жизнь, или лучше вырываясь изъ ея чинной среды, поднять ее до художественнаго значенія.

Чинный,—это настоящее слово. У мѣщанства, какъ у Молчалина, два таланта и тѣ же самые „умѣренность и аккуратность.“ Жизнь средняго состоянія полна мелкихъ недостатковъ и мелкихъ достоинствъ; она воздержна, часто скупа, бѣжитъ крайности, излишняго. Садъ превращается въ огородъ, крытая соломой изба въ небольшой уѣздный домикъ съ разрисованными щитами на ставняхъ, но въ которомъ всякій день пьютъ чай и всякій день ѣдятъ мясо. *Это огромный шагъ впередъ*, но вовсе не артистическій. Искуство легче сживается съ нищетой и роскошью, чѣмъ съ довольствомъ, въ которомъ видны бѣлыя нитки, чѣмъ съ удобствомъ, составляющимъ цѣль; если на то пошло, оно ближе съ куртизаной, продающей себя, чѣмъ съ нравственной женщиной, продающей въ тридорога чужой трудъ, вырванный у голода. Искуству не по себѣ въ чопорномъ, слишкомъ прибраномъ, расчетливомъ домѣ мѣщанина, а домъ мѣщанина *долженъ быть* таковъ; искуство чуетъ, что въ этой жизни оно сведено на роль внѣшняго украшенія, обоевъ, мебели, на роль шарманки; мѣшаетъ —шарманщика прогонятъ, захотятъ послушать—дадутъ грошъ, и квитъ... Искуство, которое по преимуществу изящная соразмѣрность, не можетъ выносить аршина, самодовольная въ своей ограниченной посредственности жизнь — запятнана въ его глазахъ самымъ страшнымъ пятномъ въ мірѣ—*вульгарностью*.

Но это нисколько не мѣшаетъ всему *образованному* міру идти въ мѣщанство, и авангардъ его уже пришелъ. Мѣщанство—идеалъ, къ которому стремится, подымается Европа со всѣхъ точекъ дна. Это та „курица во щахъ“, о которой мечталъ Генрихъ IV. Маленькой домъ съ небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работникъ для тяжелой работы, да

это въ самомъ дѣлѣ гавань спасенія—Havre de Grace!

Прогнанный съ земли, которую обработывалъ вѣка для барина, потомокъ разбитаго въ бою селянина, осужденный на вѣчную каторгу, голодъ, бездомный поденщикъ, батракъ родящійся нищимъ и нищимъ умирающій — только дѣлаясь собственникомъ, хозяиномъ, буржуа, отираетъ потъ и безъ ужаса смотритъ на дѣтей; его сынъ не будетъ отданъ въ пожизненную кабалу изъ за хлѣба, его дочь не обрѣчена ни фабрикѣ, ни публичному дому. Какъ же ему не рваться въ мѣщане?—Идеалъ *хозяина* лавочника — этихъ рыцарей, этихъ поповъ средняго состоянія — носится свѣтлымъ образомъ передъ глазами поденщика до тѣхъ поръ, пока его заскорузлыя и усталыя руки не опустятся на надломленную грудь, и онъ не взглянетъ на жизнь съ тѣмъ ирландскимъ покоемъ отчаянія, которое исключаетъ всякую мечту, всякое ожиданіе, кромѣ мечты о цѣломъ полуштофѣ виски въ слѣдующее воскресенье.

Мѣщанство, послѣднее слово цивилизаціи основанной на безусловномъ самодержавіи собственности—демократизація аристократіи, — аристократизація демократіи; въ этой средѣ Альмавива равенъ Фигаро, — снизу все тянется въ мѣщанство, сверху все само падаетъ въ него по невозможности удержаться. Американскіе Штаты представляютъ одно среднее состояніе, у котораго нѣтъ ничего внизу и нѣтъ ничего вверху, а мѣщанскіе нравы остались. Нѣмецкій крестьянинъ — *мѣщанинъ* хлѣбопашества, работникъ всѣхъ странъ—*будущій* мѣщанинъ. Италія, самая поэтическая страна въ Европѣ, не могла удержаться, и тотчасъ покинула своего фанатическаго любовника Мацинни, измѣнила своему мужу-геркулесу—Гарибальди, лишь только геніальный мѣща-

нинъ Кавуръ, толстенькой, въ очкахъ, предложилъ ей взять ее на содержаніе.

Съ мѣщанствомъ стираются личности, но стертые люди сытѣе; платья дюжинныя, незаказныя, не по таліи, но число носящихъ ихъ больше. Съ мѣщанствомъ стирается красота породы, но ростетъ ея благосостояніе. Античный бѣднякъ изъ Транстевере употребляется на черную работу гунявымъ лавочникомъ Via del Corso. Толпа гуляющихъ въ праздничной день въ Елисейскихъ Поляхъ, Кенсингтонъ-Гарденѣ, собирающихся въ церквахъ, театрахъ, наводитъ унынie пошлыми лицами, тупыми выраженіями — но для гуляющихъ въ Елисейскихъ Поляхъ, для слушающихъ проповѣди Лакордера или пѣсни Левассора до этого дѣла нѣтъ, они даже этого не замѣчаютъ. Но что для нихъ очень важно и замѣтно, это то, что отцы и старшіе братья ихъ не въ состояніи были идти ни на гулянье, ни въ театръ, а они могутъ; что тѣ иногда ѣздили на козлахъ каретъ, а они сами ѣздятъ и очень часто въ фіакрахъ.

Во имя *этого* мѣщанство побѣдитъ, и должно побѣдить. Нельзя сказать голодному—тебѣ больше къ лицу голодъ, не ищи пищи. Господство мѣщанства, отвѣтъ на *освобожденіе безъ земли*, на открѣпленіе людей и прикрѣпленіе почвы малому числу избранныхъ. Заработавшая себѣ копѣйку толпа одолѣла и по своему журуетъ и владѣетъ міромъ. Въ сильно обозначенныхъ личностяхъ, въ оригинальныхъ умахъ, ей никакой необходимости. Наука не можетъ не натолкнуться на ближайшія открытія. Фотографія, эта шарманка живописи, замѣняетъ артиста; хорошо, если явится художникъ съ творчествомъ, но вопіющей нужды и въ немъ нѣтъ. Красота, талантъ — вовсе ненормальны — это исключеніе, роскошь природы, высшій предѣлъ, или ре-

зультатъ большихъ усилій, цѣлыхъ поколѣній. Стать лошадей Дерби, голосъ Маріо—рѣдкости. Но хорошая квартира и обѣдъ — необходимость. Въ самой природѣ можно сказать бездна мѣщанскаго; она очень часто останавливается на серединѣ на половину—видно дальше идти духу не хватаетъ. Кто тебѣ сказалъ, что у Европы хватитъ?

Европа провела дурные четверть часа — мѣщанство чуть не лишилось плодовъ долгой жизни, долгихъ усилій, труда. Внутри человѣческой совѣсти поднялся какой-то неопредѣленный, но страшный протестъ. Мѣщане вспомнили войны свои за права, вспомнили героическія времена и библейскія преданія. Авель, Ремъ, Ѳома Мюнстеръ, были еще разъ усмирены, и на ихъ могилахъ еще долго будетъ расти трава, въ предупрежденіе того, какъ караетъ самодержавное мѣщанство. Все съ тѣхъ поръ пришло въ свой порядокъ; онъ кажется проченъ, онъ раціоналенъ изъ своихъ началъ, онъ силенъ ростомъ—но артистическаго смысла, но художественной струны въ немъ не прибыло, онъ ихъ и не ищетъ; онъ слишкомъ практиченъ; онъ согласенъ съ Екатериной II, что серьезному человѣку не идетъ хорошо играть на фортепьянахъ, — императрица тоже смотрѣла на мущинъ съ *практической* точки зрѣнія. Для цвѣтовъ его гряды слишкомъ унавожены; для его грядъ цвѣты слишкомъ безполезны; если онъ иногда роститъ ихъ, то это на продажу.

Весной 1850 года, я искалъ въ Парижѣ квартиру; тогда я уже на столько обжился въ Европѣ, что мнѣ опротивила тѣснота и давка цивилизаціи, которая сначала очень нравится намъ русскимъ; я съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ отвращеніемъ, смотрѣлъ уже на безпрестанно двигающуюся, кишащую толпу, предчувствуя

какъ она у меня отниметъ полмѣста въ театрѣ, въ дилижансѣ, какъ она бросится звѣремъ въ вагоны, какъ нагрѣетъ и насытитъ собою воздухъ — а по этому я и квартиру искалъ не на юру, и сколько нибудь не похожую на уютно-пошлыя и убійственно-однообразныя квартиры—въ три спальни, à trois chambres à coucher de maître.*)

Мнѣ кто-то указалъ флигель большаго, стараго дома по ту сторону Сены, въ самомъ С-Жерменскомъ предмѣстьи или около. Я пошелъ туда. Старуха жена дворника взяла ключи и повела меня *дворомъ*. Домъ и флигель стояли за оградой; внутри двора, за домомъ зеленѣли какія-то деревья. Флигель былъ неубранъ, запущенъ, вѣроятно въ немъ много лѣтъ никто не жилъ. Полустаринная мебель, времени первой имперіи, съ римской прямолинейностью и почернѣлой позолотой. Флигель этотъ былъ не великъ, не богатъ, но расположеніе комнатъ, мебель, все указывало на *иное* понятіе объ удобствахъ жизни. Возлѣ небольшой гостинной была еще крошечная, совершенно въ сторонѣ, близъ спальной, кабинетъ съ шкапами для книгъ и большимъ письменнымъ столомъ. Я походилъ по комнатамъ, и мнѣ показалось, что я послѣ долгаго скитанья, снова встрѣтилъ человѣческое жилье, un chez soi, а *не нумеръ*, не людское стойло.

Это замѣчаніе можно распространить на все, на театры, на гулянья, на трактиры, на книги, на картины, на платье, все степенью понизилось и страшно возросло числомъ. Толпа, о которой я говорилъ, лучшее

*) Одинъ очень умный человѣкъ графъ Оскаръ Рейхенбахъ мнѣ разъ сказалъ, говоря о зажиточно мѣщанскихъ квартирахъ въ Лондонѣ: „Скажите мнѣ цѣну и этажъ—и я берусь безъ свѣчи, въ темную ночь, принесть часы, вазу, графинъ... что хотите, изъ вещей, непремѣнно бывающихъ во всякомъ жилищѣ средняго круга

доказательство успѣха, силы, роста, она прорываетъ всѣ плотины, наполняетъ все и льется черезъ край. Она всѣмъ довольствуется, и всего ей мало. Лондонъ тѣсенъ, Парижъ узокъ. Сто прицѣпленныхъ вагоновъ недостаточны, сорокъ театровъ — мѣста нѣтъ; для того, чтобъ лондонская публика могла видѣть *пьэсу*, надобно ее давать къ ряду три мѣсяца.

— Отчего у васъ такъ плохи сигары? спросилъ я одного изъ первыхъ лондонскихъ торговцовъ.*)

— Трудно доставать, да и хлопотать не стоитъ, знатоковъ мало, а богатыхъ знатоковъ еще меньше.

— Какъ не стоитъ? вы берете 8 пенсовъ за сигару.

— Это у насъ почти никакого расчета не дѣлаетъ. Ну вы и еще десять человѣкъ будутъ покупать у меня, много ли барыша? Я въ день, сигаръ по 2 и по 3 пенса, больше продамъ чѣмъ тѣхъ въ годъ. Я ихъ совсѣмъ не буду выписывать.

Вотъ человѣкъ, постигнувшій духъ современности. Вся торговля, особенно англійская, основана теперь на количествѣ и дешевизнѣ, а вовсе не на качествѣ, какъ думаютъ старожилы, покупавшіе съ уваженіемъ тульскіе перочинные ножики, на которыхъ была англійская фирма. Все получаетъ значеніе гуртовое, оптовое, рядское, почти всѣмъ доступное, но не допускающее ни эстетической отдѣлки, ни личнаго вкуса. Возлѣ, за угломъ, вездѣ дожидается стотысячеголовая гидра, готовая безъ разбора все слушать, все смотрѣть, всячески одѣться, всѣмъ наѣсться—это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Ст. Миля, которая все покупаетъ и потому всѣмъ владѣетъ—толпа безъ невѣжества, но и безъ образованія, для нее искуство кричитъ, машетъ руками, лжетъ, экза-

*) У Карераса.

жерируетъ, или съ отчаянія отворачивается отъ людей и рисуетъ звѣриныя драмы и портреты скота, какъ Ланширъ и Роза Бонеръ.

Видѣлъ ли ты въ Европѣ за послѣдніе пятнадцать лѣтъ актера, одного актера, который бы не былъ гаеръ, паяцъ сентиментальности или паяцъ шаржи? Назови его!

Эпохѣ, которой послѣднее выраженіе въ звукахъ Верди, на роду могло быть написано много хорошаго, но навѣрное не художественное призваніе. Ей совершенно по плечу ея созданье—cafes chantants, амфибія, между полпивной и бульварнымъ театромъ. Я ничего не имѣю противъ cafés chantants, но не могу же я имъ дать серьезное артистическое значеніе, они удовлетворяютъ общему „костюмеру," какъ говорятъ англичане, общему потребителю, давальцу, стоглавой гидрѣ мѣщанства, чего же больше?

Выходъ изъ этого положенія далекъ. За большинствомъ, теперь господствующимъ, стоитъ *еще большее* большинство кандидатовъ на него, для которыхъ нравы, понятія, образъ жизни мѣщанства, единственная цѣль стремленій, ихъ хватитъ на десять перемѣнъ. Міръ безземельный, міръ городскаго преобладанія, до крайности доведеннаго права собственности, не имѣетъ другаго пути спасенія и весь пройдетъ мѣщанствомъ, которое въ нашихъ глазахъ отстало, а въ глазахъ полеваго населенія и пролетаріевъ, представляетъ образованность и развитіе. Забѣжавшіе впередъ живутъ въ крошечныхъ кругахъ въ родѣ свѣтскихъ монастырей, не занимаясь тѣмъ, что дѣлаютъ міряне за стѣной.

Было это и прежде, но и размѣры и сознаніе были меньше, къ тому же прежде были идеалы, вѣрованія, слова, отъ которыхъ билось и простое сердце бѣднаго

гражданина, и сердце надменнаго рыцаря; у нихъ были общія святыни, передъ которыми, какъ передъ дарами, склонялись всѣ. Гдѣ тотъ псалмъ, который могутъ въ наше время съ вѣрой и увлеченіемъ пѣть, во всѣхъ этажахъ дома отъ подвала до мансарды, гдѣ наша Gottes feste Burg или Марсельеза?

Когда Ивановъ былъ въ Лондонѣ, онъ съ отчаяніемъ говорилъ о томъ, что ищетъ новый, религіозный типъ и нигдѣ не находитъ его въ окружающемъ мірѣ. Чистый артистъ, боявшійся, какъ клятвопреступленія, солгать кистью, прозрѣвавшій больше фантазіей чѣмъ анализомъ, онъ требовалъ, чтобъ мы ему указали, гдѣ тѣ живописныя черты, въ которыхъ просвѣчиваетъ новое искупленіе. Мы ему ихъ не указали. „Можетъ, укажетъ Мацціни“, думалъ онъ.

Мацціни ему указалъ бы на „единство Итàліи“, можетъ на Гарибальди въ 1861 году, какъ *на предтечу*, — на этого *великаго послѣдняго*.

Ивановъ умеръ, стучась — такъ дверь и не отверзлась ему.

Isle of Wight, 10 Іюня, 1862.

Письмо второе.

Кстати къ Маццини. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ появился первый томъ полнаго собранія его сочиненій. Вмѣсто предисловія или своихъ записокъ Маццини связалъ статьи, писанныя имъ въ разныя времена, рядомъ пополненій, въ этихъ пояснительныхъ страницахъ бездна самаго живаго интереса. Поэма его монашескаго житія, посвященнаго *одному* богу и *одному* служенію, раскрывается сама собою въ разбросанныхъ от-

мѣткахъ — безъ намѣренія, можетъ больше, чѣмъ онъ хотѣлъ.

Энтузіастъ, фанатикъ, съ кровью лигура въ жилахъ, Маццини отрокомъ безвозвратно отдается великому дѣлу освобожденія Италіи — и этому дѣлу остается вѣренъ и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, ога e sempre какъ говоритъ его девизъ: тутъ его юность, любовь, семья, вѣра, долгъ. Мужъ единой жены, онъ ей не измѣнилъ, и сѣдой, исхудалый, больной, онъ удерживаетъ смерть, онъ не хочетъ умереть прежде, чѣмъ Римъ не будетъ столицей единой Италіи, и левъ С. Марка не разорветъ на лоскутки развѣвающуюся надъ нимъ черно-желтую тряпку.

Свидѣтельство такого человѣка, и притомъ гонителя скептицизма, соціализма, матеріализма, человѣка, жившаго всѣми сердцебіеніями европейской жизни въ продолженіи сорока лѣтъ, чрезвычайно важно.

Послѣ первыхъ *пансіонскихъ* увлеченій всякой революціонной карьеры, послѣ поэзіи заговоровъ, таинственныхъ формулъ, свиданій ночью, клятвъ на необагренныхъ кинжалахъ, молодаго человѣка беретъ раздумье.

Какъ ни увлекаетъ южную, романскую душу обстановка и ритуалъ, серьезный и аскетическій Маццини скоро разглядываетъ, что въ карбонаризмѣ гораздо больше пріемовъ, обрядовъ, чѣмъ дѣла, больше сборовъ и приготовленій, чѣмъ пути. Давно догадались и мы, что политическая литургія священно-служителей конспираціи, какъ и церковная литургія, — одно драматическое представленіе; сколько бы чувствъ и искренности ни вносили иногда священники въ *службу*, все же агнецъ закалается въ хлѣбѣ и истекаетъ виномъ. Маццини это замѣтилъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ.

Дойдя до этого, молодому карбонару было трудно

остановиться. Вглядываясь въ недавнія событія рухнувшейся имперіи, свидѣтель монархическихъ реставрацій, революціи, конституціонныхъ попытокъ и республиканскихъ неудачъ, Маццини пришелъ къ заключенію, что у современной европейской жизни нѣтъ, какъ онъ выразился, „никакой иниціативы", что консерваторская идея и идея революціонная имѣютъ только отрицательное значеніе: одна ломаетъ—не зная для чего, другая хранитъ—не зная для чего; что во всемъ, что дѣлается (а дѣлалась тогда революція тридцатаго года) нѣтъ ничего чинополагающаго новый порядокъ дѣлъ.

Въ этихъ словахъ будущаго соперника папы есть звуки погребальнаго колокола, въ который ударялъ другъ папы, Местръ.

Пустота, которую ощущалъ Маццини—понятна.

Приливъ революціоннаго моря поднимался торжественно въ 1789 и не мучимый никакими сомнѣніями, затоплялъ старую весь; но когда все было покрыто его волнами, и на минуту всплывшія головы безъ туловища (и въ томъ числѣ одна въ коронѣ), митры безъ головы и шляпы съ плюмажемъ—пошли на дно, тогда впервые почувствовался какой то страшный *просторъ отсутствія*. Освобожденныя силы разъѣдали другъ друга, потомъ устали и остановились—имъ нечего было дѣлать, онѣ ждали событія дня, какъ поденщики ждутъ работы. Постоянныя войска эти во время мира кипѣли боевой энергіей, но не было боя, а главное — не было ясной цѣли. А если цѣли нѣтъ, все можетъ быть цѣлью: Наполеонъ ихъ увѣрилъ, что *онъ* цѣль, что война цѣль, и отлилъ больше человѣческой кровью, чѣмъ напоръ волнъ революціонныхъ прилилъ идей.

Маццини понялъ это, и прежде чѣмъ произнести окончательный приговоръ, онъ посмотрѣлъ за полити-

ческія стѣны. Тамъ ему встрѣтился колоссальный эгоизмъ Гёте, его покойное безучастіе, его любознательность естествоиспытателя въ дѣлахъ человѣческихъ; тамъ ему встрѣтился гложущій себя колоссальный эгоизмъ Байрона.

Поэзія презрѣнія возлѣ поэзіи созерцанія; плачъ, смѣхъ, гордое бѣгство и отвращеніе отъ современнаго міра—возлѣ гордаго довольства въ немъ. Герои Байрона поражаютъ Маццини; онъ ищетъ, откуда ведутъ свое начало эти странные отшельники, безъ религіи и монастыря, сосредоточенные на себѣ, ненужные, несчастные, безъ дѣла, безъ родины, безъ интересовъ, эгоисты и аскеты, готовые на жертвы, которыхъ не умѣютъ принести, готовые презирать себя въ качествѣ людей. И снова Маццини наталкивается на ту же причину У байроновскихъ героевъ не достаетъ объективнаго идеала, вѣры; мечта поэта, отвернувшись отъ безплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризмъ психическихъ явленій, на *внутрь вошедшіе* порывы дѣятельности, на больные нервы, на тѣ духовныя пропасти, гдѣ сумасшествіе и умъ, порокъ и добродѣтель теряютъ свои предѣлы и становятся привидѣніями, угрызеніями совѣсти и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненнымъ упоеніемъ.

Успокоиться на этомъ *свидѣтельствѣ болѣзни* дѣятельный духъ Маццини не могъ. Ему во что бы ни стало хотѣлось сыскать слово новой вѣры, иниціативу,— онъ и сыскалъ ихъ.

Теперь рычагъ въ его рукахъ. Онъ повернетъ міръ, онъ пересоздастъ Европу, замѣнитъ гробъ колыбелью, разрушителей сдѣлаетъ зодчими, разрѣшитъ противорѣчіе общества и лица, свободы и авторитета, дастъ сердцу вѣру, не отнимая у разума — разумъ..... Что-

же, ты думаешь, это magnum ignotum? — *Единство и освобожденіе Италіи съ древнимъ Римомъ въ центрѣ.*

Тутъ, само собою разумѣется, нѣтъ мѣста ни разбору, ни критикѣ. Не оттого ли, что Маццини предвидѣлъ новое откровеніе, новое искупленіе міра въ итальянскомъ risorgimento, онъ не предвидѣлъ одного—именно Кавура? Кавура онъ долженъ былъ ненавидѣть больше чѣмъ Антонелли. Кавуръ былъ прозаическимъ переводомъ его поэмы, онъ выполнилъ одну будничную часть мацциніевской программы, за Римомъ и Венеціей à la longue дѣло не станетъ. Кавуръ — это итальянская Марѳа, мѣшающая хозяйственными дрязгами единой мечтѣ итальянской Маріи. И въ то время, когда Марія съ умиленіемъ видѣла искупленіе міра въ освобождающейся Италіи, Марѳа кроила для Италіи, бельгійскій костюмъ, и страна. довольная, что конституція не жметъ ее, пошла себѣ по торной, западной колеѣ, по большому торговому тракту, а по немъ не доѣдешь ни до какого пересозданія міра, *не пустившись въ опасный бродъ.*

Фанатикъ Маццини ошибался; колоссальность его ошибки сдѣлала возможнымъ соизмѣримаго Кавура и единую Италію. Для насъ впрочемъ вовсе не важно, какъ онъ разрѣшилъ вопросъ; для насъ важно то, что западный человѣкъ, какъ только становится на свои ноги и освобождается отъ готовыхъ формулъ, какъ только начинаетъ вглядываться въ современное состояніе Европы — чувствуетъ неловкость, чувствуетъ, что что-то *не туда идетъ*, что развитіе *дало въ сторону.* Обмануть это чувство замѣною недостающаго начала началомъ національности—легко могутъ революціонеры и консерваторы, особенно если по счастью ихъ родина будетъ покорена. Но что же дальше? Что дѣлать, воз-

становивши независимость своего народа? Или что дѣлать, когда она и безъ того независима?

Маццини, сознавая какую-то *пустоту* демократической мысли, указываетъ на освобожденіе Италіи отъ „тедесковъ". Ст. Миль видитъ, что все около него пошлѣетъ, мельчаетъ, съ отчаяніемъ смотритъ на подавляющія массы какой-то паюсной икры, сжатой изъ миріадъ мѣщанской мелкоты безъ иниціативы, безъ пониманья, но въ Англіи нѣтъ ни австрійскаго ига, ни папы, ни неаполитанскаго Бурбона. Тутъ что дѣлать?

... Я предчувствую гнѣвъ нашихъ крѣпостныхъ людей, приписанныхъ къ научнымъ фабрикамъ и схоластическимъ заводамъ; я вижу, какъ они бѣлымъ днемъ яростно смотрятъ на меня своими ночными глазами филина и говорятъ: „что онъ за вздоръ несетъ? какъ будто исторія можетъ дать въ сторону, какъ будто она не двигается по своимъ законамъ, какъ планеты, которыя никогда не даютъ въ сторону и не срываются съ орбитъ?"

На послѣднее можно сказать, что всякое бываетъ, и нѣтъ причины, чтобъ иной разъ планета и не сорвалась. У Сатурна кольцо уцѣлѣло и вертится съ нимъ; у Юпитера оно лопнуло, и изъ него сдѣлались бусы, у земли одна луна какъ бѣльмо на глазу. Но вмѣсто обсерваторіи стоитъ заглянуть въ любую больницу, чтобъ видѣть, какъ живые организмы *даютъ въ сторону*, развиваются въ своемъ отклоненіи и доводятъ его до относительнаго совершенства, искажая, а иногда и убивая весь организмъ. Шаткое равновѣсіе всего живаго колеблется и до нѣкоторой степени уступаетъ уклоненіямъ: но еще шагъ въ ту же сторону,—и худо стянутый узелъ, связующій ихъ, развязанъ, и освобожденные элементы идутъ въ другія сочетанія...

Разумѣется, что общіе законы остаются тѣ же, но въ частныхъ приложеніяхъ они могутъ разниться до совершенно противоположныхъ явленій. Повинуясь одному и тому же закону, пухъ летаетъ, а свинецъ падаетъ.

При отсутствіи плана и срока, аршина и часовъ — развитіе въ природѣ, въ исторіи не то что *не можетъ* отклониться, но *должно* безпрестанно отклоняться, слѣдуя всякому вліянію и въ силу своей безпечной страдательности, происходящей отъ отсутствія опредѣленныхъ цѣлей. Въ отдѣльномъ организмѣ иногда отклоненіе даетъ себя знать болью, и тутъ часто боль является слишкомъ позднимъ предостереженіемъ. Сложные, сводные организмы сбиваются съ своихъ діагоналей и уносятся по скатамъ, вовсе не замѣчая ни дороги, ни опасности, благодаря смѣнѣ поколѣній. Возможность остановить отклонившееся, удержать забѣжавшее или нагнать его, очень мала и мало желается, желаніе предполагало бы всякій разъ сознаніе и цѣль.

Сознаніе съ своей стороны очень далеко отъ практическаго приложенія. Боль не лечитъ, а вызываетъ леченье. Патологія можетъ быть хороша, а терапія скверная; можно вовсе не знать медицины и ясно видѣть болѣзнь. Требованіе лекарства отъ человѣка, указывающаго на какое нибудь зло, чрезвычайно опрометчиво. Христіане, плакавшіе о грѣхахъ міра сего, соціалисты, раскрывшіе раны быта общественнаго, и мы, *недовольные*, *неблагодарные* дѣти цивилизаціи, мы вовсе не врачи — мы *боль;* что выйдетъ изъ нашего кряхтѣнія и стона, мы не знаемъ—но *боль заявлена.*

Передъ нами цивилизація, послѣдовательно развившаяся на безземельномъ пролетаріатѣ, на безусловномъ правѣ собственника надъ собственностію. То, что ей пророчилъ Сіэсъ, то и случилось: среднее состояніе

сдѣлалось *всѣмъ*—на условіи владѣть *чѣмъ нибудь*. Знаемъ ли мы, какъ выйти изъ мѣщанскаго государства въ государство народное, или нѣтъ — все же мы имѣемъ право считать мѣщанское государство одностороннимъ развитіемъ, уродствомъ.

Подъ словомъ уродства, болѣзни, мы обыкновенно разумѣемъ что-то не естественное, противозаконное, не отдавая себѣ отчета, что уродство и болѣзнь *естественные* нормальнаго состоянія, представляющаго алгебраическую формулу организма, отвлеченіе, обобщеніе, идеалъ, собранный изъ разныхъ частностей—исключеніемъ случайностей. Отклоненіе и уродство *подзаконны* тому же *закону*, какъ и организмы; въ ту минуту, когда бы они освободились отъ него, организмъ бы умеръ. Но сверхъ общей подзаконности, они еще состоятъ на особыхъ правахъ, имѣютъ свои частные законы, послѣдствія которыхъ опять таки мы имѣемъ право выводить, безъ всякихъ ортопедическихъ возможностей поправлять. Видя, что у жирафа передняя часть развита *односторонно*, мы могли догадаться, что это развитіе сдѣлано на счетъ задней части и что въ силу этого въ его организмѣ непремѣнно будетъ рядъ недостатковъ, соотвѣтствующихъ его одностороннему развитію, но которые для него естественны и относительно нормальны.

Переднюю часть европейскаго камелеопардала составляетъ мѣщанство — объ этомъ можно бы было спорить, еслибъ дѣло не было такъ очевидно; но однажды согласившись въ этомъ, нельзя не видать всѣхъ послѣдствій такого господства лавки и промышленности. Ясно, что кормчій этого міра будетъ купецъ, и что онъ поставитъ на всѣхъ его проявленіяхъ свою торговую марку. Противъ него равно будетъ несостоятель-

на нелѣпость родовой аристократіи и несчастье родоваго пролетаріата. Правительство должно умереть съ голоду или сдѣлаться его прикащикомъ; у него на пристяжкѣ пойдутъ его товарищи по непроизводительности, опекуны несовершеннолѣтняго рода человѣческаго — адвокаты, судьи, нотаріусы и пр. Вмѣстѣ съ его господствомъ разовьется пониженіе всего нравственнаго быта, и Ст. Миль, напр., вовсе не преувеличивалъ, говоря о съуживаніи ума, энергіи, о стертости личностей, о постоянномъ мельчаніи жизни, о постоянномъ исключеніи изъ нея общечеловѣческихъ интересовъ, о сведеніи ея на интересы торговой конторы и мѣщанскаго благосостоянія. Миль прямо говоритъ, что по этому пути Англія сдѣлается *Китаемъ* — мы къ этому прибавимъ: и не одна Англія.

Можетъ, какой нибудь кризисъ и спасетъ отъ китайскаго маразма. Но откуда онъ придетъ, какъ и вынесетъ ли его старое тѣло или нѣтъ? Этого я не знаю, да и Ст. Миль не знаетъ. Опытъ насъ проучилъ; осторожнѣе Маццини, мы смиренно держимся точки зрѣнія *прозектора*. Лекарствъ не знаемъ, да и въ хирургію мало вѣримъ.

Мнѣ же особенно посчасчастливилось, — мѣсто въ анатомическомъ театрѣ досталось славное и возлѣ самой клиники; не стоило смотрѣть въ атласъ, ни ходить на лекціи парламентской терапіи и метафизической патологіи; болѣзнь, смерть и разложеніе совершались передъ глазами.

Агонія іюльской монархіи, тифъ папства, преждевременное рожденіе республики и ея смерть, за февральскими *сумерками* іюньскіе *дни*, вся Европа въ припадкѣ лунатизма, сорвавшаяся съ крыши Пантеона въ полицейскую лужу! И потомъ десять лѣтъ въ обширнѣй-

шемъ музеѣ патологической анатоміи — на Лондонской выставкѣ образцовъ всѣхъ прогрессивныхъ партій въ Европѣ, рядомъ съ туземными образцами всѣхъ консерватизмовъ со временъ Іудейскихъ первосвященниковъ до Шотландскихъ пуританъ.

Десять лѣтъ!

Былъ досугъ всмотрѣться въ эту жизнь, въ то, что дѣлалось вокругъ; но мое мнѣніе не измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ въ сорокъ восьмомъ году я осмѣлился, еще съ нѣкоторымъ ужасомъ, разобрать на лбу этихъ людей цицероновское vixerunt!

Съ каждымъ годомъ я бьюсь болѣе и болѣе объ непониманіе здѣшнихъ людей, объ ихъ равнодушіе ко всѣмъ интересамъ, ко всѣмъ истинамъ, объ легкомысленную вѣтренность ихъ стараго ума, объ невозможность растолковать имъ, что рутина не есть безапеляціонный критеріумъ, и привычка — не доказательство. Иногда я пріостанавливаюсь, мнѣ кажется, что худшее время прошло, я стараюсь быть непослѣдовательнымъ: мнѣ кажется, напримѣръ, будто сгнетенное слово во Франціи выростаетъ въ мысль... я жду, надѣюсь... бываетъ же иногда и исключеніе... будто что-то брезжитъ... нѣтъ, ничего!

И этого никто не чувствуетъ... на тебя смотрятъ съ какой-то жалостью, какъ на поврежденнаго... мнѣ только случилось встрѣчать старыхъ стариковъ, какъ-то очень грустно качавшихъ сѣдой головой.

Этимъ старикамъ было видимо неловко съ своими *чужими*, т. е. съ сыновьями и внучатами...

...Да, саго mio, есть еще въ здѣшней жизни великій типъ для поэта, типъ вовсе непочатой... Тотъ художникъ, который здѣсь всмотрится въ *Дѣдовъ* и *Внучатъ* въ *Отцевъ* и *Дѣтей* и безбоязненно, безпощадно во-

плотитъ ихъ въ черную, страшную поэму, — тотъ будетъ надгробный лауреатъ этого міра.

Типъ этотъ — типъ Донъ Кихота революціи, старика 89 года, доживающаго свой вѣкъ на хлѣбахъ своихъ внучатъ, разбогатѣвшихъ французскихъ мѣщанъ— онъ не разъ наводилъ на меня ужасъ и тоску.

Ты подумай объ немъ, и у тебя волосъ станетъ дыбомъ.

Isle of Wight, Cowes, 20 Іюля 1862.

Письмо третье.

... Фу, какое отвратительное лѣто, холодъ, темнота, слякоть, постоянные вѣтры, нервы раздражены, носовая перепонка тоже и все это продолжается три мѣсяца, а предъ ними были семь предшественниковъ ихъ, по ту сторону вступленія въ знакъ Овна!

Наконецъ-то солнце явилось на безоблачномъ небѣ. Море разгладилось и блеститъ, я сижу у своего окна, въ крошечной фермѣ, и не могу наглядѣться — такъ давно я не видѣлъ солнца и дали. Сегодня даже тепло. Я просто обрадовался, увидя, что природа еще цѣла; за то пиръ горой: шмели, пчелы, птицы летаютъ, жужжатъ, поютъ, шумятъ, на дворикѣ фермы кричитъ во все горло просохнувшій пѣтухъ, и старая собака, забывъ лѣта и общественное положеніе, лежитъ на спинѣ, какъ щенокъ, задравши ноги вверхъ, и покачивается изъ стороны въ сторону, съ невольнымъ эпикурейскимъ ворчаньемъ. Людей не видать изъ моего окна, но полей, но деревьевъ, но садовъ безъ конца; не смотря на море въ сторонѣ, видъ этотъ очень напоминаетъ наши великорусскіе виды, къ тому же пахнетъ травой и деревьями.

Пора была погодѣ исправиться, а то я начиналъ опасаться ужъ не соціальнаго переворота, а геологическаго; я такъ и ждалъ, что вслѣдъ за десятимѣсячной дурной погодой Европа дастъ трещину и вулканической мѣрой разрубитъ гордіевъ узелъ современныхъ вопросовъ и impass'овъ, приглашая желающихъ начать не то что съ азбуки, а съ Адама II.

Ты въ качествѣ поэта и идеалиста, должно быть, не вѣришь такой чепухѣ, а Ламе, въ качествѣ одного изъ величайшихъ математиковъ нашего времени, не того мнѣнія. Ему кажется, что равновѣсіе скучившихся матерпковъ очень непрочно, и что взявъ къ тому же въ разсчетъ быстрое движеніе въ одну сторону и кой какіе факты передвиженія массъ въ Исландіи, того и смотри, что шаръ земной дастъ трещину въ Европѣ. Онъ даже составилъ рядъ формулъ, сдѣлалъ рядъ вычисленій... Ну да что тебя пугать, до орловской губерніи трещина не дойдетъ.

Лучше, пользуясь казусно хорошей погодой, потолкуемъ опять объ нашихъ „Концахъ и Началахъ," а придетъ трещина, она сама распорядится.

Донъ Кихотъ революціи не идетъ у меня изъ головы Суровый, трагическій типъ этотъ исчезаетъ—исчезаетъ какъ бѣловежской зубръ, какъ краснокожіе индѣйцы, и нѣтъ художника, который бы помѣтилъ его черты старыя, рѣзкія, носящія на себѣ слѣды всѣхъ скорбей, всѣхъ печалей, идущихъ изъ *общихъ* началъ и изъ вѣры въ человѣчество и разумъ. Скоро черты эти замрутъ несдавшись съ выраженіемъ гордаго и укоряющаго презрѣнія, потомъ сотрутся и человѣческая память утратитъ одинъ изъ высшихъ, предѣльныхъ типовъ своихъ.

Это вершины горъ, которыми заключается хребетъ

XVIII столѣтія, ими онъ достигаетъ своего предѣла и замыкается, ими обрывается рядъ усилій подняться. Дальше этимъ вулканическимъ напоромъ идти нельзя.

Титаны, остающіеся послѣ борьбы, послѣ пораженія, при всѣхъ своихъ титаническихъ стремленіяхъ, представителями неудовлетворенныхъ притязаній, дѣлаются изъ великихъ людей печальными Донъ Кихотами. Исторія подымается и опускается между пророками и рыцарями печальнаго образа. Римскіе патриціи, республиканцы, стоики первыхъ вѣковъ, отшельники, бѣжавшіе въ степи отъ христіанства, опошленнаго въ оффиціальную религію, пуритане — наполнившіе цѣлое столѣтіе скрежетомъ зубовъ за недостиженіе своего скучнаго идеала—все это оставленное отливомъ, упорно рвущееся впередъ и вязнущее въ тинѣ, не поддержанное волною, все это Донъ Кихоты, но Донъ Кихоты нашедшіе своихъ Сервантесовъ. Для сподвижниковъ начальной церкви есть томы легендъ, есть иконопись и живопись, есть ихъ мозаики, изваянія. Типъ пуританизма закрѣпленъ въ англійской литературѣ, въ голандской живописи; а типъ Донъ Кихота революціи вывѣтривается на нашихъ глазахъ, становится рѣже и рѣже и никто не думаетъ о томъ, чтобъ по крайней мѣрѣ снять фографію.

Фанатики земной религіи, фантасты не царства божія, а царства человѣческаго, они остаются послѣдними часовыми идеала, давно покинутаго войскомъ, они мрачно и одиноко стоятъ полстолѣтія, безсильные *измѣнить*, и все ожидающіе пришествія республики на землѣ; грунтъ возлѣ понижается, понижается — они этого не хотятъ видѣть. Я еще засталъ нѣсколько изъ этихъ апостоловъ девяностыхъ годовъ; рѣзкія, печальныя, крупныя фигуры ихъ, переросшія два поколѣнія, казались мнѣ каки-

ми-то угрюмыми и неподвижно разрушающимися по камешку Мемнонами въ египетскихъ степяхъ... и у ихъ ногъ копошились, хлопотали, таскали товары крошечные люди и маленькіе верблюды, едва видные изъ за урагана пыли.

Смерть давала все больше и больше знать о своемъ приближеніи; старый пожелтѣлый взглядъ становился суровѣе, уставалъ отъ напряженія, высматривая смѣну, отыскивая кому сдать честь и мѣсто—Сыну? Старикъ хмурится—Внуку? Онъ махнулъ рукой. Бѣдный король Лиръ въ демократіи, куда ни обращаетъ онъ угасающій взглядъ свой къ своимъ, къ приснымъ, вездѣ его встрѣчаетъ непониманье, безучастье, осужденье, полускрытый упрекъ, мелкіе счеты и мелкіе интересы. Его якобинскихъ словъ боятся при посторонникъ, ему просятъ прощеніе, указывая на изрѣдѣвшія сѣдины. Его невѣстка мучитъ его примиреніемъ съ церковью, и іезуитскій аббатъ шныряетъ по временамъ, какъ мимолетный воронъ, посмотрѣть сколько еще силъ и сознанія, чтобы поймать его богу въ предсмертномъ бредѣ.

Еще хорошо, если гдѣ нибудь въ околодкѣ гражданина Лира есть гражданинъ Кентъ, который находитъ, „что въ его лицѣ есть что-то, напомнающее 94 годъ“, какой нибудь темный сподвижникъ Сантера, солдатъ арміи Марсо и Гоша, гражданинъ Спартакюсъ-Брютюсъ-Жюніоръ, дѣтски вѣрный своему преданью и гордо держащій лавочку рукой, которой держалъ пику съ фригійской шапкой. Лиръ зайдетъ къ нему иной разъ отвести душу, покачать головой и вспомнить старину съ ея огромными надеждами, съ ея великими событіями, побранить Таліена и Барраса, реставрацію съ своими caffards, короля-лавочника et ce traitre de Lamartine. Оба *знаютъ*, что часъ революціи пробьетъ, что народъ

проснется какъ левъ и снова подниметъ фригійскую шапку и въ этомъ упованіи одинъ изъ нихъ засыпаетъ.

Насупивъ брови, идетъ Лиръ за гробомъ Спартакюсъ-Брютюсъ-Жюніора, или Спартакюсъ-Брютюсъ-Жюніоръ, не скрывая глубокаго отвращенія ко всему родству покойнаго, идетъ за гробомъ Лира — и изъ двухъ величавыхъ фигуръ остается одна, и та совершенно лишняя.

„И его нѣтъ, и онъ не дождался“ — думаетъ оставшійся старикъ, возвращаясь съ похоронъ; „неужели въ самомъ дѣлѣ изувѣрство и монархизмъ, сторона Питта и Кобурга, окончательно взяли верхъ, неужели вся долгая жизнь, усилія, жертвы..... нѣтъ, не можетъ быть, истина съ нашей стороны и побѣда будетъ съ нашей... Разумъ и справедливость восторжествуютъ, разумѣется сперва во Франціи, потомъ во всемъ родѣ человѣческомъ и Vive la République, une et indivisible!“ молится старецъ восмидесяти-лѣтними губами, такъ какъ другой старецъ, отдавая съ миромъ духъ свой господу, шепчетъ ему: „да пріидетъ царствіе твое“ и оба спокойно закрываютъ глаза и не видятъ, что ни царство небесное на землѣ, ни единая и нераздѣльная республика во Франціи, вовсе не водворяются, и не видятъ потому, что духъ ихъ принялъ съ миромъ не господь, а разлагающееся тѣло.

Святые Донъ Кихоты, вамъ легка земля!

Эти фанатическія вѣрованія въ осуществимость гармоническаго порядка, общаго блаженства, въ осуществимость истины, *потому что она истина*, это отрѣшеніе отъ всего частнаго, личнаго; эта преданность, переживающая всѣ испытанія, всѣ удары, — это-то и есть *вершина*..... Гора окончена, выше, дальше холодный воздухъ, мгла, ничего. Опять спускаться! Отчего нельзя

продолжать? Отчего Монъ-Бланъ не стоитъ на Шимборазо и Гималай не продолжаетъ ихъ—какова бы была гора?

Такъ нѣтъ—у каждаго геологическаго катаклизма свой романъ, своя поэма горъ, свой хребетъ, свои гранитныя, базальтовыя личности, подавляющія своимъ величіемъ низменные бассейны. Памятники планетныхъ революцій, они давно обросли лѣсами и мохомъ въ свидѣтельство тысячелѣтняго застоя потомъ. И наши забѣжавшіе піонеры революціи оставили въ исторіи свои Альпы; слѣды ихъ титаническихъ усилій не прошли и долго не пройдутъ. Чего же больше?

Да, для исторіи. Тамъ своя гуртовая, безпощадная оцѣнка; тамъ какъ въ описаніи сраженій, — движеніе корпусовъ, дѣйствіе артиллеріи, напоръ лѣваго фланга, отступленіе праваго; тамъ свои личности „30-й егерской, а послѣ 45-й“. Далѣе бюльтенъ не идетъ, онъ довольствуется итогомъ труповъ, а „пятое дѣйствіе“ каждаго солдата идетъ далѣе, и оно имѣетъ свой совершенно *статскій* интересъ.

Что вынесли эти люди *послѣдняго* прилива, оставленные отливомъ въ тинѣ и слякоти! Что выстрадали эти *отцы* съ своими *дѣтьми* одинокіе въ своихъ семьяхъ, больше чѣмъ монахи въ своихъ кельяхъ! Какія страшныя столкновенія всякаго часа, всякаго дня!..... Какія минуты устали и отчаянія!

Не странное ли дѣло, что въ длинномъ ряду „несчастныхъ“, вызванныхъ В. Гюго, являются и старики..... *а несчастный старикъ* по преимуществу отодвинутъ на задній планъ, пропущенъ? Гюго едва замѣтилъ, что возлѣ мучительнаго сознанія виновности, есть другая пытка — мучительное *сознаніе ненужной правоты своей*- сознаніе своего безплоднаго превосходства надъ слабо,

стью всего близкаго, молодаго, переживающаго... Великій риторъ и поэтъ, между скорбными существованіями французской жизни, чуть коснулся величайшей скорби въ мірѣ—старца юнаго душею, окруженнаго больше и больше мельчающимъ поколѣніемъ.

Ну что передъ ними и мучительныя, но ненужныя и чисто субъективныя страданія Жанъ-Валжан', такъ утомительно подробно разсказанныя въ романѣ-омнибусѣ Гюго? Конечно сострадать можно всякому несчастію — но не всякому глубоко сочувствовать. Боль отъ перелома ноги и боль отъ перелома жизни вызываютъ розное участіе.

Мы слишкомъ мало французы, чтобъ понимать такіе идеалы какъ Жанъ-Валжан'', и сочувствовать такимъ героямъ полиціи какъ Жаверъ. Жаверъ для насъ просто отвратителенъ. Вѣроятно Гюго не думалъ, чертя эту совершенно національную фигуру шакала порядка, какое клеймо онъ выжегъ на плечѣ своей „прелестной Франціи". Въ Жанъ-Валжан' намъ только понятна его внѣшняя борьба добраго, несчастнаго звѣря, травимаго цѣлымъ гончимъ обществомъ. Внутренняя борьба его для насъ остается посторонней; этотъ сильный человѣкъ мышцами и волей, въ сущности чрезвычайно слабый человѣкъ. Святой каторжникъ, Илья Муромецъ изъ тулонскихъ галеръ, акробатъ въ пятьдесятъ лѣтъ, и влюбленный мальчикъ чуть не въ шестьдесятъ, онъ исполненъ суевѣрья. Онъ вѣруетъ въ клеймо на плечѣ; онъ вѣруетъ въ приговоръ; онъ вѣруетъ, что онъ отверженный человѣкъ, оттого что тридцать лѣтъ тому назадъ укралъ хлѣбъ, да и то не для себя. Его добродѣтель — болѣзненное раскаяніе; его любовь — старческая ревность. Натянутое существованіе его поднимается до истинно трагическаго значенія только въ кон-

цѣ книги, отъ бездушной ограниченности Козетина мужа, и безграничной неблагодарности ея самой.

И тутъ Жанъ-Валжанъ дѣйствительно граничитъ съ нашими стариками — раскаяніе одного и правота другихъ смѣшивается въ жгучемъ страданіи. Ртуть термометра замерзшая въ пулю обжигаетъ, какъ раскаленая пуля изъ свинца. Сознаніе правоты, отхватывающее полсердца, полсуществованія, стоитъ угрызенія совѣсти и еще хуже—тутъ есть искупленіе исповѣди, вознагражденіе, тамъ ничего. Между старикомъ девяностыхъ годовъ, фанатикомъ, фантастомъ, идеалистомъ и сыномъ, который *старше* его осторожностью, благоразуміемъ, разочарованіемъ, сыномъ черезъ край удовлетвореннымъ „меньшой линіей“, и внукомъ, который, щеголяя въ мундирѣ императорскаго гида, мечтаетъ о томъ, какъ бы лукнуть въ су-префекты, pour exploiter sa position, нарушено естественное отношеніе, нарушено равновѣсіе, искажена органическая преемственность поколѣній.

Жанъ Валжанъ въ своей старческой дѣвственности, въ своей лирической, личной сосредоточенности, самъ не зналъ, чего требовалъ отъ молодой жизни. Чего хотѣлъ онъ въ самомъ дѣлѣ отъ Козеты? Развѣ она могла быть его подругой? Онъ въ неопытной непочатости своего сердца перешагнулъ любовь отца..... Онъ исключительно *для себя* хотѣлъ любить ее, а такъ отецъ не любитъ. Сверхъ того онъ, всю жизнь внутренно драпируясь въ куртку каторжнаго, сломился подъ бременемъ отвращенія, которое ему показалъ ограниченнѣйшій молодой человѣкъ—типическій представитель пошлѣющаго поколѣнія.

Я не знаю, что Гюго хотѣлъ сдѣлать съ Маріюсомъ, для меня онъ въ своемъ поколѣніи такой же типъ,

какъ Жаверъ въ своемъ. Въ инстинктахъ этого молодаго человѣка мерцаютъ какимъ-то отблескомъ другаго дня—благородные и горячіе порывы, безъ разсужденія, безъ корня, почти безъ смысла — по преданію, по примѣру. Въ немъ и закваски XVIII вѣка больше нѣтъ — этой неутомимой потребности анализа, критики, этого грознаго вызова всего на свѣтѣ на провѣръ ума; у него и ума нѣтъ—но онъ еще добрый товарищъ, пойдетъ на барикаду, не зная что потомъ, онъ живетъ по готовому, и зная à code ouvert, *что добро и что зло.* также мало безпокоится объ этомъ, какъ человѣкъ, знающій достовѣрно, что скоромное ѣсть грѣшно въ постъ. На этомъ поколѣніи окончательно останавливается и начинаетъ свое отступленіе революціонная эпоха; еще поколѣніе, и нѣтъ больше порывовъ, все принимаетъ обычный порядокъ, личность стирается, смѣна экземпляровъ едва замѣтна въ продолжающемся жизненномъ обиходѣ.

Я воображаю, что кое-что подобное было въ развитіи животныхъ—складывавшійся видъ, порываясь свыше силъ, отставая ниже возможностей, мало по малу уравновѣшивался, умѣрялся, терялъ анатомическія эксцентричности и физіологическія необузданности, пріобрѣтая за то плодовитость и начиная изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторять, по образу и подобію перваго остепенившагося праотца, свой обозначенный видъ и свою индивидуальность.

Тамъ, гдѣ видъ сложился, *исторія* почти прекращается, по крайней мѣрѣ становится скромнѣе, развивается исподволь... въ томъ родѣ какъ и планета наша. Дозрѣвши до извѣстнаго періода охлажденія, она мѣняетъ свою кору по немногу; есть наводненія, нѣтъ всемірныхъ потоповъ; есть землетрясенія тамъ-сямъ,

нѣтъ общаго переворота... Виды останавливаются, консолидируются на разныхъ возможностяхъ, больше или меньше, въ ту или другую сторону, односторонніхъ; они ихъ удовлетворяютъ, перешагнуть ихъ они почти не могутъ, а еслибъ и перешагнули, то въ смыслѣ той же односторонности. Моллюскъ не домогается сдѣлаться ракомъ, ракъ — форелью, Голландія — Швеціей... еслибъ можно было предположить животные идеалы, то идеалъ рака былъ бы тоже ракъ, но съ болѣе совершеннымъ организмомъ. Чѣмъ ближе страна къ своему окончательному состоянію, тѣмъ больше она считаетъ себя средоточіемъ просвѣщенія и всѣхъ совершенствъ, какъ Китай, стоящій безъ соперниковъ, какъ Англія и Франція, не сомнѣвающіяся въ своемъ антагонизмѣ, въ своемъ соревнованіи, въ своей взаимной ненависти—что они передовыя страны міра. Пока одни успоконваются на достигнутомъ, развитіе продолжается въ несложившихся видахъ возлѣ, около *готоваго*, совершившаго свой циклъ вида.

Вездѣ, гдѣ людскіе муравейники и ульи достигали относительнаго удовлетворенія и уравновѣшенія, движеніе впередъ дѣлалось тише и тише, фантазіи, идеалы потухали. Довольство богатыхъ и сильныхъ подавляло стремленіе бѣдныхъ и слабыхъ. Религія являлась всѣхскорбящей утѣшительницей. Все что сосало душу, по чемъ страдалъ человѣкъ, все что безпокоило и оставалось неудовлетвореннымъ на землѣ, все разрѣшалось, удовлетворялось въ вѣчномъ царствѣ Ормузда, превыше Гималая, у подножія престола Іеговы. И чѣмъ безропотнѣе выносили люди временныя несчастія земной жизни, тѣмъ полнѣе было небесное примиреніе и притомъ не на короткій срокъ, а во вѣки вѣковъ.

Жаль, что мы мало знаемъ внутреннюю повѣсть

азіатскихъ народовъ, вышедшихъ изъ исторіи, мало знаемъ тѣ періоды безъ событій, которые предшествовали у нихъ насильственному вторженію дикихъ племенъ, все избивавшихъ, или хищной цивилизаціи, все искоренявшей и перестроивавшей. Она намъ показала бы въ элементарныхъ и простыхъ формахъ, въ тѣхъ пластическихъ, библейскихъ образахъ, которые создаетъ одинъ востокъ, выходъ народа изъ историческаго треволненія въ покойное statu quo жизни, продолжающейся въ безпорной смѣнѣ поколѣній — зимы, весны, весны, лѣта...

Тихимъ, невозмущаемымъ шагомъ идетъ Англія къ этому покою, къ незыблемости формъ, понятій, вѣрованій. На дняхъ „Теймсъ“ поздравлялъ ее съ отсутствіемъ интереса въ парламентскихъ преніяхъ, съ безропотностью, съ которой работники умираютъ съ голоду, „въ то время какъ еще такъ недавно ихъ отцы современники О' Коннора“ потрясали страну своимъ грознымъ ропотомъ. Прочно, какъ вѣковый дубъ, стоитъ глубоко пустивши корни англиканская церковь, милосердо допуская всѣ расколы и увѣренная, что всѣ они далеко не уйдутъ. Упираясь по старой памяти и кобенясь, низвергается Франція задомъ на передъ, чтобъ придать себѣ видъ прогресса. За этими колоссами пойдутъ и остальные двумя колоннами, нѣкогда пророчески соединенными подъ однимъ скипетромъ.... съ одной стороны худой, суровый, постный типъ испанца, задумчиваго безъ мысли, энтузіаста безъ цѣли, озабоченнаго безъ причины, принимающаго всякое дѣло къ сердцу и не умѣющаго ничему помочь, словомъ типъ настоящаго Донъ Кихота Ламанчскаго. Съ другой—дородный типъ ѓолландца, довольнаго, когда онъ сытъ, напоминающій Санчо Пансу.

Не оттого ли здѣсь дѣти *старше* своихъ отцевъ, старше своихъ дѣдовъ и могутъ ихъ назвать à la Dumas jun. „блудными отцами“, что старость то и есть главная характеристика теперь живущаго поколѣнія? По крайней мѣрѣ, куда я ни смотрю, я вездѣ вижу сѣдые волосы, морщины, сгорбившіяся спины, завѣщанія, итоги, выносы, *концы* и все ищу, ищу *началъ* — они только въ теоріи и отвлеченіяхъ.

10 Августа 1862 г.

Письмо четвертое.

Прошлымъ лѣтомъ пріѣзжаетъ ко мнѣ въ Девоншпръ одинъ пріятель, саратовскій помѣщикъ и большой фурьеристъ.

— Сдѣлай одолженіе, не сердись на меня, т. е. это не помѣщикъ мнѣ сказалъ, а я тебѣ говорю за то, что я безпрестанно сворачиваю съ дороги. Вводныя мѣста мое счастіе и несчастіе. Одинъ французъ литераторъ временъ реставраціи, классикъ и пуристъ, не разъ говаривалъ мнѣ, продолжительно и академически нюхая табакъ (такъ, какъ скоро перестанутъ нюхать): notre ami abuse de la paranthèse avec intempérance! Я за отступленія и за скобки всего больше люблю форму писемъ — и именно писемъ къ друзьямъ — можно не стѣсняясь писать что въ голову придетъ.

— Ну вотъ мой саратовскій фурьеристъ въ Девонширѣ и говоритъ мнѣ: „Знаете ли какая странность? Я теперь былъ первый разъ въ Парижѣ, ну—конечно... что и говорить, а если разобрать по глубже, въ Парижѣ скучно... право скучно!“

— Что вы? говорю я ему.

— Ей богу.

— Впрочемъ отчего же вы думали, что тамъ весело?

— Помилуйте, послѣ саратовскихъ степей.

— Можетъ именно по этому. А впрочемъ, не оттого ли вамъ было въ Парижѣ скучно, что тамъ черезъ чуръ весело?

— Вы по прежнему все дурачитесь.

— Совсѣмъ нѣтъ. Лондонъ, смотрящій Сентябремъ, намъ больше по душѣ; впрочемъ и здѣсь скука страшная.

— Гдѣ же лучше? Видно по старой поговоркѣ: *гдѣ насъ нѣтъ!*

— Не знаю: а думать надобно, что и тамъ не очень хорошо.

..... Разговоръ этотъ кажется не то чтобъ длинный или особенно важный, расшевелилъ во мнѣ рядъ старыхъ мыслей о томъ, что въ мозгу современнаго человѣка не достаетъ какого-то рыбьяго клея; оттого онъ не отстаивается и мутенъ отъ гущи — новыя теоріи, старыя практики, новыя практики, старыя теоріи.

И что за логика? я говорю. что въ Парижѣ и Лондонѣ скучно, а онъ мнѣ отвѣчаетъ: „Гдѣ же лучше?“ не замѣчая вовсе, что эту діалектику употребляли у насъ дворовые люди прежняго покроя; они обыкновенно на замѣчаніе; „Да ты, братецъ, кажется пьянъ?“ отвѣчали; „А развѣ вы подносили?“

На чемъ основана мысль, что людямъ гдѣ нибудь хорошо? можетъ, должно быть хорошо? и какимъ людямъ? и чѣмъ хорошо? Положимъ, что людямъ въ одномъ мѣстѣ лучше жить чѣмъ въ другомъ. Почему же Парижъ и Лондонъ предѣлы этого лучше?

Развѣ по гиду Рейхардта?

Парижъ и Лондонъ замыкаютъ томъ всемірной исторіи—томъ, у котораго едва остаются нѣсколько нераз-

рѣзанныхъ листовъ. Люди, старающіеся изъ всѣхъ силъ *скорѣе* перевернуть ихъ, дивятся, что — по мѣрѣ приближенія къ концу — въ прошедшемъ больше чѣмъ въ настоящемъ и досадуютъ, что два полнѣйшіе представителя *западнаго міра садятся съ нимъ вмѣстѣ*.

Въ общихъ разговорахъ, носящихся какъ нѣкогда духъ божій надъ водами — удаль и отвага страшныя, а какъ дойдетъ не только до дѣла, а до критической оцѣнки событій — все забыто, и старые вѣсы и старые аршины вытаскиваются изъ бабушкиной кладовой.

— Обвѣтшалыя формы только и могутъ спастись — совершеннымъ перерожденіемъ; западъ долженъ возродиться какъ фениксъ въ огненномъ крещеніи.

— Ну такъ съ богомъ въ полымя его.

— А какъ онъ не возродится... а опалитъ свои красивыя перья, или пожалуй—сгоритъ?

— Въ такомъ случаѣ продолжайте его крестить *водой*, и не скучайте въ Парижѣ. Вотъ мой отецъ напримѣръ: онъ жилъ лѣтъ восемь въ Парижѣ и никогда не скучалъ; онъ черезъ тридцать лѣтъ любилъ разсказывать о праздникахъ, которые давали маршалы и самъ Наполеонъ, объ ужинахъ въ Palais Royal, на которыхъ являлись актрисы и оперныя танцовщицы, украшенныя брильянтами, выковырянными изъ побѣжденныхъ коронъ, объ Юсуповыхъ, Тюфякиныхъ и другихъ princes russes, положившихъ тамъ больше крестьянскихъ душъ, чѣмъ ихъ легко подъ Бородинымъ Съ разными перемѣнами и un peu plus canaille, тоже существуетъ и теперь. Маршалы *биржи* даютъ праздники не хуже боевыхъ маршаловъ, ужины съ улицы St. Honoré переѣхали на Елисейскія Поля, въ Булонскій лѣсъ... Но вы человѣкъ серьезный — больше любите смотрѣть за кулисы всемірной исторіи, чѣмъ за кулисы

оперы... вотъ вамъ парламентъ и два, — чего же вамъ больше?... Съ какой завистью и болью слушалъ я бывало людей, пріѣзжавшихъ изъ Европы въ тридцатыхъ годахъ, точно будто у меня отняли все то, что они видѣли... а я не видалъ. Они тоже не скучали, а много надѣялись — кто на Одильонъ Баро, кто на Кобдена. Умѣйте же и вы не скучать... и во всякомъ случаѣ будьте сколько нибудь послѣдовательны; и, если вамъ все таки скучно, ищите причину. Можетъ найдете, что вы требуете пустяковъ, тогда лечитесь; это скука праздности, пустоты, неумѣнья найтиться. А можетъ вы найдете другое—что вамъ оттого скучно, что на стремленія, больше и больше растущія въ сердцѣ и мозгу современнаго человѣка, Парижъ и Лондонъ не имѣютъ отвѣта—что вовсе не мѣшаетъ имъ представлять высшее развитіе и блестящій результатъ былаго, богатые концы богатаго періода.

Я это говорилъ десять разъ. Но безъ повтореній обойтись невозможно. Люди привычные знаютъ это. Я какъ-то сказалъ Прудону о томъ, что въ его журналѣ часто помѣщаются почти одинакія статьи, съ небольшими варіаціями.

— А вы воображаете, отвѣчалъ мнѣ Прудонъ, что разъ сказали такъ и довольно — что новая мысль такъ вотъ и примется сразу. Вы ошибаетесь: долбить надобно, повторять надобно, безпрерывно повторять — чтобъ мысль не только не удивляла больше, не только была бы понята, а усвоилась бы, получила бы дѣйствительныя права гражданства въ мозгу.

Прудонъ былъ совершенно правъ. Есть двѣ, три мысли, особенно дорогія для меня, я ихъ повторяю около пятнадцати лѣтъ; фактъ за фактомъ подтверждаетъ ихъ съ ненужной роскошью. Часть ожидаемаго совер-

шилась; другая совершается передъ нашими глазами. А онѣ также дики, не употребительны, какъ были.

И что всего обиднѣе, люди будто понимаютъ васъ— соглашаются, но мысли ваши остаются въ ихъ головѣ чужими, не идущими къ дѣлу, не становятся той непосредственностью сознанія и нравственнаго быта, которая вообще лежитъ въ безспорной основѣ нашихъ мнѣній и поступковъ.

Отъ этого двойства люди по видимому очень развитые безпрестанно поражены неожиданнымъ, взяты въ расплохъ, возмущаются противъ неминуемаго, борятся съ неотразимымъ, идутъ мимо нарождающагося и лечатъ всѣми аллопатіями и гомеопатіями — дышащихъ на ладонъ. Они знаютъ, что ихъ часы были хорошо поставлены, но какъ „неоплаканный" Клейнмихель, не могутъ понять, что меридіанъ не тотъ.

Доктринерство, схоластика, мѣшаютъ пониманью простому, живому пониманью, больше чѣмъ изувѣрство и невѣжество. Тутъ остались инстинкты мало сознанные, но вѣрные; сверхъ того, невѣжество не исключаетъ страстнаго увлеченья, изувѣрство — непослѣдовательности, а доктрина вѣрна себѣ.

Во время итальянской войны одинъ добрый почтенный профессоръ читалъ своимъ слушателямъ о великихъ успѣхахъ международнаго права; о томъ, какъ нѣкогда крупно наброшенныя основанія Гуго Гроція, развиваясь, внѣдрились въ народное и правительственное сознаніе; о томъ, какъ вопросы, которые прежде разрѣшались рѣками крови, несчастіями цѣлыхъ провинцій, цѣлыхъ поколѣній — разрѣшаются теперь, какъ гражданскіе вопросы между частными людьми, на началахъ международной совѣсти.

Кто же, кромѣ какихъ нибудь старыхъ кондотьеровъ

по ремеслу, не будетъ согласенъ съ доцентомъ, что это одна изъ величайшихъ побѣдъ гуманности и образованія надъ дикой силой? Бѣда не въ томъ, что сужденіе доцента несправедливо, а въ томъ, что человѣчество этой побѣды вовсе не одерживало.

Когда профессоръ краснорѣчивой рѣчью увлекалъ юношей въ эти созерцанія мира, на поляхъ Маженты и Сольферино дѣлались другіе комментаріи на международное право. Итальянская война тѣмъ меньше могла быть устранена какими нибудь амфиктіоновыми судами, что на нее никакой международной причины не было, такъ какъ не было спорнаго предмета. Войну эту Наполеонъ велъ съ медицинской точки зрѣнія, чтобъ угомонить французовъ гимнастикой освобожденія и потрясеніями побѣдъ. Какой же Гроцій и Ватель могли бы разрѣшить такую задачу? Какъ же было возможно отстранить войну, которая была необходима для внутреннихъ интересовъ? Не австрійцевъ, такъ кого нибудь другаго надобно было бить французамъ; остается радоваться, что именно австрійцы подвернулись.

Далѣе—Индія, Пекинъ, война демократовъ за рабство черныхъ, война республиканцевъ за рабство государственной нераздѣльности. А профессоръ продолжаетъ свое, слушатели тронуты, имъ кажется, что слышанъ послѣдній скрыпъ церковныхъ воротъ въ Янусовомъ соборѣ, что воины сложили оружія, надѣли миртовые вѣнки и взяли прялки въ руки, что арміи распущены и воздѣлываютъ поля... И все это въ то самое время, когда Англія покрывалась волонтерами, что ни шагъ—мундиръ, что ни лавочникъ—ружье, французское и австрійское войско стояло съ зажженными фитилями и самъ принцъ, кажется Гессенъ Кассельскій, поставилъ на военную ногу и вооружилъ револьверами двухъ гу-

саръ мирно и безоружно ѣздившихъ за его каретой со времени вѣнскаго конгресса.

Вспыхни опять война, а это зависѣло отъ тысячи случайностей, отъ одного выстрѣла кстати — въ Римѣ, на границѣ Ломбардіи, она разлилась бы кровавымъ моремъ отъ Варшавы до Лондона. Профессоръ удивился бы, профессоръ огорчился бы. А „кажись не подобаетъ“ ни удивляться, ни огорчаться — исторія дѣлается не за угломъ! Бѣда доктринеровъ въ томъ, что они какъ нашъ Дидро, споря закрываютъ глаза, чтобъ не видать — противникъ хочетъ возражать: а противникъ то ихъ сама природа, сама исторія.

Въ дополненіе конфузіи не слѣдуетъ терять изъ виду, что *отвлеченно-логически*—профессоръ правъ, и что еслибъ не сто человѣкъ, а сто милліоновъ человѣкъ понимали Гроція и Вателя, такъ они и не стали бы рѣзать другъ друга, ни для моціона, ни изъ клочка земли. Да несчастье-то въ томъ, что при нынѣшнемъ государственномъ устройствѣ, могутъ понимать Гроція и Вателя сто человѣкъ, а не сто милліоновъ. Оттого-то ни лекціи, ни проповѣди не дѣйствуютъ, оттого-то ни отцы доктринеры, ни духовные отцы не могутъ принесть намъ облегченія; монахи науки, такъ же какъ и монахи невѣжества, не знаютъ ничего внѣ стѣнъ своихъ монастырей, не повѣряютъ своей теоріи, своихъ выводовъ по событіямъ и, тогда какъ люди гибнутъ отъ изверженія волкана — они съ наслажденіемъ бьютъ тактъ, слушая музыку небесныхъ сферъ и дивясь ея гармоніи.

Баконъ Веруламскій давнымъ давно уже раздѣлилъ ученыхъ на *пауковъ* и *пчелъ*. Есть эпохи, въ которыхъ пауки рѣшительно берутъ верхъ и тогда развивается бездна паутины—но мало собирается меду. Есть усло-

вія жизни, особенно способствующія паукамъ. Для меда надобны липовыя рощи, цвѣтистыя поля, и пуще всего крылья и общежительный образъ мыслей. Для паутины достаточенъ тихій уголъ, невозмущаемый досугъ, много пыли и безучастіе ко всему, внѣ внутренняго процесса.

Въ обыкновенное время по пыльной гладкой дорогѣ, еще можно плестись дремля и не обрывая паутины, но чуть пошло черезъ кочки да цѣликомъ—бѣда.

Была истинно добрая, покойная полоса Европейской исторіи, начавшаяся съ Ватерлоо и продолжавшаяся до 1848 г. Войны тогда не было, а международнаго права и постояннаго войска—очень много. Правительства поощряли явно „истинное просвѣщеніе“ и давили въ тиши — *ложное,* не было большой свободы, но не было и большаго рабства, даже деспоты всѣ были добродушные, въ родѣ патріархальнаго Франца II, піэтиста Фридриха Вильгельма, и аракчеевскаго Александра; неаполитанскій король и Николай были въ родѣ десерта. Промышленность процвѣтала, торговля процвѣтала еще больше, фабрики работали, книгъ писалась бездна, это былъ золотой вѣкъ для всѣхъ паутинъ — въ академическихъ аулахъ и въ кабинетахъ ученыхъ сплелись ткани безконечныя!....

Исторія, уголовное и гражданское право, право международное и сама религія, все было возведено въ область чистаго знанія и падало оттуда самыми кружевными бахрамами паутины. Пауки качались привольно на своихъ ниточкахъ, никогда не касаясь земли. Что, впрочемъ, было очень хорошо, потому что по землѣ ползали другія насѣкомыя, представлявшія великую идею государства въ *моментъ самозащищенія* и сажавшія слишкомъ смѣлыхъ пауковъ въ Шпандау и другія крѣпости. Доктринеры все понимали какъ нельзя лучше

à vol d'araignée. Прогрессъ человѣчества тогда былъ извѣстенъ какъ высочайшій маршрутъ инкогнито — этапъ въ этапъ, на станціяхъ готовили лошадей. А тутъ

24 *Февраля*, 24, 25, 26 *Іюня*, 2 *Декабря!*

Эти мухи были не по паутинѣ.

Сравнительно слабый толчекъ іюльской революціи и тотъ убилъ на повалъ такихъ гигантовъ какъ Нибуръ и Гегель. А еще торжество-то было въ пользу доктринаризма — журналистика, Collège de France, политическая экономія садились на первыя ступени трона вмѣстѣ съ орлеанской династіей. Оставшіеся въ живыхъ оправились и кой-какъ сладили съ 1830 г., они сладили бы вѣроятно и съ республикой трубадура Ламартина.

Но какъ совладать съ іюньскими днями?

Какъ со вторымъ Декабремъ?

Конечно, Гервинусъ поучаетъ, что за демократическимъ переворотомъ *слѣдуетъ* эпоха централизаціи и деспотизма, но все что-то было не ладно. Одни начали поговаривать, не воротиться ли въ средніе вѣка. другіе—просто на просто въ католицизмъ; столпники революціи указывали, неподвижной рукой, по всей желѣзной дорогѣ вѣка—на 93 годъ; іудеи доктринаризма продолжали, вопреки фактамъ, свои лекціи, ожидая, что человѣчество побалуетъ, да и воротится къ Соломонову храму премудрости.

Прошло десять лѣтъ.

Ничего не удалось. Англія не сдѣлалась католической, какъ хотѣлъ Донозо Кортесъ, XIX вѣкъ не сдѣлался XIII-тымъ, по желанію нѣкоторыхъ нѣмцевъ, народы рѣшительно не хотятъ ни французскаго братства (или смерть), ни международнаго права по реасе

Society, ни почтеннаго убожества по Прудону, ни киргизской діэты—меда и млека.

А католики несутъ свое...

Средневѣковики—свое...

Столпники 93 г.—своё...

И всѣ *доктринеры*—свое...

Куда же человѣчество идетъ, если оно пренебрегаетъ такими авторитетами?

— Можетъ, оно само не знаетъ.

— Да мы за него должны знать.

— Видно, не туда, куда мы думали. Оно и въ самомъ дѣлѣ трудно знать, куда попадешь, ѣхавши на шарѣ, который нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ чуть не угодилъ подъ комету. А не нынче завтра дастъ трещину, какъ я тебѣ сообщалъ въ прошломъ письмѣ.

1 Сентября 1862.

Письмо пятое.

... „Въ первыя времена моей юности, меня поразилъ одинъ французскій романъ ‚Arminius,“ котораго я впослѣдствіи не встрѣчалъ; можетъ, онъ и не имѣетъ большихъ достоинствъ, но тогда онъ на меня сильно подѣйствовалъ и я помню главныя черты его до сихъ поръ.

„Всѣ мы, больше или меньше, знаемъ встрѣчу и столкновеніе двухъ историческихъ міровъ въ первые вѣка: одного классическаго, образованнаго, но растлѣннаго и отжившаго—другаго дикаго, какъ звѣрь лѣсной, но полнаго непочатыхъ силъ и хаотическихъ стремленій—только знаемъ мы по большей части одну оффиціальную, *газетную* сторону ихъ столкновенія, а не ту,

которая совершалась по мелочи, въ тиши домашней жизни. Мы знаемъ гуртовыя событія, а не частныя судьбы; не драмы, въ которыхъ безъ шума ломались жизни и гибли въ личныхъ столкновеніяхъ, кровь замѣнялась горькими слезами, опустошенные города разрушенными семьями и забытыми могилами.

„Авторъ „Arminius'a" попытался воспроизвести эту встрѣчу двухъ міровъ у семейнаго очага: одного, идущаго изъ лѣса въ исторію, другаго—изъ исторіи въ гробъ. Всемірная исторія тутъ граничитъ со сплетнями и потому становится ближе къ намъ, доступнѣе, сопзмѣримѣе*).

„Не приходило мнѣ тогда въ мысль, что я самъ попаду въ такое же столкновеніе, что и въ моей жизни развернется, со всей губящей силой своей, подобное столкновеніе, что и мой очагъ опустѣетъ, раздавленный при встрѣчѣ двухъ міровыхъ колесъ исторіи...

„Въ нашемъ отношеніи къ Европейцамъ, при всемъ несходствѣ, которое я очень хорошо знаю, есть сходныя черты съ отношеніемъ германцевъ къ римлянамъ. Не смотря на нашу наружность, мы все же варвары. Наша цивилизація накожна, развратъ грубъ, изъ подъ пудры колетъ щетина, изъ подъ бѣлилъ пробивается загаръ. У насъ бездна лукавства дикихъ и уклончивости рабовъ. Мы готовы дать плюху безъ разбора и повалиться въ ноги безъ вины—но—но я упорно повторяю, мы отстали въ разъѣдающей, наслѣдственно зараженной тонкости западнаго растлѣнія.

„У насъ умственное развитіе служитъ (по крайней

*) Я былъ до того увлеченъ Арминіемъ, что написалъ рядъ подобныхъ сценъ и ихъ критически разбиралъ при мнѣ въ слѣдственной коммиссіи (въ 1884 г.) оберъ-полицмейстеръ Цинскій.

мѣрѣ служило до сихъ поръ*) чистилищемъ и порукой. Исключенія чрезвычайно рѣдки. Образованіе у насъ кладетъ предѣлъ, за который много гнуснаго не ходитъ, на этомъ основаніи во все николаевское время правительство не могло составить ни тайной полиціи, ни полицейской литературы, въ родѣ французскихъ.

„На Западѣ это не такъ. И вотъ почему русскіе мечтатели, вырвавшись на волю, отдаются въ руки всякому человѣку, касающемуся съ сочувствіемъ святынь ихъ, понимающему ихъ заповѣдныя мысли — забывая, что для него эти святыни давно перешли въ обычную фразу, въ форму, что большей частію онъ ихъ повторяетъ, пожалуй, и добросовѣстно, но въ томъ родѣ, въ которомъ попъ, думая вовсѣ о другомъ, благословляетъ встрѣчнаго. Мы забываемъ, сколько другихъ стихій напутано въ сложной, усталой, болѣзненно пробившейся душѣ западнаго человѣка; сколько онъ уже источенъ, изношенъ завистью, нуждой, тщеславіемъ, самолюбіемъ и въ какой страшный эпикуреизмъ высшаго, болѣзненно-нервнаго порядка перегнулись перенесенныя имъ униженіе, нищета и горячешный бой соревнованія.

Мы все это узнаёмъ, когда ударъ нанесенъ; насъ это ошеломляетъ. Мы чувствуемъ себя одураченными и хотимъ отомстить. Глядя на это, иногда мнѣ кажется, что много прольется крови, изъ за столкновенія этихъ двухъ разныхъ развитій...“

Строки эти были писаны нѣсколько лѣтъ тому назадъ **)

Я и теперь того же мнѣнія, не смотря на то, что русскіе пользуются въ Европѣ репутаціей самыхъ раз-

*) Все это писано въ 1855 году!

**) Изъ ненапечатанной части: „Былаго и Думъ.“

вратныхъ людей. Это происходитъ отъ безцеремонности нашего поведенія и отъ помѣщичьихъ ухватокъ. Мы увѣрили весь свѣтъ въ нашей порочности, такъ какъ англичане его увѣрили въ своихъ семейныхъ добродѣтеляхъ. На самомъ дѣлѣ ни то, ни другое—не очень глубоко. Русскіе за границей не только безпорядочно живутъ, но хвастаются своими дикими и распущенными привычками. По несчастью встрѣчаясь, при самомъ переѣздѣ границы, съ неловкой и подобострастной родиной кельнеровъ и гофратовъ, русскіе, какъ вообще недовоспитанные люди, перестаютъ стѣсняться, распускаются еще больше и въ этомъ задорномъ состояніи пріѣзжаютъ въ Парижъ и Лондонъ. Мнѣ случалось много разъ замѣчать, какъ русскіе бросаются въ глаза совершенными мелочами, а потомъ поддерживаютъ первое впечатлѣніе какой-то вызывающей nargue, съ которой они (великіе мастера покорности и вытяжки дома!) не хотятъ покориться принятымъ обычаямъ. Русскаго узнаютъ въ большихъ отеляхъ, потому что онъ кричитъ въ общей залѣ, хохочетъ во все горло и непремѣнно протестуетъ, что нельзя курить въ столовой. Вся эта заносчивость офиціанта, вышедшаго за ворота господскаго дома, показываетъ гораздо больше недозрѣлости, непривычки въ волѣ, чѣмъ глубокой испорченности; съ этой нравственной „сыростью“ неразрывно хвастовство. Намъ хочется, какъ 14-лѣтнимъ мальчикамъ, не только напиться, но и показать всему свѣту „вотъ, молъ, какъ я нализался.“ А весь свѣтъ разсуждаетъ иначе—онъ, глядя на *то*, что русскіе обнажаютъ, думаетъ, качая головой, что же послѣ этого скрыто-то у нихъ? А тамъ ничего, какъ въ ранцѣ солдатскомъ на парадѣ, только видъ, что туго набито.

Долгая цивилизація, перешедшая поколѣнія и поколѣ-

нія, получаетъ особый букетъ, который *разомъ* не возьмешь, въ этомъ судьба людей схожа съ судьбою рейнвейна. Выработанной пристойностью особенно увлекаться нечего, хотя ходить по ней, какъ по выметенной дорожкѣ гораздо пріятнѣе. Мы, нельзя не признаться, дурно выметены, и грязи много и жесткихъ камней довольно.

Дресура наша въ образованіе свѣжа въ памяти: она дѣлалась черезъ пень колоду, въ томъ родѣ, какъ крестьянина, взятаго во дворъ, стригутъ въ нѣмца и заставляютъ *служить*. Отрѣкаясь по высочайшему повелѣнію отъ всего склада жизни народной, дворянство упорно сохранило всѣ дурныя ея стороны; бросая за бортъ вмѣстѣ съ предразсудками строгій чинъ и строй народнаго быта, оно осталось при всѣхъ грубо-барскихъ привычкахъ и при всемъ татарскомъ неуваженіи къ себѣ и къ другимъ. Тѣсная, обычная нравственность прежняго времени не замѣнилась ни аристократическимъ понятіемъ чести, ни гражданскимъ понятіемъ доблести, самобытности; оно замѣнилось гораздо проще нѣмецкой казарменной дисциплиной *во фрунтъ*, подлымъ уничиженіемъ, подобострастнымъ кліентизмомъ въ *канцеляріи* и ничѣмъ *внѣ службы*.

Внѣ службы дворянинъ превращался изъ битаго деньщика въ бьющаго Петра I; въ деревнѣ ему было полное раздолье, тутъ самъ онъ становился капраломъ, императоромъ, вельможей и отцомъ вотчины. Изъ этой жизни волка и просвѣтителя вмѣстѣ вышли всѣ колосальныя уродства—отъ Бироновыхъ заплечныхъ мастеровъ и Потемкиныхъ большаго размѣра до Бироновъ палачей и Потемкиныхъ въ микрометрическомъ сокращеніи; отъ Измайлова, сѣкущаго исправниковъ, до Ноздрева съ оборванной бакенбардой; отъ Аракчеева всея

Россіи до баталліонныхъ и ротныхъ Аракчеевыхъ, *заколачивающихъ* въ гробъ солдата; отъ взяточниковъ первыхъ трехъ классовъ до голодной стаи пернатыхъ, *записывающихъ* бѣдныхъ мужиковъ въ могилу—со всѣми неистощимыми варіяціями пьяныхъ офицеровъ, забіякъ, картежныхъ игроковъ, героевъ ярмарокъ, псарей, драчуновъ, сѣкуновъ, серальниковъ. Въ ихъ числѣ тамъ-сямъ изрѣдка попадался помѣщикъ, сдѣлавшійся иностранцемъ для того, чтобъ остаться человѣкомъ, или „прекрасная душа“ Маниловъ, горлица дворянинъ, воркующій въ господскомъ домѣ близъ исправительной конюшни.

Казалось бы, что могло зародиться, вырости, окрѣпнуть путнаго на этихъ грядахъ между Аракчеевыми и Маниловыми? Что воспитаться этими матерями, бившими лбы, рѣзавшими косы, колотившими прислугу, этими отцами, подобострастными передъ всѣми высшими, дикими тиранами со всѣмъ низшимъ? А именно между ними развились люди 14 Декабря, фаланга героевъ, вскормленная, какъ Ромулъ и Ремъ, молокомъ дикаго звѣря... Оно имъ пошло впрокъ! Это какіе-то богатыри, кованные изъ чистой стали съ головы до ногъ, воины-сподвижники, вышедшіе сознательно на явную гибель, чтобъ разбудить къ новой жизни молодое поколѣніе и очистить дѣтей, рожденныхъ въ средѣ палачества и раболѣпія. Но кто же ихъ-то душу выжегъ огнемъ очищенія, что за *непочатая сила* отрѣклась въ нихъ-то самихъ отъ *своей* грязи, отъ наноснаго гноя и сдѣлала ихъ мучениками будущаго?...

Она была въ нихъ—для меня этого довольно теперь, я помѣчаю это и возвращаюсь къ тому, что сказалъ—кабацкая оргія нашего разврата имѣетъ характеръ какого-то неустоявшагося, неуравновѣсившагося броже-

нія и бѣснованій; это горячка опьяненія, захватившая цѣлое сословіе, сорвавшееся съ пути, безъ серьезнаго плана и цѣли—но она не имѣетъ еще той въ глубь уходящей, той изъ глуби подымающейся, тонкой, нервной, *умной*, роковой безнравственности, которыми разлагаются, страдаютъ, умираютъ образованные слои западной жизни.

Но какъ же это случилось? Что за нравственный самумъ подулъ на образованный міръ?.... Все прогрессъ да прогрессъ, свободныя учрежденія, желѣзныя дороги, реформы, телеграфы?...

Много хорошаго дѣлается, много хорошаго накапливается, а самумъ-то дуетъ себѣ да дуетъ, какими-то memento mori, постоянно усиливаясь и сметая передъ собой все, что на пути. Сердиться за это также нечего, какъ сердиться на бѣлокъ за то, что онѣ линяютъ, на море за то, что послѣ прилива (и какъ на смѣхъ въ самую лучшую минуту его) начинается отливъ. Къ этому колебанью, къ этому ритму всего сущаго, къ этой смѣнѣ дня ночью, пора привыкнуть.

Эпоха *линянья*, въ которой мы застали западный міръ, самая трудная, новая шкура едва показывается, а старая окостенѣла, какъ у носорога—тамъ трещина, тутъ трещина, но en gros она держится крѣпко и приросла глубоко. Это положеніе между двухъ шкуръ необычайно тяжело. Все сильное страдаетъ, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процессъ обновленія неразрывно идетъ съ процессомъ гніенія и который возметъ верхъ—неизвѣстно.

Дай мнѣ объяснить мою мысь въ слѣдующемъ письмѣ. Можетъ я и успѣю тебѣ доказать, что это не manière de dire, не субъективное негодованіе (трудно въ самомъ дѣлѣ имѣть личность съ всемірной исторіей),

а нѣсколько чертъ, подмѣченныхъ глазами, свободными отъ куриной слѣпоты школьнаго доктринаризма и отъ темной воды мистицизма.

Письмо шестое.

Мы остановились на томъ, что не надобно сердиться на бѣлокъ за то, что онѣ линяютъ и за то, что всякій годъ зима слѣдуетъ за лѣтомъ. Признаніе неотвратимаго—сила. Только зная морскіе токи и постоянно смѣняющіеся экваторіальные вѣтры, безъ желанія ихъ исправлять, и можно плавать по океану.

Вглядись, какъ вообще дѣла дѣлаются въ природѣ. Въ каждой формаціи, въ образованіи каждаго вида, развитіе идетъ на тѣхъ началахъ, съ которыми опредѣлилось зачатіе. Оно укрѣпляется, обособляется, получаетъ больше или меньше безвозвратный характеръ. отъ взаимнаго дѣйствія развивающихся началъ и среды. Новые элементы могутъ превзойти, новыя условія могутъ измѣнить направленіе, могутъ остановить начатое и замѣнить его совсѣмъ инымъ; но опредѣлившееся развитіе, если оно не утратитъ своей индивидуальности, если оно продолжится, пойдетъ далѣе непремѣнно съ своей *особенностью*, развивая свою *односторонность* и односторонность своей среды, т. е. свой *частный случай*. Это нисколько не мѣшаетъ сосѣдямъ, по пространству или по времени, развивать всевозможныя варіаціи на ту же тему, съ разными восполненіями и недостатками, съ своими односторонностями, сообразными другимъ условіямъ и другой средѣ. Только при началѣ образованія видовъ есть неопредѣленная и безхарактерная эпоха, эпоха такъ сказать дозоологическаго состоянія въ яйцѣ и зародышѣ.

О перерожденіи животныхъ видовъ мы очень мало знаемъ. Вся *исторія* ихъ вообще совершилась за спиной человѣка и въ огромные періоды лѣтъ, въ которыхъ не было *свидѣтеля*. Передъ нами стоятъ теперь оконченные, осѣдлые типы, до того далекіе другъ отъ друга, что всякій переходъ между ними невозможенъ. За каждымъ животнымъ просвѣчиваетъ длинная исторія—стремленій, прогресса, avortement и уравновѣшенія, въ которомъ формы его успокоились наконецъ, не выполнивъ смутнаго идеала своего, но остановившись на возможномъ, на русскомъ „живетъ и такъ."

Само собою разумѣется, что естественныя явленія не имѣютъ ни. въ чемъ ни рѣзкихъ границъ, ни безвозвратныхъ приговоровъ. Пріостановившееся творчество, сведенное на одно повтореніе, можетъ всегда быть разбужено; оно въ нѣкоторыхъ случаяхъ перешло изъ подъ вліяній планетныхъ подъ вліяніе человѣка; онъ своей культурой развилъ растительные и животные виды, которые сами собою не развились бы.

Все это бросаетъ огромный свѣтъ на вопросы, насъ занимающіе.

Исторія представляетъ намъ *на самомъ дѣлѣ* схваченную, неосѣвшую, осѣдающую формацію, хранящую въ памяти своей главныя фазы развитія и ихъ переливы. Однѣ части рода человѣческаго достигли соотвѣтствующей формы и побѣдили, такъ сказать, исторію; другія въ разгарѣ дѣятельности и борьбы творятъ ее; третьи, какъ недавно обсохнувшее дно моря, готовы для всякихъ сѣмянъ, для всякихъ посѣвовъ и всѣмъ даютъ неистощенную, тучную почву.

Такъ какъ нельзя сказать, глядя на тихое море, что оно черезъ часъ не будетъ вовлечено въ бурю, такъ нельзя положительно утверждать, что Китай, напри-

а нѣ
отъ
тем

ся
вс
от
ян
н

[illegible]

[illegible] и агоніи. Нельзя жить

Одинъ примѣръ, со всѣми подробностями, даетъ намъ исторія.

Длинный процессъ окончанія древняго міра и водворенія міра христіанскаго представляютъ намъ всѣ формы исторической смерти, переселенія душъ и рожденія. Цѣлыя государства остановились, вышли изъ движенія, не взошли въ христіанскую формацію, одряхлѣли и разрушились. Дикія племена, едва собранныя въ правильныя стада, сложились рядомъ съ ними въ новые, сильные государственные организмы... а Римъ, древній городъ по превосходству, переродился въ городъ по превосходству католическій.

Тѣ, которые отрицаютъ внутреннюю необходимость смерти древняго Рима и находятъ, что онъ убитъ насильственно, забываютъ одно, что всякая смерть насильственна. Смерть вовсе не лежитъ въ понятіи живаго организма, она внѣ его, за его предѣломъ. Старчество и болѣзнь протестуютъ своими страданіями противъ смерти, а не зовутъ ее, и найди они *въ себѣ силы* или *внѣ себя* средства, они побѣдили бы смерть.

Варвары—варварами, но не надобно думать, что вся болѣзнь античнаго міра была отъ побоевъ. Мысль его, съ тацитовскихъ временъ, явнымъ образомъ становилась мрачной, усталой. Тягость, тоска доходили до самоубійства, до того, что весь міръ чуть не сошелъ съ ума, и дѣйствительно повредился, повѣривъ самой несбыточной теодицеѣ и самому неестественному спасенію, принявъ отчаяніе за утѣшеніе и религію смерти за новую жизнь. Люди, которые не могли сойти съ ума, удалялись съ общей сатурналіи похоронъ, похоронъ въ розовыхъ вѣнкахъ съ амфорами винъ, похоронъ въ вѣнкахъ терновыхъ, съ плачемъ о грѣхахъ міра сего, и

удалялись съ нихъ двумя небольшими дверями стоицизма и скептицизма.

Возлѣ людей, презиравшихъ смерть, возлѣ людей, не вѣрившихъ жизни, возлѣ фанатиковъ, шедшихъ на разрушеніе древней вѣси до послѣдняго камня, и фанатиковъ, ожидавшихъ, что древняя вѣсь возникнетъ съ допуническими добродѣтелями, была *томпаковая* посредственность, толпа не слѣпыхъ и не зрячихъ, толпа міоповъ, которые за недосугомъ ежедневныхъ заботъ, за военными новостями, за сенатскими дѣлами, придворными сплетнями, схоластической меледой и бесконечной задачей домашняго хозяйства ничего не видали: ни Катилину, ни смерти, пожимали плечами, слушая бредъ христіанскихъ якобинцевъ, презирали варваровъ и смѣялись надъ ихъ неотесанностью, не догадываясь, что эти лѣсные готентоты, бѣлобрысые и длинноволосые, идутъ на историческую смѣну.

Отслужили и варвары свою службу, отстояли свои часы — страшно богатая и широкая эпоха развилась ими, но и они дошли до предѣловъ *своего* образованія— имъ приходится отрѣчься отъ основныхъ началъ своихъ, или въ нихъ успокоиться.

Міру современной цивилизаціи очень трудно сладить съ новыми началами, мучащими его. Что можно было поправить—поправлено, что переворотить— переворочено; далѣе приходится хранить пріобрѣтенное или выйти изъ той *односторонности*, изъ того *частнаго случая*, который составляетъ его личность. Послѣднее слово католицизма сказано реформаціей и революціей; онѣ обнаружили его тайну; мистическое *искупленіе* разрѣшено политическимъ *освобожденіемъ*. Символъ вѣры никейскаго собора, основанный на отпущеніи грѣха христіанину, выразился признаніемъ правъ каждаго чело-

вѣка въ символѣ послѣдняго вселенскаго собора, т. е. Конвента 1792 года. Нравственность іудейскаго пролетарія и евангелиста Матѳѣя—таже самая, которую проповѣдуетъ женевскій пролетарій и деистъ Ж. Ж. Руссо. *Вѣра, любовь и надежда* при входѣ, *свобода, братство и равенство* при выходѣ.

Въ громахъ и ураганахъ, слѣдовавшихъ за торжественнымъ 1789 годомъ, завершился германо-романскій міръ. Землетрясеніе французской революціи шло вершинами и пропастями, великимъ и страшнымъ, побѣдами и терроромъ, частными обрывами и потрясеніями до 1848 года; тутъ *аминь*, nec plus ultra. Катаклизмъ, поднявшійся со временъ возрожденія и реформы, окончился.

Внутри идетъ работа: микроскопическое тканье, вывѣтриваніе и наносы, „мышья бѣготня“ исторіи, вулканическая работа подъ землей, просасываніе волосяными сосудами прошлой осени въ будущую весну. Вверху страшныя сновидѣнія, мертвецы въ старыхъ доспѣхахъ и старыхъ тіарахъ и фантастическіе, несбыточно свѣтлые образы, мучительныя страданія, безумныя надежды, горькое сознаніе своей слабости и безсилія разума. Внизу бездонная пропасть стихійныхъ страстей доисторическаго сна, дѣтскихъ грезъ, циклопической, кротовой работы; на это дно и голосъ человѣческій не доходитъ, какъ вѣтеръ не доходитъ до глубины морской; иной разъ только слышится тамъ военная труба и барабанъ, зовущіе на кровь, обѣщающіе убійства и дающіе раззореніе.

Между фантастами на верху и дикими внизу колышется *среднее состояніе*, не имѣя ни силы гордо сказать свое: *Я царь!* ни самоотверженія идти въ іезуиты или въ соціалисты.

Этотъ слой, колеблющійся *между двумя нравственостями*, и представляетъ, именно своимъ колебаніемъ, ту среду порчи, о которой идетъ рѣчь.

— Да какъ это между двумя нравственностями? Что такое между двумя нравственностями? И развѣ есть двѣ нравственности, развѣ не одна вѣчная, безусловная нравственность, une et indivisible?

Абсолютная нравственность должна дѣлить судьбу всего абсолютнаго--она внѣ теоретической мысли, внѣ отвлеченій вовсе не существуетъ. Нравственностей *насколько* и всѣ онѣ очень относительныя, т. е. историческія.

Первые христіане высказали это очень прямо, очень смѣло, безъ обиняковъ и, объявивши, что новый Адамъ принесъ новую нравственность, что языческія добродѣтели для христіанина—блестящіе пороки, закрыли Платона, закрыли Цицерона и пошли тащить съ пьедесталей златовласыхъ Афродитъ, волоокихъ Геръ и другія *грѣшныя святыни* старой нравственности.

Плиній смотрѣлъ на нихъ какъ на дураковъ, Траянъ презиралъ ихъ, Лукьянъ хохоталъ надъ ними, а они начали новый міръ и *новую* нравственность. Ихъ новая нравственность въ свою очередь сдѣлалась старой. Объ этомъ у насъ только и идетъ рѣчь.

Революція, что могла, *секуляризовала* изъ катехизиса, но революція также какъ реформація стояли на церковномъ погостѣ. У Эгмонта и Альбы, у Кальвина и Гиза, у Людвига XVI и Робеспьера были общія вѣрованія; они отличались, какъ раскольники — оттѣнками. Вольтеръ, пріѣхавшій, закутавшись въ шубу, въ каретѣ смотрѣть восхожденіе солнца и ставшій на дрожащіе колѣна съ молитвой на устахъ, Вольтеръ благословившій Франклинова внука „во имя бога и свободы,“ такой-

же богословъ, какъ Василій Великій и Григорій Назіанзинъ, только разныхъ толковъ. Лунный, холодный отсвѣтъ католицизма прошелъ всѣми судьбами революцій и, въ двѣнадцатый часъ ея, еще развернулъ хоругвь съ надписью Dio e Popolo!

Кое гдѣ на вершинахъ начинается заря новаго дня и борется съ мѣсячнымъ свѣтомъ, обличая вопіющее противорѣчіе вѣры и сознанія, церкви и науки, закона и совѣсти, но объ этомъ на долинахъ не знаютъ. Это для малаго числа избранныхъ.

Частный союзъ науки съ религіей невозможенъ, а *союзъ есть*; отсюда и дѣлай заключеніе о нравственности, которая основана на такомъ союзѣ. Дѣло въ томъ, что разумъ, боясь скандала, скрываетъ свою истину, наука скрываетъ свою беременность новымъ искупителемъ—не отъ Іеговы, а отъ Пана и обѣ обмалчиваются, шепчутся, говорятъ шифрами, или просто лгутъ, оставляя людей въ совершенномъ хаосѣ сбивчивыхъ понятій, въ которыхъ молитвы о дождѣ смѣшаны съ барометрами, химія съ чудесами, телеграфы съ четками.

И это все какъ-то рутинно, по привычкѣ, вѣрь не вѣрь, только исполняй извѣстныя приличія. Кто обманутый? Для чего все это? Одно обязательное правило и осталось сильнымъ и общепринятымъ: *думай какъ знаешь* — но *ли* какъ другіе.

Пророки могутъ вести народы видѣньями и страстными словами, но не могутъ вести, скрывая даръ пророчества, или поклоняясь Ваалу.

Чему же дивиться, что пустота жизни ростетъ съ страшной быстротой, наталкивая людей неяснымъ пониманьемъ, мертвящей скукой, на всякаго рода безумья — отъ игры на биржѣ до игры въ вертящіеся столы?

По видимому все идетъ въ порядкѣ: солидные люди

заняты ежедневными заботами, своими дѣлами, возможными цѣлями, они ненавидятъ всякія утопіи и всѣ перехватывающіе идеалы, а въ сущности это не такъ, и сами солидные люди съ своими праотцами, все что ни выработали хорошаго, выработали постоянно идучи за радугой и осуществляя невозможности въ родѣ католицизма, реформаціи, революціи. Этихъ-то радугъ больше и нѣтъ, по крайней мѣрѣ оптическій обманъ не обманываетъ больше.

Всѣ прежніе идеалы потухли, *всѣ до единаго* отъ распятія до фригійской шапки.

... Помнишь ли ты ту страшную картину въ рядѣ геніальной галиматьи Ж. П. Рихтера, въ которой онъ представляетъ, не помню à propos чего, какъ всѣ кающіеся народы бѣгутъ, въ день страшнаго суда, испуганные къ кресту, молясь о спасеніи, о ходатайствѣ сына божія? Христосъ отвѣчаетъ коротко: „у меня нѣтъ отца!“

Такой отвѣтъ раздается теперь со всѣхъ крестовъ, къ которымъ подходятъ уповающіе народы, измученные борьбой, измученные путемъ. Съ каждой Голгоѳы громче и громче раздается: „У меня нѣтъ свободы!“ „У меня нѣтъ равенства!“ „У меня нѣтъ братства!“ И обманутая надежда тухнетъ одна за другой, бросая догорающіе лучи на печальные образы Донъ-Кихотовъ, упорно не хотящихъ слышать голоса съ Голгоѳы... Они машутъ людямъ, чтобъ тѣ шли скорѣе за ними и одинъ за другимъ исчезаютъ въ мглѣ зимнихъ сумерекъ.

И это не все, люди съ двойнымъ ужасомъ стали разглядывать, что у революціи не только нѣтъ *отца*, но нѣтъ и *сына*.

Страшные, безплодные Іюньскіе дни 1848 были протестомъ отчаянія; они не создавали, они разрушали —

но разрушаемое оказалось крѣпче. Съ взятіемъ послѣдней барикады, съ отправкой послѣдней депортаціи безъ суда настаетъ эра для *порядка*. — Утопія демократической республики улетучилась также, какъ утопія царства небеснаго на землѣ. *Освобожденіе* оказалось окончательно также несостоятельнымъ какъ *искупленіе*.

Но общественное броженіе не на столько успокоилось, чтобъ люди занялись тихо своимъ дѣломъ; надобно было *занять умы*, а безъ утопій, безъ эпидемическихъ увлеченій идеалами плохо. Хорошо еще, еслибъ безъ нихъ, обманутыя въ ожиданіи народныя массы, только бы плѣснѣли и загнивали на ирландскій манеръ какъ стоячая вода, а то пожалуй они поднимутся одичалые и попробуютъ своими самсоновскими мышцами— крѣпки ли столбы общественной храмины, къ которымъ онѣ прикованы!

Гдѣ же взять безопасные идеалы?

Затрудняться нечего — въ душѣ человѣческой обителей много. Сортировка людей по народностямъ становилась больше и больше бѣднымъ идеаломъ въ этомъ мірѣ, схоронившимъ революцію.

Политическія партій распустились въ *національныя*— это не только шагъ за революцію, но шагъ за христіанство. Обще-человѣческія стремленія католицизма и революцій уступили мѣсто языческому патріотизму и честь знамени осталась единственной, неприкосновенной честью народовъ.

Когда мнѣ приходитъ въ голову, что двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, въ парижскихъ салонахъ, гуляка и шутъ Ромье проповѣдывалъ во всеуслышаніе, что возбужденныя революціонныя силы надобно своротить съ ихъ страшной дороги и направить на вопросы націо-

нальные, пожалуй династическіе, я невольно, по старой памяти, краснѣю отъ стыда.

Воевать за чтобъ то ни было надобно, иначе въ этомъ застоѣ нападетъ китайскій сонъ—ну а его долго не разбудишь. Да нужно ли будить? — Въ этомъ то и вопросъ.

Послѣднимъ Могиканамъ XVIII столѣтія, Донъ-Кихотамъ революціи, соціалистамъ, и долею литераторамъ, поэтамъ и вообще всякимъ эксцентричностямъ спать не хочется и они, на сколько могутъ, мѣшаютъ массамъ—заснуть. Нерѣчистое мѣщанство совѣстится признаться, что ему спать хочется и туда же бормочетъ въ полуснѣ неясныя слова о прогрессѣ, свободѣ...

Будить надобно войной. А есть ли во всей оружейной палатѣ прошлаго, знамя, хоругвь, слово, идея, изъ за которыхъ бы люди пошли драться, которыхъ бы они не видали опозоренными и въ грязи... suffrage universel можетъ быть?...

Нѣтъ, не пойдетъ человѣкъ нашего времени ни за одинъ развѣнчанный идолъ съ тѣмъ свѣтлымъ самоотверженіемъ, съ которымъ шелъ его предокъ на костеръ за право пѣть псалмы, съ той гордой самоувѣренностью, съ которой шелъ его отецъ на гильотину — за единую и нераздѣльную республику. Вѣдь онъ знаетъ, что ни псалмы, пѣтые по нѣмецки, ни освобожденіе народовъ по французски, ни къ чему не ведутъ.

А за *незнакомаго бога*, тайкомъ идущаго за стѣнкой — умирать нельзя. Пусть онъ прежде скажетъ, кто онъ такой, пусть признаетъ себя за бога и съ дерзостью св. Августина скажетъ въ глаза старому міру, что его „добродѣтели—пороки, что его истины—нелѣпость и ложь“.

Ну—это будетъ не сегодня и не завтра.

Благоразумный человѣкъ нашего вѣка, какъ Фридрихъ II — esprit fort въ своей комнатѣ и esprit accomodant на площади. Входя въ свой кабинетъ, изъ котораго высылались лакеи, король дѣлался философомъ; но выходя изъ него, философъ дѣлался королемъ.

... Вотъ тутъ-то „быки и стоятъ передъ горой!"

А впрочемъ нельзя отрицать, что свѣтъ разума все больше и больше разсѣеваетъ тьму предразсудковъ.... всего досаднѣе, что людямъ недосугъ и рано умираютъ — только начнетъ въ умъ входить человѣкъ, глядишь, а уже и несутъ на кладбище. Невольно вспомнишь извѣстную лошадь, которую пасторъ совсѣмъ было отъучилъ отъ ѣды, да смерть помѣшала.

... Въ альпійскихъ ледникахъ всякое лѣто оттаиваетъ кора льда, но масса его такъ толста, что осень всякой разъ захватываетъ на полдорогѣ дѣло лучей солнечныхъ и кора опять начинаетъ замерзать, иногда впрочемъ не достигая прежней толщины. Метеорологи расчитывали много разъ, сколько вѣковъ и вѣковъ необходимо лѣту работать надъ зимой, чтобъ распустить весь ледъ. Многіе сомнѣваются, чтобъ вообще солнце само по себѣ дошло до этого, — развѣ вулканическій взрывъ поможетъ.

Въ исторіи этотъ счетъ еще не дѣланъ.

20 Октября 1862.

Письмо Седьмое.

Шесть дней на работу, а седьмой на отдыхъ. Не даромъ Моисей и Прудонъ защищаютъ день субботній. Однообразный трудъ страшно утомляетъ. Надобно періодическія паузы, въ которыя человѣкъ вымывши руки и надѣвъ чистое платье, идетъ не на работу, а гулять,

посмотрѣть на добрыхъ людей, посмотрѣть на природу одуматься, свободно вздохнуть, „воскреснуть“.*)

Вотъ и я сдѣлалъ себѣ изъ моей періодической болтовни о „Концахъ и Началахъ“ воскресную рекреацію, и ухожу въ нее отъ ежедневныхъ диссонансовъ, газетныхъ мерзостей и будничныхъ споровъ, въ которыхъ мѣняются часы и числа, но мнѣнія и рѣчи остаются тѣже..... ухожу какъ въ какую нибудь отдаленную келью, изъ оконъ которой не видать многихъ подробностей, не слыхать многихъ звуковъ, но ясно видны молчащіе очерки близкихъ и далекихъ горъ и внятно доходитъ морской гулъ.

Можетъ ты найдешь, что я не весело праздную свои праздники — вспомни, что я въ Англіи, гдѣ изъ всѣхъ скучныхъ дней, воскресенье самый скучный.

Ну чтожъ дѣлать, поскучай еще разъ, а я съ своей стороны постараюсь какъ можно забавнѣе тебѣ разсказать тѣ печальныя вещи, о которыхъ мы говоримъ.

Да точно ли онѣ печальны? И не пора ли, еслибъ и въ самомъ дѣлѣ было такъ, примириться съ ними? Нельзя вѣчно горевать о вещахъ, которыя не въ нашей волѣ перемѣнить. Не лучше ли по добру да поздорову провѣрить приходо-расходныя книги, достающіяся намъ по наслѣдству и, забывая неумѣренныя траты и невознаградимыя потери, принять съ смиреніемъ духа итогъ за новую точку отправленія. Тоскуй сколько хочешь, дѣлу не поможешь; мало ли кто какъ *могъ* употребить свой наслѣдственный капиталъ; мало ли кто что грезилъ, получая его и что мы грезили за него..... *Симфонія эрошка* кончена, начинается дѣловая

*) Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn Sie sind selber auferstanden
Aus niedrigen Hauser, dumpfen Gemächen.—Faust.

жизнь. Вино отшипѣло, будемъ пить *сухую* tisanne de champagne. Оно не такъ вкусно, но говорятъ здоровѣе.

Часть образованнаго міра страждетъ — стародѣвической тоской — о счастіи, котораго она не утратила, а вовсе не имѣла. И вмѣсто того, чтобъ твердо рѣшиться на вдовство безъ замужства, хнычетъ о томъ, что *идеалъ* молодыхъ лѣтъ не похитилъ, не увезъ ее... что дѣлать?—не увезъ, а теперь поздно.

Люди досадуютъ за то, что у нихъ нѣтъ крыльевъ и отъ этого не заботятся объ обуви. Тягость европейской жизни въ наиболѣе развитыхъ слояхъ въ прямой зависимости отъ ея ложнаго положенія между несбыточными мечтами и пренебреженіемъ того что есть.

Рядомъ съ идеалами серафимскихъ крыльевъ, больше и больше пропадающими въ мракѣ прошедшаго, и идеалами другихъ крыльевъ, исчезающихъ въ будущемъ— сложился цѣлый самобытный міръ, на который мечтатели сердятся за то, что онъ исполнилъ то, что могъ, а не то что они ожидали т. е. не крылья. Пока этотъ міръ не признаютъ власть и право имущимъ, до тѣхъ поръ продолжится лихорадочное броженіе, постоянная ложь въ жизни, невольная измѣна и своему идеалу и практической реальности, которая обличается въ безпрерывномъ противорѣчіи словъ и дѣлъ, фразы и поведенія.

Міръ этотъ не боекъ на словахъ и не рѣчистъ, не смотря на то, что онъ создалъ великій рычагъ, стоящій рядомъ съ паромъ и электричествомъ, рычагъ афиши, объявленій, *рекламъ* — и совсѣмъ тѣмъ онъ не умѣетъ стать во весь ростъ, во всю толщину и громко сказать народамъ: „Я Альфа и Омега вашего развитія; идите ко мнѣ и я успокою васъ, дамъ, что дать можно; но перестаньте толкаться во всѣ двери, которыя вамъ не

отпираются: однѣ потому, что некому отпереть, другія потому, что никуда не ведутъ. Помните наконецъ, что нѣтъ вамъ бога развѣ меня и перестаньте поклоняться всѣмъ кумирамъ на свѣтѣ и желать всякихъ крыльевъ на свѣтѣ. Поймите, что нельзя проповѣдывать въ одно и тоже время христіанскую нищету и политическую экономію, соціальныя теоріи и безусловное право собственности. Доселѣ моя власть существуетъ какъ фактъ, но не какъ признанная основа нравственности, даже не какъ знамя, и еще хуже—меня отрицаютъ, меня оскорбляютъ въ церквахъ и академіяхъ, въ аристократическихъ залахъ и сходкахъ клубистовъ, въ рѣчахъ и въ проповѣдяхъ, въ романахъ и журналахъ..... Мнѣ надоѣла роль провинціальной родни, отъ которой столичные фаты получаютъ деньги и домашніе запасы, но о которой умалчиваютъ или говорятъ краснѣя. Я не только хочу царствовать, но хочу одѣться въ порфиру".

Да, любезный другъ, пора придти къ покойному и смиренному сознанію, что *мѣщанство* окончательная форма западной цивилизаціи, ея совершеннолѣтіе— état adulte; *имъ* замыкается длинной рядъ его сновидѣній, оканчивается эпопея роста, романъ юности — все вносившее столько поэзіи и бѣдъ въ жизнь народовъ. Послѣ всѣхъ мечтаній и стремленій... оно представляетъ людямъ скромный покой, менѣе тревожную жизнь и посильное довольство не запертое ни для кого, хотя и недостаточное для большинства. Народы западные выработали тяжкимъ трудомъ свои зимнія квартиры. Пусть другіе покажутъ свою прыть. Время отъ времени конечно будутъ еще являться люди прежняго броженія, героическихъ эпохъ, другихъ формацій—монахи, рыцари, квекеры, якобинцы, но ихъ мимолетныя явленія не будутъ въ силахъ измѣнить главный тонъ.

Великіе стихійные ураганы, поднимавшіе всю поверхность западнаго моря, превратились въ тихой морской вѣтерокъ — не опасной кораблямъ, но способствующій ихъ прибрежному плаванью. Христіанство обмелѣло и успокоилось въ покойной и каменистой гавани реформаціи; обмелѣла и революція въ покойной и песчаной гавани либерализма. Протестантизмъ, суровый въ мелочахъ религіи, постигъ тайну примиренія—церкви, презирающей блага земныя, съ владычествомъ торговли и наживы. Либерализмъ, суровый въ мелочахъ политическихъ, умѣлъ соединить еще хитрѣе постоянный протестъ противъ правительства съ постоянной покорностью ему.

Съ такой снисходительной церковью, съ такой ручной революціей... западный міръ сталъ отстаиваться, уравновѣшиваться: все, что ему мѣшало, утягивалось мало по малу въ тяжелѣвшія волны, какъ насѣкомыя, захваченныя смолой янтаря. Задыхаясь испустилъ крикъ досады Байронъ и бѣжалъ, одинъ изъ первыхъ, *куда-нибудь*... въ Грецію.*) Стоически оставшись въ Франкфуртѣ, медленно задыхался Шопенауеръ, помѣчая, какъ Сенека, съ разрѣзанными венами, прогресъ смерти и привѣтствуя ее какъ избавительницу... Это нисколько не мѣшало повороту всей европейской жизни въ пользу тишины и кристализаціи, напротивъ онъ становился яснѣе и яснѣе. Личности стирались, родовой типизмъ сглаживалъ все рѣзко индивидуальное, *безпокойное*, эксцентрическое. Люди, какъ товаръ, становились чѣмъ-то гуртовымъ, оптовымъ, дюжиннымъ, дешевле, плоше врозь, но

*) До какой степени развитые люди чувствовали тогда свое отчужденіе и выдумывали себѣ жизнь, занятія и пр., ты можешь ясно видѣть въ Recollections of the last days of Byron and Shelley — Трелоне.

многочисленнѣе и сильнѣе въ массѣ. Индивидуальности терялись, какъ брызги водопада, въ общемъ потопѣ, не имѣя даже слабаго утѣшенія „блеснуть и отличиться, проходя полосой радуги". Отсюда противное намъ, но естественное равнодушіе къ жизни ближняго и судьбѣ лицъ: дѣло въ типѣ, дѣло въ родѣ, дѣло въ дѣлѣ — а не въ лицѣ. Сегодня засыпало въ угольной копѣ сто человѣкъ, завтра будутъ засыпаны пятьдесятъ, сегодня на одной желѣзной дорогѣ убито десять человѣкъ, завтра убьютъ пять... и всѣ смотрятъ на это какъ на частное зло. Общество предлагаетъ страховаться... что же оно можетъ больше сдѣлать?... Въ перевозимомъ товарѣ, живомъ и мертвомъ, оттого что убили чьего-нибудь отца или сына, недостатка не можетъ быть: въ живыхъ снарядахъ для углекопей тоже. Нужна лошадь, нуженъ работникъ, а ужъ именно саврасая ли лошадь или работникъ Анемподистъ—совершенно все равно. Въ этомъ *все равно*, вся тайна замѣны лицъ массами, поглощеніе личныхъ самобытностей родомъ.

Одна буря было подымалась, гроза всѣхъ разбудить и помѣшать мѣщанской кристализаціи, снести колокольни и каланчи, ограды и таможни, но во время отведенная грамоотводами—она внѣ игры. И легче себѣ представить Европу, возвратившуюся въ католицизмъ временъ Григорія Гильдебрандта, по приглашенію Донозо Кортеса и графа Монталамбера, чѣмъ соціальной республикой по рецепту Фурье или Кабэ. Впрочемъ, кто же теперь серьезно говоритъ о соціализмѣ! Съ этой стороны западный міръ можетъ быть доволенъ—ставни закрыты, зарницъ не видать, до грому далеко... онъ можетъ спокойно покрыться стеганымъ одѣяломъ, повязать фуляръ и погасить свѣчу.

Gute Nacht, Gute Nacht,
Liebe Mutter Dorothee!

Но у бѣдной матери Доротеи, какъ у Гретхенъ, братъ солдатъ и, какъ всѣ солдаты, любитъ шумъ и драку и не даетъ спать. Она бы его давно сбыла съ рукъ, да есть кой какіе дорогіе пожитки, такъ на счетъ голодныхъ сосѣдей безъ сторожа нельзя. Ну, а брату мало быть сторожемъ — амбиція. „Я, говоритъ, рыцарь, жажду подвиговъ и повышеній“.

... Да, еслибъ можно было свести войско на опричниковъ собственности, на тѣлохранителей капитала и лейбъ-гвардію имущества, все бы быстро достигнуло прочнаго, окончательнаго строя. Но въ мірѣ нѣтъ ничего совершеннаго и наслѣдственный рыцарскій духъ мѣшаетъ покойному осажденію докипающей жизни, и поддерживаетъ броженіе. Какъ грабежъ ни заманчивъ, и кровожадность ни естественна людямъ вообще, но гусарская удаль и суворовскій задоръ не совмѣстны съ совершеннолѣтіемъ, съ ровнымъ и тихимъ развитіемъ. Отвращеніе Китая отъ всего военнаго гораздо понятнѣе у сложившагося народа, чѣмъ николаевское пристрастіе къ „выпушкамъ, погончикамъ, петличкамъ“.

Вотъ тутъ и загвоздка! Что дѣлать съ *великимъ народомъ*, который хвастается тѣмъ, что онъ *народъ военный*, который весь состоитъ изъ зуавовъ, пью-пью и французовъ, т. е. тоже солдатъ?...

Peuple de France, peuple de braves!

Смѣшно говорить о покойныхъ ночахъ, прогулкахъ при лунномъ свѣтѣ, о свободѣ политической, торговой, и всяческой, когда пятьсотъ тысячъ штыковъ, праздныхъ и скучающихъ, требуютъ заявить свое „право на работу“.

На то гальскій пѣтухъ, чтобъ ни одна индѣйка, ни одна утка и ни одинъ гусь въ Европѣ не дремалъ покойно.

Въ самомъ дѣлѣ, перейди Франція изъ военной службы—въ штатскую (безъ службы она ужъ не можетъ жить) и все пойдетъ какъ по маслу. Англія броситъ въ море ненужныя ружья, купленныя для рейфльменовъ, мой grocer Джонсонъ (and Son) первый промѣняетъ свой штуцеръ на удочку и пойдетъ въ Темзѣ удить рыбу, Кобденъ ослабитъ все, что укрѣпилъ Пальмерстонъ и фельдмаршала Кембриджскаго выберутъ предсѣдателемъ Peace Society.

Но Франція и не думаетъ выходить изъ военной службы—да и нельзя, на кого оставить Мексику, папу римскаго, и *безъ малаго* единую Италію? Знамя замѣшано, дѣлать нечего!

Peuple de France, peuple de braves!

Какъ же быть?

Позволь мнѣ на этомъ остановиться и разсказать новую встрѣчу съ однимъ старымъ знакомымъ; онъ смѣлѣй, съ своей точки зрѣнія „поврежденнаго“, меня рѣшалъ эти вопросы.

Иду я какъ-то года два тому назадъ по Странду, смотрю въ дверяхъ большой лавки съ дорожными вещами хлопочетъ какая-то толстенькая, подвижная фигура, рѣзко не лондонская, съ разными признаками Италіи, въ свѣтлосѣрой шляпѣ, въ легкомъ желтомъ пальто и съ огромной черной бородой; мнѣ казалось, что я гдѣ-то видалъ ее... всматриваюсь... онъ, точно онъ, мой здоровый, разбитной лекарь, съ волчьими зубами и веселостью хорошаго пищеваренія, тотъ самый лекарь, съ которымъ въ былыя времена мы „рѣзали собакъ и кошекъ“, какъ онъ выражался, и то не въ

Италіи, а въ анатомическомъ театрѣ московскаго университета.

— На этотъ разъ, сказалъ я русскому-итальянцу, не вамъ первому достанется честь узнать стараго знакомаго.

— Eccolo! вотъ прелесть! скажите пожалуста—и онъ бросился меня цаловать, такъ коротко онъ познакомился со мной во время своего отсутствія.

— Если вы будете часто такъ поднимать обѣ руки, замѣтилъ я ему, у васъ непремѣнно отрѣжутъ дорожный мѣшочекъ.

— Знаемъ, знаемъ, классическая страна воровства... Помните Донъ-Жуанъ, ну тамъ въ концѣ, когда онъ возвращается въ Лондонъ.

— Помню. Ну а вашъ чудакъ съ вами?

— Какъ же, онъ меня ждетъ въ Hôtel'ѣ, сунулся было на улицу, да тотчасъ назадъ, такая говоритъ, толпа и духота, что боюсь морской болѣзни, вотъ меня и послалъ купить кой какія вещицы на дорогу, мы завтра отправляемся въ Техасъ.

— Куда?

— Въ Техасъ, ну знаете въ Америкѣ.

— За чѣмъ?

— А за чѣмъ жили въ Калабріи. Телемакъ-то мой ни на волосъ не перемѣнился, только здакъ солиднѣе прежняго заговаривается. Помните какъ онъ вамъ толковалъ, что планета больна и что пора людямъ вылечиться отъ исторіи, вотъ онъ и убѣдился теперь, что леченіе въ Европѣ идетъ медленно, — ну онъ и ѣдетъ въ какой-то Техасъ. Я привыкъ къ нему, все по прежнему споримъ цѣлый день, это людей ужасно связываетъ. Что же, посмотримъ и Америку!

— Ну, а что въ Калабріи?

— Ему-то тамъ сначала понравилось, т. е. по нашему вся Калабрія хуже послѣдняго уѣзднаго города въ какой нибудь саратовской губерніи—тамъ хоть биліардъ есть, ну какая нибудь вдовушка чиновница, ну хоть какая нибудь солдатка въ слободкѣ, а тутъ разбойники, пастухи, да попы, да такіе что и не различишь, который разбойникъ, который пасторъ, который попъ. Наняли мы тамъ полуразвалившійся радклифовской вертепъ; ящерицы, бестіи, бѣлымъ днемъ по полу ходятъ, а ночью нетопыри по залѣ летаютъ, хлопъ въ стѣну, хлопъ. Я впрочемъ уѣзжалъ нѣсколько разъ и въ Неаполь, и въ Палермо... А каковъ Гарибальди? Вотъ человѣкъ-то, съ такимъ не пропадешь!... А онъ все сидѣлъ въ своемъ замкѣ, только разъ съѣздилъ въ Римъ. Римъ ему по вкусу пришелся, будто сейчасъ пѣвчіе перестали пѣть „со святыми упокой!“ Гамлетъ, гробокопатель!

— А что, вашъ Гамлетъ показывается?

— Безъ сомнѣнія. Онъ поминалъ васъ нѣсколько разъ, „онъ говоритъ, сбивается еще, а впрочемъ на хорошей дорогѣ“ ха! ха! ха!

— И то хорошо. Пойдемте къ нему.

— Съ удовольствіемъ.

Евгенія Николаевича я нашелъ сильно постарѣвшимъ. Лицо его, больше покойное, получило какой-то клерикально задумчивой оттѣнокъ; сухая, матовая блѣдность придавала его лицу что-то не живое, темные обводы около глазъ, больше прежняго впавшихъ, дѣлали зловѣщимъ прежнее грустное выраженіе ихъ.

— Вы бѣжите отъ насъ, Евгеній Николаевичъ, за океанъ, сказалъ я ему.

— И вамъ совѣтую.

— Что же такъ?

— Утомительно-съ очень здѣсь.

— Да вѣдь вы это знали и прежде, вы мнѣ говорили это восемь лѣтъ тому назадъ.

— Это правда, но, признаюсь, я думалъ, что будетъ война.

— Какая война?

— Война! и онъ покрутилъ рукой.

— Это вы въ Калабріи сдѣлались такимъ кровожаднымъ?

— Мнѣ собственно ничего, но больно быть свидѣтелемъ, вчужѣ жаль молодое поколѣніе.

— Да войну вамъ на что? чтобъ помочь молодому поколѣнію?

— Я не виноватъ, вопросъ такъ сталъ.

— Каюсь вамъ чистосердечно, что ясно вашей мысли не понимаю.

— Нашла коса на камень!' вставилъ Филиппъ Даниловичъ.

— Это оттого, что вы и сомнѣваетесь и вѣрите. Это бѣда-съ. „Ясно, что столы не вертятся, а тутъ вопросъ: „ну, а какъ столы въ самомъ дѣлѣ вертятся,"—оно и не ясно-съ. Вотъ Филиппъ Даниловичъ другое дѣло, онъ ортодоксъ, онъ и знаетъ, какъ тамъ прогрессъ идетъ и все такъ къ лучшему. А я вотъ какъ ни прикидываю, вижу, что люди заступили за постромку и все дальше и дальше несутся въ болото.

— Лошадь заступила за постромку, такъ ей ноги прочь, сейчасъ ампутацію. Радикальное леченіе! замѣтилъ лекарь.

— Найдите снадобье и ампутаціи не надобно. А какъ его нѣтъ, такъ такъ и оставить больнаго? Западные народы изъ силъ выбились, да и есть отчего, они хотятъ отдохнуть, пожить въ свое удовольствіе,

надоѣло безпрестанно перестроиваться, обстроиваться, да и ломать другъ другу домы. У нихъ все есть, что надобно—и капиталы, и опытность, и порядокъ, и умѣренность... что же имъ мѣшаетъ? Были трудные вопросы, были любимыя мечты,—все улеглось. На что вопросъ о пролетаріатѣ — и тотъ утихъ. Голодные сдѣлались ревностными поклонниками чужой собственности, въ надеждѣ пріобрѣсти свою, сдѣлались тихими лаццарони индустріи, у которыхъ ропотъ и негодованіе сломлены вмѣстѣ со всѣми остальными способностями, и это безъ сомнѣнія одна изъ важнѣйшихъ заслугъ фабричной дѣятельности... а покоя все нѣтъ, какъ нѣтъ... держи войско, держи флоты, трать все выработанное на защиту,—кто же, кромѣ войны, можетъ покончить съ войскомъ?

— Это гомеопатически клинъ клиномъ вышибать — замѣтилъ Филиппъ Даниловичъ.

— Можно ли, продолжалъ мой чудакъ, беззаботно работать въ своемъ садикѣ, зная, что возлѣ, въ ущеліи какой нибудь вертепъ бандитовъ, пандуровъ, янычаръ?

— Позвольте, перебилъ Филиппъ Даниловичъ, одно слово, пари на бутылку бургонскаго, что вы не знаете, кто эти тормазы просвѣщенья, прогресса—эти пандуры и янычары!

— Чтожъ, Австрія и Россія?

— Ха, ха, ха — на вѣрнякъ обыгралъ, за вами бутылка шамбертенъ—я другаго не люблю.

— Ну, помилуйте, замѣтилъ съ упрекомъ Евгеній Николаевичъ, что же Австрія можетъ сдѣлать? Страна употребляетъ всѣ усилія, чтобъ не умереть, натягиваетъ всѣ мышцы, чтобъ части не расползлись, ну гдѣ же ей кому нибудь грозить? Человѣкъ одной рукой придер-

живаетъ ногу, чтобъ она безъ него не ушла, а другой голову, чтобъ она не отвалилась. А тутъ говорятъ, что она на драку лѣзетъ. Пора и Россію, послѣ кампаніи, отчислить изъ пугалъ; ее нетолько никто не боится, но на нее никто и не надѣется больше, ни сербы, ни болгары, ни всѣ эти славянскіе патріоты, отыскивающіе съ IV столѣтія свое отечество и свою самобытность. Да это и хорошо, пусть Россія *„чаетъ жизни будущаго вѣка,“* а въ настоящемъ отучаетъ чиновниковъ воровать да помѣщиковъ драться. Въ Европѣ есть гнеты, почище устроенные, отъ которыхъ воздуха въ легкихъ и покоя въ сердцѣ не достаетъ.

— Такъ это вы Англію и Францію такъ честите.

— Безъ сомнѣнія, еще съ Англіей можно бы было какъ нибудь сладить, она все эдакъ потихоньку, за угломъ, отрицательно давитъ, тутъ поддерживаетъ дряхлое, тамъ такъ притиснетъ молодое, что оно расти перестанетъ; голоднаго встрѣтитъ, говоритъ ему: „чтожъ, съ богомъ, ты свободный человѣкъ, иди, я тебя не держу.“ А Франція... ну, помилуйте, — одинъ баталліонъ: за барабаномъ и двумя дудками вся Франція пойдетъ, куда хотите — въ Казань, Рязань, а въ Англію она и безъ барабана вплавь бросится, лишь бы въ докахъ-то, въ Сити похозяйничать, какъ въ пекинскомъ дворцѣ. Кто могъ ждать, что эти два заклятыхъ врага будутъ покойно смотрѣть другъ на друга, съ той ненавистью, которую не могли преодолѣть ни вѣка, ни образованіе, ни торговая выгода, и притомъ сдвигаясь все ближе и ближе, такъ что ужъ между Парижемъ и Лондономъ остается только десять часовъ ѣзды? Съ одной стороны Ламанша legion d'honneur, съ другой habeas corpus, и они терпятъ другъ друга! Понимаете ли вы это, такъ страстно ненавидѣть и не

имѣть духу? — Послѣ этого я рѣшительно въ Техасъ.

— Понять трудно, это правда, но что *оно такъ*, это не совсѣмъ дурно. Вотъ уже когда ваша война будетъ и французы переплывутъ Ламаншъ, чтобъ *освободить* Англію, тогда я и самъ отправлюсь въ Техасъ.

— A la bonheur! — вскрикнулъ обрадованный Филиппъ Даниловичъ.

— Дренажъ-съ, война дренажъ-съ для разсчистки мѣста и воздуха. Гдѣжъ имъ въ Лондонѣ остаться, Москва не Лондонъ, и то взяла всякихъ нѣмцевъ по дорогѣ, да и пошла въ Парижъ.

— Или у васъ есть въ запасѣ какой нибудь Людвигъ XIX?

— *Въ немъ не будетъ надобности.*

— Евгеній Николаевичъ — сказалъ я помолчавъ — и все-то это для того, чтобъ дойти до голландскаго покоя, и за эту похлебку изъ чечевицы проститься съ лучшими мечтами, съ святѣйшими стремленіями.

— А чѣмъ худо, замѣтилъ Филиппъ Даниловичъ, снова показывая свои бѣлые зубы, ѣсть сельди да вафли, съ чистой совѣстью и такой же салфеткой—въ домѣ, который только что выстирали, съ женой изъ рубенсовскихъ мясовъ, и кругомъ малъ мала меньше. Скидамъ, фаро и кюрасо, я больше ничего голландскаго не знаю. Ха, ха, ха, изъ чего бились всѣ ваши Фурье да Овены!

— Не они одни, католики и протестанты, энциклопедисты и революціонеры... всѣ изъ чего бились? А ихъ трудъ, ихъ вѣра, ихъ борьба, ихъ гибель... это развѣ ничего? Вамъ еще надобно, чтобъ и Вѣсь господня и Feste Burg, и фаланстеръ, и якобинская республика. все бы въ самомъ дѣлѣ осуществилось? Я помню... онъ пріостановился и потомъ съ какимъ-то внутрен-

нимъ умиленіемъ спросилъ меня: испытали вы, что чувствуетъ человѣкъ, когда онъ передаетъ свое воззрѣніе другому и видитъ, какъ оно всходитъ въ немъ?

— Все это хорошо, воля ваша, перебилъ ученикъ Гиппократа, да какой же прокъ съ наслажденіемъ переливать изъ пустого въ порожнее? Хлопотать-то изъ чего?

— Эхъ, Филиппъ Даниловичъ, мы-то съ вами изъ чего хлопочемъ, не дошли же мы до того, чтобъ лечиться отъ смерти, а вѣдь гробовой-то покой хуже голландскаго. Ну да ужъ вамъ и богъ проститъ, вы ортодоксъ. А вотъ вы-то какъ же эдакъ спотыкаетесь? прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, печально качая головою.

И потомъ, вдругъ расхохотавшись своимъ нервнымъ, невеселымъ смѣхомъ, сказалъ: Я вспомнилъ теперь одну нѣмецкую книгу, въ которой разсказывается о труженическомъ существованіи крота,—очень смѣшно. Звѣрь маленькой, съ большими лапами, съ щелочками вмѣсто глазъ, роетъ въ темнотѣ, подъ землей, въ сырости, роется день и ночь, безъ устали, безъ разсѣянія, съ страстной настойчивостью. Едва перекуситъ какихъ нибудь зернышекъ да червячковъ, и опять за работу, за то для дѣтей готова норка, и кротъ умираетъ спокойно, а дѣти-то начинаютъ во всѣ стороны рыть норки для своихъ дѣтей. Какова заплатная цѣна за пожизненную земляную работу? Каково соотношеніе между усиліями и достигаемымъ?—ха, ха, ха. — Самое смѣшное-то въ томъ, что, выстроивши свои отличные коридоры, переходы, стоившіе ему труда цѣлой жизни, онъ не можетъ ихъ видѣть, бѣдный кротъ!

Этой моралью моего поврежденнаго я и заключу первый отдѣлъ „Концовъ и Началъ“ и послѣдній мѣ-

сяцъ 1862 года. Черезъ два дня *новый годъ*, съ которымъ тебя поздравляю, надобно набрать къ нему свѣжія силы, на кротовую работу, лапы чешутся.

29 Декабря 1862 г.

Письмо восьмое.

Мужайся, стой и дай отвѣтъ!

... „Halte-la!—Stop!“ сказалъ мнѣ на этотъ разъ не *поврежденный*, а напротивъ, одинъ *поправленный* господинъ, входя въ мою комнату съ „Колоколомъ“ въ рукѣ. Я пришелъ къ вамъ объясниться. Ваши „Концы и Начала“ перешли всякую мѣру, пора честь знать и дѣйствительно положить имъ конецъ, сожалѣя о ихъ началѣ.

— Неужели *до этой* степени?

— До этой. Вы знаете — я васъ люблю, я уважаю вашъ талантъ...

Ну, подумалъ я, дѣло плохо, видно „поправленный“ не на шутку хочетъ меня обругать, а то не сталъ бы заѣзжать такими лестными апрошами.

— Вотъ моя грудь, сказалъ я, разите.

Мое самоотверженіе, смѣшанное съ классическимъ воспоминаніемъ, хорошо подѣйствовало на раздраженнаго пріятеля, и онъ съ болѣе добродушнымъ видомъ, сказалъ мнѣ: „Выслушайте меня покойно, безъ авторскаго самолюбія, безъ изгнаннической исключительности—къ чему вы все это пишете?“

— На это много причинъ—во первыхъ я считаю истиной то, что пишу, а у каждаго человѣка, неравнодушнаго къ истинѣ, есть слабость ее распространять.

Во вторыхъ... впрочемъ, я полагаю, что и перваго достаточно.

— Нѣтъ. Вы должны знать публику, съ которой говорите, ея возрастъ, обстоятельства, въ которыхъ она находится. Я вамъ скажу прямо: вы имѣете самое пагубное вліяніе на нашу молодежь, которая учится у васъ неуваженію къ Европѣ, къ ея цивилизаціи — въ силу чего не хочетъ серьезно заниматься, хватаетъ вершки и довольствуется своей широкой натурой.

— У! какъ вы состарѣлись съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ, и молодежь браните и воспитывать ее хотите ложью, какъ няньки, поучающія дѣтей, что новорожденныхъ приноситъ повивальная бабка и что дѣвочка отъ мальчика отличается покроемъ платья. Подумайте лучше, сколько вѣковъ люди безбожно лгали съ нравственной цѣлью, а нравственности не поправили; отчего же не попробовать говорить правду? Правда выйдетъ не хороша, примѣръ будетъ хорошъ. Съ вреднымъ вліяніемъ на молодежь — я давно примирился, взявъ въ разсчетъ, что всѣхъ, дѣлавшихъ пользу молодому поколѣнію, постоянно считали развратителями его, отъ Сократа до Вольтера, отъ Вольтера до Шеллея и Бѣлинскаго. Къ тому же меня утѣшаетъ, что нашу русскую молодежь очень трудно испортить. Воспитанная въ помѣщичьихъ плантаторскихъ усадьбахъ николаевскими чиновниками и офицерами, окончившая курсъ своихъ наукъ въ господскихъ домахъ, казармахъ и канцеляріяхъ, она или не можетъ быть испорчена, или уже до того испорчена, что мудрено прибавить много какой нибудь горькой правдой о Западѣ.

— Правдой!... Да позвольте васъ спросить, правда-то ваша въ самомъ ли дѣлѣ правда?

— За это я отвѣчать не могу. Вы можете быть въ

одномъ увѣрены, что я говорю добросовѣстно, какъ думаю. Если же я ошибаюсь, не сознавая того, что же мнѣ дѣлать? Это скорѣе ваше дѣло раскрыть мнѣ глаза.

— Васъ не убѣдишь—и знаете почему, потому что вы *отчасти* правы. Вы хорошій *прозекторъ*, какъ сами говорили и—плохой акушеръ.

— Да вѣдь и живу-то я не въ maternité, а въ клиникѣ и въ анатомическомъ театрѣ.

— А пишите для воспитательныхъ домовъ. Дѣтей надобно учить, чтобъ они другъ у друга каши не ѣли, да не таскали бы другъ друга за вихры, а вы ихъ подчуете тонкостями вашей патологической анатоміи. Да еще приговариваете: вотъ, молъ, какія скверныя потрохи были у западныхъ стариковъ. Къ тому же у васъ двѣ мѣры и два вѣса. Взялись за скальпель, ну и рѣжьте одинакимъ образомъ.

— Какъ же это и живыхъ-то рѣзать? Страсти какія, да еще дѣтей! Что же за Иродъ вамъ достался?

— Шутите, какъ хотите, меня не собьете. Вы съ большой чуткостью произносите діагнозу современнаго человѣка, да только разобравши всѣ признаки хронической болѣзни, вы говорите, что все это произошло отъ того, что пацієнтъ французъ или нѣмецъ. А тѣ дома у насъ и въ самомъ дѣлѣ воображаютъ, что у нихъ-то и молодость и будущность. Все, что намъ дорого въ преданіи, въ цивилизаціи, въ исторіи западныхъ народовъ, вы взрѣзываете безъ оглядки, безъ жалости, выставляя наружу страшныя язвы, и тутъ вы въ вашей прозекторской роли. Но валандаться вѣчно съ трупами вамъ надоѣло. И вотъ вы, отрекшись отъ всѣхъ идеаловъ въ мірѣ, сотворяете себѣ новый кумиръ, не золотаго тельца, а бараній тулупъ, да и да-

вай ему поклоняться и славословить его „Абсолютный тулупъ, тулупъ будущности, тулупъ общинный, соціальный!“ Вы, которые сдѣлали себѣ изъ скептицизма должность и занятіе, ждете отъ народа, ничего не сдѣлавшаго, всякую благодать, новизну и оригинальность будущихъ общественныхъ формъ, и въ ультра-фанатическомъ экстазѣ затыкаете уши, зажимаете глаза, чтобъ не видать, что вашъ богъ въ грубомъ безобразіи не уступаетъ любому японскому кумиру, у котораго животъ въ три яруса, носъ расплюснутъ до скулъ и усы сардинскаго короля. Вамъ что ни говори, какія ни приводи факты, вы „въ восторгѣ нѣкомъ пламенномъ“ толкуете о весенней свѣжести, о благодатныхъ бурѣхъ, о многообѣщающихъ радугахъ, всходахъ! Чему же дивиться, что наша молодежь, упившись вашей неперебродившей соціально-славянофильской брагой, бродитъ потомъ отуманенная и хмѣльная, пока себѣ сломитъ шею или разобьетъ носъ объ *дѣйствительную* дѣйствительность нашу. Разумѣется, что и ихъ, какъ васъ, протрезвить трудно—исторія, филологія, статистика, неотразимые факты, вамъ обоимъ ни по чемъ.

— Позвольте, однако, и я въ свою очередь скажу, надобно знать мѣру, какіе же это *несомнѣнные* факты?

— Бездна.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ фактъ, что мы русскіе принадлежимъ и по языку и по породѣ къ европейской семьѣ, genus europeum, и, слѣдовательно, *по самымъ неизмѣннымъ законамъ физіологіи должны идти по той же дорогѣ*. Я не слыхалъ еще объ *уткѣ*, которая, принадлежа къ породѣ утокъ, дышала бы жабрами...

— Представьте себѣ, что и я не слыхалъ.

... Я останавливаюсь на этомъ пріятномъ моментѣ

полнаго согласія съ моимъ противникомъ, чтобъ снова обратиться къ тебѣ и отдать на твой судъ таковыя до чести и добродѣтели моихъ посланій относящіяся нарѣканія.

Грѣхъ мой весь въ томъ, что я избѣгалъ догматическаго изложенія и, можетъ, слишкомъ полагался на читателей; это привело многихъ въ искушеніе и дало моимъ *практическимъ* противникамъ орудіе противъ меня —разныхъ закаловъ и не одинаковой чистоты. Постараюсь сжать въ рядъ афоризмовъ основы того воззрѣнія, на которыя опираясь, я считалъ себя вправѣ сдѣлать тѣ заключенія, которыя передавалъ, какъ сорванныя яблоки, не упоминая ни о лѣстницѣ, которую приставлялъ къ дереву, ни о ножницахъ, которыми стригъ. Но прежде, чѣмъ я примусь за это, я хочу тебѣ показать на одномъ примѣрѣ, что мои строгіе судьи, не то чтобъ были очень хорошо подкованы. Ученый другъ, приходившій возмущать покой моей берлоги, принимаетъ, какъ ты видѣлъ, за *несомнѣнный фактъ*, *за неизмѣнный физіологическій законъ*, что если *русскіе* принадлежать къ *европейской семьѣ*, то имъ предстоитъ та же дорога и то же развитіе, которое совершено романо-германскими народами; но въ сводѣ физіологическихъ законовъ такого § не имѣется.

Это мнѣ напоминаетъ чисто московское изобрѣтеніе разныхъ учрежденій, постановленій, въ которыя всѣ вѣрятъ, которыя всѣ повторяютъ и которыя, между прочимъ, никогда не существовали. Одинъ мой (и твой) знакомый называлъ ихъ *законами англійскаго клуба*.

Общій планъ развитія допускаетъ безконечное число варіацій непредвидимыхъ, какъ хоботъ слона, какъ горбъ верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончіе, борзые, водолазы,

моськи... Общее происхожденіе нисколько не обусловливаетъ одинаковость біографій. Каинъ и Авель, Ромулъ и Ремъ были родные братья, а какія разныя карьеры сдѣлали. Тоже самое во всѣхъ нравственныхъ родахъ или общеніяхъ. Все христіанское имѣетъ сходныя черты въ устройствѣ семьи, церкви и пр., но нельзя сказать, чтобъ судьба англійскихъ протестантовъ была очень сходна съ судьбой абисинскихъ христіанъ, или чтобъ очень католическая австрійская армія была похожа на чрезвычайно православныхъ монаховъ аѳонской горы. Что утка не дышетъ жабрами, это вѣрно, еще вѣрнѣе, что кварцъ не летаетъ, какъ колибри. Впрочемъ, ты вѣрно знаешь, а ученый другъ не знаетъ, что въ жизни утки была минута колебанія, когда аорта не загибалась своимъ стержнемъ внизъ, а вѣтвилась съ притязаніемъ на жабры, но имѣя физіологическое преданіе, привычку и возможность развиться, утка не останавливалась на бѣднѣйшемъ строеніи органа дыханія и переходила къ легкимъ.

Это значитъ просто на просто, что рыба *приладилась* къ условіямъ водяной жизни и далѣе жабръ не идетъ, а утка идетъ. Но почему же это рыбье дыханіе должно сдунуть мое воззрѣніе, этого я не понимаю. Мнѣ кажется, что оно, напротивъ, объясняетъ его. Въ „genus europeum“ есть народы состарѣвшіеся безъ полнаго развитія мѣщанства (Кельты, нѣкоторыя части Испаніи, южной Италіи и пр.), есть другіе, которымъ мѣщанство такъ идетъ, какъ вода жабрамъ—отчего же не быть и такому народу, для котораго мѣщанство будетъ переходнымъ, неудовлетворительнымъ состояніемъ. какъ жабры для утки?

Въ чемъ же состоитъ та злая ересь, то отпаденіе отъ своихъ собственныхъ принциповъ, отъ неприлож-

ныхъ законовъ мірозданія и отъ всѣхъ божественныхъ и человѣческихъ ученій и уставовъ, что я не считаю мѣщанства окончательной формой русскаго устройства, того устройства, къ которому Россія стремится и, достигая котораго, она вѣроятно *пройдетъ* и мѣщанской полосой. Можетъ, народы европейскіе сами перейдутъ къ другой жизни — можетъ Россія вовсе не разовьется, но именно потому, что это *можетъ быть—можетъ быть* и другое. И тѣмъ больше, что въ томъ череду, какъ стали вопросы, въ случайностяхъ мѣста и времени развитія, въ условіяхъ быта и жизни, въ постоянныхъ *складкахъ* характера, бездна указаній.

Народъ русскій, широко раскинувшійся *между* Европой и Азіей, принадлежащій какимъ-то двоюроднымъ братомъ къ общей семьѣ народовъ европейскихъ, онъ не принималъ почти никакого участія въ семейной хроникѣ Запада. Сложившійся туго и поздно, онъ долженъ внести или свою полную неспособность къ развитію или развить что нибудь свое подъ вліяніемъ былаго и запмствованнаго, сосѣдняго примѣра и своего угла отраженія.

До нашего времени Россія ничего не развила своего, но кое-что сохранила; она, какъ потокъ, отражала, верхнимъ слоемъ, тѣснившіе ее берега, отражала ихъ вѣрно, но поверхностно. Вліяніе византійское, можетъ, было самое глубокое; остальное шло по петровски, брилась борода, стриглись волосы, рѣзались полы кафтана, народъ молчалъ, уступалъ, меньшинство переряжалось, служило,—а государство, которому дали общій европейскій чертежъ—росло, росло... Это обыкновенная исторія ребячества. Оно окончилось. Въ этомъ никто не сомнѣвается, ни Зимній дворецъ, ни Юная Россія. Пора стать на свои ноги, зачѣмъ же непремѣнно на

деревянныя, потому что онѣ иностранной работы? Зачѣмъ же наряжаться въ блузу, когда есть своя рубашка съ косымъ воротомъ.

Мы досадуемъ на бѣдность силъ, на узкость взгляда правительства, которое въ своей безплодности, усовершаетъ нашъ быть тѣмъ, что вмѣсто черно-желтой Zwangsjacke, въ которой насъ пасли полтораста лѣтъ, надѣваетъ трехцвѣтную camisole de force, шитую по парижскимъ выкройкамъ. Но тутъ не правительство, а мандарины литературы, сенаторы журнализма, кафедральныя профессора, проповѣдуютъ намъ, что ужъ такой *неизмѣнный законъ физіологіи*, принадлежишь къ genus europeum, такъ и продѣлывай всѣ старыя глупости на новый ладъ, что мы, какъ бараны, должны спотыкнуться на той же рытвинѣ, упасть въ тотъ же оврагъ, и сѣсть потомъ вѣчнымъ лавочникомъ и продавать овощь другимъ баранамъ.

Пропадай онъ совсѣмъ этотъ физіологическій законъ! и отчего же это Европа была счастливѣе, ее никто не заставлялъ da capo играть роль Греціи и Рима?

Въ природѣ, въ жизни нѣтъ никакихъ монополей, никакихъ мѣръ для предупрежденія и пресѣченія новыхъ зоологическихъ видовъ, новыхъ историческихъ судебъ и государственныхъ формъ—предѣлы ихъ однѣ невозможности. Будущее импровизируется на тему прошедшаго. Не только фазы развитія и формы быта измѣняются, но создаются новые народы и народности, которыхъ судьбы идутъ иными путями. На нашихъ глазахъ, такъ сказать, образовалась новая порода, varietas *сводно и свободно европейская*. Не только бытъ, нравы, пріемы американцевъ развили свой особый характеръ, но наружный типъ англо-саксонскій и кельтическій измѣ-

нился за Океаномъ до того, что американца почти всегда узнаешь. Если достаточно было новой почвы для старыхъ людей, чтобъ изъ нихъ сдѣлать своеобразный, характеристическій народъ, почему же народъ, самобытно развившійся, при совершенно другихъ условіяхъ, чѣмъ западныя государства, съ иными началами въ бытѣ долженъ пережить европейскіе зады, и *это, зная очень хорошо, къ чему они ведутъ?*

Да, но въ чемъ же эти начала?

Я говорилъ много разъ въ чемъ, *ни разу не слышалъ* серьезнаго возраженія и всякой разъ опять слышу *одни и тѣже* возраженія, добро бы отъ иностранцевъ, а то отъ русскихъ...

Дѣлать нечего, повторимъ и ихъ опять.

15 января 1863 г.

ЕЩЕ ВАРІАЦІЯ НА СТАРУЮ ТЕМУ

(Письмо къ . . . . .)

Нѣтъ, любезный другъ, я не сдержу обѣщанія, даннаго тебѣ, и не стану писать статьи въ объясненіе того, что я говорилъ о Западѣ и что говорилъ о Россіи.

Послѣ твоего отъѣзда, подъ вліяніемъ замѣчаній, сдѣланныхъ тобою, и замѣчаній нашихъ общихъ друзей, я пересмотрѣлъ часть писаннаго мною и нашелъ, что мнѣ прибавлять нечего. Что было за душой, что я выразумѣлъ и какъ выразумѣлъ, я все сказалъ. Если я не съумѣлъ въ цѣлыхъ книгахъ, въ рядѣ статей, въ рядѣ писемъ уяснить моего воззрѣнія, какъ же мнѣ это можетъ удаться на нѣсколькихъ страницахъ? Положимъ, что мой взглядъ и былъ въ самомъ дѣлѣ только болѣзненный, страстный, личный, когда я восемь лѣтъ тому назадъ писалъ „Съ того берега,“ но время такъ грозно подтвердило его, что онъ сталъ еще незыблемѣе въ моемъ умѣ и, не измѣнясь ни въ чемъ существенномъ, только остылъ. Повторять холодно сказанное тогда съ увлеченіемъ я отказываюсь и пишу теперь больше для того, чтобъ показать, какъ я внимательно слушалъ тебя и искренно принялъ къ сердцу замѣчанія нашихъ друзей.

Главные упреки сводятся на два: *во первыхъ*, что мое воззрѣніе на Западъ потрясаетъ вѣрованія, необходимыя еще у насъ; *во вторыхъ*, что мое воззрѣніе на Россію сближаетъ меня съ Славянофилами.

Упреки эти сами собою свидѣтельствуютъ, что усобица ваша съ московскими старовѣрами не улеглась; это жаль.

Увлеченные полемикой, вы не замѣчаете, какъ скучны ваши споры и какъ они надоѣли. Борьба съ Славянофилами потеряла интересъ особенно послѣ смерти Николая. Пора бы подвести всѣ эти дрязги подъ манифестъ 26 августа 1856 года и предать ихъ забвенію съ прочими прегрѣшеніями николаевскаго времени.

Новая жизнь явнымъ образомъ закипаетъ у насъ; само правительство увлечено ею. Вопросы одинъ другого важнѣе, одинъ другого неотлагаемѣе возникаютъ со всѣхъ сторонъ; прибитыя къ землѣ надежды оживаютъ, хочется знать, что думаютъ у насъ объ освобожденіи крестьянъ, объ уничтоженіи духовныхъ и тѣлесныхъ побоевъ —цензуры и палки— объ обузданіи чиновничьяго грабежа, полицейскаго самоуправства, и вмѣсто того читаешь схоластическія пренія о мѣстничествѣ народовъ и національности истины.

Я никогда не отрицалъ, что у Славянъ есть вѣрное сознаніе *живой души* въ народѣ, есть „*чаяніе будущаго вѣка*,“ но по несчастію долженъ повторить, что „чутье ихъ проницательнѣе разумѣнія“*) и не только разумѣнія, но и совѣсти. Я съ ужасомъ и отвращеніемъ читалъ нѣкоторыя статьи славянскихъ обозрѣній, отъ нихъ вѣетъ застѣнкомъ, рваными ноздрями, эпитимьей, покаяньемъ, соловецкимъ монастыремъ. Попадись этимъ господамъ въ руки власть, они заткнутъ за поясъ III отдѣленіе. И будто я сблизился съ этими дикими по сочувствію, по выбору, по языку? Отчего же не такъ-то давно одинъ изъ нихъ пустилъ въ меня, подъ охраной *самодержавной* полиціи, комомъ отечественной гря-

*) *Былое и Думы*, гл. X.

зи съ такимъ *народнымъ* запахомъ передней, съ такой постной отрыжкой *православной* семинаріи и съ такимъ нахальствомъ холопа, защищеннаго отъ палки недосягаемостью запятокъ, что я на нѣсколько минутъ живо перенесся на Плющиху, на Козье болото?

Но ваша полемика противъ нихъ никуда не годится, оставьте вы ихъ въ покоѣ, или бейте ихъ на ихъ собственной почвѣ. Они не знаютъ *настоящей* Россіи; это оборотни и мертвецы, съ ихъ поля не отзывается ни одинъ „живъ человѣкъ," они свихнули свое пониманье лицемѣрнымъ православіемъ и поддѣльной народностью.

Мудрено теперь сбить ихъ примѣромъ Запада, (и тутъ я отвѣчаю на другой упрекъ) когда достаточно одного нумера любой газеты, чтобы увидѣть страшную болѣзнь, подъ которой ломится Европа. Отворачиваться отъ ея ранъ и проповѣдывать поклоненіе *не только идеямъ*, которыя она выработала и съ которыми не можетъ сладить ея современная жизнь, но и ей самой— столько же невозможно, какъ увѣрить насъ, что фанатически поврежденная умственная дѣятельность поклонниковъ Будды или карпатскихъ раскольниковъ важнѣе и глубже всѣхъ вопросовъ, занимающихъ насъ.

Вы любите европейскія идеи, —люблю и я ихъ, — это идеи всей исторіи, это надгробный памятникъ, на которомъ написано завѣщаніе не только вчерашняго дня, но Египта и Индіи, Греціи и Рима, католицизма и протестантизма, народовъ римскихъ и народовъ германскихъ. Безъ нихъ мы впали бы въ азіатскій квіэтизмъ, въ африканскую тупость. Россія *съ ними и только съ ними* можетъ быть введена во владѣніе той большой доли наслѣдства, которая ей достается. Въ этомъ мы совершенно согласны. Но вамъ не хочется знать, что теперешняя жизнь въ Европѣ не сообразна ея иде-

ямъ. Вамъ становится страшно за нихъ; идеи, не находящія себѣ осуществленія дома, кажутся вамъ нигдѣ неосуществляемыми. Историческая эмбріологія врядъ оправдаетъ ли такое заключеніе. Изъ неприлагаемости новыхъ общественныхъ идей къ современной жизни европейскихъ народовъ (еслибъ это и было окончательно доказано) нельзя судить о ихъ неосуществляемости вообще, о ихъ неприложимости вездѣ. Развѣ одна сторона европейскаго идеала, именно англо-саксонская, не нашла себѣ полнаго выраженія по ту сторону Атлантическаго Океана?

Пути развитія очень туги и очень непросты въ природѣ, въ исторіи; они употребляютъ страшное количество силъ и формъ. Намъ это мало видно, потому что мы всегда находимся лицомъ къ лицу съ готовымъ результатомъ, съ выработавшимся, съ успѣхомъ. Ряды неудачныхъ формъ были вызваны по дорогѣ, жили не вполнѣ (по сравненію съ послѣдующими) и замѣнялись другими намъ неизвѣстными. Онѣ не были пожертвованы, потому что онѣ жили для себя, но, отживши, передали наслѣдіе не дѣтямъ, а чужимъ. Мамонты и ихтіосавры—слонамъ и крокодиламъ, Египетъ и Индія—Греціи и Риму. Весьма можетъ быть, что вся творческая способность западныхъ народовъ истратилась, истощилась, создавая свой общественный идеалъ, свою науку, стремясь къ нимъ и осуществляя отдѣльныя, односторонніе фазы ихъ со всею страстностью и увлеченьемъ борьбы, въ которой оттого людямъ такъ легко умирать, что они на всякомъ шагу думаютъ достигнуть *полнаго* идеала своего.

Вырвутъ ли забитыя массы изъ рукъ монополистовъ силы, развитыя наукой, всю эту совокупность техническихъ улучшеній быта человѣческаго и сдѣлаютъ ли

изъ нихъ общее достояніе; или собственники, опираясь на правительственную силу и на народное невѣжество, подавятъ массы? Въ обоихъ случаяхъ *идеи спасены*, а въ этомъ для васъ сущность дѣла. Наука, независимая отъ государственныхъ устройствъ, отъ *народности*, остается великимъ результатомъ европейской жизни, готовымъ измѣнить тяжелый историческій бытъ людей вездѣ, гдѣ встрѣтитъ способную почву, пониманье и вмѣстѣ съ пониманьемъ силу и волю.

Вопросъ о будущности Европы я не считаю окончательно рѣшеннымъ; но добросовѣстно, съ покорностью передъ истиной и скорѣе съ предразсудками въ пользу Запада, чѣмъ противъ него, изучая его десятый годъ не въ теоріяхъ и книгахъ, а въ клубахъ и на площади, въ средоточіи всей политической и соціальной жизни его, я долженъ сказать, *что ни близкаго, ни хорошаго выхода не вижу*. Стоитъ взглянуть съ одной стороны на горячечное, односторонное развитіе промышленности, на сосредоточеніе всѣхъ богатствъ, нравственныхъ и вещественныхъ, въ рукахъ меньшинства средняго состоянія, на то, что оно захватило въ руки церковь и правительство, машины и школы; что ему повинуются войска, что въ его пользу судятъ судьи; и съ другой стороны, глядя на неразвитость массъ, на незрѣлость и шаткость революціонной партіи, я не предвижу безъ страшнѣйшей кровавой борьбы близкаго паденія мѣщанства и обновленія стараго государственнаго строя.

Теперь нечего и думать о прошлыхъ обыденныхъ революціяхъ, которыя дѣлались полушутя съ Беранжеровской пѣснью и сигарой во рту; теперь нѣтъ ни Карла X, готоваго бѣжать передъ опасностью, ни Людовика Филиппа, который не хотѣлъ бомбардировать

Парижа; теперь нѣтъ ни дурачка австрійскаго императора, который по первому ружейному выстрѣлу даетъ конституцію; прусскій король хоть и тотъ же, но ужъ не сниметъ съ своей пьяной головы фуражку передъ убитыми революціонерами; самъ Пій IX поумнѣлъ. Іюньскіе дни 1848 года и Каваньякъ показали міру, что за Варѳоломеевскую ночь, что за Сентябрскіе дни ожидаютъ будущую борьбу.

Выйдетъ ли Европа покончѣлой изъ этого испытанія или погибнетъ какъ Сенека въ своей собственной крови, не знаю; но мнѣ сдается, что мы съ тобой не дождемся рѣшенія. У тебя всѣ волосы сѣдые, а мнѣ сорокъ четыре года отъ роду.

Не естественно ли въ этомъ положеніи современному человѣку поразширить свой взглядъ, осмотрѣться вокругъ, изучить какъ другія страны, не вовлеченныя въ смертный бой Европы, относятся къ будущему, чего отъ нихъ можно ждать, куда онѣ тянутъ и нѣтъ ли тамъ глухой, приготовительной работы.

Но внѣ Европы есть только два дѣятельные края — *Америка* и *Россія*, развѣ еще начинающаяся *Австралія*. Остальное, все покоится непробуднымъ сномъ или бьется въ судорогахъ, которыхъ мы не понимаемъ, и которые чужды намъ, какъ китайское возстаніе со всѣми своими грудами труповъ и отвратительнымъ мясничествомъ.

Америка, Европа колонизированная, тоже племя и преимущественно англо-саксонское, но при другихъ условіяхъ. Волна за волной несетъ къ ея берегамъ наплывъ за наплывомъ — и они не остаются на мѣстѣ, но идутъ далѣе и далѣе. Такъ какъ кромвелевская Англія переплыла океанъ и разсѣялась по сѣвернымъ долинамъ и лѣсамъ, такъ и теперь толпы европейскихъ

выходцевъ плывутъ туда отъ голода, отъ духоты, отъ преслѣдованія, „отъ будущаго“, предчувствуя дома бѣды. Это продолженіе вѣковаго движенія на Западъ. Три милліона Ирландцевъ выселились со времени Р. Пиля; нѣмецкіе государи, торговавшіе въ XVIII столѣтіи стадами своихъ подданныхъ для веденія войны противъ независимости для населенія Пенсильваніи и пр., задумываются, видя, какъ народонаселеніе утекаетъ. Движеніе продолжается въ самой Америкѣ, новые пришельцы просачиваются сквозь осѣвшее народонаселеніе, иногда увлекаютъ его—и все стремится, толкаясь и торопясь на югъ: сегодня разработываютъ землю, завтра идутъ дальше, напирая къ Экватору, гдѣ будетъ новая встрѣча и новое сочетаніе англо-саксонскаго элемента съ испано-романскимъ,

Мы видимъ, что все это еще расчистка мѣста, вѣхи поставленныя для означенія арены, и никакая сила не удержитъ Сѣверо-Американцевъ съ ихъ избыткомъ силъ, пластицизма, неутомимости, отъ присоединенія центральной Америки и Кубы. Въ то время какъ въ Европѣ разваливается Венеція, нищаетъ Римъ, вянутъ небольшіе города Италіи и Испаніи за недостаткомъ капиталовъ и рукъ, за лѣнью и недостаткомъ дѣятельности, гдѣ нибудь въ Калифорніи, въ Гондурасѣ и Никарагуѣ, въ нѣсколько лѣтъ пустыни превращаются въ поля, починки въ города, степи исчерчиваются желѣзными дорогами, капиталы избыточествуютъ и неугомонная сила республики хватаетъ все далѣе и далѣе.

Что ростетъ, то юно.

Силенъ былъ и ростъ Россіи, и едва ли онъ совсѣмъ окончился, едва ли она дошла до естественныхъ предѣловъ; это видно сверхъ географической физіологіи изъ безпрерывной заносчивости правительства, изъ по-

стояннаго стремленія захватить какой нибудь клочекъ земли. Но Россія расширяется по другому закону чѣмъ Америка; оттого что она въ теперичномъ состояніи не колонія, не наплывъ, не нашествіе, а самобытный міръ, идущій во всѣ стороны, но крѣпко сидящій на своей собственной землѣ. Соединенные Штаты, какъ лавина оторвавшаяся отъ своей горы, прутъ передъ собою все; каждый шагъ пріобрѣтенный ими — шагъ потерянный индѣйцами. Россія понимаетъ кругомъ какъ вода, обходитъ племена со всѣхъ сторонъ, потомъ накрываетъ ихъ однообразнымъ льдомъ самодержавія — и подъ нимъ дѣлаетъ изъ поклонниковъ Далай-Ламы защитниковъ православія, изъ нѣмцевъ *отчаянныхъ* русскихъ патріотовъ.

И тотъ же юный пластицизмъ. Чему смѣялся Іосифъ II на закладкѣ Екатеринославля, говоря, что императрица положила первый камень города, а онъ послѣдній? Не городъ тамъ построился, а государство. Новороссійскій край лучшее доказательство какова пластическая сила Руси. А вся Сибирь? А теперичныя поселенія на берегахъ Амура, гдѣ на дняхъ будетъ развиваться звѣздчатый флагъ американскихъ республикъ? Да и самыя восточныя губерніи европейской Россіи?

Читая лѣтопись семейства Багровыхъ,*) я былъ пораженъ сходствомъ старика, переселившагося въ Уфимскую провинцію съ „сетлерами“, переселяющимися изъ Нью-Іорка куда нибудь въ Висконсинъ или въ Иллинуа. Совершенно новая расчистка нежилыхъ мѣстъ и обращеніе ихъ на хлѣбопашество и гражданскую жизнь. Когда Багровъ сзываетъ со всѣхъ сторонъ народъ засыпать плотину для мельницы, когда сосѣди съ пѣснями несутъ землю и онъ первый торжественно проходитъ по побѣжденной

*) Семейная хроника С. Т. Аксакова.

рѣкѣ, такъ и кажется что читаешь Купера или Ирвинга Вашингтона. А вѣдь это всего вѣкъ тому назадъ; тоже было въ Саратовскомъ краю и въ Пермскомъ. Въ Вяткѣ въ мое время еще трудно было удержать крестьянъ, чтобъ они не переселялись въ лѣса и не начинали тамъ новыя селенія (починки); земля для нихъ все еще казалась общимъ достояніемъ, той res nullius, на которую каждый имѣетъ право.

Америка какъ переселеніе не представляетъ новыхъ элементовъ, это дальнѣйшее развитіе протестантской Европы, освобожденной отъ историческаго быта и приведенной въ иныя условія жизни. Величайшая идея развитая Сѣверными Штатами — чисто англо-саксонская, идея самоуправленія, т. е. сильнаго народа съ слабымъ правительствомъ, самодержавія каждаго клочка земли безъ централизаціи, безъ бюрократіи, съ внутреннимъ, нравственнымъ единствомъ. Какъ Америка будетъ относиться къ соціальнымъ стремленіямъ—трудно сказать; духъ товарищества, ассоціаціи, предпріятій сообща чрезвычайно въ ней развитъ, но ни общаго владѣнія, ни нашей артели, ни сельской общины нѣтъ; личность соединяется съ другими только на извѣстное дѣло, внѣ котораго ревниво отстаиваетъ полнѣйшую независимость.

Россія, напротивъ, является совсѣмъ особеннымъ міромъ, съ *своимъ* естественнымъ бытомъ, съ *своимъ* физіологическимъ характеромъ — не европейскимъ, не азіатскимъ, а славянскимъ. Она участвуетъ въ судьбахъ Европы, не имѣя ея историческихъ преданій, свободная отъ ея обязательствъ прошедшему. „Какое счастіе, сказалъ Бентамъ Александру I, когда онъ былъ въ Лондонѣ послѣ наполеоновскихъ войнъ, что русскому законодателю не приходится бороться на каждомъ шагу съ

римскимъ правомъ"—а мы прибавимъ—ни съ феодализмомъ, ни съ католицизмомъ, ни съ протестантизмомъ. Кормчая книга и Уложеніе не захватываютъ всѣ проявленія жизни, не заправляютъ всякимъ дѣйствіемъ, остальныя учрежденія введены насиліемъ и держутся насиліемъ. У насъ нигдѣ нѣтъ этихъ на глухо заколоченныхъ предразсудковъ, которые у западнаго человѣка какъ параличемъ отбиваютъ половину органовъ. Въ основѣ народной жизни лежитъ сельская община — съ раздѣленіемъ полей, съ коммунистическимъ владѣніемъ землею, съ выборнымъ управленіемъ, съ правомѣрностью каждаго работника (тягла). Все это находится въ состояніи подавленномъ, искаженномъ, но все это живо, и пережило худшую эпоху.

Если это сколько нибудь такъ, то не надобно быть русскимъ для того, чтобъ именно въ эти черные дни Европы обратить на Россію особенное вниманіе. Оно впрочемъ такъ и дѣлается, Россія занимаетъ многіе сильные умы. Мнѣ самому случалось говорить объ Россіи съ серьезными людьми какъ Прудонъ и Маццини..... и я увѣряю, что взглядъ ненависти и страха, совершенно заслуженный тридцатилѣтнимъ царствованіемъ Николая, замѣняется раздумьемъ и желаніемъ поближе узнать это новое явленіе, котораго *силу и права на будущее* отрицать нельзя, да они и не хотятъ.

Дѣйствительно, на Западѣ не могли понимать Россіи, пока Западъ вѣрилъ въ себя и шелъ впередъ; но онъ убѣдился въ невозможности идти путемъ прежнихъ революцій, потерявъ разомъ всѣ плоды ихъ, кромѣ патологическаго урока. „Равенство рабства" позволило ближе всмотрѣться другъ въ друга, и именно потому Англія всего менѣе понимаетъ Россію; она равно не участвовала ни въ континентальныхъ революціяхъ, ни въ

общемъ паденіи. Она, свободная по своему, съ отчужденіемъ смотритъ на страну неволи и самовластья. Но другіе народы въ своихъ колодкахъ догадываются, что если временная необходимость втѣснила вчера въ мирный бытъ земледѣльческаго народа казарменную дисциплину и сдѣлала изъ всей Россіи военныя поселенія, то можетъ завтра другая необходимость все это уничтожить, такъ какъ Александръ II уничтожилъ аракчеевскія поселенія; эпоха военнаго деспотизма пройдетъ, оставивъ по себѣ неразрывно спаянное государственное единство и силы, закаленныя въ тяжкой и суровой школѣ.

Порогъ, за который Европа зацѣпилась, для насъ почти не существуетъ. Въ естественной непосредственности нашего сельскаго быта, въ шаткихъ и неустоявшихся экономическихъ и юридическихъ понятіяхъ, въ смутномъ правѣ собственности, въ отсутствіи сильнаго мѣщанства и въ необычайной усвоимости чужаго — мы имѣемъ шагъ передъ народами вполнѣ сложившимися и усталыми.

Утвердилось русское государство страшными средствами; рабствомъ, кнутомъ, казнями гнали народъ русскій къ образованію огромной имперіи, сквозь строй шелъ онъ на совершеніе судебъ своихъ. Сердиться на прошедшее, дѣло праздное; живой взглядъ состоитъ въ томъ, чтобъ равно воспользоваться силами, хорошо ли онѣ пріобрѣтены или дурно, кровью ли достались или мирнымъ путемъ. Военныя поселенія, какъ я сказалъ, проходятъ, но села остаются. На нашей движущейся, несложившейся почвѣ только и есть консервативнаго, что сельская община, т. е. только то, что слѣдуетъ сохранить.

Читалъ я ваши споры объ общинѣ; они очень любо-

римскимъ правомъ
момъ, ни съ като
Кормчая книга и
явленія жизни,
остальныя учре
насиліемъ. У на
ченныхъ предр
какъ параличе
основѣ народ
раздѣленіемъ
землею, съ
стью каждаго
состояніи по
и пережило
Если это
русскимъ
Европы об
впрочемъ
сильные у
сіи съ сер
н я увѣр
шенно з
Николая.
узнать
душес о
Дѣйс
пока З
убѣдил
волюці
логиче
же вс
глія в
ствов

ашъ? Вся новая программа нашей исторической
ности такъ проста, что тутъ не надобно генія,
о глаза, чтобы знать что дѣлать. Одна робость,
ость, оторопѣлость правительства мѣшаетъ ему
дорогу и оно пропускаетъ удивительное время.
и! чего нельзя сдѣлать этой весенней оттепелью
николаевской зимы; какъ можно воспользоваться
что кровь въ жилахъ снова оттаяла и сжатое
е стукнуло вольнѣе!

ло чувствъ больше тягостныхъ, больше придавли-
ихъ человѣка, какъ сознаніе, *что можно теперь*,
асъ ринуться впередъ, что все подъ руками и что
остаетъ одного пониманья и отваги со стороны ве-
ихъ. Машина топится, готова, жжетъ даромъ то-
иво, даромъ теряется сила, и все оттого, что нѣтъ
ѣлой руки, которая бы повернула ключъ, не боясь
рыва.

Пусть же знаютъ наши кондукторы, что народы про-
щаютъ многое — варварство Петра и развратъ Екате-
рины, прощаютъ насилія и злодѣйства, если они толь-
ко чуютъ силу и бодрость мысли. Но непониманье, но
блѣдную шаткость, но неумѣнье воспользоваться обсто-
ятельствами, схватить ихъ въ свои руки, имѣя неогра-
ниченную власть — ни народъ, ни исторія никогда не
прощаютъ, какое тамъ доброе сердце ни имѣй.

Мое страстное нетерпѣніе въ этомъ случаѣ нисколь-
ко не противурѣчитъ моей самоотверженной покорно-
сти трагическимъ судьбамъ Европы. Тутъ *я* вижу близ-
кую возможность, я ее осязаю, я дотрогиваюсь до нея;
на Западѣ ея нѣтъ, по крайней мѣрѣ на сію минуту.
Еслибъ я не былъ русскій, я давнымъ давно уѣхалъ
бы въ Америку.

Ты знаешь, что я не фаталистъ и ни въ какія пред-

опредѣленія не вѣрю, ни даже въ пресловутое „совершенствованіе человѣчества.“ Природа и исторія плетутся себѣ съ дня на день и во вѣки вѣковъ, сбиваясь съ дороги, прокладывая новыя, попадая на старыя, удивляя то быстротой, то медленностью, то умомъ, то глупостью, толкаясь всюду, но входя только туда, гдѣ ворота отперты. Говоря о возможномъ развитіи, я не говорю о его *неминуемой необходимости*; что изъ возможнаго осуществится, что нѣтъ, —я не знаю, потому что въ жизни народовъ очень много зависитъ отъ лицъ и воли. Я чую сердцемъ и умомъ, что исторія толкается именно въ наши ворота; если мы безсильны ихъ отворить, а сильные не хотятъ или не умѣютъ, дальнѣйшее развитіе прошедшаго найдетъ болѣе способные органы въ Америкѣ, въ Австраліи, гдѣ гражданственность складывается совсѣмъ на иной ладъ. Можетъ и сама Европа переработается, встанетъ, возьметъ одръ свой и пойдетъ по своей святой землѣ, подъ которой лежатъ столько мучениковъ и на которую пало столько поту и столько крови. Можетъ быть!

.... Но неужели въ самомъ дѣлѣ, выступивъ одной ногой на торную дорогу, мы опять увязнемъ въ болотѣ, давъ міру зрѣлище огромныхъ силъ и совершенной неспособности ихъ употреблять? Что-то перечитъ сердцу принять это!

Тяжелы эти сомнѣнія, тяжела эта потеря времени, силы!... Когда же падетъ завѣса *съ ихъ глазъ?* И чего они боятся идти по такому громкому зову будущаго? „Новая эпоха наступаетъ для Россіи,“ говорили мы, услышавъ о смерти Николая, говорятъ теперь всѣ русскіе журналы, говоритъ иными словами самъ государь. Ну, такъ пусть же она будетъ *новая.*

Во всемъ, что дѣлается, видно нашу несчастную

страсть къ предисловіямъ и введеніямъ, на которыхъ мы любимъ съ самодовольствомъ останавливаться. Какъ будто достаточно рѣшиться что нибудь сдѣлать, чтобъ дѣло и было сдѣлано.

Мало традицій имѣетъ петербургское императорство, но и онѣ какъ ядро на ногахъ Александра II. Какъ медленно и не прямо идетъ онъ по тому пути реформъ, о которыхъ самъ столько натолковалъ! Какъ мелко плаваетъ его самодержавная ладья! Этимъ шагомъ мы въ двѣсти лѣтъ врядъ догонимъ ли современную Пруссію. А все николаевское преданіе, николаевская политика и —что можетъ хуже всего— николаевскіе люди.

Пора перестать тупо бояться человѣческаго языка, бѣлаго дня изъ трусости передъ какой-то призрачной революціей, на которую нѣтъ готовыхъ элементовъ. Пора отказаться отъ нелѣпаго вмѣшательства во всѣ европейскія дрязги, поддерживая всякій разъ сторону тиранства, грубой силы, вопіющей неправды. Чортъ съ нимъ со всѣмъ съ этимъ дипломатическимъ вліяніемъ, за которое всѣ народы насъ ненавидятъ. Это не русская политика, а николаевская, голштинская. Николай сдѣлалъ изъ сентиментальнаго священнаго союза полицейскую стачку. Зачѣмъ же Александръ продолжаетъ ту же роль? Русское императорство совсѣмъ не связано съ судьбою вѣтхихъ европейскихъ троновъ, зачѣмъ же онъ хочетъ дѣлить безъ нужды всѣ ихъ гнусности и обрушивать на себя всѣ ненависти, заслуженныя тѣми?

Съ дѣлежа Польши отношеніе новой имперіи къ старой Европѣ измѣнилось. Но память о преступленіи должна вести не къ одному страху потерять неправо нажитое, а къ угрызенію совѣсти, къ раскаянію. Что же сдѣлалъ Александръ II для покаянья? У насъ остал-

ся въ памяти одинъ только пѣсенный напѣвъ, которымъ онъ окончилъ свою рѣчь въ Варшавѣ, — Pas de rêveries! Pas de rêveries!

Pas de rhétorique! Pas de rhétorique! скажемъ и мы въ свою очередь. Ужъ у насъ то нѣтъ мечтаній! Задавленные властью, неправосудіемъ, взятками, безгласностью, неуваженіемъ къ лицу, мы хотимъ безбоязненно говорить, чтобъ обмѣняться другъ съ другомъ мыслями, обличить злоупотребленія, отъ которыхъ само правительство краснѣетъ и которыя оно никогда не остановитъ безъ гласности. Мы хотимъ освобожденія крестьянъ отъ помѣщичьей власти и всей податной Россіи отъ палокъ, конечно это не rêveries, это очень положительно и чрезвычайно немного.

Да, это очень немного, но въ томъ-то и состоитъ наша юность, наша сила, что намъ такъ мало надобно для того, чтобы бодро и быстро ринуться впередъ. Мы не помощи просимъ отъ правительства, а чтобъ оно не мѣшало. Западъ напротивъ, имѣя такъ *много*, не можетъ воспользоваться своими богатствами, они ему достались не легко, онъ скупъ на нихъ, онъ консерваторъ, какъ всякій имущій. Намъ нечего беречь. Конечно нищета сама по себѣ еще не есть право на иную будущность и долгое рабство на свободу, но вотъ тутъ-то, идучи изъ противуположныхъ началъ къ противуположнымъ цѣлямъ, я встрѣчаюсь не съ Славянофилами, а съ нѣкоторыми изъ нихъ мыслей.

Я вѣрю въ способность русскаго народа, я вижу по всходамъ, какой можетъ быть урожай, я вижу въ бѣдныхъ, подавленныхъ проявленіяхъ его жизни — несознанное имъ средство къ тому общественному идеалу. до котораго сознательно достигла европейская мысль.

Вотъ отчего, любезный другъ, вы нашли созвучную

струну въ моемъ направленіи и въ направленіи, болѣе нежели ложномъ, вредномъ и опасномъ московскихъ литературныхъ старообрядцевъ, этихъ православныхъ Іезуитовъ, наводящихъ унынie на всякаго живаго человѣка. И вотъ отчего, горячо принимая новую общественную религію, возникшую на дымящихся кровью поляхъ реформаціи и революціи, съ біеніемъ сердца перечитывая великія сказанія тѣхъ временъ, я отворачиваюсь отъ современной Европы и мало имѣю общаго съ жалкими наслѣдниками сильныхъ отцовъ.

Не станемъ спорить о путяхъ, цѣль у насъ одна, будемте же дѣлать всѣ усилія, каждый по своимъ мышцамъ, на своемъ мѣстѣ, чтобъ уничтожить всѣ заборы, мѣшающіе у насъ свободному развитію народныхъ силъ, поддерживающіе негодный порядокъ вещей, будемте равно будить сознаніе народа и самаго правительства. А потому и заключаю мое длинное письмо къ тебѣ словами: *На работу, на трудъ, на трудъ въ пользу русскаго народа, который довольно въ свою очередь поработалъ на насъ!*

Лондонъ, 3 февраля 1857.

ЛИШНІЕ ЛЮДИ И ЖЕЛЧЕВИКИ.

> .. Онѣгины и Печорины были совершенно истинны, выражали дѣйствительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный типъ *лишняго*, потерянаго человѣка — только потому, что онъ развился въ *человѣкѣ* являлся тогда не только въ поэмахъ и романахъ, но на улицахъ и въ гостинныхъ, въ деревняхъ и городахъ...
>
> ...Но время Онѣгиныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ Россіи нѣтъ *лишнихъ* людей, теперь напротивъ, къ нашимъ огромнымъ запашкамъ не достаетъ рукъ. Кто теперь не найдетъ дѣла, тому пѣнять не на кого, тотъ въ самомъ дѣлѣ *пустой* человѣкъ свищъ или лѣнтяй...
>
> КОЛОКОЛЪ 1859, л. 44.

Эти два разряда лишнихъ людей, между которыми сама природа воздвигла Обломовскій хребетъ, а генеральное межеваніе исторіи вырыло пограничную яму, именно ту, въ которой схороненъ Николай постоянно смѣшиваются. А потому мы хотимъ, съ Катоновскимъ пристрастіемъ къ дѣлу побѣжденныхъ, вступиться за стариковъ. Лишніе люди были тогда столько же *необходимы*, какъ *необходимо* теперь, чтобъ ихъ не было.

Ничего нѣтъ плачевнѣе, какъ середь возникающей дѣятельности, неустроенной еще и угловатой, но пол-

ной стремленій и начинаній встрѣчать этихъ оторопѣлыхъ, нервно-разслабленныхъ юношей, теряющихся передъ упругостью практической работы и чающихъ дароваго разрѣшенія трудностей и отвѣтовъ на вопросы, которые они никогда ясно не могли поставить.

Мы этихъ вольноопредѣляющихся въ лишніе люди отводимъ, и такъ какъ французы признаютъ истинными гренадерами только les vieux de la vieille, такъ мы признаемъ почетными и *дѣйствительно* лишними людьми только *николаевскихъ*. Мы сами принадлежали къ этому несчастному поколѣнію и догадавшись, очень давно, что мы лишніе на берегахъ Невы, препрактически пошли вонъ, какъ только отвязали веревку.

Себя намъ стало нечего защищать, но бывшихъ товарищей жаль, и мы хотимъ оборонить ихъ отъ слѣдующаго за ними выпуска больныхъ изъ Николаевскаго лазарета.

Нельзя не раздѣлять здоровый, реалистическій взглядъ, который въ послѣднее время, въ одномъ изъ лучшихъ русскихъ Обозрѣній, сталъ выбивать тощую, моральную точку зрѣнія на французскій манеръ, ищущую личной отвѣтственности въ общихъ явленіяхъ. Историческіе слои, также худо какъ геологическіе, обсуживаются уголовной палатой. И люди говорящіе, что не на взяточниковъ и казнокрадовъ слѣдуетъ обрушивать громы и стрѣлы, а на среду дѣлающую взятки зоологическимъ признакомъ цѣлаго племени, на примѣръ *безбородыхъ Русскихъ*—совершенно правы.

Мы только и желаемъ, чтобъ николаевскіе лишніе люди состояли на правахъ взяточниковъ и пользовались бы привилегіями дарованными казнокрадамъ. Они это тѣмъ больше заслужили, что они не только лишніе люди, но почти всѣ люди умершіе; а взяточники и казно-

крады живутъ и не только въ довольствѣ, но и въ историческомъ оправданіи.

Съ кѣмъ тутъ сражаться, надъ кѣмъ смѣяться, — съ одной стороны упавшіе отъ утомленія, съ другой помятые машиной; винить ихъ за это такъ же невеликодушно, какъ винить золотушныхъ и лимфатическихъ дѣтей за худосочіе ихъ родителей.

Серьезный вопросъ можетъ быть одинъ — точно ли эти болѣзненныя явленія были обусловлены средой, обстоятельствами?....

Кажется, въ этомъ сомнѣваться трудно.

Нечего повторять о томъ, какъ туго, тяжело развивалась Русь. Кнутомъ и татарами насъ держали въ невѣжествѣ, топоромъ и нѣмцами насъ просвѣщали и въ обоихъ случаяхъ рвали намъ ноздри и клеймили желѣзомъ. Петръ I такимъ клиномъ вбилъ намъ просвѣщеніе, что Русь не выдержала и треснула на два слоя. Едва теперь, черезъ полтораста лѣтъ, мы начинаемъ понимать, какъ раздвинулась эта трещина. Ничего общаго между ними; съ одной стороны—грабежъ и презрѣніе, съ другой—страданіе и недовѣріе. Съ одной стороны ливрейный лакей, гордый своимъ общественнымъ положеніемъ, и надменно показывающій это; съ другой—обобранный мужикъ, ненавидящій его и скрывающій это. Никогда турокъ рѣзавшій, уводившій женщинъ въ гаремы, не тѣснилъ такъ систематически и не презиралъ такъ нагло франка и грека, какъ шляхетская Русь — Русь крестьянскую. Нѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы единоплеменная каста, взявшая верхъ, сдѣлалась бы до такой степени чужестранной, какъ наше служилое дворянство. Ренегатъ всегда доходитъ до крайности, до нелѣпаго и отвратительнаго; до того наконецъ, чтобъ сажать человѣка въ тюрьму, потому

что онъ будучи литераторомъ *одѣвается по русски*, не пускать его въ трактиръ, потому что онъ въ кафтанѣ и подпоясанъ кушакомъ. Это колосально и напоминаетъ индѣйскую Азію!

На закраинахъ этихъ, дико противопоставленныхъ другъ другу міровъ, развились странныя явленія, указывавшія въ самой сломанности своей на потаенныя силы, которымъ неловко, которыя ищутъ другого. Сюда принадлежатъ на первомъ планѣ Раскольники и Декабристы, а потомъ всѣ Западники и Восточники, Онѣгины и Ленскіе, лишніе и желчевые люди — всѣ они, какъ вѣтхозавѣтные пророки, были вмѣстѣ протестомъ и надеждой; ими Россія усиливалась отдѣлаться отъ петровскаго періода, или переработать его въ свое настоящее тѣло и въ свою здоровую плоть. Эти патологическія образованія (формаціи), вызванныя условіями имъ современной жизни, непремѣнно пройдутъ съ перемѣной условій, такъ какъ теперь уже прошли *лишніе люди;* но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ они заслуживали судъ и осужденіе, развѣ только отъ своихъ младшихъ товарищей по службѣ? И это на томъ основаніи, на которомъ одинъ изъ жителей Бедлама съ негодованіемъ показывалъ на больнаго, называвшаго себя апостоломъ Павломъ, въ то время какъ онъ, самъ Христосъ, навѣрное зналъ, что это не Павелъ апостолъ, а просто лавочникъ изъ Флитъ-стрита.

Вспомнимъ, какъ развились лишніе люди.

Казнь на Кронверской куртинѣ 13 Іюля 1826 года не могла разомъ остановить или измѣнить потокъ тогдашнихъ идей, и дѣйствительно, въ первую половину Николаевскаго тридцатилѣтія, продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиція Александровскаго времени и Декабристовъ. Дѣти, захваченные въ школахъ, осмѣли-

вались держать прямо свою голову: они не знали еще, что они арестанты воспитанія.

Такъ они и вышли изъ школъ.

Это уже далеко не тѣ свѣтлые, самонадѣянные, восторженные, раскрытые всему юноши, какими намъ являются при выходѣ изъ лицея Пушкинъ и Пущинъ. Въ нихъ уже нѣтъ ни гордой, непреклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущеннаго разгула Полежаева, ни даже свѣтлой грусти Веневитинова. Но еще въ нихъ хранилась вѣра, унаслѣдованная отъ отцевъ и старшихъ братьевъ, вѣра въ то что *„она взойдетъ — заря пленительнаго счастья“*, вѣра въ западный либерализмъ, которому вѣрили тогда всѣ — Лафайетъ и Годефруа Каваньякъ, Берне и Гейне. Испуганные и унылые они чаяли выйти изъ ложнаго и несчастнаго положенія. Это та послѣдняя надежда, которую каждый изъ насъ ощущалъ передъ кончиной близкаго человѣка. Одни доктринеры, красные и пестрые — все равно, легко принимаютъ самые страшные выводы, потому что они ихъ собственно принимаютъ in effigie, на бумагѣ.

Между тѣмъ каждое событіе, каждый годъ подтверждалъ имъ страшную истину, что не только правительство противъ нихъ, съ висѣлицей и шпіонами, съ обручемъ, которымъ палачъ сжималъ голову Пестелю, и съ Николаемъ, надѣвавшимъ этотъ обручъ на всю Россію, но что и *народъ не съ ними*, или по крайней мѣрѣ что онъ совершенно чужой: если онъ и не доволенъ, то совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ они недовольны. Рядомъ съ этимъ подавляющимъ сознаніемъ, съ другой стороны, развивалось больше и больше сомнѣніе въ самыхъ основныхъ, незыблемыхъ основаніяхъ западнаго воззрѣнія. Почва пропадала подъ ногами; по неволѣ въ такомъ недоумѣніи приходилось въ самомъ дѣлѣ идти на

службу, или сложить руки и сдѣлаться *лишнимъ, праздным*. Мы смѣло говоримъ, что это одно изъ самыхъ трагическихъ положеній въ мірѣ. Теперь лишніе люди анахронизмъ, но вѣдь Ройе Колларъ или Бенжаменъ Констанъ были бы теперь тоже анахронизмомъ, однако нельзя же за это пустить въ нихъ камнемъ.

Пока умы оставались въ тоскѣ и тяжеломъ раздумьи, не зная какъ выйти, куда идти, Николай шелъ себѣ съ тупымъ, стихійнымъ упорствомъ, затапливая всѣ нивы и всѣ всходы. Знатокъ своего дѣла, онъ съ 1831 года началъ воевать съ дѣтьми; онъ понялъ, что въ ребяческомъ возрастѣ надобно вытравлять все человѣческое, чтобъ сдѣлать вѣрноподданныхъ по образу и по подобію своему.

Воспитаніе, о которомъ онъ мечталъ, сложилось. Простая рѣчь, простое движеніе считалось такою же дерзостью, преступленіемъ, какъ раскрытая шея, какъ растегнутый воротникъ. И это избіеніе душъ младенческихъ продолжалось тридцать лѣтъ!

Отраженный въ каждомъ инспекторѣ, директорѣ, ректорѣ, дядькѣ — стоялъ Николай передъ мальчикомъ въ школѣ, на улицѣ, въ церкви, даже до нѣкоторой степени въ родительскомъ домѣ, стоялъ и смотрѣлъ на него оловянными глазами безъ любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не замѣтятъ ли *глаза* какой нибудь ростокъ свободной мысли, какое нибудь человѣческое чувство.

А кто знаетъ, что за химическое измѣненіе въ составѣ ребячей крови и нервной пульпы дѣлаетъ застращенное чувство, остановленное слово, слово скрывшееся, чувство подавленное?

Испуганные родители помогали Николаю; они скрывали отъ дѣтей единственное благородное воспоминаніе,

чтобъ спасти ихъ невѣденіемъ. Молодежь росла безъ традицій, безъ будущато — кромѣ карьеры. Канцелярія и казарма мало по малу побѣдили гостинную и общество, аристократы шли въ жандармы, Клейнмихели — въ аристократы; ограниченная личность Николая мало по малу отпечатлѣлась на всемъ, всему придавая какой-то казенный, правильный видъ,—все опошляя.

Разумѣется, середь этого несчастія не все погибло. Ни одна чума, ни даже тридцатилѣтняя война не избила всего. Человѣкъ живущъ. Потребность человѣческаго развитія, стремленіе къ независимой самобытности уцѣлѣло, и притомъ всего больше въ двухъ македонскихъ фалангахъ нашего образованія, въ московскомъ университетѣ и царско-сельскомъ лицеѣ; онѣ пронесли черезъ все царство мертвыхъ душъ, на молодыхъ плечахъ своихъ, кивотъ, въ которомъ лежала будущая Россія, ея живую мысль, ея живую вѣру въ грядущее.

Исторія не забудетъ ихъ.

Но въ этой борьбѣ и они по большей части утратили *молодость* своей юности, они затянулись и преждевременно перезрѣли. Старость ихъ коснулась прежде гражданскаго совершеннолѣтія. Это не *лишніе*, не праздные люди, это люди *озлобленные*, больные душой и тѣломъ, люди зачахнувшіе отъ вынесенныхъ оскорбленій, глядящіе изъ подлобья и которые не могутъ отдѣлаться отъ желчи и отравы, набранной ими, больше чѣмъ за пять лѣтъ тому назадъ. Они представляютъ явный шагъ впередъ, но все же болѣзненный шагъ; это уже не тяжелая хроническая летаргія, а острое страданіе, за которымъ слѣдуетъ выздоровленіе или похороны.

Лишніе люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и

желчевики, наиболѣе сердящіеся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень скоро, они слишкомъ угрюмы, слишкомъ дѣйствуютъ на нервы, чтобы долго держаться. Жизнь, не смотря на XVIII вѣковъ христіанскихъ сокрушеній, очень языческимъ образомъ предана эпикуреизму, и à la longue не можетъ выносить наводящія унынiе лица Невскихъ Даніиловъ, мрачно упрекающихъ людей, зачѣмъ они обѣдаютъ безъ скрежета зубовъ и, восхищаясь картиной или музыкой, забываютъ о всѣхъ несчастіяхъ міра сего.

Смѣна имъ идетъ; мы уже видимъ, какъ изъ дальнихъ университетовъ, изъ здоровой Украйны, съ здороваго сѣверовостока, являются совсѣмъ иные люди съ непочатыми силами и крѣпкими мышцами, и можетъ намъ старикамъ еще придется черезъ болѣзненное поколѣніе протянуть руку кряжу свѣжему, который кротко простится съ нами и пойдетъ своей широкой дорогой.

Типъ желчныхъ людей мы изучили не на мѣстѣ, и не по книгамъ, мы его изучили по экземплярамъ, выѣзжавшимъ за Нѣманъ, а иногда и за Рейнъ съ 1850 года.

Первое, что насъ поразило въ нихъ, это легость, съ которой они отчаявались во всемъ, злая радость ихъ отрицанія и страшная безпощадность. Послѣ событій 1848 г., они были разомъ поставлены на высоту, съ которой видѣли пораженіе республики и революціи, вспять идущую цивилизицію, поруганныя знамена — и не могли жалѣть незнакомыхъ бойцовъ. Тамъ гдѣ нашъ братъ останавливался, оттиралъ, смотрѣлъ, нѣтъ ли искры жизни, они шли дальше пустыремъ логической дедукціи, и легко доходили до тѣхъ рѣзкихъ, послѣднихъ выводовъ, которые пугаютъ своей радикальной

бойкостью, но которые какъ духи умершихъ представляютъ сущность уже вышедшую изъ жизни — а не жизнь. Въ этихъ выводахъ, русскій вообще пользуется передъ европейцемъ страшнымъ преимуществомъ, у него тутъ нѣтъ ни традиціи, ни роднаго, ни привычки. Всего безопаснѣе по опаснымъ дорогамъ проходитъ человѣкъ, не имѣющій ни чужаго добра, ни своего.

Это освобожденіе отъ всего традиціоннаго доставалось не здоровымъ, юнымъ натурамъ, а людямъ, которыхъ душа и сердце были поломаны по всѣмъ составамъ. Послѣ 1848 г. въ Петербургѣ нельзя было жить. Самодержавіе дошло до геркулесовыхъ столбовъ нелѣпости, до инструкціи преподавателямъ военно-учебныхъ заведеній, до Бутурлинскаго проэкта закрыть университеты, до подписи цензора Елагина на трафаретахъ. Чему же дивиться, что юноши, вырвавшіеся изъ этой пещеры, были юродивые и больные?

Потомъ они завяли безъ лѣта, не зная ни свободнаго размаха, ни вольно сказаннаго слова. Они носили на лицѣ глубокой слѣдъ души помятой и раненой. У каждаго былъ какой нибудь тикъ, и сверхъ этого личнаго тика, у всѣхъ одинъ общій—какое-то снѣдающее ихъ раздражительное и *свернувшееся* самолюбіе. Отъ обидъ, отъ униженій, отъ отрицанія всѣхъ правъ личности, у нихъ развилось затаенное притязаніе на удивленіе; эти неразвившіеся таланты, неудавшіеся геніи скрывались подъ личиною униженія и скромности. Всѣ они были ипохондрики и физически больные, не пили вина и боялись открытыхъ оконъ, всѣ съ изученнымъ отчаяніемъ смотрѣли на настоящее, и напоминали монаховъ, которые изъ любви къ ближнимъ доходили до ненависти ко всему человѣческому, и проклинали все на свѣтѣ изъ желанія что нибудь благословить.

Половина ихъ постоянно каялась, другая постоянно карала.

Да, у нихъ остались глубокіе рубцы на душѣ. Петербургскій міръ, въ которомъ они жили, отразился въ нихъ самихъ; вотъ откуда ихъ безпокойный тонъ, языкъ saccadé, и вдругъ расплывающійся въ бюрократическое празднословіе, уклончивое смиреніе и надменные выговоры, намѣренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятіе впередъ всѣхъ обвиненій и безпокойная нетерпимость директора департамента.

Этотъ fion директорскаго распекательнаго слога, презрительный и съ прищуренными глазами, для насъ противнѣе генеральскаго сиплаго крика, напоминающаго густой лай остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положенію.

Тонъ не бездѣлица.

Das was innen — das ist draussen!

Добрѣйшіе по сердцу и благороднѣйшіе по направленію, они, т. е. желчные люди наши, тономъ своимъ могутъ довести ангела до драки и святаго до проклятія. Къ тому же, они съ такимъ aplomb преувеличиваютъ все на свѣтѣ — и не для шутки, а для огорченія, что просто терпѣнія нѣтъ. На всякое „бутылками и пребольшими“ у нихъ готово мрачное „нѣтъ-съ бочками сороковыми!“

— Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ (говорилъ намъ недавно одинъ желчевикъ sehr ausgezeichnet in seinem Fache), дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ à la Oneghine?... И извольте видѣть, они образовались иначе, міръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, замараютъ ру-

ки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и притомъ спокойно ѣсть да пить.

Мы было ввернули слово въ пользу нашего раздѣленія лишнихъ людей на вѣтхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ. Но Даніилъ и слушать не хотѣлъ о раздѣлѣ, ему не было дѣла ни до Обломовскаго хребта, ни до того, что въ мѣди отлитой Николай покоится въ бозѣ, и именно потому и отлитъ въ мѣди. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру иного солнца и другихъ деревьевъ.

— Позвольте же мнѣ хоть на этомъ основаніи и въ качествѣ homo Benkendorfii testes, защитить нашихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали, или дѣлали вздоръ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, они были романтики и аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило, да и того правда они не умѣли.

— Въ такомъ случаѣ я буду называть имена, напримѣръ Чаадаевъ, онъ не умѣлъ взяться за топоръ, но умѣлъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумѣніи о себѣ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете. Нѣмецъ Вигель обидѣлся за Россію, протестантъ и будущій католикъ Бенкендорфъ обидѣлся за православіе и Чаадаева *высочайшей ложью* объявили сумасшедшимъ и взяли съ него подписку не писать. Надеждина, напечатавшаго статью въ „*Телескопѣ*,“ сослали въ Усть-Сысольскъ, ректора старика Бол-

дырева отставили, Чаадаевъ сдѣлался празднымъ человѣкомъ. Иванъ Кирѣевскій, положимъ, не умѣлъ сапогъ шить, но умѣлъ издавать журналъ; издалъ двѣ книжки — запретили журналъ; онъ помѣстилъ статью въ Денницѣ, цензора Глинку посадили на гауптвахту, — Кирѣевскій сдѣлался лишнимъ человѣкомъ. Н. Полеваго конечно нельзя обвинить въ лѣни; человѣкъ онъ былъ изворотливый, а все таки крылья „*Телеграфа*“ подвязали, и, признаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ женатый человѣкъ, обремененный семьей, боится квартальнаго, я не смѣялся, а чуть не плакалъ.

— А Бѣлинскій умѣлъ писать и Грановскій умѣлъ читать лекціи, они не сложили рукъ.

— Если являлись люди съ такой энергіей, что могли писать или читать лекціи въ виду тройки и казематъ, то не ясно ли, что множество людей съ меньшими силами были парализованы и глубоко страдали этимъ.

— Зачѣмъ же они въ самомъ дѣлѣ не пошли въ сапожники, въ дровосѣки, все лучше бы?

— За тѣмъ вѣроятно, что у нихъ было на столько денегъ, чтобъ не нуждаться въ такой скучной работѣ; я не слыхалъ, чтобъ кто нибудь изъ удовольствія принялся шить сапоги. Одинъ Людовикъ XVI былъ королемъ по ремеслу и слесаремъ по страсти. Впрочемъ, не вы первые замѣтили этотъ недостатокъ въ практическомъ трудѣ у лишнихъ людей; бдительное правительство наше, для пополненія этого недостатка, посылало ихъ въ каторжную работу.

— Ископаемый другъ мой, я вижу, что и вы еще на работу смотрите какъ-то сверху внизъ.

— Какъ на вовсе не веселую необходимость.

— Почему же имъ не дѣлить общей необходимости?

— Безъ сомнѣнія. Да во первыхъ родились они не въ Сѣверной Америкѣ, а въ Россіи и по несчастію не такъ были воспитаны.

— Зачѣмъ не такъ воспитаны?

— За тѣмъ что родились не въ податной Россіи, а въ шляхетской; можетъ это и въ самомъ дѣлѣ предосудительно, но, находясь тогда въ неопытномъ положеніи церкаріевъ, они по малолѣтству за свои поступки отвѣчать не могутъ. А уже разъ сдѣлавъ эту ошибку въ выборѣ родителей, они должны были подвергнуться и тогдашнему воспитанію. Да кстати, на какомъ это правѣ вы требуете отъ людей, чтобъ они дѣлали то или другое. Это какая-то новая принудительная организація работъ, что-то въ родѣ соціализма, переложеннаго на нравы министерства государственныхъ имуществъ.

— Я не заставляю никого работать, я констатирую фактъ, это были праздные, пустые аристократы, жившіе покойно и хорошо, и не вижу причины, почему мнѣ сочувствовать имъ.

— Заслуживаютъ ли они симпатіи или нѣтъ, это пусть себѣ рѣшаетъ каждый, какъ хочетъ. Всякое человѣческое страданіе, особенно фаталистическое, возбуждаетъ наше сочувствіе, и нѣтъ ни одного страданія, которому бы нельзя было не отказать въ немъ. Мученики первыхъ вѣковъ вѣрили въ искупленіе, вѣрили въ будущую жизнь. Римскіе Мухановы, Тимашевы, Лужины заставляли христіянъ склоняться въ прахъ предъ августѣйшимъ изображеніемъ цезаря, христіяне не хотѣли сдѣлать этой пустой уступки, ихъ травили звѣрями. Они были сумашедшіе, Римляне полоумные, тутъ нѣтъ мѣста ни сочувствію, ни удивленію... но тогда прощай не только Термопилы съ Голгоѳой, но и Софоклъ съ

Шекспиромъ. да кстати и вся длинная, безконечная эпопея, которая безпрестанно оканчивается сумасброднымп трагедіями и безпрестанно идетъ далѣе подъ названіемъ Исторіи.

Данілъ нашъ, какъ и слѣдуетъ въ спорѣ, не сдавался. Мнѣ стало все это надоѣдать и я, пользуясь моимъ палеонтологическимъ значеніемъ, сказалъ ему: „Воля ваша, а вѣдь это пустое дѣло гнать людей или умершихъ или приготовляющихся къ смерти, и гнать въ такомъ обществѣ, гдѣ почти всѣ живые хуже ихъ — военные и штатскіе, помѣщики и попы; знаете ли что, если васъ особенно прельщаетъ censura morum и суровая должность моралиста вамъ такъ нравится, возьмите что нибудь оригинальное. Я вамъ пожалуй укажу типы, вреднѣе не только мертвыхъ, но и живыхъ лишнихъ людей.“

— Какіе же типы?

— Ну да хоть бы литературнаго ruffiano.

— Не понимаю.

— Въ блѣдной и обиженной цензурой литературѣ нашей, до послѣдняго времени, было множество всякихъ чудаковъ, но большей частію это были люди чистые, люди честные. Аферисты, плуты, дѣлатели фальшивыхъ векселей и истинныхъ доносовъ, если и попадались, то они или были со стороны правительства, или шныряли гдѣ-то по подваламъ и никогда не лезли на видныя мѣста, точно лондонскіе тараканы, держащіеся въ кухнѣ и не являющіеся въ салонѣ. Такимъ образомъ сохранилась у насъ наивная вѣра въ поэта и писателя. Мы не привыкли къ тому, что можно лгать духомъ и торговать талантомъ такъ, какъ продажныя женщины лгутъ тѣломъ и продаютъ красоту, мы не привыкли къ барышникамъ, отдающимъ въ ростъ свои

слезы о народномъ страданьи, ни къ промышленникамъ, дѣлающимъ изъ сочувствія къ пролетарію оброчную статью. И въ этомъ довѣріи, давно не существующемъ на Западѣ, бездна хорошаго, и намъ всѣмъ слѣдуетъ поддерживать его. Повѣрьте, что гонитель неправды, сзывающій позоръ и проклятіе на современный срамъ и запустѣніе и въ тоже время запирающій въ свою шкатулку деньги, явно наворованныя у друзей своихъ, при теперешнемъ броженіи всѣхъ понятій, при нашей распущенности и удобовпечатлительности — вреднѣе и заразительнѣе всѣхъ праздныхъ и лишнихъ людей, желчевыхъ и слезливыхъ!

Не знаю, согласился ли мой Данилъ....

КНЯГИНЯ ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА

ДАШКОВА.

„Очень бы мнѣ хотѣлось, пишетъ Миссъ Катринъ Вильмотъ своимъ роднымъ въ Ирландію изъ деревни Дашковой, чтобъ вы могли взглянуть на самую Княгиню. Въ ней все, языкъ и платье — все оригинально; чтобъ она ни дѣлала, она рѣшительно ни на кого не похожа. Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о такомъ. Она учитъ каменщиковъ класть стѣны, помогаетъ дѣлать дорожки, ходитъ кормить коровъ, сочиняетъ музыку, пишетъ статьи для печати, знаетъ до конца церковный чинъ и поправляетъ священника, если онъ не такъ молится, знаетъ до конца театръ и поправляетъ своихъ домашнихъ актеровъ, когда они сбиваются съ роли; она докторъ, аптекарь, фельдшеръ, кузнецъ, плотникъ, судья, законникъ; она всякій день дѣлаетъ самыя противоположныя вещи на свѣтѣ, ведетъ переписку съ братомъ, занимающимъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ имперіи, съ учеными, съ литераторами, съ жидами, съ своимъ сыномъ, со всѣми родственниками. Ея разговоръ, увлекательный по своей простотѣ, доходитъ иногда до дѣтской наивности. Она, нисколько не думая, говоритъ разомъ по французски, по итальянски, по русски, по англійски, путая всѣ языки вмѣстѣ.

„Она родилась быть министромъ или полководцемъ, ея мѣсто во главѣ государства.“

Все это вѣрно, но Миссъ Вильмотъ забываетъ, что сверхъ того Дашкова родилась *женщиной и женщиной* осталась всю жизнь. Сторона сердца, нѣжности, преданности была въ ней необыкновенно развита. Для насъ это особенно важно. Дашковою русская *женская личность*, разбуженная петровскимъ разгромомъ, выходитъ изъ своего затворничества, заявляетъ свою способность и требуетъ участія въ дѣлѣ государственномъ, въ наукѣ, въ преобразованіи Россіи и смѣло становится рядомъ съ Екатериной.

Въ Дашковой чувствуется та самая сила, не совсѣмъ устроенная, которая рвалась къ просторной жизни изъ подъ плѣсни московскаго застоя, что-то сильное, многостороннее, дѣятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическимъ воспитаніемъ и женственностью.

Екатерина II, дѣлая ее президентомъ Академіи, признала политическое равенство обоихъ половъ, совершенно послѣдовательное въ странѣ, принимавшей гражданскую правомѣрность женщинъ, остающихся на Западѣ прикрѣпленными къ мужьямъ или въ вѣчномъ несовершеннолѣтіи.

Въ русской исторіи, бѣдной личностями, записки женщины, участвовавшей на первомъ планѣ въ переворотѣ 1762 года и видѣвшей возлѣ всѣ событія отъ смерти Елизаветы до Тильзитскаго мира, чрезвычайно важны, тѣмъ больше, что мы очень мало знаемъ наше XVIII столѣтіе. Мы любимъ въ исторіи восходить гораздо дальше. Мы изъ-за Варяговъ, Новгородцевъ, Кіевлянъ не видимъ вчерашняго дня; зубчатыя кремлевскія стѣны заслоняютъ намъ плоскія линіи петропа-

вловской крѣпости. Разбирая отчетливо царскія грамоты, мы мало знаемъ, что писалось на ломаномъ русскомъ языкѣ въ петербургскихъ канцеляріяхъ, въ то время какъ подъ окнами зимняго дворца ревѣла дикая крамола и мятежъ, угрожая Сибирью и смертью его жителямъ, и тронъ не получилъ еще ту силу и прочность, которую онъ пріобрѣлъ не больше, какъ *семдесятъ пять* лѣтъ тому назадъ. Протверживать исторію этихъ временъ очень полезно и для правительства, чтобъ оно не забывалось, и для насъ, чтобъ мы не отчаявались.

Я желалъ бы хоть въ кратцѣ объяснить мою мысль. Вся Европа и, что гораздо хуже, всѣ русскіе принимаютъ императорскую власть въ ея современной формѣ за такую несокрушимую всегдашность русскаго быта, которая смѣется по праву надъ всѣми дерзновенными попытками и смѣло выдерживаетъ всякій натискъ, мощно и прочно уцѣпившись далеко развѣтвившимися корнями въ землю.

Императорская власть совсѣмъ напротивъ устоялась и окрѣпла весьма недавно. Она и теперь носитъ на себѣ слѣды своего революціоннаго начала; въ ней и до сихъ поръ перепутаны безъ всякаго порядка, какъ въ промежуточныхъ слояхъ земнаго шара, гранитъ старины, наносные пески, осколки, случайно захваченные сверху, всплывшіе снизу, мѣстами крѣпко слежавшіеся, но не соединенные химически.

Насъ вводятъ въ заблужденіе бармы Мономаха, тронъ царя Іоанна Васильевича, Успенскій Соборъ; но развѣ Наполеонъ не рядился въ мантію Карла Великаго и не надѣвалъ на свою голову желѣзной короны въ Миланѣ? Все это поддѣлки въ родѣ Чатертона; почтенныя черты старости и минувшаго берутся въ займы

для того, чтобы окружить новое уваженіемъ и увѣрить въ его прочности, такъ сказать въ его вѣковѣчности.

Русское императорство развилось изъ царской власти отвѣтомъ на сильную потребность *иной жизни*. Это военная и гражданская диктатура, гораздо больше сходная съ римскимъ цезаризмомъ, нежели съ феодальной монархіей. Диктатура можетъ быть очень сильна, поглощать въ себя всѣ власти, но прочна она быть не можетъ. Она существуетъ до тѣхъ поръ, пока обстоятельства, ее вызвавшія, останутся тѣ же и пока она сама вѣрна своему призванію.

Разумѣется, встрѣчая при выходѣ съ парохода вычищенную и выбѣленную лейбъ-гвардію, безмолвную бюрократію, несущихся курьеровъ, неподвижныхъ часовыхъ, казаковъ съ нагайками, полицейскихъ съ кулаками, полгорода въ мундирахъ, полгорода, дѣлающій фрунтъ, и цѣлый городъ, торопливо снимающій шляпу, и подумавъ, что все это лишено всякой самобытности и служитъ пальцами, хвостомъ, ногтями и когтями одного человѣка, совмѣщающаго въ себѣ всѣ виды власти — помѣщика, папы, палача, родной матери и сержанта, можетъ закружиться въ головѣ, сдѣлаться страшно, можетъ придти желаніе самому снять шляпу и поклониться, пока голова цѣла, и вдвое того можетъ захотѣться сѣсть опятъ на пароходъ и плыть куда нибудь. Все это такъ, и все это чувствовалъ (кромѣ послѣдняго) достопочтенный вестфальскій баронъ Гакстгаузенъ.

Этотъ сурово-мрачный, подавляющій видъ грубой силы приняло императорство особенно въ тридцатилѣтіе николаевскаго царствованія; стращать было у него въ принципѣ. Но тутъ невольно является вопросъ: Отчего же Николай не могъ въ эти тридцать лѣтъ забыть

„дурные четверть часа," проведенные имъ *при защитѣ* Зимняго Дворца 14 декабря 1825. Отчего, умирая, вспомнилъ онъ этотъ день и за него благодарилъ гвардію?

Оттого, что онъ понялъ сначала своего воцаренія, что его тронъ только силенъ *силой*. Онъ ею одной и держался, но чувствовалъ, что въ штыкахъ, что въ матеріальномъ гнетѣ ничего нѣтъ прочнаго, и искалъ иныхъ опоръ. Опоры, на которыя онъ обратилъ вниманіе, были вѣрны; рядомъ съ Самодержавіемъ онъ поставилъ Православіе и Народность. Но это былъ протестъ противъ петровскаго направленія, котораго весь смыслъ состоялъ въ секуляризаціи царской власти и общеевропейскомъ образованіи. Николай становился въ прямое противорѣчіе съ живымъ началомъ петровскаго императорства, а потому ничего нѣтъ удивительнаго, что прямой результатъ его царствованія былъ глухой разрывъ между нимъ и Россіей. Еслибъ онъ прожилъ еще десять лѣтъ, его тронъ развалился бы самъ собою; все перестало идти, все повяло, стало сохнуть, отъ всего отлеталъ духъ, безпорядки администраціи достигли чудовищныхъ размѣровъ. Его царствованіе была нелѣпость. Онъ понялъ, что, идя по направленію Александра, должно было неминуемо измѣнить болѣе человѣческими формами самодержавную власть, но этого онъ не хотѣлъ, а воображалъ, что онъ на столько независимъ отъ петровскихъ началъ, что онъ можетъ быть Петромъ и безъ нихъ.

Ему бы удалось можетъ быть, еслибъ въ самомъ дѣлѣ, какъ думаютъ московскіе старовѣры, переворотъ Петра былъ слѣдствіемъ личной воли, геніальнаго каприза; но онъ вовсе не былъ случайностью, а служилъ отвѣтомъ на инстинктивную потребность Руси развер-

нуть свои силы. Какъ иначе можно объяснить успѣхъ его?

Государственное развитіе Россіи шло медленно и было очень позднее, Русь жила на распашку и кой какъ собралась, подгоняемая татарами въ иконописное, т. е. суздальски-византійское Московское царство, формы его были неуклюжи и грубы, все шло неловко, апатично. Царская власть негодна была даже на защиту государства, и въ 1612 году Россія была спасена безъ царя. А между тѣмъ *что-то* говорило, что-то, *говорящее* до сихъ поръ въ сердцѣ каждаго изъ насъ, что подъ обвѣтшалыми и тяжелыми платьями бездна силъ и мощи. Это *что-то* и есть молодость, вѣра въ себя, сознаніе силы.

Крутой разрывъ со стариной оскорблялъ — но нравился, народъ любилъ Петра I, онъ его перенесъ въ легенды и сказки. Точно будто русскій человѣкъ догадался, что чего бы ни стоило, надо было переломить лѣнь и крѣпкимъ государственнымъ строемъ стянуть нашу распущенность. Безчеловѣчная дресировка Петра I и такихъ преемниковъ его какъ Биронъ, разумѣется. поселяла ужасъ и отвращеніе, но все это переносили за открывавшуюся ширь новой жизни. Такъ какъ во Франціи переносили терроръ.

Петровскій періодъ сразу сталъ народнѣе періода царей московскихъ. Онъ глубоко взошелъ въ нашу исторію, въ наши нравы, въ нашу плоть и кровь; въ немъ есть что-то необычайно родное намъ, юное; отвратительная примѣсь казарменной дерзости и австрійскаго канцелярства, не составляютъ его главной характеристики. Съ этимъ періодомъ связаны дорогія намъ воспоминанія нашего могучаго роста, нашей славы и нашихъ бѣдствій; онъ сдержалъ свое слово и создалъ сильное государство. Народъ любитъ успѣхъ и силу.

Когда Александръ диктовалъ въ Парижѣ законы всей Европѣ, одна сторона петровской идеи была окончена. Что же потомъ? Воротиться опять за 1700 годъ и сочетать военный деспотизмъ съ отчуждающейся отъ всего человѣческаго царской властію. Этого хотѣлъ Николай, десятокъ поврежденныхъ Славянофиловъ — и больше никто.

Если народъ и ненавидитъ чуждое ему нѣмецкое правительство, вполнѣ заслужившее это, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ любилъ московское царство, онъ его забылъ черезъ одно поколѣніе и совершенно не знаетъ.

Что мѣшало послѣ Петра I возвратиться къ едва протекшимъ временамъ. Все петербургское устройство висѣло на ниткѣ. Пьяныя и развратныя женщины, тупоумные принцы, едва умѣвшіе говорить по русски, нѣмки и дѣти садились за престолъ, сходили съ престола, дворцемъ шла самая близкая дорога въ Сибирь и на каторжную работу; горсть интригантовъ и кондотьеровъ завѣдывала государствомъ. Въ продолженіи всей этой сумятицы, мы не видимъ особеннаго желанія воротиться къ допетровскимъ временамъ. Напротивъ, то что постоянно остается во всѣхъ этихъ судорожныхъ перемѣнахъ, то что развивается вопреки ихъ и даетъ имъ рѣзкое единство, это именно *петровская идея*. Одна партія сбрасываетъ другую, пользуясь тѣмъ что новый порядокъ не обжился, но кто бы ни одолѣвалъ, до Петровскихъ основаній никто не касался, а всѣ принимали ихъ, Меншиковъ и Биронъ, Минихъ и самые Долгорукіе, хотѣвшіе ограничить императорскую власть, не въ самомъ же дѣлѣ прежней боярской думой.*) Елизавета и Екатерина II льстятъ православію,

*) О которой Кошихинъ такъ живописно отзывался, говоря, что

льстятъ народности для того, чтобъ овладѣть тропомъ но осѣвшись на немъ, онѣ продолжаютъ его путь. Екатерина II больше нежели кто нибудь.

Противодѣйствія новому порядку дѣлъ послѣ его жестокаго водворенія мы видимъ въ однихъ *неправославныхъ* раскольникахъ и въ страдательномъ неучастіи крестьянъ. Ворчливое упорство нѣсколькихъ стариковъ ничего не значитъ. Подавленная покорность всѣхъ „старовѣровъ“ была признаніемъ своего безсилія. Еслибъ было что нибудь живое въ ихъ воззрѣніи, непремѣнно были бы попытки, положимъ неудачныя, невозможныя, но были бы. Всякія Анны Леопольдовны, Анны Іоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексѣевны, находили людей отважныхъ и преданныхъ, подвергавшихся изъ за нихъ плахѣ и каторгѣ; погибающее казачество и смятое подъ ноги дворянства крѣпостное состояніе имѣло своего Пугачева, а Пугачевъ свои двѣсти тысячъ войска; Киргизъ-Кайсаки откочевали къ Китаю; крымскіе татары соединились съ турками; Малороссія громко роптала, всс оскорбленное или придавленное императорствомъ заявляло свой протестъ—старо-руская партія въ Россіи — никогда. У ней не было ни языка, ни преданныхъ людей, ни Полиботки, ни Мазепы!

И только полтораста лѣтъ послѣ Петра, она находитъ себѣ представителя и вождя и этотъ представитель и вождь—Николай. Еслибъ ему церковной нетерпимостью и народной исключительностію удалось пересоздать императорскую власть и замѣнить ея диктаторіальный характеръ чисто монархическимъ или царскимъ—это было бы несчастіе, но оно было невозможно. Едва Николай умеръ, Россія рвется снова на петров-

Бояре въ ней молчатъ, уставя глаза свои въ браду для того, чтобы показать глубокомысліе.

скую дорогу — и вовсе не въ завоевательномъ, не въ солдатскомъ направленіи его, а въ развитіи внутреннихъ матеріальныхъ и нравственныхъ силъ.

Петръ I былъ одинъ изъ раннихъ дѣятелей великаго XVIII столѣтія и дѣйствовалъ въ его духѣ, онъ былъ проникнутъ имъ какъ Фридрихъ II, какъ Іосифъ II. Его революціонный реализмъ беретъ верхъ надъ его царскимъ достоинствомъ — онъ деспотъ а не монархъ.

Мы всѣ знаемъ, какъ Петръ ломалъ старое и какъ устроивалъ новое. Тяжелому, неподвижному византійскому чину онъ противопоставилъ трактирные нравы, скучная грановитая палата превратилась при немъ въ разгульный дворецъ; вмѣсто законнаго престолонаслѣдія, онъ разъ предоставилъ императору право назначать кого хочетъ, другой разъ писалъ сенату, чтобъ онъ самъ избралъ достойнѣйшаго, если онъ погибнетъ въ турецкомъ плѣну и за тѣмъ отнятую у роднаго сына корону отдалъ горничной, которая, переходя изъ рукъ въ руки, дошла до него. Онъ упразднилъ мѣсто святѣйшаго патріарха, запретилъ мощамъ являться, и утеръ до суха всѣхъ скорбящія слезы чудотворныхъ иконъ. Въ странѣ упрямаго мѣстничества онъ посадилъ выше всѣхъ плебея Меншикова, водился съ иностранцами, даже съ арапами, напивался пьянъ съ матросами и шкиперами, буянилъ на улицахъ, словомъ, оскорблялъ всѣ стороны прежней чопорной русской жизни и важный царскій формализмъ.

Онъ далъ тонъ, наслѣдники продолжали его, преувеличивая и искажая; полвѣка послѣ него длится одна непрерывная оргія вина, крови, разврата — l'ultimo atto, какъ выразился одинъ итальянскій писатель—d'una tragedia—represeutato nel un lupanar.

Какое тутъ православіе, какой тутъ монархически-рыцарской принципъ?

Если во второй половинѣ царствованія Екатерины, трагической характеръ блѣднѣетъ, *то локалъ* остается тотъ же; исторію Екатерины II нельзя читать при дамахъ. Монархически растлѣнный Версаль, съ удивленіемъ смотрѣлъ на безпутство русскаго двора, такъ какъ на философскій либерализмъ Екатерины II, потому что Версаль не понималъ, что основанія императорской власти въ Россіи совсѣмъ не тѣ, на которыхъ зиждется французская королевская власть.

Когда Александръ сказалъ въ Тильзитѣ Наполеону, что онъ вовсе не согласенъ съ тѣмъ значеніемъ, которое онъ приписываетъ наслѣдственности царской власти, Наполеонъ думалъ, что онъ его обманываетъ. Когда онъ говорилъ мадамъ Стааль, что онъ только „счастливая случайность," она это приняла за фразу. А это была глубочайшая правда его.

Сердясь на трусость нѣмецкихъ государей, императоръ Александръ говорилъ въ своей прокламаціи 22 февраля 1813 ихъ подданнымъ; „Страхъ удерживаетъ ваши правительства, не останавливайтесь на этомъ, если ваши государи подъ вліяніемъ малодушія и подобострастья ничего не сдѣлаютъ, тогда долженъ раздаться голосъ подданныхъ и заставить государей, которые влекутъ свои народы въ рабство и несчастіе — вести ихъ къ свободѣ и чести".

Дѣло въ томъ, что Александръ еще понималъ петровскую традицію своей власти, онъ былъ слишкомъ близокъ къ первой эпохѣ императорства, чтобъ представлять изъ себя гвардейскаго папу всѣхъ реакцій. Онъ даже съ явнымъ сомнѣніемъ и нерѣшительностью прочелъ доносы Шервуда и Майбороды.

Безъ сомнѣній и мыслей сѣлъ на его мѣсто Николай и сдѣлалъ изъ своей власти машину, которая должна была вести Россію вспять. Но императорство не сильно, какъ скоро оно дѣлается консервативнымъ. Россія отрѣклась отъ всего человѣческаго, отъ покоя и воли, она шла въ нѣмецкую кабалу только для того, чтобъ выйти изъ душнаго и тѣснаго состоянія, которое ей было не подъ лѣта. Вести ее назадъ тѣми же средствами невозможно.

Только идучи впередъ къ цѣлямъ дѣйствительнымъ, только способствуя больше и больше развитію народныхъ силъ при общечеловѣческомъ образованіи и можетъ держаться императорство. Масло, которымъ будутъ смазывать паровозы на новыхъ желѣзныхъ дорогахъ, прочнѣе вѣнчаетъ на царство, нежели елей Успѣнскаго Собора.

Вѣрно ли понята нами императорская власть, ярко и живо показываютъ превосходныя записки Дашковой.

Цѣль наша будетъ вполнѣ достигнута, если бѣглый отчетъ нашъ объ ихъ содержаніи, заставитъ читателей взять въ руки самую книгу.

Въ 1744 году императрица Елизавета и великій князь Петръ Ѳедоровичъ крестили дочь Екатерину, родившуюся у графа Романа Воронцова, брата великаго канцлера. Семья Воронцовыхъ принадлежала къ тому небольшому числу олигархическаго барства, которые вмѣстѣ съ наложниками императрицъ управляли тогда, какъ хотѣли Россіей, круто переходившей изъ одного государственнаго быта въ другой. Они хозяйничали въ царствѣ точно такъ, какъ теперь у богатыхъ помѣщи-

ковъ дворовые управляютъ дальними и ближними волостями.

Пемѣщицу Елизавету Петровну любили, вовсе не потому, что она заслуживала это, ее любили за то, что покойница Анна Іоановна держала нѣмца Бирона управляющимъ, а у насъ нѣмцевъ управляющихъ терпѣть не могутъ. Она была народнѣе Анны Іоановны и Анны Леопольдовны; сверхъ петровской крови она имѣла всѣ недостатки русскаго характера — т. е. пила иногда запоемъ и всегда до того, что вечеромъ не могла дождаться, пока горничныя ее раздѣнутъ, а разрѣзывала шнурки и платья. Она ѣздила на богомолья, ѣла постное, была суевѣрна и страстно любила рядиться, — послѣ нея осталось 15,000 платьевъ, — любила пуще всего драгоцѣнные камни, какъ наши богатыя купчихи и вѣроятно имѣла столько же вкусу какъ онѣ, о чемъ можно судить потому, что она убрала себѣ цѣлую комнату янтаремъ.

Господа жили тогда съ своимъ дворомъ совсѣмъ на другой ногѣ, нежели теперь, между ними была какая-то близость и фамильярность, и не смотря на взрывы самовластья, они чувствовали новость своей власти и необходимость въ опорѣ.

Вдругъ напр. изъ Оперы императрица Елизавета беретъ Шувалова и ѣдетъ съ нимъ пить чай къ графу Воронцову, попробовать его венгерскаго, посплетничать, а если очень завруться, то „урѣзать„ или „отрѣзать“ языкъ кому нибудь, смотря по винѣ, и все это отечески, безъ шума, по домашнему и не подписывая изъ человѣколюбія ни одного смертнаго приговора.

Когда императрицыной крестницѣ минуло четырнадцать лѣтъ, у нея сдѣлалась корь. Корь и оспа были не шуткой въ тѣ времена, а чуть не государственнымъ

преступленіемъ; корь, оспа могли пристать къ Павлу Петровичу — къ этой будущей надеждѣ всея Россіи! Особый указъ воспрещалъ всякое сношеніе съ дворомъ семьямъ, въ которыхъ была страшная болѣзнь. Нашу больную графиню поскорѣе уложили и отправили въ деревню за семдесятъ верстъ, полагать надобно, что воздухъ тогда не былъ вреденъ для кори. Съ графиней послали старуху нѣмку и чопорную вдову русскаго маіора; умная, бойкая и живая дѣвочка, выздоровѣвшая отъ кори, чуть не умерла отъ скуки съ своими собесѣдниками; по счастію она нашла въ деревнѣ довольно значительную бибіотеку. Четырнадцатилѣтняя графиня знала четыре языка кромѣ русскаго, котораго она не знала и которому порядкомъ выучилась, бывши за мужемъ, въ угожденіе свой свекрови. Принялась она вовсе не за романы, а за Вольтера, Бэйля и пр. Чтеніе у нея превратилось въ страсть, тѣмъ не меньше книги не разогнали ея тоски, она груститъ и возвращается въ Петербургъ томной, нездоровой. Императрица посылаетъ къ ней своего доктора—и этотъ докторъ Боэргавъ; онъ говоритъ, что это ничего, что тѣло здорово, но что воображеніе больно... словомъ, что ей четырнадцать лѣтъ.

Послѣ Боэргава родные со всѣхъ сторонъ бросаются на бѣдную дѣвушку и съ неутомимой жестокостью принимаются ее разсѣевать, утѣшать, кормить; мучатъ ее разспросами, совѣтами. А она проситъ объ одномъ, чтобъ ее оставили въ покоѣ, она тогда читала de l'entendement Гельвеція.

Лекарство вскорѣ нашлось само собою.

Разъ вечеромъ графиня, довольно свободно располагавшая собой, отправляется къ Самариной, остается у нея ужинать, приказавъ прислать за собой карету. Въ оди-

надцать часовъ вечера она выходитъ, карета подана; но ночь такъ хороша, на улицахъ никого нѣтъ и она идетъ пѣшкомъ, сопровождаемая сестрой Самариной. На углу встрѣчается высокій, стройный мущина, онъ знакомъ съ ея провожатой, начинаетъ съ ней говорить и обращаетъ нѣсколько словъ къ графинѣ.

Графиня приходитъ домой и мечтаетъ о прекрасномъ офицерѣ. Офицеръ пріѣзжаетъ къ себѣ влюбленный въ прекрасную графиню.

Зачѣмъ терять золотое время, графиня уже не ребенокъ, это было въ 1759 году, ей пятнадцать лѣтъ; офицеръ молодъ, богатъ, блестящъ, очень высокъ, служитъ въ Преображенскомъ полку, принадлежитъ къ старинной фамиліи. Родные благословляютъ. помѣщица позволяетъ—ихъ женятъ. И наша графиня дѣлается княгиней Дашковой.

Черезъ полтора года послѣ ихъ свадьбы, Дашкова, будучи во второй разъ беременна, оставалась одна въ Москвѣ, въ то время какъ мужъ ея ѣздилъ въ Петербургъ. Его отпускъ окончился и онъ просилъ отсрочки. Преображенскимъ полкомъ тогда начальствовалъ Великій Князь, онъ тотчасъ бы отсрочилъ Дашкову отпускъ, но дѣла становились серьезны, и онъ хотѣлъ сблизиться съ офицерами. Императрица дышала на ладонъ, Шуваловы, Разумовскіе, Панины интриговали съ Великой Княгиней и безъ нея въ пользу Павла, даже въ пользу несчастнаго Іоанна — и въ всего больше въ свою собственную пользу. Великаго Князя не любили, онъ не былъ злой человѣкъ, но въ немъ было все то. что русская натура ненавидитъ въ нѣмцѣ — gaucherie, грубое простодушіе, вульгарный тонъ, педантизмъ и высокомѣрное самодовольство, доходящее до презрѣнія всего русскаго. Елизавета, бывшая вѣчно навеселѣ не

могла ему простить, что онъ всякій вечеръ былъ пьянъ; Разумовскій, что онъ хотѣлъ Гудовича сдѣлать Гетманомъ, Панинъ за его фельдфебельскія манеры; гвардія за то, что онъ ей предпочиталъ своихъ голштинскихъ солдатъ; дамы за то, что онъ вмѣстѣ съ ними приглашалъ на свои пиры актрисъ, всякихъ нѣмокъ; духовенство ненавидѣло его за его явное презрѣніе къ восточной церкви. Видя приближающуюся кончину Елизаветы и боясь быть оставленнымъ всѣми, неуклюжій Петръ Ѳедоровичъ принялся угощать и ласкать офицеровъ и все это дѣлалъ съ чрезвычайной неловкостью. Между прочимъ ему хотѣлось также увѣриться и въ Дашковѣ, который командовалъ ротой, поэтому онъ, не отказывая ему въ отпускѣ, призвалъ его въ Ораніенбаумъ.

Князь, повидавшись съ Петромъ Ѳедоровичемъ, отправился обратно въ Москву, на дорогѣ у него заболѣло горло, сдѣлалась лихорадка, не желая обезпокоить жены онъ велѣлъ свезти себя къ своей теткѣ Новосильцевой, думая, что боль въ горлѣ утишится, и голосъ нѣсколько возвратится; вмѣсто того у него сдѣлалась жаба и сильный жаръ.

Въ это самое время мать князя Дашкова и ея сестра княгиня Гагарина сидѣли въ спальнѣ нашей княгини вмѣстѣ съ повивальной бабкой, ожидая черезъ нѣсколько часовъ ея разрѣшенія. Дашкова еще была на ногахъ и вышла зачѣмъ-то въ другую комнату, тамъ ее давно поджидала горничная, и сообщила ей по секрету о пріѣздѣ больнаго мужа, говоря, что онъ у тетки и умоляя не выдавать ее, потому что всѣмъ строго на строго запрещено было сообщать ей эту новость. Княгиня вскрикнула при этой неожиданной вѣсти; по счастію старухи ничего не слыхали. Оправившись, она взошла

какъ ни въ чемъ не бывало въ спальню, увѣрила ихъ, что всѣ ошиблись, что роды еще не скоро, уговорила ихъ идти отдохнуть, обѣщая священнѣйшимъ образомъ послать за ними, если что случится.

Лишь только старухи ушли, княгиня бросилась со всей горячностью своего характера умолять повивальную бабку—проводить ее къ мужу. Добрая нѣмка думала, что она сошла съума и начала на своемъ силезскомъ нарѣчіи уговаривать ее, прибавляя безпрерывно: „Нѣтъ, нѣтъ, я послѣ должна буду дать Богу отвѣтъ за убіеніе невинныхъ“. Княгиня объявила ей рѣшительно, что если бабушка не хочетъ ее провожать, то она пойдетъ одна и никакая сила въ мірѣ ее не остановитъ. Страхъ подѣйствовалъ на старушку; но когда Дашкова ей сказала, что имъ надобно идти пѣшкомъ, чтобъ Княгиня не услыхала скрипъ саней, она снова уперлась и стояла неподвижно, „точно будто ноги ея пустили корни въ полъ“. Наконецъ уладилось и это; на лѣстницѣ у Дашковой возвратились боли и притомъ сильнѣе, снова бабушка стала ее уговаривать, но она, уцѣпившись руками за поручья лѣстницы, была непреклонна.

Онѣ вышли за вороты и, не смотря на боли, добрались до дому Новосильцовой. Изъ свиданья съ мужемъ Дашкова помнитъ одно, что она увидѣла его блѣднаго, больнаго, лежавшаго въ забытьи, она только успѣла бросить одинъ взглядъ и безъ памяти упала на полъ. Въ этомъ положеніи люди Новосильцовой снесли ее на носилкахъ домой, гдѣ впрочемъ никто не подозрѣвалъ ея отсутствія. Новыя еще больше наряженныя боли привели ее въ память, она послала за свекровью и за теткой, а черезъ часъ родила сына Михайлу.

Въ шесть часовъ утра перевезли больнаго мужа;

мать положила его въ другой комнатѣ, запретивъ имъ имѣть всякія сношенія въ предупрежденіе того, чтобъ жаба не пристала къ родильницѣ, а въ сущности изъ маленькой ревности. Молодые супруги тотчасъ начинаютъ чувствительную переписку, что конечно для состоянія родильницы было опаснѣе жабы, которая совсѣмъ не заразительна; они пишутъ записочки днемъ и ночью до тѣхъ поръ, пока старуха ихъ находитъ, бранитъ горничныхъ и обѣщаетъ обобрать перья, карандаши и бумагу.

Женщина, которая умѣла такъ любить, и такъ выполнять волю свою вопреки опасности, страха и боли, должна была играть большую роль въ то время, въ которое она жила и въ той средѣ, къ которой принадлежала.

Двадцать восьмаго Іюля 1761 года, переѣхали Дашковы въ Петербургъ. „День, говоритъ она, который двѣнадцать мѣсяцевъ спустя сдѣлался такъ памятенъ и такъ *достославенъ* для моего отечества“.

Въ Петербургѣ ее ждало приглашеніе Великаго Князя — переѣхать въ Ораніенбаумъ. Ей не хотѣлось ѣхать, и отецъ насилу уговорилъ ее занять его дачу недалеко отъ Ораніенбаума. Дѣло въ томъ, что она уже тогда терпѣть не могла Великаго Князя, а была предана всѣмъ сердцемъ его женѣ. Еще въ родительскомъ домѣ она была представлена Великой Княгинѣ; Екатерина ее приласкала, умная и образованная дѣвушка ей понравилась. Екатерина умѣла той улыбкой, тѣмъ abandon, которымъ она очаровывала тридцать лѣтъ всю Россію, дипломатовъ и ученыхъ всей Европы, привязать къ себѣ Дашкову на вѣки. Съ перваго свиданія Дашкова любитъ Екатерину страстно, „обожаетъ ее“, какъ пансіонерки обожаютъ своихъ старшихъ со-

воспитанницъ; она влюблена въ нее, какъ мальчики бываютъ влюблены въ тридцатилѣтнихъ женщинъ.

За то она чувствуетъ такое же искренное отвращеніе отъ своего крестнаго отца Петра Ѳедоровича. Но хорошъ и онъ былъ, нечего сказать, мы это сейчасъ увидимъ.

Родная сестра Дашковой—Елизабета Романовна была открытой любовницей Великаго Князя. Онъ думалъ, что Салтыковъ и Понятовскій, эти счастливые предшественники Орловыхъ, Васильчиковыхъ, Новосильцовыхъ, Потемкиныхъ, Ланскихъ, Ермоловыхъ, Корсаковыхъ, Зоричей, Завадовскихъ, Мамоновыхъ, Зубовыхъ и цѣлой ширинги плечистыхъ virorum obscurorum, дали ему право не слишкомъ скупиться на свое сердце и вовсе не скрывать своихъ предпочтеній.

Отношеніе его къ Великой Княгинѣ уже было таково, что при первомъ представленіи Дашковой, онъ ей сказалъ; „Позвольте надѣяться, что вы намъ подарите не меньше времени, чѣмъ Великой Княгинѣ".

Съ своей стороны порывистая Дашкова и не думала скрывать своего предпочтенія къ Екатеринѣ. Великій Князь замѣтилъ это и спустя нѣсколько дней отвелъ разъ Дашкову въ сторону и сказалъ ей „съ простотой своей головы и съ добротой своего сердца", какъ она выражается—„Помните что безопаснѣе имѣть дѣло съ честными простаками, какъ ваша сестра и я, чѣмъ съ большими умами, которые выжмутъ изъ васъ сокъ до капли, а потомъ какъ апельсинную корку выбросятъ за окно".

Дашкова, отклоняя рѣчь, замѣтила ему, что императрица настоятельно изъявляла свое желаніе, чтобъ они одинаковымъ образомъ оказывали уваженіе какъ его высочеству, такъ и Великой Княгинѣ.

Тѣмъ не менѣе ей было необходимо являться иногда на великокняжескія куртажныя попойки. Характеръ этихъ праздниковъ былъ нѣмецки-казарменный, грубый и пьяный. Петръ Ѳедоровичъ, окруженный своими голштинскими генералами, (т. е. по словамъ Дашковой капралами и сержантами прусской службы, дѣтьми нѣмецкихъ мастеровыхъ, которыхъ родители не знали куда дѣть за безпутство и отдали въ солдаты), не выпуская трубки изо рта, напивался иногда до того, что лакеи его выносили на рукахъ.

Разъ за ужиномъ при Великой Княгинѣ и многочисленныхъ гостяхъ зашла рѣчь о сержантѣ гвардіи Челищевѣ и о предполагаемой связи, которую онъ имѣлъ съ графиней Гендриковой, племянницей императрицы, Великій Князь, уже сильно опьянѣвшій, замѣтилъ, что Челищеву слѣдовало бы отрубить голову для примѣра другимъ офицерамъ, чтобъ они не заводили шашней съ царскими родственницами. Голштинскіе сикофанты изъявляли всевозможными знаками свое одобреніе и сочувствіе, Дашкова не могла выдержать, чтобъ не замѣтить, что ей кажется очень безчеловѣчнымъ казнить за такое неважное преступленіе.

— Вы еще ребенокъ, отвѣчалъ Великій Князь, ваши слова доказываютъ это лучше всего, иначе вы бы знали, что скупиться на казни значитъ поощрять неподчиненность.

— Ваше высочество, отвѣчала Дашкова, вы пугаете насъ нарочно; за исключеніемъ старыхъ генераловъ, мы всѣ, имѣющіе честь сидѣть за вашимъ столомъ, принадлежимъ къ поколѣнію, никогда не видавшему смертной казни въ Россіи.

— Это ничего не значитъ—возразилъ Великій Князь — хорошъ за то былъ и порядокъ во всемъ. Говорю

вамъ, что вы еще дитя и ничего не смыслите въ этихъ дѣлахъ.

Всѣ до одного молчали. „Я готова — отвѣчала Дашкова — сознаться, что не въ состояніи понять ихъ: но не могу не радоваться при мысли, что ваша тетушка еще здравствуетъ и занимаетъ престолъ“.

Глаза всѣхъ обратились на смѣлую женщину. Великій Князь ничего не отвѣчалъ; онъ удовлетворился только тѣмъ, что высунулъ языкъ—милая шутка, которую онъ часто употреблялъ вмѣсто отвѣта, особенно будучи въ церкви.

Разговоръ этотъ, начавшій политическую карьеру Дашковой, замѣчателенъ сверхъ всего тѣмъ, что эти нероновскія рѣчи говорилъ самый кроткій въ мірѣ человѣкъ, никогда никого не казнившій. За столомъ было множество гвардейскихъ и кадетскихъ офицеровъ, слова Дашковой разнеслись съ быстротой молніи по всему городу. Онѣ пріобрѣли ей большую извѣстность, которую она сначала не умѣла цѣнить и которая сдѣлала изъ нея одинъ изъ центровъ и чуть ли не главный, около котораго собирались недовольные офицеры. На первый случай Дашкова была въ восхищеніи отъ того, что Великой Княгинѣ чрезвычайно понравился ея отвѣтъ. „Время, грустно прибавляетъ она, не научило еще меня тогда, какъ опасно говорить правду государямъ; если они и могутъ иногда это простить, то царедворцы никогда не прощаютъ“.

Дружба ея къ Екатеринѣ растетъ. Елизавета жила тогда въ Петергофѣ, тамъ *разъ въ недѣлю* Великой Княгинѣ было разрѣшено видѣть своего сына. Возвращаясь изъ дворца, она обыкновенно заѣзжала за Дашковой, брала ее съ собой и оставляла на весь вечеръ. Когда ей нельзя было заѣхать, она писала къ ней ко-

ротенькія записочки; отсюда возникла ихъ дружеская, интимная переписка, продолжавшаяся и послѣ отъѣзда съ дачи. Онѣ пишутъ о литературѣ, о мечтахъ, пишутъ о Вольтерѣ и о Руссо, стихами и прозой.

„Какія стихи и какая проза! — пишетъ Великая Княгиня къ Дашковой—и это въ семьнадцать лѣтъ. Я умоляю васъ не пренебрегать такимъ талантомъ. Можетъ я и не совсѣмъ безпристрастный судья, ваше лестное пристрастіе ко мнѣ виновато въ томъ, что вы избрали меня предметомъ стиховъ. Обвиняйте меня въ гордости сколько угодно, но я все таки скажу, что давно не читала такихъ правильныхъ и поэтическихъ произведеній.“

Екатерина съ своей стороны посылаетъ ей свои статьи и съ большей настойчивостію требуетъ, чтобъ она ихъ никому не показывала. „При тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ я обязана жить, всякій поводъ послужитъ къ самымъ непріятнымъ вымысламъ.“ Она до того боится, что проситъ Дашкову адресовать письма на имя ея горничной Катерины Ивановны и жжетъ ихъ, прочитавши. Что она называетъ „ничтожными поводами,“ можно догадаться по одному письму, гдѣ она опять говоритъ о своей рукописи; Дашкова возвратила ее съ большими похвалами и удостовѣряя ее, что она не выходила изъ ея рукъ. О содержаніи рукописи нигдѣ не сказано ни слова; но что это не были „правильные и поэтическіе стихи,“ это видно изъ слѣдующихъ словъ (посьмо 21): „Вы снимаете съ меня мои обязанности относительно моего сына, я вижу въ этомъ новое доказательство доброты вашего сердца. Я была глубоко потрясена знаками преданности, съ которыми меня встрѣтилъ народъ въ тотъ день. Никогда не была я такъ счастлива.“

Это письмо писано вскорѣ послѣ смерти императрицы Елизаветы, но мы еще не дошли до ея кончины.

Въ концѣ декабря 1761 года разнесся слухъ, что Елизавета очень больна. Дашкова распростуженная лежала въ постели, когда до нея дошла эта вѣсть. Мысль объ опасности великой княгини поразила ее, она съ нею также мало могла улежаться, какъ съ мыслію о болѣзни мужа; а потому, закутавшись въ шубу, морозной ночью 20 декабря отправилась она въ деревянный дворецъ на Мойкѣ, гдѣ тогда жила царская фамилія. Не желая, чтобъ ее видѣли, Дашкова оставила карету въ нѣкоторомъ разстояніи отъ дворца и пошла пѣшкомъ на маленькое крыльцо съ той стороны, гдѣ были комнаты великой княгини, не зная вовсе къ нимъ дороги. По счастію она встрѣтилась съ Катериной Ивановной, съ извѣстной горничной Екатерины; она сказала ей, что великая княгиня въ постелѣ; но Дашкова требовала, чтобъ она доложила, говоря, что ей непремѣнно надобно видѣться съ ней сейчасъ. Горничная, знавшая ее и ея преданность великой княгинѣ, повиновалась ей. Екатерина, знавшая, что Дашкова серьезно больна и что слѣдственно безъ особенно важныхъ причинъ не явилась бы ночью въ морозъ, велѣла ее принять.

Сначала она ее осыпала упреками за то, что не бережется, и видя, что она озябла, сказала ей: „Милая княгиня, прежде всего васъ надобно согрѣть, подите сюда ко мнѣ въ постель, подъ одѣяло“; укутавши ее, она спросила наконецъ, въ чемъ дѣло.

— Въ теперичномъ положеніи дѣлъ, отвѣчала Дашкова, когда императрицѣ остается жить только нѣсколько дней, можетъ нѣсколько часовъ, надобно, не теряя времени, принять мѣры противъ грозящей она-

сности и отвратить отъ васъ грозящую опасность. Бога ради, довѣрьтесь мнѣ, я докажу вамъ, что я достойна этого. Если вы уже имѣете опредѣленный планъ, употребите меня, распоряжайтесь мной, я готова.

Великая княгиня залилась слезами и, прижимая руку Дашковой къ сердцу, сказала ей: „Увѣряю васъ, что у меня никакого плана нѣтъ, я не могу ничего предпринять и думаю, что мнѣ остается одно—ожидать съ твердостью, что случится. Я отдаюсь на волю божію и на него одного полагаю мои надежды.

— Въ такомъ случаѣ ваши друзья должны дѣйствовать за васъ. Что касается до меня, я чувствую въ себѣ довольно силы и усердія, чтобъ ихъ всѣхъ увлечь, и повѣрьте мнѣ, что нѣтъ жертвы, которая бы меня остановила.

— Ради бога, перебила Екатерина, не подвергайте себя опасности, въ надеждѣ противодѣйствовать злу, которое въ сущности кажется неотвратимо. Если вы погубите себя изъ-за меня, вы только прибавите къ моей несчастной судьбѣ вѣчное мученіе.

— Все что я могу вамъ сказать, это то, что я не сдѣлаю шага, который могъ бы васъ запутать, или могъ бы быть опасенъ вамъ. Что бы ни было, пусть падетъ на меня, и если моя слѣпая преданность къ вамъ поведетъ меня на эшафотъ, вы никогда не будете его жертвой.

Великая Княгиня хотѣла возражать, но Дашкова*), перерывая ея рѣчь, взяла ея руку, прижала къ губамъ и, сказавши что боится продолжать бесѣду, просила ее

*) Дидро въ чрезвычайно интересной статьѣ своей о знакомствѣ съ Дашковой, говоря объ этомъ происшествіи, прибавляетъ, что Екатерина сказала ей: „Вы — или ангелъ или демонъ“. — „Ни то, ни другое, отвѣчала Дашкова, но императрица умираетъ и васъ надобно спасти“.

отпустить. Глубоко тронутыя, онѣ оставались нѣсколько минутъ въ объятіяхъ другъ друга, и Дашкова осторожно покинула до высшей степени взволнованную Екатерину.

Добавимъ къ этой чувствительной сценѣ, что Екатерина все таки обманула Дашкову; она поручала свою судьбу въ это время не одному Богу, но и Григорью Орлову, съ которымъ обдумывала свой планъ и Орловъ уже въ тиши старался вербовать офицеровъ.

Въ Рождество императрица скончалась. Петербургъ мрачно принялъ эту новость и сама Дашкова видѣла, какъ Семеновскій и Измайловскій полки проходили угрюмо и съ глухимъ ропотомъ мимо ея дома.

Петръ III, провозглашенный императоромъ, не хранилъ никакого декорума, попойки продолжались. Черезъ нѣсколько дней послѣ смерти Елизаветы, онъ посѣтилъ отца Дашковой и черезъ ея сестру изъявилъ свое неудовольствіе, что не видитъ ее при дворѣ. Нечего было дѣлать, Дашкова отправилась: Петръ III, понизивъ голосъ, сталъ ей говорить о томъ, что она наконецъ навлечетъ на себя его негодованіе и можетъ потомъ очень горько раскаяться въ томъ, „потому что легко можетъ придти время, въ которое Романовна (такъ называлъ онъ свою любовницу) будетъ на мѣстѣ *той*“.

Дашкова сдѣлала видъ, что не понимаетъ и торопилась занять свое мѣсто въ любимой игрѣ Петра III. Въ этой игрѣ (campis) каждый играющій имѣетъ нѣсколько марокъ; у кого остается послѣдняя, тотъ выигрываетъ. Въ игру каждый клалъ десять империаловъ, что по тогдашнимъ доходамъ Дашковой составляло не малую сумму, особенно потому, что когда проигрывалъ Петръ III, онъ вынималъ марку изъ кармана и клалъ ее въ пулю, такимъ образомъ онъ почти всегда вы-

игрывалъ. Какъ только игра кончилась, государь предложилъ другую, Дашкова отказалась; онъ пристаетъ до того къ ней, чтобъ она играла, что, пользуясь „правами избалованнаго ребенка“, она сказала ему, что она недостаточно богата, чтобъ проигрывать навѣрное, что еслибъ его величество игралъ какъ всѣ, то по крайней мѣрѣ были бы шансы выигрыша. Петръ Ш отвѣчалъ своими „привычными буфонствами“ и Дашкова откланялась.

Когда она проходила рядомъ залъ, наполненныхъ придворными и разными чинами, она подумала, что попала на маскарадъ, никого нельзя было узнать. Она не могла видѣть безъ смѣха семидесятилѣтняго князя Трубецкаго, одѣтаго въ первый разъ отроду въ военный мундиръ, затянутаго, въ сапогахъ со шпорами, словомъ, совсѣмъ готоваго на самый отчаянный бой. „Этотъ жалкій старичишка, прибавляетъ она, представлявшійся больнымъ и страждущимъ, какъ это дѣлаютъ нищіе, пролежалъ въ постелѣ, пока Елизавета кончалась; ему стало лучше, когда Петръ Ш былъ провозглашенъ, но узнавши, что все обошлось хорошо, онъ тотчасъ вскочилъ, вооружился съ ногъ до головы и явился героемъ въ Измайловскій полкъ, по которому числился“.

Кстати къ мундирамъ, къ этой пагубной страсти, которая перешла отъ Петра Ш къ Павлу, отъ Павла ко всѣмъ его дѣтямъ, ко всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ офицерамъ; Панинъ, завѣдывавшій воспитаніемъ Павла, сѣтовалъ на то, что Петръ Ш ни разу не присутствовалъ при его испытаніяхъ. Голштинскіе принцы, его дяди, уговорили его наконецъ; онъ остался очень доволенъ и произвелъ Панина въ генералы отъ пнфантеріи. Чтобъ понять всю нелѣпость этого, надобно себѣ

представить блѣдную, болѣзненную фигуру Панина, любившаго чопорно одѣваться, тщательно чесавшагося и напоминавшаго собой царедворцевъ Людовика XIV. Панинъ ненавидѣлъ капральскій тонъ Петра III, мундиры и весь этотъ вздоръ. Когда Мельгуновъ привезъ ему радостную вѣсть о генеральствѣ, Панинъ хотѣлъ лучше бѣжать въ Швецію на житье, чѣмъ надѣть мундиръ. Это дошло до Петра III; онъ переименовалъ его въ соотвѣствующій статскій чинъ, но не могъ довольно надивиться Панину. — „А я право, говорилъ онъ, всегда считалъ Панина умнымъ человѣкомъ!“

Пока Петръ III рядилъ въ героевъ своихъ придворныхъ, шли обычныя церемоніи похоронъ. Императрица не выходила изъ своихъ комнатъ, и являлась только на панихиды. Изрѣдка приходилъ и Петръ III и всегда держалъ себя неприлично, шептался съ дамами, хохоталъ съ адъютантами, насмѣхался надъ духовенствомъ, бранилъ офицеровъ и даже рядовыхъ за какія нибудь пуговицы. „Неосторожно, говорилъ англійскій посолъ Кейтсъ князю Голицыну, начинаетъ новый императоръ свое царствованіе, этимъ путемъ онъ дойдетъ до презрѣнія народнаго, а потомъ и до ненависти“.

Петръ III какъ будто нарочно все дѣлалъ, чтобъ возбудить эту ненависть. Разъ вечеромъ, при Дашковой, императоръ разглагольствовалъ по обыкновенію о своемъ поклоненіи Фридриху II и вдругъ обращаясь къ статсъ-секретарю Волкову, который былъ при Елизаветѣ главнымъ секретаремъ Верховнаго Совѣта, спросилъ его, помнитъ ли онъ, какъ они хохотали надъ постоянной неудачей тайныхъ повелѣній, посылаемыхъ въ дѣйствующую армію. Волковъ за одно съ Великимъ Княземъ, сообщавшій прусскому королю всѣ распоряженія и такимъ образомъ уничтожавшій ихъ дѣйствіе,

до того растерялся отъ словъ Петра III, что чуть не упалъ въ обморокъ. Но императоръ продолжалъ шуточнымъ тономъ разсказывать, какъ они во время войны предавали непріятелю страну, въ которой онъ былъ наслѣдникомъ престола.

При заключеніи мира съ королемъ прусскимъ, въ которомъ онъ постыдно уступилъ все купленное русской кровью, не было мѣры радости и ликованью. Праздникъ слѣдовалъ за праздникомъ. Между прочимъ Петръ III далъ большой обѣдъ, на который были приглашены всѣ послы и три первые класса. Послѣ обѣда государь предложилъ три тоста, которые пили при пушечной пальбѣ — за здоровье императорской фамиліи, за здоровье короля прусскаго, за продолженіе заключеннаго мира.

Когда императрица пила тостъ за царскую фамилію, Петръ III послалъ своего адъютанта Гудовича, который стоялъ возлѣ его стула, спросить ее, зачѣмъ она не встала. Екатерина отвѣчала, что такъ какъ императорская фамилія состоитъ только изъ ея супруга, ея сына и ея самой, то она не думала, чтобъ его величеству угодно было, чтобъ она встала. Когда Гудовичъ передалъ ея отвѣтъ, императоръ велѣлъ ему возвратиться и сказать императрицѣ, что она „дура“*) и должна знать, что его дяди, голштинскіе принцы, принадлежатъ также къ императорской фамиліи. Этого мало, боясь, что Гудовичъ смягчитъ грубое выраженіе, онъ самъ повторилъ сказанное имъ черезъ столъ, такъ что большая часть гостей слышала. Императрица на первую минуту не могла удержаться и залилась слезами, но желая какъ можно скорѣе окончить эту исто-

*) Слово „дура“ поставлено въ англійскомъ текстѣ латинскими буквами.

рію, она обратилась къ камергеру Строгонову, стоявшему за ея стуломъ и просила его начать какой нибудь разговоръ. Строгоновъ, самъ глубоко потрясенный происшествіемъ, началъ съ притворно веселымъ видомъ что то болтать. Выходя изъ дворца онъ получилъ приказаніе ѣхать въ свою деревню и не оставлять ее безъ особаго разрѣшенія.

Происшествіе это необыкновенно повредило Петру III; всѣ жалѣли несчастную женщину, грубо оскорбленную пьянымъ капраломъ. Этимъ расположеніемъ естественно должна была воспользоваться Дашкова. Она становится отчаяннымъ заговорщикомъ, вербуетъ, уговариваетъ, сондируетъ — и притомъ ѣздитъ на балы, танцуетъ, чтобъ не подавать подозрѣнія. Князь Дашковъ, обиженный Петромъ III, что-то отвѣчалъ ему передъ фрунтомъ. Княгиня боясь послѣдствій выхлопотала ему какое-то порученіе въ Константинополь и съ тѣмъ вмѣстѣ дала ему совѣтъ „торопиться медленно“. Удаливши его, она окружаетъ себя офицерами, которые ввѣряются съ полнымъ довѣріемъ восемнадцатилѣтнему шефу.

Около Петра III были и другіе недовольные, но заговорщиками они не были и по лѣтамъ, и по положенію; они были рады воспользоваться перемѣной, но дѣлать ее, подвергая голову плахѣ, было трудно для какого нибудь Разумовскаго или Панина. Настоящіе заговорщики были Дашкова съ своими офицерами и Орловъ съ своими приверженцами.

О Разумовскомъ Дашкова говоритъ: „Онъ любилъ отечество настолько, насколько вообще могъ любить этотъ апатическій человѣкъ. Погрязшій въ богатствѣ, окруженный почетомъ, хорошо принятый при новомъ дворѣ и любимый офицерами, онъ впалъ въ равнодушіе и облѣнился“.

Панинъ былъ государственный человѣкъ и глядѣлъ дальше другихъ; его цѣль состояла въ томъ, чтобъ провозгласить Павла императоромъ, а Екатерину правительницей. При этомъ онъ надѣялся ограничить самодержавную власть. Онъ сверхъ того думалъ достигнуть переворота какими-то законными средствами черезъ Сенатъ.

Все это далеко не оправдалось Дашковой. Къ тому же ропотъ и неудовольствіе солдатъ росло. Позорный миръ съ одной стороны и безумная война съ Даніей, которую Петръ III хотѣлъ начать изъ за Голштиніи, безъ всякой серьезной причины, раздражали умы. Война эта сдѣлалась у него пунктомъ помѣшательства; самъ Фридрихъ II письменно уговаривалъ его отложить ее.

Говорятъ, что молодая заговорщица употребила особыя орудія краснорѣчія, чтобъ убѣдить упорнаго Панина дѣйствовать съ ней за одно. Панинъ до того увлекся ея умомъ, ея энергіей и сверхъ того красотой, что на старости лѣтъ страстно влюбился въ нее. Дашкова со смѣхомъ отвергала его любовь, но не находя другихъ средствъ сладить съ нимъ, она рѣшидась склонить его *собою*. Послѣ этого Панинъ былъ въ ея рукахъ. Справедливость требуетъ сказать, что княгиня въ двухъ мѣстахъ своихъ записокъ съ негодованіемъ опровергаетъ этотъ слухъ.*)

Не смотря на то, что заговорщики могли расчитывать на Разумовскаго и на Панина и сверхъ того на новгородскаго Архіепископа; не смотря на то, что множество офицеровъ было завербовано, опредѣленнаго плана дѣйствія у нихъ не было. Связанные общей

*) Дидро упоминаетъ въ вышеприведенной статьѣ, что Дашкова ему говорила съ величайшимъ озлобленіемъ объ этомъ.

цѣлью, они не могли согласиться въ образѣ дѣйствія, Дашкова, снѣдаемая жгучей дѣятельностію, сердится на медленность, не знаетъ что дѣлать и ѣдетъ наконецъ на свою дачу за Краснымъ Кабакомъ. Дача эта была первой личной собственностью Дашковой, она тотчасъ принялась за обстройку, роетъ каналы, разбиваетъ сады. „Не смотря, говоритъ она, на привязанность, которую я имѣла къ этому первому клочку земли, который былъ мой, я не хотѣла дать имени моей дачѣ, желая ее посвятить имени того святаго, который будетъ праздноваться въ тотъ день, когда успѣхъ увѣнчаетъ наше великое предпріятіе". „Дайте скорѣе названіе моей дачѣ!" пишетъ она къ императрицѣ, больная въ лихорадкѣ, которую захватила въ болотѣ, заѣхавъ въ него верхомъ по поясъ. Императрица ничего не понимаетъ и думаетъ, что у ея друга въ самомъ дѣлѣ горячка.

Но бѣлая горячка собственно была у Петра III; пока Дашкова садитъ акаціи и расчищаетъ дорожки, Петръ III быстро идетъ подъ гору; одна глупость смѣняется другою, одна безобразная пошлость другой вдвое безобразнѣйшей. Пророчество Кейтса сбывалось, общественное мнѣніе переходило отъ презрѣнія къ ненависти.

Австрійское гоненіе греческой церви въ Сербіи заставило многихъ Сербовъ прибѣгнуть къ императрицѣ Елизаветѣ съ просьбою отвести имъ земли на югѣ Россіи. Елизавета сверхъ земель велѣла имъ отпустить значительную сумму денегъ на подъемъ и переселеніе. Одинъ изъ ихъ повѣренныхъ Хорватъ, хитрый интригантъ завладѣлъ землей и деньгами и вмѣсто исполненія условій, на которыхъ была дана земля, сталъ распоряжаться переселенцами какъ своими крестьянами.

Сербы принесли жалобу, Елизавета велѣла разобрать дѣло, но прежде чѣмъ оно кончилось, она умерла. Хорватъ, услышавъ о ея смерти, явился въ Петербургъ и началъ съ того, что далъ по двѣ тысячи червонныхъ тремъ лицамъ, приближеннымъ къ Петру III, — Л. Нарышкину, который былъ нѣчто въ родѣ придворнаго шута, генералу Мульгунову и генералъ-прокурору Глѣбову. Два послѣднихъ отправились къ императору и разсказали ему прямо о взяткѣ. Петръ III былъ очень доволенъ ихъ откровенностію, расхвалилъ ихъ и прибавилъ, что если они дадутъ ему половину, то онъ самъ пойдетъ въ сенатъ и велитъ рѣшить дѣло въ пользу Хорвата. Они подѣлились — императоръ сдержалъ слово, и за двѣ тысячи червонныхъ потерялъ сотни тысячъ новыхъ переселенцовъ; видя, что ихъ товарищи обмануты правительствомъ, — они не рискнули переселяться.

По окончаніи дѣла, Петръ III услышалъ о томъ, что Нарышкинъ скрылъ отъ него свою взятку, и чтобъ наказать его за такой недостатокъ дружескаго довѣрія, отнялъ у него всю сумму. И потомъ долгое время спустя поддразнивалъ Нарышкина, спрашивая его — „что онъ дѣлаетъ съ Хорватскими червонцами?“

Вотъ еще милый анекдотъ о Петрѣ III. Разъ послѣ парада императоръ, очень довольный Измайловскимъ полкомъ, возвращался съ Разумовскимъ домой; вдругъ онъ услышалъ издалека шумъ; его любимецъ Арапъ дрался съ профосомъ. Сначала зрѣлище это понравилось Петру III, но вдругъ онъ сдѣлалъ серьезное лицо и сказалъ: „Нарцисъ не существуетъ больше для насъ“. Разумовскій, который ничего не могъ понять, спросилъ, что такъ вдругъ опечалило его величество. „Развѣ вы не видите, вскричалъ онъ, что я не могу больше дер-

жать при себѣ человѣка, дравшагося съ профосомъ. Онъ обезчещенъ — навсегда обезчещенъ". Фельдмаршалъ, показывая видъ, что совершенно входитъ въ его глубокія соображенія, замѣтилъ, что честь Нарциса можно возстановить, проведя его подъ знаменами полка. Мысль эта привела Петра III въ восторгъ; онъ сейчасъ позвалъ негра, велѣлъ ему пройти подъ знаменами и находя это не вполнѣ достаточнымъ, велѣлъ оцарапать его пикой знамени, чтобъ онъ могъ своею кровью смыть обиду. Бѣдный Арапъ чуть не умеръ отъ страха, генералы и офицеры едва, едва могли удержаться отъ негодованія и смѣха. Одинъ Петръ III совершилъ съ величайшей торжественностью весь обрядъ очищенія Нарциса.

И этотъ шутъ царствовалъ?... за то не долго!

Вечеромъ 27 Іюня, Григорій Орловъ пришелъ къ Дашковой сказать ей, что капитанъ Пасекъ, одинъ изъ самыхъ отчаянныхъ заговорщиковъ арестованъ. Орловъ засталъ у нея Панина; терять времени, откладывать было теперь невозможно. Одинъ лимфатическій, медленный и осторожный Панинъ совѣтовалъ ждать завтрашній день, узнать прежде какъ и за что арестованъ Пасекъ. Орлову и Дашковой это было не по сердцу. Первый сказалъ, что пойдетъ узнать о Пасекѣ. Дашкова просила Панина оставить ее, ссылаясь на чрезвычайную усталь. Лишь только Панинъ уѣхалъ, Дашкова набросила на себя сѣрую мужскую шинель и пѣшкомъ отправилась къ Рославлеву, одному изъ заговорщиковъ.

Не далеко отъ дома Дашкова встрѣтила всадника, скакавшаго во весь опоръ. Дашкова, не смотря на то, что никогда не видала братьевъ Орлова, догадалась, что это одинъ изъ нихъ; поровнявшись съ всадникомъ она назвала его; онъ остановилъ лошадь, Дашкова на-

звала ему себя. „Я къ вамъ, сказалъ онъ, Пасекъ схваченъ какъ государственный преступникъ, четыре часовыхъ у дверей и два у окна. Братъ пошелъ къ Панину а я былъ у Рославлева".

— Что онъ очень встревоженъ?

— Есть таки.

— Дайте, знать пашимъ, Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобъ они собирались сейчасъ въ Измайловскій полкъ, и готовились бы принять императрицу. Потомъ скажите, что я совѣтую вашему брату или вамъ, какъ можно скорѣе ѣхать въ Петергофъ за императрицей, скажите ей, что карета ужъ приготовлена мной, скажите, что я умоляю ее не мѣшкать и скакать въ Петербургъ.

Наканунѣ Дашкова, узнавши отъ Пасека о сильномъ ропотѣ солдатъ и боясь, чтобъ чего не вышло, написала на всякій случай къ Шкуриной, женѣ императрицына камердинера, чтобъ она послала карету съ четырмя почтовыми лошадьми къ своему мужу въ Петергофъ и велѣла бы ей дожидаться у него на дворѣ. Панинъ смѣялся надъ этими ненужными хлопотами, полагая, что переворотъ еще не такъ близокъ; обстоятельства показали насколько предусмотрительность Дашковой была необходима.

Разставшись съ Орловымъ, она возвратилась домой. Къ вечеру портной долженъ былъ ей принести мужское платье и не принесъ, въ женскомъ она была слишкомъ связана. Чтобъ не подать подозрѣнія, она отпустила горничную и легла въ постель; но не прошло получаса, какъ она услышала стукъ въ наружную дверь. Это былъ меньшой Орловъ, котораго старшіе братья прислали спросить ее, не рано ли тревожить императрицу; Дашкова вышла изъ себя, осыпала упреками его

и всѣхъ его братьевъ; „какая тутъ рѣчь, говорила она, о томъ, потревожится императрица или нѣтъ, лучше ее безъ памяти, въ обморокѣ привезти въ Петербургъ, чѣмъ подвергнуть заключенію или вмѣстѣ съ нами эшафоту. Скажите братьямъ, чтобъ сейчасъ же кто нибудь ѣхалъ въ Петергофъ."

Орловъ согласился съ нею.

Тутъ наступили для Дашковой мучительные часы одиночества и ожиданія, она трепещетъ за свою Екатерину, представляетъ ее себѣ блѣдной, изнуренной, въ тюрьмѣ, идущей на казнь и „все это по *нашей* винѣ." Измученная и въ лихорадкѣ ждетъ она вѣсти изъ Петергофа, въ четыре часа она пришла; императрица выѣхала въ Петербургъ.

Какъ Алексѣй Орловъ ночью взошелъ въ павильонъ къ Екатеринѣ, которая спокойно спала и также въ глаза не знала Орлова, какъ и Дашкова, но тотчасъ рѣшилась ѣхать въ каретѣ, приготовленной у Шкурина; какъ Орловъ сѣлъ кучеромъ и загналъ лошадей такъ, что императрица была вынуждена съ своей горничной идти пѣшкомъ; какъ они потомъ встрѣтили порожнюю телѣгу, какъ Орловъ нанялъ ее и демократически въ ней повезъ Екатерину въ Петербургъ, — все это извѣстно.

Измайловскіе солдаты приняли Екатерину съ восторгомъ; ихъ увѣрили, что Петръ Ш хотѣлъ въ эту ночь убить ее и ея сына. Изъ казармъ солдаты съ шумомъ и крикомъ проводили ее въ Зимній Дворецъ, провозглашая ее на улицахъ царствующей императрицей; препятствій не было никакихъ. Народъ бѣжалъ толпами къ дворцу, сановники собирались, архіепископъ, окруженный духовенствомъ, со святою водой ждалъ въ соборѣ новую государыню.

Когда Дашкова съ чрезвычайными усиліями пробралась до Екатерины, онѣ бросились другъ къ другу въ объятія и могли только выговорить: „Ну слава богу, слава богу!“ Потомъ Екатерина разсказала ей, какъ они ѣхали изъ Петергофа. Потомъ онѣ опять бросились обнимать другъ друга. „Я не знаю, говоритъ Дашкова, былъ ли когда смертный больше счастливъ, какъ я въ эти минуты!“

„И, прибавляетъ она, когда я думаю, какими несоразмѣрно малыми средствами сдѣлался этотъ переворотъ, безъ обдуманнаго плана, людьми вовсе посогласными между собою, имѣвшими разныя цѣли, нисколько не похожими ни образованіемъ, ни характеромъ, то участіе перста божія мнѣ становится ясно.“

Переворотъ конечно былъ необходимъ, но если перстъ божій такъ прямо участвовалъ въ немъ, то въ этотъ день руки у бога все же не совсѣмъ были чисты.

Нацаловавшись до сыта, Дашкова замѣтила, что на императрицѣ екатерининская лента, а не андреевская; она тотчасъ побѣжала къ Панину, сняла съ него ленту, надѣла ее на императрицу, а екатерининскую ленту и звѣзду положила себѣ въ карманъ.

Императрица изъявила желаніе стать во главѣ войска и идти въ Петергофъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ она велѣла Дашковой сопровождать ее. Императрица взяла мундиръ у капитана Талызина, Дашкова у сержанта Пушкина. Оба мундира были прежней преображенской формы. Какъ только императрица пріѣхала въ Петербургъ, солдаты безъ всякаго приказа сбросили съ себя новые мундиры и надѣли петровскіе.

Пока Дашкова переодѣвалась, собрался чрезвычайный совѣтъ подъ предводительствомъ Екатерины, составленный изъ высшихъ сановниковъ и сенаторовъ,

бывшихъ подъ рукой. Часовые, поставленные у дверей залы, пропустили въ нее молодаго офицера съ смѣлой поступью и отважнымъ видомъ. Никто кромѣ императрицы не узналъ въ немъ Дашковой, она подошла къ Екатеринѣ и сказала, что караулъ очень плохъ, что такъ пожалуй пропустятъ и Петра III, если онъ вдругъ явится (какъ мало знала этого шута сама Дашкова!); караулъ немедленно былъ усиленъ; между тѣмъ императрица, перерывая диктованіе манифеста Теплову, сказала членамъ, кто этотъ молодой офицеръ, такъ sans façon взошедшій и начавшій шептаться съ ней. Всѣ сенаторы встали, чтобъ привѣтствовать ее. „Я покраснѣла до ушей отъ такого почета, прибавляетъ милый сержантъ, и даже нѣсколько смѣшалась.

„Вслѣдъ за тѣмъ, взявъ нужныя мѣры для спокойствія столицы, сѣли мы на лошадей и по дорогѣ въ Петергофъ сдѣлали смотръ двѣнадцати тысячамъ человѣкъ, принявшимъ императрицу съ восторгомъ.“

Въ красномъ Кабакѣ инсуррекціонная армія сдѣлала привалъ: надобно было дать отдыхъ людямъ, бывшимъ на ногахъ двѣнадцать часовъ. Императрица и Дашкова, которыя совсѣмъ не спали послѣднія ночи, были сильно утомлены. Дашкова взяла у полковника Кара шинель, постлала ее на единственный диванъ, бывшій въ небольшой комнатѣ занятой ими гостинницы, разставила часовыхъ и бросилась на диванъ вмѣстѣ съ Екатериной, не скидывая мундира, съ твердымъ намѣреніемъ нѣсколько уснуть; но спать было невозможно и онѣ проболтали все время, строя планы и вовсе забывая объ опасности.

Нельзя не признаться, что есть что-то необыкновенно увлекательное въ этой отвагѣ двухъ женщинъ, перемѣняющихъ судьбу имперіи, въ этой революціи,

дѣлаемой красивой, умной женщиной, окруженной молодыми людьми, влюбленными въ нее, между которыми на первомъ планѣ красавица 18-ти лѣтъ, верхомъ, въ преображенскомъ мундирѣ и съ саблей въ рукахъ.

Несчастный Петръ III въ это время ѣздилъ изъ Ораніенбаума въ Петергофъ и изъ Петергофа въ Ораніенбаумъ, не умѣя ничего придумать, ни на что рѣшиться. Онъ искалъ Екатерину по комнатамъ павильона, за шкапами и дверями, какъ будто она съ нимъ играла въ жмурки, и не безъ самодовольства повторялъ „Романовнѣ“: „Вотъ видишь, что я правъ, я былъ увѣренъ, что она сдѣлаетъ что нибудь, я всегда говорилъ, что эта женщина способна на все.“

Еще возлѣ него стоялъ престарѣлый вождь Минихъ, еще вся Россія и часть Петербурга были не противъ него, но онъ уже совсѣмъ растерялся. Давъ опытъ невѣроятной трусости подъ Кронштадтомъ, онъ велѣлъ императорской яхтѣ грести не къ флоту, а снова къ Ораніенбауму; дамы боялись качки и моря, онъ самъ боялся всего. Ночь была тихая, мѣсячная; жалкій императоръ спрятался въ каютѣ съ своими куртизанами, а на палубѣ сидѣли въ мрачной задумчивости, съ досадой, стыдомъ и грустью на сердцѣ два героя — Минихъ и Гудовичъ; они теперь увидѣли, что противъ воли нельзя спасать людей. Въ четыре часа утра пристали они снова къ Ораніенбауму и съ понурыми головами, тайкомъ взошли во дворецъ. Петръ III принялся писать письмо къ Екатеринѣ.

Въ тѣ же четыре часа сѣдлали двухъ лихихъ коней, одного для императрицы, другого для Дашковой, и вотъ онѣ снова веселыя и исполненныя энергіи передъ войскомъ, выступившимъ въ пять часовъ въ походъ и остановившимися отдохнуть у Троицкаго монастыря.

Тутъ начали являться одинъ за другимъ гонцы Петра III, привозя одно предложеніе глупѣе другого: онъ отказывался отъ престола, просился въ Голштинію, признавалъ себя виноватымъ, недостойнымъ царствовать. Екатерина требовала, чтобъ онъ безусловно сдался, въ избѣжаніе большихъ золъ и обѣщала за это устроить ему наивозможно лучшую жизнь въ одномъ изъ загородныхъ дворцовъ, по его выбору.

Войско Екатерины спокойно заняло Петергофъ; Орловъ, ѣздившій на рекогносцировку, не нашелъ никого. Голштинцы, окружавшіе Петра въ Ораніенбаумѣ и преданные ему, были готовы умереть за него, но онъ приказалъ имъ не защищаться; онъ хотѣлъ бѣжать, велѣлъ приготовить лошадь, но сѣлъ не на нее, а въ коляску съ Романовной и Гудовичемъ и печально самъ повезъ свою повинную голову виновной женѣ своей. Его провели потихоньку въ дальнюю комнату дворца. Романовну и Гудовича, который и тутъ себя велъ съ необыкновеннымъ благородствомъ, арестовали; Петра III накормили, напоили и свезли въ Ропшу подъ прикрытіемъ Алексѣя Орлова, Пасека, Барятинскаго и Баскакова. Ропшу онъ избралъ самъ; она ему принадлежала, когда онъ еще былъ великимъ княземъ. Другіе впрочемъ говорятъ, что онъ вовсе не былъ въ Ропшѣ, а въ имѣньи Разумовскаго.

Дашкова видѣла его письма къ императрицѣ. Въ одномъ онъ говоритъ о своемъ отрѣченіи, въ другомъ о лицахъ, которыхъ желалъ бы оставить при себѣ, исчисляетъ все, что ему нужно для житья, при чемъ именно упоминаетъ о запасѣ бургонскаго и табаку. Онъ еще требовалъ, говорятъ, скрипку, библію и разные романы, причемъ прибавлялъ, что хочетъ сдѣлаться философомъ.

Вечеромъ въ день занятія Петергофа, Дашкова, возвращаясь отъ принцесы Голштинской на половину императрицы, натолкнулась на Орлова. который во внутреннихъ комнатахъ ея лежалъ въ растяжку на диванѣ извиняясь тѣмъ, что онъ ушибъ себѣ ногу. Онъ распечатывалъ какой то большой пакетъ; подобные пакеты Дашкова видала у своего дяди — вицеканцлера; ихъ употребляли для самыхъ важнѣйшихъ государственныхъ дѣлъ, сообщаемыхъ государямъ отъ верховнаго совѣта. „Что вы это дѣлаете?“ спросила его Дашкова съ изумленіемъ.

— Мнѣ императрица приказала.

— Не можетъ быть—отвѣчала Дашкова, вы не имѣете оффиціальнаго званія на это.

Въ это время пришли доложить, что солдаты вломились въ дворцовые погреба и пьютъ венгерское касками, принимая его за медъ. Орловъ не двинулся. Дашкова сейчасъ отправилась внизъ, приняла грозный видъ и своимъ тоненькимъ голосомъ возстановила порядокъ. Довольная успѣхомъ, она отдала имъ всѣ деньги, бывшія съ ней и потомъ выворотивъ кошелекъ, сказала, что средствъ у нея меньше нежели желанія, но что по возвращеніи въ Петербургъ имъ позволятъ пить на казенный счетъ, послѣ этого она возвратилась.

Къ дивану, на которомъ лежалъ Орловъ, былъ придвинутъ столъ накрытый на три куверта. Взошла императрица, заняла мѣсто и пригласила сѣсть Дашкову, Все это такъ поразило Княгиню, что она не могла скрыть своего волненія. Императрица замѣтила это и спросила что съ ней?

— Ничего, отвѣчала Дашкова, вѣроятно усталь отъ неспанныхъ ночей и отъ волненія.

Екатерина, желая вызвать Дашкову на любезности

Орлову, сообщила ей, что, не смотря на всѣ ея просьбы, онъ оставляетъ военную службу и просила ее помочь ей, чтобъ его уговорить. „Меня, говорила она, обвинятъ въ страшной неблагодарности, если онъ оставитъ службу“. Но Дашкова, оскорбленная своимъ откровеніемъ, отвѣтила, что ея величество имѣетъ столько средствъ награждать за услуги, что ей вовсе ненужно прибѣгать къ насилію.

„Я только тогда, прибавляетъ она, убѣдилась, что между ними une liaison.“

Думали, что она обидѣлась этимъ изъ ревности, и не ошиблись. Только она ревновала не Орлова; ни его, ни его братьевъ она никогда не любила и не уважала, она ревновала императрицу; ей не нравился ни выборъ, ни тонъ; а сверхъ того ея мечты объ исключительной довѣренности о мечтательной дружбѣ, о всемогущемъ вліяніи блѣднѣли, изчезали передъ ея откровеніемъ. И дѣйствительно съ этого вечера у Дашковой былъ соперникъ и врагъ; она это почувствовала на другой день послѣ переворота.

Слова юродиваго Петра III объ апельсинной коркѣ стали сбываться съ чрезвычайной быстротой. Императрица на другой день послѣ своего воцаренія начинаетъ цѣнить и награждать услуги Дашковой, начинаетъ быть благодарной, т. е. перестаетъ быть другомъ.

Дашкова, послѣ торжественнаго въѣзда въ Петербургъ, отправилась къ отцу, къ дядѣ и главное взглянуть на свою малютку. Не надобно забывать, что у нашего преображенскаго сержанта есть дочь Настя, которую онъ горячо любитъ, и съ которой ему хочется поиграть, наигравшись до сыта императорской короной. Домъ ея отца былъ полонъ солдатъ, поставленныхъ долею въ охраненіе его, и долею потому, что „Рома-

новна“ была привезена къ нему въ домъ. Вадковскій присылалъ спросить ординарца, нуженъ ли весь караулъ; Дашкова, поговоривши съ нимъ по французски, сказала дежурному офицеру, что половина солдатъ не нужна и что она ихъ отпускаетъ.

Когда она воротилась во дворецъ, Екатерина приняла ее съ недовольнымъ видомъ, караульный офицеръ былъ на лицо и говорилъ съ Орловымъ. Императрица сдѣлала Дашковой выговоръ за самовольное распоряженіе и замѣтила даже то, что она при солдатахъ говорила по французски. Дашкова глубоко огорченная выслушала выговоръ, ничего не отвѣчала и, чтобъ перемѣнить разговоръ, подала Екатеринѣ ленту и орденъ, которыя положила вчера въ карманъ.

„Потише, потише, сказала императрица, я должна была вамъ сдѣлать выговоръ за вашу поспѣшность, вы не имѣли права сами смѣнять солдатъ, но я также должна наградить васъ за ваши услуги“, при этомъ она надѣла ей на шею возвращенную ленту.

Вмѣсто того, чтобъ стать, какъ это дѣлается въ этихъ случаяхъ, на колѣни передъ императрицей, Дашкова печально сказала ей: „в. в., простите меня за то, что я хочу сказать; приходитъ время, въ которое правда должна быть изгнана изъ вашего присутствія; предупреждая его, я прошу васъ взять назадъ этотъ орденъ; какъ украшеніе—я не умѣю его довольно цѣнить; если это награда — какъ бы она велика ни была, она не можетъ вознаградить мои услуги, онѣ ничѣмъ не могутъ быть заплачены, потому что онѣ не продажныя“.

— Но, замѣтила императрица, обнимая ее и оставляя ленту, дружба имѣетъ свои права, развѣ я и пхъ лишусь теперь?

Дашкова снова довольна, цалуетъ ея руку и осьмнадцать лѣтъ берутъ свое, она черезъ полъвѣка не забываетъ съ удовольствіемъ прибавить: „Представьте себѣ меня въ мундирѣ, со шпорой на одномъ сапогѣ, съ видомъ пятнадцатилѣтняго мальчика и съ красной екатерининской лентой черезъ плечо“. Новый кавалеръ скачетъ опять къ Настѣ—ей показаться, присутствуетъ при ея ужинѣ и наконецъ раздѣвшись бросается въ постель; но и на этотъ разъ сонъ бѣжитъ отъ раздраженныхъ нервъ, или пугаетъ грезами; удивительныя картины послѣднихъ дней, которыя она не только прожила, но отчасти сдѣлала, безпрестанно проходятъ въ ея воображеніи.

Важное участіе ея въ 28 Іюнѣ не отрицала сама императрица, напротивъ, когда старый и лукавый Бестужевъ ей представлялся, она ему сказала: „Кто бы могъ подумать, что дочь Романа Воронцова поможетъ мнѣ сѣсть на престолъ“.

Вѣсть объ убійствѣ Петра III исполнила Дашкову ужасомъ и отвращеніемъ; она до такой степени была взволнована и возмущена этимъ пятномъ „на переворотѣ, который не стоилъ ни капли крови“, что не могла настолько переломить себя, чтобъ ѣхать на другой день во дворецъ, Она минуетъ въ своихъ запискахъ всѣ подробности этого гадкаго происшествія, гдѣ три офицера, изъ которыхъ одинъ былъ гигантъ, полчаса работали, чтобъ удушить салфеткой отравленнаго арестанта, какъ будто нельзя было подождать четверти часа. Она полагаетъ, что Екатерина не знала впередъ о намѣреніи А. Орлова; вѣрнѣе то, что Дашкова не имѣла понятія о участіи Екатерины, которая тщательно умѣла скрывать, что хотѣла; о ея интригѣ съ Григорьемъ Орловымъ не только не зналъ ни Панинъ, ни

другіе заговорщики; но, какъ мы сейчасъ видѣли, ни сама Дашкова.

Екатерина поняла, что было на душѣ у Дашковой и увидѣвши ее, стала съ ужасомъ говорить о томъ, что случилось.

— Да, в. в., отвѣчала Дашкова, смерть эта слишкомъ скоро и рано пришла для вашей и для моей славы.

Проходя пріемной залой, она громко при всѣхъ сказала, что конечно А. Орловъ пощадитъ ее своимъ знакомствомъ. Слишкомъ двадцать пять лѣтъ они не кланялись и не говорили другъ съ другомъ.

Весьма вѣроятно, что Екатерина не давала приказанія убить Петра III; Алексакдръ сдѣлалъ больше, онъ рѣшительно требовалъ чтобъ не *убивать до смерти* Павла, отправляя къ нему ватагу крамольныхъ олигарховъ. Мы знаемъ изъ Шекспира, какъ даются эти приказанія, взглядомъ, намекомъ, молчаніемъ. Зачѣмъ Екатерина поручила надзоръ за слабодушнымъ Петромъ III злѣйшимъ врагамъ его? Пасекъ и Баскаковъ хотѣли его убить за нѣсколько дней до 27 Іюня, будто она не знала этого? И зачѣмъ же убійцы были такъ нагло награждены?

Дашкова приводитъ въ оправданіе Екатерины письмо отъ Орлова къ ней, писанное тотчасъ послѣ убійства, и которое она ей показывала. Письмо это, говоритъ она, носило явные слѣды внутренняго безпокойства, душевной тревоги, страха и нетрезваго состоянія. Письмо это береглось у императрицы въ особой шкатулкѣ съ другими важными документами. Павелъ послѣ смерти матери велѣлъ при себѣ разобрать эти бумаги князю Безбородкѣ; дойдя до этого письма Павелъ прочелъ его императрицѣ въ присутствіи Нелидовой. Потомъ онъ велѣлъ Растопчину прочесть его Великимъ Князьямъ.

Я слыхалъ о содержаніи этого письма отъ достовѣрнаго человѣка, который самъ его читалъ; оно въ этомъ родѣ: „Матушка императрица, какъ тебѣ сказать, что мы надѣлали, такая случилась бѣда, заѣхали мы къ твоему супругу, и выпили съ нимъ вина; ты знаешь, каковъ онъ бываетъ хмѣльной, слово за слово, онъ насъ такъ разобидѣлъ, что дѣло дошло до драки. Глядимъ, а онъ упалъ мертвый. Что дѣлать—возьми наши головы, если хочешь, или милосердая матушка, подумай, что дѣла не воротишь, и отпусти нашу вину“.*)

Дашкова, увлеченная любовью къ Екатеринѣ, вѣритъ или по крайней мѣрѣ притворяется, что вѣритъ, что и Мировичъ поступилъ безъ ея вѣдома; а о худшей, самой позорной и гнусной исторіи всего царствованія, о похищеніи А. Орловымъ и де Рибасомъ княжны Таракановой совсѣмъ не упоминаетъ.

Оттого-то между прочимъ, что она вѣрила и хотѣла вѣрить въ идеальную Екатерину, она и не могла удержаться въ милости. А она была бы славнымъ министромъ. Безспорно одаренная государственнымъ умомъ, она сверхъ своей восторженности имѣла два большихъ недостатка, помѣшавшіе ей сдѣлать карьеру; она не умѣла молчать, ея языкъ рѣзокъ, колокъ и не щадитъ никого кромѣ Екатерины; сверхъ того она была слишкомъ горда, не хотѣла и не умѣла скрывать своихъ антипатій, словомъ, не могла „принижать своей личности“, какъ выражаются московскіе старовѣры.

Вообще дружба Екатерины съ Дашковой была невозможна. Екатерина хотѣла царить не только властію, но всѣмъ на свѣтѣ геніемъ, красотой; она хотѣла одна обращать на себя вниманіе всѣхъ, у ней было ненасы-

*) Таковъ смыслъ письма, за слова я не отвѣчаю, я его повторилъ черезъ долгое время по памяти.

тимое желаніе нравиться. Она была еще въ полномъ блескѣ своей красоты, но ей уже стукнуло тридцать лѣтъ. Женщину слабую, потерянную въ лучахъ ея славы, молящеюся ей, не очень красивую, не очень умную она вѣроятно умѣла бы удержать при себѣ. Но энергическую Дашкову, говорившую о *своей собственной* славѣ, съ ея умомъ, съ ея огнемъ и съ ея девятнадцатью годами, она не могла вынести возлѣ себя.

Она отдалилась отъ нея съ быстротой истинно царской неблагодарности. Въ Москвѣ послѣ коронаціи старый грѣшникъ Бестужевъ предложилъ написать императрицѣ адресъ и просить ее отъ имени всѣхъ подданныхъ снова избрать себѣ супруга. Григорій Орловъ, тогда уже сдѣланный княземъ имперіи, мѣтилъ въ цари. Это возмутило всѣхъ порядочныхъ людей. Канцлеръ Воронцовъ попросилъ аудіенцію и предупредилъ Екатерину, предполагая, что она не знаетъ, что дѣлается. Екатерина удивилась и хотѣла намылить Бестужеву голову.

Хитровъ, одинъ изъ преданныхъ заговорщиковъ 27 Іюня, громко говорилъ, что онъ скорѣе убьетъ Орлова, или пойдетъ на плаху, чѣмъ признаетъ его императоромъ. Само собой разумѣется, что при этомъ общемъ ропотѣ говорила и Дашкова; это дошло до Екатерины. Вдругъ вечеромъ секретарь императрицы Тепловъ пріѣзжаетъ къ Дашкову и велитъ его вызвать. Императрица пишетъ ему слѣдующую записку: „Я искренно желаю не быть въ необходимости предать забвенію услуги княгини Дашковой за ея неосторожное поведеніе. Припомните ей это, когда она снова позволитъ себѣ нескромную свободу языка, доходящую до угрозъ“.

Дашкова не отвѣчала на это письмо ни слова, держалась въ сторонѣ и стала послѣ смерти князя, слу-

чившейся въ 1768, проситься въ чужіе края. „Я очень могла ѣхать безъ спросу, говоритъ она (навѣрное не грезившая во снѣ, что черезъ восемьдесятъ лѣтъ глупый законъ почти совсѣмъ лишитъ Россію права переходить границу и еще менѣе того, что правительство станетъ грабить по большимъ дорогамъ, принуждая каждаго путешественника платить за себя выкупъ), но мое званіе статсъ-дамы клало на меня обязанность спросить высочайшее разрѣшеніе."

Не получивъ отвѣта, она отправилась въ Петербургъ и при первомъ представленіи просила Екатерину отпустить ее за границу для излеченія дѣтей. „Мнѣ очень жаль, отвѣчала Екатерина, что такая печальная причина заставляетъ васъ ѣхать. Но безъ всякаго сомнѣнія, княгиня, вы можете располагать собой, какъ вамъ угодно."

Гдѣ это время, когда онѣ лежали подъ однимъ одѣяломъ на постелѣ и плакали и обнимались, или мечтали на шинели полковника Кара цѣлую ночь о государственныхъ реформахъ?

Въ чужихъ краяхъ Дашкова оживаетъ, становится опять та же гордая, неугомонная, неукротимая, дѣятельная, всѣмъ интересующаяся, всѣмъ занимающаяся.

Въ Данцигѣ на стѣнѣ въ гостиницѣ виситъ большая картина, представляющая какое-то сраженіе пруссаковъ съ русскими, въ которомъ, разумѣется, русскіе побиты. На первомъ планѣ представлена группа нашихъ солдатъ, стоящихъ на колѣняхъ передъ пруссаками и просящихъ помилованія. Дашкова не можетъ этого вынести, она подбиваетъ двухъ русскихъ пробраться потихоньку ночью съ ней въ залу, съ масляными красками и кистями, запираетъ за ними двери и принимается съ своими товарищами перерисовывать мундиры, такъ что

къ утру уже пруссаки стояли на колѣняхъ и просили пощады у русскихъ солдатъ. Окончивши картину, Дашкова послала за почтовыми лошадьми, и прежде чѣмъ хозяинъ спохватился, она уже катила по дорогѣ въ Берлинъ, отъ души смѣясь при мысли объ его удивленіи.

Въ Ганноверѣ она отправляется одна съ Каменской въ оперу. Такъ мало были онѣ похожи на добрыхъ нѣмокъ, что принцъ мекленбургскій, начальствовавшій въ городѣ, послалъ узнать кто онѣ такія. Адъютантъ его, безъ церемоніи, взошелъ въ ложу, въ которой былъ еще двѣ нѣмки, и спросилъ нашихъ дамъ не иностранки ли онѣ. Дашкова сказала, что „да“. — Его свѣтлость, прибавилъ онъ, желаетъ знать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Имя наше, отвѣчала Дашкова, не можетъ быть интересно ни для герцога, ни для васъ; какъ женщины, мы имѣемъ право умолчать кто мы и не отвѣчать на вашъ вопросъ.

Сконфуженный адъютантъ ушелъ. Нѣмки, съ самаго начала почувствовавшія неопродолимое уваженіе къ нашимъ дамамъ, смотрѣли на нихъ съ подобострастіемъ, услышавъ храбрый отвѣтъ Дашковой. Видя, что нѣмки считаютъ ихъ за большихъ барынь, Дашкова, учтиво обращаясь къ нимъ, сказала, что если она не хотѣла отвѣчать дерзкому запросу принца, то передъ ними она не имѣетъ причины утаивать, кто онѣ. — „Я оперная пѣвица, а моя подруга танцовщица; мы обѣ безъ мѣста и ищемъ гдѣ нибудь найти выгодный контрактъ.“ Нѣмки раскрыли глаза, покраснѣли до ушей и не только оставили свою вѣжливость, но старались, насколько ложа позволяла, сѣсть къ нимъ спиною.

Въ Парижѣ Дашкова окружена всѣми знаменитостя-

ми, со всѣми дружится, кромѣ Руссо; къ нему она не хочетъ ѣхать за его лицемѣрную скромность, за натянутую оригинальность. За то Дидро у нея на самой короткой ногѣ, сидитъ съ ней цѣлые вечера tête à tête и разсуждаетъ обо всемъ на свѣтѣ. Дашкова доказываетъ ему, что крѣпостное состояніе не такъ дурно, какъ думаютъ, запутываетъ его въ софизмы, и удобовпечатлительный Дидро готовъ согласиться на минуту.

Входитъ человѣкъ и докладываетъ, Мадамъ Неккеръ и Мадамъ Жоффрен' пріѣхали. „Не принимать! кричитъ Дидро, не спрашиваясь Дашковой, сказать, что дома нѣтъ. — Мадамъ Жоффрен' превосходнѣйшая женщина въ мірѣ, но первая трещетка въ Парижѣ; я рѣшительно не хочу, чтобъ она, не имѣя времени васъ хорошенько узнать, пошла пороть всякій вздоръ. Я не хочу, чтобъ кощунствовали надъ моимъ идоломъ.“ И Дашкова велитъ сказать, что она больна.

Рюльеръ, писавшій о Россіи и именно въ 1762 году, хочетъ непремѣнно ее видѣть. Дидро не велитъ принимать и его; онъ завладѣлъ Дашковой для себя.

Въ Лондонѣ Дашкова знакомится съ Паоли, но ей не нравятся его „итальянскія гримассы,“ не идущія великому человѣку. Въ Женевѣ она ходитъ къ Вольтеру, удивляется ему, но не можетъ не посмѣяться съ какимъ-то докторомъ надъ тѣмъ, что Вольтеръ сердится, выходитъ изъ себя, проигрывая въ шашки и притомъ дѣлаетъ самыя уморительныя рожи. Докторъ замѣчаетъ, что эти рожи корчитъ не одинъ Вольтеръ, велитъ своей собакѣ поднять морду, и Дашкова катается со смѣху отъ необыкновеннаго сходства. Изъ Женевы она ѣдетъ въ Спа; тамъ она живетъ въ большой интимности съ мистрисъ Гамильтонъ и, прощаясь съ ней, романически клянется пріѣхать черезъ пять

лѣтъ для свиданія съ нею, если не увидится прежде и, что еще болѣе романически, дѣйствительно пріѣзжаетъ.

Чувство дружбы самой пламенной, самой дѣятельной, чуть ли не было преобладающимъ въ этой женщинѣ, гордой и упрямой. Глубоко обиженная поведеніемъ Екатерины, она преждевременно состарилась. Дидро говоритъ, что ей съ виду казалось лѣтъ подъ сорокъ, въ то время, какъ она была тогда двадцати семи лѣтъ. Любила ли она кого послѣ смерти мужа, была ли любима, этого не видать изъ записокъ; но навѣрно можно сказать, что ни одинъ мущина не игралъ никакой значительной роли въ ея жизни. Послѣ Екатерины, она со всѣмъ пыломъ голоднаго сердца привязалась къ Гамильтонъ. И подъ старость дружба материнская, безконечно нѣжная, согрѣла ея жизнь; я говорю о Миссъ Вильмотъ, издательницѣ ея записокъ.

Изъ Спа она возвратилась въ Москву, въ домъ своей сестры Полянской; эта Полянская съ своимъ скромнымъ прозаическимъ именемъ ничто иное, какъ знаменитая „Романовна,“ которая легко, еслибъ не была Полянская, могла бы быть императерицей всероссійской.

Тучи, которыя заволакивали небо Дашковой, начали было разчищаться. Вліяніе Орловыхъ слабло. Императрица, узнавъ о ея пріѣздѣ, прислала ей шестдесятъ тысячъ рублей на покупку имѣнія.

Но Дашкова рѣшительно не могла уживаться съ фаворитами и дѣйствительной близости между нею и дворомъ не было. Теперь ее начало сильно занимать воспитаніе сына; горячая поклонница англійскихъ учрежденій и Англіи, она рѣшается ѣхать съ сыномъ въ Эдинбургъ. Къ тому же, она видитъ себя совершенно лишней въ Зимнемъ Дворцѣ.

Собираясь снова въ путь, она сосватала свою дочь за Щербинина. На дорогѣ въ деревню къ женихову брату, куда Дашкова ѣздила цѣлымъ обществомъ, чей-то слуга упалъ съ козелъ и трое саней проѣхали по немъ; онъ былъ оглушенъ и сильно ушибенъ; надобно было пустить кровь, но какъ? — у Дашковой есть съ собой портфель съ хирургическими инструментами, купленный въ Лондонѣ; она достаетъ ланцетъ, но никто не берется пустить кровь; больной остается безъ помощи, тогда Дашкова, побѣждая сильное чувство отвращенія, открываетъ ему жилу и, отлично сдѣлавъ операцію, чутъ не падаетъ сама въ обморокъ.

Въ Эдинбургѣ Дашкова является окруженной первыми знаменитостями, Робертсономъ, Блеромъ, Адамомъ Смитомъ, Фергюсономъ. Она пишетъ длинныя письма къ Робертсону, излагаетъ ему подробно свой планъ воспитанія: она хочетъ, чтобъ ея сынъ, которому тогда было четырнадцать лѣтъ, окончилъ свое ученье въ два года съ половиной, и потомъ ѣхалъ на службу, сдѣлавъ путешествіе по всей Европѣ.

Робертсонъ полагаетъ, что ему нужно четыре года. Дашкова думаетъ, что это слишкомъ много. Для этого она подробно пишетъ, что сынъ ея уже знаетъ и что долженъ знать.

Языки: Латинскій. Начальныя трудности всѣ побѣждены.
Англійскій. *Князь* очень хорошо понимаетъ прозу и отчасти стихи.
Нѣмецкій. Понимаетъ совершенно все.
Французскій. Знаетъ какъ свой собственный языкъ.

Словесность: Онъ знаетъ лучшія классическія произ-

веденія, его вкусъ больше образованъ, чѣмъ это обыкновенно бываетъ въ его возрастъ. Онъ имѣетъ излишнюю наклонность къ критицизму, что, можетъ, составляетъ единственный недостатокъ его.

Математика: Весьма важная отрасль ученія. Онъ довольно успѣлъ въ разрѣшеніи сложныхъ задачъ, но я хочу, чтобъ онъ шелъ дальше въ алгебрѣ.

Гражданская и военная архитектура: Я хочу, чтобъ онъ подробно изучилъ ихъ.

Исторія и государствен. учрежденія: Онъ знаетъ всеобщую исторію и въ особенности исторію Германіи, Англіи и Франціи, но ему слѣдуетъ еще подробнѣе пройти исторію; онъ можетъ заниматься ею дома съ учителемъ.

Теперь вотъ что я желаю, чтобъ онъ изучилъ: 1. Логику и философію мышленія (ph. of reasoning). 2. Опытную физику. 3. Нѣсколько химіи. 4. Философію и натуральную исторію. 5. Естественное право, народное право, публичное и частное право въ приложеніи къ законодательству европейскихъ народовъ. 6. Этику. 7. Политику.

Эту обширную программу она дѣлитъ на пять семестровъ и потомъ, какъ всегда, исполняетъ ее въ точности. Сынъ ея въ 1779 году выдержалъ экзаменъ на магистра (Master of arts); говорятъ, она его замучила,

изъ него дѣйствительно ничего не вышло; къ тому же онъ и умеръ очень молодъ, но виновато ли въ этомъ ученье — мудрено сказать.

Послѣ экзамена Дашкова тотчасъ ѣдетъ въ Ирландію, царитъ въ дублинскомъ обществѣ, сочиняетъ церковную музыку, которую поютъ въ часовнѣ Магдалины при огромномъ стеченіи народа, „желавшаго, какъ она выражается, послушать, какъ сѣверные медвѣди конпонируютъ.“ Вѣроятно опытъ удался, потому что вслѣдъ за тѣмъ она хлопочетъ, съ Давидомъ Гарикомъ, объ исполненіи на сценѣ ея музыкальныхъ сочиненій и пишетъ длинную инструкцію своему сыну, въ родѣ наставленій Полонія, какъ ему слѣдуетъ путешествовать....

Изъ Англіи она отправляется въ Голландію; въ Гарлемѣ она пріѣзжаетъ къ знакомому доктору и тамъ встрѣчаетъ князя Орлова, уже женатаго и въ немилости. Въ тотъ же день Орловъ пришелъ къ ней и притомъ во время обѣда. Его посѣщеніе Дашковой „было столько же мало ожиданно, сколько мало пріятно.“

— Я пришелъ къ вамъ не какъ непріятель, а какъ другъ и союзникъ, сказалъ Орловъ, садясь на кресло. Затѣмъ молчаніе съ обѣихъ сторонъ. Онъ пристально посмотрѣлъ на сына Дашковой и замѣтилъ: „Вашъ сынъ записанъ въ кирасиры, а я шефъ кавалергардскаго полка; если вы желаете, я попрошу императрицу перевести его въ мой полкъ, это ему дастъ повышеніе.“

Дашкова поблагодарила его за доброе намѣреніе, но сказала, что не можетъ воспользоваться его предложеніемъ, потому что о его службѣ уже писала къ князю

Потемкину и не хочетъ безъ причины сдѣлать противъ него что либо.

— Что же тутъ непріятнаго для него? спросилъ князь, почувствовавшій жало; впрочемъ, какъ хотите, располагайте мной; вашъ сынъ сдѣлаетъ карьеру, трудно сыскать молодаго человѣка *красивье* его.

Дашкова вспыхнула отъ досады и разговоръ прекратился. Но при слѣдующей встрѣчѣ Орловъ, обращаясь прямо къ молодому Дашкову, сказалъ: „Какая жалость, что меня не будетъ въ Петербургѣ, когда вы пріѣдете; я увѣренъ, что вы замѣните теперичнаго фаворита при первомъ появленіи при дворѣ; я съ удовольствіемъ занялся бы моей теперичной должностію— утѣшать отставныхъ.“

Внѣ себя отъ негодованія Дашкова выслала сына и сказала Орлову, что она находитъ весьма неприличнымъ, что онъ такъ говоритъ съ семнадцатилѣтнимъ мальчикомъ и такъ компрометируетъ императрицу, въ уваженіи къ которой она его воспитываетъ; что касается до фаворитовъ, Дашкова просила его вспомнить, что она никогда не знала и не признавала ни одного изъ нихъ.

Послѣ этого они разъѣхались. Орловъ отправился въ Швейцарію, Дашкова въ Парижъ. Затѣмъ мы встрѣчаемъ ее осматривающую французскія крѣпости съ сыномъ и съ полковникомъ Самойловымъ по особому дозволенію маршала Бирона. Изъ Франціи она ѣдетъ въ Италію и тутъ совершенно погружается въ картины и статуи, занята камеями и антиками, покупаетъ для подарка императрицѣ картину Анжелики Кауфманъ, ѣздитъ къ папѣ, къ аббату Гальяни и наконецъ отправляется въ Россію черезъ Вѣну.

Въ Вѣнѣ у нея горячій споръ съ Кауницомъ. Кау-

ницъ, у котораго она обѣдала, назвалъ Петра I политическимъ творцомъ Россіи. Дашкова замѣтила ему, что это западный предразсудокъ. Кауницъ не сдался. Дашкова еще меньше. Она соглашалась, что Петръ сдѣлалъ чрезвычайно много для Россіи, но находила, что матеріалъ былъ готовъ и что рядомъ съ геніальнымъ употребленіемъ его онъ его безчеловѣчно гнулъ и ломалъ.

— Еслибъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ великимъ государственнымъ человѣкомъ, онъ сношеніями съ другими народами, торговлей, не торопясь, достигнулъ бы того, до чего дошелъ насиліемъ и жестокостію. Дворянству и крѣпостнымъ стало хуже отъ его необузданной страсти къ нововведеніямъ; у однихъ онъ отнялъ охраняющій судъ (?), къ которому они только и могли прибѣгать въ случаѣ притѣсненій; у другихъ отнялъ всѣ привилегіи. И для чего все это? Для того, чтобъ расчистить дорогу военному деспотизму, т. е. самой худшей формѣ правленія изъ всѣхъ существующихъ. Изъ одного тщеславія онъ такъ торопился обстроить Петербургъ, что сгубилъ тысячи работниковъ въ болотахъ. Онъ не только обязывалъ помѣщиковъ ставить извѣстное число крестьянъ, но заставлялъ ихъ поневолѣ строить себѣ домы, по собственнымъ своимъ планамъ, не спрашивая ихъ, нужны они имъ или нѣтъ. Одно изъ главнѣйшихъ зданій — адмиралтейство и доки, стоившее очень много, поставлено на берегу рѣки, которую никакой трудъ человѣческій не сдѣлаетъ судоходной, не только для военныхъ кораблей, но и для купеческихъ.

— Однакожъ, замѣтилъ Кауницъ, все же нельзя безъ умиленія видѣть монарха, который самъ съ топоромъ въ рукѣ учится на корабельной верфи.

Неумолимая Дашкова и этого не пропустила. — „Ваше превосходительство, отвѣтила она, вѣрно шутите. Кто можетъ лучше васъ знать, какъ дорого время для монарха и есть ли ему досугъ заниматься какимъ нибудь мастерствомъ. Петръ I имѣлъ средства выписать не только корабельщиковъ, но и адмираловъ. Мнѣ кажется, что теряя время въ Саардамѣ, работая топоромъ и учась площаднымъ голландскимъ поговоркамъ и корабельнымъ терминамъ, которыми онъ исказилъ русскій языкъ, онъ просто забылъ свой долгъ".

Я предвижу, какъ возвеселятся православныя души московскихъ славянъ при чтеніи этого спора; они должны непремѣнно въ родительскую субботу помянуть блинами съ постнымъ масломъ нашу княгиню!

Іосифъ II былъ болѣнъ, онъ желалъ, чтобъ Дашкова осталась еще нѣсколько дней, но она получила приглашеніе для себя и для сына отъ Фридриха II присутствовать на его маневрахъ. Она видѣлась впрочемъ съ Іосифомъ II запросто въ кабинетѣ естественной исторіи.

Черезъ недѣлю Дашкова на маневрахъ, гдѣ Фридрихъ II учитъ 42,000 человѣкъ и куда онъ никогда не пускалъ женщинъ; но Дашкову особенно пригласилъ. Сама принцесса заѣзжала за ней, довезла до мѣста, гдѣ король хотѣлъ встрѣтиться съ княгиней и просила ее выйти изъ кареты, говоря; „Милая княгиня, король хочетъ съ вами здѣсь встрѣтиться, но такъ какъ я не имѣю ни малѣйшаго желанія видѣть этого стараго ворчуна, то я поѣду дальше". И Дашкова остается въ *невинномъ* tête à tête съ Фридрихомъ II, который беретъ съ собой ее и сына на военную инспекцію провинцій.

Въ Іюлѣ 1782 года Дашкова возвратилась въ Петербургъ. Императрица назначила ее президентомъ Академіи наукъ. Дашкова сначала, кажется въ первый разъ

отроду, смѣшалась и хотѣла отказаться. Она написала рѣзкое письмо къ императрицѣ, и въ двѣнадцать часовъ ночи поѣхала съ нимъ къ Потемкину. Потемкинъ былъ уже въ постели, однако принялъ ее. Онъ прочиталъ письмо, изорвалъ его и бросилъ на полъ, но видя, что Дашкова сердится, сказалъ ей: „Тутъ есть перо и бумага, пишите, пожалуй, опять, но только все это вздоръ, зачѣмъ вы отказываетесь, императрица носится второй день съ этой мыслію. Въ этомъ званіи вы будете чаще видѣться съ ней; а дѣло то въ томъ, сказать по правдѣ, что она со скуки пропадаетъ постоянно окруженная дураками“.

Краснорѣчіе Потемкина побѣдило Дашкову; она ѣдетъ въ Сенатъ присягать на новую должность, и съ той минуты становится президентомъ consommé. Она просила знаменитаго старца Эйлера ввести ее въ конференцъ залу Академіи; ей хотѣлось явиться подъ эгидой науки передъ академиками. Она представилась имъ не молча, какъ вообще русскіе президенты, а съ рѣчью — послѣ которой видя, что первое мѣсто возлѣ президента занято Штеелиномъ, она обернулась къ Эйлеру и сказала: „Сядьте, гдѣ вамъ угодно, каждое мѣсто занятое вами будетъ первое“.

Потомъ она съ обычной дѣятельностью своей принимается за искорененіе злоупотребленій, т. е. кражъ; увеличиваетъ число воспитанниковъ, улучшаетъ типографію и наконецъ предлагаетъ императрицѣ основаніе русской академіи. Екатерина назначаетъ ее президентомъ и въ новой академіи. Дашкова опять произноситъ рѣчь. „Вамъ извѣстны, господа, говоритъ она между прочимъ, богатство и обиліе нашего языка. Переведенное на него мощное краснорѣчіе Цицерона, мѣрное величіе Виргилія, увлекательная прелесть Демосѳена и

легкой языкъ Овидія, не теряютъ ничего изъ своихъ красотъ.... но намъ не достаетъ точныхъ правилъ, предѣлы и значенія словъ не опредѣлены, въ нашъ языкъ взошло много иностранныхъ оборотовъ"; а потому она и предлагаетъ работать надъ грамматикой и надъ русскимъ академическимъ словаремъ. Она сама собирается дѣлить труды академиковъ и дѣйствительно принимается за словарь. Казалось императрица была довольна ею. Дѣятельность Дашковой въ это время поразительна. Она предпринимаетъ изданіе сцеціальныхъ географическихъ картъ разныхъ губерній, издаетъ періодическое обозрѣніе — „Любители русскаго слова", въ немъ участвуетъ сама императрица, фонъ Визинъ, Державинъ и пр.

Ея отношенія къ императрицѣ явнымъ образомъ лучше. Между ними снова завязывается переписка; переписка идетъ о издаваемомъ ими обозрѣніи, объ разныхъ литературныхъ предметахъ. Письма эти, имѣющія мало общаго интереса, чрезрычайно рѣзко показываютъ, насколько хорошій тонъ, образованность, человѣчность понизились въ Зимнемъ Дворцѣ. Екатерина не отдаетъ приказы, не командуетъ записками, не держится въ условныхъ формахъ, не боится шутки; она увѣрена въ себѣ и императрица часто уступаетъ умной женщинѣ. Прусско-гатчинскій тонъ. приведенный въ канцелярскую форму Николаемъ, замѣнилъ грубой безграмотностью мягкость образованнаго языка.

Все было бы хорошо, еслибъ только Дашкова могла ужиться съ фаворитами; она еще всѣхъ лучше ладила съ Потемкинымъ, можетъ, потому, что Потемкинъ былъ умнѣе ихъ всѣхъ; съ Ланскимъ, потомъ съ Мамоновымъ она была на ножахъ, Зубовъ ябедничалъ на нее и много вредилъ ей.

Лѣтомъ 1783 года, Дашкова была въ Финляндіи съ императрицей, имѣвшей тамъ свиданіе съ шведскимъ королемъ. Ланской присталъ къ Дашковой, почему въ вѣдомостяхъ, издававшихся при академіи, изъ лицъ бывшихъ при императрицѣ, упомянута она одна. Дашкова объяснила ему, что это вовсе не ея вина, что статьи о дворѣ присылаются готовыми и печатаются безъ измѣненія. Ланской продолжалъ дуться и ворчать, это надоѣло Дашковой. „Послушайте, сказала она ему, вы должны знать, что хотя для меня всегда честь и счастье обѣдать съ императрицей, но я право не могу этому до того дивиться, чтобъ печатать въ газетахъ. Я слишкомъ привыкла къ этому; ребенкомъ я обѣдывала на колѣняхъ у императрицы Елизаветы, дѣвочкой за ея столомъ. Для меня это слишкомъ натурально, чтобъ хвастаться".

Ланской разгорячился, но Дашкова видя, что, зала начинаетъ наполняться, подняла голосъ и громко сказала: „Милостивый государь, люди, которыхъ вся жизнь была посвящена общественному благу, не всегда имѣютъ особенную силу и счастіе, но всегда въ правѣ требовать, чтобъ съ ними обращались безъ дерзости. Тихо продолжая свой путь, они переживаютъ всѣ эти метеоры одного дня, которые лопаются и пропадаютъ безслѣдно".

Растворились двери и взошла императрица. Ея появленіе окончило разговоръ. Какъ же Ланскому было ее не ненавидѣть? Хорошо еще что онъ скоро умеръ.

Возвратившись изъ Финляндіи, Дашкова принимаетъ у себя своего друга, Мистрисъ Гамильтонъ; она везетъ ее съ собою въ новую деревню, тамъ она дѣлаетъ сельской праздникъ, встрѣчаетъ съ хлѣбомъ и солью переселенныхъ мужиковъ, представляетъ ихъ англичанкѣ и

объявляетъ имъ, что отселѣ новая деревня будетъ называться Гамильтоново. Послѣ этого она съ ней ѣздитъ по другимъ имѣньямъ, въ калужской, смоленской, кіевской и тамбовской губерніяхъ.

На слѣдующій годъ Дашкова была поражена семейнымъ несчастіемъ. Сынъ ея былъ въ арміи у Румянцова, мать была довольна, что его не было въ Петербургѣ. Подъ конецъ и Потемкинъ имѣлъ на него виды. Онъ прислалъ разъ за нимъ, поздно вечеромъ, Самойлова и Самойловъ намекалъ матери о ихъ проэктѣ. Дашкова отказывалась участвовать въ немъ и сказала, что если это случится, она воспользуется силой своего сына, чтобъ выхлопотать себѣ многолѣтній заграничный отпускъ. Поэтому-то она и была довольна, что сынъ ея уѣхалъ въ Кіевъ. Но въ Кіевѣ его ждала другая стрѣла любви, не сверху, а снизу.

Однажды, выходя изъ спальни императрицы, Дашкова встрѣтилась съ Ребиндеромъ; тотъ добродушно поздравилъ ее съ вступленіемъ ея сына въ законный бракъ. Дашкова остолбенѣла, Ребиндеръ смѣшался, онъ не имѣлъ понятія, что сынъ Дашковой обвѣнчался тайно. Она была обижена какъ мать и какъ гордая женщина; съ одной стороны mésalliance, съ другой недовѣріе. Ударъ сильно палъ на ея грудь, она занемогла.

Черезъ два мѣсяца сынъ написалъ ей письмо, въ которомъ просилъ ея дозволенія жениться; новый ударъ, ложь, робость, обманъ. Къ тому же онъ такъ мало зналъ нравъ своей матери, что вмѣстѣ съ своимъ письмомъ прислалъ письмо отъ фельдмаршала Румянцова, явнымъ образомъ написанное по его просьбѣ. Румянцевъ убѣждалъ Дашкову разрѣшить сыну бракъ, говорилъ о предразсудкахъ аристократическаго происхожденія и непрочности богатствъ и дошелъ, по словамъ

Дашковой, до такой нелѣпости, что, не имѣя по своимъ отношеніямъ никакого на то права, давалъ совѣтъ въ дѣлѣ такой важности между матерью и сыномъ.

Уязвленная съ двухъ сторонъ, Дашкова написала саркастическое письмо къ Румянцеву, въ которомъ объясняла ему:—„Что между разными глупостями, которыми полна ея голова, по счастію нѣтъ особенно преувеличеннаго уваженія къ аристократическому происхожденію; но что еслибъ она была одарена такимъ замѣчательнымъ краснорѣчіемъ какъ графъ, то употребила бы его на то, чтобъ показать превосходство хорошаго воспитанія надъ дурнымъ".

Къ сыну письмо ея поразительно просто, вотъ оно. „Когда твой отецъ вознамѣрился жениться на графинѣ Воронцовой, онъ на почтовыхъ поѣхалъ въ Москву испросить позволеніе своей матери. Ты женатъ; я это знала прежде, да знаю и то, что моя свекровь не больше меня заслуживала имѣть друга въ своемъ сынѣ."

Должно быть и послѣ этого объясненія, семейныя дѣла ее много огорчали. Ея дочь разсталась съ мужемъ. Миссъ Вильмотъ пропустила нѣсколько страницъ въ запискахъ, послѣ которыхъ Дашкова продолжаетъ такъ: „Все было черно въ будущемъ и въ настоящемъ.... я такъ изстрадалась, что иной разъ приходила мнѣ въ голову мысль о самоуничтоженіи".

И такъ демонъ семейныхъ непріятностей сломилъ и ее, такъ какъ сломилъ многихъ сильныхъ. Семейныя несчастія оттого такъ глубоко подтачиваютъ, что онѣ подкрадываются въ тиши и что борьба съ ними почти невозможна; въ нихъ побѣда бываетъ худшее. Онѣ вообще похожи на яды, о присутствіи которыхъ узнаешь тогда, когда болью обличается ихъ дѣйствіе т. е. когда человѣкъ уже отравленъ....

Между тѣмъ пришла и французская революція. Екатерина состарившаяся, износившаяся въ развратѣ, бросилась въ реакцію. Это ужъ не заговорщица 27 Іюня, говорившая Бецкому: „Я царствую по волѣ Божіей и по избранію народному“, не петербургскій кореспондентъ Вольтера, не переводчикъ Беккаріи и Филанжери, разглагольствующій въ Наказѣ о вредѣ цензуры и о пользѣ собранія депутатовъ со всего царства русскаго. Въ 1792 г. мы въ ней находимъ старуху, боящуюся мысли, достойную мать Павла... и какъ бы въ залогъ того, что дикая реакція еще на долго побьетъ всѣ ростки вольнаго развитія на Руси, передъ ея смертью родился Николай; умирающая рука Екатерины могла еще поласкать этотъ страшный тормазъ, которому было назначено скомандовать „баста“ петровской эпохѣ и тридцать лѣтъ задерживать путь Россіи!

Дашкова, аристократка и поклонница англійскихъ учрежденій, не могла сочувствовать революціи; но еще менѣе могла она раздѣлять лихорадочную боязнь слова рукоплескать наказаніямъ за мысль.

Екатерина испугана брошюркой Радищева; она видитъ въ ней „набатъ революціи“. Радищевъ схваченъ и сосланъ безъ суда въ Сибирь. Братъ Дашковой — Александръ Воронцовъ, любившій и покровительствовавшій Радищеву, вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Москву.

Чередъ за Дашковой. Вдова Княжнина просила Дашкову издать въ пользу дѣтей его послѣднюю трагедію ея мужа на счетъ Академіи. Сюжетъ былъ взятъ изъ исторіи покоренія Новагорода. Княгиня велѣла ее напечатать. Фельдмаршалъ Салтыковъ, „котораго, говоритъ Дашкова, нельзя было обвинить, чтобъ онъ когда либо прочелъ какую нибудь книгу“, прочелъ именно

эту и натолковалъ Зубову о ея вредномъ направленіи, Зубовъ сказалъ императрицѣ. На другой день петербургскій полицмейстеръ пріѣхалъ въ библіотеку Академіи обирать экземпляры зажигательной трагедіи якобинца Княжнина: а вечеромъ самъ генералъ-прокуроръ Самойловъ пріѣхалъ къ Дашковой объявить о неудовольствіи императрицы за изданіе въ свѣтъ опасной пьэсы. Дашкова холодно отвѣчала ему, что вѣрно никто не читалъ эту трагедію и что она безъ сомнѣнія меньше вредна, чѣмъ французскія пьэсы, которыя даютъ въ Эрмитажѣ.

Эксъ-либеральная Екатерина встрѣтила Дашкову съ нахмуреннымъ челомъ. „Что я такое сдѣлала, спросила она ее, что вы *печатаете противъ* меня и моей власти такія опасныя книги“.

— И ваше величество, въ самомъ дѣлѣ это думаетъ? спросила Дашкова.

— Трагедію эту слѣдовало бы сжечь рукою палача.

— Сожгутъ ли ее рукой палача или нѣтъ, это не касается до меня. Мнѣ отъ этого не придется краснѣть Но ради Бога, государыня, прежде чѣмъ вы рѣшитесь на дѣйствіе столь противоположное вашему характеру, прочтите всю пьэсу.

На этомъ разговоръ и окончился. На другой день Дашкова явилась на большой выходъ и рѣшилась, если императрица не позоветъ ее, какъ это всегда бывало, въ свою уборную, — подать въ отставку. Изъ внутреннихъ комнатъ вышелъ Самойловъ. Онъ съ видомъ покровительства подошелъ къ Дашковой и сказалъ ей, чтобъ она была покойна, что императрица не гнѣвается на нее.

Дашкова и этого не могла вынесть и отвѣчала ему по своему обыкновенію громкимъ голосомъ: — „Я не

имѣю причины безпокоиться, у меня совѣсть чиста. Мнѣ было бы очень прискорбно, еслибъ императрица сохранила несправедливое чувство ко мнѣ; но я не удивилась бы и тогда, въ мои лѣта несправедливости и несчастія давно перестали удивлять меня".

Императрица помирилась съ ней и хотѣла ей еще разъ объяснить, почему она такъ поступила. Дашкова вмѣсто отвѣта отвѣчала ей: „Между нами, государыня, пробѣжала сѣрая кошка, не будемте ее снова вызывать".

Но Петербургъ становится ей тяжелъ, онъ ей надоѣдаетъ, она „чувствуетъ себя совершенно одинокой въ этой средѣ, которая становится ей съ каждымъ днемъ противнѣе". Отвращеніе это было такъ велико, что Дашкова рѣшилась оставить дворъ, Петербургъ, свою публичную дѣятельность, свою Академію наукъ и россійскую Академію, наконецъ свою императрицу, и ѣхать хозяйничать въ деревню.

„Съ глубокой горестью думала я о томъ, что разстаюсь можетъ на всегда съ государыней, которую я любила страстно и любила гораздо прежде, нежели она была на тронѣ — когда *она* имѣла меньше средствъ осыпать меня благодѣяніями, нежели я находила случаевъ оказывать ей услуги. Я продолжала любить ее, не смотря на то, что она не всегда относительно меня поступала такъ, какъ бы ей подсказывало ея собственное сердце, ея собственная голова".

Только! — и ни слова досады, порицанія за совершенное отсутствіе сердца, за неблагодарность, она и тутъ даетъ почувствовать, что виновата не Екатерина, а *другіе*.

Прощаніе этихъ женщинъ было замѣчательно, императрица сказала ей сухо и съ злымъ лицомъ: „Желаю

вамъ счастливаго пути". Дашкова удивилась; не поняла ничего и вышла вонъ, поцаловалъ ея руку. На другой день утромъ пріѣхалъ къ ней Трощинскій, секретарь императрицы и отъ ея имени вручилъ ей незаплоченный счетъ портнаго, работавшиго на Щербинина. Императрица велѣла ей сказать, что она удивляется, какъ Дашкова можетъ ѣхать изъ Петербурга, не исполнивъ обѣщанія заплатить долги дочери. Зубовъ, ненавидѣвшій Дашкову и покровительствовавшій портному, довелъ эти дрязги до императрицы. Оказалось въ дополненіе, что счетъ былъ вовсе не Щербининой, а ея мужа, который жилъ съ нею врозь.

Дашкова, совершенно возмущенная этимъ униженіемъ, твердо рѣшилась на вѣки оставить Петербургъ.

Но такія натуры не складываютъ рукъ въ пятдесятъ лѣтъ съ чѣмъ нибудь и въ полномъ обладаніи силъ. Дашкова дѣлается отличной хозяйкой, строитъ домы, чертитъ планы и разбиваетъ парки. Въ ея саду не было ни одного дерева, ни одного куста, который бы она не посадила или которому бы она не отвела мѣста. Она отстроила четыре дома и съ гордостью говоритъ, что мужики ея одни изъ богатѣйшихъ въ околодкѣ.

Середь этихъ сельскихъ заботъ и построекъ, вдругъ пріѣзжаетъ Серпуховскій предводитель, съ разстроеннымъ лицемъ. — Что съ вами? спрашиваетъ Дашкова — Развѣ вы не знаете? отвѣчаетъ предводитель, императрица скончалась.

Дочь Дашковой бросилась къ ней, думая, что ей дурно. — „Нѣтъ, нѣтъ, не безпокойся за меня, сказала Дашкова, мнѣ ничего, да и умереть въ эту минуту было бы счастіе. Судьба моя хуже, мнѣ назначено еще увидѣть всѣ благія начинанія уничтоженными и мое отечество падшимъ и несчастнымъ".

При этихъ словахъ у нея сдѣлались спазмы и она отдалась чувству глубокаго горя.

Дашкова не замедлила испытать на себѣ державную руку поврежденнаго сына Петра III. Сначала она получила указъ о своей отставкѣ; Дашкова просила генералъ-прокурора Самойлова засвидѣтельствовать ея благодарность государю за снятіе съ нея бремени, которое становится ей не подъ силу нести.

Спустя нѣсколько времени, Дашкова поѣхала въ Москву. Но къ ней тотчасъ явился московскій генералъ-губернаторъ, и объявилъ ей приказъ Павла немедленно ѣхать назадъ въ деревню и тамъ вспоминать 1762 г. Дашкова отвѣчала, — „что она никогда не забывала этотъ годъ, но что соображаясь съ волею государя она будетъ размышлять о времени, которое равно не оставило ей ни угрызеній совѣсти, ни раскаянія“.

Братъ ея Александръ, желая успокоить ее, говорилъ ей, что Павелъ все это дѣлаетъ теперь для возстановленія памяти своего отца, что послѣ коронаціи дѣла пойдутъ лучше. Дашкова пишетъ ему, пріѣхавъ въ Троицкое: „Любезнѣйшій братъ, вы пишете мнѣ, что Павелъ послѣ коронаціи оставитъ меня въ покоѣ. Повѣрьте мнѣ, что вы очень ошибаетесь въ его характерѣ. Когда тиранъ разъ ударилъ свою жертву, то онъ будетъ повторять удары до тѣхъ поръ, пока сокрушитъ ее окончательно. Сознаніе невинности и чувство негодованія послужатъ мнѣ вмѣсто мужества, чтобъ перенести невзгоду, до тѣхъ поръ, пока и васъ мои родные не захватитъ его расходившаяся злоба. Въ одномъ будьте увѣрены, что никакія обстоятельства не заставятъ меня ничего ни сдѣлать, ни сказать, чтобы могло меня унизить“.

„Разсматривая мою прошлую жизнь, прибавляетъ она

— я не безъ внутренняго утѣшенія сознаю въ себѣ довольно твердости характера, испытаннаго многими несчастіями, чтобъ не быть увѣренной, что я снова найду силу перенести новыя бѣдствія".

Она вѣрно поняла характеръ этого добивающаго, горячечнаго, мелкаго тирана. Едва прошло нѣсколько дней послѣ ея пріѣзда въ Троицкое, какъ явился изъ Москвы курьеръ отъ генералъ-губернатора. Павелъ приказывалъ Дашковой немедленно ѣхать въ деревню своего сына, въ какой-то дальній уѣздъ новгородской губерніи и тамъ ждать дальнѣйшихъ его приказаній.

Дашкова отвѣчала, что она готова исполнить волю государя и что ей совершенно безразлично, гдѣ она окончитъ свои дни, но что она совсѣмъ не знаетъ, ни этого имѣнья, ни дороги туда, что ей надобно выписать изъ Москвы или управляющаго ея сына или какого нибудь крестьянина изъ той деревни, знающаго проселочныя дороги.

Собравшись и доставши проводника, Дашкова поѣхала зимой, въ стужу и притомъ на долгихъ въ свою ссылку; окруженная архаровскими шпіонами, сопровождаемая добрымъ родственникомъ своимъ Лаптевымъ, котораго она не могла уговорить, чтобъ онъ не ѣздилъ и не подвергался бы страшнымъ гоненіямъ опьянѣвшаго самовластія.

Но какъ первое условіе помѣшательства состоитъ именно въ непослѣдовательности, то Дашкова тутъ ошиблась, и когда Павлу донесли о томъ, что Лаптевъ ее провожалъ, онъ сказалъ—„это не такая юбка, какъ наша молодежь, онъ умѣетъ носить штаны".

Обыкновенно подобнаго рода мимолетнымъ проблескамъ человѣческаго чувства у Павла и у другихъ даютъ гораздо больше цѣны, чѣмъ они заслуживаютъ.

Что сдѣлалъ бы Павелъ, еслибъ вся молодежь умѣла „носить штаны“, такъ какъ Лаптевъ — развѣ у него мало было Архаровыхъ, Аракчеевыхъ, Обольяниновыхъ, чтобъ ихъ пытать, ковать въ цѣни и ссылать. (Паленъ и Бенигсенъ показали ему впрочемъ, что „насить штаны“ можно еще лучше!)

Въ этихъ оправданіяхъ жертвъ лежитъ послѣднее довершающее оскорбленіе, ими злодѣи примиряются съ своей совѣстью. Потемкинъ разъ при Сегюрѣ ударилъ какого-то полковника и спохватившись сказалъ послу: „Какъ же съ ними иначе поступать, когда они все выносятъ“.

А какъ отвѣчалъ бы Потемкинъ на его пощечину или на вызовъ?...

Дашкова поселилась въ крестьянской избѣ; для дочери заняли другую и третью для кухни. Къ прочимъ неудобствамъ этой жизни въ захолустьѣ присоединилось то, что для сокращенія дороги, зимой ссыльныхъ въ Сибирь изъ Петербурга водили мимо оконъ Дашковой. Образъ одного молодаго офицера долго преслѣдовалъ ее; это былъ какой-то дальній родственникъ ея; узнавъ что Дашкова тутъ, онъ пожелалъ ее видѣть; какъ ни опасно было такое свиданіе, но она приняла его. Судорожное подергиваніе лица и болѣзненный видъ поразили Дашкову; это было слѣдствіе пытокъ, которыми были свихнуты и расчленены его члены. Что же сдѣлалъ этотъ преступникъ? — Онъ въ казармахъ что-то сказалъ о Павлѣ и на него донесли. — А вѣдь можетъ и онъ хорошо „носилъ штаны“ до тѣхъ поръ, пока не свихнули ему рукъ!

Передъ весеннимъ разливомъ рѣкъ, которыя на долгое время отрѣзали бы Дашкову отъ всякихъ сообщеній, она написала письмо къ императрицѣ Маріи Ѳе-

доровнѣ и вложила въ него просьбу о разрѣшеніи ей переѣхать въ Калужскую деревню. Тонъ письма ея къ Павлу не могъ ему понравиться; она говорила въ немъ, что можетъ столько же недостойно ей писать это письмо, сколько недостойно его читать, но что религія и человѣколюбіе ставятъ ей въ обязанность сдѣлать послѣдній опытъ, чтобъ избавить всѣхъ своихъ отъ тяжелой ссылки.

Павелъ по обыкновенію взбѣсился и велѣлъ отобрать у Дашковой бумагу и чернила, воспретить ей всякую переписку, усилить надзоръ и не знаю что еще. „Меня, говорилъ онъ, не такъ легко свергнуть съ престола“. Съ этимъ былъ отправленъ курьеръ. Но императрица и Нелидова подъучили великаго князя Михайла Павловича умилосердить разъяреннаго отца и маленькой фаня Амбургъ съ помощью жены и любовницы успѣли: Павелъ схватилъ перо и написалъ: „Княгиня Екатерина Романовна, такъ какъ вы желаете возвратиться въ ваше калужское имѣнье, то я вамъ оное разрѣшаю; пребываю къ вамъ благосклонный, Павелъ“.

Пришлось Архарову отправлять другого курьера, но счастію второй обогналъ перваго.

Въ 1798 году, Павелъ вдругъ полюбилъ князя Дашкова, осыпалъ всякими незаслуженными милостями и подарилъ ему имѣнье. Дашковъ просилъ Куракина доложить Павлу, что онъ желаетъ вмѣсто имѣнья разрѣшить его матери жить гдѣ она хочетъ. Павелъ разрѣшилъ съ тѣмъ, чтобъ она никогда не оставалась въ томъ городѣ, гдѣ онъ.

Мать была прощена. Теперь пришла очередь сына. Судили какого-то Алтести за злоупотребленія, а главное за его близость съ Зубовымъ. Дашковъ сказалъ Лопу-

хину, что Алтести правъ. Вечеромъ онъ получилъ слѣдующую цидулку:

„Такъ какъ вы мѣшаетесь въ дѣла, до васъ не касающіяся, то я васъ отставилъ отъ вами занимаемыхъ должностей.

Павелъ."

Дашковъ, боясь худшаго, отправился въ свое тамбовское имѣнье.

Наконецъ 12 марта 1801 года жизнь Павла „пришла къ концу," какъ говоритъ Дашкова; она съ умиленіемъ и глубокой радостію узнала, что этотъ вредный человѣкъ пересталъ существовать. „Сколько разъ, продолжаетъ она, благодарила я небо за то, что Павелъ сослалъ меня, онъ меня спасъ этимъ отъ унизительной обязанности являться при дворѣ такого государя."

При Александрѣ она снова свободно вздохнула.... при его дворѣ ей можно было явиться, не отказываясь отъ своего человѣческаго достоинства, но она уже себя не чувствуетъ дома въ новой сферѣ. Многое перемѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ Екатерина посылала ей счетъ портнаго. Старуха Дашкова сердится на молодое поколѣніе, окружающее Александра, и находитъ, что всѣ они или *якобинцы* или капралы.

Одно свѣтлое явленіе останавливаетъ ее, и она съ почтительной любовью, съ благоговѣніемъ смотритъ на него и привязывается къ нему; грустное и никѣмъ не оцѣненное, это задумчивое существо печально прошло залами зимняго дворца и исчезло, какъ тѣнь; объ немъ забыли бы, еслибъ иной разъ мы не встрѣчали на стѣнахъ извѣстной картины 1815 года, представляющей императора Александра I съ императрицей *Елисаветой Алексѣевной* примирителями Европы.

Къ запискамъ Дашковой Миссъ Вильмотъ приложила

прекрасно сдѣланный портретъ Елисаветы Алексѣевны; несчастная женщина стоитъ сложивъ руки; грустно смотритъ она съ бумаги, внутренняя печаль и какое-то недоумѣніе видны въ глазахъ, вся фигура выражаетъ одну мысль: „я здѣсь чужая"; она даже какъ-то такъ подобрала платье и складки, какъ будто сейчасъ готова уйдти.

Какая странная судьба ея и Анны Павловны, жены цесаревича!

Послѣ коронаціи, Дашкова увидѣла, что ей нѣтъ въ самомъ дѣлѣ мѣста при новомъ дворѣ, и стала собираться на покой въ Троицкое. Въ своемъ почетномъ удаленіи она снова становится властью. Къ ней ѣздятъ родные и знакомые, потухающія знаменитости и восходящія свѣтила.

Ступивъ за твой порогъ,
Я вдругъ переношусь во дни Екатерины;
Ты, не участвуя въ волненіяхъ мірскихъ,
Порой насмѣшливо въ окно глядишь на нихъ
И видишь оборотъ во всемъ кругообразный;
Такъ, вихорь дѣлъ забывъ для музъ и нѣги праздной,
Въ тѣни порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ,
Вельможи римскіе встрѣчали свой закатъ.
И къ нимъ издалека то воинъ, то ораторъ,
То консулъ молодой, то сумрачный диктаторъ
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть у пристани и вновь пуститься въ путь.

Сама Дашкова часто наѣзжала въ Москву. Въ ней она пользовалась большимъ уваженіемъ, царила, какъ законодательница тона и вкуса; вѣчно дѣятельная и неутомимая, она являлась на балы и обѣды и притомъ всѣхъ раньше. Молодыя дамы и барышни трепетали ея суда и замѣчаній, мущины добивались чести быть ей представленными.

На другомъ краю Москвы, не далеко отъ Донскаго монастыря, въ дворцѣ, окруженномъ садами, доживалъ свой вѣкъ другой живой памятникъ екатерининскихъ временъ. Жилъ онъ угрюмо, сохраняя вопреки лѣтъ свое атлетическое сложеніе и дикую энергію своего характера. Онъ въ 1796 съ нахмуреннымъ челомъ, но безъ раскаянія пронесъ по всему Петербургу корону человѣка, имъ задушеннаго; сотни тысячъ человѣкъ указывали на него пальцемъ; его товарищъ, князь Барятинскій блѣднѣлъ и былъ близокъ къ обмороку; старикъ жаловался только на подагру.

Но суровая жизнь его не должна была пройти несогрѣтою. Возлѣ него подростала дѣвочка кроткая, нѣжная, необыкновенно граціозная и исполненная талантовъ. Ею надменный старикъ сталъ жить сердцемъ; онъ сдѣлался ея нянней, холилъ ее, берегъ, ухаживалъ за нею и любилъ безмѣрно, какъ только могла бы ее любить покойная мать.

Сидя на своемъ диванѣ, онъ заставлялъ свою дочь плясать по цыгански и по русски, съ упоеньемъ и внутренней гордостью слѣдилъ за ея движеніями, утирая иногда слезу съ глазъ, которые сухо и жестокосердо видали столько ужасовъ.

Пришло наконецъ время старику вывести въ свѣтъ свое сокровище; но кому поручить ее, въ чье женское покровительство отдать этотъ береженый цвѣтокъ? Есть правда одна женщина, которой бы онъ повѣрилъ, которая могла бы съ своимъ необыкновеннымъ тактомъ направить ея первые шаги, — это княгиня Дашкова; но они въ ссорѣ. Она не простила ему, что сорокъ два года тому назадъ онъ запятналъ ея революцію.

И вотъ надменный Алексѣй Григорьевичъ Орловъ, Орловъ Чесменскій, котораго и Павелъ не сломилъ,

записываетъ милостиваго пріема у княгини Екатерины Романовны и, получивъ дозволеніе представить ей свою дочь, торопится съ радостію воспользоваться имъ и ѣдетъ къ ней съ своей Аннушкой.

Дашкова вышла къ нему на встрѣчу; кланяясь, поцаловалъ старикъ у нея руку; оба были взволнованы, наконецъ Дашкова сказала ему: „Такъ много времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались съ вами, графъ, и столько событій измѣнили міръ, въ которомъ мы нѣкогда жили, что мнѣ, право, кажется, что мы теперь встрѣчаемся тѣнями на томъ свѣтѣ. Присутствіе этого ангела (прибавила она, съ чувствомъ прижимая къ груди дочь своего бывшаго врага), вновь соединяющаго насъ, еще больше поддерживаетъ эту мысль.“

Орловъ въ восторгѣ цалуетъ руку у Миссъ Вильмотъ, которая его боится, не смотря на то, что называетъ его „величавымъ старцемъ,“ и съ удивленіемъ видитъ на его груди портретъ Екатерины, покрытый одними алмазами, гайдуковъ, стоящихъ въ передней, и съ ними карлу, шутовски одѣтаго.

Графъ зоветъ Дашкову къ себѣ и дѣлаетъ одинъ изъ тѣхъ баснословныхъ пировъ, о которыхъ мы слыхали преданія въ дѣтствѣ, пировъ, напоминающихъ Версаль и Золотую Орду. Сады горятъ огнями, домъ настежь, толпы дворовыхъ въ богатыхъ маскарадныхъ костюмахъ наполняютъ залы, музыка гремитъ, столы ломятся; словомъ, пиръ горой. Ему есть кому теперь поручить свою дочь!

Въ разгарѣ пиршества отецъ ее зоветъ, дѣлается кругъ, и она пляшетъ, пляшетъ съ шалью и пляшетъ съ тамбуриномъ, пляшетъ по русски; старикъ бьетъ тактъ и смотритъ въ глаза Дашковой; старуха доволь-

на, толпа молчитъ, благоговѣя передъ чиномъ отца и передъ необычайной граціей дочери; „она танцовала, говоритъ Миссъ Вильмотъ, съ такой простотой, съ такой природной прелестью, съ такимъ достоинствомъ и выраженіемъ, что ея движенія казались ея языкомъ.“

Послѣ каждаго танца она бѣжитъ къ отцу и цалуетъ его руку, Дашкова ее хвалитъ, отецъ велитъ ей поцѣловать и у нея руку... но ему показалось, что она разгорячилась и онъ старательно самъ закутываетъ ее въ шаль, чтобъ она не простудилась.

За ужиномъ, при громѣ трубъ и литавръ, Графъ стоя пьетъ здоровье Дашковой; потомъ раздаются ея любимыя русскія пѣсни, смѣняемыя цѣлымъ оркестромъ. А тутъ грянулъ и польскій, и Орловъ ведетъ Дашкову въ залу, гдѣ звуки роговой музыки удивляютъ нашу прландку, никогда не слыхавшую этого приложенія крѣпостнаго состоянія къ искусству.

Наконецъ, Дашкова собирается, и Графъ, кланяясь ей и цалуя руку, благодаритъ, что она посѣтила его бѣдный домишко.

Такъ-то праздновалъ Чесменскій Орловъ свое замиреніе съ старушкой Дашковой, и такъ-то этотъ суровый, жестокій человѣкъ любилъ свою дочь.

Я и самъ чуть не помирился съ нимъ вмѣстѣ съ княгиней Екатериной Романовой. Дики были времена, въ которыя они жили; дики и поступки его; петровская Русь еще была въ броженіи, не будемъ же его судить строже Дашковой, и если на томъ свѣтѣ много можетъ молитва родителей, то на этомъ отпустимъ Орлову многое за любовь его къ дочери.

А и ея судьба была странна. Я ее видѣлъ раза два мальчикомъ, потомъ видѣлъ въ 1841 году въ Новгородѣ; она жила возлѣ Юрьева монастыря. Вся жизнь ея

была однимъ долгимъ, печальнымъ покаяніемъ за преступленіе, не ею совершенное, одной молитвой объ отпущеніи грѣховъ отца, однимъ подвигомъ искупленія ихъ. Она не вынесла ужаса, который въ нее вселило убійство Петра III и сломилась подъ мыслью о вѣчной карѣ отца. Весь свой умъ, всю орловскую энергію она устремила къ одной цѣли, и мало по малу совершенно отдалась мрачному мистицизму и изувѣрству. Призванная по рожденію, по богатству, по талантамъ на одно изъ первыхъ мѣстъ не только въ Россіи, но и въ Европѣ, она прожила свой вѣкъ со скучными монахами, съ старыми архіереями, съ разными прокаженными, святошами, юродивыми. Говорятъ, что послѣ 1815 года, нѣмецкіе владѣтельные принцы искали ея руки, она всѣмъ отказывала; Александръ оказывалъ ей большое вниманіе, она удалилась отъ двора. Дворецъ ея больше и больше пустѣлъ и совсѣмъ замолкнулъ наконецъ; не раздавался уже въ немъ ни стукъ старинныхъ чашъ, ни хоры пѣсенниковъ, и никто не заботился больше о береженныхъ скакунахъ. Однѣ черныя фигуры бородатыхъ монаховъ мрачно ходили по аллеямъ сада и смотрѣли на фонтаны, точно все еще продолжались похороны Алексѣя Григорьевича—и, въ самомъ дѣлѣ, это была молитва объ успокоеніи его души.

Въ залѣ, гдѣ она кружилась и вилась цыганкой, въ отроческой чистотѣ, не понимая смысла знойныхъ движеній азіатскаго танца, гдѣ плавно и потупя взоръ, она плясала съ стыдливо поднятой рукой наши томныя, женственныя пляски и гдѣ плакалъ грозный отецъ, глядя на нее, тамъ теперь сидѣлъ Фотій, ограниченный фанатикъ, говорилъ безсвязныя рѣчи и вносилъ еще больше ужаса въ разбитую душу; дочь надменнаго чесменскаго графа смиренно слушала его зловѣщую рѣчь,

тщательно покрывая его ноги шалью, можетъ, той самой, въ которую ее завертывалъ отецъ!

„Анна, говорилъ Фотій, принеси мнѣ воды," и она бѣжала за водой; „теперь сядь и слушай."—Она садилась и слушала.—Бѣдная женщина!

Сады свои и дворецъ въ Москвѣ она подарила государю. Зачѣмъ? Не знаю. Необъятныя имѣнья, заводы, все пошло на украшеніе Юрьевскаго монастыря; туда перевезла она и гробъ своего отца; тамъ въ особомъ склепѣ теплится надъ нимъ вѣчная лампада, шепчется молитва, тамъ былъ приготовленъ и ея саркофагъ, еще пустой, когда я его видѣлъ. Въ ризахъ иконъ и въ архимандритскихъ шапкахъ печально мерцаютъ въ церковномъ полусвѣтѣ орловскія богатства, превращенныя въ яхонты, жемчуги и изумруды. Ими несчастная дочь хотѣла закупить судъ божій.

А Екатерина обирала у монастырей имѣнья и раздавала ихъ Орловымъ и другимъ любовникамъ. Немезида!

... Записки Дашковой насъ оставляютъ около этого времени. Самыя подробности о ея свиданіи съ Орловымъ мы взяли изъ писемъ двухъ сестеръ Вильмотъ.

Миссъ Мери Вильмотъ, тоскуя о потери своего брата и скучая дома, приняла предложеніе княгини Дашковой погостить у нея годъ-другой. Миссъ Мери не знала лично Дашковой, но (она была племянница Мистрисъ Гамильтонъ) съ дѣтства наслышалась объ этой необыкновенной женщинѣ, о томъ, какъ она осьмнадцати лѣтъ стояла во главѣ заговора, какъ носилась на конѣ передъ возмутившимися полками, какъ потомъ жила въ Англіи и гостила въ Ирландіи, была президентомъ Академіи и писала страстныя письма къ Гамильтонъ. Молодая дѣвушка представляла себѣ ее чѣмъ-то

фантастическимъ, „феей и отчасти колдуньей," и именно потому рѣшилась (въ 1803 году) къ ней ѣхать.

Подъѣзжая къ Троицкому, ей, впрочемъ, сдѣлалось такъ жутко и не по себѣ, что она рада была бы воротиться, еслибъ это было возможно.

На встрѣчу ей вышла небольшаго роста старушка, въ длинномъ, темномъ, суконномъ платьѣ, со звѣздой на лѣвомъ боку и съ чѣмъ-то въ родѣ колпака на головѣ. На шеѣ у нея былъ старый затасканный платокъ, —разъ въ сырую погоду вечеромъ на прогулкѣ, за двадцать лѣтъ, Мистрисъ Гамильтонъ показала ей этотъ платокъ, съ тѣхъ поръ она его берегла, какъ святыню. Но если нарядъ ея дѣйствительно сбивался на колдунью, то благородныя черты лица и безконечно нѣжное выраженіе взгляда съ перваго раза очаровали ирландку. „Въ ея пріемѣ, говоритъ она, было столько истины, столько теплоты, достоинства и простоты, что я полюбила ее прежде, чѣмъ она сказала что нибудь."

Миссъ Мери, съ перваго дня, совершенно подъ ея вліяніемъ, сама удивляется этому, сердится на себя, но не можетъ противостоять влеченію къ славной старушкѣ. Ей все нравится въ ней, даже ея ломанный англійскій языкъ, придающій что-то дѣтское ея рѣчамъ. „Лѣта и жизнь, говоритъ она, успокоила и смягчили ея черты, и гордое выраженіе ихъ, еще оставившее легкіе слѣды, смѣнилось снисходительностью."

Но вѣдь какъ же и полюбила ее Дашкова! Она ее любитъ страстно, какъ нѣкогда Екатерину. Свѣжесть чувствъ, ихъ женская нѣжность, потребность любви и столько юности сердца въ шестьдесятъ лѣтъ изумительны. Внимательность матери, внимательность сестры, любовницы, вотъ что находитъ Миссъ Мери въ Троицкомъ; чтобъ ее разсѣять, Дашкова ѣдетъ въ Москву,

возитъ ее по баламъ, показываетъ монастыри, представляетъ императрицамъ, украшаетъ цвѣтами ея комнату, проводитъ вечера съ ней, читая письма Екатерины и другихъ знаменитостей.

Миссъ Вильмотъ проситъ ее, умоляетъ писать свои записки. — „И то — говоритъ Дашкова — чего я никогда не хотѣла сдѣлать ни для родныхъ, ни для друзей, я дѣлаю для нея.“

Она ей пишетъ и посвящаетъ свои записки.

Въ 1805, Дашкова выписала сестру Миссъ Мери, Миссъ Катринъ, которая была тогда во Франціи и должна была ее покинуть, преслѣдуемая въ качествѣ англичанки. Сестры нисколько не похожи другъ на друга. Мери, существо нѣжное, кроткое, обрадовавшееся, что есть къ кому прислониться, согрѣться подъ чьимъ-то крыломъ; она привязывается къ Дашковой, какъ слабый плющъ къ старому, но крѣпкому дереву; она ее называетъ my russian mother; она пріѣхала къ ней изъ маленькаго городишка и ничего не видала прежде, кромѣ своего „изумруднаго острова.“ Ея сестра, живая и вспыльчивая, независимая въ мнѣніяхъ, жившая въ Парижѣ, умная и насмѣшливая, безъ особенной любви и терпимости, развязнѣе на языкъ. Къ тому же ей положительно многое не нравится въ Россіи,—и потому ея письма исполнены для насъ своего рода интереса.

„Россія, говоритъ она, похожа на двѣнадцатилѣтнюю дѣвочку—дикую, неловкую, на которую надѣли парижскую модную шляпку. Мы живемъ здѣсь въ XIV или XV столѣтіи.“ *)

Крѣпостное состояніе поражаетъ ее гораздо больше,

*) Миссъ Вильмотъ думала сказать колкость и сдѣлала комплиментъ. Жаль только, что она не знаетъ возраста дикой дѣвочки!— Это не ея лѣточисленіе!

чѣмъ добродушную ея сестру. Напрасно Дашкова показываетъ ей благосостояніе своихъ крестьянъ. „Имъ хорошо, пишетъ Миссъ Катринъ, при княгинѣ, но каково будетъ послѣ?“ Каждый помѣщикъ кажется ей однимъ изъ желѣзныхъ колецъ, которыми скована Россія.

Въ жалкомъ подобострастіи, въ позорномъ раболѣпіи нашего общества она очень справедливо находитъ отраженіе рабства. Она съ изумленіемъ видитъ въ залахъ и гостинныхъ опять холоповъ безъ всякаго нравственнаго чувства собственнаго достоинства. Ее удивляютъ гости, которые не смѣютъ садиться и часы цѣлые стоятъ у дверей, переступая съ ноги на ногу, которымъ киваютъ головой, чтобъ они ушли. „Понятіе добра и зла смѣшивается въ Россіи съ понятіемъ быть въ милости или въ немилости. Достоинство человѣка легко опредѣляется по адрессъ-календарю, и отъ государя зависитъ, чтобъ человѣка безусловно принимали за змѣю или за осла.“

Московскіе тузы не запугали ее млечнымъ путемъ своихъ звѣздъ, своей тяжеловатой важностью и скучными своими обѣдами.

„Мнѣ кажется, пишетъ она послѣ праздниковъ 1806 г., что я все это время носилась между тѣнями и духами екатерининскаго дворца. Москва—императорскій политическій Элизіумъ Россіи. Всѣ особы, бывшія въ силѣ и власти при Екатеринѣ и Павлѣ и давно замѣщенныя другими, удаляются въ роскошную праздность лѣниваго города, сохраняя *мнимую* значительность, которую имъ уступаютъ изъ учтивости. Вліяніе, сила давно перешли къ другому поколѣнію, тѣмъ не менѣе оберъ-камергеръ императрицы Екатерины II, князь Голицынъ все также обвѣшанъ регаліями и ор-

денами, подъ бременемъ которыхъ склоняются еще больше къ землѣ его девяносто лѣтъ отъ роду; все также, какъ во дворцѣ Екатерины, привязанъ брильянтовый ключъ къ его скелету, одѣтому въ шитый кафтанъ, и все также важно принимаетъ онъ знаки уваженія своихъ товарищей-тѣней, раздѣлявшихъ съ нимъ во время оно власть и почести.

„Рядомъ съ нимъ другой пестрый оборотень (goudy revenant) графъ Остерманъ, нѣкогда великій канцлеръ; на немъ висятъ ленты всевозможныхъ цвѣтовъ: красныя, голубыя, полосатыя; восемдесятъ три года скопились на его головѣ, а онъ все еще возитъ цугомъ свой стучащій кость объ кость остовъ, обѣдаетъ съ гайдуками за своимъ столомъ и наблюдаетъ торжественный этикетъ, которымъ былъ окруженъ, занимая свое мѣсто.“

Въ числѣ тѣней видала она и графа А. Орлова. „Рука, задушившая Петра III, осыпана брильянтами, между царскими подарками особенно выдается портретъ императрицы, Екатерина улыбается съ него въ своей вѣчной благодарности.“

Миссъ Вильмотъ называетъ еще Корсакова, котораго можно принять за „мерцающее привидѣніе изъ брильянтовъ,“ князя Барятинскаго и еще кой-кого изъ этихъ людей другого, прошедшаго міра, „откуда они захватили придворную болтовню о важныхъ ничтожностяхъ, надменность, тщеславіе, пустую суету, въ которой находятъ свое счастіе и свое горе.“

И она съ негодованіемъ заключаетъ: „А вѣдь раскрытый гробъ стоитъ у ихъ подгибающихся ногъ, грозя предать скорому забвенію ихъ мишурныя существованія.“

„Всѣ эти важные старцы окружены женами, дочеря-

ми, внучками, разряженными въ пухъ и сидящими въ раззолоченныхъ комнатахъ, патріархально заставляя плясать передъ собой своихъ горничныхъ и безпрестанно подчуя варенъемъ. Въ наружности ихъ есть что-то французское, къ тому же, воспитанныя француженками, онѣ хорошо говорятъ на этомъ языкѣ и одѣваются по послѣднимъ парижскимъ модамъ. Но въ сущности дамы эти очень мало любезны; ихъ образованіе совершенно внѣшнее, и милой легкости французскаго общества здѣсь вовсе нѣтъ. Когда московская дама оглядитъ васъ съ ногъ до головы, поцалуетъ васъ разъ пять-шесть, когда и двухъ разъ было бы, кажется, за глаза довольно, увѣритъ васъ въ своей вѣчной дружбѣ, скажетъ въ лицо, что вы прелестны и милы, распроситъ о цѣнѣ каждой вещи вашего наряда и поболтаетъ о предстоящемъ балѣ въ залѣ дворянскаго собранія, ей нечего больше сказать."

Обѣихъ сестеръ поражаетъ изъ рукъ вонъ пошлый обычай являться въ чужихъ брильянтахъ на балы. Притомъ всѣ знаютъ, чьи они; такъ какая-то княгиня Голицына давала своимъ пріятельницамъ брильянтовый поясъ и головной уборъ, необыкновенной цѣны и знакомый всему городу. Разъ она украсила ими племянницу Дашковой; молодая барышня совсѣмъ забыла, что и княгиня пріѣдетъ: неумолимая и строгая, она ненавидѣла, само собою разумѣется, эти выставки чужихъ богатствъ. Барышня такъ перепугалась, увидя Дашкову, что весь вечеръ пряталась. Но пришло роковое время ужина, озябнувшая Миссъ Мери надѣла шаль; эта мысль показалась ей спасительной и она взяла свою, чтобъ прикрыть рѣки алмазовъ отъ Дашковой. Усѣлись, Дашкова противъ, суповая чаша немножко спасала, но головной уборъ горитъ, какъ жаръ. Даш-

кова посмотрѣла. У бѣдной дѣвочки вышли пятны на лицо и навернулись слезы... Дашкова не сказала ни слова.

Миссъ Вильмотъ, во многомъ не согласныя въ оцѣнкѣ людей и фактовъ, тотчасъ соединяются, какъ только рѣчь идетъ о Дашковой. Ѣдкое перо Миссъ Катринъ теряетъ весь свой ядъ, говоря о княгинѣ. Въ началѣ статьи мы помѣтили ея характеристику Дашковой. Она въ ней оцѣнила всего меньше сторону женскую, нѣжную, для которой любовь была потребность. Эту сторону ея сердца гораздо лучше поняла Миссъ Мери, а все таки покинула ее.

Въ 1807 году уѣхала Миссъ Катринъ, Мери хотѣла ѣхать спустя нѣкоторое время. Ее остановило страшное событіе, поразившее Дашкову.

Дашкова, безмѣрно любя своего сына, никогда собственно не прощала его брака, никогда не хотѣла принять его жены; съ сыномъ, впрочемъ, она была въ перепискѣ, но не видалась съ нимъ. Сколько ни просили ее, и особенно Миссъ Вильмотъ, которой вліяніе было такъ безгранично,—обиженное сердце матери, которое не умѣли смягчить тотчасъ послѣ брака, не могло переломить себя и вполнѣ примириться. Въ 1807 году, лишь только Дашкова пріѣхала въ Москву, ея сынъ занемогъ и черезъ нѣсколько дней умеръ.

Ударъ этотъ былъ страшенъ для старушки, онъ сократилъ ея жизнь; позднее раскаяніе налегло на нее всей неотвратимой тяжестью. Она послала за невѣсткой. И эти женщины, надѣлавшіе другъ другу столько вреда, никогда не видавшись, и ненавидѣвшія другъ друга, откровенно и безсмысленно, рыдая бросились въ объятія другъ друга, возлѣ гроба человѣка, котораго онѣ такъ любили, и помирились на вѣки.

Существованіе Дашковой было сломано. Одно утѣшеніе оставалось у нея, это ея дитя, ея подруга, ея ирландская дочь, но она собиралась домой.

Зачѣмъ ѣхала она, этого я не понимаю. Трудно удержаться отъ чувства досады, видя, какъ не нужно Миссъ Вильмотъ покидаетъ Дашкову для своихъ ирландскихъ родныхъ, которыхъ роль въ ея жизни чрезвычайно ограничена и съ которыми ей должно было быть очень скучно.

Дашкова, испуганная своимъ одиночествомъ, хочетъ ѣхать съ ней въ Ирландію, окончить существованіе, „которое не имѣетъ больше потомства и должно изсякнуть.“ Миссъ Вильмотъ уговариваетъ ее не ѣздить; обѣщаетъ ей пріѣхать опять; старухѣ тяжело. Миссъ Мери, щадя ее, уѣзжаетъ тайкомъ, но задержанная въ Петербургѣ отъѣздомъ корабля и невѣроятно глупыми мѣрами полиціи, принятыми противъ англичанъ, по поводу тогда объявленной войны, она рѣшается снова ѣхать на нѣсколько мѣсяцевъ въ Москву; образъ старушки со слезами на глазахъ раздираетъ ей сердце, она пишетъ ей о своемъ намѣреніи.

Радости, благодарности Дашковой нѣтъ мѣры... но какъ же торжествовать ей эту новость? Она посылаетъ въ тюрьму выпустить пять человѣкъ, сидящихъ за долги, и поручаетъ имъ отслужить молебенъ.

Но горесть разлуки была только отдалена; упорная Миссъ Мери поставила на своемъ и все таки уѣхала. Удрученная горемъ Дашкова, простившись съ своимъ другомъ, легла въ постель. Ночью Миссъ Вильмотъ еще разъ тихо взошла въ ея спальню. Княгиня, проплакавшая цѣлый день, заснула, „выраженіе ея лица было дѣтски спокойно; я тихо поцѣловала ее и удалилась.“ Онѣ не видались больше.

Полная пустота, въ которой изрѣдка мелькали эти скучныя „тѣни,“ покрытыя звѣздами и пудрой, все больше и больше дряхлѣвшія, окружила послѣдніе дни нашей княгини. Ея мысли обращены къ молодой дѣвушкѣ съ грустью и мечтательной нѣжностью, отъ которой становится больно и тяжело; какъ-то ясно чувствуется, что этой грусти не будетъ больше утѣшенія.

„Что я скажу вамъ, my beloved child, пишетъ она 25 октября 1809 года, чтобы не огорчило васъ. Я печальна, очень печальна, слезы текутъ изъ глазъ моихъ и я никакъ не могу привыкнуть къ нашей разлукѣ. Я построила нѣсколько мостовъ, насажала нѣсколько сотъ деревьевъ, говорятъ, что удачно; меня все это разсѣваетъ на минуту, но горесть моя снова возвращается.“

Октября 29 она пишетъ: „И какъ все перемѣнилось послѣ васъ въ Троицкомъ. Театръ закрытъ, не было ни одного представленія, фортепьяны молчатъ и даже горничныя не поютъ. Но зачѣмъ я говорю это вамъ, вы окружены родными, счастливы, довольны...“

Она пишетъ ей еще нѣсколько строкъ 6 ноября и оканчиваетъ свое письмо англійскимъ God bless you!

Знала ли Мери, что благословеніе это было сдѣлано умирающей рукой? Меньше нежели черезъ два мѣсяца, а именно, 4 января 1810, *не стало* княгини Екатерины Романовны.

Пять лѣтъ до своей смерти, 27 октября 1805 года, она такъ заключила свои записки: „Съ честнымъ сердцемъ и чистыми намѣреніями, мнѣ пришлось вынести много бѣдствій; я сломилась бы подъ ними, еслибъ моя совѣсть не была чиста... Теперь я гляжу безъ страха и безпокойства на приближающееся разрушеніе мое.“

Какая женщина! Какое сильное и богатое существованіе!

СМЕРТЬ СТАНИСЛАВА ВОРЦЕЛЯ.*)

Третьяго Февраля 1857 г., въ небольшой улицѣ недалеко отъ Россель Сквера, въ бѣдной, крошечной комнатѣ нижняго этажа угасла тихо и едва замѣтно святая и великая жизнь.

Мало политическихъ именъ всплыли послѣ бурь и потрясеній послѣдняго десятилѣтія сѣ такой чистотою и окруженные такимъ уваженіемъ, какъ имя Ворцеля. Польша считаетъ мученикомъ больше. Она должна съ нами подѣлиться своими Чети-минеями, они намъ нужны для примѣра и поученія сыновей нашихъ.

Да, Ворцель былъ *святой* человѣкъ, я избираю именно это слово, потому что оно ближе всѣхъ выражаетъ главный характеръ его. Вся жизнь его была однимъ подвигомъ безпредѣльнаго самоотверженія, безграничной преданности. Все, что насъ поражаетъ въ жизни святыхъ, мы встрѣчаемъ въ немъ, только человѣчественнѣе, т. е. съ большей любовью.

Родившись въ роскоши и блескѣ высшей польской аристократіи, онъ умеръ въ крайности и демократомъ. Выходя изъ своего отечества, когда оно сломилось подъ желѣзной лапой Николая, онъ на порогѣ его стряхнулъ свои титла и пошелъ на чужбину, оставивъ казнѣ все достояніе свое. О послѣднемъ упоминаю мимо-

*) *Пол. Зв.* Т. III стр. 888.

ходомъ, потому что нѣтъ въ мірѣ народа, который бы легче славянъ терялъ богатства свои, поляки, кажется, довольно это доказали. Ворцель не для того оставилъ Польшу, чтобъ искать спокойной гавани и сложить руки, какъ тѣ римляне первыхъ вѣковъ, которые, отказываясь отъ мірскихъ благъ, удалялись куда нибудь въ виваидскія степи, только чтобъ не видать разрушающагося міра и изъ своего farniente дѣлали религію отчаянія. На чужбинѣ-то именно и начался его неусыпный, продолжительный трудъ образованія и развитія демократической партіи польской эмиграціи.

Среди лишеній, несчастій, болѣзней, оставленный своей семьей, женой, дѣтьми, Ворцель трудился день и ночь двадцать шесть лѣтъ къ ряду до послѣдняго дня своей жизни съ той свѣтлой ясностью, съ тѣмъ кроткимъ самоотверженіемъ, которое даетъ успокоившаяся вѣра и незыблемая надежда.

Слышалъ ли кто нибудь отъ Ворцеля какую нибудь жалобу, лично до него касающуюся? Онъ иногда былъ печальнѣе обыкновеннаго, вотъ и все. Былъ ли кто нибудь свидѣтелемъ, часто видаясь съ нимъ, одной изъ тѣхъ минутъ горечи, гдѣ негодованіе заглушаетъ вѣрованія и слова холоднаго сомнѣнія срываются съ устъ, слова, которыми человѣкъ мститъ за свои страданія? Я не былъ, а зналъ его довольно коротко.

Это была одна изъ тѣхъ цѣльныхъ, я скажу фанатическихъ натуръ, проникнутыхъ одной великой мыслью, имѣющихъ одну великую цѣль, и равно дошедшихъ до великой сердечной кротости и до совершенно непреклонной воли. Такихъ людей мы часто встрѣчаемъ напр. во времена Возрожденія и Реформаціи. У нихъ нѣтъ возврата, нѣтъ устали, они уже разъ съ *главнымъ* покончили, до *остальнаго* имъ дѣла нѣтъ, они уже все

отдали, все принесли на жертву, осталось идти, осталось выполнять, „ога e sempre!“ По дорогѣ нищета, одиночество, измѣны, плачъ слабыхъ, крикъ отсталыхъ, смерть близкихъ, цѣпи, висѣлица, — не сворачивать же за этимъ съ дороги? Тотъ же спокойный, строгій, постоянный шагъ.

Таковъ былъ Ворцель и таковъ ближайшій другъ его, человѣкъ, котораго онъ страстно любилъ — Іосифъ Маццини.

Неизмѣнный стражъ Польши, онъ всегда былъ готовъ, всегда на своемъ постѣ. Ледрю-Ролленъ напомнилъ, въ своей рѣчи на могилѣ Ворцеля, трогательныя слова его, которыя за день или за два до своей смерти, онъ, не имѣя силъ сказать, написалъ умирающей рукой: „Я выстоялъ мой чередъ, какъ слѣдуетъ человѣку, я донесъ мой крестъ, пусть другой меня смѣнитъ“.

При этихъ словахъ Ледрю-Роллена мнѣ вспомнилось другое время. Нѣсколько дней послѣ февральской революціи, Ламартинъ, въ родѣ тѣхъ дикихъ, которые ложатся въ постель вмѣсто родильницы, принималъ поздравленія съ рожденіемъ республики. Въ числѣ депутацій была кучка посѣдѣлыхъ бойцовъ, съ печальной отвагой на лицѣ; вожатый ихъ сказалъ Ламартину т. е. не Ламартину, а Французской Республикѣ: „На всякой перекличкѣ народовъ въ годину боя, на всякой призывъ къ оружію за свободу, Польша отвѣчаетъ; *Здѣсь!* Она готова по первому зову идти на помощь народамъ утѣсненнымъ, она видитъ въ каждомъ освобожденіи — освобожденіе Польши“. И въ этихъ словахъ Ворцеля (если не ошибаюсь) звучало что-то печальное, невольно сбивавшееся на упрекъ забытаго, оставленнаго союзника. Неизмѣнный стражъ, онъ и послѣ былъ на лицо,

но заснувшіе народы не звали его, и тяжелое колесо самовластья проѣхало по его костямъ.

Да, чуденъ былъ удѣлъ польскихъ выходцевъ, мраченъ и исполненъ поэзіи. „Задавленные силой, преданные западными правительствами, поляки (какъ я писалъ нѣкогда), сражаясь на каждомъ шагу, отступали. Перейдя границу, они взяли съ собой свою родину и не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свѣту. Европа разступилась съ уваженіемъ передъ торжественнымъ шествіемъ отважныхъ бойцевъ. Народы выходили на встрѣчу; цари сторонились, чтобъ дать имъ пройти. Европа тридцатыхъ годовъ проснулась на минуту отъ ихъ шаговъ, нашла слезы и участіе, нашла деньги и силу ихъ дать, будто какое-то угрызеніе совѣсти набѣжало на ея душу. Благородный образъ польскаго выходца, этого крестоваго рыцаря свободы, сильно врѣзался въ народную память, онъ искупалъ вѣкъ молодушный и холодный".

Съ тѣхъ поръ и это перемѣнилось. Напрасно Польша внѣ родины откликалась во всѣ грозные дни борьбы и опасности, напрасно въ первыхъ рядахъ каждаго боя за волю, стоялъ, мечтая о своей родинѣ, бѣлокурый сынъ Польши и самоотверженно лилъ свою кровь! Польша была забыта. Несчастіе, продолжающееся слишкомъ долго, изнашиваетъ сочувствіе.

Но... пусть кроткая тѣнь нашего усопшаго друга низведетъ миръ и покой на нашу душу.

Будемъ же говорить объ немъ.

Въ концѣ 1852 года, возвращаясь изъ Италіи, я встрѣтилъ Ворцеля въ Лондонѣ. Время было печальное, со всѣхъ сторонъ обложило черными тучами. Весь европейскій материкъ былъ быстро увлекаемъ какой-то неистовой силой въ то старческое варварство, въ ко-

торомъ онъ теперь находится. Дикая, грубая реакція торжествовала вездѣ. Я старался оторваться отъ печальнаго зрѣлища этой агоніи, заря новаго утра мнѣ виднѣлась съ *другой стороны* и я сосредоточилъ всѣ мои силы на образованіе центра русской пропаганды въ Лондонѣ. Я сообщилъ Ворцелю мою мысль. Надобно было видѣть радость, участіе, дружбу, съ которыми онъ меня слушалъ — и онъ, представитель польской демократіи, помогалъ мнѣ самымъ дѣятельнымъ образомъ въ учрежденіи трибуны для вольнаго русскаго слова. Добрый и прекрасный другъ! Я какъ теперь вижу его, съ изнуреннымъ лицомъ и сѣдыми волосами, съ голосомъ сломаннымъ болѣзнію, но съ взглядомъ, въ которомъ горѣли умъ и энергія, когда онъ, держа въ своихъ рукахъ первый отпечатанный по русски въ Лондонѣ листъ, говорилъ мнѣ: „Боже мой, Боже мой, русская свободная типографія въ Лондонѣ! Сколько дурныхъ минутъ послѣдняго времени стираетъ этотъ клочекъ бумаги, замаранный голландской сажей!“. Потомъ онъ сжалъ мнѣ обѣ руки и повторилъ: —„Да, мы должны идти вмѣстѣ, у насъ одна цѣль и тѣже враги!“

Русская типографія сначала была соединена съ типографіей польскаго демократическаго общества; Ворцель предложилъ мнѣ всѣ свои средства, чтобъ первые летучіе листы и брошюры дошли черезъ Польшу въ Россію.

Demokrata Polski, объявляя объ открытіи русской типографіи и печатая переводы моихъ статей, помѣстилъ братское воззваніе къ русскимъ, протягивая имъ на миръ и забвеніе свою обиженную руку. Тогда-то знаменитый историкъ Мишле написалъ мнѣ: „Какая же ненависть имѣетъ право продолжаться, когда поляки соединяются съ русскими?“

Во время войны, ненависть и страхъ снова усилили враждебное расположеніе къ намъ. Ограниченные и печальные безумцы мстили за свою боязнь, нарочно смѣшивая каждаго русскаго, хотя бы онъ былъ Пестель или Муравьевъ съ оффиціальной Россіей. Ворцель, котораго война не ослѣпила ни на минуту, возсталъ съ негодованіемъ противъ этой систематической клеветы. Сначала онъ защитилъ публично Бакунина (котораго и до сихъ поръ *милосердый* императоръ держитъ въ крѣпости), потомъ и меня, когда пришелъ мой чередъ пройти подъ этими душами грязи.

Замѣчательно, что такой животной ненависти къ русскимъ почти совсѣмъ нѣтъ у поляковъ, которые одни въ свѣтѣ въ правѣ насъ ненавидѣть. Поляки не требуютъ отъ насъ какъ доказательствъ цивизма, чтобъ мы измѣнили отечеству, и въ подтвержденіе нашей искренности, чтобъ мы позорили нашъ народъ. Какъ только русскій подходитъ къ полякамъ съ сердцемъ обливающимся кровью за всѣ ужасы, надѣланные русскимъ правительствомъ, краснѣя нашихъ общихъ цѣпей, поляки его принимаютъ какъ брата. Бакунинъ испыталъ это, какъ многіе другіе, какъ я самъ. „Мы васъ любимъ, сказалъ мнѣ разъ Ворцель, говоря объ этомъ, именно потому, что вы любите вашу родину; иначе вы не были бы съ нами, а были бы равнодушный человѣкъ, оставившій свою родину для собственнаго удовольствія“.*)

За то, прежде, чѣмъ Ворцель закрылъ на вѣки глаза, онъ еще видѣлъ съ большею радостью успѣхъ русской пропаганды, ея распространеніе, матеріалы, которые получались изъ Россіи, требованіе книгъ и наши

*) Ворцель въ этомъ смыслѣ помѣстилъ двѣ статьи въ La Nation Belge, въ Ноябрѣ 1853 года.

отправки. Онъ говорилъ со мной обо всемъ объ этомъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, недѣль за пять до кончины.

Подробности его біографіи я переведу впослѣдствіи изъ брошюры, которую хотятъ издать его польскіе друзья; здѣсь я прибавлю только нѣсколько строкъ общей характеристики этого замѣчательнаго человѣка.

Ворцель былъ человѣкъ по преимуществу религіозный. Тотъ мистическій складъ, который мы видимъ почти у всѣхъ польскихъ поэтовъ, имѣлъ глубокіе корни въ душѣ Ворцеля, не смущая впрочемъ нисколько его свѣтлаго ума. Это былъ умъ діалектическій, чрезвычайно тонкій и вмѣстѣ съ тѣмъ объемистый. Одаренный въ высшей степени способностью отвлеченнаго мышленія, онъ естественно сдѣлался глубокимъ математикомъ. Но съ своимъ живымъ и удободвижимымъ умомъ, онъ не могъ ограничиться астрономіей и механикой, а послѣдовательно изучилъ всѣ естественныя науки. Его знанія были изумительны. Онъ занимался всѣмъ, интересовался всѣмъ, помнилъ все. Онъ свободно и изящно говорилъ по французски, англійски и нѣмецки, основательно зналъ древнія и новыя литературы. Я иногда прибѣгалъ къ нему какъ къ энциклопедіи и всегда тотчасъ получалъ отвѣтъ; добросовѣстный во всемъ, онъ иногда на другой день присылалъ мнѣ записку, если ошибался въ чемъ нибудь. Эта масса знаній съ радужнымъ хроматизмомъ, который ей придавалъ его мистическій элементъ и составляла особенную прелесть его возрѣнія и его рѣчей.

Но все это, наука и мистицизмъ, исторія и математика, все это было у Ворцеля на второмъ планѣ. Религія его — постоянная мысль всей его жизни — была *религія Польши*. Все остальное было для него отдыхъ, разсѣяніе. Отдавши все на жертву — семью, богатство.

цѣлую жизнь — своему дѣлу, онъ хотѣлъ даже самой смертью своей быть полезенъ Польшѣ. Чувствуя приближеніе своего конца, онъ послалъ за Маццини и за двумя-тремя друзьями. Слабый, истощенный, задыхающійся, онъ лежалъ на своемъ маленькомъ диванѣ и не могъ говорить. Нѣсколько оправившись, онъ сдѣлалъ знакъ Маццини, чтобъ тотъ приблизился; его исхудалые, измученные черты приняли торжественно строгое выраженіе и онъ потухшимъ голосомъ, перерываясь для тяжелаго дыханія, требовалъ отъ Маццини священнаго обѣта, чтобъ Польша не была забыта при пробужденіи народовъ. Это было грозное „Клянитесь!“*), произнесенное на краю гроба духомъ народа, пожертвованнаго другими народами. Маццини взялъ перо, написалъ нѣсколько строкъ и прочелъ ихъ больному. Подавленный чувствами, старикъ не могъ произнести ни слова... черты его преобразились, глаза еще разъ освѣтились выраженіемъ счастія, ими и нѣмой улыбкой на устахъ благодарилъ умирающій своего друга, ему казалось было легче оставить теперь свой постъ.

Недѣлю спустя Маццини, говоря со мной объ этомъ, былъ еще сильно потрясенъ и весь подъ вліяніемъ этого благодарящаго взора, въ которомъ чудно встрѣтились вдохновенная надежда и смерть. Я вспомнилъ Доминикиново причащеніе св. Іеронима передъ смертью, на ватиканскихъ стѣнахъ, тоже выраженіе, тоже лице и таже вѣра идущая за гробъ, восторженная и преданная!

Девятаго Февраля, выходцы всѣхъ странъ..... послѣдніе обломки всѣхъ кораблекрушеній безъ различія партій и странъ, безъ зова собрались передъ убогой квар-

*) „Swear!“ Гамлетова отца.

тирой покойника. Ничего не было приготовлено, все сдѣлалось само собой, англичанинъ принялъ на себя расходъ, итальянцы явились съ музыкой, русскіе помогли полякамъ донести гробъ до могилы, куда его проводило обвитое крепомъ знамя Италіи и красное знамя будущей Республики. Каждое слово, сказанное Ледрю-Ролленомъ на могилѣ, было словомъ примиренія и кротости. День былъ весенній, солнце, такъ рѣдко свѣтящее на лондонскія улицы, придавало что-то торжественное этому пиру смерти. И вдругъ на насъ повѣяло какимъ-то духомъ мира и согласія. Откуда-то взявшаяся надежда посѣтила разомъ сердца многихъ и многіе спросили сами себя: „Отчего разъединеннымъ членамъ великой семьи несчастья и изгнанья не остаться также соединенными на общее дѣло, какъ они теперь соединены около могилы одного изъ своихъ?“

И этотъ слабый свѣтъ примиренія сошелъ въ утѣшеніе намъ среди мрака и потерь, въ которыхъ мы живемъ—отъ гроба святаго мученика!

О еслибъ это было возможно—какой памятникъ ære perennius воздвигся бы Ворцелю!

10 Февраля 1857.

APHORISMATA*)

По поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова

Сочиненіе Прозектора и Адъюнктъ-Профессора

ТИТА ЛЕВІАѲАНСКАГО

Милостивый Государь и Господинъ Редакторъ (имени и отчества, извините, не знаю).

Въ заграничной періодикѣ, издаваемой вами, я съ удовольствіемъ прочиталъ введеніе въ Психіатрію добрѣйшаго наставника и товарища моего д-ра Крупова. Я Семена Ивановича зналъ лично, любилъ, уважалъ и, могу сказать, отдалъ ему послѣдній дружескій долгъ, т. е. вскрылъ послѣ кончины его тѣло и обнаружилъ хроническую болѣзнь въ печени, которой онъ и не предполагалъ, но которая свела его въ могилу.

Увлекательная теорія покойнаго, во время ея появленія, сильно подѣйствовала на меня. Я долгое время былъ подъ ея вліяніемъ и самъ вездѣ на практикѣ, въ житейскихъ отношеніяхъ и въ книгѣ пріискивалъ новые факты и свидѣтельства въ подтвержденіе главныхъ положеній ея. Такъ напр. я въ одномъ англійскомъ авторѣ, Byronѣ, нашелъ замѣчательную по вѣрности мысль, что „еслибъ изъ Бедлама выпустить больныхъ, а здоровыхъ внѣ Бедлама находящихся запереть, то значительной перемѣны не было бы замѣтно“ (Vid. Don Juan, Can. XIV, v. 87). Другой англійскій писатель, Вильямъ Шекспиръ (читанный мною въ переводѣ одного изъ моихъ сотоварищей Н. Хр. Кетчера), намекнулъ на это, говоря, что „сумасшедшаго датскаго принца затѣмъ и посылаютъ въ Ан-

*) *Пол. Зв.*, томъ VIII, стр. 180.

См. „Докторъ Крупов“ Т. III, стр. 327 настоящ. изданія. Ивд.

глію, чтобъ его состояніе не было замѣтно въ странѣ, гдѣ всѣ поврежденные.“ Не удивительно, что именно на этомъ островѣ и выразился первый свободный, энергическій протестъ одного лично поврежденнаго, который, содержась въ больницѣ, сказалъ врачу: „Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же. Бѣда моя въ томъ, что *большинство* со стороны всего свѣта.“

Но не буду наполнять моего письма цитатами; скажу напротивъ, что впослѣдствіи во мнѣ возникли нѣкоторыя сомнѣнія, не въ главномъ положеніи д-ра Крупова, однако же въ вещахъ очень важныхъ.

Лѣтами гораздо постарѣе меня, С. И. принадлежалъ еще къ слушателямъ знаменитаго профессора М. Я. Мудрова, въ силу чего и получилъ нѣсколько религіозно-мистическое и отчасти франкъ-массонское направленіе.

Я же, какъ студентъ Дядковскаго и М. Г. Павлова, ими былъ наведенъ на направленіе болѣе философское. Наведенъ, но не удовлетворенъ, а оставленъ на собственныя силы.

Нѣкоторыя возраженія я тогда помѣтилъ и для большей доступности написалъ ихъ по латынѣ. Но не только не далъ имъ никакого развитія, но даже не привелъ въ систематическій порядокъ.

По обязанностямъ моего служенія, я посвящаю время свое людямъ, уже кончившимъ свою жизнь и, такъ какъ долгъ относительно ихъ, и мой интересъ, собственно начинаются съ полицейскаго удостовѣренія о приключившейся кончинѣ, то и не трудно понять, что имѣя большую практику, какъ отъ университетской больницы, такъ и отъ военнаго госпиталя, поставляющаго намъ въ обиліи трупы, я занимался психіатрическими возраженіями, въ феріахъ и каникулахъ, не какъ моимъ спеціальнымъ дѣломъ, но скорѣе отдохновительнымъ exitга.

Впослѣдствіи, при возрастающихъ занятіяхъ, благодаря акклиматизаціи холеры и укорененію простаго и возвратнаго тифа, я забылъ о моей тетради, какъ вдругъ одинъ изъ коллеговъ, ѣздившій въ Германію, привезъ съ собой нумеръ издаваемой вами періодики (имя его, по причинамъ, понятнымъ вамъ, я считаю долгомъ, до поступленія его въ прозекторскую, умолчать) — въ немъ я нашелъ сочиненіе учителя и наставника моего, д-ра Крупова, вульгаризированнымъ на французскій языкъ. Невольно вспомнилъ я тетрадку свою, перечитал ее, исправилъ, мѣстами переѣлилъ и, пользуясь отправленіемъ за границу нашего добрѣйшаго Киліана Вильгельмовича, профессора теологической Екзегезы и автора извѣстнаго сочиненія объ отношеніи богословія къ анатоміи и христіанства

къ терапіи — рѣшился послать вамъ. Если вы не найдете ничего неприличнаго въ помѣщеніи сего слабаго, но искренняго опыта, мое уваженіе къ памяти Семена Ивановича, не допустило бы меня ни въ какомъ случаѣ до выраженій, лишенныхъ урбанности, то сочту это для себя одолженіемъ, ибо въ отечествѣ нашемъ послѣ уничтоженія цензуры и увеличенія отвѣтственности, не полагаю, чтобъ это сочиненіе было къ печати допущено; особенно при нынѣшнемъ теократическомъ направленіи полиціи и администраціи и полицейской тенденціи православныхъ служителей алтаря.

Пожелаете ли перевести или напечатать по латынѣ мои *афоризмата*, это совершенно зависитъ отъ васъ. Полагаю, латинскій языкъ популярнѣе.

Позвольте, М. Г., г. Редакторъ,
засвидѣтельствовать о чувствахъ
глубокоуваженія, съ которыми
пребываю
Титъ Левіаѳанскій
Prosector et anatomiae professor adj.

P. S. Адреса не пишу, такъ какъ отвѣта по почтѣ получить не желаю, по обстоятельствамъ, моего уваженія къ вамъ не уменьшающимъ...

T. L. pr.

.....Левіаѳанскій, Левіаѳанскій, да еще Титъ! Я думалъ, что съ Титомъ Каменецкимъ, издавшимъ тридцать тисненій всеобщей, пространной и краткой географіи, Титы въ Россіи кончились. Вѣрно псевдонимъ тоже „по обстоятельствамъ, не уменьшающимъ уваженіе.“ Что касается до фамиліи — семинарія за такими бездѣлицами не останавливается — развѣ нѣтъ у насъ разныхъ Крестовоздвиженскихъ, Федоростудитенскихъ, Геѳсеманійскихъ, Ризоположенскихъ, не говоря о старыхъ знакомыхъ Круциферскомъ и Кафернаумовѣ?

При письмѣ была тетрадь, написанная мельчайшимъ шрифтомъ, семинарскимъ почеркомъ и медицинской латынью. Я по латыни никогда хорошо не зналъ, да и то, что зналъ, забылъ. По счастію, теперь во всѣхъ

городахъ нагорныхъ, гидро-терапевтическихъ и гидро-минеральныхъ заводятъ православныя часовни. Переводъ сдѣланъ мною собща съ однимъ священникомъ; усердно благодаря его, я долженъ въ очистку его сказать, что онъ сталъ мнѣ помогать только послѣ явственнаго удостовѣренія съ моей стороны, что все, относящееся до религіи у Тита Левіаѳанскаго какъ и д-ра Крупова, относится къ лжекатолической религіи и къ лютеровымъ ересямъ, а не къ православной церкви, о которой никогда никто не думаетъ.

Когда я перевелъ первый аѳоризмъ, я испугался, но вскорѣ догадался, что прозекторъ „лично“ сумашедшій, въ доказательство чего и печатаю переводный отрывокъ. Батюшка полагаетъ, что въ прозектора вторгся Вельсевулъ — тотъ самый, который нѣкогда былъ сосланъ въ свиней. Можетъ быть! Спорить не стану — а я все думалъ, что онъ давно истрѣченъ на *трихины!*

APHORISMATA.

I.

Вѣрность, съ которой многоуважаемый авторъ разбираемой мною диссертаціи, опредѣлилъ *родовое* единство двухъ видовъ помѣшательства, повальнаго и личнаго, составляетъ неоспоримую заслугу д-ра Крупова.

Онъ былъ весьма близокъ къ тому, чтобы вывести прочный фундаментъ для медицинскаго пониманія *всемірной исторіи.* Но, по несчастію, онъ, какъ многіе изъ великихъ врачей до него, отступая отъ опыта, допустилъ преждевременныя заключенія *о цѣли*, и черезъ

то запутался въ религіозно-метафизическія фантасмагоріи.

Авторъ въ „историческомъ безуміи“ видитъ *средство* (кѣмъ взятое?) „благодѣтельную горячку,“ какъ онъ выражается, для излѣченія отъ „животности“ и видитъ его медленное, но вѣрное уменьшеніе, а посему и ожидаетъ *перерожденія рода человѣческаго*, что многіе дѣлали и прежде него, но главное состоитъ въ томъ, что онъ на *этомъ свѣтѣ* ждетъ свою метемпсихозу.

Допуская это, мы изъ предверья науки уносимся въ пучину мистическихъ волнъ и возвратимся къ младенческимъ степенямъ ума и пониманія — которые и были можетъ быть полезны и необходимы для мозговаго роста, какъ прорѣзываніе зубовъ, но которые въ совершеннолѣтіи безъ уродства повторяться не должны. Сюда мы причисляемъ всякаго рода *ожиданія*: пророковъ, мессій, пятаго царства, втораго пришествія, братства, справедливости и другихъ предназначенныхъ прогрессовъ.

Притомъ замѣтимъ, что всѣ послѣдовательные богословы, храмовые *), церковные и академическіе, ставили всегда отвлеченный идеалъ свой, какъ бы они его ни понимали, внѣ исторической жизни, что значительно уменьшаетъ погрѣшность ихъ.

Такъ язычники искали его въ до-историческомъ времени, въ дикомъ состояніи, называемомъ *золотымъ вѣкомъ*, въ него переносили свои мечты о непорочности, незнаніи, простотѣ и другихъ отрицательныхъ добро-

*) Т. е. не Темпліеры, а язычники, молитву творившіе въ капищахъ, божницахъ и „храмахъ,“ въ противоположность христіанамъ, молитвословящимъ въ церквахъ.

(Примѣчаніе батюшки, помогавшаго въ переводѣ.)

дѣтеляхъ и положительныхъ неразвитіяхъ, которыми преисполнены и поднесь орангутанги и лемуры. Такъ христіанство ожидало въ сущности царства небеснаго, а не земнаго. Оно сѣяло *здѣсь* для предвѣчнаго жнитва *тамъ*. Церковь считала здѣшнюю жизнь, которой надобно было пройти, дурной дорогой и старалась слегка и немного посыпать ее щебнемъ, нисколько не думая объ окончательномъ ея устройствѣ. Для христіанства смерть главное и счастливое событіе, оттого-то оно въ свое цвѣтеніе никогда не отказывало ни въ благословеніи войнамъ, ни въ сожженіи, гарротированіи и иныхъ казняхъ еретикамъ. Смерть для христіанъ была выпускнымъ экзаменомъ низшихъ учебныхъ заведеній, съ правомъ на вступительный экзаменъ заведеній высшихъ и загробныхъ.

Остальные теологи безцерковные, какъ Вольтеръ и Руссо и другіе бого и антропотеофилы прошлаго вѣка и нашего, всѣ принимали для исполненія идеала своего *иной свѣтъ*, или такъ называемый *тотъ свѣтъ*, о которомъ, по занятіямъ моимъ въ прозекторской, я всего меньше имѣлъ случай сдѣлать какія нибудь наблюденія, и дѣйствительно не знаю, существуетъ онъ или нѣтъ, и если существуетъ, то какъ къ нашему прилагается. Для меня всегда было неясно (и я смиренно въ томъ вижу отсутствіе выспренныхъ способностей), какъ можетъ *привычка къ существованію* переживать *существующаго* Но въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ не объ объективномъ бытіи, т. е. о бытіи *въ самомъ дѣлѣ того свѣта*, но о логичности его постановленія у теологовъ безцерковныхъ и церковныхъ.

Даже тѣ изъ богослововъ, которые, какъ *деисты*, сознаютъ, что они *постичь* не могутъ высшее существо и только *чтутъ его, не понимая*—сознаваясь, что ничего,

ни хорошаго, ни дурнаго о немъ не знаютъ — и они приняли несовмѣстимость понятія здѣшней жизни съ освобожденіемъ отъ ея условій. Въ силу чего они, допуская прогрессъ, допустили „*безконечность*“ его, т. е. поставили цѣлью усилій человѣческихъ поступательное движеніе безъ достиженія, что совершенно подходитъ къ психіатрической діагнозѣ безумія, блестяще чиноположенной нашимъ авторомъ.

Какъ же онъ, *сей*)* врачъ, постигнувшій, что люди дѣйствуютъ только подъ вліяніемъ извѣстнаго состоянія мозга, называемаго нами патологическимъ или фантасмагорическимъ, какъ же онъ не понялъ, что другаго *чистаго* мозга вовсе нѣтъ и быть не можетъ, какъ чистаго (математическаго) маятника, какъ нормально здороваго человѣка. Онъ думаетъ, что это будетъ по излеченіи, а мы спрашиваемъ, какъ же *постоянное состояніе* какого нибудь животнаго рода или вида можетъ излѣчиться, хотя бы оно имѣло свои неудобства, какъ слѣпота крота — это не болѣзнь, а *особенность*, *признакъ*.

Какъ же, повторяю, врачъ, чиноположившій отличительныя свойства того, что называется безуміемъ, въ силу котораго окружающіе предметы сознаются неправильно, но и не произвольно, въ болѣзненномъ упорствѣ сохранить это сознаніе, даже при вредѣ себѣ, въ стремленіи къ цѣлямъ несуществующимъ, съ упущеніемъ цѣлей дѣйствительныхъ, могъ усомниться въ его вѣчной необходимости для исторіи и прогресса.

Семенъ Ивановичъ, прослѣдившій свою мысль у постели больнаго, у своего очага (съ кухаркой Матреной

*) Батюшка непремѣнно просилъ оставить „сей;“ онъ находилъ, что *этотъ* „указательно“—а *сей* „сугубо указательно.“

Бучкиной), въ домѣ друзей своихъ (у Анны Феодоровны), въ присутственныхъ мѣстахъ своего города, во Всеобщей Аугсбургской газетѣ, въ путешествіяхъ отъ Магелана, Васко-де-Гама, Марка Поло „до Дюмонъ Дюрвиля," въ бытописаніяхъ отъ Геродота, Тита Ливія „до отечественнаго Карамзина." — какъ же онъ, видя такъ много, не усмотрѣлъ главнаго (не будемъ упрекать человѣка, сдѣлавшаго много, за то, что онъ не сдѣлалъ всего—силы человѣка сочтены): что безъ хроническаго, родоваго помѣшательства прекратилась бы всякая государственная дѣятельность, что съ излѣченіемъ отъ него остановилась бы исторія. Не было бы ей занятія, не было бы въ ней интереса. Не въ умѣ сила и слава исторіи, да и не въ счастьи, какъ поетъ старинная пѣсня, а *въ безуміи.*

Безъ него мы были бы сведены на логику и математику.

Оставимъ же навсегда дѣтскую кичливость, съ которой шведъ Линней, лучше знавшій воспроизводительныя части растеній, чѣмъ мозги человѣческіе, назвалъ человѣка (какъ Правительствующій Сенатъ императрицу Екатерину II) *мудрымъ*, homo sapiens, и противупоставилъ ему человѣка безумнаго— homo insanus —человѣка съ безконечнымъ творчествомъ мѣняющаго idées fixes и пункты помѣшательства и постоянно пребывающаго вѣрнымъ безумію. Если у людей являлась рѣдкая манія жить по чистому разуму и по разуму устроиться, то она количественно всегда такъ была незначительна, что ее можно отнести къ личнымъ умопомѣшательствамъ, а не къ тѣмъ, которыми зиждятся царства и имперіи, народы и цѣлыя эпохи.

Умомъ и словомъ человѣкъ отличается отъ всѣхъ животныхъ. И такъ, какъ безуміе есть творчество ума, такъ вымыселъ—творчество слова.

Одно животное пребываетъ въ бѣдной правдивости своей и въ жалкомъ здравомъ смыслѣ. Природа молчитъ или звучитъ безсвязно, ибо она-то и находится подъ безвыходнымъ самовластьемъ разума, въ то время, какъ человѣкъ городитъ цѣлыя Магабараты и Урвазіи. Все сковано въ природѣ желѣзною необходимостью, она не усовершается, не домогается, не ждетъ обновленья и искупленья, она только перерабатывается, „не вѣдая, что творитъ,“—и въ эту-то кабалу, въ этотъ домъ безъ хозяина, безъ добродѣтелей и пороковъ, толкаютъ человѣка подъ предлогомъ излѣченія?

Отнимите у людей сказки и бредни, библіи и апокалипсисы, вѣру въ пришествіе вѣчнаго міра и таковаго же братства—и родъ человѣческій, какъ Калигула, возжелаетъ имѣть едину главу и едину каротиду, чтобъ перерѣзать ее однимъ ударомъ бистурія.

Посему и не удивительно, что всѣ пророки и законодатели ставили въ основу своей проповѣди и закона какое нибудь страшное безуміе или фантазію; что всѣ моралисты соединяются на томъ, что самый необходимый даръ есть *даръ вѣры*, а вѣрить только въ то и надобно, чего доказать нельзя.

Жидовствующій французскій богословъ, Ренанъ*), сказалъ, что „человѣкъ, по инстинкту, плететъ религію, какъ паукъ паутину.“ Мѣтко, но съ той разницей, что паукъ плететъ паутину для прокормленія и отъ голода, а человѣкъ начинаетъ плести, когда наѣстся до сыта, что паукъ тянетъ нить изъ себя, чтобъ осѣтить муху, а человѣкъ тянетъ религію, чтобъ уловить умъ свой, какъ начало антисоціальное и разъѣдающее.

*) Батюшка было поставилъ, какъ въ текстѣ, „Ренанусъ,“ но я просилъ его отнять „усъ,“ а то пришлось бы Кине называть Квинетусомъ и Оливье Олеаріусомъ.

Необходимость фантазіи, сказки, лжи, религіи неотрицаема, и дѣло вовсе не въ основахъ, не въ теодицеяхъ, не въ догматахъ (и въ личномъ безуміи, главное совсѣмъ не въ пунктѣ помѣшательства; патологическое состояніе можетъ быть одно и то же, воображаетъ ли себя больной сверчкомъ въ щели или шавкой на дворѣ). Только поверхностные и сентиментальные наблюдатели могли негодуя удивляться, что человѣка третьяго дня травили львами и тиграми за то, что онъ не вѣритъ въ громовержца а вѣритъ въ спасителя, вчера жгли за то, что онъ вѣритъ въ спасителя, но не вѣритъ въ завѣдующаго дѣлами его папу, а сегодня убиваютъ французами за то, что онъ вѣритъ въ папу какъ въ управителя Христова, но не вѣритъ въ него, какъ въ царя итальянскаго.

Посему-то я всегда и оправдывалъ самаго послѣдовательнаго религіознаго инквизитора и гонителя — Максимиліана Робеспьера; онъ стоитъ гораздо выше Діоклеціана, Кальвина, Филиппа II и др., чему, конечно, обязанъ успѣхамъ философіи и гуманности въ XVIII вѣкѣ. Тѣ жгли своихъ противниковъ, онъ рубилъ головы людямъ не за то, что они *не такъ* вѣрили, какъ онъ, а просто за то, что они не вѣрили ни во что, кромѣ разума. Онъ очень послѣдовательно казнилъ Анархиса Клоца и его товарищей, понимая, что какъ только изъ подъ ногъ человѣка выдернуть треножникъ мистики, такъ онъ и падетъ въ самое жалостное положеніе.

Все, что намъ дорого и изъ за чего мы такъ обильно льемъ кровь ближняго, а иногда и свою, все имѣетъ глубокіе корни въ безуміи и не имѣетъ *ихъ разъ ею*... Безконечность и безсмертіе, честь и слава, воля человѣческая и воля божія, обѣ свободныя, одна подчиненная другой и *объ другъ другу не мѣшающія, не смотря*

на необходимость, въ коей обѣ движутся*). Будто это можно понять, не сойдя съ ума?... Да и зачѣмъ воздерживаться, когда все зоветъ къ безумію, все жило и живетъ имъ.

Въ самомъ дѣлѣ, кто настроилъ величественные храмы и воздвигъ цѣлые лѣса мрамора и порфира для славы божіей? Кто одержалъ всѣ побѣды, которыми гордятся вѣка? Кто надѣвалъ лавровые вѣнки на свирѣпыхъ, окровавленныхъ бойцевъ, стоявшихъ на грудахъ труповъ? Кто отводилъ руку народа отъ сохи, далъ ему вмѣсто ея мечъ и сдѣлалъ его изъ пахаря земли пахаремъ смерти, убійцей по ремеслу, побѣдителемъ и завоевателемъ, безъ которыхъ не было бы ни Ассиріи, ни Пруссіи (привычка къ цензурѣ постоянно заставляетъ меня умалчивать о любезномъ отечествѣ)?... Кто?... Будто разумъ?... Кто позволяетъ богатому наслаждаться всѣми дарами и благами жизни возлѣ массъ голодныхъ, холодныхъ, оборванныхъ? Кто вѣшаетъ для порядка и кто ведетъ человѣка на казнь съ поднятымъ челомъ и гордостью, все равно умираетъ ли онъ (по выраженію одного нѣмецкаго стихотворца) за императора въ красныхъ штанахъ или за императора въ бѣлыхъ штанахъ?...

Пусть же великое и покровительствующее безуміе, хранящее и утѣшающее, исправляющее и ведущее насъ чрезъ вѣка и океаны, пусть же оно и впредь сопровождаетъ насъ во вѣки вѣковъ, пока родъ человѣческій не поглотится геологическимъ переворотомъ. И пусть передъ его торжественнымъ шествіемъ несется, какъ и прежде, то лучезарное, то въ облакахъ, то пол-

*) На счетъ замѣчательнаго остро-безумнаго сочетанія совершеннаго произвола съ совершенной необходимостью, какъ о сильнѣйшемъ признакѣ, пишу особый аргументъ.

ное, то съ ущербомъ, *свѣтило разума*, пребывающее, какъ луна, все въ томъ же разстояніи отъ земнаго шара, какъ бы онъ ни торопился.

А посему, наставникъ и другъ, Семенъ Ивановичъ, воскликнемъ вмѣстѣ съ латинскимъ классикомъ, но относя слова его къ святому безумію рода человѣческаго: Tu urbes peperisti, tu homines dissipatos in societates convocasti!

Т. Левіаѳанскій.

Не знаю, помнитъ ли теперь кто нибудь небольшую повѣсть мою „Докторъ Круповъ.“ Она была напечатана въ 1847 году въ „Современникѣ“ и имѣла нѣкоторый успѣхъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, *Круповъ* явился во французскомъ переводѣ въ одномъ парижскомъ Revue. *Двадцать* лѣтъ спустя, въ 1867 году, меня просили прочесть что нибудь въ близкомъ кругу друзей, собиравшихся то у насъ, то у извѣстнаго физіолога *Шифа* во Флоренціи. Я вспомнилъ переводъ *Крупова* и прочелъ его. Слушатели были очень довольны, Шифъ настоятельно требовалъ, чтобы я перепечаталъ его. Одинъ итальянскій литераторъ просилъ текстъ для перевода на итальянскій языкъ. Мой Круповъ, какъ Лазарь, снова ожилъ. Перечитывая его, мнѣ пришли въ голову „рефлексіи и контроверзіи“ прозектора Левіаѳанскаго и я ихъ написалъ собственно для Шифа.

Карлъ Фогтъ, смѣясь, требовалъ отвѣта Левіаѳанскому, обвиняя его въ скрытомъ деизмѣ, на томъ основаніи, что онъ своего бога спряталъ въ *фонарь*, котораго вовсе нѣтъ. Но я побоялся, что одна и та же шутка утомитъ.

ЕЩЕ РАЗЪ БАЗАРОВЪ*)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вмѣсто письма, любезный другъ, посылаю тебѣ диссертацію, да еще не оконченную. Послѣ нашего разговора, я перечиталъ статью Писарева о Базаровѣ, которую совсѣмъ забылъ, и очень радъ этому, т. е. не тому, что забылъ, а тому, что перечиталъ. Статья эта подтверждаетъ мою точку зрѣнія. Въ своей односторонности, она вѣрнѣе и замѣчательнѣе, чѣмъ объ ней думали ея противники.

Вѣрно ли понялъ Писаревъ Тургеневскаго Базарова, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Важно то, что онъ въ Базаровѣ узналъ *себя* и *своихъ* и добавилъ, чего не доставало въ книгѣ. Чѣмъ Писаревъ меньше держался колодокъ, въ которыя разгнѣванный родитель старался вколотить упрямаго сына, тѣмъ свободнѣе перенесъ на него свой идеалъ.

— „Но въ чемъ же можетъ быть интересенъ для насъ идеалъ г. Писарева? Писаревъ бойкій критикъ, онъ писалъ много, писалъ обо всемъ, иногда о такихъ предметахъ, которые зналъ, но все это не даетъ его идеалу права на общее вниманіе.“

Въ томъ-то и дѣло, что это не его личный идеалъ, а тотъ идеалъ, который *до* Тургеневскаго Базарова и послѣ *него* носился въ молодомъ поколѣніи и воплo-

*) *Пол. Зв. Т VIII, стр. 141.*

щался не только въ разныхъ героевъ повѣстей и романовъ, но въ живыя лица, старавшіяся принять въ основу дѣйствій и словъ своихъ Базаровщину. То, что Писаревъ говоритъ, я слышалъ и видѣлъ десять разъ: онъ простодушно разболталъ задушевную мысль цѣлаго круга и, собравъ въ одномъ фокусѣ разсѣянные лучи, освѣтилъ ими нормальнаго Базарова.

Базаровъ для Тургенева больше, чѣмъ посторонній, для Писарева больше, чѣмъ свой; для изученія, конечно, надобно взять тотъ взглядъ, который въ Базаровѣ видитъ свой desideratum.

Противники Писарева испугались его неосторожности; отрекаясь отъ Тургеневскаго Базарова, какъ отъ шаржи, они отмахивались еще больше отъ его преображеннаго двойника; имъ было непріятно, что Писаревъ опростоволосился, но изъ этого не слѣдуетъ, что онъ его не вѣрно понялъ.

Писаревъ знаетъ сердце своего Базарова до тла, онъ исповѣдуется за него. „Можетъ быть," говоритъ онъ, „Базаровъ въ глубинѣ души признаетъ многое изъ того, что отрицаетъ на словахъ, и можетъ быть именно это признаваемое, это затаившееся спасаетъ его отъ нравственнаго паденія и отъ нравственнаго ничтожества." Мы считаемъ эту нескромность, заглянувшую такъ далеко въ чужую душу, очень важной.

Дальше Писаревъ такъ характеризуетъ своего героя: „Базаровъ чрезвычайно самолюбивъ, но самолюбіе его незамѣтно (ясно, что это не Тургеневскій Базаровъ), именно вслѣдствіе этой громадности. Удовлетворить Базарова могла бы только *цѣлая вѣчность постоянно расширяющейся дѣятельности и постоянно увеличивающагося наслажденія* *).

*) Юность любитъ выражаться разными несоизмѣримостями и

„Б. вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется, или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ, имъ управляетъ только личная прихоть или личные расчеты. Ни подъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора. Впереди никакой высокой цѣли, въ умѣ никакого высокаго помысла и при всемъ этомъ силы огромныя. Если Базаровщина *болѣзнь*, то она болѣзнь нашего времени и ее приходится выстрадать, не смотря ни на какія ампутаціи и палліативы.

„Б. смотритъ на людей сверху внизъ и даже рѣдко даетъ себѣ трудъ скрывать *свои полу-презрительныя и полу-покровительственныя отношенія* къ тѣмъ, которые его ненавидятъ, и къ тѣмъ, которые слушаются. Онъ никого не любитъ. Онъ считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять свою особу въ чемъ бы то ни было. Въ его цинизмѣ двѣ стороны — внутренняя и внѣшняя, цинизмъ мыслей и чувствъ и цинизмъ манеръ и выраженій. Ироническое отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечтательности, къ лиризму составляетъ сущность внутренняго цинизма. Грубое выраженіе этой ироніи, *безпричинная и безцѣльная* рѣзкость въ обращеніи относятся къ внѣшнему цинизму. Б. не только эмпирикъ, онъ кромѣ того неотесаный буршъ. Въ числѣ почитателей Б. найдутся навѣрное такіе люди, которые будутъ восхищаться его грубыми манерами, слѣдами бурсацкой жизни, будутъ подражать этимъ манерамъ, составляющимъ во всякомъ случаѣ *недостатокъ*, а не достоинство*).

поражать воображеніе безконечно великими образами. Послѣдняя фраза мнѣ такъ и напоминаетъ Карла Мора, Фердинанда и Донъ-Карлоса.

*) Предсказаніе сбылось. Странная вещь это взаимодѣйствіе лю-

„Такіе люди всего чаще вырабатываются при сѣрой обстановкѣ трудовой жизни; отъ суроваго труда грубѣютъ руки, грубѣютъ манеры, грубѣютъ чувства, человѣкъ крѣпнетъ и прогоняетъ юношескую мечтательность, избавляется отъ слезливой чувствительности; за работой мечтать нельзя, на мечту человѣкъ смотритъ, какъ на блажь, свойственную праздности и барской изнѣженности, нравственныя страданія онъ считаетъ мечтательными, нравственныя стремленія и подвиги — придуманными и нелѣпыми. *Онъ чувствуетъ отвращеніе къ фразистости.*“

За тѣмъ Писаревъ представляетъ генеалогическое дерево Базарова: Онѣгины и Печорины родили Рудиныхъ и Бельтовыхъ, Рудины и Бельтовы — Базарова. (По волѣ или по неволѣ выпущены Декабристы, не знаю).

Усталые, скучающіе люди замѣняются людьми, стремящимися къ дѣлу, жизнь бракуетъ обоихъ, какъ не годныхъ и не полныхъ. „Пострадать имъ иногда придется, но сдѣлать дѣло никогда не удается. Общество къ нимъ глухо и неумолимо. Они не умѣютъ ужиться съ его условіями, ни одинъ изъ нихъ не дослужился до *начальниковъ отдѣленія*. Иные утѣшаются, становясь профессорами и работая для будущаго поколѣнія.“ От-

Отдей на книгу и книги на людей. Книга беретъ весь складъ изъ того общества, въ которомъ возникаетъ, обобщаетъ его, дѣлаетъ болѣе наглядным и рѣзкимъ и вслѣдъ за тѣмъ бываетъ обойдена реальностью. Оригиналы дѣлаютъ шаржу своихъ рѣзко оттѣненныхъ портретовъ и дѣйствительныя лица вживаются въ свои литературныя тѣни. Въ концѣ прошлаго вѣка всѣ нѣмцы сбивали немного на Вертера, всѣ нѣмки на Шарлоту; въ началѣ нынѣшняго университетскіе Вертеры стали превращаться въ „разбойниковъ,“ не настоящихъ, а шиллеровскихъ. Русскіе молодые люди, пріѣзжавшіе послѣ 1862, почти всѣ были изъ „Что дѣлать ?“ съ прибавленіемъ нѣсколькихъ базаровскихъ чертъ.

рицательная польза, приносимая ими, не подлежитъ сомнѣнію. Они размножаютъ людей *неспособныхъ* къ практической дѣятельности, вслѣдствіе чего самая практическая дѣятельность, или, вѣрнѣе, тѣ формы, въ которыхъ она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постояннно понижается въ мнѣніи общества.

„Казалось (послѣ крымской кампаніи), что Рудинству приходитъ конецъ, что за эпохой безплодныхъ мечтаній и стремленій наступаетъ эпоха кипучей и полезной дѣятельности. Но миражъ разсѣялся. Рудины не сдѣлались практическими дѣятелями, изъ за нихъ выдвинулось новое поколѣніе, которое *съ укоромъ и насмѣшкой* отнеслось къ своимъ предшественникамъ. „Объ чемъ вы ноете, чего вы ищите, чего просите отъ жизни? Вамъ небось счастья хочется? Да вѣдь мало что! Счастье надо завоевать. Есть силы, берите его. Нѣтъ силъ—*молчите*, а то и безъ васъ тошно!“ Мрачная, сосредоточенная энергія сказывалась въ этомъ *недружелюбномъ* отношеніи молодаго поколѣнія къ своимъ наставникамъ. Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ, это поколѣніе сходилось съ лучшими людьми предъидущаго, симпатіи и антипатіи были общія; *желали они одного и того же*, но люди прошлаго *метались и суетились*. Люди настоящаго не мечутся, ничего не ищутъ, не подаются ни на какіе компромисы и *ни на что не надѣятся*. Они также безсильны, какъ Рудины, но они сознали свое безсиліе.

„Я не могу дѣйствовать теперь, думаетъ каждый изъ этихъ новыхъ людей, не стану и пробовать, *я презираю все, что меня окружаетъ* и не стану скрывать моего презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду, когда почувствую себя сильнымъ. Не имѣя возможности дѣйствовать, люди начинаютъ думать и изслѣдовать... суевѣрія и авто-

ритеты разбиваются въ дребезги и міросозерцаніе совершенно очищается отъ разныхъ призрачныхъ представленій. Имъ дѣла нѣтъ, идетъ ли за ними общество; они полны собой, своей внутренней жизнью. Словомъ, у Печориныхъ *есть воля безъ знанія*, у Рудиныхъ *— знаніе безъ воли*, у Базаровыхъ — *и знаніе, и воля*. Мысль и дѣло сливаются въ одно твердое цѣлое."

Тутъ все есть, какъ видишь, если нѣтъ ошибки, и характеристика, и классификація—все коротко и ясно, сумма подведена, счетъ поданъ и съ той точки зрѣнія, съ которой авторъ взялъ вопросъ, совершенно вѣрно.

Но мы этого счета не принимаемъ и протестуемъ противъ него изъ нашихъ преждевременныхъ и не наступившихъ могилъ. Мы не Карлъ V и никакъ не хотимъ, чтобы насъ хоронили живыми.

Странныя судьбы *отцовъ и дѣтей!* Что Тургеневъ вывелъ Базарова не для того, чтобъ погладить по головкѣ—это ясно, что онъ хотѣлъ что-то сдѣлать въ пользу отцовъ—и это ясно. Но въ соприкосновеніи съ такими жалкими и ничтожными отцами, какъ Кирсановы, крутой Базаровъ увлекъ Тургенева, и вмѣсто того, чтобъ посѣчь сына, онъ выпоролъ отцовъ.

Оттого-то и вышло, что часть молодаго поколѣнія узнала себя въ Базаровѣ. Но мы вовсе не узнаемъ себя въ Кирсановыхъ, такъ какъ не узнавали себя ни въ Маниловыхъ, ни въ Собакевичахъ, не смотря на то, что Маниловы и Собакевичи существовали сплошь да рядомъ, во время нашей молодости и теперь существуютъ.

Мало ли какія стада нравственныхъ недоносковъ живутъ въ одно и то же время въ разныхъ слояхъ общества, въ разныхъ направленіяхъ его; безъ сомнѣнія, они представляютъ больше или меньше общіе типы, но

не представляютъ самой рѣзкой и характеристичной стороны своего поколѣнія, стороны, наиболѣе выражающей его интенсивность. Писаревскій Базаровъ, въ одностороннемъ смыслѣ, до нѣкоторой степени предѣльный типъ того, что Тургеневъ назвалъ *сыновьями*; въ то время, какъ Кирсановы самые стертые и пошлые представители отцовъ.

Тургеневъ былъ больше художникъ въ своемъ романѣ, чѣмъ думаютъ, и оттого сбился съ дороги, и по моему очень хорошо сдѣлалъ—шелъ въ комнату, попалъ въ другую, за то въ лучшую.

Что бы ему было прислать Базарова въ Лондонъ? Плюгавый Писемскій не побоялся путевыхъ расходовъ для взбаламученныхъ уродцевъ своихъ. Мы, можетъ быть, доказали бы ему на берегахъ Темзы, что можно и не дослуживаясь до *начальника отдѣленія* приносить не меньше пользы, чѣмъ приноситъ любой *начальникъ департамента*, что общество не всегда глухо и неумолимо, когда протестъ попадаетъ въ тонъ, что дѣло иногда удается, что у Рудиныхъ и Бельтовыхъ иной разъ бываетъ и воля, и настойчивость, и что, видя невозможность дѣятельности, къ которой они стремились по внутреннему влеченію, они бросали *многое*, уѣзжали на чужбину и заводили, „не метавшись и не суетясь," русскую книгопечатню и русскую пропаганду.

Вліяніе лондонскаго станка отъ 1856 до конца 1863 года не только практическій фактъ, но фактъ историческій. Стереть его нельзя, съ нимъ надобно примириться.

Базаровъ въ Лондонѣ увидѣлъ бы, что это только издали казалось, что мы размахиваемъ руками, а что на самомъ дѣлѣ мы ими работали. Можетъ, онъ смѣнилъ бы гнѣвъ на милость и пересталъ бы относиться къ намъ „съ укоромъ и насмѣшкой."

Я признаюсь откровенно, мнѣ лично это метанье камнями въ своихъ предшественниковъ—противно. Повторяю, сказанное („Былое и Думы,“ IV томъ): „Хотѣлось бы спасти молодое поколѣніе отъ исторической неблагодарности и даже отъ исторической ошибки. Пора отцамъ-Сатурнамъ не закусывать своими дѣтьми, но пора и дѣтямъ не брать примѣра съ тѣхъ камчадаловъ, которые убиваютъ своихъ стариковъ.

Неужели за одной природой остается право, что ея фазы и ступени развитія, отклоненія и уклоненія, даже avortements, изучаются, принимаются, обдумываются sine ira et studio, а какъ дойдетъ дѣло до исторіи — тотчасъ въ сторону методъ физіологическій, и на мѣсто его уголовная палата и управа благочинія?

Онѣгины и Печорины прошли.

Рудины и Бельтовы проходятъ.

Базаровы пройдутъ... и даже очень скоро. Это слишкомъ натянутый, школьный, взвинченный типъ, чтобъ ему долго удержаться.

На его смѣну напрашивался уже типъ, въ веснѣ дней своихъ сгнившій, типъ православнаго студента, *консерватора и казеннокоштнаго патріота*, въ которомъ отрыгнулось все гнусное императорской Руси, и который самъ сконфузился послѣ серенады Иверской и молебна Каткову.

Всѣ возникнувшіе типы пройдутъ и всѣ съ той неутрачиваемостью однажды возбужденныхъ силъ, которую мы научились узнавать въ физическомъ мірѣ, останутся и взойдутъ, видоизмѣняясь въ будущее движеніе Россіи и въ будущее устройство ея.

А потому, не интереснѣе ли, вмѣсто того, чтобы стравлять Базарова съ Рудинымъ, разобрать въ чемъ *красныя нитки*, ихъ связующія, и въ чемъ причины ихъ

возникновеній и ихъ превращеній? Почему именно эти формы развитія вызвались нашей жизнью и почему онѣ такъ переходили одна въ другую? Несходство ихъ очевидно, но чѣмъ нибудь были же онѣ и близки другъ другу.

Типы легко схватываютъ различія, для рѣзкости въ нихъ увеличиваютъ углы и выпуклости, обводятъ густой краской предѣлы, обрываютъ связи, переливы теряются и единство остается вдали, за туманомъ, какъ поле, соединяющее подошвы горъ, далекихъ другъ отъ друга, ярко освѣщенными вершинами.

Къ тому же мы грузимъ на плечи типовъ больше, чѣмъ они могутъ вынести и придаемъ имъ въ жизни значеніе, котораго они не имѣли или имѣли въ ограниченномъ смыслѣ. Брать Онѣгина за *положительный* типъ умственной жизни двадцатыхъ годовъ, за интегралъ всѣхъ стремленій и дѣятельностей проснувшагося слоя совершенно ошибочно, хотя онъ и представляетъ одну изъ сторонъ тогдашней жизни.

Типъ того времени, одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ типовъ новой исторіи—это *декабристъ*, а не Онѣгинъ. Русская литература не могла до него касаться цѣлыя сорокъ лѣтъ, но онъ отъ этого не сталъ меньшимъ.

Какъ у молодаго поколѣнія не достало ясновидѣнія, такта, сердца понять все величіе, всю силу этихъ блестящихъ юношей, выходящихъ изъ рядовъ гвардіи, этихъ баловней знатности, богатства, оставляющихъ свои гостинныя и свои груды золота, для требованія человѣческихъ правъ, для протеста, для заявленія, за которое—и они знали это—ихъ ждали веревка палача и каторжная работа?—Это печальная загадка.

Сердиться на то, что эти люди явились въ единственномъ сословіи, въ которомъ было какое нибудь

образованіе, какой нибудь досугъ и какая нибудь обезпеченность—безсмысленно. Еслибъ эти „князья, бояре, воеводы," эти статсъ-секретари и полковники не проснулись первые отъ нравственнаго голода и ждали, чтобъ ихъ разбудилъ голодъ физическій, то не было бы не только ноющихъ и безпокойныхъ Рудиныхъ, но и почившихъ въ своемъ „единствѣ воли и знаніи" Базаровыхъ. А былъ бы какой нибудь полковой лекарь, который морилъ бы солдатъ, обкрадывая ихъ на пайкахъ и лекарствахъ и продавалъ бы прикащику Кирсанова свидѣтельства о естественной смерти засѣченныхъ крестьянъ, или былъ бы повытчикъ-взяточникъ, вѣчно пьяный, лупилъ бы четвертаки съ крестьянъ и подавалъ бы шинель и калоши его превосходительству, начальнику губерніи, Кирсанову. Да сверхъ того не было бы ни смертельнаго удара крѣпостному состоянію, ни всего того, что работаетъ подъ тяжелой корой власти, подтачивая императорскіе горностаи и стеганый помѣщичій халатъ.

Счастье, что рядомъ съ людьми, которыхъ барскія затѣи состояли въ псарнѣ и дворнѣ,, въ наслованіи и сѣченіи дома, въ раболѣпствѣ въ Петербургѣ, нашлись такіе, которыхъ „затѣи" состояли въ томъ, чтобъ вырвать изъ ихъ рукъ розгу и добиться простора, не ухарству на отъѣзжемъ полѣ, а простора уму и человѣческой жизни. Была ли эта затѣя ихъ серьезнымъ дѣломъ, ихъ страстью—они это доказали на висѣлицѣ, на каторгѣ... они это доказали, возвратившись черезъ тридцать лѣтъ изъ Сибири.

Если въ литературѣ сколько нибудь отразился слабо, но съ родственными чертами, типъ декабриста—это въ Чацкомъ.

Въ его озлобленной, желчевой мысли, въ его моло-

домъ негодованіи слышится здоровый порывъ къ дѣлу, онъ чувствуетъ, чѣмъ недоволенъ, онъ головой бьетъ въ каменную стѣну общественныхъ предразсудковъ и пробуетъ, крѣпки ли казенныя рѣшетки. Чацкій шелъ прямой дорогой на каторжную работу, и если онъ уцѣлѣлъ 14 Декабря, то навѣрно не сдѣлался ни страдательно тоскующимъ, ни гордо презирающимъ лицомъ. Онъ скорѣе бросился бы въ какую нибудь негодующую крайность, какъ Чаадаевъ, сдѣлался бы католикомъ, ненавистникомъ славянъ или славянофиломъ, но не оставилъ бы ни въ какомъ случаѣ своей пропаганды, которой не оставлялъ ни въ гостиной Фамусова, ни въ его сѣняхъ, и не успокоился бы на мысли, „что его часъ не насталъ.“ У него была та безпокойная неугомонность, которая не можетъ выносить диссонанса съ окружающимъ и должна или сломить его, или сломиться. Это—то броженіе, въ силу котораго невозможенъ застой въ исторіи и невозможна плѣсень на текущей, но замедленной волнѣ ея.

Чацкій, еслибъ пережилъ первое поколѣніе, шедшее за 14 Декабремъ въ страхѣ и трепетѣ, сплюснутое террором, выросшее пониженное, задавленное — черезъ нихъ протянулъ бы горячую руку намъ. Съ нами Чацкій возвращался на *свою* почву. Эти filles croisées черезъ поколѣнія не рѣдкость, даже въ зоологіи. И я глубоко убѣжденъ, что мы съ дѣтьми Базарова встрѣтимся симпатично и они съ нами „безъ озлобленія и насмѣшки.“

Чацкій не могъ бы жить сложа руки, ни въ капризной брюзгливости, ни въ надменномъ самообоготвореніи; онъ не былъ на столько старъ, чтобъ находить удовольствіе въ ворчливомъ будированіи и не былъ такъ молодъ, чтобъ наслаждаться отроческими самоудовлетво-

реніями. Въ этомъ характерѣ безпокойнаго фермента, бродящихъ дрожжей, вся сущность его.

Но именно эта-то сторона и не нравится Базарову, она-то его и озлобляетъ въ его гордомъ стоицизмѣ. „Молчите въ своемъ углу, коли силъ нѣтъ что нибудь дѣлать, а то и безъ вашего хныканья тошно, говоритъ онъ—побиты, ну и сидите побитые... что вамъ ѣсть что ли нечего, что плачете, это все барскія затѣи," и т. д.

Писаревъ долженъ былъ такъ говорить за Базарова, этого требовала его роль.

Не играть роли, пока она нравится, трудно. Снимите съ Базарова его мундиръ, заставьте его забыть жаргонъ, на которомъ онъ говоритъ, дайте ему волю *просто*, безъ *фразъ* (ему, который такъ ненавидитъ *фразерство*!) сказать одно слово, дайте ему на минуту забыть свою ежевую обязанность, свой искуственно сухой языкъ, свою стегающую роль и мы объяснимся во всемъ остальномъ въ одинъ часъ.

„Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ новое поколѣніе сходилось съ прошедшимъ. Симпатіи и антипатіи, говоритъ Писаревъ, были общи, желали они одного и того же... въ глубинѣ души они признаютъ многое, что отрицаютъ на словахъ." Мудрено ли послѣ этого столковаться.

Но пока облаченье не снято, Базаровъ послѣдовательно требуетъ отъ людей, сдавленныхъ всѣмъ на свѣтѣ, оскорбленныхъ, измученныхъ, лишенныхъ и сна и возможности на яву дѣлать что нибудь, чтобъ они не говорили о боли, это сильно сбивается на Аракчеевщину.

На какомъ же основаніи отнять право на горькую жалобу Лермонтова напр., на его упреки своему поколѣнію, отъ которыхъ многіе вздрогнули? Чѣмъ въ са-

момъ дѣлѣ былъ бы лучше николаевскій острогъ, еслибъ въ немъ тюремные сторожа были также раздражительно нервны и привязчивы, какъ Базаровъ — и подавили бы эти голоса?

— Да зачѣмъ они? Что проку?

— А зачѣмъ камень издаетъ звукъ, когда его бьютъ молотомъ?

— Онъ не можетъ иначе.

— А почему эти господа думаютъ, что люди могутъ страдать цѣлыя поколѣнія безъ словъ, жалобы, негодованія, проклятія, протеста? Если не для другихъ нужна жалоба, то для самихъ жалующихся. Высказанная скорбь утомляетъ боль. Ihm, говоритъ Гёте, gab ein Gott zu sagen was er leidet.

— А намъ что за дѣло?

— Можетъ вамъ и нѣтъ, такъ другимъ можетъ *есть;* но нельзя терять изъ виду, что каждое поколѣніе живетъ тоже и *для себя.* Съ точки зрѣнія исторіи оно переходъ, но въ отношеніи къ себѣ оно цѣль и не можетъ, не должно безропотно выносить на него падающія невзгоды—особенно не имѣя даже того утѣшенія, которое имѣлъ Израиль, ожидавшій Мессію, и вовсе не зная, что отъ сѣмени Онѣгиныхъ и Рудиныхъ родится Базаровъ.

Въ сущности нашихъ юношей приводитъ въ ярость то, что въ нашемъ поколѣніи выражалась *наша* потребность дѣятельности, *нашъ* протестъ противъ существующаго *иначе*, чѣмъ у нихъ, и что мотивъ того и другаго не всегда и не вполнѣ зависѣлъ отъ голода и холода.

Нѣтъ ли въ этомъ пристрастіи къ однообразію того же раздражительнаго духа, который сдѣлалъ у насъ изъ канцелярской формы сущность дѣла и изъ военныхъ

эволюцій—шагистику? Изъ этой стороны русскаго характера развились статская и военная Аракчеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявленіе, отступленіе считалось непокорствомъ и возбуждало преслѣдованія и безпрерывныя придирки. Базаровъ не оставляетъ никого въ покоѣ, всѣхъ задираетъ свысока. Каждое слово его—выговоръ высшаго низшему. Это не имѣетъ будущности.

„Если, говоритъ Писаревъ, Базаровщина болѣзнь нашего времени, то ее придется выстрадать."

Ну и довольно. Болѣзнь эта къ лицу только до окончанія университетскаго курса; она, какъ прорѣзываніе зубовъ, совершеннолѣтію не пристала.

Худшая услуга, которую Тургеневъ оказалъ Базарову, состоитъ въ томъ, что не зная, какъ съ нимъ сладить, онъ его казнилъ тифомъ. Это такая ultima ratio, противъ которой никто не устоитъ. Уцѣлѣй Базаровъ отъ тифа, онъ навѣрное развился бы вонъ изъ Базаровщины, по крайней мѣрѣ въ науку, которую онъ любилъ и цѣнилъ въ физіологіи, и которая не мѣняетъ своихъ пріемовъ, лягушка ли или человѣкъ, эмбріологія ли или исторія у нея въ передѣлѣ.

„Базаровъ выбилъ изъ своей головы всякіе предразсудки, затѣмъ онъ остался человѣкомъ крайне необразованнымъ. Онъ слыхалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, *не потрудился* подумать *и съ плеча* произнесъ приговоръ надъ незнакомымъ предметомъ. Эта заносчивость *свойственна намъ* вообще, она имѣетъ свои хорошія стороны, какъ умственная смѣлость, но за то порой приводитъ къ грубымъ ошибкамъ."

Наука спасла бы Базарова, онъ пересталъ бы глядѣть на людей свысока, съ глубокимъ и не скрываемымъ презрѣніемъ. Наука учитъ насъ больше, чѣмъ Еванге-

и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ и передъ собственнымъ безправіемъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума.

Къ этому времени принадлежатъ первыя зарницы *нигилизма* — зарницы той совершеннѣйшей свободы отъ всѣхъ готовыхъ понятій, отъ всѣхъ унаслѣдованныхъ обструкцій и заваловъ, которые мѣшаютъ западному уму идти впередъ своимъ историческимъ ядромъ на ногахъ...

Тихая работа сороковыхъ годовъ разомъ оборвалась. Времена чернѣе и тяжеле начала николаевскаго царствованія наступили послѣ февральской революціи. Передъ началомъ гоненій умеръ Бѣлинскій. Грановскій завидовалъ ему и стремился оставить отечество.

Темная, семилѣтняя ночь пала на Россію и въ ней то сложился, развился и окрѣпъ въ русскомъ умѣ тотъ складъ мыслей, тотъ пріемъ мышленія, который назвали *нигилизмомъ*.

Нигилизмъ (повторяю сказанное недавно въ Колоколѣ)—это логика безъ стриктуры, это наука безъ догматовъ, это безусловная покорность опыту и безропотное принятіе всѣхъ послѣдствій, какія бы они ни были, если они вытекаютъ изъ наблюденія, требуются разумомъ. Нигилизмъ не превращаетъ *что нибудь* въ ничего, а раскрываетъ, что *ничего*, принимаемое за *что нибудь*, оптическій обманъ, и что всякая истина, какъ бы она ни перечила фантастическимъ представленіямъ—здоровѣе ихъ и во всякомъ случаѣ обязательна.

двуличіе, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и распускала все мѣшавшее разуму. Къ тому же это было время Фейербаха, der kritischen Kritik...

Идетъ это названіе къ дѣлу или нѣтъ, это все равно. Къ нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, оно попало въ полицейскій признакъ, оно стало доносомъ, обидой у однихъ — похвалой у другихъ. Разумѣется, если подъ *нигилизмомъ* мы будемъ разумѣть обратное творчество, т. е. превращеніе фактовъ и мыслей въ *ничего*, въ безплодный скептицизмъ, въ надменное „сложа руки", въ отчаяніе, ведущее къ бездѣйствію, тогда настоящіе *нигилисты* всего меньше подойдутъ подъ это опредѣленіе, и одинъ изъ величайшихъ нигилистовъ будетъ И. Тургеневъ, бросившій въ нихъ первый камень, и, пожалуй, его любимый философъ Шопенгауеръ.

Когда Бѣлинскій, долго слушая объясненія кого-то изъ друзей о томъ, что *духъ* приходитъ къ самосознанію въ человѣкѣ, съ негодованіемъ отвѣчалъ: „такъ это я не для себя сознаю, а для духа... что же я ему за дуракъ достался, лучше не буду вовсе думать, что мнѣ за забота до его сознанія..." Онъ былъ *нигилистъ*.

Когда Бакунинъ уличалъ бирлинскихъ профессоровъ въ робости отрицанья и парижскихъ революціонеровъ 1848 года въ консерватизмѣ — онъ былъ вполнѣ *нигилистъ*. Вообще всѣ эти межеванія и ревнивыя отталкиванія ни къ чему не ведутъ, кромѣ насильственнаго антагонизма.

Когда Петрашевцы пошли на каторжную работу за то, что „хотѣли ниспровергнуть всѣ божескіе и человѣческіе законы и разрушить основы общества", какъ говоритъ сентенція, выкрадывая выраженія изъ инквизиторской записки Липранди—они были *нигилистами*.

Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе сознался себя, долею сталъ доктриной, принялъ въ себя многое

изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... все это неоспоримо.

Но новыхъ началъ, принциповъ, онъ не внесъ.

Или гдѣ же они?

На это я жду отвѣта отъ тебя или пожалуй отъ кого нибудь другаго, и тогда буду продолжать.

На этомъ томъ останавливается пока полное собраніе сочиненій А. И. ГЕРЦЕНА. Остаются статьи, напечатанныя въ „Колоколѣ," за исключеніемъ немногихъ, которыя помѣщены въ настоящемъ изданіи, и двѣ-три статьи, помѣщенныя въ „Полярной Звѣздѣ." Все это вмѣстѣ составитъ еще тома три, можетъ быть четыре. Все капитальное вошло въ 10 выпущенныхъ томовъ. Издатели надѣются, что успѣхъ этихъ томовъ позволитъ имъ вскорѣ окончить изданіе.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВЫЛОЕ И ДУМЫ

(1867—1868)

Стр.

БЕЗЪ СВЯЗИ

(Швейцарскіе виды.—Болтовня съ дороги и родина въ буфетѣ. — За Альпами.—Zu Deutch. —Съ того и этого свѣта). 1

Venezia la Bella 46

La Belle France . . . . . .

(Ante portas. — Intra Muros. — Данінлы. —Свѣтлыя точки. — Послѣ набѣга). 65

ЛОНДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ

Глава VI.—Простыя несчастья и несчастья политическія. Учители и коммиссіонеры.—Ходебщики и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—Ничего не дѣлающіе фактотумы и вѣчно занятые трутни.—Русскіе.—Воры.—Шпіоны. (Писано въ 1856—57). 101

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I и В. Н. КАРАЗИНЪ .

Донъ-Карлосъ. — Письмо.—Маркизъ Поза. — Прародительскій грѣхъ.—Faremo da se.—По ту сторону. . . 133

КОНЦЫ И НАЧАЛА 191

ЕЩЕ ВАРІАЦІЯ НА СТАРУЮ ТЕМУ 281

ЛИШНІЕ ЛЮДИ И ЖЕЛЧЕВИКИ 298

КНЯГИНЯ ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА . 313

СМЕРТЬ СТАНИСЛАВА ВОРЦЕЛЯ 396

APHORISMATA. 405

ЕЩЕ РАЗЪ БАЗАРОВЪ. 433

GENÈVE. — IMPRIMERIE TROUSSOFF.

ліе, смиренію. Она не можетъ ни на что глядѣть свысока, она не знаетъ, что такое *свысока*, она ничего не презираетъ, никогда не лжетъ для роли, и ничего не скрываетъ изъ кокетства. Она останавливается передъ фактами, какъ изслѣдователь, иногда какъ врачъ, никогда какъ палачъ, еще меньше съ враждебностью и ироніей.

Наука—я вѣдь не обязанъ скрывать нѣсколько словъ въ тиши душевной—наука—*любовь*, какъ сказалъ Спиноза о мысли и вѣдѣніи.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Прошедшее оставляетъ въ исторіи *ступню*, по которой наука, рано или поздно, возстановляетъ былое въ основныхъ чертахъ. Утрачивается одно случайное, освѣщеніе—подъ тѣмъ или другимъ угломъ, подъ которымъ оно проходило. Апотеозы и клеветы, пристрастія и зависти все это вывѣтривается и сдувается. Легкая ступня, занесенная пескомъ, изчезаетъ; ступня, имѣвшая силу и настойчивость выдавить себя на камнѣ, и воскреснетъ подъ рукой честнаго труженика.

Связи, степени родства, завѣщатели и наслѣдники и ихъ взаимныя права, все раскроется геральдикой науки.

Безъ предшественниковъ родятся только богини, какъ Венера изъ пѣны морской. Минерва умнѣе ее, родилась изъ готовой головы Юпитера.

Декабристы — наши великіе отцы, Базаровы — наши блудные дѣти.

Мы отъ декабристовъ получили въ наслѣдство возбужденное чувство человѣческаго достоинства, стремле-

ніе къ независимости, ненависть къ рабству, уваженіе къ Западу и революціи, вѣру въ возможность переворота въ Россіи, страстное желаніе участвовать въ немъ, юность и непочатость силъ.

Все это переработалось, стало инымъ, но основы цѣлы.

Что же наше поколѣніе завѣщало новому?

Нигилизмъ.

Вспомнимъ немного, какъ было дѣло.

Около сороковыхъ годовъ жизнь изъ подъ туго придавленныхъ клапановъ стала сильнѣе прорываться. Во всей Россіи прошла едва уловимая перемѣна, та перемѣна, по которой врачъ замѣчаетъ прежде отчета и пониманья, что въ болѣзни *есть поворотъ* къ лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись — другой *тонъ*. Гдѣ-то внутри, въ нравственно-микроскопическомъ мірѣ, повѣялъ иной воздухъ, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было мертво подъ николаевскимъ льдомъ, но что-то пробудилось въ сознаніи, въ совѣсти — какое-то чувство неловкости, неудовольствія. Ужасъ притупился, людямъ надоѣло въ полумракѣ темнаго царства.

Я эту перемѣну видѣлъ своими глазами, пріѣхавши изъ ссылки, сначала въ Москвѣ, потомъ въ Петербургѣ. Но я увидѣлъ это въ кругахъ литераторовъ и ученыхъ. Другой человѣкъ, котораго остзейская антипатія къ русскому движенію ставитъ выше подозрѣнія въ пристрастіи, разсказалъ не такъ давно, какъ онъ, возвратившись въ сороковыхъ годахъ въ петербурскую аристократію казармъ, послѣ отсутствія нѣсколькихъ лѣтъ, былъ озадаченъ послабленіемъ дисциплины. Флигель-адъютанты, гвардейскіе полковники роптали, критиковали мѣры правительства, были недовольны *самимъ*

Николаемъ. Его это до того ошеломило, огорчило, испугало за будущность самодержавія, что онъ въ смятеніи духа почувствовалъ за обѣдомъ у флигель-адъютанта Б. чуть ли не въ присутствіи самаго Дуббельта, какъ между сыромъ и грушей родился *нигилизмъ*.

Онъ не узналъ новорожденнаго, но новорожденный былъ. Машина, завинченная Николаемъ, стала подаваться, онъ ее свинтилъ на другую сторону и всѣ это почувствовали, одни говорили, другіе молчали, запрещали говорить, но тѣ и другіе поняли, что въ сущности все идетъ плохо, что всему тяжело, и что отъ этой тяжести никому нѣтъ прока.

Замѣшался въ дѣло смѣхъ, дурной товарищъ всякой *религіи*, а *самодержавіе*—религія. Мерзость и запустѣніе низшей администраціи дошли до того, что правительство отдало ее на поруганье. Николай Павловичъ, помиравшій со смѣху въ своей ложѣ надъ Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Держимордой, помогалъ пропагандѣ, не догадываясь, что смѣхъ послѣ высочайшаго одобрѣнія, пойдетъ быстро вверхъ по табели о рангахъ.

Приложить къ этому времени во всей ихъ рѣзкости рубрики Писарева трудно. Въ жизни все состоитъ изъ переливовъ, колебаній, перекрещиваній, захватываній и перехватываній, а не изъ отломленныхъ кусковъ.

Гдѣ окончились люди безъ знанія съ волей и начались люди съ знаніемъ безъ воли?

Природа рѣшительно ускользаетъ отъ взводнаго ранжира, даже отъ ранжира по возрастамъ. Лермонтовъ лѣтами былъ товарищъ Бѣлинскаго, онъ былъ вмѣстѣ съ нами въ университетѣ, а умеръ въ безвыходной безнадежности печоринскаго направленія, противъ котораго возставали уже и славянофилы и мы.

Кстати я назвалъ славянофиловъ. Куда дѣть Хомя-

кова и его „братчиковъ?“ Что у нихъ было, воля безъ знанія, или знаніе безъ воли? А мѣсто они заняли не шуточное въ новомъ развитіи Россіи, они свою мысль далеко вдавили въ современный потокъ.

Или въ какой рекрутскій пріемъ и по какой мѣрѣ мы сдадимъ Гоголя? Знанія у него не было, была ли воля—не знаю, сомнѣваюсь, а геній былъ и его вліяніе колосально.

И такъ, оставляя lapides crescunt, planta crescunt et vivunt... Писарева, пойдемъ далѣе.

Тайныхъ обществъ не было, но *тайное соглашеніе* понимающихъ было велико. Круги, составленные изъ людей, больше или меньше испытавшихъ на себѣ медвѣжью лапу правительства, смотрѣли чутко за своимъ составомъ. Всякое другое дѣйствіе кромѣ слова, и то маскированнаго, было невозможно, за то слово пріобрѣло мощь и, не только печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полиціей.

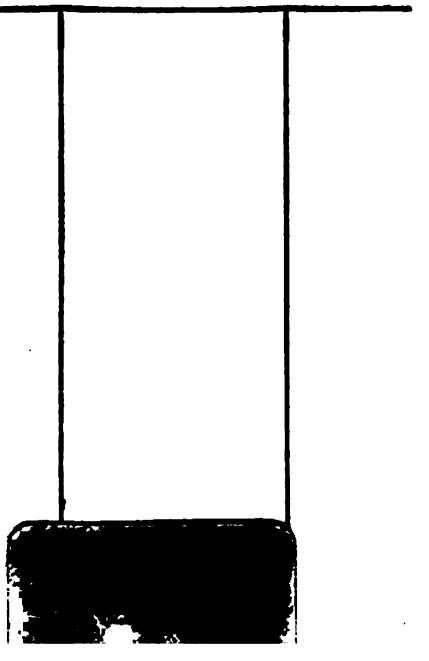
Двѣ батареи выдвинулись скоро. Періодическая литература дѣлается пропагандой, въ главѣ ея становится, въ полномъ разгарѣ молодыхъ силъ — Бѣлинскій. Университетскія каѳедры превращаются въ налои, лекціи въ проповѣди очеловѣченья, личность Грановскаго, окруженнаго молодыми доцентами, выдается больше и больше.

Вдругъ еще взрывъ смѣха. Страннаго смѣха, страшнаго смѣха, смѣха судорожнаго, въ которомъ былъ и стыдъ и угрызеніе совѣсти, и пожалуй не смѣхъ до слезъ, а слезы до смѣха. Нелѣпый, уродливый, узкій міръ „Мертвыхъ душъ“ не вынесъ, осѣлъ и сталъ отодвигаться. А проповѣдь шла сильнѣй... все одна проповѣдь—и смѣхъ и плачъ, и книга и рѣчь, и Гегель*)

*) Діалектика Гегеля — страшный таранъ, она не смотря на свое

Stanford University Libraries
3 6105 012 077 116

AC
65
H42
v. 9-10

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.